Борис Васильев

Борис Васильев

Борис Васильев

Собрание сочинений в восьми томах

Том пятый

Роман, повесть

Очерки

ТРАСТ-ИМАКОМ
РУСИЧ
СМОЛЕНСК
1994

ББК 84 Р7
В 19

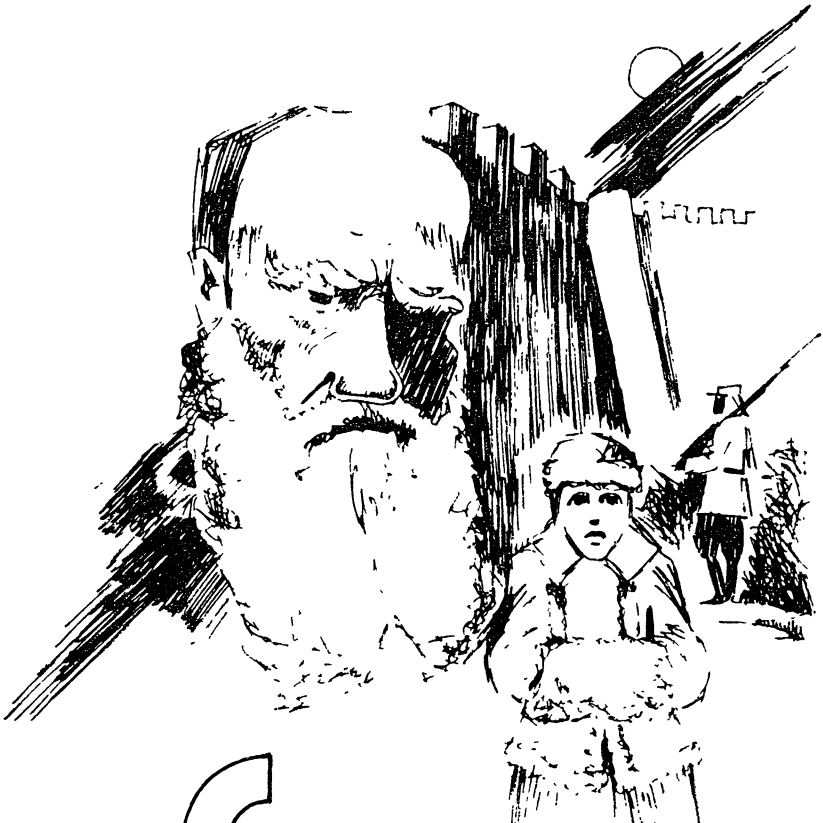
Васильев Борис. Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Роман, повесть, очерки. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, Русич, 1994,— с. 528.

В $\frac{4702010200}{ЗД7(03)—92}$ Без объявления

ББК 84 Р7

ISBN 5-86171-006-6
ISBN 5-86171-028-7 (т. 5)

© Б. Л. Васильев
© А. О. Макаренков, оформление
© ТРАСТ-ИМАКОМ, совместно с фирмой «Русич»



БЫЛИ И НЕБЫЛИ

книга 2

ЧАСТЬ III

Глава первая

1

В знойной тишине пели жаворонки. Шустрая лошаденка, неутомимо помахивая хвостом, легко тащила скрипучую телегу по мягкой проселочной пыли. Справа с вожжами шел говорливый молодой человек из недоучившихся, слева — Лев Николаевич. Василий Иванович Олексин сидел в телеге, хотя ему тоже хотелось слезть и идти пешком. Но слезть означало оказаться либо слева, либо справа и тем самым невольно нарушить расстановку сил накануне спора. А спор назревал, потому что молодого человека несло красноречие, а граф уже хмурился.

— Прогресс можно обеспечить только всеобщей грамотностью...

— Далеко еще? — спросил Василий Иванович, посмотрев на Толстого.

— Версты четыре,— не задумываясь, ответил молодой человек.— Нет, нет, не скажите, Лев Николаевич, я читаю журналы весьма серьезные. Человечество вздрогнуло, пробудилось от векового сна и готово шагать и шагать. Посмотрите, какие успехи в механике, в промышленности, в усовершенствованиях всякого вида. Наконец, электрический ток есть, что вполне вероятно, та энергия, с помощью которой человечество...

Молодой человек Илья Самсонович Колофидин был сельским учителем и ярым адептом толстовской системы обучения. До сей поры он не встречал Толстого, но случай привел свидеться, и Илья Самсонович спешил высказаться. Весь день в Ясной Поляне он восторгался увиденным, но соблазнил ее хозяина не тем, что учил детей согласно толстовской методике, а упоминанием о «старце святой жизни», поселившемся невдалеке от села, где учительствовал Колофидин. Это брошенное вскользь сообщение, несмотря на заложенную в нем юношескую насмешку, привело к тому, что Лев Николаевич решил непременно познакомиться со старцем,

тут же уговорил Василия Ивановича, и они с зарею выехали на телеге, на которой молодой человек прибыл в Ясную Поляну.

— Назад странничками обернемся,— сказал Толстой Олексину.— Походим, побродим, мир поглядим и людей послушаем.

Колофидин искренне восхищался толстовским методом обучения, не подозревая, что сам Лев Николаевич к этому времени уже начал возгораться новым пламенем.

— Прогресс — вот то новое божество, которое...

— Пустое,— уже не скрывая раздражения, буркнул Толстой.— Слово пустое, нет за ним никакого смысла. Трещат все: «Прогресс, прогресс!», а что же это такое? А ничего, логарифм времени, если угодно, а не аршин, не мера развития.

— Позвольте, Лев Николаевич, я не понимаю, – вскинулся Колофидин.— Прогресс есть движение общества вперед на основе накопленных знаний.

— А раньше это общество назад двигалось? Или вбок?

— Но как же можно сравнивать, Лев Николаевич,— не понимая, что имеет в виду собеседник, и горячась от этого, сказал Илья Самсонович.— А всеобщая образованность, к которой вы сами же стремитесь, которую... то есть, в которой вы находите... Нет, нет, вы же не последовательны, Лев Николаевич!

— Последовательность — черта спорная. Заметьте, что самыми последовательными людьми являются люди ограниченные. Их хватает на то лишь, чтобы уяснить, а чаще затвердить себе одну идею, и они последовательно держатся за нее, поскольку не могут ничего нового воспринять. А мир меняется каждое мгновение. День мой — век мой. Век! Его же понять надобно, осмыслить, себя в нем пересмотреть, а вы говорите — последовательности нет. И слава Богу, что нет. Последовательность исправникам нужна да лгунам, чтобы во лжи не запутаться.

Лев Николаевич всегда любил и умел спорить. Но именно в этот год — год начала мучительнейших исканий, растерянности, даже мыслей о самоубийстве — граф часто спорил ради самого спора. Он горячился, порою обижал собеседника, а потом долго ругал себя за несдержанность и искренне сожалел и мучился. Зная это, Василий Иванович продолжал сидеть в неудобной и тряской телеге, не желая быть втянутым в разговор.

— Но как же можно, как же можно, Лев Николаевич, прогресс отрицать! — сокрушался Колофидин, не понимая, чем вызван гнев Толстого.— Прогресс — явление обще-

европейское, если угодно, по прогрессу о культурности страны ныне судят, равно как и по распространению грамотности.

— Кто судит? — Толстой сердито задвигал клочковатыми бровями.— Говоруны, сударь, и судят. Говоруны. Придумали словцо новомодное и пошли все под него подгонять. Машину изобрели — прогресс, пушку новую выдумали — прогресс, мужика грамоте обучили — опять прогресс! Говорите, по грамотности и о культуре страны судят? Уж и подумать лень, коли словцо наготове. Вон, Швейцарию возьмите для примера — все грамотны, а что миру отдано? Часы Павла Буре? — Лев Николаевич оглянулся на Олексина.— А вы чего в телеге трясетесь? Опять споров бежите? Где истина?

— Посередине,— сказал Василий Иванович, улыбаясь.— Вот я ее и придерживаюсь.

Граф недовольно фыркнул и отвернулся. Некоторое время спорщики шли молча. Колофидин робко поглядывал на Толстого, потом не выдержал:

— Не понимаю, Лев Николаевич, ей-богу, не понимаю вас. Как же тогда цивилизацию оценивать, культурность стран, ежели и грамотность вы ни во что уж не ставите?

— Почему ни во что не ставлю? Ставлю очень высоко, неверно истолковали. Вам же не приходит в голову по сытости населения культурность измерять? В Индии или Китае голод каждый год и грамотности никакой нет — что же, в некультурные страны их зачислим? С буддизмом не знакомились или с конфуцианством? Познакомьтесь: культура величайшая, Европе такая не под силу. Вот какие парадоксы в мире, а мы, знать о них не желая, все о прогрессе твердим и радуемся как дети: ах, еще одну железку расплющили!

— А чем все же разницу измерить? — не выдержал Олексин.— Ведь есть же она, разница эта: одни народы вперед ушли, другие отстали. Как же вы несоответствие сие объясните, Лев Николаевич? Сытостью не годится, грамотностью тоже нельзя, научным прогрессом — упаси Бог, слово для вас почти ругательное.

— Бессмысленное,— буркнул Толстой недовольно.

— Хорошо, пусть бессмысленное. Однако страны неодинаковы, народы неодинаковы: одни достигли высокой культуры, другие не достигли еще, а у иных — в прошлом она, как сон, в традиции выродилась или в культ. Так ведь?

— Покурим,— сказал Толстой.— Покурим, остынем, подумаем и начнем сызнова.

Колофидин остановил лошадь, отпустил супонь и рас-

слабил упряжь, подвесил торбу с овсом. Василий Иванович лежал на спине, разглядывая бездонную жаркую синеву, Толстой молча курил, сидя рядом. Илья Самсонович подошел к ним, присел — бочком, поодаль, не отрывая глаз от Льва Николаевича. Олексин улыбнулся, вспомнив самого себя: совсем недавно он точно так же смотрел... нет, пожалуй, не смотрел — взирал на графа. Теперь отношения их упростились, став воистину дружескими. «Молодость»,— подумал он и сказал неожиданно:

— Что-то Федя не пишет. Где он, что с ним?

— Это нигилист-то наш? — улыбнулся Толстой.— Ищет, Василий Иванович, истины взыскует. Вот коли бы в этом прогресса добивались, я бы и сам прогресс понял. А то все — внешнее. Вовне ищем, вовне достигаем, вовне и радоваться хотим. А не понимаем, почему радости нет.

Колофидин поморгал белыми ресницами, неуверенно кивнул, ничего не поняв, но спросить не решился.

— Толчками человечество восходит,— все еще сердито продолжал Лев Николаевич.— Большинство людей мыслят неразумно или вообще не мыслят. И живут поэтому временем объективным — часами, годами, веками даже. Вроде бы время движется, а на самом-то деле стоит. Иной раз десятками и сотнями веков стоит на месте, словно замерев для какого-либо народа. Скажем, для африканских кафров или бушменов замерла история. Нет ее, есть лишь временное течение, объективная реальность. Но приходит к таким кафрам провидец, пророк, мудрец, находит истину — и народ начинает время мерить субъективно, прожитым и пережитым, количеством и силой впечатлений. Вот тогда и есть смысл говорить о прогрессе как о толчке, о ступени вверх.

— А потом? — тихо спросил Колофидин.

— Что — потом?

— Потом что с народом, после толчка?

— Потом? — Лев Николаевич подумал, недовольно повздыхал и закурил новую папиросу.— Потом движение затухает, хотя прогресс еще есть, поскольку есть еще инерция толчка. Ну, а уж после того истину, мудрецом открытую, начинают приспосабливать к тому, что получилось. И истина уже не зовет, не будоражит умы, не просвещает их, а — объясняет, что к чему. Она постепенно начинает жить во времени, а не сверх него. Так получилось с учением Христа: истину укрыли, запутали, приспособили, заобъясняли настолько, что все в обрядность обернулось. Как молиться да как креститься. А Христос не о том учил, совсем не о том.

— А о чем? — тихо спросил Василий Иванович.

— Возможно ли постичь...— вздохнул Толстой.— Да и

«постичь» — слово не то. Тут разум бессилен, тут что-то иное.

Он замолчал, нахмурившись. Олексин уже ругал себя, что коснулся запретного, даже не столько запретного, сколько болезненного: точно ткнул пальцем в открытую рану. Чтобы уйти от этого, сгладить, перевести разговор на иное, спросил о заглохшем — о разнице в культурном развитии.

— Думаю, что о степени культурности страны следует судить не по распространению грамотности,— как-то нехотя сказал граф.— Следует судить по степени нравственности высшего слоя населения. Наиболее развитого, способного сомневаться, а следовательно, мыслить. Мыслить, а не заучивать готовенькое. На Руси у нас хорошо, если четверть грамотна, а у нас — Пушкин, Герцен, литература, мысли. Уничтожьте наш высший слой, и нравственность замрет, даже если поголовно все станут грамотными. Культура — это ведь не столько знания, сколько воспитание, традиции семьи, круг интересов, независимость и оригинальность мышления: она богатой почвы требует, вековой. Подкормили лошадку, Илья Самсонович? Так, может, тронемся с Богом, а?

Вновь неутомимо, как заведенная, помахивала хвостом лошаденка, вновь Толстой привычно шагал сбоку. Василий Иванович в телегу не сел, шел с другой стороны, держа вожжи, а Колофидин плелся сзади, то ли уясняя сказанное, то ли споря с этим. Припекало, в знойном безветрии самозабвенно пели жаворонки.

— Покойно-то как,— вздохнул Олексин.

— Вот-вот,— с живостью подхватил Лев Николаевич, точно Василий Иванович высказал Бог весть какую важную мысль.— Нет для нас времени, чувствуете? Будто остановилось оно, замерло, а ведь каждый миг кто-то умирает или на свет Божий рождается — для них время есть, существует. И для солдата существует, что сейчас на Балканах под пулями стоит, еще как существует! Время живое, оно не абсолют, замерший в вечно отмеренных мерах. Тогда отчего так? — Он вдруг оборотился к молодому человеку: — А вы почему вопросов не задаете? Ведь знаю же, что не поняли рассуждений моих, так почему же не спрашиваете, истины не добиваетесь?

Колофидин растерянно пожал плечами. Он не привык к такой напористой манере разговора, терялся и замыкался в себе.

— Стесняется,— тихо сказал Василий Иванович.

— Стесняться надо скверных поступков, а коли не знаешь, сомневаешься в чем, так спрашивай, спорь, ответа

требуй,— проворчал Лев Николаевич.— А главный вопрос в том состоит, что лишь человеку дано абсолютность и относительность времени чувствовать. Стало быть, это свойство души его, а тогда — зачем?

— Неправда, неправда! — неожиданно закричал Илья Самсонович, догнав телегу со стороны Олексина.— Это... это совершенно неправильно, нематериалистично, нелогично даже! Зачем же вы затемняете?

Он говорил, захлебываясь и путаясь в словах; мысль рвалась, терялась, и молодой человек нервничал и мучился еще больше. Василий Иванович глядел на него с удивлением, а Толстой оживился:

— Ага, решились поспорить?

— Это не спор, нет, нельзя спорить с очевидностью. Вы же всегда к ясности стремились, вся система ваша — ясность и простота. А сейчас это... про время. Зачем же?

— Вот и я спрашиваю зачем? — вздохнул граф.— Неправильно рассуждаю? Возможно. Укажите, где ошибся. Или, по-вашему, вообще тут нет места рассуждениям, ибо ложны они, эти мои рассуждения, изначально? Но ведь дитятя времени не разумеет? А ребенок? А взрослый мужик? Я не о чувстве времени говорю, я о разумении его толкую. Чувство времени и собаке ведомо, а вот разуметь его лишь человек способен. И чем выше он духовно, тем глубже разумеет. Так зачем же ему разумение сие? Вот ведь в чем тут вопрос.

— Да в чем же тут вопрос, в чем? — почти в отчаянии прокричал Колофидин.

— В том вопрос, что в смерть он упирается,— строго сказал Лев Николаевич.— А что есть смерть — конечность или бесконечность? И почему, повторить вынужден, только человеку субъективное время замечать дано? Не потому ли, что из всех живых, на земле сущих, он один знает, что смертен? И заметьте: чем разумнее человек, тем больше он это субъективное время ощущает. Не потому ли, что к бесконечности стремится душа его?

— Если под бесконечностью пустоту разумеете, тлен, распад химических элементов, то зачем же в такую пустоту стремиться? — спросил Олексин.

В последнее время Лев Николаевич часто и даже с некоторым пристрастием заговаривал о смерти, и поэтому Василий Иванович задавал вопрос с осторожностью.

— Легко быть праведником, в Бога не веруя,— вздохнул Толстой.— Значит, химические элементы под Плевной в атаку идут? И бабы тоже эти самые элементы на свет рожают в слезах да в муках? Легко вы живете, господа

материалисты, на все-то у вас ответ готовенький, на все-то у вас объяснение, как в классе. Какие там сомнения, когда все ясно! От лукавого все сомнения, и любовь-то сама уж не любовь вовсе, не озарение Божие, а химическая реакция с выделением тепла.

— Я этого не утверждаю, Лев Николаевич.

— Утверждаете! — гневно крикнул Толстой, сдвинув густые брови.— Не прямо, так косвенно, а все равно утверждаете. Смерть нельзя отрицать, равно как и жизнь, а коли столь просто все объясняете, то столь же просто и жизнь вынуждены объяснять. Ибо неразделимы они, понятия эти, как неразделимы два времени — субъективное и объективное. И может...— он внезапно остановился, помолчал, сказал неуверенно, точно спрашивая самого себя: — Может, и живу-то я тогда лишь, когда субъективное время чувствую? А когда объективно оно течет, может, тогда-то и не живу? Не живу, а существую лишь как набор химических элементов. А жить — значит в своем времени существовать. В своем, собственном, от других отличном. Душа когда с тобой сливается, так и время твое течет. И это жизнь, а то... То — смерть. Да. Как просто все. Как просто!

— Если так просто, может, и к старцу не стоит ехать? — простосердечно спросил Василий Иванович.

— К старцу? Отчего же, поедем. Непременно поедем и спросим непременно. Что есть жизнь и что есть смерть? Что есть время мое, а что — безвременье? И зачем я во временах сих между жизнью и смертью? Зачем?

Илья Самсонович вновь отстал, плелся за телегой, глотал пыль, сокрушенно бормоча:

— Нет, не понимаю. Не понимаю. Ничего не понимаю!..

2

Старец был маленьким, чистеньким, благообразным. Аккуратненькой была темная ряса, и скуфейка, и даже редкая бороденка росла так ровно, что казалась подстриженной, а голые розовые щечки над нею — старательно выбритыми. И на левой чистенькой розовой щечке сидела большая сытая вошь.

Василий Иванович разглядывал пустынника с жалостью и брезгливостью одновременно. Чувства эти существовали как бы в борьбе, и поэтому Олексин поначалу не слышал, что именно рассказывал чистенький старичок, вызывавший у него тошнотворную гадливость, по всей вероятности, лишь старческой забывчивостью. «Хоть бы рукой по щеке

провел,— думал Олексин с тоской.— Почесался бы, что ли...»

Вошь на чистой щечке привлекала его внимание куда больше, чем та капелька, что частенько свисала с кончиков носов у виденных им прежде старичков-странников, с которыми Лев Николаевич часами вел беседы в Ясной Поляне. То было, в общем, чем-то обычным, к чему он вскоре притерпелся, сейчас же мерзкое насекомое невольно завораживало его, отвлекало, бесило, путало мысли. Он мог только поддакивать. До тех пор, пока громкий голос Толстого не вывел его из транса:

— Стало быть, солдаты в Болгарии мрут во искупление грехов наших? Когда же гекатомбу такую Бог потребовал? Где, укажите мне, где, в каком писании отмечено сие?

— Кто без креста, тот враг Божий,— ласково улыбался старец.— И благословен есть меч Христов.

— Христос призывал прощать врагов.

— Но не веры, не веры,— продолжал мягко улыбаться собеседник, и жирная, намертво всосавшаяся в розовую щечку вошь шевелилась вместе с кожей, точно принимая участие в этой ласковой, располагающей улыбке.— Враг веры Христовой без прощения и без спасения. Души у него нет, души. Душа, она при крещении вкладывается. И крест есть,— старец широко развел руками, показывая,— есть держатель души в плоти нашей грешной. Есть знак великий и символ.

— Значит, кто без креста, тот...

— То погано,— строго сказал пустынник.— Коль не закреплена душа в теле символом муки Христовой, так уйдет она со днями младенчества. Потому нехристь не человек есть, а подобие его. А православие есть правая сила Христова.

— Так выходит, что православные уж и не рабы Божьи, а как бы гвардия его? Православному, следовательно, все можно, все дозволено, и всегда он прав в делах своих? Правильно ли вашему рассуждению следую? Тогда где же свобода воли? Ведь крещение не освобождает от греха...

Василий Иванович не следил за началом разговора и не представлял, какую цель ставил Толстой. Хорошо зная графа, чувствовал, как копится в нем злое торжество, но не понимал его причин. Тем более что в последнее время Лев Николаевич очень страдал от прорывавшегося подчас сердитого раздражения, пытался обуздать свою нетерпимость, а тут — почти радовался. Закипал внутренне и радовался этому кипению: Олексин видел знакомые огоньки в глубоко запрятанных серых глазах.

— Кто к Богу ближе, тот и прав.

Старец улыбался неизменно ласково и покровительственно, словно заранее знал все ответы, прощал собеседнику заблуждения, а заодно и отпускал грехи. Однако не это приторное смирение и одновременно превосходство вызывало негодующее кипение Толстого. Причина была в неприятии им несложного набора истин, которыми оперировал старец.

— А магометане считают, что они к Богу ближе, и иудеи то же проповедуют, да и все прочие. Стало быть, религия разъединяет народы, а не объединяет их? Стало быть, под крестом ли, под полумесяцем или еще каким символом зло собрано, а не добро? Зло, добром себя полагающее?

— А дух смущен. Смущен дух.

— Смущен, потому что истины дух этот алчет, а его ложью кормят. Коли ученье ложью прикрывается, то лживо оно само. Коли приверженцев избранными полагают — ложь; коли на убийство себе же подобных призывают — ложь; коли спасение не в смысле учения видят, а в форме одной лишь — опять ложь. Разве Христос тому учил? Он учил, что все люди — братья: вот истина; он учил — не убий: вот истина; он учил любить, а не ненавидеть, прощать, а не мстить — вот смысл учения его.

На мгновение одно лишь замерла улыбка на губах старца. Но он совладал с собой, вновь благодушно и ласково распустив ее по лицу.

— Гордыня то. Гордыня тебя обуяла. Молись.

— Не благословляй, старик,— сурово сказал Толстой, вставая.— Руки твои мечи благословляют, а слова зло оправдать тщатся. Труп ты живой, а не мудрец. Пойдемте, Василий Иванович.

Толстой вышел первым, не оглядываясь. Не ожидая такой стремительности, Олексин замешкался и, ощущая виноватую конфузливость, остановился на выходе, чтобы поклониться. Оглянулся, увидел старца уже без улыбки, увидел и руку его, тянущуюся к левой щеке, где так уютно пристроилась вошь. И старец мгновенно заулыбался, закивал головой и стал широко крестить уходящих тою же рукой, что тянулась к зудящей левой щеке.

Лев Николаевич шагал быстро, и Олексин нагнал его уже в конце тропы, что вела от замшелого сруба старца к лесной дороге. Ожидал гневных речей в адрес изолгавшихся фарисеев или, наоборот, яростного приступа самобичевания, но Толстой встретил смехом, громким и немного злым.

— Ложь-то как сама собой упивается, а Василий Иванович? Беспредельно падение, коли знают все, что ложь

кругом, и упиваются ею, и глазом не моргнут, и правды уж и не боятся, а не понимают ее. Не приемлют более, будто ты на другом языке с ними говоришь. Ну? Что вы молчите?

— Неправда, не все изолгались.

— Конечно, не все,— весело согласился Толстой.— Коли бы все — завтра бы застрелился. Думал уж и об этом, дорогой Василий Иванович, думал. А поговорил вот с проповедником сим, во лжи плавающим, и понял, что не стоят они смерти моей. Нет, искать надо, что лжи этой ползучей противопоставить, искать, в чем она и как она ими спрятана, истина-то Христова.

— Проповедник оказался старым и неумным, Лев Николаевич,— сказал Олексин.— Живет он в своих представлениях и в своем времени, не понимая, что время его прошло. Старики обладают зловещей способностью задерживать в себе время, как в консервах.

— Не соглашусь, Василий Иванович, он умен, но умен зло, злым умом. А злой ум под себя гребет. Все — себе, и ничего другим, кроме грошовых поучений. И уж никогда не задать таким людям себе вопроса, от которого спасаются... либо вешаются.

— Какого же вопроса?

— Простого: зачем я? — Толстой помолчал.— Этот старик все правильно говорил, только наоборот, понимаете? Будто перед мыслями его стоял знак минуса. Вот и получилось у него, что Христос приходил в мир, чтобы разъединить людей по убеждениям и совести, что православный всегда прав, всегда, без исключения, во всех случаях жизни, что...— Он неожиданно замолчал. Потом спросил: — Америку свою помните еще? Вешали вас там. Простые люди, пастухи.

— Не вешали. Пытались и стращали.

— Пытались — и отпустили.— Толстой остановился, пытливо посмотрел на Олексина.— А почему? Не потому ли, что не сопротивлялись вы? Не сопротивлялись, вот вас и отпустили с миром. А коли бы сопротивляться надумали?

— Их много было,— улыбнулся Василий Иванович.— Какое уж там сопротивление.

— Нет, не потому! — вдруг громко крикнул Толстой.— Не потому, Василий Иванович, не потому!

Он вновь быстро зашагал по тропе. Где-то близко, за кустами, шумно вздохнула лошадь: на дороге дожидался Илья Самсонович.

— А вошь на щеке заметили? — Лев Николаевич обернулся к Олексину и весело расхохотался.— Жирную такую, здесь, на щеке? Заметили? Затем и посадил, чтобы мы заметили: она ведь дохлая, вошь-то эта. Он ее для приемов

сажает, как орден. Вот ведь до чего изолгаться можно, коли не по правде живешь! До мертвой вши вместо ордена. Потому что без веры, Василий Иванович, без истинных убеждений человек превращается в животное. Да не в простое, а в государственное. В государственное животное, так-то вот, дорогой мой нигилист, так-то вот.

3

В то время как русские войска стягивались к Дунаю, Кавказская армия уже пересекала границу Османской империи. Передовые части ее по горным, раскисшим от тающих снегов дорогам, почти без боев вышли на линию Баязет — Ардаган, волоча на себе увязавшие в грязи по ступицы орудия и повозки.

Этот театр военных действий хорошо был знаком по войнам 1828 и 1854 годов. Знакомы были крутые, узкие дороги, караванные тропы, перевалы и ущелья, укрепив которые, турки могли надолго задержать продвижение наступающих войск. Чтобы воспрепятствовать этому, командир специально сформированного корпуса генерал от кавалерии Михаил Тариэлович Лорис-Меликов с благословения главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича наступал по трем направлениям. Действовавший на левом фланге Эриванский отряд генерал-лейтенанта Тергукасова получил задачу овладеть городом и крепостью Баязет, а в даьнейшем во взаимодействии с главными силами наступать по Алашкертской долине к Эрзеруму.

— Знакомый путь, знакомый,— говорил Тергукасов на военном совете, расхаживая по штабной палатке.— Две особенности прошу припомнить и не забывать.

Генерал был невелик ростом и не любил сидеть, когда сидели подчиненные. Он всегда оставлял за офицерами право личной инициативы, но учил принимать во внимание не только военные соображения.

— Мирное население этой местности — малоазиатские христиане. На нас они уповают как на спасителей своих, и не учитывать сего невозможно: это первое. Второе — горы заселены курдскими племенами, воинственными и разбойными. Коли нейтралитет соблюдут — удача, однако требую крайней осторожности. В ссоры не вступать, стариков не оскорблять, скот, имущество и женщин не трогать. Карать за нарушение сего приказа. Карать прилюдно, сурово и незамедлительно собственной властью каждого командира.

Мы несем свободу, господа, миссия наша священна, и дела наши, как и помыслы, должны быть святы и благородны.

Курды внимательно следили за продвижением русских, но ни в переговоры, ни в схватки не вступали. Русские держались дорог и селений, в горы не поднимались и исконно курдских территорий не занимали. Обе стороны настороженно блюли вооруженный нейтралитет.

— Ну абреки,— вздыхал подполковник Ковалевский, встречая гарцующих на склонах всадников.— Ну не приведи Господь. Голубчик, Петр Игнатьич, не поторопите ли обозы? Растянулись, отстали. Да заодно и санитаров...

В санитарном отряде ехала Тая. Гедулянов и без просьб Ковалевского старался не спускать с нее глаз, навещал, просил не отходить за цепь разъездов. А командиру Хоперской сотни, что несла арьергардную службу в тыловой колонне 74-го Ставропольского полка, сотнику Гвоздину сказал:

— Головой за нее отвечаешь.

Сотник недобро усмехнулся в прокуренные усы, но слова принял к сведению. Капитана Гедулянова знали все.

18 апреля Тергукасов вступил в Баязет. Оборонявшие его турецкие войска без боя отошли в горы Ала-Дага, несмотря на категорический приказ командующего Анатолийской армией Мухтара-паши во что бы то ни стало удержать город. Вечером того же дня генерал вызвал к себе подполковника Ковалевского.

— Удирают,— с неудовольствием сказал он в ответ на поздравления Ковалевского со взятием Баязета.— А я бить их пришел, а не по горам бегать. Следовательно, должен настигнуть. Настигнуть и сокрушить. А настигнуть с тылами да госпиталями не могу, и посему решил я здесь все оставить и преследовать налегке.

— А курды, ваше превосходительство? — спросил осторожный подполковник.

— Потому вас командиром и оставляю,— сказал Тергукасов.— Курды покорность изъявили, но вы — старый кавказец.

— Старый, ваше превосходительство,— вздохнул Ковалевский.— Слыхал я, полковник Пацевич прибывает?

— Старшим — вы,— сурово повторил генерал.— Пацевич кавказской войны не знает, а хан Нахичеванский — глуп и горяч, хотя и отважен.— Он помолчал, глянул на Ковалевского из-под густых, сросшихся на переносье армянских бровей.— Курды — забота. Может, торговлю с ними? Посмотрите турецкие трофеи. Торгующий враг — уже полврага.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Надеюсь на вас, крепко надеюсь. Ежели Баязет отдадите, я в капкан попаду.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— еще раз сказал подполковник.

На следующий день Ковалевский обследовал захваченные турецкие запасы, выделил для продажи курдам и населению соль, муку и армейские одеяла и поручил торговлю прапорщику Терехину. Терехин уговорил маркитантов и местных купцов развернуть на базаре оживленную торговлю. Курды быстро узнали об этом и стали группами появляться в городе, посылая в большинстве случаев стариков и женщин с небольшой охраной — скорее почетной, чем боевой.

Офицеры бродили по узким и крутым улочкам города, пили в кофейнях густой кофе, курили кальяны да осматривали цитадель — главную достопримечательность Баязета. Цитадель представляла собой порядком запущенный огромный замок, стоящий на уступе скалы над городским базаром. Однако долго осматривать ее не пришлось: вскоре прибыл капитан Федор Эдуардович Штоквич — человек угрюмый, неразговорчивый и обидно резкий.

— Начальник военно-временного нумера одиннадцатого госпиталя Тифлисского местного полка капитан Штоквич,— представился он Ковалевскому.— Назначен комендантом цитадели вверенного вашему попечению города. Поскольку там отныне будет размещаться госпиталь, все посещения цитадели запрещаю, о чем и ставлю вас в известность.

Капитан Штоквич смущал добродушного подполковника скрипучим голосом, недружелюбием и странной манерой смотреть в центр лба собеседника. Ковалевский чувствовал себя неуютно и с трудом сдерживался от желания почесать место, куда устремлялся жесткий взгляд начальника госпиталя.

— Хорошо, хорошо,— он поспешно покивал и, страдая от просьбы, добавил: — В моем распоряжении оставлены младший врач Китаевский и милосердная сестра при двух санитарных фурах. Не угодно ли вам, капитан, допустить их в цитадель, дабы все санитарные...

— Сестра милосердия — ваша родственница?

— Дочь,— виновато признался Ковалевский.— Изъявила добровольное желание, имеет документ.

— Включу на общих основаниях,— сухо сказал Штоквич.— Милосердной сестре будет, естественно, предоставлено право беспрепятственного выхода из цитадели.

— Спасибо вам, спасибо,— заспешил подполковник, чуть ли не раскланиваясь.

В тот же день Тая перебралась в цитадель. До этого она один раз была там вместе с капитаном Гедуляновым, но крепость ей не понравилась, и осматривать ее они не стали. Посидели в переднем дворе, где приятно журчала вода в бассейне, заглянули во внутренние дворики — также тесно зажатые мощными стенами, с множеством дверей и проходов, также вымощенные каменными плитами, только без бассейнов — и ушли. Теперь ей предстояло здесь жить, и ослушаться приказа она не могла.

Комендант цитадели выделил ей две комнатки во втором внутреннем дворе, приказал обставить всем необходимым и даже допустил излишество в виде двух ковров и старого помутневшего зеркала. Исполнив это, от знакомства уклонился, и Тая видела его лишь издали. Даже записку о беспрепятственном выходе из крепости ей передал младший врач 74-го Ставропольского полка Китаевский.

Максимилиан Казимирович Китаевский был человеком тихим, старательным и неизменно ласковым со всеми без исключения. С неимоверными трудностями получив образование, дорожил должностью и службой, позволявшей ему кое-как содержать большую семью, был исправен во всем, но угождать не умел и не стремился. Не имея частной практики, бескорыстно помогал бедным казакам, горцам и бродячим цыганам, чем и снискал себе в полку уважение пожилых офицеров. Он не то чтобы дружил с Ковалевским, но бывал у них, знал Таю с детства, а несчастье с ней воспринял с особой болью, поскольку имел дочь и племянницу того же возраста. И по дороге к Баязету, и в цитадели он неизменно опекал ее, любил вечерами пить с ней чай, рассказывать прочитанное или случаи из жизни, кои полагал поучительными.

В госпитале было скучно. Больных и раненых в деле почти не числилось, забот у Таи пока не было; читала книги и журналы, которые добывал Гедулянов, каждый день навещала отца да пила длинными вечерами чаи с младшим врачом Китаевским.

— Читал я в юности одну книжечку,— плавно журчал Максимилиан Казимирович, по-домашнему, с блюдечка, прихлебывая чай.— Запамятовал название уж, но суть не в названии, а в мыслях, кои содержала она. Человек у огня живет, а без оного жить не может, так-то, помнится, в ней говорилось. И огонь тот женщина хранит, дочь от матери его зажигает, мать дочери передает из века в век от времен библейских...

Китаевский говорил тихо, не мешая думать, и Тая — думала. Неизменно от веселых войсковых побудок до груст-

ных вечерних зорей думала, где же он сейчас, этот странный, издерганный, мучительно дорогой ей Федор Олексин. Как добрался до Кишинева, сумел ли попасть в действующую армию, нашел ли дорогу к столь необходимому для него Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. И не заболел, не простудился ли, не ранен ли шальной гранатой, не обманут ли людьми холодными и жестокими. Эти последние думы были особо тревожными: Тая знала, что Федор еще не очерствел душою, что мучается и ищет, что склонен он к поступкам неожиданным и, главное, несмотря ни на что, верит людям безоглядно, а разобраться в них, как и в себе самом, еще не может. Просыпаясь, она думала, где и как просыпается сейчас Федор, хорошо ли он спал, найдется ли у него еда на утро и деньги на обед. И днем беспрестанно думала о нем, пытаясь представить, где он и что с ним, а засыпая, всегда благословляла его сон и покой и чуточку, словно украдкой от самой себя, мечтала. Совсем немного мечтала, пока не заснет.

Так продолжалось до начала лета. А утром того 4 июня подполковника Ковалевского разыскал командир хоперцев сотник Гвоздин.

— Плохие новости, господин подполковник.

Ковалевский пил чай на низенькой веранде. Молча поставив стакан, натянул сапоги, надел сюртук, скинутый по случаю жары.

— Так. Что за новости?

— От генерала прибыл лазутчик. Из местных армян, что ли.

— Передайте полковнику Пацевичу, хану Нахичеванскому и... коменданту цитадели капитану Штоквичу, что я прошу их прибыть ко мне незамедлительно и непременно. А лазутчика — сюда, сотник. Да казака к окнам. Не болтливого.

Сотник хлопнул плетью по запыленным сапогам и вышел за глухой глиняный дувал. Ковалевский торопливо допил чай и дождался лазутчика на веранде: хотел видеть, как идет, на что смотрит. Но вошедший во двор черноусый молодой человек был озабочен и по сторонам не глядел.

— Ты кто?

— Драгоман его превосходительства генерала Тергукасова Тер-Погосов. Определился на службе по выступлению из Баязета.

Тер-Погосов стоял свободно, отвечал точно и кратко, и это нравилось Ковалевскому.

— Ты местный?

— Я родился в Баязете, но учился в Москве.

— Где же?

— В Лазаревском институте, господин полковник.

— Простите,— смешался Ковалевский.— Извините старика: любопытен. Посланы генералом?

— Да,— переводчик оглянулся, понизил голос.— По Ванской дороге к Баязету движется отряд Фаика-паши. Турок свыше десяти тысяч при шестнадцати орудиях.

— Господи...— растерянно выдохнул подполковник.

— Еще не все. Курды нарушили перемирие и тоже идут сюда. Генерал приказал передать вам два слова: «Жди. Вернусь». Передаю точно.

— Почему же... Почему ждать-то, голубчик?

— Генерал отступает к Игдырю.

Ковалевский снял фуражку, долго вытирал взмокший череп большим носовым платком. В Баязете вместе с тылами и обозниками оставалось никак не более полутора тысяч штыков и сабель да батарея в два четырехфунтовых орудия.

4

— Змея! Змея, братцы, глядите!

— У, гадина!..

— Не быть добру...

— Точно, братцы, к беде это. К беде...

Потревоженная тяжким солдатским топотом, длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, рота невольно замедлила шаг, ряды смешались.

— Да хвати ты ее прикладом! — зло крикнул Гедулянов.

Его куда более тревожило узкое кривое ущелье, по которому второй час шел рекогносцировочный отряд полковника Пацевича. Нарушившие перемирие курды — а в том, что курды взялись за оружие, у капитана сомнений не было — могли обойти отряд поверху и запереть в неудобном для боя дефиле. Он все время озирался по сторонам, но крутые склоны закрывали обзор, а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном, застоявшемся воздухе, глушил все шумы.

И подполковник Ковалевский, и он были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, приказывать старшему по званию не решался, а спорить не умел.

— Мы разгоним этот сброд тремя залпами! — распалясь, кричал Пацевич.

Штоквич сразу устранился от обсуждения и лишь недобро усмехался. Ковалевский страдал от смущения и привычной застенчивости, не осмеливаясь расстегнуть душивший его ворот сюртука. Хан Нахичеванский лениво дремал, а Пацевич, восторгаясь собственной решимостью, наседал и наседал:

— Наша задача — обеспечить усмиренный тыл генералу Тергукасову, господа. Я имел честь сражаться с регулярными войсками, а уж с дикарями... Стыдно сомневаться, господа, стыдно не уповать на могучий дух русского солдата.

— Совершеннейшая правда,— с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая.— Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег, я числюсь по санитарной части.

— Хорошо,— страдальчески морщась, сказал Ковалевский.— Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в Баязете делать нечего. Прошу подчинить мне все части 74-го Ставропольского.

— Прекрасное решение! — воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке.— Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «ура»!

Ночь выдалась холодной, спать не пришлось, готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же: чтоб не разорвали цепь, чтоб не стреляли без команды, чтоб заходили шеренгой...

— И чтоб не бежал никто, слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пяться, ежели жать сильно станут, но лицом к нему пяться, штыком его держи.

Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас в сыром воздухе ущелья колотило так, что капитан стискивал зубы. А крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода.

Навстречу из-за поворота вырвался казак. Нахлестывая нагайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утесы.

— Стой! — крикнул Гедулянов.— Куда?

— К полковнику Пацевичу!

— Стой, говорю! — капитан успел поймать за повод, резко осадил коня.— Что?

— Курды! — жарким шепотом дыхнул хоперец.— Курды на выходе. Гвоздин сотню спешил, огнем держать будет.

— Рота... бегом! — надувая жилы, закричал Гедулянов.— Бегом, ребята, за мной!

И отпустив казака,— он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен; сейчас одно нужно было: успеть к выходу из

ущелья, пока курды не смяли Гвоздина,— побежал. За ним, тяжко топая и бренча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп: казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны.

Роты вырывались из ущелья в долину, зажатую подступающими со всех сторон горными склонами, и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, что делать в подобном случае, Пацевич почему-то оказался в хвосте колонны, а впереди, охватом, на горных склонах гарцевали, сверкая оружием, всадники в развевающихся ярких одеждах.

— Ростом, занимай правый фланг! — надсадно кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся.— Терехин, держи центр! Не ложись, ребята, стой во фронте, а штык изготовь! Сомнут, коли заляжем, сомнут!..

За первыми ротами на смирной лошадке неторопливо выехал Ковалевский. Остановился поодаль, чтобы не мешать ротам разобраться, поговорил с сотником Гвоздиным, искоса поглядывая, как, горячась, строит роту Ростом Чекаидзе, куда отвел своих Гедулянов и ладно ли в центре у Терехина.

— Спокойно, братцы, спокойно! — крикнул он.— Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй да командира слушай.

Он кричал, перекрывая шум и говор, но кричал по-домашнему, мирно, и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд: солдаты подобрались, заняли места, и весь жиденький фронт упруго ощетинился штыками.

Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторые и третьи линии, курды по-прежнему гарцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хоперцев, и все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие боя, противники ждали действий друг друга, и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошептался с Гвоздиным, и тот начал отводить казаков из аванпостной линии к скалам, где коноводы держали лошадей на поводу.

— Бог даст, постоим да и разойдемся,— негромко сказал подполковник Гедулянову.— Главное дело — их под руку не подтолкнуть. Я Гвоздину велел назад поспешать на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали, да сейчас не проскочишь, свои покуда мешают.

Полковник Пацевич появился с последними полуротами. Наспех оглядевшись, подскакал к Ковалевскому.

— Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей! Залпами, залпами!

— Господин полковник, я прошу ничего...— умоляюще начал подполковник.

— Господа офицеры! — закричал Пацевич, вырывая из ножен саблю.— Стрельба полуротно залпами...

— Господин полковник, отмените! — отчаянно выкрикнул Ковалевский.

— Приказываю молчать! За неподчинение...

Все смешалось после первого залпа. Свободно гарцевавшие по склонам курды мгновенно перестроились, словно только и ждали, когда русские начнут. В центре они тут же открыли частую беспорядочную стрельбу, лишь демонстрируя готовность к атаке, а фланговые группы с дикими криками помчались вниз на топтавшийся у горла ущелья русский отряд.

— Гедулянов!..— странным тонким голосом выкрикнул Ковалевский.

Он приник к лошадиной шее, прижав правую руку к животу. И из-под этой, правой руки текла густая черная кровь.

— Ранены? Вы ранены? — подбегая, крикнул Гедулянов.

— Не кричи, не пугай солдат...— с трудом сказал подполковник.— Отходи в ущелье. По-кавказски отходи, перекатными цепями. А меня... на бурку. В живот пули. Жжет. Отходи, Петр, солдат спасай. Не мешкая отходи...

— Ставропольцы, слушай команду! — перекрывая ружейную трескотню, конский топт и гиканье атакующих курдов, закричал Гедулянов.— Перекатными цепями! Пополуротно! Отход!

— Как смеете? Как смеете? Под суд! — надрывался Пацевич, по-прежнему зачем-то размахивая саблей.— Запрещаю!

— Я своими командую,— резко сказал Гедулянов.— Мои со мной пойдут, а вы, если угодно, можете оставаться.

В рекогносцировочном отряде было три роты ставропольцев, по сотне уманских и хоперских казаков и рота Крымского полка. Гвоздин уже увел хоперцев, а командир уманцев войсковой старшина Кванин сказал как отрезал:

— Казаков губить не дам.

Сам отход — бег, остановка, залп, бег, остановка, залп — Гедулянов помнил плохо. В памяти остались бессвязные куски, обрывки криков, команд, нескончаемый грохот залпов да истошные крики наседающих курдов. Пацевич окончательно растерялся, что-то орал — его не слушали. Солдаты уже поняли, как надо действовать, чтобы курды не рассекли

на части живой, ощетиненный, точно еж, клубок, покатившийся к Баязету, и в командах не нуждались.

Так и выкатились из дефиле. Вырвались и покатились под уклон, все убыстряя бег и уже забывая о цепях. Началось бегство, и курды вырезали бы всех, если бы не казаки, принявшие на себя их сабельный удар. Их бы тоже смяли и вырезали, да Штоквич, услышав катящуюся над городом пальбу, загодя выслал резерв: роту Крымского полка. Укрывшись в балке, крымцы пропустили своих и с двадцати шагов дружно ударили залпом по лаве атакующих курдов.

Гедулянов вошел в цитадель, когда втянулись все, кто уцелел. К тому времени ворота уже были закрыты и оставалась только узкая калитка, к которой пришлось пробираться через разбросанные тюки, тряпки, одеяла, ковры. Снаружи вход охраняли солдаты, а внутри, у самой калитки, стоял Штоквич. Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадировали ворота изнутри.

— Все прошли?

— Мои все,— сказал Гедулянов.— Почему вещи валяются?

— С вещами не пускаю,— скрипуче сказал комендант.— Армяне из города набежали, боятся, что курды вырежут.

— Ковалевский как?

— Не знаю, я не врач. Извольте принять под свою ответственность первый двор и прилегающие участки.

— Вы полагаете...

— Я полагаю, что нам следует готовиться, капитан. На Красные Горы вышли черкесы Гази-Магомы Шамиля. Уж он-то случая не упустит, это вам не курды.

5

Утром 26 июня полусотня донцов под командованием есаула Афанасьева с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами, городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам чуточку пошуровать по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный городок.

— Было три калеки с половиной,— с нарочитой донской грубоватостью доложил он командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину.— Разогнал, братушки рады-радешеньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила Кавказская бригада Тутолмина, крестами позвякивало с особой отчетливостью. Генерал Криденер считал награды первоочередной задачей боя, о чем любил говорить с солдатами. Он остро завидовал Гурко, получившему задачу овладеть перевалами и ворваться в Забалканье, зависти этой не скрывал, а того, что задумал сам, не сообщал никому, даже личному другу генерал-лейтенанту Шильдер-Шульднеру, командиру 5-й пехотной дивизии.

Мысль, что его, Николая Павловича Криденера, барона, обошел — не перед историей, так перед государем — какой-то белорус Гурко, была мучительна своей необъяснимостью. Николай Павлович был старше почти на два десятка лет, считал себя образованнее и — что являлось решающим в данном случае — обладал боевым опытом и имел Золотую саблю. Правда, злые языки утверждали, что надпись на этой сабле следует читать «За усмирение», ибо получена она была при подавлении польского восстания, где от Криденера требовалась не столько храбрость, сколько беспощадность. Но что бы там ни говорили, а Гурко и этим похвастаться не мог, и из всех его заслуг Криденер выделял лишь лихую джигитовку на бешеном карьере в присутствии государя.

— Кентавр,— говаривал он, усмехаясь в усы.— А Второй — халатник.

Под «Вторым», произносимым так, что чувствовалась заглавная буква, Криденер разумел Скобелева-младшего. Николай Павлович сызмальства не верил ни в талант, ни в призвание, ни в озарение, уповая лишь на личный опыт и, следовательно, на возраст, поскольку арифметика была простой: чем дольше живешь, тем больше видишь. А в арифметику он верил свято, и для него дважды два всегда, во всех случаях жизни, равнялось четырем.

Задача, полученная им,— «сдерживать противника, только сдерживать!» — казалась ему до обидного незначительной. Он долго изучал карту, дотошно вымерял расстояния, прикидывал возможности и весьма скоро уверовал в то, что в штабе главнокомандующего на эту карту должным образом не смотрели. Его Западный отряд находился ближе к сердцу Болгарии — к Софии,— а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой войне. Пусть себе «Кентавр» рвется к перевалам (все равно турки не дадут ему проникнуть в Забалканье), пусть отвлекает на себя противника, пусть путает карты — все это на руку его Западному отряду. В точно рассчитанное время он с цифрами в руках доложит великому князю главнокомандующему (Непокойчицкого здесь надо обойти), с цифрами

в руках убедит его в своей правоте и неожиданно для неприятеля ринется через горные проходы к Софии.

Идея была ясна, но мешал Никополь, повисший на левом фланге,— Виддин Криденер в расчет не брал, полагая, что турки не рискнут снять войска с румынской границы при явных русофильских настроениях румынского народа. А Никополь с его восьмитысячным гарнизоном и более чем сотней орудий был угрозой реальной, избавиться от которой следовало немедленно, дабы развязать себе руки для предстоящего победоносного марша.

— Штурмовать эту развалюху? — с недоумением спросил начальник штаба IX корпуса генерал-майор Шнитников.— Турки сами готовы ее бросить, Николай Павлович, не сыграем ли мы им на руку?

Криденер не терпел возражений, коли решение им было уже принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче что и командир 5-й дивизии Шильдер-Шульднер горячо высказался за немедленный штурм. Взятие первой турецкой крепости обещало ордена, славу и одобрение свыше, почему никто и не спорил, хотя в целесообразности этой операции сомневались многие. Лишь прикомандированный к Западному отряду генерал-майор свиты его величества граф Толстой открыто и нервно сопротивлялся:

— Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

— Наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, граф. Не учите пирожника печь пироги.

— Однако, Николай Павлович, не следует при этом забывать о всей массе неприятельских войск. В Виддине сосредоточены крупные турецкие силы. Даже если мы и возьмем Никополь, угроза не уменьшится.

— Вы прибыли за орденом, граф? После падения Никополя я вам предоставлю такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать никакого участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось: он капитулировал после артиллерийской бомбардировки. Но при прорыве полевых укреплений турок Криденер потерял свыше тысячи солдат и офицеров. Шесть знамен, пушки и семь тысяч пленных во главе с двумя генералами были наградой за понесенные жертвы.

Отстраненный от всякой деятельности, Толстой в сражениях участия не принимал, глубоко переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу,

писал реляции и приводил в порядок войска, граф одному ему ведомыми путями узнал то, чего внутренне так опасался.

— Турки начали перебрасывать войска из Виддина в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно отдать приказ Кавказской бригаде занять Плевну. Пока не поздно. Пока еще не поздно, Николай Павлович.

Отправить Кавказскую бригаду Тутолмина в Плевну означало для Криденера ослабить собственный отряд. Пойти на это добровольно он не мог: ему все еще мерещился победоносный марш на Софию.

— Я обещал вам, граф, предоставить возможность отличиться. Так вот, будьте добры сопроводить в Главную квартиру коменданта Никополя Гассан-пашу. Думаю, что его величество по достоинству оценит вашу исполнительность.

— Николай Павлович, я понимаю, что неприятен для вас, и тем не менее я настоятельно прошу...

— Коляска и конвой ждут.

— Ваше превосходительство, я умоляю...

— Вас ждут коляска, конвой и пленный паша. Поторопитесь, граф, я вас более не задерживаю в Западном отряде.

Выведенный из равновесия упрямством Криденера, Толстой загнал коней, измучил конвой, довел себя до нервного приступа по пути к болгарской деревушке Павел, где располагалась Главная квартира. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего графа, сам Толстой, покрытый пылью и грязью, еле держался на ногах и почти не мог говорить, и только пленный комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора; он тут же велел увести пленного и стал расспрашивать Толстого о подробностях взятия Никополя.

— Ваше величество, это авантюра,— хрипло, с трудом сказал Толстой.— Из Виддина в наш тыл перебрасываются свежие таборы. Я знаю об этом достоверно, мне сообщили высокие румынские офицеры.

— Ты, видимо, устал,— с неудовольствием сказал Александр.— Это блестящая победа нашего оружия. Турецкий главнокомандующий и его начальник штаба смещены с постов и отданы под суд. Такова паника, какую вызвал Криденер в Константинополе.

— Ваше величество, велите немедля занять Плевну,— еле шевеля языком не только от усталости, но и от нервного потрясения сказал Толстой.— Нельзя терять ни часа, ваше величество.

— Благодарю тебя за труды, граф, они будут отмечены.

Ступай, отдохни и... и выезжай в Россию. Здесь ты мне более не понадобишься.

Граф Толстой отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден Святого Георгия III степени. Однако вместе с поздравлениями от Артура Адамовича Непокойчицкого пришло и телеграфное предписание озаботиться городишком Плевной, в котором, по слухам, находятся четыре табора низама, два эскадрона сувари и черкесы при неизвестном, но вряд ли значительном количестве артиллерии. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк и, скрепя сердце, выслал к досадной плевненской занозе отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера числом в семь тысяч штыков и чуть более полутора тысяч сабель при сорока шести орудиях.

Отряд шел как на усмирение, не утруждая себя ни разведкой, ни дозорами. Справа от основной группы — Архангелогородского и Вологодского полков — двигались костромичи, усиленные двумя сотнями кубанцев, еще правее — 9-й Донской казачий полк, а левый фланг прикрывала Кавказская бригада Тутолмина. Колонна растянулась, обозы и летучие парки отстали, и все — от старших командиров до каптенармусов — мечтали как можно скорее достичь Плевны, вышибить дух из турок, отдохнуть и вернуться к Никополю, дабы не опоздать к моменту славного броска к сердцу Болгарии.

— Плевна какая-то, эка невидаль! Мы Никополь взяли, а уж Плевну-то эту...

— Только зря время теряем, господа. Послать бы сюда казачков.

— А за «плевок» этот Георгиев не жди. Это уж точно, братцы.

Уже на подходе к Плевне, о гарнизоне которой командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлек навстречу русским вышел пожилой болгарин. Стал на дороге, крестом раскинув руки:

— Турки в Плевне, братушки! Много пашей, много таборов, много пушек!

— Вот мы и пришли их бить,— сказал командир архангелогородцев полковник Розенбом.— Скажи братушкам, пусть завтра в Плевну побольше мяса везут: победу праздновать будем.

Мяса в Плевне хватило: в половине седьмого утра Иоганн Эрикович Розенбом, во главе своих архангелогородцев ворвавшийся-таки в Плевну, был убит наповал у первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее, а тогда и турок-то никаких еще не было видно, и не про-

гремело еще ни одного выстрела, а усталость уже покачивала солдат. И потому на предостережение никто не обратил внимания, передовые части миновали деревушку, а когда стали спускаться в низину Буковлекского ручья, с Опанецких высот полыхнул первый залп.

— Наконец-то! — радостно крикнул командир артиллеристов генерал Пахитонов.— Разворачивайся с марша, ребята, и — пли. Пли!

Стрелки рассыпались в цепь, открыв частую стрельбу. Под их прикрытием Пахитонов развернул батареи, пехотинцы перестроились с маршевых в боевые колонны, русские пушки тут же начали ответный огонь. И тут же растерянно замолчали: их снаряды рвались на скатах, не достигая турецких позиций, а турки по-прежнему били по колоннам.

— У них стальные крупповские орудия,— с завистью сказал командир батареи, первой открывшей огонь.— Как прикажете далее, ваше превосходительство?

— Далее замолчать,— угрюмо распорядился Пахитонов.— Берите на передки и скачите на дистанцию действительного огня.

Однако бой уже утратил развитие. Противник не атаковал, ограничиваясь артиллерийским огнем, сообщений от костромичей и кавказцев не поступало, полки были утомлены переходом, и Шильдер-Шульднер счел за благо заночевать. Огней не разводили; спали, где легли, укутавшись в шинели и обняв ружья. И сразу же прекратилась канонада.

Костромской полк тоже обстреляли на марше, но осторожный его командир полковник Клейнгауз в бой вступать не стал, а выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам, казаки тенями скользнули по балочкам, обошли врага и через полтора часа доложили Клейнгаузу, что за Гривицкими высотами расположен большой турецкий лагерь, который противник спешно укрепляет земляными работами. Оценив сообщение, полковник прикрылся цепью разъездов и секретов, приказал костромичам отдыхать без костров и куренья, отправил донесения по команде и стал терпеливо ждать рассвета, завернувшись в шинель, подобно своим солдатам.

Однако вздремнуть ему не пришлось: прискакал командир 9-го Донского полка полковник Нагибин. Принимать гостя было нечем, да и не ко времени; выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал приглушенно еще на ходу:

— Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки собственной охотой поиск

произвели. По их словам, за Видом противника — колонн восемь, если не больше. С артиллерией, котлами и бунчуками.

— Моих, Нагибин, добавьте, что кубанцы за Гривицкими высотами обнаружили. Да еще тех, которые Шильдера обстреляли.

— Вот-вот, Игнатий Михайлович. Мы-то считали, что в Плевне от силы четыре табора, которые Атуф-паша из-под Никополя увел. А тут получается...

— Получается, что нужно уходить,— не дослушав, сказал Клейнгауз.— Уходить немедля и без всякого боя.

— За тем и прискакал, Игнатий Михайлович. Надо бы Шильдеру разъяснение — это на себя приму. А вы Криденера уведомите, что Плевна уже не «плевок», как он говаривал, а — орешек.

— Главное беспокойство — разбросаны мы очень, веером дамским наступать вздумали,— вздыхал Клейнгауз.— Нет, нет, вы правы, вы совершенно правы.

Ни отправить докладных записок, ни даже написать их полковники не успели. Уже в темноте от Шильдер-Шульднера прибыл нарочный с приказом атаковать Плевну концентрическими ударами с севера — Архангелогородскому и Вологодскому полкам; с востока — Костромскому полку; с юга — Кавказской бригаде Тутолмина. 9-му Донскому полку предписывалось прикрывать правый фланг, а общее выступление назначалось на четыре утра. Срок заведомо недостижимый, ибо для того чтобы костромичам, донцам и кавказцам выйти на исходные рубежи, требовалось проделать путь, втрое, а то и вчетверо превышавший марши главных сил.

Но это был приказ, и все сомнения исключались. Нагибин, нахлестывая коня, помчался к себе, а Клейнгауз, сыграв тревогу, приказал оставить на месте ночевки ранцы, шинели и обоз и бегом поспешать туда, где полагалось быть полку к началу всеобщего «концентрического» наступления.

Время рассчитали из рук вон плохо, если расчетом времени вообще кто-либо занимался. Толковых штабных офицеров в армии не хватало, но генералов, привыкших полагаться на собственные представления о вчерашних войнах, в России всегда было больше. Даже вологодцы с архангелогородцами изготовились для боя не к четырем, а на час позже, рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали сабли из ножен, солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложа винтовок, и полки без выстрела пошли в атаку на занятые турками высоты, со всех сторон окружавшие Плевну. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу

и ярость. И взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для дикой Азии знаменитым русским «ура!».

Ни турецкие стрелки, ни стальные орудия Круппа, осыпавшие атакующих гранатами на всех дистанциях атаки, не смогли сдержать натиска русских полков. Солдаты неудержимо рвались к высотам, и турки, вяло посопротивлявшись, отошли за линии последних ложементов. Архангелогородцы взлетели на гребень и скрылись за ним, и бой стал удаляться, откатываясь к окраинам Плевны. На одном неистовом реве сотен пересохших глоток поредевшие батальоны скатились к первым домам. Победа была в руках: каждый солдат чувствовал уже ее ртутную тяжесть; казалось, еще совсем немного, еще один удар, пять шагов, две штыковых и... И свежие батальоны турок с двух сторон неожиданно бросились в штыки. Был убит командир полка полковник Розенбом, турецкая картечь кусками рвала русские ряды, и не шла подмога, и ждать ее было бессмысленно: все резервы уже втянулись в бой. Поручик Погорельский во главе роты короткими атаками сдерживал турок, пока архангелогородцы, подобрав раненых, не откатились за высоты. А остатки роты Погорельского и сам поручик из боя вырваться уже не смогли и легли все как один, повинуясь законам Отечества.

Пока архангелогородцы медленно пятились от Плевны, Вологодский полк после многочисленных бесплодных атак все же сбил противника с высот, отбросил к городу и вот-вот должен был на его плечах ворваться следом. Но был ранен командир бригады генерал Кнорринг, от бившихся у Опанца спешенных казаков пришло донесение, что турки обходят правый фланг, и принявший начальствование над бригадой генерал Пахитонов приказал отходить. Усилиями донцов, вологодцев и последней резервной батареи неприятеля отбросили на прежние позиции, отряд Шильдера был спасен от полного разгрома, но сил больше не было.

Поднятые раньше всех по тревоге костромичи налегке совершили марш и вступили в бой ненамного позднее основного ядра. Им предстояло пройти длинным, пологим, открытым со всех сторон скатом к Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле белыми рубахами павших. Здесь перед костромичами открылись три линии турецких окопов, ощетиненных огнем и штыками; перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку с хода. Две линии окопов костромичи взломали единым порывом, когда смертельно раненным пал командир полка. Майоры Цеханович и Гринцевич были уже убиты, батальоны расстроены штурмом, и

спереди била в упор третья линия турецкой обороны. А полк затоптался, теряя порыв и ярость.

— Знамя,— еле слышно сказал Клейнгауз,— знамя — вперед...

Он умирал на руках подпоручика Шатилова, и подпоручик понял его последний приказ. На мгновение прижался лбом к залитой кровью груди командира, осторожно опустил тело на землю и вскочил. Кругом все гремело, выло и стонало, и никто уже не слушал команд. Шатилов в дыму и толчее разглядел знаменосца, бросился к нему и вырвал знамя.

— Ребята! — он понимал, что кричит последний раз в жизни, и уже ничего не жалел и не щадил.— Ребята, коли меня оставите, то и знамя погибнет! Не выдавайте, братцы!

И побежал вперед, к турецким окопам, неся знамя наперевес, как ружье. И упал, не добежав, с разбега уткнувшись простреленным лицом в тяжелый шелк. Остатки полка бросились к упавшему знамени столь дружно и неистово, что турки, не принимая боя, спешно бросили окопы и откатились к Плевне.

В то время как архангелогородцы гибли у первых плевненских домов, 9-й Донской полк в пешем строю отбивал атаки турок на правом фланге, а костромичи истекали кровью на Гривицких высотах, Кавказская бригада Тутолмина — основная ударная сила и подвижной резерв Шильдер-Шульднера — бестолково металась по заросшим кустарником низинам в районе Радишева. В полосе ее наступления оказался глубокий Тученицкий овраг, о существовании которого почему-то никто не подозревал, пока полковник Тутолмин не уперся в него. Вокруг уже гремел бой, турки поодиночке били разрозненные полки, а кавказцы все еще лихорадочно искали возможность буквально исполнить явно невыполнимый приказ Шульдера. И только когда с Гривицкого гребня стал пятиться Костромской полк, Тутолмин наконец прекратил бесплодные поиски путей к Плевне и во весь дух помчался к Гривице.

Костромичи отступали без выстрелов: патроны кончились, а запасы их оставались на месте ночлега вкупе с шинелями, ранцами и обозом. Тройная турецкая цепь, усиленная с флангов конными группами башибузуков, всей мощью давила на измотанных солдат. Они то и дело бросались в штыковые контратаки, стремясь сдержать противника, но сил уже не было. Кубанцы войскового старшины Кирканова кинулись в отчаянную рубку, стремясь «занавесить» полк от турок, дать ему время прийти в себя и собраться. Казаки гибли в неравной схватке, но полк

сохранил единство, не дрогнул, не побежал, не отдал знамен и отступил в порядке под прикрытие артиллерии. Остатки кубанцев группами и поодиночке выходили из боя, когда подскакали передовые разъезды Кавказской бригады. Тутолмин опоздал в дело, но бросил всех своих кавалеристов на спасение раненых. Кавказцы под пулями и гранатами рыскали по полю, подбирая тех, кто еще был жив.

Сражение, вошедшее в историю под названием Первой Плевны, было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. В результате наступления «дамским веером» Архангелогородский полк потерял убитыми и ранеными тридцать три офицера и девятьсот восемьдесят восемь солдат; Вологодский — семнадцать офицеров и четыреста двадцать девять нижних чинов; костромичи недосчитались двадцати трех офицеров и восьмисот пятидесяти двух солдат. И «Вечная память» надолго приглушила звонкую медь полковых оркестров.

Торжествовали в Плевне, с восточной пышностью поздравляя командующего Османа Нури-пашу. Но Осман-паша не спешил улыбаться:

— Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хоть одного, сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты. День и ночь укрепляйте высоты.Русских может сдержать только земля...

Глава вторая

1

Федор лежал лицом к обшарпанной, в жирных пятнах от тел и затылков, стене дешевого — дешевле стоила только ночлежка — номера и считал тараканов. Рыжие прусаки шустро метались среди рваных обоев без видимой цели и направления; черные усачи степенно следовали по прямой, брезгливо обходя круглые клопиные задки, торчащие из всех щелей. И суетливые рыжие и солидные черные вынюхивали добычу, рвались к ней, и только сытые клопы никуда не спешили. Их временем была ночь, а поживой — теплая кровь, которой хватало с избытком, а потому и торопиться было несолидно.

Федор глядел в клочья обоев, а видел небывало переполненный Кишинев. Видел изворотливых мелких дельцов, маклеров и агентов, развивающих бурную деятельность в надежде выбить, выпросить, выторговать, вымолить, выцыганить пятиалтынный на каждый вложенный гривенник; ви-

дел неторопливых, знающих цену себе и всему на свете тыловиков-интендантов, через липкие руки которых шли сотни тысяч пудов хлеба и мяса, овса и сена, шли шинели и портяночное полотно, сапоги и седла, палатки и медикаменты — шел дикий навар войны; видел молчаливых, почти незаметных в серых своих сюртучках заправил-поставщиков, слово которых могло озолотить, а могло и уничтожить и мелкого барышника, и крупного воротилу, а доходы измерялись гарантированными государством миллионами. Он насмотрелся и на тех, и на других, и на третьих, он ощутил их физически, как ощущают падаль, он во многом разобрался и только никак не мог понять, что же делать ему, Федору Олексину. Далее на запад, за границы империи, в Бухарест, а тем паче за Дунай без специального разрешения военных властей не пускали. Скобелева в Кишиневе уже не было, а где он находился, никто толком сказать не мог. Цены, взвинченные легкой деньгой воровства и махинаций, росли изо дня в день, и в конце концов Федор, сменив дюжину гостиниц, докатился до номера на трех горемык, ниже которого падать было уже немыслимо. Ниже ждала нищета.

Конечно, можно было, махнув рукой на мечты, записаться вольноопределяющимся и в качестве такового шагать на запад, а далее и на юг, за Дунай, в Болгарию, спрятав под солдатской рубахой письмо полковника Бордель фон Борделиуса к бывшему однополчанину, а ныне генерал-майору свиты его императорского величества Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Можно было, поступив так, как поступали тысячи молодых людей, уповать на то, что великие случайности войны сведут когда-либо вольноопределяющегося нижнего чина с генералом свиты, письмо заместителя командира 74-го пехотного Ставропольского полка попадает адресату, а сам нижний чин мановением генеральской руки будет извлечен из ротных рядов и «оставлен при...», а вот в качестве кого «оставлен при...», Федор никак не мог придумать. Он размышлял на эту тему с ленцой, словно бы по обязанности, валяясь на блошином матрасе и глядя в клопиную стену, а потому не только не видел выхода, но и не искал его. Незнакомая, но отнюдь не пугающая апатия уже целиком завладела его духом и телом, и он не хотел ей противиться, хотя понимал, в какую пропасть ведет его безволие, растущее в душе, будто поганый гриб. Ему было все равно, решительно *все равно*, абсолютно ВСЕ РАВНО, что будет завтра с ним, Федором Олексиным, с его родными и близкими, с Россией и со всем миром. Он выпал из всего сущего, вывел себя за скобки и лениво ничего не ждал.

А деньги — и те, о которых он знал, и те, которые незаметно подсунула ему Тая,— давно уже превратились в считанные двугривенные, каждый из которых означал либо какую-то еду, либо возможность еще сутки валяться на голом матрасе в трехкоечном номере, и Федор последнее время ел через день, всячески оттягивая срок, когда придется что-то решать: либо подаваться в «вольноперы», заведомо отказавшись от всяких надежд пройти огненную купель под стягом самого отважного и безрассудного из русских полководцев, либо пасть еще ниже в нищету, грязь и небытие.

— Ай, повезло, ай, счастье-то какое, господа! Ай, Господи, благодарю тебя и кланяюсь низко! — радовался тихий, облезлый, маленький человечек без определенного возраста, занятий и положения, Евстафий Селиверстович Зализо.— Шестнадцать рубликов семейству отправил и долги расплатил сполна. Шестнадцать целковеньких супружнице и деткам!

Евстафий Селиверстович посредничал в мелких сделках, вел случайную переписку, а вечерами играл по маленькой с купцами, подрядчиками и маклерами третьей руки, мухлевал и передергивал, но темных дел боялся. Заработок был невелик и неустойчив, и Зализо куда чаще возвращался с синяками, чем с целковыми. Кряхтел, стонал, иногда плакал, но не унывал и, наскоро сведя синяки огромными, екатерининской чеканки, медяками, снова неустрашимо шел по трактирам.

— Раз побьют и два побьют, а там, глядишь, и Господь смилуется, пожалеет меня да тузика подкинет,— приговаривал он, собираясь на вечерний промысел.

— Бога-то хоть в шулера не зачисляйте,— сердился желчный отставной капитан Гордеев, второй сожитель Федора.

— То присказка такая, присказка,— поспешно оправдывался Евстафий Селиверстович.— К слову как бы сказать, глубокоуважаемый господин Гордеев.

— По мне уж коли играть, так не мелочиться,— непримиримо ворчал отставной капитан.— Поставьте тысяч на десять, смухлюйте — и домой. А вы десятку наскребете и радуетесь. Глупо и мелко.

— Помилуйте, Платон Тихонович, за десяточку мне по роже съездят, а за тысячу... Да что там — тысяча! За сто рублей жизни решат. А у меня — супружница, детки, семейство.

— Рыба вы, а не игрок.

— Рыба,— покорно соглашался тихий Евстафий Селиверстович.— Я, господа, бывший идеалист. С юности, от

младых, как бы сказать, ногтей в благородство верил, как во спасение. Стихи декламировал, в живых картинах участвовал, рыцарей изображая. Знаете, когда воровство кругом да гадство, как приятно в живых картинах рыцарей изображать. Дамы платочками машут, начальство улыбается, и всем очень покойно. Очень. Это ведь приятнее даже для русского человека, чем о свободе рассуждать. Вот я им всем и приятствовал, а сам верил. Верил, господа, истово верил, вот что умилительно.

— И во что же верили?

— А во все, во что отечество верить наказывает. В законы, в честность, в мужей государственных, даже...— Зализо понизил голос,— даже в справедливость, господа, хоть побейте, верил. Верил! А тут как раз из самого Санкт-Петербурга сановник пожаловал. Добрый такой господин, сединами убеленный. Стал чиновников по одному к себе на беседу вызывать, и до меня очередь дошла. А я уже специально изготовился к рандеву этому, цифры подобрал, случаи разные и все на бумаге изложил.

— Опять глупость,— угрюмился Гордеев.— На что рассчитывали? Чин, поди, мерещился? Вызов в Сенат?

— Нет, что вы, господа, нет и нет! — пугался Евстафий Селиверстович.— Ни на что я не рассчитывал, Господь с вами, Платон Тихонович. Я отечеству помочь стремился, я о нем помышлял, я указать хотел, куда денежка казенная утекает, в какую прорву ненасытную. Вот о чем я думал, поскольку в честности воспитан был. И в записочке той ни грана клеветы не содержалось, а дело все так перевернулось, этаким, как бы сказать, фарсом трагическим, что вылетел я со службы, как только лошадки особу за город вынесли. Изгнан был с позором и срамом, аки клеветник и доносчик. Вот куда меня искренность моя привела, на край, как бы сказать, пропасти падения человеческого.

— А закон? — не выдержав причитаний, раздраженно спросил Федор.— Есть же закон, господин Зализо. Есть же управа на губернских самодуров.

— Закон? — бывший чиновник тихо рассмеялся.— Какой закон, господин Олексин? Это в Английском королевстве закон, а у нас — поправки к оному. Пятнадцать томов поправок, указов да разъяснений: не изволили сталкиваться? Ну, храни вас Господь от этого. Россия — страна поправочная, а не законная. Поправочная, глубокоуважаемый господин Олексин.

Евстафий Селиверстович Зализо был не только бывшим чиновником, но и бывшим человеком, и потому не вызывал в Федоре ничего, кроме редких пароксизмов раздражения.

Но второй — угрюмый, внутренне напряженный, как туго взведенная пружина, отставной капитан Гордеев — был интересен уже тем, что ничего о себе не рассказывал. Писал бесконечные прошения, получал отказы, снова писал и снова получал, но не жаловался и вообще чаще помалкивал. Раз только, получив откуда-то пространное, но тоже явно отрицательного свойства письмо, насильственно усмехнулся:

— Почему тем, кто пишет правду, не верят с особым злорадством, Олексин?

У Федора случился очередной приступ меланхолии и отвечать Гордееву он не стал. Впрочем, отставной капитан и не ждал ответа, а тут же достал походную чернильницу, пачку голубоватой немецкой бумаги и начал старательно скрипеть новым стальным пером, сочиняя очередное послание.

Разговор между ними произошел в тот день, когда вдруг разоткровенничался Зализо, выигравший накануне четвертной, расплатился со всеми долгами да еще умудрился кое-что переслать многочисленной семье. Выговорившись, Евстафий Селиверстович тотчас же ушел, поспешая ко времени, когда мелкой тыловой сошке уж очень захочется попытать счастья за зеленым сукном. Отставной капитан проводил его прищуренным глазом, помолчал и сказал весомо и уверенно:

— Врет.

— Отчего же полагаете так? — вскинулся Федор, которого чем-то тронул рассказ бывшего искателя истины.— Он говорил искренне, и сомневаться, право же...

— А я и не сомневаюсь,— грубовато перебил Гордеев.— Я без сомнения знаю, что мошенник он и лгун. Заметьте себе, Олексин, что не все мошенничают, но все лгут. Все нормальные люди непременно же лгут, а коли правду режут, так либо с ума сошли, либо в начальники выбились.

— Вы — мизантроп, Гордеев.

Отставной капитан невесело усмехнулся в густые, с обильной проседью усы. Проходил по номеру, с хрустом давя тараканов, сказал вдруг:

— Хотите сказочку послушать? Очень полезная сказочка для юношей, кои героев ищут не в Древнем Риме.

— Тоже лгать станете? — ядовито осведомился Федор.

— Непременно,— кивнул Гордеев.— На то и сказка, Олексин, чтоб лгать свободно, так уж давайте без претензий. Стало быть, в некотором царстве, в некотором государстве на глухой и непокорной окраине служили два немолодых офицера при молодом полковнике. Полковник тот был хоть и весьма молод, но уже и знаменит, и отмечен, и геройствами прославлен аж до града престольного, а посему имел

отдельный отряд, веру в собственную звезду и жажду славы. Вы слушаете, Олексин, или опять считаете тараканов?

— Слушаю,— отозвался Федор.— Полковник имел синие глаза и ржаные усы, и звали его...

— А вот этого не надо,— остановил Гордеев.— Сказка имен не любит. Так что либо сказку слушайте, либо я гулять пошел.

— Давайте сказку,— лениво зевнул Федор.— О Бове Королевиче.

— Бова Королевич? — отставной капитан неожиданно улыбнулся.— А пусть себе, к нему это подходит. Но сначала об офицерах, коих наречем... Фомой да Еремой. Так вот Фома — из захудалых дворяшек — из кожи вон лез, чтобы только Бове Королевичу угодить. Не из низости характера, Олексин,— мягкий, воспитанный да слабый был господин сей, уж мне поверьте,— а угодничал по той простой причине, по которой наш брат русак скорее всего угодничать начинает: по причине долгов, родственников да несчастий. Вот все это досталось Фоме в избытке — и долги, и родственников орда целая, и несчастий по двадцать два на неделе, а доходов — одно жалование. Сколько пожалуют, стольким и жив: вам, Олексин, понятна страшная механика сия?

— А Ерема? — настороженно спросил Федор.

— А Ерема из разночинцев, Олексин, ему проще, потому как привычнее и психею его не ломает. Дед у него — вольноотпущенник, отец на ниве народного просвещения подвизался, а самого Ерему в Николаевскую академию занесло. Впрочем, к сказке все это отношения не имеет, а суть в том, что Бова Королевич вздумал на свой страх и риск малым своим отрядом взять довольно сильную крепость. И только к походу изготовился, как ловят казачки немирного турк... туземца, Олексин, туземца. Туземец попался бравый, в лицо Бове Королевичу смеется и на своем туземном языке утверждает, что движется на Бову большой туземный отряд. Врет? Ну так и слава Богу, и пусть себе врет, а мы будем крепость штурмовать. А вдруг не врет? Вдруг правду бормочет, басурманская рожа? А коли правду, то о крепости тотчас и позабыть надо и силы совсем даже в другую сторону разворачивать. Понятна вам задача, Олексин?

— Понятна,— без особого интереса откликнулся Федор, хотя все, что касалось Бовы Королевича, слушал внимательно.

— И как бы вы решили ее?

— Не знаю, я не военный. А как он ее решил? Ну ваш Бова Королевич?

— Просто, как Колумб — задачку с яйцом. Вызвал Фому да Ерему и приказал бить того туземца смертным боем, пока правды не скажет.

— И вы?..— с презрением спросил Федор.

— И мы?..— отставной капитан натянуто улыбнулся.— Это же сказка, Олексин, просто — сказка. И по сказке той получается, что разночинный Ерема тут же больным себя объявил, а несчастный Фома, поплакав да помолясь, взял цепь, на которой бадью колодезную крепят, и начал цепью этой...

— Не надо...— брезгливо отвернулся Олексин.

— Это же сказка, так что потерпите,— усмехнулся Гордеев.— Суть ведь не в том, как Фома бил да как туземец кричал. Суть в том, что правду он все же из него выбил: не было никакого отряда, никто ниоткуда не угрожал, и Бова Королевич мог преспокойно штурмовать крепость всеми наличными силами.

— А если и здесь ложь? Если солгал туземец тот?

— Это перед смертью-то? — холодно улыбнулся Гордеев.— Перед смертью правоверному нельзя врать, а то Магомета не увидит и гурии его не усладят.

— Значит...

— Значит, Олексин, значит. До самой смерти в присутствии муллы кованой цепью бил. Плакал, о прощении умолял и бил, вот какая очень русская история, юный друг мой. А когда забил...

— Перестаньте бравировать!

— Когда забил, с облегчением великим к Бове Королевичу побежал. С облегчением и бумагой, в которой арабской вязью все изложено было и подписью присутствовавшего священнослужителя скреплено. Бова бумагу взял, а Фому не принял, будто и не было его вовсе, Фомы этого несчастного, будто бумага по воздуху приплыла. А Фома не понял ничего или понять испугался, и все сидел возле палатки. Вышел наконец Бова, глянул на Фому как на пустое место и пошел себе. В нужник. И все офицеры сквозь этого Фому глядеть стали: даже ближайший сослуживец Ерема и тот руки не подал,— Гордеев вздохнул.— Вечером ни к одному костру его не пригласили, никто на слова его не отвечал, будто и не слышал его вовсе, и к утру Фома пулю себе меж глаз запустил. А у него — детей шесть душ, родственных бездельников куча да жена больная да бестолковая.

— Послушайте, Гордеев, это же... Это же ужасно, что вы рассказываете.

— Это же сказка, Олексин, извольте уж до конца дослушать. Так вот взял лихой Бова Королевич крепость и

наутро списки отличившихся потребовал. А списки Ерема составлял и включил туда покойного Фому: при боевом ордене и с пенсией, глядишь, что-либо выгореть могло. «Что? — спросил Бова Королевич.— Самоубийце — «Владимира с мечами»? Да за такую награду у меня завтра полотряда перестреляется». И вычеркнул покойного Фому из списков собственным золотым карандашиком. Через месяц Бова Королевич генеральский чин получил, а Ерема — полную отставку без пенсиона и мундира, как человек ненадежный и к службе в Российской империи непригодный.

— Да за что же, помилуйте? Причина ведь должна же быть. Хоть какая-то, хоть видимая.

— За что? — Гордеев вздохнул.— В России, Олексин, все прощают — и длинные руки, и длинные уши. Только длинного языка не прощают, запомните на всякий случай.

Разговор этот оставил в душе Федора гнетущее впечатление не потому, что Гордеев поведал о мерзостях, дотоле Олексину неизвестных, а потому, что Федор, как ни старался, никак не мог припомнить, когда же это он упоминал о кумире своем. А коли не упоминал, то зачем Гордеев обрушил на него ушат холодной воды? Какую цель преследовал, повергая идолов, что хотел доказать, что утвердить? Ответов Олексин не находил и мучился неясными подозрениями. И эти пустые подозрения постепенно, изо дня в день затушевывали и вытесняли из души его картины уродливой подноготной войны, что походя высветил угрюмый бывший офицер Платон Тихонович Гордеев. И вскоре как-то незаметно для себя Федор начал сомневаться в сказочке отставного капитана, а потом и вовсе уверовал, что сказочку сию Гордеев сочинил для собственного обеления, а сам либо трус, либо подлец, либо растратчик. И снова отвернулся, снова замолчал, и Платон Тихонович не беспокоил его более ни вопросами, ни рассказами, грустно усмехаясь в густые усы. И опять писал прошения Гордеев, залечивал синяки Евстафий Селиверстович да считал тараканов Федор Олексин, ночами ощущавший вдруг прилив невероятной решимости непременно с зарею бежать записываться вольноопределяющимся, а поутру вновь переживая очередной и уже такой привычный отлив всех нравственных сил. И гнить бы ему в той кишиневской дыре, если бы у бывшего чиновника Евстафия Селиверстовича Зализо не оказался редкостный, витиеватый, столь любимый купеческими нуворишами почерк. С этим скромным даром Евстафий Селиверстович днем ходил по трактирам, изредка подрабатывая сочинениями любовных, частных и семейных писем, а вечером играл, трусливо мечтая хотя бы удвоить содержимое

всех своих карманов, но куда чаще проигрываясь до последней копейки.

— Федор Иванович! Федор Иванович, пожалуйте вниз, в коляску.

Зализо вбежал в номер в час неурочный и в состоянии весьма взволнованном. Отставной капитан бродил где-то по присутствиям, а Олексин привычно валялся на голом матрасе, лениво размышляя, сейчас истратить двугривенный или приберечь до вечера.

— Пожалуйста, в коляску, господин Олексин! Ждут!

— Кто ждет?

— Туз, Федор Иванович,— восторженно зашелся Зализо.— Козырный туз, господин Олексин! Натуральный! Велел вас к нему...

— Пусть сам идет, коль нужда.

Федор демонстративно отвернулся к стене, а впавший в отчаяние Евстафий Селиверстович заметался, заюлил, заумолял, намереваясь вот-вот рухнуть на колени.

— Ведь озолотят, ежели в каприз войдут. Озолотят!

— Пошел он к черту, туз этот. И вы вместе с ним.

— Браво, господин Олексин, иного и не ожидал. Вы подтвердили свое шестисотлетнее столбовое дворянство.

Голос был звучным и уверенным, и Федор настороженно повернулся. В дверях, держа в левой руке мягкую шляпу, а правой опираясь на трость с золотым набалдашником, стоял плотный господин в сером, тончайшего сукна английском сюртуке. Встретил взгляд Федора насмешливыми глазами, слегка поклонился:

— Позвольте отрекомендоваться: Хомяков Роман Трифонович. В Смоленске был представлен вашей тетушке Софье Гавриловне и сестрице Варваре Ивановне. Не обедали еще, Федор Иванович?

— Пощусь,— угрюмо сказал Федор: его злил и одновременно смущал энергичный напор невесть откуда возникшего господина.

— Не пора ли уж и разговеться?

Вопросы были мягкими, но напор не исчезал. Федор физически ощущал его и, еще продолжая злиться, нехотя начал слезать с кровати.

— В этакой-то одежде далее трактира не пустят. Да и то в первую половину, возле дверей.

— Но вам-то, судя по всему, ваша одежда нравится? — улыбнулся Хомяков.

— Мне — да! — с вызовом сказал Федор.

— Вот и прекрасно. Прошу, Федор Иванович,— Роман Трифонович пропустил растерянного Федора вперед, сунул

четвертной подобострастно юлившему Зализо.— Ступай в мою контору и скажи управляющему, что я велел взять тебя писарем.

— Ваше пре...— начал было Зализо, но дверь захлопнулась; бухнулся на колени, истово осенил себя крестным знамением,— спасибо тебе, Господи! Услышал ты моленья мои. Услышал и ангела послал. Благодарю тебя, Господи, благодарю!..

2

Летучий отряд без боев продвигался вперед. Суточные марши отряда сдерживались отнюдь не сопротивлением противника, не рельефом местности и даже не усталостью лошадей, а лишь соображениями командира отряда генерала Гурко. Не имея возможности войти в соприкосновение с отступающим неприятелем, генерал не мог оценить ни его количества, ни боеспособности: турки избегали столкновений, а если их к этому вынуждали, сопротивлялись нехотя, рассеиваясь при первой же возможности. Эта тактика очень не нравилась осторожному Столетову.

— Живая сила противника не разгромлена, Иосиф Владимирович,— говорил он в частной беседе.— Враг отходит планомерно, без признаков паники. Не означает ли сие, что турки намереваются повторить кутузовское отступление двенадцатого года?

Генерал-лейтенант Иосиф Владимирович Гурко предпочитал молчать и слушать, а споров вообще не выносил, полагая их салонной принадлежностью, кою в армии надлежит беспощадно искоренять. Поэтому военные советы его носили характер поочередных докладов, невозмутимо выслушивая которые Гурко либо укреплялся в уже принятом им решении, либо менял его, если и до этого в нем сомневался,— но и то и другое делал без объяснений и вежливых ссылок на высказанные чужие мнения. Это обстоятельство весьма обижало герцогов Лейхтенбергских. Но генерал Гурко был назначен самим государем, любим великим князем главнокомандующим, и братья-герцоги терпели столь несветское поведение.

Десятитысячный отряд Гурко составляли: Драгунская бригада — астраханские и казанские драгунские полки — под командованием флигель-адъютанта полковника герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского; Сводная бригада — Киевский гусарский и 30-й Донской полки,— которой командовал генерал-майор свиты его величества герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский; Донская

бригада — донские и кубанские казаки — полковника Чернозубова; шесть дружин болгарского ополчения, уральская казачья сотня есаула Кирилова, сто пятьдесят человек конно-пионеров графа Ронникера да полуэскадрон Почетного конвоя штабс-капитана Савина. В отряде было много случайных, плохо понимавших друг друга людей: высокородные братья пытались занять позицию «особ», которые лишь временно, по случаю, вынуждены подчиняться нетитулованному и малоизвестному генералу; Чернозубов хитрил и изворачивался, прикрывая своих казачков, болгарское ополчение не поспевало за кавалерией, и только старый граф Ронникер, уже числившийся в отставке, но добровольно испросивший милости участвовать в освободительном походе со своими добровольцами конно-пионерами, безропотно шел впереди, расчищая путь основным силам Летучего отряда.

А турки пятились, не принимая боя.

— Непонятно мне это,— хмурился генерал Столетов.— Идем, как к Кащею Бессмертному: пугали-пугали да и расступились. Где же дракон, Иосиф Владимирович? Может, за Балканами?

— Дракон? — задумчиво переспросил Гурко.

«Дракон», то бишь турецкие войска, готовые дать бой, ожидали еще под Тырновом, и Гурко приближался к нему с оглядкой, сдерживая лошадей и собственное нетерпение. Но вольноопределяющийся Кубанского полка урядник князь Цертелев очертя голову кинулся вперед. Наспех расспросив встречных болгар, а заодно и турок, где же противник и сколько его, князь бешеным карьером проскакал по кривым улочкам древней столицы Болгарии, переполошив гарнизон и несказанно обрадовав жителей, увернулся от пуль, ушел от попытки перехватить его и лично доложил Гурко, что турецкий «дракон» мал, перепуган и уже начал уползать в горы. И слушая сейчас Столетова, Иосиф Владимирович упорно думал о ловком кубанском уряднике, в недавнем прошлом многообещающем дипломате, в совершенстве владеющем всеми языками и наречиями Османской империи. Но, как всегда, не спешил делиться своими мыслями, помалкивал, изредка вскидывая на собеседника острый — «режущий», как говорили молодые офицеры,— взгляд глубоких серых глаз. И Столетов уезжал к себе, в арьергард, зачастую так и не услышав ни единого слова, но нимало не смущаясь этим: он знал, что командир внимательнейшим образом выслушал его соображения, а своих не высказывает потому, что отвечает не только за тысячи жизней, но и за всю невероятную по дерзости операцию — захват горных перевалов главного балканского хребта.

У командира болгарского ополчения Николая Григорьевича Столетова были свои сложности. Созданное на добровольной основе ополчение состояло из людей, различных не только по возрасту. Восторженных пятнадцатилетних мальчиков и седых отцов семейств, бесшабашных гайдуков и бывших членов Комитета борьбы за освобождение родины, опытных волонтеров Сербской кампании и наивных крестьян, впервые взявших в руки оружие, объединяла горячая любовь к Болгарии; этого было достаточно для лагерных учений, но Столетов совсем не был уверен, что его дружинники способны выдержать затяжной бой с регулярной армией турок.

Турки не брали болгарских юношей в армию, и болгары, обладая богатым опытом гайдукского движения, не имели собственной военной касты. Вследствие этого ополчение формировалось на русском профессиональном костяке: русскими были офицеры и унтер-офицеры, барабанщики и ротные сигнальщики, дружинные горнисты и нестроевые офицеры старших званий. Небольшое количество офицеров-болгар, окончивших русские военные училища, тонуло в общем потоке командиров всех степеней: лишь командир Первой дружины подполковник Косяков был болгарином. Это тоже создавало известные трудности, и не только языкового порядка: русские офицеры, а особенно унтеры, были приучены к иному солдатскому материалу, и русское командование поступило весьма дальновидно, поручив командование всеми болгарскими частями одному из наиболее образованных, уравновешенных и рассудительных генералов — Николаю Григорьевичу Столетову.

— Господа, прошу учесть, что вы имеете дело с особым людским составом,— неустанно повторял он на всех совещаниях.— Во-первых, они — коренные жители страны, где развернуты боевые действия; во-вторых, у них свое отношение к нашему общему врагу; в-третьих, все они добровольно изъявили согласие не только воевать, но и подчиняться вам в этой войне; в-четвертых, среди них весьма много людей образованных. И все это совокупно следует учитывать каждый час и каждую минуту, не давая воли чувствам, а повинуясь рассудку.

Поручик Гавриил Олексин служил, старательно исполняя, что требовалось, но не стремясь к контактам ни с офицерами дружины, ни с ополченцами собственной роты. Он был сдержан и замкнут куда более остальных, и это обстоятельство не могло пройти мимо чрезвычайно внимательного к подчиненным подполковника Калитина. Командир Третьей дружины был человеком прямым, а долгая

жизнь на окраинах империи сделала эту прямоту грубоватой; ему случалось обижать офицеров резкостью оценок, но он делал это всегда только ради службы. И в беседах с Олексиным от резкости воздерживался, пока однажды не спросил в упор:

— У вас нет друзей. Не знаю причин сего и знать не хочу, но для службы это — прискорбное неудобство. Прискорбное, поручик.

— Да, друзей теперь нет.— Гавриил помолчал, ожидая вопроса, но вопроса не последовало.— Я интересовался списком потерь на переправе: среди погибших — капитан Брянов и гвардии подпоручик Тюрберт. Знал их еще по Сербии.

— Позвольте, о Тюрберте я что-то слышал.

— Я тоже. Он похоронен в Зимнице, и если бы вы позволили...

— Поезжайте,— грубовато перебил Калитин.— Продолжим разговор, когда вернетесь.

Поручик выехал в ночь, к утру был в Зимнице. Переполненный санитарными обозами, тылами и службами городок мирно спал под нескончаемый перестук на переправе. Олексин справился у часовых о церкви Всех Святых и, поплутав, нашел ее еще закрытой. Оставив коня у ограды, обошел кругом: за алтарной стеной, под увядшими цветами, желтел свежий могильный холм. На кресте было старательно и не очень умело вырезано: «ТЮРБЕРТ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ», и Гавриил снял фуражку.

Странно, он и не предполагал, что ощутит над этой могилой столько тоски, горечи и одиночества: с покойным они были скорее врагами, чем приятелями, и вот поди ж ты — боль все-таки добралась до сердца. Он вспомнил насмешливого рыжего увальня в зале Благородного собрания, где познакомил его с Лорой и где, собственно, и началось их соперничество; вспомнил потного, в брызгах чужой крови, устало и обреченно отбивавшегося от черкесской сабли; вспомнил в боях и ученьях, в спорах и на отдыхе, вспомнил все, связанное с ним, и понял, что горько ему не оттого, что под этим крестом лежит его боевой товарищ, а потому, что здесь вместе с Тюрбертом лежит их юность. И он, поручик Гавриил Олексин, сейчас навеки прощается с нею.

Подумав так, он тотчас же вспомнил о несостоявшейся дуэли и о разговоре в Сербии после боя с черкесами Исламбека: «Хотите дуэль наоборот?» Вспомнил и громко сказал:

— Вы победили, Тюрберт.

Покой и тишина стояли над маленьким кладбищем — только горлинки тревожно вздыхали в деревьях,— и голос

поручика прозвучал неприлично и вызывающе. Гавриил ощутил это, сконфузился и, деревянно поклонившись могиле, быстро пошел к выходу, страшась оглянуться. Никого не встретив, вскочил в седло, пришпорил лошадь и поскакал назад, в роту, ближайшим путем выбравшись из городка. На душе его было грустно и светло, словно, простившись навеки с Тюрбертом, он нашел взамен что-то очень важное, возвращавшее ему утраченный покой и веру в завтрашний день. «А вот и конец иллюзиям,— сумбурно, обрывками думал он.— Тюрберт заплатил за меня сполна. Война не призвание, война — профессия, только и всего. Моя профессия. Единственная».

Он доложил Калитину по возвращении, но командир дружины не продолжил разговора, возникшего накануне поездки, и вел себя так, будто разговора этого никогда меж ними не было. В иное время Гавриил, может быть, и сам с облегчением позабыл бы о нем, но теперь, после прощания с Тюрбертом, слова подполковника о друзьях и дружбе звучали для него совсем по-особому. И в первый же свободный вечер Гавриил, собрав офицеров и унтер-офицеров своей роты, рассказал о подпоручике Тюрберте и капитане Брянове, о Стойчо Меченом и Совримовиче, об Отвиновском и Карагеоргиеве. И несмотря на то, что аудитория хранила напряженнейшее молчание, был очень доволен собой.

— Этакого и внизу не поймут, и вверху не оценят,— сказал на следующий день подполковник Калитин, коему тут же и донесли о странном эксперименте в роте поручика Олексина.— Собрать господ офицеров вместе с унтерами на посиделки — да вы с ума тронулись, поручик.

— Возможно, господин полковник, только умирать им придется рядом.

— Вот и пусть мрут рядом, а сидят врозь,— резко сказал Калитин.— Вы меня поняли, Олексин? И молите Бога, чтоб о сем всенародном собрании начальство кто-либо не уведомил.

Перед выступлением на Тырново — уже после переправы через Дунай на той, болгарской стороне — Олексина попросил зайти начальник штаба ополчения подполковник Рынкевич. Не приказал, а именно попросил,— мягко, будто был не старшим по должности, а соседом по имению, и эта кошачья мягкость насторожила поручика.

— Видимо, мы с вами плохо молили Бога,— сказал он Калитину после официального уведомления о вызове в штаб.

Калитин молча вздохнул и нахмурился. И когда Гавриил ушел, ринулся к Столетову.

— Оставьте, голубчик,— болезненно поморщился Нико-

лай Григорьевич: он не выносил интриг, наушничанья и закулисных шепотков.— Никто вашего командира не тронет. А пожурить — пожурят, и правильно сделают. Нашел место, где демократией кокетничать.

Гавриил ехал в штаб ополчения собранным, будто готовился к бою, а не к доверительной беседе. И был весьма огорошен первой фразой подполковника Рынкевича:

— Вам, поручик, кланяться велели, что с удовольствием и исполняю.

Рынкевич встретил Олексина у входа в палатку, дружески прервал официальное представление, а сказав эти слова, и впрямь отвесил поклон. Это было настолько необычно, настолько не соответствовало предполагаемой цели вызова, что Гавриил окончательно растерялся.

— Не интересуетесь от кого? Да, да, от капитана Истомина: не удивляйтесь, повышение в чине получил за сербские дела, чего и вам от души желает. Высоко отзывался о вас, Гавриил Иванович, высоко.

Русские офицеры, воевавшие в Сербии, числились в отпусках или в отставке и по закону никаких чинов получать не могли, однако для штабс-капитана Истомина было, как видно, сделано исключение. Странность заключалась и в том, что Истомин в боевых действиях участия фактически не принимал и ни военными талантами, ни отвагой особо не отличался.

— Личность, говорит, вы романтическая,— продолжал хозяин, усаживая гостя в складные походные кресла.— Прямо-таки, говорит, в некотором роде рыцарь без страха и упрека.

— Благодарю,— сдержанно сказал Гавриил.— Право, Истомин преувеличивает. Хотел бы повидаться и попросить не ставить меня в положение неловкое и двусмысленное.

— Да, да,— будто и не слыша Олексина, говорил тем временем Рынкевич.— Одна история с этим... как, бишь, его?.. С черкесом, словом. Очень полковник Медведовский тогда гневался, очень, но Истомин убедил его не придавать значения.

— Зачем же? Я ведь не по восторженности отпустил тогда Ислам-бека, господин полковник, а исходя из внутренних убеждений и совести своей.

— Все правильно, поручик, все правильно,— почему-то тяжко вздохнул Рынкевич.— Поступки суть плоды, а корни — аккорды струн души нашей. На какую мелодию настроены, ту и исполнят. Все от струн, все. Отсюда и название: мотивы поступков. И коль мотив звучит благородно, так и поступок в этом же регистре.

— У меня дурно со слухом, господин полковник, поэтому хотелось бы без музыкальных аллегорий,— сухо сказал поручик.

— Помилуйте, какие же тут аллегории? — благодушно улыбнулся Рынкевич.— И насчет слуха вы не правы, Гавриил Иванович. Я, к примеру, лишь одну ноту вам в упрек ставлю как фальшивую. Нет, впрочем, и не фальшивую, а — ошибочную. Из другой, так сказать, оперы.

— Господин полковник, я вынужден просить разъяснения, поскольку от музыки далек, что уже имел честь сообщить вам.

— Поясню с удовольствием,— тон Рынкевича вдруг утратил расплывчатую мягкость радушного хозяина.— Вы рассказывали подчиненным о Сербии, это отрадно. Однако не могу не отметить, что слово «враг» вами употреблено необдуманно.

— Сколько помнится, я называл врагами турок.

— Совершенно верно. Только помилуйте, поручик, какой же турок враг? Он — неприятель или, если угодно, противник. А враг у нас с вами за спиной. Враг — это смутьяны, нигилисты, жиды, социалисты, писаки вредного направления: вот они — враги Отечества нашего. А турок — неприятель, не более того. И разница тут в том, что неприятель — дело преходящее: сегодня турок, завтра француз, послезавтра — немец или китаец. А враг вечен. Он вездесущ и постоянен, и война с ним должна вестись постоянно. Постоянно, Гавриил Иванович, денно и нощно.

— Мой враг — передо мной,— резко сказал Гавриил и весь подобрался, хотя еще не решил, для чего изготовился: для спора или для того лишь, чтобы встать, откланяться да уйти.— А если ваш враг дышит вам в затылок, то попробуйте повернуться кругом.

— Недурно,— Рынкевич улыбнулся, но тут же убрал улыбку.— Не стоит казаться наивнее того, что вы есть, Гавриил Иванович. Уж коли вы попали в наш монастырь, то позабудьте о своем уставе. Болгарские заговорщики, что в Бухаресте интриги плели против законного правительства...

— Вы считаете турок законным правительством Болгарии?

— Всякая власть от Бога, поручик, и извольте выслушать не перебивая,— командно повысил голос начальник штаба.— Играете в демократию, а обязаны блюсти и соблюдать. Продолжаю: Болгарский комитет формально распущен и помогает нам, но вольнодумная зараза осталась. И ваш долг — долг командира роты — немедля уведомить меня, как только оную заразу обнаружите.

— Извините, господин полковник, что вновь прерываю,— Гавриил встал, с трудом сдерживаясь.— Доносам не обучен и уведомлять, как вы выразились, никого не собираюсь. Понимаю, что мой отказ обязывает меня сдать роту более опытному командиру, и с рапортом не задержу.

— Вы неправильно истолковали...— медленно поднимаясь и багровея, начал было Рынкевич.

— Возможно, я туп от рождения. Позвольте на сем откланяться и сегодня же подать рапорт.

Олексин щелкнул каблуками и, не дожидаясь разрешения, вышел из палатки. Едва добравшись до роты, сел писать рапорт. Гнев еще не улегся, и рапорт вышел излишне многословным; командир дружины порвал его, не дочитав.

— Господин полковник, я прошу вашего разрешения,— начал было Гавриил.

— Не дам,— хмуро сказал Калитин.— Не ерепеньтесь, поручик, совестно за вас, право, совестно. Ведете себя как истеричная барынька.

— А как повели бы себя вы, получив предложение стать подлецом?

Калитин неожиданно улыбнулся; всегда озабоченные глаза на миг блеснули мужицкой хитрецой.

— Но рапорт о переводе я все-таки не стал бы писать, право, Олексин, не стал бы. Прощения прошу, но не на то вы обижаетесь. Кабы вам в картишки передернуть предложили или там вдову с детьми малыми на мороз — тут и спору нет. Гоните такому пулю в лоб, а я жизнь положу, чтоб вас оправдать. Но в данном-то случае, Гаврила Иванович, а?

— Но что же меняется, Павел Петрович? — запальчиво спросил поручик.— Что? Форма?

— А то меняется, что не для себя господин тот старается. Не для себя, Олексин, ему от этого выгоды нет — одни хлопоты.

— Странно,— Гавриил несогласно пожал плечами.— Вы оправдываете подобное или я не совсем понял ваши слова?

— Мы живем под законом,— сказал Калитин.— И свобода наша в соблюдении оного, а не в нарушении его. Скажем, посылаете вы нижнего чина на верную гибель, только бы дело выиграть: вы как, убийца? Нет, ни вы себя, ни вас никто таковым не назовет, потому что действовали вы по закону. Ну, а в том, на что вы обиделись, что ж противузаконного? А ничего, одна амбиция. Рынкевичу по долгу службы надобно о настроениях знать, вот он и печется. А далее уж ваше соображение: хотите — доносите, хотите — нет, никто вас не заставит, а спросить — спросят,—

голос Калитина вдруг отчетливо зазвенел командной нотой.— И я, поручик, спрошу, чем ваши ополченцы дышат. Не любопытства ради, а пользы для. И вы мне о каждом подробно доложите, потому что у нас впереди не рыцарский поединок,— кто кого переблагородит, а смертный бой за свободу ваших же подчиненных. Так вот, вместо того, чтобы губки дуть да рапорты сочинять, извольте досконально изучить свою роту. Досконально, поручик, обижаться после войны будем,— подполковник опять внезапно улыбнулся.— Скажи, пожалуйста, какой аргамак необъезженный! Сто ушатов на него в Сербии вылили, а ни на градус не остудили. Ну и слава Богу, это-то мне в вас и нравится. Чуете?

Это неожиданное простоватое «чуете?» прозвучало столь искренне, что Гавриил не мог сдержать улыбки. А улыбнувшись, первым протянул руку, нарушая устав и субординацию, но укрепляя нечто большее, что электрической искрой проскочило вдруг между ними. И почему-то вспомнил Брянова.

3

Легкая коляска медленно двигалась по запруженным народом и повозками узким кишиневским улицам. Резвый жеребец, игриво перебирая ногами, норовил сорваться вскачь, и саженного роста кучер с трудом сдерживал его на туго натянутых плетеных вожжах. Даже в отвыкшем чему бы то ни было удивляться Кишиневе выезд вызывал завистливое восхищение; глазея на экипаж, глазели и на седоков, и Федор чувствовал себя весьма неуютно рядом с невозмутимым Хомяковым. Он тут же решил фраппировать: развалился на пружинах, забросив ногу на ногу и закурив сигару. И, неумело попыхивая ею, мучительно страдал от избранной им самим манеры, от истрепанного, мятого костюма и старых, изношенных штиблет. Когда страдания эти достигали определенного уровня, он непроизвольно съеживался, стараясь утонуть в углу сиденья, но тут же, точно спохватившись, вновь менял позу, выставляя для всеобщего обозрения дырявые подошвы. Эта борьба с самим собой столь занимала его, что он не поддержал возникшего было разговора; Хомяков, усмехнувшись, замолчал тоже, и они продолжали путь в полном безмолвии, к вящему удивлению пешеходов.

Коляска остановилась у подъезда самого модного ресторана; при виде Хомякова швейцар согнулся чуть ли не до земли.

— Кабинет,— сказал Роман Трифонович, отдавая трость и шляпу, и тут же оборотился к Федору.— Может, в залу желаете?

— Все равно,— буркнул Олексин: проклятая одежда лишала свободы и легкости, и поэтому Федор злился.

— Коли все равно, то прошу в кабинет. Нам ведь и поговорить надобно, не так ли?

Федор отвык не только от белоснежных салфеток, серебра и фарфора — он давно уж отвык и от нормальной еды, перебиваясь похлебкой да куском хлеба. А стол ломился от изысканных блюд, французских вин и заморских фруктов, и Олексину опять стало не до разговоров; он ощутил вдруг яростный застарелый голод, а утолив его первую атаку, почувствовал мальчишеское желание перепробовать все, что видят его глаза. Хомяков давно уже закончил трапезу и теперь прихлебывал кофе, попыхивая тонкой, с золотым обрезом голландской сигарой, а Федор все еще ел и ел.

— Хотите шампиньонов? Рекомендую: фаршированы по-особому.

— А черт его знает, чего я хочу,— буркнул Федор.— Я впрок наедаюсь, если угодно. Нажрусь на неделю вперед и спасибо не скажу.

— Сочтемся,— улыбнулся Роман Трифонович.— Слыхал я где-то, что миром правят две богини — Нужда да Скука. Вот бы их за один стол, а?

— Глупо,— сказал Федор.— Нужда поест и заскучает, а Скука проголодается да есть начнет: вот и конец парадоксу.

— Парадокс, говорите? — Хомяков помолчал, будто прикидывая, стоит ли углублять эту тему.— Стало быть, господа социалисты на парадоксе гипотезы свои строят? Вы-то самолично как полагаете?

Федор с огорчением отодвинул тарелку — еще хотелось, но уже не влезало,— залпом, не разбирая ни вкуса, ни букета, выпил вино и, вздохнув, устало откинулся к спинке стула. Посмотрел на Хомякова, на тарелку его с почти нетронутыми закусками, усмехнулся недобро, дернув щекой.

— Ненавидят друг друга дамы эти, куда их за один стол. Их в одном государстве и то вместе держать нельзя, а что-либо одно: либо Нужду, либо Скуку. Так что социализм тут ни при чем, тут и полиция справится: Нужду за решетку, а Скуку...

Он неожиданно замолчал, потому что никак не мог решить, куда же девать Скуку в им же придуманном метафорическом примере. Роман Трифонович с улыбкой ждал

продолжения, но продолжения не было; чтобы скрыть неудобство, Федор взял сигару, повертел ее и положил обратно.

— Что же вы замолчали, Федор Иванович? Нужду за решетку — это понятно, опыт имеем, а вот Скуку куда девать? Вот то-то и оно, что не можете ответить, потому как девать госпожу эту совершенно некуда. Веками над этой проблемой мудрецы да правители головы ломают, а воз и ныне там. С Нуждой, Федор Иванович, все просто: накормил да приголубил, и вся недолга. Только ведь сытая Нужда — так сказать, вчерашняя — сегодня о том, что Нуждой была, уж и помнить не желает. Она в Скуку превращается, вот какой фокус-покус. А Скука — это тупик. С вином, холуйством, дамским визгом, с танцами-шманцами, как в Кишиневе говорят, а все равно — без выхода.

Федор хотел было съязвить, что сейчас как раз и происходит тот парадокс, конец которого он объявил столь поспешно: за столом мирно беседуют Нужда и Скука. Но посмотрел на широкие плечи Хомякова, на его по-крестьянски жилистые, сильные руки, на спокойный, уверенный взгляд холодноватых зеленых («мужицких», как невольно отметил про себя Федор) глаз и понял, что этому господину скука неведома, что Роман Трифонович смел, настойчив, силен и не просто готов к борьбе, а любит эту борьбу, ищет ее и видит в ней истинное наслаждение. Подумал и промолчал.

— А не кажется ли вам, Федор Иванович, что именно в этот тупик нас и заманивают господа социалисты? — продолжал тем временем Хомяков.— Ну разделим прибыли, ну землю — мужичкам, ну накормим, оденем, обуем, напоим даже — а дальше? А дальше цели нет, потому как нет борьбы, драки за кусок пожирнее. И начнется царство вселенской скуки, которую Россия привычно водочкой заливать примется. Так или не так? Что же молчите?

— А с чего это вы решили, что я социализм исповедую?

— Ну, хитрость тут невеликая,— улыбнулся Хомяков.— Сидит в грошовых номерах города Кишинева образованный молодой человек из господ. Чина не имеет, мундир не носит, торговлей не интересуется, винцом не балуется и даже в картишки не играет. Так кто же он такой после всего этого? Либо социалист, либо юродивый — третьего не дано, как в задачках говорится. И как вас полиция до сей поры не схватила, ума не приложу.

— По какому праву, позвольте спросить?

— Праву? — Роман Трифонович расхохотался, обнажив крепкие, один к одному, зубы.— Чудак вы, ей-богу, чудак, Федор Иванович, не обижайтесь. Какое там право, где вы

его видели, где встречали право-то это римское? В университетах о сем учили? Ну, так забудете, нет никакого права ни у нас, грешных, ни в Европе просвещенной. В Европе право денежки заслоняют, а у нас — мундир. Мундир, Федор Иванович, мундир: Россия его до слез обожает, как Богу ему поклоняется и руки враз по швам вытягивает. Ну припомните: был ли у нас хоть один монарх без воинского звания? Не припомните, не старайтесь. Во Франции, скажем, или в Северо-Американских Соединенных Штатах правители почему-то без мундира обходятся, а у нас непременно с таковым. И вот с этого правительственного мундира все и начинается, мера всех вещей и значимость всех граждан. У нас какой-нибудь третьестепенный генералишко ежели поскачет куда, так перед ним враз все будет остановлено: все обыватели, все деятели, вся жизнь — даже войска, в бой поспешающие, с дороги уберут. Какой там бой, какая там жизнь, какое там право личности, ежели его превосходительству покататься захотелось! «Пади! Пади!» — только и услышишь, будто на улице до сей поры Иван Грозный пошаливает. И все падают. Не в буквальном смысле, так в переносном — мордасами в грязь. Вот оно в чем, российское-то право наше. Право — в праве руки по швам держать.

Роман Трифонович говорил негромко и спокойно, речь его звучала убедительно не потому, что он пытался убедить — он совсем не стремился завоевать симпатии собеседника,— а потому, что все сказанное было правдой. Федор понимал, что это — правда, что так оно и есть, но — странное дело! — понимая эту правду, он не хотел ее принимать. В нем все вдруг взбунтовалось не против сказанного, а против того, кто это говорил. А говорил ему эту правду вчерашний раб, холоп с поротым задом, мужик, видевший в русском мундире прежде всего ненавистного ему барина, а отнюдь не того, чьей профессией была защита как отечества в целом, так и жизни этих же самых мужиков в частности. Он почему-то вспомнил отца, его нечастые приезды в Высокое и его обязательные беседы с детьми во время этих приездов. «Нет большей чести, чем пасть в бою,— говорил он им, мальчикам, жадно ловившим каждое его слово.— Вы — дворяне, и ваш долг служить отечеству, не щадя жизни и не ища наград». Вспоминал, и с детства внушенное ему чувство гордости за свой род, в течение многих веков исправно поставлявший России офицеров, захлестнуло его, породив в душе резкое несогласие с правдой, вполне осознанной разумом.

— С Россией — особая история,— сказал он, стараясь говорить так же спокойно и рассудительно, как говорил со-

беседник.— Наш народ мечом отстоял свою независимость, мечом раздвинул границы, мечом неоднократно спасал Европу. Наши с вами предки могли пахать землю, растить детей, да и попросту жить, только потому, что кто-то умирал за них на полях сражений. Поэтому вполне естественно, что мы и доселе уважаем военную форму и славных героев-воинов.

— Резон в ваших рассуждениях есть,— согласился Роман Трифонович.— Только с двумя поправочками, ежели не возражаете. Слыхал я, что во Франции члены Академии числом, если помнится, в сорок человек, «бессмертными» именуются. Тоже ведь государство, мечом созданное, неоднократно мечом же спасенное и оберегаемое, а бессмертием мудрецов пожаловало, а не генералов. Мудрецов, Федор Иванович, вот ведь чудаки какие, французишки-то эти. А что касается военного героя, то он, конечно, герой, однако герой сей иногда такое геройство проявляет, что только руками разведешь. Скажем, величайший герой наш граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, князь Италийский, действительно — герой, только разгром Костюшки куда денем, а заодно и Пугачева? Скажете: мол, бунтарей усмирял и тем способствовал единству и мощи отечества нашего? Можно, конечно, и так полагать, однако у нас не тот герой, кто геройство по велению совести своей проявляет, а чаще всего тот, кто велениям власти подчиняется не токмо без ропота, но с восторгом и старанием. Нет, Федор Иванович, не там Россия героев ищет, не там. Поприщ у отечества многое множество, а мы одно для славы и бессмертия избрали: военно-мундирное. Не пора ли о несправедливости выбора такого подумать, а? Новые силы в России нарождаются, и силы эти признания требуют. Не для славы — для блага отечества. Промышленность развиваем собственную, ночей не спим, спину горбатим, а нам — палки в колеса. На каждом шагу — палки. Ничего, конечно, справимся, любые палки в муку перемелем, но зачем же силы-то впустую тратить? Ведь их у нас — ой-ой! — горы своротить можем, потому что вчерашний мужик на простор вышел. А мужицкая кость погибче барской: где барская ломается, наша только гнется.

Вторую половину разговора Хомяков провел совершенно иначе, чем первую. Тут не было места тому почти олимпийскому спокойствию, чуть сдобренному иронией: тут Роман Трифонович начал говорить с горячностью и желчью, и Олексин не столько понял причины этого изменения, сколько почувствовал их. А почувствовав, не стал допытываться, как да почему так, а сразу же спросил о том, что

тревожило его, но спросил хмуро, заранее прикрывая просьбу, ибо просить не любил и не умел:

— И вы, что же, тоже горы своротить можете?

Хомяков внимательно посмотрел на него, неторопливо налил вина — прислуге он появляться в кабинете запретил, пока не позовет,— отхлебнул, успокаиваясь.

— Какая же из гор вам помешала, Федор Иванович?

— Какая? — Федор тянул, не решаясь переходить к просьбе; это насиловало его, унижало, но он заглушил гордость.— По щучьему велению, по моему хотению доставьте меня к генералу Скобелеву.

— Позвольте полюбопытствовать зачем?

— В отличие от вас, с детства влюблен в героев,— криво усмехнулся Олексин.— Коли хлопотно или не можете, скажите сразу, я не буду в претензии.

— К Скобелеву я вас доставить могу, сложности тут для меня нет, но...— Хомяков замолчал, достал из кармана письмо, словно намереваясь показать его Федору, однако не показал и снова спрятал в карман.— Могу и рекомендовать, если угодно.

— У меня есть рекомендация,— резко перебил Федор.

— Прекрасно,— Роман Трифонович улыбнулся.— Пропуск в действующую армию я вам доставлю хоть завтра, но лучше было бы чуть повременить.

— Я повременил предостаточно.

— В Кишиневе сейчас находится человек, который тоже рвется к Скобелеву. Однако он исполняет определенную должность и, пока не выполнит всех поручений, уехать отсюда не может. А вам прямой резон с ним вместе к Скобелеву явиться: он ведь с Михаилом Дмитриевичем еще в Туркестане вместе воевал.

— Кто же это? — заинтересованно спросил Олексин, подумав сразу же о хмуром капитане Гордееве.

— Штабс-капитан Куропаткин Алексей Николаевич. Знаком с ним коротко, и в моей просьбе он не откажет.— Хомяков решительно отодвинул тарелку, оперся локтями о стол.— И вы, пожалуйста, не откажите. Я достану вам пропуск, познакомлю с Куропаткиным, отправлю с ним вместе, только... При одном условии, Федор Иванович.

— Что же за условие? — насторожился Федор.

— Встретить вместе со мною сестрицу вашу Варвару Ивановну.

Это было так неожиданно, что Олексин совсем растерялся. Тупо поморгал глазами.

— Варю?

— Варвару Ивановну,— подчеркнуто пояснил Хомяков.

— А... Где она? То есть, где встречать?

— Здесь, в Кишиневе, недельки через две, о чем в письме сообщила,— Роман Трифонович вновь улыбнулся, но на этот раз улыбка его была натянутой, жесткой, почти зловещей.— Жена у меня помрет скоро, вот какие дела, Федор Иванович. Не далее как через месячишко преставится, больна очень, врачи и руки опустили. А помочь мне Варвару Ивановну встретить да на первое время жизнь новую ей облегчить, отвлечь да развлечь — я очень вас прошу. Очень. Потому как намерения у меня весьма серьезные, Федор Иванович. Весьма серьезные намерения, и очень я рад, что вы в Кишиневе так вовремя оказались. Так что вы мне порадеете, а я — вам порадею. По-родственному, Федор Иванович, ей-богу, по-родственному. По-братски, коли уж прямо сказать.

Федор по-прежнему тупо смотрел на Хомякова, решительно ничего не понимая.

4

Иван Олексин жил теперь в семье старшего брата. Появившись вдруг поздним весенним вечером, поплакав и побуйствовав, сколько того требовал возраст и фамильный нрав, успокоился, но в Смоленск возвращаться отказался наотрез. Не вдаваясь в подробности и ни разу не упомянув о Дарье Терентьевне, с глазу на глаз объяснил Василию Ивановичу:

— Пока долг тете не верну, домой не ворочусь.

— Велик ли долг? — спросил Василий Иванович.

— Больше двух тысяч.

— И где же такие деньги достать рассчитываешь?

Иван неопределенно пожал плечами. Он никогда не интересовался, сколько и каким образом зарабатывают люди на жизнь, но складочка меж бровей, появившаяся в ночь последних слез, убедила Василия Ивановича, что дальнейшие расспросы, а тем паче наставления восприняты не будут. Пережив за короткое время величайший взлет духа, множество тревог, неуверенность в себе, а затем и крушение веры, Иван нашел силы утвердиться в одной идее; старший Олексин понял это, почему и позволил себе высказать лишь пожелание:

— Надо бы в гимназии окончить.

— Сдам экстерном. Здесь, в Туле. Учебники достань.

На том и кончился их единственный разговор о будущем. Иван усиленно занимался, и Василий Иванович в этом

смысле был спокоен, зная искреннюю, хотя и не весьма целеустремленную любовь брата к науке. Однако, чтобы сдать на аттестат зрелости экстерном, требовалось особое разрешение, и старший Олексин, поразмыслив, рискнул попросить о содействии Льва Николаевича.

— Молодец,— сказал Толстой, когда Василий Иванович поведал ему о желании Ивана.— Хорошей вы породы, господа Олексины. Аристократизмом не болеете.

— Крестьянская кровь,— улыбнулся Василий Иванович.— Она нас спасает.

— Всех она спасает,— сказал Толстой.— Отечество в сражениях, а нашего брата — от вырождения. Скажите Ване, пусть спокойно занимается.

Иван окунулся в ученье с неистовостью, будто пытался неистовостью этой загасить нечто до сей поры обжигающее его. Обида прошла быстро: он вообще склонен был не лелеять обиды, а поскорее забывать их, унаследовав эту черту с материнской стороны. Осталось потрясение, сделавшее его замкнутым и неразговорчивым, и молодежь — а в Ясной Поляне ее всегда хватало,— пытавшаяся поначалу вовлечь его в игры и развлечения, вскоре отстала с некоторым недоумением. Младший Олексин не дичился, а вежливо скучал в молодом обществе, коли не мог отговориться занятиями или нездоровьем. Он весь был поглощен учением и собственными размышлениями, и эта поглощенность делала его старше всей той веселой, звонкой, смешливой юности, которую так ценил и понимал сам хозяин Ясной Поляны. Но, понимая шумливую веселость яснополянской молодежи, Толстой понимал и сдержанную замкнутость Ивана, и по его совету Олексина оставили в покое, целиком предоставив книгам, занятиям и самому себе. Иван занимался ежедневно по многу часов, занимался стиснув зубы, до звона в голове и ломящей физической усталости. Занимался не столько для того, чтобы хорошо сдать экзамены за последний класс гимназии, сколько для того, чтобы довести себя до изнеможения и заснуть сразу, едва добравшись до постели.

Дело в том, что к нему очень скоро стала вновь являться Дашенька. Сначала хитренько злой, распутной, издевательски торжествующей, потом — молчаливо покорной, стыдливо прячущей глаза и наконец — несчастной, беспомощной, страдающей жертвой каких-то темных, непонятных сил, толкнувших ее на гнусное вымогательство. И если первая ее ипостась вызывала в Иване негодующий отпор, вторая — жалостливое презрение, то Дашенька номер три действовала так же, как действовала живая, теплая, полная женского

лукавства и обещаний первая женщина в его жизни. Его Ева, не столько соблазнившая его, сколько — как считал Иван — сама соблазненная каким-то таинственным змием. И именно эта Дашенька, именно это жаркое, физически ощутимое воспоминание о ней и было особенно мучительным, и с ним можно было бороться только одним способом: замучив себя до одури.

Случилось так, что сдавал он экзамены как раз в то время, когда Толстой и Василий Иванович отправились на колофидинской кляче проведать старца-пустынника. Возвращались они уже без Колофидина, где пешком, а где на телеге, домой особо не спешили и прибыли тогда, когда Иван торжественно вернулся с победой. Он сдал все экзамены, получив высшие баллы, через несколько дней ему должны были вручить о сем документ, и в скромной квартире Василия Ивановича был по этому поводу затеян праздничный чай. Екатерина Павловна испекла пирог, и все четверо уселись за стол, когда раздался стук в дверь и вошел Лев Николаевич.

— Не пригласили,— укоризненно попенял он.— А я сам поздравить пришел. Помните, Василий Иванович, старец мне советовал гордыню унять? Дельный совет, я сейчас этим особо занимаюсь.

После первой сумятицы, испуга Коли, хлопот хозяйки и некоторой растерянности Василия Ивановича все улеглось. Пили чай, поздравляли Ивана, ели пирог, хвалили хозяйку. Разговор шел застольный, обыденный: расспрашивали Ивана, что было на экзаменах да как он отвечал.

— А теперь куда полагаете? — спросил Лев Николаевич.— В университет, по научной части, или в техническое заведение, по практической? А, может, блеск привлекает, шпоры, сабля, мундир?

— Позвольте повременить с ответом,— негромко сказал Иван.— Вопрос ваш серьезен весьма, Лев Николаевич, я, признаться, думал над этим, но пока не очень еще уверен.

— Современные молодые люди ищут путей оригинальных,— сказала Екатерина Павловна, как-то особо посмотрев при этом на Василия Ивановича.

Она хотела перевести разговор на опасные с ее точки зрения идеи Ивана о долгах и расплатах, но Василий Иванович взглядов не понял и поддержать ее не успел.

— Современные? — Толстой нахмурился, поставил стакан, помолчал.— Извините, Екатерина Павловна, не согласен. Только спорить буду не с вами, так что на свой счет не принимайте,— спорить буду с рутиной наших представлений. Очень уж много в обиходе нашем слов без смысла,

а слово без смысла есть ярлык, обозначение, а не понятие. Вот, к примеру, во все времена к молодым людям прилагали слово «современные», а определение это — пустое. Это все равно, что утверждать: масло мажется на хлеб. Ну мажется, а далее что?

— Следовательно, по-вашему, всякая молодежь — современна? — спросил Василий Иванович.

— Безусловно,— Толстой энергично кивнул.— Она родилась в своем времени и, следовательно, современна ему. Это мы с вами можем отстать и оказаться не со временем, а они,— он показал на Ивана и Колю,— не могут, даже если бы и захотели. Это — их время, и всегда их время, и только их время. Пушкин это очень хорошо чувствовал, этот естественный механизм смены, бесконечного обновления жизни.

— У вас уж, поди, и чай остыл,— сказала хозяйка.— Позвольте свежего налью.

— Не откажусь, Екатерина Павловна, благодарствуйте.

— Я ведь совсем другое имела в виду, когда про современность говорила,— продолжала Екатерина Павловна, наливая чай.— Они сейчас самостоятельны весьма, молодые люди. Чересчур, я бы сказала, самостоятельные.

— Можно подумать, что год назад мы с тобой, Катя, американский опыт по наследству получили, а не сами его выбрали,— улыбнулся Василий Иванович.

— Вот-вот! — оживился Толстой.— Удивительная метаморфоза происходит с человеком, как только он шаг в иную возрастную категорию совершает. Смотрите, с какой радостью, как нетерпеливо мы уходим из детства, как рвемся из него. А юность наша покидает нас исподволь, незаметно, будто не мы из нее уходим, а она от нас. Может быть, так оно и есть? Может быть, пора юности — это пора согласия с расцветающей душой, а затем согласие это исчезает, заменяется борением, и мы, проснувшись однажды, уже перестаем понимать ее, юность нашу вчерашнюю, уж смотрим на нее как на племя незнакомое, а посему чуть-чуть, малость самую, и подозрительное. Может быть, отсюда появляется общее определение «чересчур». Чересчур резки, чересчур самостоятельны, чересчур современны... Думать не хотим! — неожиданно резко закончил он.— Привычно и уютно не желаем думать и вспоминать, что сами были точно такими же и наши маменьки и папеньки точно так же применяли к нам словцо «чересчур», как мы — к своим детям. Извинения прошу, что шумлю и витийствую, уважаемая Екатерина Павловна, но завязли мы в словесах своих. Как в трясине завязли и скачем с привычного на обычное, как с кочки на кочку.

Иван в разговор не вступал, хотя со многим и не соглашался. Он был застенчив, в присутствии Толстого слегка робел и предпочитал внимательно слушать, часто говоря себе: «Это надо запомнить», если мысль казалась ему спорной или, наоборот, звучала абсолютом. А Василий Иванович был очень доволен, откровенно радуясь не только приходу дорогого для него человека, но и тому оживлению, которое вдруг прорвалось в Толстом, последнее время находившемся в состоянии либо суровой отрешенности, либо запальчивого неприятия всего окружающего. И стремясь поддержать это толстовское воскрешение, эту живость и заинтересованность, старался вести беседу в том русле, в которое она вылилась.

— Да, юность покидает нас незаметно, уходит, так сказать, на цыпочках, вы правы,— говорил он.— А все же как бы определить ее? Что же это за пора такая, весна-то человеческая? Время испытания идей, поисков и сомнений? А может быть, просто своего места в обществе?

— Это скорее следствие, чем причины,— подумав, сказал Лев Николаевич.— Как определить? Давайте на природу оглянемся, там ведь те же законы. Оглянемся, сравним...

— Со щенками? — неожиданно сказал Иван, густо покраснев.

— Ну зачем же? — улыбнулся Толстой.— С березой, чтоб обидно не было. Или — с яблоней. Корни исправно гонят соки, дерево наливается силой, крепнет, шумит листвой, рвется к солнцу, только — плодов нет. Не отягощены плодами ветви и поэтому с легкостью безмятежной стремятся ввысь, а не никнут к земле, сгибаясь под тяжестью нажитого. Все еще впереди, и каждая веточка, каждый листок знает, что все впереди. Отсюда — спокойствие и гармония, но...— Толстой настороженно поднял палец,— именно оттого, что каждая клеточка знает о своем предначертании, знает и ждет, возникает чувство неудовлетворенности собой. Возникает дисгармония, но не с внешним миром, а внутри себя. Гармония и дисгармония уживаются в юности внутри человека, душа еще не вступила в общение с миром, она еще занята собой, вот почему юность так легко бросается от отчаяния и слез к восторгу и смеху. Стало быть, это такой период в жизни человека, когда душа его принадлежит ему безраздельно, когда она еще не отъединена от него внешними законами общества, их несправедливостью и ограниченностью, когда она еще крылата. Крылата!

— Значит, все-таки к душе вернулись,— сказал Василий Иванович с долей неудовольствия.

— Спор старый, и не нам его разрешить. Но я чувствовал крылья души своей, когда был юн. А потом то ли сам

их отсек, то ли жизнь их откромсала, не знаю. Только берегите крылья, юный друг мой Иван Иванович: человечество так устроено, что первейшей своей задачей полагает спалить эти крылья.

На том и кончился тот памятный для Ивана разговор, который, несмотря на всю отвлеченность, окончательно утвердил в нем то, что до сей поры маячило неясно и бесформенно. Но утверждение это он осознал позднее, а тогда лишь слушал да запоминал, очень польщенный тем, что сам Лев Николаевич назвал его «своим другом Иваном Ивановичем».

Через несколько дней Иван уехал в Тулу получать аттестат. Ждали его не сразу: еще в пору экзаменов он, случалось, ночевал у акушерки Марии Ивановны. Однако на сей раз он не торопился с возвращением: Екатерина Павловна уже забеспокоилась, хотела послать кого-нибудь в город, но тут с проезжим мужиком пришла записка. Иван сообщал, что поступил вольноопределяющимся во вспомогательные войска, а потому прямо из Тулы тотчас же направляется на юг.

«...Долгие проводы — лишние слезы, дорогие мои. Решение мое окончательное, а беспокоиться обо мне нужды нет. Мне положена форма, казенное довольствие и даже жалование, которое я распорядился пересылать в Смоленск, тетушке. Долги надо платить, Вася, так ведь ты меня учил?..»

Долги, конечно, следовало платить, и Василий Иванович говорил об этом постоянно с верой и убеждением, но в этом разе почему-то испугался и кинулся к Толстому за советом, Лев Николаевич внимательно прочитал записку и грустно улыбнулся.

— Вот вам — души прекрасные порывы, а вы тотчас же гасить их собрались. Признаться, от вас этого не ожидал.

— Помилуйте, Лев Николаевич, он ведь мальчишка еще, без средств, без жизненного опыта.

— Какого жизненного опыта? — Толстой недовольно сдвинул брови.— Вашего? Екатерины Павловны? Или, может быть, моего?

— Личного опыта. Житейского, естественно.

— Так личный опыт лично и приобретается, дорогой Василий Иванович. А мы все норовим свой собственный житейский багаж, свои баулы да саквояжи юности в дорогу навязать. И очень обижаемся, когда она от них отказывается. А ей наше с вами не нужно, она своего ищет.

— Значит, отпустить Ивана? — растерянно спросил Василий Иванович.

— Опоздали! — весело засмеялся Лев Николаевич.— Наш Ваня уж, поди, к Харькову подъезжает!..

5

Тетушка Софья Гавриловна целыми днями раскладывала пасьянсы. Потрясенная семейными трагедиями, неурядицами, неумолимым разлетом молодых Олексиных неведомо куда и неведомо зачем, а главное — запутавшись в таинственных процентах, закладных, векселях и счетах, она окончательно упустила из рук и семью и дом. Привыкшая к реальным деньгам и почти натуральному хозяйству недавнего — и, увы, такого далекого! — прошлого, Софья Гавриловна не просто проводила время за картами, а, во-первых, загадывала приятные неожиданности и, во-вторых, напряженно изыскивала выход из сложного финансового положения, в котором оказалась семья. Но выходов не находилось, а пасьянсы, как на грех, никогда не получались. Тетушка ежедневно принимала старательного Гурия Терентьевича со всякого рода отчетами и разъяснениями, ничего в них не понимала, но свято была убеждена, что тихий Сизов не только безукоризненно честен, но и предан лично ей всею душою. И это несколько утешало ее.

Гурий Терентьевич Сизов и в самом деле никого не обманывал, дел не запутывал и ничего не скрывал. Служа верой и правдой и очень уважая хозяйку дома, он старался как мог, но был от природы ненаходчив, робок и мелочен, а потому ни в какие дела, а тем паче спекуляции вкладывать доверенные ему средства не решался, предпочитая действовать без всякого риска и полагая, что точно так же действуют и его контрагенты. Но Россия уже сошла со старой, веками накатанной дорожки, уже с кряхтеньем, крайним напряжением сил и бесшабашной удалью переползала на иные, железные, нещадно холодные пути; старые состояния трещали по всем швам, новые создавались в считанные месяцы, и в этой азартной перекачке хозяйственного могущества из вялых, барских рук в энергичные, мужицкие риск был непременным условием борьбы. Между привычным барским и казенным владениями смело вклинивалась третья сила — растущий не по дням, а по часам русский промышленный капитал. Дворянская выкупная деньга сыпалась в карманы тех, кто вынес многовековой естественный отбор, сохранив и ум, и хватку, и уменье видеть завтрашний день, кто в один прекрасный день изумил своих бывших хозяев, противопоставив их рафинированной бестолковости трезвую, деловую жестокость. И осталось класть пасьянсы да загадывать, авось государь, однажды проснувшись, вспомнит тех, чьи шпаги веками охраняли его престол, и издаст закон, по которому бы растерянному по-

томственному дворянству тек скромный ручеек постоянных субсидий. Но пасьянсы не желали сходиться, последние леса стонали под чужими топорами, а имения вот-вот должны были пойти с молотка.

— Вы позволите, тетя?

Варя вошла в гостиную, когда Гурий Терентьевич уже удалился со своими бумагами и Софья Гавриловна была одна. Она поверх очков строго посмотрела на Варю, со вздохом смешала упрямые карты и сказала:

— Это какой-то рок: я опять ошиблась с валетом треф.

— Я хочу поговорить с вами.— Варя села напротив, похмурилась, внутренне готовясь.— Причем очень серьезно, тетя.

— Конечно, конечно. Отчего бы нам и не поговорить?

— Гурий Терентьевич подробнейшим образом ознакомил меня с текущими делами,— Варя заметно нервничала, старалась говорить спокойно и потому подбирала слова.— Кроме того, я получила письмо... от одного человека. Он досконально изучил наше состояние.

— Да, скверно,— согласилась Софья Гавриловна.— Скажу страшные слова: я в претензии на своих племянников. Возможно, это нехорошо, но им следовало бы изыскать нам помощь.

— От кого вы ждете помощи? У Василия своя семья, Федор — прирожденный бездельник и приживал, а Гавриил, по всей вероятности, до сей поры в плену. Нет, дорогая тетушка, сейчас такие времена, что помощи следует ждать не от племянников, а от племянниц.

— Я знаю, но не понимаю зачем,— важно кивнула тетушка.— Она запутана до чрезвычайности, эта самая эмансипация.

— Боюсь, что вам придется подобрать другое определение, когда вы дослушаете до конца. Я много думала, долго сомневалась и даже, как вам известно, обратилась за поддержкой к Богу,— Варя бледно усмехнулась.— Вы были совершенно правы, тетя, когда однажды сказали, что мне пора определиться.

— А я так сказала? — искренне удивилась Софья Гавриловна.— Любопытно, что я при этом имела в виду...

— И я определилась,— не слушая, продолжала Варя.— Я дала согласие...— она потерла ладонью лоб, не столько подыскивая слово, сколько прикрывая глаза.— Словом, я определилась на службу к частному лицу. Это обеспечит...

— Варя...

— Это — единственный выход,— с нажимом сказала Варя.— Единственный выход спасти семью от развала и нищеты. Разлетелись все, кто мог летать, но дети остались.

Георгий, Наденька, Коля. Мама оставила их на меня, я знаю, что на меня,— Варя судорожно глотнула.— Это — мой долг и крест...

— Варвара! — резко прервала тетушка.— Что, в чем твое решение? Я хочу все знать, потому что я должна все знать.

— Вы заменили нам мать, вы отдали все, что имели, и теперь мой черед, дорогая, милая тетушка,— задрожавшим голосом сказала Варя.— Вы никому ничего не должны — только я. И я верну этот долг, даже если за это меня не примут более ни в одном приличном обществе.

— Варя, Варенька.— Софья Гавриловна суетливо задвигала руками, скрывая дрожь; задетая колода карт соскользнула со столика и веером рассыпалась по полу.— Варя, я, кажется, кое-что начинаю понимать. Если это так, то не делай этого, родная моя, умница моя, умоляю тебя. Ты погубишь себя.

— Я решилась, тетя,— Варя медленно провела ладонью по лицу и впервые подняла на Софью Гавриловну измученные бессонницей, странно постаревшие глаза.— Я уже написала письмо, получила ответ и сегодня вечером выезжаю в Кишинев.

— К кому же, к кому? Неужели... Неужели к этому... в яблоках?

— Да, к господину Хомякову, тетя.

— Варвара! — Тетушка встала, выпрямив спину и гордо откинув седую голову.— Ты не сделаешь этого. Я запрещаю тебе. Ты не смеешь этого делать. Ты — дворянка, Варвара!

— Я — крестьянская дочь.— Варя тоже встала.— Не знаю, смогу ли я остановить коня, но в горящую избу я войти обязана.

Так они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Потом Софья Гавриловна закрыла лицо руками, плечи ее судорожно затряслись. Варя изо всех сил закусила губу, но и у нее уже бежали по щекам слезы.

— Мы еще попрощаемся, милая, родная тетушка,— тихо сказала она.— Смотрите, как хорошо легли карты: картинками кверху и все — красные.

Софья Гавриловна больше не просила, не умоляла, даже ни о чем не спрашивала. Очень ласково, со слезами и улыбками вместо слов проводив Варю, жила той же размеренной и растерянной жизнью, только выслушивала ежедневные многоречивые пояснения Сизова уже без прежнего стремления хоть в чем-то разобраться, а почти машинально, по укоренившейся привычке. И так продолжалось, пока однажды Софья Гавриловна не получила весьма любезной

просьбы от Александры Андреевны Левашевой навестить ее, уведомив через доставившего письмо лакея об удобном для нее дне и часе. С горечью подумав, что почтенная Александра Андреевна опоздала, тетушка тем не менее указала, когда рассчитывает исполнить просьбу. В назначенный день за нею был прислан экипаж.

— Дорогая моя Софья Гавриловна! — хозяйка встретила тетушку очень любезно, дамы расцеловались и тут же прошли в кабинет.— Я побеспокоила вас по весьма серьезному вопросу, торопясь не только исполнить просьбу доброго знакомого, но и доставить вам неожиданную радость. Я, видите ли, патронирую добровольные лазареты, существующие на пожертвования, коими полновластно распоряжается мой добрый гений и щедрый жертвователь Роман Трифонович Хомяков: помните, я имела удовольствие представить его вам.

— Имели,— Софья Гавриловна горько покачала головой.

— Я тревожу вас именно по его просьбе,— продолжала хозяйка.— Эти постоянные хлопоты с лазаретами доставляют массу неприятностей и беспокойств — не знаю, что бы мы делали без Романа Трифоновича! И потом, эта ужасная война, эта кровь и страдания касаются теперь всех нас, всей России. Мой брат князь Сергей Андреевич уже давно там, на полях сражений: он представляет Красный Крест. А сколько молодых людей уже отдали свои жизни! — Левашева вдруг понизила голос.— У меня гостит дальняя родственница по мужу, юная женщина, несчастнейшее существо! Ее муж пал смертью героя при переправе через Дунай, а была она его супругой всего три дня. Три дня счастья, Софья Гавриловна, и на всю жизнь — горя.

— Да,— сказала тетушка.— Кажется, мы вступаем в какой-то слишком торопливый век. В наше время медовый месяц равнялся полугоду. Мы с покойным мужем ездили в Париж...

— А мы с юной вдовой уезжаем в Бухарест,— перебила Левашева, привычно перехватив разговор.— Она хочет отслужить молебен на могиле мужа, а меня зовут дела. Не хватает госпитальных палаток, медикаментов, врачебного персонала. Всего не хватает, а война только началась. Что-то будет?

— Скверно,— строго сказала Софья Гавриловна.— Мой брат предрекал смену знамен. Я тогда не поняла его, а теперь понимаю. О, как я теперь понимаю его! К сожалению, и на склоне лет понимание плетется где-то позади желаний.

— Простите, Бога ради, простите, я позабыла о главном,— спохватилась Левашева.— Сначала — дела, а по-

том — все остальное, не правда ли? А известия — радостные, и заключаются они в том, что господин Хомяков в письме на мое имя просит уведомить вас, дорогая, что все ваши векселя и закладные им погашены вместе с процентами, никаких долгов у вас более нет и кредит ваш отныне неограничен. Бумаги о сем он уже выслал со своим курьером, и днями, я полагаю, вы получите... Что с вами, дорогая Софья Гавриловна? Вам дурно? Вы вдруг побледнели...

— Ничего, ничего, благодарю вас,— с трудом сказала Софья Гавриловна.— Жертва. Вот она — жертва. Сколько благородства и сколько безрассудства. Брат говорил о смене знамен: какая чушь! Какая мужская чушь! Пока женщина будет готова на жертву, пока она во имя семьи готова будет отдать самое себя, ничего не случится с этим миром. Решительно ничего: мир в надежных руках. В женских. В нежных женских ручках, Александра Андреевна...

— Да, да, конечно, конечно,— Левашева лихорадочно выдвигала ящики бюро, вороша бумаги, звеня склянками.— Куда-то я засунула капли. Прекрасные немецкие капли... Может быть, внизу?

— Благодарю вас, Александра Андреевна, не надобно никаких капель.— Софья Гавриловна тяжело поднялась с кресла.— Извините меня, я не могу более надоедать вам. Мне надобно домой, домой. Если возможно, экипаж, пожалуйста.

— Конечно, конечно! — Левашева позвонила, распорядилась, чтобы экипаж подали к подъезду.— Мне так жаль, право, что вы уезжаете. Нет, нет, я понимаю, понимаю, но я мечтала представить вам Лору... Валерию Павловну Тюрберт, эту несчастную юную вдову. Мы с детства звали ее Лорой, так уж почему-то повелось...

— Нет, не могу, уж извините.— Софья Гавриловна с трудом, медленно шла к дверям, Левашева заботливо и испуганно поддерживала ее.— Слишком много новостей, дорогая Александра Андреевна. Слишком много для моего старого сердца.

— Я сейчас же пошлю за врачом: его отвезут прямо к вам.

— Ни в коем случае,— строго сказала тетушка.— Я всегда лечусь сама и лечу других. Знаете, у меня есть чудная книга: лечебник. Там указаны все известные болезни и рецепты. И я всегда пользовала и семью, и дворню, и знакомых. Ко мне даже приезжали издалека. Правда, сейчас появилась масса новых болезней.

— Позвольте хотя бы проводить вас до дома.

— Ни в коем случае,— повторила тетушка, мягко, но настойчиво отводя руки Александры Андреевны.— Пасьянс.

— Что? — растерянно спросила Левашева.

— Пасьянс,— Софья Гавриловна убежденно покивала головой.— У меня никогда в жизни не сходился пасьянс. Никогда. А сегодня вдруг сошелся, представляете? Но какой ценой, Александра Андреевна, какой ценой!..

Глава третья

1

Известие о жестоком разгроме отряда Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не просто нежданно-негаданной военной неудачей, не только болезненным уколом самолюбию, но и окончательным, катастрофическим крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не до броска на Софию, когда невесть откуда появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли реально совершить обратное тому, что втайне надеялся сделать он: ринуться всей массой на Свиштов, находившийся от Плевны всего в трех дневных переходах, сокрушить защищавший его 124-й Воронежский полк, захватить переправы у Зимницы и напрочь отрезать от баз снабжения, от резервов и самой державы далеко прорвавшиеся в Болгарию разбросанные по расходящимся направлениям русские отряды. Могли, наконец, не рискуя трехдневным маршем, двинуться на потрепанные части его собственного Западного отряда, смять их, окружить, отбросить и соединиться с сильным гарнизоном крепости Виддин, образовав единый фронт, одинаково опасный как для Дунайских переправ, так и для далеко ушедшего к Балканам Летучего отряда Гурко. Черт с ним, с «Кентавром», пусть сам выкручивается, но и этот демарш Османа-паши означал одно: бесславный конец карьеры Николая Павловича.

— Корреспондентов вон,— объявил Криденер ранее всех военных распоряжений.

— Это не совсем удобно,— осторожно начал Шнитников.— Они допущены решением...

— Всех вон,— повторил барон, не дослушав.— За черту Западного отряда. Войска отвести к Бреслянице, имея в тылу Никополь. Отдельно в Болгарени расположите Кавказскую бригаду для действий во фланг, ежели противник движется к переправам. И немедля готовьте донесение его высочеству.

Несмотря на высылку, корреспонденты узнали все, что хотели узнать. Русская пресса поведала о поражении очень

сдержанно, больше упирая на героизм войск, но английская и германская, не говоря уже о турецкой, живо писали о разгроме с ехидством и восторгом, а какая-то из второстепенных немецких газеток из номера в номер начала печатать неведомо кому принадлежавшие записки о походе Наполеона в Россию. Аналогия напрашивалась сама собой, что весьма болезненно било по русскому национальному самолюбию. При этом англичане утверждали (как водится, «из достоверных источников»), что турок было в три раза меньше, чем русских, а русская печать — что на каждый русский штык приходилось десять турецких, турецкая же загадочно помалкивала, чаще упоминая о воле Аллаха, чем о соотношении сторон в первом Плевневском сражении.

Узнав о конфузе под Плевной, Николай Николаевич-старший минут пять топал ногами и ругался как ломовой извозчик. Непокойчицкий невозмутимо ждал, пока он успокоится, а Левицкий — в последнее время великий князь главнокомандующий стал в пику старику все чаще привлекать к общей работе помощника начальника штаба, всячески отмечая его педантичное усердие,— Левицкий нервно суетился, перекладывая бумаги и пытаясь что-то сказать.

— Что он топчется? — заорал Николай Николаевич.— Что он тут топчется?

— Осмелюсь обратить внимание вашего высочества на цифры,— рука Левицкого чуть вздрагивала, когда он протянул листок.— У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдер-Шульднера...

— Врет Шульднер и Криденер твой врет! — главнокомандующий бешено выкатил белесые глаза.— Без освещения местности прут, без разведки атакуют, все на авось, на авось! — Он вдруг поворотился к Непокойчицкому.— Что молчишь? На сколько соврал Криденер?

— Возможно, что Николай Павлович и не соврал,— тихо и очень спокойно, даже задумчиво, сказал Артур Адамович.— Осман-паша собирает в Плевне всех, кого может, да и по Софийскому шоссе к нему все время идут обозы и подкрепления. Если все принять в расчет, то можно допустить, что у Осман-паши около сорока таборов низама, несколько эскадронов сувари и не поддающееся учету число черкесов и башибузуков.

— А пушек? Пушек сколько?

— Вероятно, около шестидесяти-семидесяти. Следует иметь в виду, ваше высочество, что неприятель занимает весьма выгодную по условиям местности позицию, которую беспрестанно укрепляет.

Тихий голос Непокойчицкого всегда действовал на вели-

кого князя успокаивающе. Посопев еще немного и посверкав глазами, Николай Николаевич сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойчицкий неторопливо разворачивал ее, Левицкий счел возможным сказать то, о чем его лично просил Криденер:

— Генерал Криденер умоляет ваше высочество доверить ему разгром Османа-паши. Он дал слово, что сметет эту сволочь с лица земли.

Артур Адамович недовольно поморщился: он не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное исполнение приказов. Николай Николаевич заметил его неудовольствие, усмехнулся и сказал, вдруг повеселев:

— Коли сметет сволочь, так вопрос лишь в помощи да в быстроте. Кого можем подчинить Криденеру для уничтожения этого Османки?

— На подходе корпус князя Шаховского, ваше высочество,— начал докладывать Левицкий.— Кроме того, от Царевицы можно повернуть к Плевне 2-ю бригаду 30-й пехотной дивизии...

— Отряд подполковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи,— вдруг прервал Непокойчицкий с неожиданной резкостью.— Правда, он занял Ловчу снова, но его непременно вышибут еще раз.

— Ну и что? — сердито переспросил главнокомандующий.— Где Ловча, а где Плевна...

— Рядом,— весомо сказал Артур Адамович и, оттеснив Левицкого, показал по карте опасную близость этих городов.— Если Осман-паша соединится с турками в Ловче...

— Так не дайте ему соединиться! — крикнул Николай Николаевич.— Перебросьте туда кавалерию. Есть поблизости кавалерия?

Генералы переглянулись: надо было решаться. Ближайшие кавалерийские части были в распоряжении Криденера: 9-я кавалерийская дивизия генерала Лашкарева и Кавказская бригада Тутолмина. Перевод их на участок между Плевной и Ловчей означал ослабление основных сил Западного отряда.

— Если соизволите, туда можно направить Кавказскую бригаду полковника Тутолмина,— сказал Непокойчицкий.— Это, конечно, ослабит Криденера, но перед Ловче-Плевненским отрядом можно поставить активную задачу.

Артур Адамович замолчал. Молчал и главнокомандующий, в размышлении барабаня пальцами по карте. Потом спросил отрывисто:

— Сколько у нас пушек?

— Пушек? — Левицкий лихорадочно рылся в бумагах, подсчитывая.— Думаю... Думаю, около полутора сотен.

— В два раза больше, чем у Османки? — радостно засмеялся Николай Николаевич.— Огонь, сокрушительный огонь — вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдавайте бригаду этому...— он вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на фамилии, а тут запамятовал.— Кого из Ловчи вышибли?

— Подполковника Бакланова,— подсказал Левицкий.

— Вот ему отряд и подчините. Он и местность знает, и битый — значит, злой.

— Позвольте возразить вашему высочеству,— осторожно сказал Непокойчицкий.— Бакланов битый, но не злой, а нерешительный. А нужен — решительный: задача будет сложной, а сил — мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить: генерал Скобелев-второй.

Великий князь снова нахмурился и недовольно засопел. Левицкий, очень не любивший Скобелева, уловил это недовольство. Сказал, обращаясь к Непокойчицкому и как бы между прочим:

— Извините, Артур Адамович, но ваш протеже — шалопай. Его на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой войне: пусть едет в Туркестан халатников бить. А здесь...

— Скобелев — генерал свиты его величества,— вдруг надуто сказал главнокомандующий.— Не забывайся, Левицкий.

— Прошу простить, ваше высочество,— растерялся никак не ожидавший такого афронта Левицкий.— Мне думалось... Я полагал...

— Лучше Скобелева командира для этого дела у нас нет,— с неприсущей ему твердостью повторил Непокойчицкий.— Я настоятельно прошу ваше высочество. Настоятельно.

— Решено,— отрезал Николай Николаевич.— Пусть докажет, на что он способен на европейской войне. Пишите приказ. А ты,— великий князь погрозил Левицкому пальцем,— ты шпильки для дам прибереги.

Князь Алексей Иванович Шаховской получил приказ о подчинении Криденеру и новой задаче корпусу на марше. Будучи старым воякой, он делил генералов на боевых и «протяжных», объединяя в последнем определении как протежирование свыше, так и протаскивание, «протягивание» в чины, вопреке заслугам и логике. Криденер был «протяжным» в чистом, так сказать, виде, но князь превыше всего чтил дисциплину, а посему ничем не выказал личной обиды.

Он тут же вызвал Бискупского, прикинул с ним, как проще и быстрее повернуть войска с марша на иные направления, распорядился о приказах, но задержал начальника штаба, спешившего удалиться для исполнения полученных распоряжений.

— Плевна, Плевна, Плевночка,— бормотал старик, разглядывая карту и сердито дуя в усы, отчего они начинали топорщиться как у кота, что являлось признаком крайнего неудовольствия.— Слушай, Константин Ксаверьевич, у тебя найдется пара толковых штабных офицеров?

— Найдется, Алексей Иванович.

— Мне нужна разведка Плевны с востока и юго-востока: судя по всему, нам в этом направлении атаковать придется. Дороги, колодцы, крутизна скатов, обзор — ну да не мне тебя учить. Пока перестраиваться будем, пусть все разузнают.

Западный отряд, наученный горьким опытом, готовился на сей раз к предстоящему штурму очень тщательно. Никто уже не заикался об «усмирении», и даже сам Криденер перестал презрительно именовать Плевну «плевком»: урок был суров, а ставка слишком высока. И поэтому, когда начальник штаба генерал-майор Шнитников осторожно намекнул, что не худо бы было разведать Плевну хотя бы со стороны возможного направления атаки, Криденер, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, на сей раз ухватился за этот намек с необычной активностью.

— Да, да, непременно. Узнайте у Шульднера, откуда его обстреливали особенно крепко: пусть ваши офицеры поищут иных направлений.

Только после разведки, произведенной генерального штаба подполковником Мациевским и капитаном Биргером, после секретного совещания с начальником штаба Шнитниковым и «героем» первого штурма Плевны Шильдер-Шульднером генерал-лейтенант Криденер решился собрать военный совет. Совет состоялся 14 июля в селе Бреслянице, куда Криденер пригласил командира XI корпуса князя Шаховского, начальника 5-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера, командира 9-й кавалерийской дивизии генерал-майора Лашкарева, начальников артиллерии обоих корпусов генерала Калачова и Пахитонова, начальников штабов этих корпусов и личного представителя Главной квартиры генерал-майора свиты его величества светлейшего князя Имеретинского.

— Что-то Скобелева не вижу,— ворчливо отметил Шаховской, усаживаясь.

— Не знаю, почему он не явился,— нехотя сказал Шнит-

ников.— Приглашение Михаилу Дмитриевичу было послано своевременно.

— Приглашение или приказ? — колюче взъерошил седые брови Алексей Иванович.

— Это не важно,— холодно отметил Криденер.— Скобелев выполняет задачу охранения, не более того. Задача настолько третьестепенна, что присутствие его есть голая формальность, от которой он уклонился.

— Простите, не понял вас,— сказал Имеретинский.— Одно дело — приказ, дающий генералу право решающего голоса на совете, а иное — приглашение послушать, что будут говорить остальные. Так в каком же качестве вы желали здесь видеть Скобелева, Николай Павлович?

— Мне не нужны советы Скобелева,— сухо поджал губы Криденер.— Его опыт войны с дикарями ничем не может нас обогатить. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел начать совещание.

— Пожалуйста,— Имеретинский пожал плечами.— Я всего лишь гость, распоряжайтесь.

Обстановку докладывал Шнитников. Обстоятельно разобрав причины неудачи первого штурма, заключавшиеся, по его мнению, в перевесе сил Османа-паши, отсутствии должной разведки местности и слабой связи между наступающими частями, он обрисовал расположение войск, их подготовку, предполагаемые перемещения и наличие артиллерии, перейдя затем к данным о противнике.

— По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестьюдесятью-семьюдесятью тысячами активных штыков.

— Разрешите вопрос, ваше превосходительство,— поднялся Бискупский, обращаясь к Криденеру.— Откуда эти сведения?

— Сведения? — Шнитников замялся.— Мне бы не хотелось упоминать источник, но они, к сожалению, сомнений у нас не вызывают.

— Среди нас есть турецкие шпионы? — сдвинул брови Шаховской.— Так гоните их в шею, барон!

В комнате возник шум. Пахитонов негромко рассмеялся.

— Спокойно, господа,— сказал Криденер.— Если представитель его величества полагает...

— Я полагаю, что следует уважать военных вождей,— негромко сказал князь Имеретинский.

— Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из Плевны,— доложил Шнитников, дождавшись согласного кивка Криденера.

— С какой же поры русская армия основывает свои

решения на поповских расчетах? — зарокотал Шаховской.— Известно, что у беглеца всегда глаза на заднице.

— Главный штаб и его высочество согласны с этой цифрой.

— Тогда вообще ерунда какая-то,— продолжал непримиримо ворчать Алексей Иванович.— Их семьдесят тысяч, не считая башибузуков, и они в укрытиях. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и эти двадцать шесть тысяч мы по чистому полю под пули и картечь пошлем.— Он грузно повернулся к Имеретинскому: — Вас устраивает такая арифметика, князь?

— Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович,— вздохнул Имеретинский.— Но большего у нас нет, а ждать, покуда из России подтянутся резервные корпуса, невозможно. Обстановка требует немедленной ликвидации этого опасного нарыва.

— Бойня,— хмуро констатировал Шаховской.— Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры, хорошо.

— У нас в два с половиной раза больше орудий,— сказал Шнитников.— Именно на этом превосходстве и построен план Николая Павловича.

После длительных прений, дополнительных вопросов под непримиримое ворчание князя Шаховского совещание выработало основную схему штурма плевненских позиций. Наступление было решено вести с восточной и юго-восточной сторон, «как наиболее важных в стратегическом отношении и наиболее доступных в тактическом», при непосредственной и постоянной поддержке артиллерии на всех этапах сражения.

— К этому считаю необходимым добавить нижеследующее,— сказал Криденер и, взяв заранее приготовленную бумагу, начал читать: «Ввиду того, что при такой несоразмерности сил взятие Плевны стоило бы несоразмерно больших жертв, а неудача могла бы иметь крайне вредные последствия на общий ход военных действий, решено, несмотря на доблестный дух войск, готовых на всевозможные жертвы, испросить предварительно окончательное повеление».

На этом и закончился военный совет, один из самых странных военных советов в истории. Странность его заключалась в том, что в принятом решении уже было заложено неверие в победу, но ответственность за это довольно неуклюже перекладывалась на Главный штаб и самого главнокомандующего. Но непримиримый Шаховской к концу уже уморился, князь Имеретинский получил указание во что бы то ни стало настоять на штурме, а остальные помалки-

вали, не решаясь спорить с упрямым и злопамятным Криденером. И в результате войска получали приказ, в который не верили их собственные командиры.

— Ну, артиллерия, вывезешь? — спросил Шаховской Пахитонова, прощаясь.

— Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович,— улыбнулся Пахитонов.— Только у Османа-паши, между прочим, стальные орудия Круппа.

— Лихо,— усмехнулся в седые усы Шаховской.— Не даст его высочество согласия, видит Бог, не даст. Это же с ума сойти, какой конфуз возможен. С ума сойти!

Донесение о сем совете было отослано главнокомандующему немедля. Ответ на него пришел лишь через два дня: видно, и там спорили, взвешивали, сомневались. 16 июля главнокомандующий телеграфировал:

«ПЛАН ВАШЕЙ АТАКИ ПЛЕВНЫ ОДОБРЯЮ, НО ТРЕБУЮ, ЧТОБЫ ДО АТАКИ ПЕХОТЫ НЕПРИЯТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ БЫЛА СИЛЬНО ОБСТРЕЛЯНА АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ».

В тот же день к вечеру гонец доставил Криденеру личную записку Непокойчицкого. Рекомендуя широко и маневренно использовать конницу, дабы рассредоточить внимание противника и парализовать возможные действия его кавалерии, Артур Адамович в конце писал главное:

«...Великий князь особенное внимание обращает на то, что вы, Николай Павлович, имеете до ста пятидесяти орудий и что ими следует воспользоваться с тем, чтобы разгромить противника, употребив для этого хотя бы целые сутки, а уж затем наступать пехотою. Не спешите с атакой, барон, прошу вас, не спешите: громите их огнем, сколько того потребуется, ибо только в этом вижу я ключ к победе...»

— Все в стратеги лезут,— сказал Криденер, пренебрежительно отбросив записку.— Даже недобитые полячишки и те на советы горазды.

Участь второго штурма Плевны была решена.

2

— Все правильно,— вздохнул свободно Скобелев, узнав подробности о разгроме Шильдер-Шульднера, и выругался заковыристой казачьей матерщиной.

Еще числясь в резерве, не только не зная, но и не предполагая свое возможное участие во втором сражении под той же злосчастной Плевной, Михаил Дмитриевич, пользуясь предоставленной ему свободой и временем, где только мог собирал сведения об Османе-паше и его армии. Он

перечитал все газеты, доставленные ему Макгаханом, хотя обычно читать их не стремился, поскольку не выносил разухабистой газетной лжи. Цифры, сообщаемые англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили.

— Сложите вместе и поделите пополам,— сказал опытный Макгахан.— Возможно, получите нечто похожее на истину.

— Сложите все вместе и суньте в печку,— буркнул Скобелев, возвращая ворох газет.— Мне нужна истина, а не нечто на нее похожее.

Накупив у маркитантов табаку, пряников, конфет и других гостинцев, он выехал в ближайший лазарет: лошадь казака-коновода была сплошь увешана мешками. В лазарете лежали костромичи, спасенные казаками Тутолмина при отступлении с Гривицких высот. Генерал щедро оделил всех подарками, терпеливо выслушал большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали редут, как погиб Клейнгауз и как подпоручик Шатилов вел остатки полка в последнюю атаку. Каждый рассказывал свое, пережитое, но Скобелев никого не перебивал, а лишь направлял разговор туда, куда ему было нужно.

— Я, стало быть, замахнулся — ан, а колоть-то и некого!

— Значит, боится турка русского штыка, братец?

— Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает. Ежели, скажем, соседа его положили, так он уж на месте не останется. Он сразу назад побежит или аману запросит.

— А стреляют как?

— Стреляют почаще нашего, много почаще, ваше превосходительство. Верно ли говорю, ребята?

— Да, уж патронов не жалеют,— отозвались раненые, со всех сторон окружившие генерала.— И ружья ихние почаще наших бьют.

— Только вот...— белобрысый паренек с перебинтованным плечом вдруг засмущался, вскочил и вытянулся.— Виноват, ваше превосходительство, разрешите доложить!

— А ты не скачи, парень, не скачи,— улыбнулся Скобелев.— У нас беседа, а не строй, и ты есть раненый в бою воин. Значит, я перед тобой стоять должен, а не ты передо мной.

— Да я, это...— парень широко улыбнулся.— Доложить хотел, ваше превосходительство.

— Говори, что хотел.

— Да он, турка-то, хоть и много палит, а без толку, ваше превосходительство. Он нас боится, и целить ему

недосуг. Руки у него дрожат, что ли, так он ружье на бруствер кладет и палит, не глядя.

— Верно Степка говорит, правильно,— поддержали с разных сторон.— Это есть, ваше превосходительство. Шуму, значит, много, а толку мало.

— На испуг берет басурманин.

— Ну, не совсем так,— сказал молчавший доселе молодой человек с белой повязкой на голове.— Их винтовки дальнобойнее наших, Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?

— Позволил уже,— сказал генерал.— Вольноопределяющийся?

— Так точно, вольноопределяющийся Мокроусов, недоучившийся студент. Так вот, Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает нас еще издалека, шагов чуть ли не за тысячу. Но Степан прав, целиться они не стремятся: то ли темперамент захлестывает, то ли нас побаиваются. Поэтому веер этот идет как бы в одной плоскости, понимаете? И если, допустим, пригнуться, то он будет идти над головой.

— Что, не снижают прицел? — заинтересованно спросил Скобелев.

— Практически нет. Судите сами: у нас тут куда больше ранений от холодного оружия, чем от огнестрельного. А вот для офицеров — все наоборот.

— Отчего же так?

— Видимо, в офицеров они все же целятся. Может быть, не все, а специально отобранные для этого хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской, и идут они впереди — их легче издалека определить.

— Следует ли из ваших слов, что для офицеров куда опаснее сближение с противником, чем сама рукопашная?

— Пожалуй, так, Михаил Дмитриевич. Конечно, я впервые был в бою, мне трудно обобщить.

— Впервые был, а видел многое.— Скобелев встал.— Спасибо, ребята, вы мне очень помогли. Дай вам Бог здоровья и счастливого возвращения.

Вернувшись домой, Скобелев обстоятельно продумал весь разговор, записав для памяти выводы, к которым пришел: турки не выносят штыкового боя в одиночку; стреляют неприцельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения, под которую можно нырнуть, как под воду; сближение с противником опаснее самого боя и, следовательно, это сближение нужно сокращать до минимума. Он писал, обдумывая каждый пункт, вспоминая оживленные, открытые лица раненых, высоко оценивших посещение ге-

нералом их солдатского лазарета. За окном сгустились короткие южные сумерки, генерал все ниже склонялся к бумаге, не замечая, что темнеет. А заметил, лишь когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи.

— Вот, пишу,— Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся.— Зачем пишу, черт его знает. Разве для истории?

— Там полковник Нагибин приехал,— сказал капитан.

— Нагибин в том бою был? Вот удача! — Скобелев захлопнул бювар, отложил в сторону.— Давай его сюда. И коньяк тащи. Да не какой-нибудь, а с «собакой», слышишь, Млынов?

— На всех с «собаками» не напасешься,— проворчал Млынов выходя.

Офицерство позволяло себе румынский коньяк (за французский маркитанты драли бешеные деньги), но лучшим считался тот, на бутылке которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось — он умудрялся тратить генеральское жалование в считанные дни,— то хмурый капитан Млынов частенько кормил и поил своего командира из личных, весьма скромных средств.

— Поздравляю! — еще с порога крикнул Нагибин и, шагнув, обнял Скобелева.— Поздравляю, дорогой вы наш Михаил Дмитриевич! Я прямиком от Непокойчицкого; он-то и велел вас поздравить.

— Да с чем поздравлять-то? — сердце Скобелева сладко защемило от предчувствия чего-то радостного.— С чем же, полковник?

— Отдельный отряд вам дают, Артур Адамович уж и приказ готовит. Просился и я к вам, умолял, чуть на колени не бухнулся — отказали,— Нагибин хотел выругаться, но сдержался.— Знаю, что бригаду Тутолмина вам передают, а более не знаю ни о составе, ни о задаче. Так что и не расспрашивайте попусту.

— Водки! — закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь.— Млынов, чертов сын, где ты там?

— Вы же коньяку пожелали,— сказал, появляясь в дверях, Млынов.— С «собакой» причем.

— Коньяк пусть Криденер жрет с собакой, а мы по-русски гулять будем. По-русски, козаче, по-нашенски!

Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного, чаще смеялся да распахивал сюртук в любом обществе. Поднимая тосты за вольный Дон, за славу русского оружия и за русского солдата — этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда, при всех обстоятельствах,— Скобелев не забывал о первом деле под Плевной и дотошно расспрашивал Нагибина. Поначалу полков-

ник толково изложил все, что видел, знал и о чем слышал, подробно рассказав о своем последнем разговоре с командиром костромичей полковником Клейнгаузом.

— А Игнатий Михайлович говорит: веером, мол, дамским наступаем. Веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и загинул, бедолага, ни за понюх табаку.

Большего добиться от захмелевшего с устатку казачьего полковника Михаил Дмитриевич не смог. Впрочем, он не огорчался: пил, шутил, оглушительно смеялся и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев выпил две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля Бога, чтобы только не нарваться на великого князя главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного для этой цели мускатного ореха, дабы отбить могущий сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и приказал дежурному доложить о своем прибытии.

Принял его Левицкий: начальник штаба был спозаранку востребован к главнокомандующему. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились уже давно, еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича, и были на редкость простыми: Левицкий терпеть не мог генерала за «шалопайство», а Скобелев ни в грош не ставил стратегические дарования помощника начальника штаба, видя в нем лишь заскорузлого педанта, интригана и гатчинца по стилю, духу и устремлениям. В полном соответствии с этими взаимоотношениями складывался и их разговор.

— Подписан ли приказ о моем назначении командиром отдельного отряда?

— Насколько мне известно, его высочество подписал такой приказ.

— Какие части мне подчинены и какова моя задача?

— Все изложено в приказе.

— Где же приказ?

— У Артура Адамовича. Приказ пришлют после регистрации, как положено.

— Когда освободится Непокойчицкий?

— Когда будет отпущен его высочеством.

— Понятно,— Скобелев изо всех сил скрывал нараставшее в нем бешенство, припадкам которого был подвержен, в особенности после неумеренных возлияний.— Могу ли я, по крайней мере, спросить ваше превосходительство о силах неприятеля и общей обстановке под Плевной?

Левицкий поколебался, но отказать в такой просьбе уже утвержденному приказом командиру отдельного отряда все

же не рискнул. Скучным голосом объяснил по карте обстановку, расположение войск, упомянув не без затаенного ехидства, что Осман-паша имеет в своем распоряжении не менее шестидесяти тысяч низама. Скобелев недоверчиво свистнул, и Левицкий, прервав объяснение, заметил с неудовольствием:

— Вы не в конюшне, генерал.

— Прошу прощения,— пробормотал Скобелев.— Где Тутолмин?

— На рысях спешит в ваше распоряжение.

— Насколько мне известно, он не участвовал в деле. Бригаду его не растащили по кускам?

— Насколько мне известно, нет.

— Благодарю за разъяснения,— Скобелев коротко кивнул и направился к выходу.

— Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба? — неожиданно спросил Левицкий.

Он спросил не потому, что вдруг захотел хоть чем-то помочь Скобелеву. Он упомянул о начальнике штаба только потому, что дорожил отношениями с ним и не желал омрачать их в будущем.

— Кто же?

— Полковник генерального штаба Паренсов.

— Благодарю,— Скобелев еще раз кивнул и вышел на крыльцо.

Он мог бы дождаться Непокойчицкого и получить долгожданный приказ, но боялся, что непременно нарвется на самого великого князя, и, поразмыслив, решил найти Паренсова. Он был хорошо знаком с ним еще по Академии Генерального штаба, ценил его обширные знания, способность быстро оценивать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения. Конечно, было бы куда удобнее и полезнее для службы, если бы ему вернули его прежнего начальника штаба Алексея Николаевича Куропаткина, с которым он проделал всю Туркестанскую кампанию и который понимал его с полуслова. Но требовать Куропаткина сейчас, только-только выбравшись из опостылевшего безделья и еще ничем не проявив себя в этой войне в качестве самостоятельного командира, было преждевременно, и Скобелев скрепя сердце решил с этим повременить. Тем более что кандидатура Петра Дмитриевича Паренсова на этом этапе его вполне устраивала.

Скобелев разыскал полковника Паренсова куда быстрее, чем рассчитывал, потому что Петр Дмитриевич, уже зная о своем назначении, сам искал этой встречи. Выразив взаимное удовольствие как от свидания, так и от предстоящей

им совместной службы, они нашли укромное местечко, где Паренсов и поведал Скобелеву, что в распоряжение последнего поступает не только Кавказская бригада Тутолмина, но и отряд подполковника Бакланова, занявшего недавно Ловчу.

— Откуда знаешь? — недоверчиво спросил Скобелев.— Штабные наболтали?

— Старому разведчику таких вопросов не задают,— усмехнулся Паренсов.

Он действительно был разведчиком: еще до начала войны, в 77 году, семь месяцев путешествовал по Болгарии, собирая сведения для русского Генерального штаба. Прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитриевич не только выведывал то, что ему было нужно, но и умел видеть, наблюдать, слушать и сопоставлять слухи, добытые разными путями. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии, он сидел в Рущукской тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить русскому командованию поистине бесценные сведения. Скобелев слышал об этой разведке, но расспрашивать не стал: он был военным до последней косточки, а потому всегда интересовался только тем, что входило в круг его обязанностей. И сразу же рассказал об обстановке, с которой его ознакомил Левицкий.

— Ты веришь, что Осман успел собрать шестьдесят тысяч пехоты?

— Сомнительно,— подумав, сказал Паренсов.— Слишком мало у него времени для этого. Можем уточнить, если желаете.

— Каким образом?

— Есть такой образ. И должен сказать правду, если сам ее знает. Пошли.

— Куда?

— К полковнику Артамонову,— сказал Паренсов уже на ходу.— Он хитер и недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет.

— Что, одна епархия? — не без ехидства спросил Михаил Дмитриевич.

Паренсов молча усмехнулся.

Полковник Артамонов принял их сдержанно. Он знал Скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям, весьма легкомысленного холостого человека. По роду своей службы и складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел Паренсов, службу которого у Скобелева дальновидный Артамонов сразу же определил как временную. Где

потом окажется Петр Дмитриевич, Артамонов мог только догадываться, но не без оснований полагал, что прекрасное знание Паренсовым данного театра военных действий, и в особенности населяющего его народа, вскоре будет использовано командованием с наибольшей пользой для дела. Исходя из этих соображений, он и принял внезапных гостей.

— Чем могу служить?

Скобелев открыл было рот, чтобы с ходу выяснить то, что его сейчас интересовало, но Паренсов поторопился заговорить первым.

— Просим извинить нас, Николай Дмитриевич, мы рассчитываем не просто на конфиденциальный совет ваш, но на разговор, особо дружеский и сугубо доверительный. Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим; если же вы откажете нам в доверии, мы покинем вас незамедлительно и без всяких претензий.

Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как вдруг подумалось Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго покинуть их по делу, и тут же вышел.

— Бумажная душа,— проворчал Скобелев.

— Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, два года лазала по Европейской Турции, где и произвела глазомерную съемку местности на протяжении двух тысяч верст.

— Вроде тебя? — не удержался Скобелев.

— У меня была иная задача,— улыбнулся Паренсов.— Но если бы не бессонные ночи Николая Дмитриевича Артамонова, вряд ли бы вы, ваше превосходительство, имели новейшие карты этого театра военных действий,— Петр Дмитриевич помолчал.— Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе. Поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я.

— А я что должен делать?

— А вы по-генеральски поглаживайте бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле, и кашляйте, если меня унесло.

Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл за собой двери, заглянул в единственное оконце, заботливо поправив при этом занавеску. Прошел к своему столу, сел и положил сплетенные пальцами руки перед собою.

— Я отослал людей, в доме никого нет.

— Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд,— неторопливо начал Паренсов.— Судя по тому, что к этому отряду причислены части подполковника

Бакланова, оперировать нам придется где-то между Плевной и Ловчей. Как известно, турки намертво вцепились в Плевну, но логично предположить, что они попытаются столь же энергично вцепиться и в Ловчу.

— В Ловче — Бакланов,— сказал Артамонов.

— Надолго ли?

Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось.

— Мне желательно знать...— с генеральскими интонациями начал было Скобелев, но Паренсов так глянул на него, что он сразу примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды.

— Я не пророк,— тихо сказал Артамонов,— но полагаю, что вы, Петр Дмитриевич, правы: Осману-паше нужна Ловча.

— Откуда можно ожидать атаки на нее?

— Повторяю, я не пророк.

— И все же, Николай Дмитриевич? — настойчиво, но весьма деликатно допытывался Паренсов.— По сведениям Левицкого, у Османа-паши свыше шестидесяти тысяч низама. Если это соответствует действительности, то Осману ничего не стоит выделить треть своих сил для захвата Ловчи. Отсюда вопрос: Левицкий назвал ту цифру, которую вы ему сообщили?

— Левицкий назвал цифру, полученную от дьякона Евфимия,— сказал, помолчав, Артамонов.— Я ему таких сведений не предоставлял.

— А каковы ваши цифры? — продолжал наседать Паренсов.— Мы ведь не любопытства ради допытываемся, дорогой Николай Дмитриевич. Если мы окажемся между Плевной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?

— Пушек-то будет — кот наплакал,— хмуро проворчал Скобелев.— Кровью ведь умоемся и кровью держать будем.

— Осман-паша не пойдет на Ловчу,— Артамонов сказал это настолько тихо, что Скобелев и Паренсов невольно подались вперед.— Разделите цифры дьякона Евфимия пополам, и вы получите более или менее реальное представление о силах Османа-паши.

— Так ведь... необходимо немедленно довести до сведения главнокомандующего! — крикнул Скобелев, вскакивая.— Ах, крысы штабные...

— Сидите, Михаил Дмитриевич, сидите,— сквозь зубы процедил Паренсов.— Сидите и гладьте свои бакенбарды.

— Я все сообщил,— глухо сказал Артамонов.— Я все сообщил своевременно, но мою докладную записку навечно положили под сукно.

— Но почему же? Почему? — вновь не выдержал Скобелев.

— Почему? — полковник Артамонов вдруг зло улыбнулся.— Потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил — так победил шестьдесят тысяч, имея у себя двадцать пять. Не победил — так тоже потому, что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо реальных тридцати. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые — воевать. Тоже, между прочим, искусство...— и он помолчал.— Надеюсь, господа, что вы воспользуетесь моей откровенностью.

— Благодарю вас, полковник, от всей души благодарю.— Скобелев встал.— В молчании нашем можете не сомневаться.

На прощанье он так стиснул руку Артамонова, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами после ухода неожиданных гостей.

3

Если пользоваться иносказанием Артамонова, то Скобелев принадлежал к тем полководцам, которые умели побеждать, но способности «воевать» были лишены напрочь. Михаила Дмитриевича никогда не интересовали генеральские интриги, своевременная забота о возможных провалах собственных планов и прочая околоштабная суета. Он был человеком действия, а не закулисных махинаций и кулуарных подсиживаний, строил свою военную карьеру сам и с брезгливостью относился ко всякого рода ловкачеству. Отругавшись, сколько того требовал темперамент, выбросил из головы все, что не касалось его, и начал энергично собирать и готовить вверенный ему отряд.

Кавказская бригада пришла вовремя, но с подполковником Баклановым непосредственного контакта не было. Бакланов вновь занял Ловчу, но сил у него было недостаточно, и все понимали, что в городе он долго не продержится. Скобелев намеревался бросить силы на поддержку Тутолмина, но ему приказано было временно воздержаться от этого, обратить все внимание в сторону Плевны и не распылять сил. Одновременно с этим приказом пришло и приглашение на военный совет; Михаил Дмитриевич оценил разницу между приказом явиться и приглашением присутствовать, но не приехал не из-за генеральского гонора.

— Ляпну я там правду-матку,— сказал он Паренсову.— Они же пугать друг дружку силами Османа-паши начнут, а

я, боюсь, не выдержу. Ну их с их советом к Богу в рай: давай лучше делом займемся. Ты мне связь с Баклановым наладь, Петр Дмитриевич.

Через день подполковник Бакланов после артиллерийской перестрелки с наступающим неприятелем оставил Ловчу, семь часов без толку простояв под огнем. Ворвавшиеся вместе с регулярной пехотой башибузуки учинили в Ловче страшную резню. Об этом Бакланов донес Скобелеву запиской.

— Болгары кричат, спасу нет,— горестно вздохнул казак, доставивший записку.— Женщин да детишек режут прямо, можно сказать, на глазах. Слушать сил нет, хоть землю грызи.

— А помочь не можете? — недовольно спросил Скобелев.— Кони у вас приморились, что ли?

— Там на коне не проскачешь, ваше превосходительство, там горы кругом да овраги. Пехота нужна.

Казак был крепок, немолод, с новеньким Георгием, но без традиционного донского чуба. Да и фуражку носил прямо, по-пехотному, а точнее — как показалось Скобелеву — по-крестьянски: надвинув на уши, а не лихо сбив на сторону.

— За что Георгия получил?

— Награжден за форсирование реки Прут лично его императорским величеством.

— Какой станицы?

— Да я смоленский,— смущенно улыбнулся в бороду казак.— В казаки зачислен по желанию обчества и по согласию их высокоблагородия полковника Струкова.

— Скажи, что я велел дать тебе чарку, и ступай.

Казак вышел. Скобелев еще раз, уже со вниманием, перечитал записку. Бакланов сообщал обстоятельства, по которым вынужден был оставить Ловчу, и свое решение: перекрыть пути между Ловчей и Сельвой.

— Правильно решил,— согласился Паренсов.

— Правильно, если турок все время тормошить будет,— сказал Скобелев.— Пиши приказ на активную демонстрацию, вели дать казаку свежего коня и пусть немедля скачет к Бакланову. И — разведку во все стороны. Чтоб к утру я все знал.

Вечером неожиданно прибыли гости: князь Насекин и Макгахан. Гости были свои, особого внимания не требовали, и генерал продолжал работу с Паренсовым и Тутолминым, изредка включаясь в разговор. Получив наконец-таки долгожданную самостоятельную задачу, он был оживлен и весел, что не мешало ему, однако, дотошнейшим образом

изучать обстановку, пользуясь картой, сведениями Тутолмина и теми, которыми сам пока располагал.

— Господа, я совершил великое открытие,— с обычной ленцой рассказывал князь.— Исполняя обязанности представителя Красного Креста, я посетил лагерь для пленных. И что же я обнаружил? Оказывается, у турка, у этого нехристя и звероподобного существа, как утверждает наша уважаемая пресса, имеются две руки, две ноги и, представьте себе, голова.

— А слышать вам не приходилось? — спросил Скобелев, не отрываясь от кипы донесений разъездов.

— Что именно?

— Как кричат болгарские женщины и дети, когда их режут эти две руки и топчут две ноги с турецкой головой? Ну так поезжайте к Ловче, я вам и конвой выделю.

— Это дело башибузуков,— сказал Макгахан.

— Вы уверены, дружище? Я тоже не уверен. Враг есть враг, война есть война, а женщина есть женщина. Когда вы, князь, постигнете это триединство, тогда я поверю, что вы очнулись от спячки и кое-что начали соображать.

— Возможно,— князь пожал плечами.— Следовательно, либо мне пока везет, либо я бесчувственен, как полено.

— Полагаю, что вам скорее везет,— проворчал Тутолмин.— Впрочем, это ненадолго.

Он был не в духе. Подчинение Скобелеву лишало его самостоятельности, к которой он уже успел привыкнуть. Кроме того, он хорошо знал Михаила Дмитриевича и не без оснований опасался, что во имя решения поставленной задачи генерал не пощадит его, по сути, еще не воевавшую бригаду.

— Вы что-то уж очень загадочно помалкиваете, Макгахан,— сказал Скобелев, поскольку после замечания Тутолмина гости озадаченно примолкли.— Вы же всегда набиты сплетнями и слухами, как солдатский ранец, а сегодня не раскрываете рта. Наслаждаетесь собачьим коньяком?

— Вам нужны сплетни или слухи?

— Валите вперемешку, как-нибудь разберемся: мой начальник штаба окончил в академии по первому разряду.

— По линии сплетен могу сообщить, что некий барон лично ходатайствовал перед главнокомандующим, дабы переправить вас обратно в резерв.

— Чем же я так не угодил барону? — весело спросил Скобелев.

— Барон привык катать шарики, а вы — игральная кость, и всегда умудряетесь выставить ту грань, которую считаете для себя наиболее подходящей,— пояснил Макгахан.

— Это очень похоже на правду, дружище,— улыбнулся Скобелев.— Это так похоже на правду, что я с особым нетерпением жду своей разведки. Кстати, когда она наконец явится, Тутолмин?

— Думается, к утру.

Разведка прибыла раньше, а результаты ее были столь неожиданны, что генерал заставил хорунжего Кубанского полка Прищепу трижды повторить рапорт, задавая вопросы едва ли не по каждому пункту. Но кубанец знал, что докладывал, поскольку лично исползал все три хребта Зеленых гор, прикрывавших Плевну с юга.

— Никаких укреплений там нет, ваше превосходительство. Да и турок не видно: в кустах одни спешенные черкесы хоронятся.

— Как же ты мимо них проскользнул, хорунжий?

— Известно как, ваше превосходительство,— улыбнулся кубанец.— По-пластунски.

— Молодец! — Скобелев порывисто обнял молодого, но уже бывалого казака.— Скажи капитану Млынову, чтобы накормил тебя и казаков, и не отлучайся, скоро понадобишься.— Проводив до дверей кубанца, резко повернулся к полковникам.— Какова новость, а? Тутолмин, готовь осетинские сотни: я хочу сам эти горы прощупать.

На заре две сотни спешенных осетин двинулись к первому гребню Зеленых гор. Невысокие, но крутые кряжи их сплошь заросли дубняком и диким виноградом и впрямь выглядели зелеными на фоне остальных возвышенностей. Еще на подходе осетины были встречены разрозненной стрельбой, залегли, как было приказано, но, увидев замелькавших в кустах черкесов, вскочили как один и, выхватив шашки, бросились вперед.

— Отводи! — бешено закричал Скобелев, наблюдавший за разведкой боем.— Отводи осетин немедля, пока их в кусты не заманили!

Хорунжий Прищепа, вскочив на коня, карьером помчался навстречу выстрелам. Вертясь перед осетинами и не обращая внимания на черкесские пули, кое-как остановил их, привел в соображение и отвел назад. Осетины яростно ругались: у них с черкесами были свои старые счеты. Водивший обе сотни есаул Десаев, смахивая ладонью кровь с тронутого пулей лба, зло крикнул генералу:

— Зачем собак с миром отпускаешь? Их резать надо, генерал, они стариков не жалеют, женщин не жалеют, а ты их жалеешь?!

— Успеешь рассчитаться, есаул,— улыбнулся Скобелев.— Уж это я тебе обещаю.

Он вдруг ощутил знакомую волнующую дрожь: предчувствие, что нащупал, угадал, уловил главное в предстоящем бою. Да, перед ним был лишь заслон из пеших иррегулярных частей Османа-паши: ни укреплений, ни тем паче артиллерии на этом участке обороны Плевны не было.

— Тут и пойдем,— сказал он на немедленно собранном совете.— Но нужна пехота, очень нужна, позарез нужна: кавалерии здесь делать нечего, только лошадей покалечим. Тутолмин, готовь бригаду к пешему бою.— Дождался, когда полковник вышел, схватил за сюртук Паренсова, подтянул к себе. Спросил шепотом, с яростным восторгом сверкая синими глазами:

— Ты понял, где собака зарыта, Петр Дмитриевич? Ну так скачи к Криденеру, втолкуй, упроси, умоли, наконец, что тут, на Зеленых горах, надо главный удар наносить. Скажи, что я начну, что вышвырну черкесов к чертовой матери, но мне нужна по крайней мере еще хоть одна батарея и не менее трех батальонов пехоты. Я бы и сам помчался, да ведь ты знаешь, как барон взъерепенится, меня увидев. Голубчик, Петр Дмитриевич, как на Господа Бога на тебя уповаю: саму жар-птицу за хвост ведь держим!

— Криденер упрям, как старый мерин,— хмуро сказал Паренсов.— Он приказов своих не отменяет. Да и главнокомандующий уже благословил диспозицию.

— Что бы ни было, а без пехоты не возвращайся,— жестко сказал Скобелев.— Это уж мой приказ, полковник. Ступай и исполняй.

Нахлестывая коня, Паренсов думал, как, какими словами пробить остзейскую спесь, гипертрофированное самолюбие и вошедшее в поговорку упрямство Криденера, предполагая, впрочем, что барон и слушать-то его не станет, а отошлет к Шнитникову. Но Николай Павлович принял Паренсова без промедления не потому, правда, что так уж жаждал новостей от «Халатника», а имея в соображении особое отношение к полковнику Паренсову наверху. Молча выслушал все, что логично, последовательно и без всякой горячки доложил ему Петр Дмитриевич, и отрицательно покачал массивной головой.

— Приказ отдан, полковник. Отдан и утвержден его высочеством.

— Мне кажется, что победа стоит того, чтобы просить его высочество об отмене старого приказа и утверждении нового.

— Это только кажется. Генерал Скобелев хорош для налетов, наскоков, может быть, даже для развития тактического успеха, но как стратег он равен нулю,— неторопливо

и важно сказал Криденер.— Холодный ум есть муж победы, а не легкомысленный гусарский порыв незрелого вождя, испорченного к тому же легкими завоеваниями полудиких племен. Это — азбука, полковник, удивлен, что вынужден вам,— он подчеркнул обращение,— напоминать о ней. Я уж не говорю о том, какие невероятные перемещения войск стоят за этой скобелевской фантазией. Прошу повторить вашему непосредственному начальнику, что задача его сугубо второстепенная: не допустить соединения сил Осман-паши с турками в Ловче и демонстрировать атаку. Только демонстрировать, большего я от него не требую и не жду.

Паренсов понял, что разговор исчерпан: никакая логика, никакие доводы рассудка не могли сдвинуть Криденера с уже избранной им позиции. Оставалось последнее: выпросить пехоту и артиллерию. Это был приказ, и уж тут-то Паренсов был готов бороться до конца.

— Демонстрация Скобелева будет эффективнее, если вы, Николай Павлович, усилите его хотя бы тремя батальонами пехоты и конной батареей. По условиям местности мы не можем активно использовать кавалерию, и, следовательно, Осман-паша, убедившись в нашей слабости, оставит всю нашу демонстрацию без внимания. Между тем наличие пехоты и артиллерии даже на второстепенном направлении неминуемо заставит его оттянуть часть сил с других участков обороны.

Криденер долго молчал, размышляя. В рассуждениях Паренсова была не просто логика, но и прямое обещание облегчить атаку на избранном им направлении главного удара. Если «Халатник», получив пехоту, так и не справится с этой задачей, то ссылаться ему будет не на что, кроме как на собственную неспособность вести современный бой с европейским противником. В этом варианте Криденер только выигрывал, решительно ничем не рискуя.

— Скажите Шнитникову, что я приказал выделить в распоряжение Скобелева одну батарею и один батальон пехоты.

— Один батальон? — растерянно воскликнул всегда невозмутимый Паренсов.— Всего один батальон? Ваше превосходительство...

— Один батальон Курского полка и одну батарею,— деревянным голосом повторил Криденер.— И я не задерживаю вас более, полковник.

Но Паренсов все же чуть задержался. В нем все кипело от бессильного возмущения, и только тренированная воля еще сдерживала порыв. Он хотел сказать Криденеру, что тот уже проиграл сражение, проиграл бесславно и кроваво,

и — не сказал. Сухо поклонился и медленно вышел из кабинета.

Если генерал Скобелев знал, как достичь победы, то барон Криденер точно так же знал, как надо воевать, чтобы не испортить собственной карьеры. Проведя еще одно, очень узкое совещание с командирами основных отрядов, он отдал приказ произвести атаку Плевны на рассвете 18 июля 1877 года. Но, даже отдав этот приказ, барон тотчас же отрядил нарочного к великому князю главнокомандующему с целью испросить еще одного решительного подтверждения. В ночь на 18 июля к барону Криденеру прибыл ординарец главнокомандующего штабс-капитан Андриевский со словесным приказанием:

— Атаковать и взять Плевну: такова воля его высочества.

Участь второго наступления на Плевну была решена вторично и на сей раз уже окончательно.

4

В Баязетскую цитадель в тот роковой день рекогносцировки успели отойти не все. Опасаясь курдов, наседавших на беспорядочно отходящие, измотанные беспрестанными бросками роты, комендант капитан Штоквич приказал закрыть ворота, как только пропустил основную массу солдат и казаков, оставив калитку для тех, кто запоздал. Сюда, в узкую щель, с детьми, женщинами и скарбом ринулись армяне и греки-торговцы; паника, вопли женщин, плач детей, невероятная толчея — все это оттеснило запоздавших солдат, многие из которых были ранены. Кто залег, отстреливаясь и прикрывая обезумевших от ужаса жителей, кто упрямо рвался к заветной калитке, но большинство бросились искать спасение в запутанных лабиринтах старого города, в покинутых домах армян, у оседлых курдов и таких добродушных доселе местных турок. Почти все эти солдаты были либо убиты на месте, либо схвачены, встретив, вместо помощи, выстрелы из-за угла. Вспыхнувшая на улицах разрозненная стрельба и крики вскоре затихли, гарнизон завалил каменными плитами не только ворота, но и калитку; враждебный город и осажденная крепость затаились, словно прислушиваясь друг к другу, и даже команды в цитадели отдавались в этот первый вечер осады настороженным шепотом. Проходя двором, забитым ставропольцами, Гедулянов подумал вдруг, что приглушенность эта оттого, что в дальней комнате умирает сейчас Ковалевский.

Подполковник мучительно расставался с жизнью. Он потерял много крови, волокли его на бурке торопливо, впопыхах, часто роняя; тогда он еще сохранял сознание, и все толчки и броски отдавались в огнем горевшем животе: ему казалось, что курдский свинец продолжает все глубже и глубже проникать в него при каждом сотрясении, разрывая ткани и отравляя кровь. Но он был воин, он знал, что такое паника в бою, и поэтому сосредоточился на одном: не вскрикнуть, не застонать, задавить боль, стиснув зубы.

Не стонал он и сейчас, хотя боль все росла и росла в нем, точно большой мохнатый паук. Паук этот ворочался там, внутри, как живой, вонзаясь в беззащитные внутренности, терзая их внезапной, нестерпимо вспыхивающей болью, от которой подполковник покрывался липким холодным потом. Сидя у изголовья, Тая то и дело осторожно вытирала его лоб и лицо, и он все время видел ее глаза: огромные, наполненные не ужасом — болью. А Китаевский лишь беспомощно разводил руками да без толку рылся в походной аптечке. Гедулянов сидел с другой стороны, держал подполковника за руку и что-то говорил: об отряде, о крепости, об отступлении — Ковалевский не слушал. Ему уже не нужно было ни прошлое, ни настоящее. Необходимостью стало будущее, которого у него не было, но о котором он не переставал думать. И молчал, не отвечая на вопросы и никак не отзываясь на доклад Гедулянова.

— Он в сознании? — тихо спросил капитан, уловив это странное безразличие.

Максимилиан Казимирович не успел ответить. Подполковник с трудом разлепил сухие, провалившиеся губы.

— Штоквича.

— Я сам, сам, не беспокойтесь,— поспешно забормотал Китаевский, бросаясь к дверям.

— Матери скажешь, убит сразу,— сказал подполковник, пристально глядя в Таины глаза.— Сразу. Не мучился.

Оттого что отец впервые за эти часы обратился к ней, Тая вдруг не выдержала. Слезы сами собой потекли по щекам, а глаза оставались, как прежде, полными боли и отчаяния. Не в силах ничего выговорить, боясь, что разрыдается, закричит, она лишь часто закивала головой, и в этот момент вошел Штоквич. Он уже знал, что подполковник безнадежен, что страдать ему осталось считанные часы, но думал не о нем и не об отступлении, а о том лишь, что предстоит сделать. И потому сразу же, еще в дверях, сказал сурово и непреклонно:

— Вы поступили в армию плакальщицей или сестрой милосердия, сударыня? По штатному расписанию — сестрой,

а посему извольте исполнять долг: лазарет нуждается в вашей помощи.

И посторонился, давая дорогу. Тая поспешно встала, не зная еще, как поступить: остаться ли с умирающим отцом или исполнять то, что приказано. Но Ковалевский из последних сил улыбнулся ей одобряющей, мягкой улыбкой, и Тая, поцеловав его в потный лоб, поспешно пошла к выходу.

— Обождите за дверью,— внезапно сказал Штоквич; дождался, когда она выйдет, приглушенно сказал Гедулянову: — Проводите ее дальними коридорами, чтобы не слышала криков: курды режут армян в городе.

Гедулянов молча вышел. Штоквич плотно прикрыл дверь, прошел к табурету, на котором до этого сидел капитан, сел, положил на острые колени крепко сжатые кулаки, долго молчал.

— Вы — самая большая потеря наша,— сказал он наконец.— Самая тяжелая потеря.

— Из пушек не бьют? — борясь со все нарастающей нечеловеческой болью, спросил Ковалевский.— Противник не открывал артиллерийского огня?

— У них нет пушек. Пока, во всяком случае, нет.

— Скверно.

— Что? — Штоквич нагнулся к умирающему.— Вам скверно?

— Скверно, что у них нет пушек,— раздельно сказал Ковалевский.— Без пушек они не станут вас штурмовать.

Он сказал «вас штурмовать», уже отрицая себя и думая о других: о тех, кого оставлял, и о том, кто оставил его самого сторожить Ванскую дорогу. Штоквич уловил первое, но не понял второго.

— Ну и слава Богу.

— Надо заставить их штурмовать. Заставить. Задержать тут, у Баязета. Иначе...— подполковник крепко стиснул зубы, пережидая, когда утихнет очередной накат боли, когда разожмет челюсти этот страшный мохнатый паук, рожденный курдским свинцом.

— О чем вы? — сдерживая раздражение, спросил Штоквич.— Цитадель не приспособлена к обороне, она стара и неудобна. Пусть себе идут куда угодно и курды, и Шамиль, и вся эта сволочь.

— Они не пойдут куда угодно. Они пойдут в Армению, капитан.

Штоквич долго молчал, поглаживая колени худыми нервными пальцами. Он догадался, чего боится подполковник, но не знал, как можно помешать восставшим курдам и черкесам Шамиля сделать это.

— Вы просите меня привязать противника к Баязету, полковник? Я не в силах этого...

— Я не прошу,— строго перебил Ковалевский.— Я приказываю. Именем генерала Тергукасова я назначаю вас старшим.

— Я — интендант,— криво усмехнулся Штоквич.— Я понимаю, что полковника Пацевича нельзя брать в расчет: он уже растерялся, но есть же, в конце концов, капитан Гедулянов, ваш помощник. Почему же именно я?

— Потому что вы жестоки, Штоквич,— вздохнул подполковник.— Вы найдете способ, как заставить врага убивать вас, а не армянских женщин и детей.

Он замолчал. Молчал и Штоквич, жестоко сдвинув брови и продолжая машинально поглаживать ладонями колени. Потом сказал:

— Благодарю, полковник. Я исполню свой долг.

— Одна просьба...— даже сейчас, превозмогая боль и уже чувствуя, как снизу от ног подкатывается цепенящий последний холод, Ковалевский говорил смущенно.

— Сейчас я пришлю вашу дочь.

— Нет, не то. Извините, глупость, конечно... Не сбрасывайте мое тело со стены. Тае будет тяжело это.

— Я предам ваше тело земле. Позвать вашу дочь?

— Если возможно. И оставьте нас с нею вдвоем.

Штоквич резко выпрямился. Качнулся, точно намереваясь шагнуть к дверям, но вдруг деревянно согнулся, коснувшись губами лба умирающего.

— Прощайте.

Отослав Таю к отцу, Штоквич переходами — они были узки, темны и запутаны, и комендант подумал, что следует сделать проломы, которые соединяли бы дворы крепости напрямую,— направился к воротам. И чем ближе подходил он к ним, тем все яснее и громче слышались крики, треск костров и пожаров и редкие выстрелы.

У входа в первый двор, где бестолково сновали солдаты и казаки, возбужденно переговариваясь и ругаясь, Штоквич наткнулся на офицера. Молодой поручик сидел на камне, закрыв лицо руками, раскачиваясь и глухо бормоча. Бормотал поручик по-грузински — Штоквич жил в Тифлисе и понимал язык,— то разражаясь проклятиями, то вспоминая сестру и мать, и комендант остановился.

— Что с вами, поручик?

— Не могу! — Чекаидзе вскочил, обеими руками ударив себя в грудь.— Женщин насилуют, стариков режут, детей в огонь бросают, а мы за стеной прячемся? Вели открыть ворота, капитан: лучше в бою умереть, чем это видеть. Как

я в глаза матери своей посмотрю? Что отвечу, если спросит: а ты где был в это время, сын мой? Как невесте скажу, что люблю ее? Как?

По заросшему черной щетиной лицу Ростома от гнева и бессилия текли слезы. Всхлипывая, он мотал, как лошадь, головой и мял на груди мундир.

— Вы потеряли бритву? — как можно спокойнее спросил Штоквич.— Одолжите у кого-нибудь и немедленно побрейтесь.

— Не понимаю...

С крыши второго этажа прогремел выстрел, и тотчас же раздался дружный солдатский хохот. Злой и торжествующий.

— Попал!

— Мордой в костер свалил!

— Молодец, юнкер! Ай да выстрел!

— Кто там стреляет? — спросил Штоквич примолкшего поручика.

— Не знаю точно. Кажется, юнкер Уманской сотни Проскура.

— Хорошо стреляет?

— Руки не дрожат,— криво усмехнулся Ростом.

— Вы тоже постарайтесь не порезаться, когда начнете бриться,— сухо сказал комендант.

Он поднялся на плоскую крышу второго этажа, где стояли несколько казаков и солдат и откуда юнкер Проскура лежа вел редкий прицельный огонь. Комендант прошел к низкому каменному парапету и замер, ощутив вдруг, что даже его железные нервы не выдерживают того, что открылось глазам.

Вблизи от крепостных ворот, там, где совсем недавно шумел разноязыкий базар, горел огромный костер, широко раздвинув густую южную темень. Вокруг костра толпилось множество людей, слышался хохот, исступленные женские крики, плач детей, вопли и стоны истязуемых.

Все это происходило хотя и недалеко, но все же вне досягаемости обычного ружейного огня. Наблюдавшие с крепости казаки порой стреляли, но пули уходили в сторону, и только белый как марля семнадцатилетний юнкер Леонид Проскура, закусив губу и не чувствуя ни боли, ни крови, что текла по подбородку, стрелял редко, и, если попадал, осажденные взрывались торжествующим смехом и яростной матерщиной, хоть в этом отводя душу.

— Пушку сюда не втащить, пробовали,— тихо сказал кто-то за спиной.

Штоквич оглянулся. Перед ним стоял молодой поручик.

— Артиллерист?

— 19-й артиллерийской бригады поручик Томашевский.

— Соберите всех господ офицеров. У меня. Всех.

Штоквич так и не узнал, что в тот момент, когда он отдал первое приказание, как единственно старший в цитадели, подполковник Ковалевский в последний раз чуть сжал пальцы дочери, судорожно вздохнул и затих навсегда. А Тая до рассвета сидела не шевелясь, чувствуя, как холодеют руки отца. И уже потом, много дней спустя, ее долго и нудно отчитывал Китаевский, которому лишь с большим трудом удалось правильно сложить на груди руки покойного.

Офицерское собрание, которое созвал Штоквич, решало один, но чрезвычайно важный для коменданта вопрос. Капитан Штоквич поставил его со своейственной ему прямотой:

— Положение наше крайне опасное, если не безнадежное. Мы обложены со всех сторон, связи наши нарушены, противник жесток и беспощаден, а силы далеко не равны. При создавшейся обстановке я, как комендант цитадели, где размещены остатки наших частей, решительно объявляю себя старшим в должности и требую от всех вас беспрекословного подчинения, невзирая на чины и звания.

— Если все решено, то к чему этот совет? — благодушно спросил хан Нахичеванский.— Что до меня, то я не рвусь в главнокомандующие.

— Позвольте, позвольте.— Полковник Пацевич встал, выпятив грудь.— Я решительно не понимаю происходящего. В присутствии штабс-офицеров вы, господин, проходящий по санитарной части, осмеливаетесь узурпировать... Да, да, именно узурпировать, иначе не могу выразить...

— Я — комендант крепости,— холодно прервал Штоквич.— Если вам, господин полковник, не угодно мне подчиниться, я вас не неволю. Но прошу в этом случае покинуть вверенную мне должностью моей территорию.

Пацевич презрительно дернул головой, сел, но тотчас же вскочил снова.

— А где же турки, господин комендант крепости? Где турки, которыми нас так пугали? Где они? Где?

— А вам турок не хватает? — усмехнулся командир уманцев войсковой старшина Кванин.— Молите Бога, что их нет доселе.— Он помолчал.— Уманцы в вашем распоряжении, капитан.

— Ставропольцы тоже,— подхватил Гедулянов.

— И хоперцы,— из другого угла отозвался сотник Гвоздин.

— Все — в вашем распоряжении, господин капитан,—

громко сказал стоявший у дверей поручик Томашевский.— Вы совершенно правы: ситуация требует единоначалия и беспощадной строгости.

— Я не признаю этого! — крикнул Пацевич и демонстративно направился к выходу, расталкивая офицеров.— Это самоуправство и попрание чести старших в чинах и званиях. Я доложу об этом самому государю. Вас ждет суд, Штоквич!

Последние слова он прокричал уже из коридора. Офицеры хмуро молчали, только Томашевский презрительно кривил тонкие губы.

— А вы, хан, тоже доложите о моем самоуправстве? — спросил комендант.

— Нет, не доложу.— Хан грузно поерзал на неудобной скамье.— Только не поручайте мне ничего. Я — кавалерист, и соображаю, когда сижу в седле. Кроме того, я числюсь больным.

— Благодарю, хан. Вы свободны. Командиров частей прошу задержаться.

В узком кругу Штоквич сказал то, что так беспокоило умирающего Ковалевского: путь на Игдырь и далее был практически открыт для восставших курдов, черкесов Шамиля и конных банд башибузуков. Мало того, что это ставило обремененные беженцами и обозами отряд Тергукасова в чрезвычайно сложное положение, отрезая его от баз,— это означало поголовную резню мирного населения.

— Вы сегодня видели, господа, что ожидает пограничную полосу, если мы не оттянем противника на себя. Следовательно, первейшая задача наша — заставить эту орду уничтожить нас.

— Без артиллерии они на штурм не пойдут,— заметил Томашевский.— А турок что-то пока не видно.

— Если вздумают уходить и оставят заслон — прорвем и ударим в спину,— сказал Гедулянов.— Но это — крайняя мера: в поле мы долго не продержимся.

— Готовить цитадель к штурму,— подумав, распорядился Штоквич.— Заложить окна, оставив амбразуры. Запастись водой на случай осады. Составить расписание дежурных частей, усиленных караулов и специальных команд. Пока все. Свободны, господа. Прошу прислать ко мне драгомана генерала Тергукасова.

Молодой человек вошел почти беззвучно и молча остановился у двери. Штоквич ходил по комнате, размышляя. Потом отрывисто спросил:

— Где турки?

— Не знаю,— Тер-Погосов пожал плечами.— Отряд Фа-

ика-паши двигался к Баязету, о чем мне приказано было известить. Я известил.

— Знаете курдский язык?

— Да. Я вырос в этих местах.

— Мне необходимо во что бы то ни стало доложить генералу Тергукасову, что мы сделаем все возможное, чтобы заставить противника штурмовать цитадель, но...— Штоквич пожал плечами.— Там должны быть готовы к возможному вторжению.

— Я понял вас, господин капитан.

— Это не приказ, поймите,— это мольба. Если исполните, обещаю вам, что хотите: золото, Георгиевский крест...

— Нет.

— Что — нет? — с раздражением переспросил Штоквич.

— Золота мне не нужно, а ордена я добуду сам. Если я исполню то, о чем вы сказали, я хотел бы получить право сражаться в качестве боевого офицера.

— Ищете славы? — усмехнулся комендант.

— Я — армянин, но я всю ночь простоял на крыше. Всю ночь до приказа явиться к вам. Я никогда не думал, что смогу выдержать то, что видели мои глаза. Обещайте же дать мне возможность с наибольшей пользой применить к делу мою ненависть.

— Я обещаю исходатайствовать для вас офицерский чин, Тер-Погосов.

— Благодарю вас, капитан. Уже светает, и мне пора.

Молодой человек поклонился и вышел. Штоквич долго стоял в раздумье, потом сел к столу и написал первый приказ. В третьем параграфе этого приказа значилось:

«3. Сего числа предать земле тело умершего от ран, полученных в деле 6 июля, подполковника Ковалевского. Могилу вырыть в дальнем подвале северного фасада на глубину в две сажени; после опущения тела засыпанную землю утрамбовать».

Подписывая приказ, комендант еще не знал, что подполковника Ковалевского и в самом деле уже нет в живых. Он лишь логически предполагал это и помнил последнюю просьбу.

5

Утром следующего дня по распоряжению коменданта во внутреннем дворе цитадели были выстроены особо отряженные представители всех воинских частей. По знаку Штоквича солдаты взяли ружья «на караул», офицеры обнажили сабли, и из Таиной комнаты капитан Гедулянов,

поручик Чекаидзе, полковник хан Нахичеванский, войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и поручик Томашевский вынесли гроб с телом подполковника Ковалевского, накрытый знаменем 2-го батальона 74-го Ставропольского полка. Следом за гробом шли Тая и Максимилиан Казимирович Китаевский. Барабанщики ударили дробь, гроб установили в центре каре, и Штоквич встал в головах. Он никогда не произносил речей, да и не любил их, и поэтому читал по бумаге.

— Славные русские воины! — даже сейчас, у гроба, в торжественную минуту прощания он говорил хмуро и озабоченно, потому что не выносил пафоса, но не избежал его в заготовленной речи.— Многотысячный неприятель окружил нас со всех сторон. Стойко выдержанная осада прославит Отечество наше, веру и оружие. Вы же, выдержавши эту осаду, станете истинными героями, которых будут благословлять все народы России, потому что, стойко удерживая эту крепость, вы удержите тем самым и хищные орды варваров от вторжения в пределы Эриванской губернии, где они в противном случае предадут все огню и мечу, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Я не обещаю вам ни скорого спасения, ни самой жизни, но я обещаю вам большее, чем спасение и сама жизнь: я обещаю вам честь, если мы все дружно, не щадя живота своего, не допустим хищников в пределы нашего Отечества. Напоминаю вам, воины, что полвека назад, в 1828 году, деды наши защищали эту самую крепость двенадцать дней, перенося геройски все труды и лишения. Память о них не умерла и не умрет во веки веков, как не умрет слава геройски павшего в бою полковника Ковалевского в благородной памяти наших потомков.

Штоквич замолчал, аккуратно сложил бумагу, спрятал ее в карман и, неуклюже преклонив колено, поцеловал знамя. И вновь тревожно и печально ударили дробь барабаны.

— Приказываю предать покойного земле со всеми воинскими почестями, за исключением ружейного залпа,— сказал комендант, поднимаясь.— Залпы в его честь будут направлены в неприятеля.

Офицеры подняли гроб, и траурная процессия медленно двинулась к подвалам по узким запутанным коридорам. Штоквич шел позади, неся фуражку на сгибе локтя. Он не успел проводить покойного: за вторым поворотом его нагнал юнкер Леонид Проскура.

— Господин капитан, у ворот — парламентеры. Просят срочного свидания с вами.

— Передайте капитану Гедулянову, что я жду его на крыше второго этажа.— Штоквич надел фуражку.— И объясните дочери покойного причину нашего отсутствия.

Не задерживаясь, он тотчас же вернулся в первый двор и поднялся на крышу. Отсюда хорошо были видны парламентеры: трое всадников и пеший, державший в руках казачью пику с белой тряпкой. Увидев коменданта, пеший начал усиленно размахивать тряпкой, но Штоквич не торопился с ответом, ожидая Гедулянова и внимательно разглядывая всадников. Один из них, в белой черкеске с ослепительно вспыхивавшими на солнце золотыми газырями, был заметен не только одеждой, дорогим оружием и кровным, белой масти аргамаком: в посадке его было нечто привычно властное.

— Видать, набольший ихний,— сказал Штоквичу казак из охранения, расставленного по стенам.— Паша или князь, а, ваше благородие?

— Это — Шамиль,— сказал Штоквич.— Старший сын великого имама. Приготовь лестницу, видишь, гости пожаловали. Как прикажу, сбросишь.

Раньше Гедулянова на крыше оказался Пацевич. Кто-то сообщил ему о парламентерах — про себя Штоквич отметил, что непременно выяснит, кто именно,— и полковник примчался в крайнем возбуждении.

— Что, парламентеры? — задыхаясь от быстрого подъема, спросил он.— Вот видите, я же говорил, я говорил. Надо принять с честью, надо распорядиться...

— Господин полковник,— Штоквич медленно сквозь зубы цедил слова, не глядя на Пацевича.— С момента вчерашнего совещания вы — частное лицо. Из уважения к вашему званию я разрешаю вам присутствовать при моем разговоре с парламентерами, но если вы...

— Ваш тон возмутителен, капитан!

— Если вы,— холодно продолжал комендант,— хоть раз вмешаетесь в переговоры, я отправлю вас под арест без всякого промедления.

— Вы... Вы ответите! — полковник затрясся.— Полевой суд. Суд.

— Я не меняю решений, господин полковник. Надеюсь, вы хорошо поняли мои слова и вам не придется проследовать под конвоем на глазах у всего гарнизона.

Штоквич нарочно говорил громко, чтобы слышали стоявшие поодаль казаки. А сказав, замолчал, продолжая смотреть на Шамиля, и Пацевич напрасно что-то шипел за его плечом.

Наконец пришел Гедулянов, сопровождаемый юнкером.

Проскура, молча откозыряв Штоквичу в знак исполнения приказаний, отошел к казакам, а Гедулянов, не обратив никакого внимания на Пацевича, подошел к парапету.

— Ага! — значительно сказал он.

— Вот именно,— поспешно подтвердил Штоквич.— Не будем называть имен. Сбросьте парламентерам лестницу, юнкер.

Поднимались трое: один из верховых остался с лошадьми. Гази-Магома Шамиль лез первым, легко справляясь с ускользавшими из-под ног ступеньками; за ним следовал молодой джигит в черной черкеске с серебряными газырями, а пеший — он был старше, задыхался и явно побаивался высоты — далеко отстал от них.

Шамиль спрыгнул с парапета, коротко кивнул, небрежно коснувшись рукой газырей, и молча остановился перед Штоквичем. К нему тут же присоединился джигит в черной черкеске, поклонившийся русским с изящной восточной вежливостью, а последний, пыхтя, все еще полз наверх. Проскура, перегнувшись, помог ему перебраться на крышу.

— Имею высокую честь представить русским господам офицерам генерал-лейтенанта свиты его величества султана Гази-Магому Шамиля и его адъютанта князя Дауднова,— задыхаясь, торопливо выговорил запоздавший.— Я есть переводчик Таги-бек Баграмбеков.

Штоквич, Гедулянов и Пацевич молча поклонились. Гази-Магома что-то негромко и быстро сказал переводчику.

— Являетесь ли вы, господа, вождями гарнизона или их полномочными представителями?

— Я — командир гарнизона капитан Штоквич. Мой заместитель — капитан Гедулянов,— сказал комендант, сознательно назвав себя командиром и не представив Пацевича.

— Мы прибыли с мирными предложениями,— сказал Таги-бек Баграмбеков, доставая из кармана бумагу и разворачивая ее.— Разрешите зачитать вам предложения, составленные лично его превосходительством генералом Шамилем.— Он откашлялся и начал читать, нарочно произнося слова так, как они были написаны, хотя до этого говорил по-русски вполне правильно: «Севодни мы присланы здесь из поручения правительства его величества султана для уверения вас, что в моей личности может сложить оружие ваш гарнизон, и уверяю вас, что вся ваша личность будет обеспечена, а вчерашний поступок здешних жителей будет строго наказан и вперед ничево подобного не повторится, и я все мои средства употреблю вас честно сохранять от всех худых последствий. Генерал-лейтенант свиты его величества султана Шамиль».

Закончив чтение, переводчик с поклоном передал бумагу Штоквичу. Документ оказался составленным на русском языке, полную безграмотность которого и продемонстрировал при чтении Баграмбеков. Комендант заметил, какой злой и презрительной насмешкой блеснули на миг глаза переводчика при чтении, и понял, что демонстрация эта была отнюдь не случайной. Вместе с Гедуляновым он еще раз внимательно перечитал это безграмотное письмо (Пацевич тоже пытался прочесть, но Штоквич не шевельнулся, а из-за его плеча полковник мало что увидел); затем Штоквич неторопливо спрятал документ в карман и сказал, обращаясь к Шамилю:

— Разве ваш великий отец не говорил вам, что русские берут крепости, но никогда не сдают их?

Шамиль невозмутимо молчал, пока переводчик не закончил перевода. Потом воздел ладони к небу и коротко ответил.

— Все — в руках Аллаха,— пояснил Таги-бек Баграмбеков.

В этот момент юнкер Проскура, смело тронув коменданта за плечо, громко доложил:

— Извините, господин капитан, весьма срочное дело. Соблаговолите отлучиться со мной.

— Что такое, юнкер? — резко спросил Штоквич.— Я веду переговоры, извольте не мешать и знать свое место.

— В гарнизоне — чрезвычайное происшествие,— продолжал рапортовать юнкер.— Я еще раз прошу извинения у господ офицеров и настоятельно прошу уделить мне минутку для важнейшего дела, кое никто, кроме вас, решить не может.

— Черт знает чему вас учили в училище,— ругался Штоквич, следуя тем не менее за Проскурой.— Каким бы ни было происшествие, а вы получите выговор.

Юнкер отвел коменданта за ближайший поворот, обернулся и протянул скатанный в шарик клочок бумаги.

— Читайте, господин капитан.

Штоквич с недоумением посмотрел на худого, с бледным, чахоточным лицом, юношу и осторожно расправил бумажку.

«ФАИК-ПАША СТОИТ НА ДИАДИНСКОЙ ДОРОГЕ. ШАМИЛЬ НЕ ИМЕЕТ АРТИЛЛЕРИИ. ЕГО ЗАДАЧА — ПРОРВАТЬСЯ НА КАВКАЗ И ВНОВЬ ОБЪЯВИТЬ ГАЗАВАТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОРОКА. КУРДЫ БЕЗ НЕГО НЕ ПОЙДУТ».

— Тут нет подписи. Откуда эта записка?

— Мне сунул ее переводчик, пока я помогал ему под-

ниматься. Прошу простить, но я прочел ее, и мне она показалась важной.

— Благодарю, юнкер,— тихо сказал Штоквич.— Об этом — ни слова. Никому.

Поскольку Штоквич ушел, а парламентеры невозмутимо молчали, полковник Пацевич счел возможным кое-что уточнить. Объявив себя представителем высшего командования, он попросил гарантий, обеспечивающих почетную капитуляцию.

— Мне кажется, господа, что, если вы не потребуете сдачи знамен, оставите офицерам личное оружие и обеспечите нас сильным конвоем, мы самым серьезным образом оценим ваши предложения.

Баграмбеков почему-то не переводил, пауза затягивалась. С неудовольствием посмотрев на своего переводчика, Шамиль сам ответил полковнику:

— Я лично отберу конвой. Я гарантирую...

— Я тоже гарантирую конвой полковнику,— резко перебил Штоквич, быстро подходя к ним.— Причем казачий, с сорванными погонами и руками за спиной. Юнкер Проскура!

— Я умоляю,— побледнев, шепотом сказал Пацевич.— Не позорьте меня, капитан.

— Будьте готовы исполнить мое приказание, юнкер, коли в нем появится необходимость,— холодно сказал комендант.— Что же касается ваших предложений, господа, то я не нахожу в них смысла. Мой гарнизон в надежном укрытии, обеспечен боевыми припасами, водой и продовольствием, а вы — перед стенами и, увы, без артиллерии. Ситуация, как видите, в мою пользу, но я готов проявить благородство. Вы, генерал, без промедления усмиряете курдов, загоняете их обратно в горы и приводите к полной покорности. Затем ваши головорезы складывают оружие, а вы лично на коленях умоляете простить вам измену собственному честному слову, которое вы дали когда-то моему государю.— Шамиль дернулся как от удара, намереваясь что-то сказать, но Штоквич жестом остановил его.— Если вы исполните это, я постараюсь сохранить вам жизнь.

— Извините, я перевожу не буквально,— виновато сказал Баграмбеков.— Ваши слова слишком резки.

— Этот лгун и клятвопреступник не нуждается в переводе,— резко сказал комендант.— Предупреждаю, мы разговариваем последний раз. Не трудитесь вторично посылать парламентеров: я их высеку, а вас — с особым старанием.

— Я не смею этого слышать! — испуганно прошептал переводчик.— Это — сын великого Шамиля.

— Ошибаетесь,— презрительно улыбнулся Штоквич.—

Как говорится, Федот, да не тот: и у льва порой рождается шакал.

Гази-Магома разразился горячей, сбивчивой, полной ненависти тирадой, которую Баграмбеков переводить не стал. Выкричавшись, Шамиль взял себя в руки и сказал по-русски напряженно, но почти спокойно:

— Два дня на размышление. Послезавтра я снова пришлю парламентера.

— В отличие от вас, я не изменяю своему слову, Шамиль.

Шамиль, не поклонившись, пошел к лестнице. У парапета задержался, пропустив вперед молчаливого князя Дауднова, резко повернулся и с перекошенным лицом крикнул Штоквичу:

— Послезавтра я повторю условия сдачи. Но тебя, гяур, собака, они не будут касаться! Ты будешь умолять меня о смерти, визжать как свинья и ползать по собственному калу!

Штоквич молча поклонился.

— Вы сошли с ума! — закричал Пацевич в полном отчаянии.— Вы погубили нас всех, всех, слышите?

— Юнкер, отведите полковника в его комнату,— устало распорядился Штоквич. Подождал, пока Проскура, вежливо поддерживая полковника, не исчез в проеме лестницы, пристально глянул на Гедулянова.— Вы тоже считаете, что я вел себя неправильно, капитан?

— Скорее, ошибочно,— вздохнул Гедулянов.— Зачем вы сказали, что у нас достаточно воды?

6

Утро третьего дня началось с перестрелки. Огонь противника не причинял осажденным особых хлопот, казаки со стен и крыш отвечали редкими выстрелами, все казалось спокойным, и офицеры собрались во втором дворе у госпитального маркитанта за завтраком.

— Чего пуляют? — удивился Гвоздин.— Патронов, что ли, много?

— Развлекаются,— сказал Кванин.— Скучно им стало, резать больше некого.

Гедулянов молчал, погруженный в свои думы — о погибшем командире, лежащем в глухом подвале на двухсаженной глубине; о Сидоровне, оставшейся в далекой Крымской с двумя дочерьми и почти без средств, и главным образом — о Тае. Теперь он стал думать о ней постоянно и совершенно по-иному, теперь она перестала быть просто с

детства знакомой девочкой: после смерти Ковалевского капитан ясно ощутил свою особую ответственность за нее. Теперь он обязан был заменить ей отца, стать главной ее опорой, теперь он один отвечал за ее жизнь и судьбу, и эта ответственность не только не обременяла его, а ощущалась радостно и немного тревожно. Он не мог и не пытался понять, откуда вдруг возникло это ощущение,— он просто принял его как должное.

— Плохо стреляют,— зло сказал Чекаидзе.— Наши, говорю, плохо стреляют.

— Да? — озадаченно спросил Штоквич: он все время настороженно прислушивался не к стрельбе, а к чему-то, что должна была, как казалось ему, прикрывать эта бестолковая, неприцельная стрельба.— Вы правы, поручик. Господа казачьи командиры, прошу отрядить от каждой сотни по десять лучших стрелков в мой личный резерв. Командовать этим резервом назначаю юнкера Проскуру.

Проскура вскочил. Худое, костлявое лицо его зарозовело от радости и смущения. Но сказать он так ничего и не успел, потому что с балкона минарета раздался крик наблюдавшего за окрестностями унтер-офицера:

— Пыль на дороге, ваши благородия! Густая пыль, идет ктой-то! Наши, поди, наши на выручку идут!

— Наши идут! Наши-и!..

Никто не понял, кто первым крикнул эти слова: они вырвались из истомленных неизвестностью и ожиданием солдатских душ стихийно и одновременно. Это был единый восторженный, безудержный порыв: кричали, бестолково метались по двору, обнимались, били в барабаны, трубили в рожки. Многие, в том числе и офицеры, бросились на стены, потому что осаждающие вдруг прекратили стрельбу, что окончательно убедило гарнизон в подходе русских войск. Остававшийся внизу, в первом дворе, Гедулянов напрасно призывал к порядку: его никто не слушал. Все ликовали, откуда-то появился Пацевич и тоже что-то кричал.

Штоквич поднялся на стены одним из первых: действительно, по дороге, ведущей к Баязету, двигались огромные клубы пыли, в которых ничего нельзя было разглядеть. В первое мгновенье он тоже ощутил острую радость, но тут же, прикинув, понял, что пыль эта двигалась по Диадинской дороге.

— Назад! — закричал он.— Господа офицеры, к частям! Занять оборону!

Но его и не слышали, и не слушали. Общее безумство продолжалось, и какие-то добровольцы уже копошились у крепостных ворот, разбирая баррикаду. Поняв,что приказами

сейчас ничего не добьешься, Штоквич, прыгая через ступени, сбежал во двор; расталкивая солдат, пробился к воротам.

— Назад! — надсадно кричал он.— Все назад! Назад!

Выхватив револьвер, комендант дважды выстрелил в воздух. Это подействовало: стоявшие подле отступили, но весь гарнизон по-прежнему орал, суматошно бегал, дудел в рожки и бил в барабаны.

— Застрелю,— Штоквич сорвал голос и говорил хрипло.— Не сметь без приказа разбирать завал. Не сметь.

Слышали его только те, кто стоял вблизи: он уже не мог говорить громко. И солдаты настороженно молчали, но с места не трогались, чувствуя за спиной поддержку торжествующей толпы, переставшей от счастья и радости ощущать себя воинами. Но тут сквозь растущее неистовство донесся приближающийся тяжелый скрип, и все оглянулись: из второго двора, натужно хрипя, артиллеристы на себе выкатывали пушку. Томашевский распорядился установить ее стволом к воротам, лично проверил прицел и, одернув китель, строевым шагом направился к Штоквичу.

— Господин капитан, орудие заряжено картечью и готово к открытию огня,— громко доложил он.

— Благодарю, поручик,— Штоквич облегченно вздохнул.— Это турки. Фаик-паша по Диадинской дороге.

— Я понял, господин капитан.

— Где Гедулянов?

— Приводит в чувство ставропольцев.

— Передайте ему...

Рев заглушил слова Штоквича, и первый турецкий снаряд ударился о внутреннюю стену двора. Грохот перекрыл крики, треск барабанов и гудение ротных рожков. И весь двор замер, только кричали раненые.

— Гарнизон, к бою! — собрав все силы, в полный голос прокричал Штоквич.

Он хотел добавить что-то еще, но из горла рвался бессвязный сип, и комендант только напрасно разевал рот. Второй снаряд разорвался, опять ударившись о внутреннюю стену, и не успел заглохнуть грохот разрыва, как снаружи, из-за стен цитадели, раздалась частая ружейная стрельба и дикие крики ринувшихся на штурм курдов. А снаряды уже рвались один за другим, осколки звенели по всему двору, крошился кирпич, и в удушливом дыму бестолково метались люди. Ликование перешло в панику.

Капитан Гедулянов не расслышал взрыва второго снаряда: что-то страшной силой ударило его в голову, и он отлетел в сторону, сразу потеряв сознание. Очнулся, однако, быстро — ему показалось сперва, что и сознания-то он не

терял, настолько ничего не изменилось: грохот артиллерийского обстрела, паническое метание защитников крепости, крики штурмующих, частая беспорядочная стрельба,— но все же первое, что он увидел и осознал, было склоненное над ним лицо Таи. Она перевязывала ему голову, телом закрывала от камней и осколков, то и дело, точно в беспамятстве, целуя его грязное, измазанное кровью и пороховой копотью лицо.

— Очнулся? Родной мой, родименький, вы живы?

— Тая,— с трудом сказал он.— Ступай отсюда, Тая, не дай Бог... Что я тогда Сидоровне скажу?

— Молчите, молчите...— Вновь разорвался снаряд, и она вновь приникла к нему, прикрывая.— Я унесу вас, унесу. У меня достанет сил...

И тут Гедулянов вдруг ясно увидел полковника Пацевича. Именно ВДРУГ, внезапно, точно Пацевич выпал из общей картины суеты, бестолковости, криков и грохота. Увидел, и все сразу же исчезло из его сознания — и боль от раны, и метавшиеся солдаты, и начавшийся штурм, и даже Тая,— Пацевич торопливо поднимался по лестнице на крышу второго этажа, держа в руках палку с привязанной к ней углом большой белой простыней. Увидел и уже не терял из вида и, отодвинув Таю рукой, вставал, опираясь спиной об избитую осколками каменную кладку. Он вставал медленно, потому что сил почти не было, но, встав, уже решительно, даже грубо, оттолкнул шагнувшую к нему Таю, и правая рука его привычно нащупала кобуру. К тому времени Пацевич уже взобрался на крышу, уже замахал простыней, точно гоняющий голубей мальчишка. Гедулянов достал револьвер, взвел курок, положил ствол для верности на сгиб левого локтя и выстрелил. И сполз по стене, теряя сознание, так и не увидев, как закачался Пацевич, как вывалился из его рук самодельный белый флаг и как упал он, корчась от боли, на каменные плиты крыши...

Зато это увидели другие. Увидели ставропольцы и крымцы, хоперцы и уманцы, стрелки и артиллеристы. Увидел Штоквич, Ростом Чекаидзе, сотник Гвоздин и войсковой старшина Кванин. И Кванин закричал первым:

— Братцы, не выдавай! Бей их, сволочей, братцы! Не позорь Россию!

В каждом внезапном — да и не только во внезапном! — бою бывает мгновение, которое вдруг оказывается переломным, несмотря на свою кажущуюся малость. Уже трус бежит, уже малодушный падает на землю, уже и бывалый, случается, теряет уверенность в себе, в своем мужестве и упорстве; уже враг, чувствуя победу, переходит ту грань, за

которой почти не требуется дополнительных усилий, поскольку победа уже в руках, но нежданная случайность нарушает создавшееся неравенство, выравнивает если не силы, то отвагу, и трус с удесятеренной яростью поворачивает назад, малодушный бросается в атаку, а засомневавшийся обретает новые силы и несокрушимую уверенность. И тогда бой как бы поворачивается вокруг невидимой оси, и торжествовавший победитель, исчерпав порыв, уже без оглядки откатывается назад.

Таким поворотным моментом было неожиданное, необъяснимое падение полковника Пацевича, по собственному почину поднявшего флаг безоговорочной капитуляции. В сумятице боя никто не видел, что в него снизу, со двора, стрелял раненый Гедулянов: полковник вдруг завертелся и рухнул, выронив белую тряпку, и для всех это стало как бы знамением свыше, сигналом к яростному, упорному сопротивлению. И люди уже не искали ни укрытий, ни товарищей, ни своих командиров: они искали боя и начали его там, где их застиг этот момент. Начали дружно, уверенно, с неистовой, почти торжествующей, яростью. Все стены, бойницы, крыши, балкон минарета и даже купол мечети в считанные секунды были заполнены солдатами и казаками, тут же открывшими убийственный, почти в упор, огонь по штурмующим стены и ворота толпам. И враг бежал, оставив у стен крепости штурмовые лестницы, веревки с крючьями и свыше четырехсот трупов. А через полчаса прекратили обстрел и турецкие батареи.

К вечеру, когда были устранены последствия штурма, заделаны проломы и пробиты новые бойницы, когда ротные командиры проверили личный состав и подсчитали потери, когда раненые были отправлены в лазарет, когда позаботились о мертвых и накормили живых, к Штоквичу пришел Китаевский. Максимилиан Казимирович еле держался на ногах после бесчисленных перевязок и операций и говорил еще тише, чем обычно. Доложив коменданту о раненых и о принятых мерах, особо упомянул о Гедулянове.

— К счастью, у Петра Игнатьевича скорее контузия, чем ранение: осколок прошел по касательной. Завтра намеревается приступать к исполнению обязанностей, почему я и не включил его в список выбывших из строя.

— Я не видел капитана на стенах. Где он был ранен?

Окончательно сорвав голос, комендант говорил свистящим шепотом, и потому разговор их походил на совещание заговорщиков.

— Тая говорила, что в первом дворе. Едва ли не в начале обстрела.

— А что с полковником Пацевичем?

— Он тяжело ранен, я с трудом извлек пулю,— Китаевский замялся.— Это странное ранение, господин капитан. Пуля попала в спину.

— Ничего странного, Пацевич слишком вертелся.

— Да, но характер ранения... Пуля вошла в спину. Снизу вверх, будто стреляли со двора.

— Со двора? — Штоквич внимательно посмотрел на Максимилиана Казимировича.— Что же, в бою все бывает.

— Но видите ли...— младший врач помолчал.— Полковник ранен револьверной пулей.

Он достал из кармана кителя завернутую в тряпочку пулю и аккуратно положил ее на стол перед комендантом. Штоквич с интересом взял пулю, долго осматривал ее, размышляя. И неожиданно усмехнулся.

— Ошибаетесь, Китаевский, это не револьверная пуля.

— Как не револьверная? — с обидой переспросил Максимилиан Казимирович.— Извините, милостивый государь, я всю жизнь служу в войсках...

— Это — не револьверная пуля,— с особой весомостью сказал Штоквич, зажав пулю в кулаке.— Это пуля от турецкой винтовки Пибоди-Мартини. Вы поняли меня, младший врач Китаевский? Так и напишите в медицинском свидетельстве: полковник Пацевич ранен пулей от турецкой винтовки системы Пибоди-Мартини, коей на вооружении нашей армии нет.

— Но позвольте, господин капитан, я — медик. Я по долгу службы и профессии своей обязан...

— Как вы относитесь к Гедулянову?

— Я? А почему... И при чем тут...

— Вы служили вместе с ним в 74-м Ставропольском полку.

— Да, служил. Много лет. Петр Игнатьевич прекрасный человек и прекрасный офицер, и... Все же я не понимаю, какое...

— Если Гедулянов прекрасный человек и офицер, вы напишете в заключении о ранении полковника Пацевича то, что я вам сказал. Пибоди-Мартини, запомнили? Заключение покажете мне. Ступайте, Максимилиан Казимирович, я более не задерживаю вас.

Китаевский потоптался, недоуменно пожал плечами и пошел. Но комендант вдруг остановил его.

— Где лежит Гедулянов?

— Его поместила у себя Тая... То есть милосердная сестра Ковалевская.

— Благодарю. Ступайте-ка спать, Максимилиан Казимирович, вы очень переутомлены.

— Спасибо,— растерянно пробормотал Китаевский и вышел.

Как только за младшим врачом закрылась дверь, Штоквич разжал кулак, посмотрел на пулю и беззвучно затрясся от смеха. Потом вышел в коридор, поднялся на стену и, широко размахнувшись, швырнул пулю в сторону необычно притихшего вражеского стана. Спустился, постоял перед своей дверью и решительно направился в дальний двор, где сам когда-то выделил две комнатки милосердной сестре Таисии Ковалевской.

— Прошу,— сказала Тая в ответ на стук.— Пожалуйста.

Штоквич вошел. Молча поклонился и остался у дверей, оглядываясь. Гедулянов лежал в первой комнате на старом диване, укрытый солдатским одеялом. На голове его белела свежая повязка, лицо было умыто, а черная борода аккуратно расчесана: комендант обратил особое внимание на контраст белого и черного.

— Проходите, прошу вас,— пролепетала Тая, намереваясь уйти во вторую комнату.

— Вы можете остаться, Таисия Леонтьевна.— Штоквич снял фуражку, положил ее на сгиб локтя и шагнул к дивану.— Я пришел, чтобы выразить вам, господин капитан, свое восхищение и личную душевную признательность. По известным причинам я не могу объявить вам благодарность ни в приказе, ни перед строем: примите же ее в такой форме.

— Помилуйте, за что же? — растерянно улыбнулся Гедулянов.

— За отличную стрельбу,— значительно сказал комендант.

Капитан сразу перестал улыбаться. Обветренное, грубое, солдатское лицо его стало хмурым и настороженным. Штоквич отложил фуражку, потянулся к висевшим на стене офицерским ремням, вынул из кобуры револьвер и повернул барабан.

— Все правильно, четыре пули. Хорошо стреляет тот, кто попадает в цель. Но тот, кто стреляет туда, куда нужно, и главное, тогда, когда нужно, стреляет выше всех похвал.

Гедулянов по-прежнему смотрел колюче. Штоквич невесело улыбнулся, выбил из барабана стреляную гильзу, вставил в гнездо новый патрон, сунул револьвер на место и сел на край дивана.

— Я малоприятный человек, Гедулянов. Я трудно схожусь с людьми — у меня нет ни друзей, ни близких. Мало того, я был оклеветан и изгнан из армии, и только война

вернула меня в ее ряды. Впрочем, это все — лирика, за которую прошу прощения.— Штоквич помолчал, по привычке поглаживая колени.— Сегодня я уверовал, что в крепости есть по крайней мере один человек, который, как и я, во что бы то ни стало исполнит последний приказ полковника Ковалевского. Не смею рассчитывать на вашу дружбу, Петр Игнатьевич, но на мое особое к вам расположение вы всегда можете положиться.— Он встал и, помолчав, сказал иным, привычно непререкаемым тоном: — Вы потеряли сознание в самом начале штурма и ни разу не выстрелили из револьвера. Вы подтверждаете это, сестра Ковалевская?

— Да,— не задумываясь, сказала Тая.— Я безотлучно находилась при капитане Гедулянове и готова подтвердить это под присягой.

— Благодарю вас, Таисия Леонтьевна,— с чувством сказал Штоквич.— Только, пожалуйста, не умывайте более капитана. На это я не отпущу воды даже для вас. Спокойной ночи.

Штоквич неуклюже шутил, но шутка оказалась пророчеством: ночью противник отвел воду. А в день ликования, паники, штурма и боя часовых у бассейна поставить забыли, и к утру его уже вычерпали до дна. Оставался лишь тот запас, что заготовили ранее: в бочках, ведрах, офицерских самоварах и солдатских котелках. Об этом утром доложил коменданту дежурный по гарнизону сотник Гвоздин.

— Собрать всю воду в один каземат,— распорядился Штоквич.— К дверям — надежную охрану. С сего часа воду отпускать только по моему письменному приказанию.

— Слушаюсь,— сотник усмехнулся.— Воду отвели, значит, в осаду берут, так понимать надо? Турки с пушками подошли: обложат со всех сторон, постреливать будут, а курды с черкесами уйдут.

— Вы думаете? — быстро спросил Штоквич.

— А хрена тут кавалерии делать? Зря фураж жрать? Сам казак, знаю: не годны мы для осад. Уйдут они. На Игдырь: там заслоны слабые, прорвут и... И все наше баязетское сидение — кобыле под хвост, капитан.

Штоквич молчал, растерянно вертя в руках погасшую трубку. Гвоздин подошел к столу, сел напротив, сказал приглушенно:

— Не обидишься, если по-простому скажу? Ты правильно вчера с ними говорил, с парламентерами-то: мне казаки рассказали. Ежели опять пожалуют — сдержи слово. Мои ребята их так отдерут — месяц лежа жрать будут. Их обидеть нужно, понимаешь? Горца обидишь — он никуда не уйдет, пока позора не смоет.

Штоквич отложил трубку, встал, походил по комнате. Остановился перед Гвоздиным.

— А если парламентеры не явятся сегодня?

— Должны явиться. Самолюбивы больно.

— Тогда...— комендант опять походил по комнате, подумал.— Отберите казаков, в которых лично уверены. Если парламентеры прибудут, эти казаки должны присутствовать при встрече и без колебаний исполнить любое мое приказание.

— Исполнят,— сотник вдруг улыбнулся.— Казаки верят вам, капитан. Мы тут беседовали промеж себя: верят.

— Благодарю, сотник. Ступайте.

Оставшись один, Штоквич тщательно побрился, не переставая думать о том, пришлет ли Шамиль парламентеров, а если пришлет, то хватит ли у него самого, у коменданта и руководителя обороны, мужества исполнить то, на что он решился во время разговора с Гвоздиным. Он понимал, что этим решением преступает не только военные, но и человеческие законы, но не видел иного выхода. И неторопливо приводя себя в порядок, все время прислушивался, с нетерпением ожидая и одновременно страшась официального посещения. Он не боялся, что задуманное им может навеки покрыть его позором и выбросить из общества,— он боялся самого себя, не зная еще, сможет ли он, офицер русской армии, в решающий момент преступить черту даже во имя той высокой цели, которую ставил перед собой.

Ровно в десять пропела труба. К тому времени комендант был уже готов — выбрит и одет по полной, старательно вычищенной форме, но прежде, чем выйти, широко и торжественно перекрестился, точно шел на эшафот. И даже подумал о том, что идет на эшафот, когда поднимался на крышу второго этажа.

Там уже стоял Гедулянов — Штоквич мельком спросил, как он себя чувствует, и капитан сказал, что совершенно здоров,— войсковой старшина Кванин, сотник Гвоздин и четверо бородатых немолодых казаков. Солдат поблизости не было, и комендант отметил про себя, что малоразговорчивый сотник Гвоздин собрал тех, в ком лично был уверен.

— Парламентеры,— сказал Гедулянов.— На сей раз без Шамиля.

— Его счастье,— буркнул Штоквич.— Сбросьте им лестницу.

Первым легко поднялся князь Дауднов — в той же черной черкеске. А переводчик Таги-бек Баграмбеков опять долго пыхтел, и казаки в конце концов втащили его руками.

Во время этой затянувшейся процедуры Дауднов стоял молча, положив руки на кинжал.

— По приказанию его превосходительства генерала Шамиля я...— задыхаясь, начал переводчик.

— Не надо,— резко сказал Штоквич; голос его не восстановился окончательно и сорвался на фальцет.— Видимо, Гази-Магома либо страдает выпадением памяти, либо позволяет себе сомневаться в слове русского офицера. Позавчера я предупредил, что, если он вздумает вторично прислать парламентеров, я незамедлительно...

— Капитан, опомнитесь,— шепотом сказал Гедулянов.

— Молчите! — оборвал Штоквич: он был бледен, левое веко непрестанно дергалось в нервном тике.— Вы, князь Дауднов, будете пощажены в том случае, если Шамиль исполнит мои требования: усмирение курдов...

— Нет,— по-русски сказал парламентер: поняв всю серьезность положения, он уже не нуждался в переводчике.— Я выполняю лишь то, что мне приказано. Гарнизон обязан сложить оружие, тогда всем будет сохранена жизнь. Кроме вас, господин капитан.

— Обычно я не меняю своих решений, Дауднов,— сипло (ему опять отказали связки) проговорил Штоквич.— Но сегодня вынужден отступить от этого правила. Веревку, казаки!

— Лучше аркан,— хладнокровно уточнил Гвоздин.— Живо, станичники!

— Обождите! — отчаянно крикнул переводчик.— Шамиль поклялся на коране, что сдерет с вас кожу, господин капитан, если вы хотя бы пальцем тронете князя Дауднова.

— Для этого ему придется сначала взять цитадель...— Штоквич оглянулся: к ним уже подходили казаки, один из них перебирал в руках ременный аркан.— Повесить парламентера! На стене. Над воротами. Лицом к Шамилю!

— Штоквич, это невозможно,— прошептал Гедулянов.— Это позор для всех нас, Штоквич!

— Молчи, капитан...— Кванин дружески облапил Гедулянова.— Коли надо, так мы и родному дядьке голову снесем.

Казаки быстро связали руки Дауднову, накинули на шею петлю. Князь не сопротивлялся, не кричал, только побледнел и стал глубоко и часто дышать.

— Шамиль не простит этого никому из вас...— вдруг громко сказал он.— Никому!..

— Исполнять приказание! — крикнул комендант, вновь сорвавшись на фальцет.

Казаки сноровисто закрепили конец аркана и, схватив

парламентера, сбросили его со стены. Аркан натянулся как струна над тяжелым, бившимся в конвульсиях телом.

Все молчали. Штоквич пытался раскурить трубку, но в трясущихся руках его все время ломались спички. Наконец он справился с собой, прикурил и оглянулся. На крыше никого не было, кроме капитана Гедулянова. Комендант долго смотрел на него, и Гедулянов, почувствовав этот взгляд, поднял голову.

— Вы поступили бесчестно, капитан Штоквич.

— Да.— Штоквича трясло, и он все время жадно затягивался, стараясь унять эту дрожь.— Я поступил бесчестно, вы правы, Гедулянов.— Он промолчал и вдруг выкрикнул резко и громко: — Но Гази-Магома не уйдет отсюда! Не ворвется в Армению, пока не сдерет с меня шкуру!

Гедулянов молчал. Некоторое время молчал и Штоквич, будто ожидал возражений, спора, понимания,— ожидал хотя бы слова. Не дождавшись, вздохнул и тихо и горько сказал:

— Да, я потерял свою честь, но я не нашел иного выхода, чтобы исполнить свой долг перед Отечеством. И только оно, оно одно вправе судить меня.

И опять они надолго замолчали, уже не глядя друг на друга. Потом Гедулянов негромко сказал:

— Может быть, вы по-своему правы, капитан. Может быть. Я тоже исполняю свой долг и выполню любой ваш приказ без промедления и рассуждения. Только... Только никогда более не рассчитывайте на мою дружбу, Штоквич.

Он повернулся и стал спускаться по лестнице. А комендант еще долго стоял неподвижно, как памятник, над уже замершим телом парламентера.

Глава четвертая

1

После отказа Криденера Паренсов, досадуя, что не сумел буквально исполнить скобелевский приказ, не уезжал, пока не добился обещанного батальона Курского полка. Батарею сыскать так и не смогли, но клятвенно заверили, что немедля пришлют, как только разберутся сами. Ждать далее времени не было, и Паренсов, объяснив командиру пехотного батальона майору Дембровскому, куда следует двигаться, поскакал к Скобелеву, имея в запасе маленький сюрприз: выпрошенный у Шнитникова черновик еще не подписанного приказа о наступлении.

— Ну и черт с ним,— буркнул Скобелев, когда началь-

ник штаба доложил о неудачном разговоре с бароном.— Хоть батальон дал, и на том спасибо. Меня в твое отсутствие, Петр Дмитриевич, идея осенила: отобрать все пушки у Бакланова. Все — в одном кулаке, в моем кулаке, понимаешь?

Когда Михаил Дмитриевич занимался делом, он не тратил сил на личные обиды, хотя склонен был обижаться с детской непосредственностью. Он уже пребывал в состоянии высокого душевного подъема, который у него, человека крайностей, скорее напоминал бешеный, захлестывающий все и вся азарт. Он не спал сам и не давал спать своим офицерам, требуя тщательнейшей подготовки того, что задумал, неутомимо днем и ночью проверяя работу и беспощадно взыскивая за упущения. В эти дни и ночи перед решительными действиями на отдых право имели только солдаты, и за их нормальным сном, питанием и размещением Скобелев находил время следить неустанно. Его неожиданные наезды в подчиненные ему сотни, роты, батареи, а то и просто дозоры вскоре превратились в поговорку:

— Нагрянет как Скобелев.

Это означало внезапное, как снег на голову, появление чего-то стремительного, требовательного, придирчиво внимательного. И уж не важно, кто именно появлялся — сам ли Михаил Дмитриевич, его ординарцы, неожиданное начальство или черкесы: это означало неприятность как таковую, ибо Скобелев устраивал нерадивым офицерам такие разносы, по сравнению с которыми даже ночная вылазка противника казалась пустяком.

Выписка из приказа, которую раздобыл Паренсов, была явным следствием последнего разговора Петра Дмитриевича с Криденером, поскольку резко ограничивала активные действия всего скобелевского отряда:

«Кавказской сводной бригаде с 8-ю Донскою и горною батареями под ближайшим начальством Свиты его величества генерал-майора Скобелева выступить от деревни Богот в пять часов утра и, став за левым флангом боевой линии, стараться пресечь сообщение между Плевной и Ловчей, имея постоянное наблюдение по направлению к обоим названным городам. В случае отступления неприятеля из Плевны, бригаде идти к западу на Софийскую дорогу для пресечения неприятелю путей отступления в этом направлении».

— В дозор меня отрядили,— горько усмехнулся Скобелев,— о себе думают, не о победе. Ну и быть им с битыми мордами, а мы Плевну брать будем.

— Что брать?

— Плевну. Коли на дураков резоны не действуют, так, может, хоть пример чему-то научит.

— Помилуйте, Михаил Дмитриевич, с чем вы на Плевну замахиваетесь? — вздохнул Паренсов.— У нас — один Тутолмин, куряне еще на марше, а обещанная батарея вообще неизвестно где.

— Поторопи,— не терпящим никаких возражений тоном сказал генерал.— Пехоте отдохнуть дашь, а артиллерию — в бой: туда, где сам буду. Ко мне — Тутолмина. Ступай.

Тутолмин не спорил, хотя ему до боли было жаль своих кавказцев, вынужденных вести бой в непривычном для них пешем строю. Не спорил, потому что согласен был с планом Скобелева, зная не только обстановку, но и натуру самого командира отряда, его граничащую с безрассудством отвагу и несокрушимую уверенность в победе. Но решительно воспротивился, когда Михаил Дмитриевич предложил направить осетин в передовую цепь.

— Нецелесообразно, Михаил Дмитриевич. Вояки они отменные, но слишком уж горячи. Настоятельно прошу бросить вперед кубанцев.

— Разумно,— тотчас же согласился Скобелев.— Осетин прибережем для решающего удара. В авангарде — две спешенных кубанских сотни и четыре орудия, что пригнали от Бакланова. Орудия — на руках, артиллеристам — обозников в помощь. Ты с основными силами, полковник, следуешь в двух верстах позади.

— Кто поведет авангард?

— Я.

— Ох, Михаил Дмитриевич! — сокрушенно вздохнул Тутолмин.— Ну что вы — капитан, что ли?

— Сегодня — капитан,— улыбнулся Скобелев.— Плох тот генерал, который позабыл, что когда-то был капитаном. Что, банальности излагаю? Волнуюсь, Тутолмин, куда трепетнее девицы, на свидание поспешающей, волнуюсь. И счастлив, что волнуюсь, потому что всякий бой есть наивысший взлет духа человеческого... Казаки вареное мясо утром получали?

— Полтора фунта на суму.

— Прикажи пехоте отдать. И не спорь: солдаты всю ночь на марше, котлы отстали, да и готовить некогда. Млынов, одеваться!

Не получив еще официального приказа (догнал его уже на походе, когда было поздно что-либо менять), Скобелев решил выступить на час раньше. В четыре он — как всегда, в белом сюртуке, с Георгием на шее, в фуражке с белым чехлом — вышел из дома. Моросил дождь, все вокруг было подернуто плотным сырым туманом.

— Смотри-ка: понедельник, а пока везет! — весело ска-

зал Михаил Дмитриевич, легко вскакивая на белого, старательно вычищенного жеребца.— Тьфу-тьфу, но так бы всю дорожку.

Он не успел тронуться с места, как показался Паренсов, верхом на порядком-таки утомленной лошади.

— Подошел батальон Курского полка.

— Где они?

— У церкви.

— Дай отдохнуть, накорми: Тутолмин обещал мясом поделиться. И жди посыльного.— Скобелев хотел тронуть нетерпеливо перебирающего ногами жеребца, но Петр Дмитриевич придержал за повод.— Что, полковник?

— Я обещал, что вы обратитесь к ним. Бой нелегкий, а они пороха не нюхали.

— С речью, что ли? — усмехнулся Скобелев.

— Желательно.

Скобелев с места бросил коня в карьер, подлетел к батальонной колонне: солдаты стояли вольно, устало опершись на винтовки. Увидев скачущего к ним генерала, подтянулись, офицеры бросились по местам.

— Батальон... смирно!..— распевно начал майор Дембровский.— Равнение на... Господа офицеры!

Не обращая внимания на командира, Скобелев подскакал к середине колонны, резко, подняв в свечу, осадил жеребца. Вскинул вдруг крепко сжатый кулак, чисто мужским жестом потряс им.

— В бой идти... женихами!

И, развернув жеребца, бешеным аллюром умчался в туман: догонять ушедшие вперед спешенные кубанские сотни.

Скобелев нагнал кубанцев у подъема на первый хребет Зеленых гор. Казаки шли осторожно, широкой разреженной цепью, выслав вперед многочисленные группы пластунов. Об этом и доложил генералу командир Кубанского полка полковник Кухаренко, лично возглавивший свои сотни.

— Пока туман, сопротивления не ожидаю,— добавил он.— А вам лошадку свою, ваше превосходительство, оставить придется: мы, кубанцы, шума не любим.

Михаил Дмитриевич спешился, отдал жеребца казаку-коноводу и пошел рядом с Кухаренко впереди казачьей цепи. Полковник был куда старше своего генерала (кряжистый, с седыми усами и сабельным шрамом на щеке, полученным еще на Кавказе в схватке с горцами), но шагал легко и упруго.

— Вот так бы до Плевны дойти,— сказал Скобелев.

— Коли разговаривать не будем, так, Бог даст, может, и дойдем,— усмехнулся полковник.

Генерал послушно замолчал. Казаки уже втянулись в заросли, затерялись, и Скобелев скорее чувствовал, чем слышал, хруст веток да каменные осыпи под их осторожными ногами.

— А пушки где? — недовольным шепотом спросил он.— Я же тебе батарею придал. На кинжалы надеешься? Это тебе не Кавказ.

— Пушки сзади идут,— пояснил Кухаренко.— На руках через два хребта на третий их только по карте протащить можно, а в натуре жила лопнет. Найду дорогу, тогда и пушки подтянем.

— Что-то черкесов не видно,— сказал Михаил Дмитриевич, чтобы переменить неприятный для него разговор.— Отвели их, что ли?

— На тот свет,— недобро усмехнулся полковник.— Я еще затемно Прищепу с пластунами сюда направил.

В таких делах Кухаренко разбирался куда лучше, и Михаил Дмитриевич промолчал, про себя отметив, что полковник во всем прав, и воевать по карте без учета особых свойств как местности, так и собственных возможностей — занятие опасное. Он не только не обижался, когда его тыкали носом в его же упущения, а старательно запоминал, в чем именно допустил промах и как избежать подобного в будущем. Он учился жадно, с благодарностью к каждому, кто только мог преподать ему хоть какой-то урок — будь то опытнейший генерал или последний рядовой. В русской армии по замшелой традиции на войсковую разведку обращали мало внимания, в лучшем случае ограничиваясь осмотром («освещением», как это официально называлось) местности. Скобелев тоже грешил этим, но грешил скорее от горячности, чем от высокомерной недооценки сил противника.

Без единого выстрела авангард Скобелева, обогнув деревню Кришин, миновал два хребта Зеленых гор и достиг третьего. Туман уже редел, кое-где просвечивало солнце, но обзор еще был надежно закрыт. Продвинувшиеся еще далее казаки обнаружили ручей с топкими берегами, вернулись, и Михаил Дмитриевич решил временно закрепиться здесь. Бой еще не начинался, в тумане скорее чувствовалось, чем слышалось, передвижение огромных людских масс, артиллерии и обозов, и генерал с нетерпением ожидал, когда обстановка окончательно прояснится.

— Позиция отменная,— сказал он.— Только не видно ни черта. Где пушки?

— Идут,— лаконично пояснил Кухаренко.

Прислушавшись, генерал уловил скрип колес, приглу-

шенные команды, надсадный хрип как людей, так и лошадей, совместными усилиями тащивших орудия на крутые склоны.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство? — задыхающимся шепотом спросили за спиной.— Командир Донской номера восьмого батареи полковник Власов. Позиции выбраны, орудия растаскивают по номерам. Желаете осмотреть?

— Потом, полковник, все потом,— нетерпеливо отмахнулся Скобелев.

Туман вдруг начал рваться, оседать, расползаться по низинам, и Михаил Дмитриевич, уже не отрываясь, вглядывался туда, где, по его предположениям, должна была находиться Плевна. И все прекратили работы, замерли, примолкли, напряженно вглядываясь в тающую на глазах пелену. Но раньше, чем разорвалась эта пелена, сквозь нее в первых лучах пробившегося солнца нестерпимо ярко и так знакомо блеснули острия тысяч штыков.

— Господи, спаси нас и помилуй,— шепотом сказал Кухаренко.

Плевна открылась сразу, будто подняли занавес. Собственно, не сам городишко — его прикрывала небольшая возвышенность,— а предместья, сады, виноградники: казалось, до них не более трехсот сажен. Но все уже смотрели не на предместья города, который надо было штурмовать, а правее, между городом и Гривицкими высотами: там в походных колоннах стояли несколько тысяч аскеров.

Завздыхали, задвигались казаки, кто крестясь, а кто и ругаясь. Хорунжий Прищепа озадаченно свистнул, тут же получив чувствительный тычок кулаком от хмурого Кухаренко. А Михаил Дмитриевич, не шевелясь, смотрел и смотрел, но уже не на массы турецких резервов, а на далекие Гривицкие высоты, против которых они были нацелены и штурмовать которые надлежало первой колонне генерала Вельяминова; на чуть заметные войска Шаховского, готовые, согласно приказу, ударить между Гривицей и Плевной, и на саму Плевну, прикрытую предместьями на высотке, против которой стояли жалкие силы его собственного отряда. Конечно, Осман-паша не мог знать плана второго штурма — подписанный приказ Скобелев и сам еще не получал,— но, прекрасно поняв тупое упрямство русского командующего, турецкий полководец дальновидно упреждал его главный удар, сосредоточив под Гривицкими редутами основные резервы. Нанося удар в этом направлении, русские войска волей-неволей втягивались в затяжной бой и прорваться здесь не могли. Скобелев не просто понял это — он это увидел собственными глазами.

Увидел он и другое. Собственно, это было не видение, а, скорее, прозрение на основании увиденного: если бы Шаховскому в ходе сражения удалось изменить направление удара, перестроиться и наступать не на изготовившиеся к бою турецкие войска, а левее, за их спинами, прямо на Плевну, он отсекал бы резервы противника как от Гривицких редутов, так и от города, он начал бы бить Османа-пашу в самое чувствительное место, заставил бы его на ходу менять план обороны, тасовать таборы, и тогда... Тогда Скобелев получал реальную возможность бросить свой малочисленный отряд непосредственно на штурм Плевны по кратчайшему и практически незащищенному направлению.

— Артиллерии молчать, пока не подтянутся все батареи,— сказал генерал.— Кухаренко, держись тут, хоть зубами, и жди пехоту. Я — к Шаховскому.

Не оглядываясь, он сбежал вниз, вскочил на коня и, нахлестывая его, помчался по разведанной пластунами дороге. Скакал, смутно ощущая, как растет в душе его такое знакомое радостное волнение: яростное, торжествующее предчувствие победы. Он понимал, что теми силами, что были у него под рукой, ему не только не ворваться в Плевну, но и не удержаться на третьем гребне Зеленых гор, если противник бросит на его отряд весь нацеленный на помощь Гривицким редутам резерв, но если бы удалось уговорить Шаховского — в нарушение боевого приказа! — ударить не туда, где ожидал его Осман-паша, тогда отряд Скобелева сразу становился чрезвычайно опасным для турецкого командования. «Конечно, попытаются смять меня,— думал генерал, нещадно гоня жеребца по крутой, извилистой дороге.— Обойти меня не могут, разве только левее. Значит, туда — осетин: пусть фланг держат. И навалятся они на меня в лоб...— он невесело усмехнулся.— Эх, барон, барон, вот бы где ударить: в Плевне бы в полдень обедали...»

Впереди за поворотом послышался шум, тяжкий скрип, хрипенье лошадей, людской говор. Генерал перевел коня на рысь, а оказавшись за изгибом дороги, и вовсе остановил его.

Навстречу двигалась четырехорудийная батарея. Заморенные переходом, кони с трудом брали крутой подъем. Артиллеристы, дружно навалившись, толкали тяжелые пушки, через каждый шаг подкладывая камни под колеса. Все были заняты тяжелой, важной работой, и на генерала решительно никто не обратил внимания. Он поискал глазами офицера, но не нашел: среди солдатских мундиров виднелся кто-то в белой нижней рубахе.

— Навались, братцы! — хрипло кричал он, вцепившись в колесо.— Ну, еще. Еще чуть...

— Где командир? — строго спросил Скобелев.

— Камни под колеса! — крикнул тот, что был в одной рубашке.— Закрепили? — Он выпрямился, торопливо заправил в брюки выбившуюся рубашку.— Батарея, смирно! — Подошел к генералу, щелкнул каблуками грязных сапог.— Батарея с марша следует на огневые позиции, ваше превосходительство. Командир батареи штабс-капитан Васильков.

— Почему без мундира?

— Потому что он у меня один.

Штабс-капитан и рапортовал, и отвечал негромко: ровно настолько, чтобы было слышно. Скобелев сверху вниз смотрел на него: офицер казался невысоким, худым, но плечистым и ловко скроенным. Потное, в брызгах грязи, лицо его было серьезным, спокойным и каким-то уверенным: Михаил Дмитриевич сразу подумал, что именно так смотрят настоящие, убежденные в своем умении мастера. Не служаки, не парадные франтики, а сохранившие глубокое внутреннее достоинство истинные армейские профессионалы.

— А где же мундир?

— В чемодане. Надену после боя, ваше превосходительство, если сочтете нужным вызвать для указаний.

— Тебя ко мне отрядили?

— Так точно, ваше превосходительство,— штабс-капитан вдруг улыбнулся, и некрасивое лицо его точно осветилось.— По правде если, так я сам ушел. Как узнал, что мне в резерве торчать, а тут батарею разыскивают, так и пошел. Им там все едино, кого посылать.

— А тебе, капитан, не все едино?

— Я — солдат, ваше превосходительство.

— Спешишь со званием,— нахмурился Скобелев.— Уж разреши мне его тебе присвоить, коли бой отменно проведешь. Займешь позиции правее донцов. Задача не только перед собой турка громить, но и бить их фланговым огнем, если они контратаковать на Радишево вздумают.

— Слушаюсь, ваше превосходительство. Задачу понял.

— Тогда до встречи, капитан!

Скобелев тронул коня. Позади опять завозились, запыхтели артиллеристы, натужно захрипели лошади. А генерал, погоняя коня, улыбался, словно внезапная встреча с ничем не примечательным армейским офицером была Бог весть каким приятным предзнаменованием. Он твердо верил в свое первое впечатление и был убежден, что уж в чем в чем, а в этой батарее он может быть уверен до конца.

По дороге он заехал к Тутолмину, где полковник тут же и вручил ему официальный приказ о сегодняшнем штурме,

только что доставленный штабным офицером. Скобелев мельком глянул: задача отряду не менялась, все оставалось по-старому, но пункт, касавшийся действий кавалерийской дивизии генерала Лашкарева, привлек его внимание: Лашкареву предписывалось, прикрывшись разъездами, наблюдать за Софийским шоссе.

— Господи, целую дивизию в наблюдение отрядить — это же додуматься надо!

Приказав Тутолмину немедленно двигаться на третий гребень Зеленых гор, подтянуть туда же пехоту и ждать дальнейших распоряжений, Скобелев тут же помчался к Шаховскому. К тому времени все русские войска уже выдвинулись на исходные позиции, кое-где завязав артиллерийский бой. Все пока шло в полном соответствии с диспозицией, и князь Алексей Иванович пребывал в состоянии скорее равнодушном, нежели спокойном.

— Постреливаем,— сказал он, пожимая руку Скобелеву.— А Пахитонов сказал, у них стальные орудия Круппа. Во! Ты завтракать ко мне, что ли? Так опоздал, я с зарею фриштык принимаю.

Под фриштыком понималась добрая чарка анисовой, с которой Шаховской начинал каждый боевой день еще со времен Кавказской войны. Однако Скобелев не расположен был к шуткам.

— Я к Плевне вышел, Алексей Иванович.

— Как? Как ты сказал? Извини старика, могу и недослышать.

— Я вышел к Плевне без боя, ваше сиятельство,— резко повторил Михаил Дмитриевич: в недоверии князя ему почудилась насмешка.— Стою на переднем гребне Зеленых гор, передо мною — низина с ручьем и горушка, которую турки укрепить не удосужились. А за нею — город. Сразу же туда и вкатимся, коли ручей перемахнем и горушку ту оседлаем.

Шаховской продолжал в упор смотреть на Скобелева, но в глазах его уже таяло размягченное «фриштыком» добродушие. Они уже начинали смотреть зорко, пытливо и напряженно. Скобелев, торопясь, еще докладывал о резервах противника, которые разглядел, о своем решении начать их громить, когда подтянется вся его артиллерия; князь, казалось, уже и не слышал его.

— Бискупского! — гаркнул он.— С картой, диспозицией и полным расписанием частей!

Ему уже некогда было расчищать стол, на котором еще стояли тарелки с закуской, рюмки, приборы: он просто собрал скатерть за четыре угла и швырнул к дверям. Глухо

звякнула посуда, и почти тотчас же появился Бискупский, зажав под мышкой портфель с бумагами и на ходу разворачивая карту.

— Докладывай,— сердито буркнул Шаховской.— Где стоял, что видел и зачем прискакал.

Скобелев коротко повторил главное, стремясь еще до прямого предложения заронить в князе ту идею, к которой пришел сам, оценив расстановку сил с высоты Зеленых гор. Как Шаховской, так и его начальник штаба сразу поняли предполагаемый маневр, но Алексей Иванович пока осторожничал, а Бискупский не решался высказать свои соображения ранее непосредственного начальника.

— Так-так,— бормотал Шаховской, уже что-то прикидывая: Скобелев чувствовал его заинтересованность.— Коли правильно понял тебя, то придется мне в бою делать захождение правым плечом?

— Непременно, Алексей Иванович. Именно этот маневр...

— Обожди с маневром,— отмахнулся князь.— Не маневры ведь — сражение. Под картечью солдатики мои захождение-то это начнут. Сколько положу на сем безвинно и, боюсь, бессмысленно?

— Я прикрою ваше захождение артиллерийским огнем с фланга. И приказ командиру батареи уже отдан, Алексей Иванович.

— Самоуверен ты, Михаил Дмитревич! — укоризненно вздохнул Шаховской.— Доложиться не успел, а уж все за меня решил.

— Потому что истинно чту вас, Алексей Иванович,— горячо сказал Скобелев.— Не чин чту, не княжеское достоинство — воина в вас чту.

— А ты, оказывается, и льстить умеешь,— улыбнулся князь.

Скобелев ничего не ответил, уже сожалея о своем порыве, воспринятом как неуклюжая лесть. Наступило короткое молчание, которым воспользовался Бискупский.

— Я не сомневаюсь, что Михаил Дмитриевич сделает все возможное и даже невозможное, чтобы облегчить нам перестроение в ходе боя,— осторожно начал он.— Идея необычайно заманчива, рискованна, но — достижима. Однако по долгу службы считаю необходимым высказать вашим превосходительствам, что идея эта в корне противоречит приказу генерала Криденера, утвержденному его высочеством главнокомандующим.

— Приказ один: взять Плевну,— возразил Скобелев.

— Не совсем так,— вздохнул Бискупский.— Основной

удар по этому плану наносит Криденер силами колонн Вельяминова и Шильдер-Шульднера, вспомогательный — колонна князя Алексея Ивановича. Вы же предлагаете рокировку, при которой Криденеру выпадает на долю честь вспомогательного удара. Учитывая его характер...

— Учитывая его ослиное упрямство, Криденеру ни слова об этом не говорить,— резко перебил Шаховской.— Пусть соображает в ходе боя, коли вообще способен к соображению,— он недовольно оттопырил усы.— Нам обещан Коломенский полк, если помню. Так вот, немедля востребуйте его в мое личное распоряжение.

— Простите, ваше сиятельство, я позволю себе все же несколько слов относительно характера барона Криденера,— с холодноватой настойчивостью продолжал Константин Ксаверьевич.— Он не только болезненно самолюбив и невероятно упрям: он страдает гипертрофированным тщеславием.

— Какое мне дело до его скверного характера! — фыркнул Шаховской.— Я не собираюсь выдавать свою дочь за его сына.

— Но вы лишаете его лавров победителя Осман-паши,— улыбнулся Бискупский.— И он скорее проиграет сражение, чем уступит эти лавры вам, ваши превосходительства.

Оба превосходительства молчали, прекрасно понимая, что помешать Криденеру выиграть сражение способно множество обстоятельств, и прежде всего — сам Осман-паша. Но помешать барону проиграть это сражение не способен никто. В этом Константин Ксаверьевич был прав.

— Обращаю ваше внимание и на оперативную сторону прекрасного плана Михаила Дмитриевича,— негромко сказал, помолчав, Бискупский.— После захождения нашего отряда правым плечом с тем, чтобы обрушиться на Плевну, между нашими силами и колонной Вельяминова образуется оперативная брешь.

— Турки не рискнут воспользоваться ею,— убежденно сказал Скобелев.— Я скую их беспрерывными атаками, а вас прикрою мощным фланговым огнем.

— Да поймите же, Михаил Дмитриевич, что Криденер — не вы! — почти с отчаянием воскликнул Константин Ксаверьевич.— Вы привыкли к маневренному бою, вас не пугают ни фланговые обходы противника, ни даже вероятность окружения. А Криденер всю жизнь воевал на ящике с песком, точно исполняя предписанные военными теоретиками законы и рекомендации. Он панически боится дырок, и, клянусь вам, первое, что он сделает,— это прекратит атаку Гривицких редутов и станет немедля штопать эту пустоту. И Осман-паша...

— Осман-паша — не барон,— хмуро уточнил Шаховской.

— Вот именно, Алексей Иванович. И не обладая свойствами барона, он немедленно снимет свои войска из-под Гривицы и всей мощью ударит ими прежде всего по вашему отряду, Михаил Дмитриевич.

— Ну, это еще бабушка надвое сказала,— буркнул князь.— Штаб — это рассудок, а бой — вдохновение. И я в него верю. Не во вдохновение, разумеется,— я для него слишком стар,— в этого синеглазого искусителя верю,— он тепло улыбнулся Скобелеву.— Наполеоном, поди, бредишь?

— Наполеоном брежу, но учусь у Суворова.

— Хорошо ответил,— довольно сказал Шаховской.— Так вот, Константин Ксаверьевич, маневр этот — суворовский. А посему немедля востребовать обещанный нам Коломенский полк и поступать с сего мгновения согласно плану генерала Скобелева. За полком пошли кого-либо из самых упорных, чтоб как клещ в Криденера вцепился и без коломенцев появляться не смел. А сам — на позицию. Лично за маневр отвечаешь и лично его осуществишь. Коли вопросов не имеешь, ступай,— дождался, когда Бискупский вышел, крепко обнял Скобелева.— Спасибо, орел. За дерзость спасибо, за доверие, за голову твою бесценную — трижды спасибо. Береги ее, она еще ой как России пригодится!

«Золотой старик,— растроганно думал Скобелев, на полном аллюре поспешая в расположение своего отряда.— Ни о карьере, ни о славе, ни о гневе государевом не помышляет — только о победе. Вот бы с таким полководцем...»

Тут он вдруг круто остановил — не жеребца, а свои собственные восторги. Он вспомнил Бискупского, спокойный, академически холодный анализ его, скобелевского, плана и понял, что, при всей открытости, отваге и решимости, князь Шаховской к подобному анализу не способен. Понял, что он — лишь прекрасный исполнитель чужих идей, что в исполнении этом ему достанет и решимости, и отваги, и той доли безоглядного риска, без которого не выигрывают сражений. Но, исполняя идею, в которую поверил всей душой, поверил почти с юношеской горячностью, князь уже не сможет внести в нее ни единого элемента собственного творчества, ни одной своей, личной мысли, даже если этого незамедлительно потребует изменчивая, живая, дышащая не только порохом и смертью, но и внезапными контрмерами противника обстановка упорного и длительного сражения. Понял, что Шаховской будет *ломить*, а не маневрировать, ломить со всей убежденностью и страстью, ломить тупо и жестоко. И что помешать ему в этом тупом таранном действии, своевременно приостановить или, наоборот, реши-

тельно изменить первоначальное направление удара не сможет уже никто. Сам Скобелев не мог разорваться пополам, не мог ничего подсказать князю лично и через посыльных действовать тоже не мог, потому что никакой посыльный не поспел бы своевременно, и любой совет неминуемо оказывался бессмысленным, а то и просто опасным.

Скобелев спускал с цепи льва. Но льва старого, хотя и сохранившего львиные когти и львиную хватку, но уже растерявшего львиную гибкость.

2

К десяти утра, когда окончательно растаял туман, русские батареи открыли огонь по всей линии турецких укреплений. Воздух еще недостаточно прогрелся, и пороховые дымы, не рассеиваясь, плотной массой заволакивали поле сражения. Сквозь эту пелену беспрестанно вспыхивали яркие всплески выстрелов и темно-красные, густые розетки снарядных разрывов. Все это так напоминало старинные гравюры, что наблюдавший за началом сражения генерал Криденер довольно отметил своим офицерам:

— Стратегия — точная наука, господа. Смотрите, сколько красоты в пунктуальном исполнении этой заранее расписанной по нотам симфонии.

Начало битв всегда приводило в восторг генералов от теории. В эти минуты все шло по их планам в строгом соответствии с приказами и распорядком: противник выжидал, не торопясь обнаруживать своих намерений. Он вел себя как примерный ученик, который обязан поступать так, как ему предписано было поступать, не огорчая творцов подробнейших диспозиций непослушанием, озорством, неожиданными выходками и вообще какой бы то ни было деятельностью. И в эти славные минуты генералы очень любили послушного противника: естественная осторожность обороняющегося легко и просто объяснялась личной прозорливостью авторов наступательных диспозиций.

— У Османа заложило уши от грохота нашей артиллерии,— Криденер говорил сейчас для истории и с удовольствием ощущал это.— Громите его. Громите так, чтобы у него лопнули барабанные перепонки. Оглохший противник — уже инвалид, господа.

Криденер и ему подобные — а таковых было подавляющее большинство во все времена и у всех народов — уютно радовались бездеятельности врага. А Наполеон в подобных случаях приходил в бешенство («Почему, почему они не

атакуют?!»), Суворов не находил себе места, Мориц Саксонский прекратил бой, встретившись с непонятной пассивностью неприятельской армии, и даже Кутузов, всю жизнь удачно изображая флегматика, утратил покой и сон, пока французы не начали нового наступления после сидения в Москве. Да, и для них стратегия была наукой, но наукой, лишь обеспечивающей творчество, исстари именуемое военным искусством. А творчество опирается, прежде всего, на сопротивление материала, оно питается им, черпает из него силы и вдохновение. И тогда дважды два перестает подчиняться таблице умножения, потому что арифметика здесь бессильна.

— Бой развивается в полном соответствии с нашими планами, господа. А потому прикажите подать завтрак. Грохот артиллерии способствует аппетиту.

В то время как Криденер и его офицеры с соответствующим грохоту артиллерии аппетитом завтракали на высоте восточнее деревни Гривицы, четыре табора турецкой пехоты под прикрытием пушечного огня и густой цепи стрелков перешли в атаку на третий гребень Зеленых гор. На правом фланге атакующих аскеров показались конные группы черкесов. Пехота к тому времени еще не подошла (Скобелев придерживал ее до той решительной минуты, когда турки, ощутив неожиданный удар Шаховского, начнут перебрасывать резервы), хребет держали спешенные кубанцы, две батареи да подошедшие сотни Тутолмина. Держали цепко, опасности, что сомнут, не ощущалось, и все же Михаил Дмитриевич немедленно решил отвести свои части на второй, а то и на первый гребень, стремясь не просто уберечь казаков, а и заронить в душе турецкого командующего обманчивое представление о пассивной роли своего отряда в этом бою. Его час еще не наступил.

— Отходить с боем. Орудия перебросить левее, на второй гребень.

— Зачем, ваше превосходительство? — с неудовольствием сказал Кухаренко.— Позиция удобная, авось не сомнут.

— Я на авось не воюю, полковник,— сухо отрезал Скобелев.— Где твои осетины, Тутолмин?

— В резерве, как вы распорядились.

— Видишь черкесов? Мне надо, чтобы осетины атаковали их в конном строю. Смогут?

— Они, Михаил Дмитриевич, черкесов в любом строю атаковать будут. Им только прикажи.

— Вот и прикажи: в конном. Отбросить, во что бы то ни стало пробиться к реке Вид, где войти в соприкосновение с отрядом генерала Лашкарева.

— Далековато.

— Я говорю не о географии, а о тактике, полковник. Их командир должен передать генералу Лашкареву мою личную просьбу: как только он услышит, что мы пошли на штурм, пусть немедленно атакует Плевну по Софийскому шоссе.

— То-то Осман-паша завертится! — заулыбался Тутолмин, сразу оценив неожиданность этого удара для противника.

Осетины вылетели из-за склона внезапно для черкесских отрядов. Привычные к горам, кони несли молчаливых всадников, не пугаясь ни крутизны, ни обрывов. Атака была стремительной, рубка — короткой и яростной; не выдержав ее, черкесы развернули лошадей, поспешно уходя от осетинских клинков по наиболее удобной дороге: не к Плевне, а обтекая ее, к реке Вид. То ли произошло это стихийно, то ли они понадеялись на резвость своих коней, поскольку путь к городу изобиловал оврагами, виноградниками и постройками: как бы там ни было, но по счастливой случайности откатывались они как раз туда, куда осетинам было приказано пробиться во что бы то ни стало. Часть отступающих с лету нарвалась на разъезд улан (посланный Лашкаревым для освещения местности согласно диспозиции), встретивших их дружным сабельным ударом; части удалось берегом прорваться к Плевне, часть, бросив коней, разбежалась по виноградникам и зарослям кукурузы. Осетины радостно встретились с уланами 9-го Бугского полка; началось взаимное угощение и безудержная кавалерийская похвальба, а есаул Десаев в сопровождении командира уланского разъезда сразу же помчался к генералу Лашкареву, которому тут же и доложил то, что было приказано.

— Передайте генералу Скобелеву, что я, к моему глубочайшему сожалению, не смогу исполнить его просьбы,— холодно сказал Лашкарев: его вывела из равновесия повышенная экзальтация, напор и неприятный для него акцент примчавшегося прямо с рубки есаула.— Заодно напомните его превосходительству, что я подчиняюсь только генералу Криденеру, а просьбы исполняю не в боях, а по окончанию оных.

Десаев напрасно горячился, в волнении еще более путая русские слова и грамматику, частенько обращаясь к генералу с недопустимой простотой: «понимаешь, очень нужно, генерал очень просит...» Лашкарев леденел все более и более и в конце концов, грубо оборвав осетина, приказал ему немедленно убираться восвояси. Ругаясь последними словами, Десаев вскочил на коня, но сообщить о категорическом отказе Лашкарева так и не успел: черкесская

пуля наповал уложила не в меру горячего есаула. А от расстроенных гибелью командира осетин Скобелев узнал лишь, что Десаев был у генерала Лашкарева, и потому ни секунды не сомневался в том, что кавалерийская дивизия, трижды превосходящая его отряд по ударной мощи, своевременно сделает то, о чем он просил, и Осман-паша в самом начале русского штурма получит неожиданный удар в спину.

Но удар в спину, если не прямой, то иносказательный, получил не Осман-паша, а сам Скобелев. Тупо руководствуясь диспозицией («...выставить цепь разъездов до соприкосновения с неприятелем, зорко наблюдая за передвижением его войск и донося мне обо всем замеченном...»), Лашкарев за весь день ни отдал ни одного самостоятельного приказа, проторчав в полном бездействии в тылу у отчаянно сражавшихся турок. А Скобелев, рассчитывая на его инициативу и активную атаку, строил на этом все свои последующие действия, лишь к концу сражения поняв, что строил их на песке.

Криденер еще завтракал, когда ему доложили, что от князя Шаховского прибыл специальный порученец генерального штаба капитан Веригин. Он был немедленно принят и тут же, представившись, коротко и четко изложил, с чем прибыл:

— Его сиятельство просит ваше превосходительство тотчас же выслать в распоряжение генерала Шаховского обещанный ему 119-й Коломенский полк.

— Еще бой не начался, а князь уже о резервах беспокоится,— тихо проговорил сидевший рядом с Криденером Шнитников.

Барон сделал вид, что не слышал этого многозначительного замечания. Медленно отер усы салфеткой, вздохнул:

— Сами этот полк с вечера ищем, капитан. Где находятся, куда идут — одному Богу ведомо за отсутствием посыльных. Биргер,— обратился он к офицеру штаба.— Найдите этот таинственный полк как можно быстрее.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Обождите, Биргер, я укажу вам по карте его примерный маршрут,— сказал Шнитников, вставая.— Вы позволите, Николай Павлович?

Он вышел вместе с Биргером. Криденер гостеприимно пригласил Веригина к завтраку, вздохнув:

— Беда с этим полком. Проводников-болгар своевременно им не послали, вот они и бродят где-то. Надеюсь, что к концу завтрака, капитан, появится ясность, и вы сможете доложить князю...

— Мне приказано не возвращаться без коломенцев, ваше высокопревосходительство,— сказал Веригин.— Так что, если не возражаете, я обожду полк у вас или выеду навстречу.

— Хвалю за исполнительность, капитан,— добродушно улыбнулся Криденер.— А пока суд да дело, прошу закусить.

119-й Коломенский полк искать не было никакой необходимости: он стоял в деревне Болгарский Караагач, и начальник штаба Криденера генерал-майор Шнитников прекрасно знал об этом. Выйдя вслед за Биргером, он приказал капитану немедля скакать к полку с устным приказом уйти из деревни и стать походным биваком в трех верстах севернее. Он старательно прятал полк от Шаховского не потому, что хотел сделать последнему пакость, а исходя из твердого убеждения, что старый генерал занервничал и коли получит резерв, то сгоряча и бросит его в дело преждевременно. По-своему он был прав, но вместо того, чтобы откровенно сказать Шаховскому, что полк прибудет не сию минуту, а к моменту решающей фазы сражения, схитрил. Многие в армии побаивались сурового гнева и солдатской прямоты Алексея Ивановича, и Шнитников с Криденером в этом смысле не были исключением. При всей благосклонности государя, Криденер всегда помнил, что он все же только остзейский барон, а не природный Рюрикович князь Шаховской.

А генерального штаба капитан Веригин, знающий от полковника Бискупского, с какой целью он должен немедля хоть из-под земли добыть обещанный резерв, ничего не мог поделать с гибкими, вежливыми, даже логичными уверениями офицеров криденеровского штаба, что полк ищут, что сами обескуражены исчезновением коломенцев и понимают, сколь необходимы те князю Шаховскому. И что полк этот, словно провалившийся в тартарары, будет незамедлительно отослан в распоряжение Алексея Ивановича, как только где-либо обнаружится. Но исполнительный Веригин не уезжал, все время тормоша и беспокоя офицеров и самого начальника штаба генерала Шнитникова. И все вокруг играли в странную игру, а бой уже разгорался, и Шаховской, надеясь на обещанную поддержку, уже двинул свои войска вперед, поставив задачу — заход правым плечом и стремительный удар в новом направлении — в полном соответствии с дерзкой, но вполне реальной идеей Скобелева.

Все было в этой идее: блеск самобытного и смелого таланта, понимание планов Османа-паши, полная неожиданность смены удара во время боя, выход на оперативный простор и свобода маневра. Не хватало только сил, которые находились в чужих руках, и эти чужие, холодные руки и

задавили в конце концов скобелевскую жар-птицу. Руки своих же генералов, а отнюдь не таборы Османа-паши.

3

— Князь Шаховской двинул свои войска! — еще на скаку прокричал Млынов.

Он был оставлен Скобелевым в наблюдении ради этого известия. И потому всегда такой сдержанный, даже неприветливо хмурый, капитан был весьма удивлен, не заметив никакого особого восторга у своего кумира. Скобелев, в расстегнутом сюртуке, сидел на расстеленной бурке и преспокойно играл в шахматы с полковником Тутолминым. Услышав крик, которого ждали давно, достал часы, щелкнул крышкой, мельком глянув на них и сказав:

— Сдавайся, полковник, я тебе в тыл выхожу,— вдруг вскочил, застегивая сюртук.— Пехоте трубить атаку. Батареям следовать за ними и при первой же возможности занять прежние позиции. Тутолмин, отряди казаков подвозить в торбах патроны, снаряды и воду, а на возврате — подбирать раненых. Кто принял командование осетинами?

— Подъесаул князь Джагаев.

— Прикажи быть в готовности атаковать турок во фланг вдоль ручья. С Богом, товарищи мои. Приказов об отходе более не будет, а коли случится такое, последним отступать буду я.

Пехота двинулась в атаку с песней. Легко сбив турок с первого и второго хребтов, она настойчиво атаковала третий, за который противник цеплялся с ожесточенным упорством: Осман-паша оценил внезапное появление русских сил в трехстах саженях от предместья Плевны. Тут стало уже не до песен, но ротные рожки и барабаны не смолкали ни на минуту: куряне шли в свой первый бой «женихами».

— Тутолмин, Кухаренко, давите туркам на фланги! — прокричал Скобелев, появляясь впереди атакующих на белом коне.— Молодцы, ребята! Вперед!

Турки то откатывались вниз, к ручью, то снова, собравшись с силами, бросались в контратаку, подгоняемые суровым приказом Османа-паши не отдавать русским третьего гребня Зеленых гор — ключевой позиции в обороне Плевны. Осетины в конном строю, а кубанцы залповым ружейным огнем расстроили их ряды, куряне вновь бросились в штыковую, и аскеры откатились к предместьям, к небольшой высотке, на вершине которой еще не было ни-

каких укреплений. Здесь, в виноградниках, садах и зарослях кукурузы, они и залегли, мощным огнем отбивая все попытки скобелевцев форсировать топкие берега Зеленогорского ручья.

На большее Осман-паша пока рассчитывать не мог: войска Шаховского напирали левее, явно собираясь — турецкое командование быстро оценило эту вероятность — зайти правым плечом и всей мощью, вместе со Скобелевым, обрушиться на последнюю высотку перед Плевной. Если бы это случилось, то русские с ходу, на одном порыве скатились бы прямо в город. Для защиты его Осману-паше пришлось бы отвести туда практически все резервы, оголив поле сражения и дав русским оперативный простор для действий их кавалерии. А колонны генерала Вельяминова при поддержке частей Шильдер-Шульднера упорно, хотя и без особого успеха, рвались к Гривицким высотам; по тылам турок, многозначительно бездействуя, гуляли разъезды донцов и улан Лашкарева, и Осман-паша уже начал стягивать запасные таборы поближе к городу.

— Если они ворвутся в предместье со стороны Зеленых гор, готовьтесь с боем прорываться на Софийское шоссе,— сказал он.— Нам не удержаться в Плевне.

— Между первой и второй колоннами русских образуется разрыв,— осторожно подсказал командующему его начальник штаба Тахир-паша.— Может быть, нам следует ударить в этом месте? Русские не любят маневра.

— Тому, кто нашел ключ к дверям, не нужно окно,— усмехнулся Осман-паша.— Хотел бы я знать, кто же нашел этот ключ?

Ключ был найден, и дверь плевненской твердыни практически была отперта, но на то, чтобы распахнуть ее и ворваться внутрь, сил уже не осталось. Но именно с этого дня, со дня Второго Плевненского сражения, турецкое командование приметило и уже не упускало из виду нового генерала, бесстрашно появлявшегося в самых опасных местах своих передовых цепей. Турецкие аскеры сразу же нарекли его «Ак-пашой» — Белым генералом, а к вечеру Осман-паша узнал и его имя: Михаил Дмитриевич Скобелев. Узнал, запомнил и глубоко уважал до его случайной, нелепой, обидно преждевременной смерти.

К полудню, когда Скобелев, отбив отчаянные попытки турок сбросить его с третьего гребня Зеленых гор, окончательно утвердился на господствующих позициях, Вельяминов все еще продолжал кровавый затяжной штурм Гривицких редутов, а Шаховской начал захождение правым плечом своего отряда, под огнем меняя направление удара,

Криденер не выдержал вежливых, но чрезвычайно настойчивых напоминаний генерального штаба капитана Веригина об исчезнувшем невесть куда 119-м пехотном Коломенском полку. Обстановка позволяла более не играть втемную, поскольку, по его мнению, все шло в соответствии с диспозицией.

— Отдайте Шаховскому коломенцев,— сказал он Шнитникову, в бессчетный раз передающему просьбу прилипчивого капитана.— Теперь, я думаю, пора. Пошлите известить князя, что обещанный ему резерв выступил в его распоряжение, а этому...— он поискал обидное слово для определения въедливой настойчивости капитана Веригина, не нашел и рассердился.— Велите тут ждать, и пусть ведет полк, куда хочет!

За коломенцами, терпеливо стоявшими походным биваком в лощине, поскакал капитан Биргер. Он доложил командиру полка полковнику барону фон Гейнике, что полку приказано срочно поступить в распоряжение князя Шаховского. Полковник без промедления приказал играть поход и выступил с первыми батальонами, не дожидаясь обозов и тылов. И кто знает, может быть, даже эта, изо всех сил затянутая помощь и сыграла бы в конечном счете роль в битве за Плевну, если бы не еще одно звено в той сложной и запутанной цепи обстоятельств, в результате которых Россия, по словам Шаховского, еще раз умылась кровью.

Криденер по-прежнему пребывал на высоте возле деревни Гривицы, но за боем уже не наблюдал, обеспокоенный неудачными атаками Гривицкого редута, который он с упорством фанатика считал ключом всех плевненских укреплений. Генерал-лейтенант Вельяминов слал раз за разом все более отчаянные донесения о том, что турки оказывают бешеное сопротивление, и спрашивал, не пора ли бросить в дело общий резерв. Резервов Вельяминову барон не давал, приказав всем посыльным отвечать одно и то же:

— Атаковать и взять редут.

Вельяминов беспрестанно атаковал, от Шаховского никаких сведений не поступало, Скобелева вообще никто в расчет не принимал, и Николай Павлович, притомившись, чаще сидел в складном кресле, предоставив наблюдение за общим ходом битвы своему штабу. Хотя он и был весьма огорчен неудачей Вельяминова, но продолжал твердо верить, что все пока идет так, как он и предполагал, и остается лишь ждать, когда наконец турки дрогнут, сдадут укрепление и покатятся к Плевне под фланговый удар Шаховского. И он ждал, полузакрыв глаза и прикидывая, куда может устремиться Осман-паша, когда Вельяминов собьет его с

Гривицких высот. Растерянный возглас генерального штаба подполковника Мациевского вывел его из состояния приятной истомы:

— Шаховской заходит правым плечом! Смотрите, господа, смотрите, что он делает!

Криденер вскочил с неподобающей его осанке, чину и темпераменту быстротой. Схватив услужливо протянутый бинокль, сквозь пороховые дымы и пыль разглядел темные массы войск, четко, как на маневрах, менявших фронт атаки под огнем противника.

— Что он, с ума, что ли, сошел? — сквозь зубы процедил он.— Менять диспозицию во время решающей фазы сражения...

— Он удаляется от войск Вельяминова,— сказал стоявший рядом Шнитников.— Обратите внимание, Николай Павлович, на это захождение правым плечом: образуется брешь, в которую немедленно ринутся турки.

— Козлов! — окликнул Криденер своего адъютанта.— Немедленно перехватите Коломенский полк и заткните им дыру, которую создал Шаховской. Немедленно!

Князь Алексей Иванович своевременно получил известие, что в его распоряжение идут коломенцы. Захождение продолжалось, хотя все турецкие батареи, сосредоточенные поблизости, обрушили на его войска убийственный огонь и убыль была велика. Но Шаховской не терял уверенности в победе, в расчете на подходивший резерв бросив на подкрепление поредевших колонн все свои наличные силы. И послал записку Скобелеву:

«Коломенцы идут. Верю, что с их и Божьей помощью доведу дело до конца. Держись, пособи пушками, сколь можешь, и — до встречи в Плевне!»

Скобелев читал эту записку, когда рядом разорвался снаряд. Осколки просвистели мимо, в двух местах прорвав распахнутый сюртук, комья земли больно ударили в грудь, горячая, удушливая волна сшибла генерала с падающего жеребца. Он сразу же вскочил на ноги, глянул на бившуюся в судорогах лошадь, достал револьвер и выстрелил ей в ухо, разом обрывая мучения.

— Коня!

— Целы, Михаил Дмитриевич? — испуганно спросил Млынов.

— Коня! — гаркнул Скобелев.— Живо!

Он отер грязное, в пороховой копоти и лошадиной крови лицо полой сюртука, вспомнил, что фуражку унесло взрывом, и оглянулся, ища, куда же ее занесло. Фуражки он так и не обнаружил, но близко заметил позицию, откуда вели

огонь две пушки. Артиллеристы сноровисто и привычно работали, выравнивая орудия после каждого выстрела, а кто-то худощавый, быстро проверяя прицелы, подавал отрывистые команды. Тяжко подскакивая, орудия извергали огонь и грохот, и все повторялось сначала. «А, мастеровой...— с натугой припомнил Скобелев встречу с батареей на дороге.— Мундир бережет. Как его?.. Васильков, что ли?..»

— Молодцы, артиллеристы! — крикнул он, направляясь к ним.— Не холодно тебе без мундира, Васильков?

— Не простужусь,— отозвался штабс-капитан: он весь был там, в прицелах, в орудиях, в смертельной дуэли с вражеской батареей.— Спокойней наводи, Воронков, спокойней. Заметил, откуда били?

— Точно так, ваш-бродь!

— Пли, Воронков!

Тяжело ухнуло орудие, и Васильков вместе с артиллеристами кинулся устанавливать его на место, тут же, еще в движении, торопясь выровнять прицел.

— Попали, ваше благородие, попали! — радостно заорал чумазый артиллерист.— Ну, господин унтер, быть тебе с крестом: глаз — ватерпас, знай наших!

— Еще раз по тому же месту! — крикнул Скобелев.— Бейте их, ребята, крестов не пожалею!

— Вместо советов лучше о зарядах побеспокойтесь,— не оглядываясь, огрызнулся командир.— Я последние запасы расстреливаю, скоро одна картечь останется.

— Это — генерал...— испуганно прошептал наводчик.

— Голубенко, наводи второе по разрыву,— строго приказал артиллерист и только после этого повернулся.— Виноват, ваше превосходительство, во время работы я на оглядку время не трачу, а советов вообще не терплю. Так что лучше потом взыщите, а сейчас не мешайте. Голубенко, сукин сын, влево заваливаешь!

— Потом взыщу,— согласился Скобелев.— Снарядов, говоришь, мало? Работай, капитан, снаряды будут.

Он тут же отошел от батареи, не только не обидевшись, а, наоборот, почти обрадовавшись грубоватой прямоте замурзанного штабс-капитана в изодранной нижней рубахе. Скобелев, при всей своей непоседливости и кажущейся безалаберности, любил и ценил прежде всего мастерство, достигаемое изнурительным, каждодневным неустанным трудом. Результаты труда он видел на позиции в четкой работе артиллеристов, в их немногословии, в жарком желании боя и дружной, общей радости от тех маленьких побед, что выпадали на их долю. «Мастеровой,— еще раз с уважением

подумал он.— Мне бы таких мастеровых тысяч двадцать — я бы через месяц коня в Босфоре купал...»

Он тут же нещадно разнес Тутолмина за казаков, обязанных обеспечивать позиции снарядами, озабоченно переговорил с Паренсовым, почему до сей поры не атакует Лашкарев, наспех выпил полкружки водки у кубанцев и, вскочив на приведенную Млыновым запасную белую лошадь, вновь помчался вдоль залегающей цепи, радуя солдат и выводя из себя турецких стрелков. Они били по белому генералу прицельными залпами, а он, гарцуя под пулями, и впрямь казался заговоренным. дыры в одежде он всегда считал после боя. А Лашкарев почему-то не атаковал, Коломенский полк не появлялся, и князь Шаховской уже с трудом, с крайним напряжением сил выдерживал прежний темп наступления.

4

— Русские бросили в брешь между колоннами свежие силы,— доложил Тахир-паша.

— Глупцы,— усмехнулся турецкий командующий.— Вот уж истинно: если Аллах решил кого-то наказать, он начинает с головы. Снимите резервы с Гривицких высот: русские там выдохлись, пусть себе врываются в редут, на дальнейшее у них уже не будет сил. Все таборы — против Зеленых гор. Бейте белого генерала, пока он не выронит ключей от Плевны.

Случилось так то ли в силу обстоятельств, то ли потому, что Михаил Дмитриевич, чувствуя, что вот-вот затопчется на месте Шаховской, решил немедленно помочь ему,— но только и скобелевцы, и аскеры Османа-паши начали атаку одновременно. Штыковой бой развернулся на топких берегах Зеленогорского ручья: противники то переходили его, то пятились, то дрались прямо в воде, и ручей на много верст вниз нес горячую человеческую кровь. Скобелев приказал полковнику Паренсову водрузить знамя на зарядный ящик, оставил в его охранении наспех собранный из легкораненых взвод и велел Петру Дмитриевичу в случае прорыва турок лично взорвать знамя. Он бросил в бой все, что у него было, вплоть до обозников, тыловых служб и музыкантов. Спешенные казаки Тутолмина дрались в одной цепи с солдатами, оставив коней не только без прикрытия, но и без коноводов; только осетины, затаившись за обратным скатом высоты, стояли в конном строю. Это был единственный резерв Скобелева, его единственная ударная сила и

единственный шанс прикрыть артиллерию и отступление, если турки выдержат штыковой удар и перехватят инициативу.

— Смотри сам, князь, когда ударить,— сказал он подъесаулу Джагаеву.— Не промахнись: мне некогда приказывать будет.

— Ударю, ваше превосходительство,— сказал молодой осетин.— Не беспокойся, пожалуйста: мы умеем ждать.

Турецкие пушки упорно громили жалкую скобелевскую артиллерию. Донская батарея полковника Власова вскоре практически примолкла, отвечая на обстрел лишь одним орудием: три прямых попадания вывели из строя батарейцев. Лишь штабс-капитан Васильков еще огрызался, но всего двумя орудиями из четырех. Как раз в том месте, где располагалась его батарея, куряне подались назад, и двойная турецкая цепь сверкала штыками в двадцати саженях от орудийных стволов.

Скобелев метался по всему фронту, появляясь в наиболее горячих местах, подбадривая солдат не столько криком — в хрипе сотен глоток, лязге оружия, стонах раненых, стрельбе и орудийном грохоте любой крик тонул, как в пучине,— сколько самим своим появлением: белый всадник на белом коне скакал под пулями, словно сам бог войны и победы. И солдаты, видя своего генерала в самом пекле боя, верили, что нет сил, способных их в этом бою сломить.

Но турки продолжали нажим: свежие таборы выкатывались из-за виноградников, сменяя расстроенные рукопашным боем цепи, и перед потерявшими счет времени русскими то и дело возникали новые враги. Уже солдатские рубахи и кубанские черкески были мокры от пота и крови, уже нестерпимой болью ломило усталые плечи, уже подрагивали колени, а пересохшие рты жадно хватали пропитанный пороховой гарью воздух, а бой все тянулся и тянулся, и не было видно конца.

Штабс-капитан Васильков, в некогда белой, а теперь черной от грязи и копоти нижней рубахе, работал и за прислугу и за наводчиков при двух орудиях, поочередно бросаясь то к одному, то к другому. Эти-то две пушки и вели редкий, но точный огонь по турецким батареям, отвлекая их на себя: два других орудия молчали, грозно уставив черные дыры стволов на атакующие турецкие цепи. Скобелев подскакал, когда Васильков с тремя артиллеристами, хрипя от натуги, выкатывал на позицию сбитую вражеским снарядом пушку. Спрыгнув с коня, навалился плечом.

— Снаряды тебе доставили?

— Мерси, генерал...— прохрипел Васильков.

— Турки в двадцати саженях. Тебе что, глаза запорошило? Не дай Бог, ворвутся на позицию: банниками отбиваться будешь?

— Ворвутся — картечью отброшу. У меня два орудия наготове.

— А чего же сейчас не стреляешь?

— Некому стрелять: я тут — сам пятый. Дай Бог, еще хоть парочку турецких пушечек развалить.

— Ну, гляди сам. Пушки туркам не отдай.

— Живым не отдам. А с мертвого взятки гладки.

— Спасибо, солдат!

Это была высшая похвала в устах Скобелева: выше любого ордена, чина и награды. Об этом знали все, даже только что прибывшие: солдатская молва стоустно несла восторженные легенды о генерале на белом коне. И офицер, хоть однажды названный Скобелевым солдатом, помнил об этом всю жизнь, с гордостью рассказывая о величайшей чести внукам и правнукам.

Слабенький фронт русских, еще не растеряв моральной упругости, уже гнулся, а кое-где и пятился под неослабевающим напором аскеров. Особенно заметно начало осаживать левое крыло: правда, осаживать без разрывов, сохраняя чувство плеча и не поддаваясь панике. Заметив это, Скобелев метнулся туда, перескакивая через ползущих вверх, к хребту, раненых.

— Держись, ребята! — изо всех сил кричал он, пришпоривая коня.— Держись, иду!..

Он не проскакал и половины пути, когда из-за склона на бешеном аллюре в полном зловещем молчании вылетели осетины. Солнце играло на стали занесенных для удара бесценных кавказских клинков, лошади, хрипя, мчались наметом через изрытое, истоптанное, залитое кровью и заваленное убитыми и ранеными поле, и турки, потеснившие левый фланг русских, не успели развернуться, чтобы встретить атакующую конницу дружным частоколом штыков: князь Джагаев вовремя нанес удар. И началось самое страшное, что только возможно в бою: рубка пехоты со спины. Шашки сверкали в воздухе, опускаясь на головы, плечи, руки; лошади, обезумев от скачки и крови, зубами рвали аскеров.

Сабельный удар осетин был столь внезапен, столь стремителен и жесток, что турки побежали сразу. Побежали не только те, на кого обрушился этот страшный удар — тем бежать уже было поздно,— бежали все, к кому приближалась эта сверкающая сталью беспощадная волна. Бежали,

сея панику, бросая оружие, топча раненых, из последних сил стремясь наверх, под защиту виноградников и первых домов плевненских предместий. Осетины метеором промчались вдоль всего фронта, опрокинули его и, развернувшись, умело и быстро исчезли за скатом высоты, оставив после себя страшные следы внезапной кавалерийской атаки.

— Вперед! — закричал майор Дембровский.— Сейчас вышибем их...

— Нет,— тяжело вздохнул Скобелев, ощутив странную, давящую боль в груди.— Там не удержимся. Отводи солдат на гребень. Пусть передохнут, воды напьются. У них же сил нет. И у меня тоже...

Турки еще не успели опомниться, и Тутолмин с Дембровским спокойно отвели своих на гребень Зеленых гор, где они и залегли. При отходе забрали всех раненых: зная, что Скобелев никогда и никому не прощает такой забывчивости в бою, Тутолмин лично — уже под турецкими пулями — дважды проскакал вдоль ручья, приглядываясь, не забыли ли кого сгоряча, и только после этого доложил генералу об успешном отходе.

— Раненых подобрали всех, Михаил Дмитриевич. Проверил лично.

— Хорошо. Держите гребень до последнего, хоть зубами. Я — к Шаховскому: кажется, он ломит уже по инерции, а ее надолго не хватит.

Скобелев сидел на бурке. После двух добрых глотков коньяку боль отпустила, но он чувствовал непривычную слабость во всем теле и противный липкий пот на лбу. Он впервые испытал ощущение полного бессилия, и оно не пугало, а лишь раздражало его. Пугало другое: Лашкарев до сей поры ни разу не попытался атаковать Плевну, хотя не мог не понимать, что сейчас самое подходящее время. Михаил Дмитриевич послал к нему три разъезда с письменным напоминанием о личной просьбе, устно изложенной еще утром есаулом Десаевым. Один разъезд вернулся, не сумев прорваться сквозь черкесские заставы, а два как в воду канули. Но главным сейчас был все-таки Шаховской: Скобелев видел, как выдыхается его наступление, и до сей поры не знал, получил ли князь Коломенский полк, а если получил, то почему не вводит в дело.

Он упорно продолжал верить в победу. Даже если Лашкарев по какой-либо причине так и не ударит туркам в спину, свежий Коломенский полк и еще одно усилие войск Шаховского заставило бы Османа-пашу вновь перетасовать свои таборы, бросить их против свежих коломенцев, и тогда — Скобелев был твердо убежден в этом — его малень-

кий, прошедший тяжкое испытание и уверовавший в свои силы отряд пройдет эти три сотни саженей под огнем, ворвется в предместье, сомнет турок и на их плечах вкатится в город. А там вцепится насмерть в окраинные дома, и Криденеру ничего не останется, как только форсированным маршем ввести все, что успеет собрать, в уже сорванную с петель дверь Плевны. Это был последний, но вполне реальный шанс, и Скобелев, не дав себе ни секунды отдыха, вскочил на коня и помчался к Шаховскому сам, потому что никакой его порученец — даже полковник Паренсов — не мог сделать того, на что он еще надеялся: последним резервом было его личное обаяние.

Князь Шаховской совсем утонул в кресле в тени орехового дерева. Лицо его отекло, дряблые мешки обозначились под безмерно усталыми, тусклыми глазами, и даже усы уныло обвисли, скрывая горькие складки губ. Увидев подскакавшего Скобелева, он тяжело посмотрел на него из-под хмуро нависших бровей и сказал по-солдатски:

— Продали нас, Миша, генералы.

Скобелев соскочил с коня, отдал повод сопровождавшему его Млынову.

— Где Коломенский полк?

— Так и не дошел. Криденер его в дырку между мной и Вельяминовым сунул прямо с марша. Весь бой тришкин кафтан латал, сволочь.

— А вы? — тихо спросил Скобелев, чувствуя, как к сердцу вновь подступает боль, а в горле клокочет с огромным трудом сдерживаемое бешенство.— Вы в креслах дремлете?

— Я бросил в цепь все, что у меня было, до последнего солдата,— Шаховской говорил горько и устало: у него уже недоставало сил замечать скобелевское истеричное напряжение.— Полковник Саранчев убит, майоры Зерцалов и Черневский — это в одном только 126-м Рыльском полку,— он тяжело вздохнул.— Дело проиграно, Скобелев. Я приказал выводить войска из боя.

— Дело не проиграно,— от боли и душившего его гнева Михаил Дмитриевич говорил почти шепотом.— Дело не проиграно, пока мы с вами, князь, верим в победу. И мы вырвем ее. Вырвем, Алексей Иванович! Мне осталось триста сажен до Плевны. Триста сажен всего, один бросок. Я кровью там каждый аршин полил, солдатской кровью, а вы мне отступить предлагаете?— Он помолчал, ладонями крепко потер вдруг покрывшееся потом лицо, слипшиеся грязные бакенбарды. Сказал с мольбой: — Князь, я прошу вас. Я умоляю вас, князь, отдайте приказ на еще один, последний штурм. Мы ворвемся в Плевну, всеми святыми клянусь вам, ворвемся!

Шаховской грустно усмехнулся, медленно покачав седой головой.

— Нет, Михаил Дмитриевич, не обессудь, слишком уж это по-гусарски. Выдохлись мы весь день ступу эту кровавую толочь, понимаешь? Выдохлись, и духу победного более нету в запасах.

— У меня солдаты шестой час на Зеленых горах мрут, а вы духу набраться не можете? — уже не сдерживаясь, бешено выкрикнул Скобелев.— Нет духу, так в отставку подавайте, место тем уступите, у кого духу на весь бой хватает! Я же верил в вас, как в отца верил, а вы... Какого черта вы боитесь? Гнева государева? Вы Божьего гнева побойтесь, что напрасно солдат загубили. Вы себя...

— Молчать! — гаркнул, поднимаясь, Шаховской.— Как смеешь голос повышать, мальчишка? У меня седина...

— Седина — еще не старость,— сдерживаясь, тихо сказал Скобелев.— Старость — это когда веру в себя теряешь, когда тряпка вместо... характера. Вот тогда — все, тогда — в монастырь, грехи замаливать. Что вам, ваше сиятельство, и рекомендую.

Он резко кивнул, звякнул шпорами, почти не коснувшись стремян, влетел в седло и с места взял в карьер. Не оглядывался более и не видел, как затрясся вдруг Алексей Иванович и как испуганно бросился к нему Бискупский, доселе безмолвно присутствовавший при встрече.

— Вам плохо, ваше сиятельство?

— Каков стервец! — прошептал князь, смахивая слезы.— Жаль, не мой сын, очень жаль. Выдрал бы я его как сидорову козу, а потом расцеловал бы в обе щеки...

Скобелев скакал, не разбирая дороги, и Млынов едва поспевал за ним. Он считал, что генерал спешит к отряду, чтобы еще до темноты начать планомерный отход: это логично вытекало из того разговора, свидетелем которого Млынов невольно оказался. Но Скобелев и тут остался человеком неожиданных поступков, предусмотреть которые не мог даже отлично изучивший его адъютант. Он вдруг на скаку остановил коня, слетел с седла, обеими руками с силой ударил себя в грудь и ничком упал на землю. Он катался по траве, грыз ее, бил по земле кулаками и рыдал — громко, зло, взахлеб, содрогаясь всем телом от терзающей его муки. Млынов спрыгнул с коня:

— Михаил Дмитриевич, Михаил Дмитриевич!..

— Подлец я. Подлец!..— Скобелев повернул к адъютанту мокрое от слез, все в грязи, в травяной зелени лицо.— Я солдат обманул, Млынов. Они с песней... С песней на смерть шли, потому что верили в меня. А я? Я?.. Заманил

и оставил без помощи? Как я в глаза им теперь погляжу, как? Я не имею права командовать ими, Млынов!..

Он снова уткнулся лицом в землю, плечи его судорожно задрожали. Млынов снял с ремня фляжку, отвинтил пробку, силой поднял с земли голову Скобелева.

— Глотните. Глотните, говорю. И в себя придите: слава Богу, нет вокруг ни души. Ну?

Он насильно заставил генерала сделать глоток, усадил. Стал напротив на колени, взял за руки, встряхнул.

— Ну, хватит убиваться. Будет, поплакали.

— Ох, Млынов, Млынов...— Скобелев тяжело вздохнул, ладонями долго тер лицо, размазывая по бороде и бакенбардам слезы и грязь.— Что же теперь делать-то мне, Млынов, что?

— Отдать приказ об отступлении.

— Вот и отдавай. Скачи к Паренсову, путь отводит людей. Поиграли в войну, и будя. А я тут посижу. Ну, что смотришь? Не бойся, не застрелюсь.— Он вдруг потряс кулаком в сторону далекой криденеровской ставки.— Не дождутся они этого от Скобелева, мать их...

Млынов секунду сидел неподвижно, точно уясняя сказанное. Потом встал, вытянулся.

— Там, на хребте, до сей поры умирают. И будут умирать, пока вы лично им не объясните, что отступать надо. Все полягут, вас дожидаючись.— Он помолчал и вдруг крикнул резким, звенящим голосом: — Встать, генерал Скобелев! Уж коли признаете, что заманули, то хоть тех спасите, что живы покуда!

Темнело; бой замирал. Он не прекратился сразу по решению полководца, понявшего, что сражение проиграно и что не следует зря губить людей. Криденер устранился от такого решения, предоставив командирам отрядов самим брать на себя ответственность. Первым это сделал Шаховской: его отряд отходил поэтапно и в полном порядке, огрызаясь залпами и заботясь о раненых. Но потрепанные затяжным штурмом войска Вельяминова ворвались-таки в Гривицкий редут да так и завязли там, потому что сил уже не было. Там еще отстреливались, дожидаясь темноты, чтобы под покровом ее отступить из залитого кровью никому не нужного редута. Постреливали лениво, скорее обозначая свое присутствие, чем стремясь нанести противнику урон.

Активный огневой бой продолжался только на левом, скобелевском фланге. Засевшие на последней перед Плевной высотке турки более не рисковали атаковать, хорошо запомнив беспощадный удар осетин, но беспрерывно вели сильный ружейный и артиллерийский обстрел третьего

гребня Зеленых гор, где закрепились остатки скобелевского отряда.

Скобелев прискакал туда уже в сумерках. Не останавливаясь, выехал из кустов на скат и шагом проехал вдоль всей линии. Белая лошадь и белая фигура хорошо были видны как своим, так и туркам: пули свистели вокруг, но генерал не обращал на них внимания.

— Солдаты! — громко крикнул он.— Товарищи мои боевые, братья мои! Велика ваша отвага, тяжелы ваши жертвы, беспримерно мужество ваше! Низко кланяюсь и от всего сердца благодарю вас за это.

Турки не слышали, о чем кричит «Ак-паша»: расстояние было велико. И тем не менее по чьему-то приказу и стрелки и артиллеристы прекратили огонь: даже враг уважал бесстрашие русского генерала.

— Вы славно потрудились сегодня,— продолжал Скобелев, шагом разъезжая вдоль цепи.— Мы не добились того, чего хотели, за что умирали наши товарищи не по своей вине. Сражение наше проиграно, резервов более нет, а потому...— он гулко сглотнул подступивший к горлу комок,— посему приказываю отступить. Отступить неторопливо, сохраняя порядок и воинское достоинство, и не позабыть при этом о раненых. Предупреждаю господ офицеров: если мне станет известно хоть об одном оставленном тут раненом, я предам его командира суду! Полковник Паренсов, полковник Тутолмин, полковник Кухаренко — ко мне! — Он спрыгнул с седла.— Возьмите коня. И знайте, что ваши командиры покидают поле боя последними.

В кустах раздался шум, негромкие команды, людской говор. Какой-то казак принял у Скобелева лошадь и увел ее, а к генералу подошли его полковники.

— Вот и кончилось все,— невесело усмехнулся Скобелев.— Сами знаете, кого благодарить.

— Не стоит так уж отчаиваться, Михаил Дмитриевич,— тихо сказал Паренсов.— Солдат-то каков, оценили? Отважный, инициативный, упорный...

— А мы их — в землю, в землю! — резко перебил Скобелев.— Щедра держава наша на солдатскую кровь. Чересчур щедра. У тебя есть водка, Кухаренко?

— Найдем,— полковник прошел к кустам.— Станичники, у кого фляга не с водой? — вернулся, протянул генералу.— А с чем принес, не знаю.

— Вино,— Скобелев отхлебнул.— Местное, красное. Как оно?

— Не знаю, как называется, а только после этой войны оно еще краснее будет,— проворчал Тутолмин, принимая фляжку.— Глотнете, Петр Дмитриевич?

— Не откажусь, в горле пересохло,— Паренсов пригубил, отдал фляжку Кухаренко.— А турки не стреляют. Пойдем, что ли, Михаил Дмитриевич?

Командиры неторопливо шли позади отступающих частей. Шли молча и от усталости и от дум. Топот, голоса, звон оружия постепенно удалялись, спускаясь ко второму, а затем поднимаясь и на первый гребень Зеленых гор. За обратным скатом стояли казачьи лошади; на них переложили раненых и грузы, и отступающие сразу ускорили шаг. Но Скобелев продолжал идти прежним неспешным темпом.

— Как бы нас черкесы не нагнали,— обеспокоенно сказал Паренсов.

— Осетин поопасуются,— усмехнулся Тутолмин.— Они им сегодня хорошую баньку устроили, не скоро забудут.

— А где осетины? — отрывисто спросил генерал.

— Стоят, где стояли,— ответил Тутолмин.— Я через час им отходить велел.

Скобелев хотел что-то сказать, но впереди, в низине, послышались голоса, лошадиный храп, надсадный голос: «Раз-два... взяли!», и он невольно ускорил шаг. А пройдя поворот, в густых уже сумерках увидел медленно двигавшуюся батарею: четыре орудия следовали друг за другом.

— Почему отстали?

— Нагоняем,— ответил хриплый, сорванный голос.— Орудие провалилось, спасибо, казаки помогли.

Скобелев сразу узнал в говорившем командира батареи штабс-капитана Василькова: на сей раз он был в форме. «Закончил работу»,— усмехнулся про себя генерал, но не сказал этого: на лафетах, передках, зарядных ящиках — всюду лежали люди.

— Почему раненых казакам не отдали? — строго спросил он.— Ползете еле-еле, а их — трясет.

— Им уж все равно,— тихо ответил Васильков.— То не раненые, ваше превосходительство, то убитые.

— Значит, и убитых вывозишь?

— Убитый — тоже солдат.

— Тоже солдат,— эхом откликнулся генерал.— Веди батарею, капитан, мы позади пойдем.

Без помех они добрались до исходных позиций, до деревни Богот, откуда в предрассветном тумане утром этого дня уходили в бой. Скобелев сразу же ушел к себе, умылся, отказался от ужина, лично написал боевое донесение и памятную записку Паренсову с просьбой не позабыть при представлении к наградам есаула Десаева, подъесаула князя Джагаева, хорунжего Прищепу и штабс-капитана Василькова. Написав эту фамилию, подумал и сказал Млынову:

— Точно узнай, из какой артбригады была сегодня батарея и где нам ее искать...— он помолчал.— Коли когда-нибудь воевать надумаем.

Потом подумал, походил, снова сел к столу и написал еще одну, уже личную, записку полковнику Паренсову:

«Дорогой Петр Дмитриевич! Спасибо тебе великое за труды и советы: работать с тобою мне было весьма отрадно. Черновик донесения найдешь на столе; там же — список офицеров, коих считаю необходимым представить за сегодняшнее дело. Приношу извинения, что лично не попрощался: сил нет и на душе кошки скребут. При случае скажи барону, что генерал Скобелев-второй заболел и отныне числит себя в резерве...»

Затем молча наскоро перекусил, приказал приготовить пару для дальней поездки, собрал походные чемоданы и, ни с кем не попрощавшись, глубокой ночью выехал вместе с Млыновым неизвестно куда...

Глава пятая

1

Утром следующего дня в болгарском городке Бела император Александр II на свежем воздухе пил кофе с другом детства графом Адлербергом. Сообщений о результатах сражения еще не поступало, но государь был мрачен, и разговор не клеился. Свита скованно перешептывалась, и только Адлерберг что-то говорил о победах Летучего отряда Гурко и о дальновидности цесаревича Александра Александровича, командовавшего Рущукским отрядом.

— Его энергия и распорядительность достойны всяческого восхищения, ваше величество. Вот уж воистину он — державный сын державного отца...

— А Бореньке исполнился бы годок с месяцем,— вдруг вздохнул Александр.— А прожил, промучился всего-то сорок два денька. Бог мой, как несправедлива порою бывает судьба, граф.

Боренька Юрьевский был внебрачным сыном Александра, и Адлерберг тактично замолчал, позволив лишь многозначительный, полный горестного сочувствия вздох. Он уже ругал себя, что так некстати помянул о талантах цесаревича, ибо из всех его талантов самым заметным было пристрастие к неумеренным возлияниям. На счастье, показался спешащий к ним дежурный генерал Шелков.

— Безуспешно, ваше величество,— тихо сказал он, протягивая депешу.

— Опять! — Александр огорченно развел руками.— Каковы подробности?

— Подробностей в депеше нет. Для личного доклада вашему величеству сюда выехал его высочество главнокомандующий со штабом.

— А князь Имеретинский?

— О светлейшем князе Имеретинском в депеше не указано, ваше величество.

— Хорошо, ступай.— Александр встал, рукавом зацепив чашку, Адлерберг едва поймал ее на краю стола.— Я хочу обдумать положение. Как только прибудет мой брат или князь Александр, немедля проведите их ко мне.— Он пошел к дому, на ходу обернулся, нацелив палец в Адлерберга: — Это — роковой день, граф. Роковой.— Он подумал.— Тотчас же сообщи депешей в Царское Село Ребиндеру, чтобы он возложил на могилку Бореньке белые розы и распорядился каждое утро отсылать генералу Рылееву фрукты с моего личного стола.

Загадочность этого первого распоряжения императора по получению им сообщения о втором плевненском разгроме может быть объяснена только полной растерянностью Александра II, поскольку никакой логики здесь усмотреть невозможно. Логика появилась лишь тогда, когда в Белу прискакал шатающийся от усталости и бессонной ночи светлейший князь Александр Константинович Имеретинский.

Как было велено, он вошел без доклада и остался у дверей, чтобы отдышаться, собраться с мыслями, а заодно и понять, что происходит в приемной императора. Он увидел бледного Криденера, замершего у стены; трясущегося, донельзя растерянного Непокойчицкого; Левицкого, суетливо теребившего раскрытый портфель с какими-то бумагами, и самого государя, молча сидевшего в кресле у стола и безотрывно, непонимающе глядевшего в карту. А по приемной метался великий князь главнокомандующий, выкрикивая отдельные, большей частью бессвязные фразы:

— Он стар, стар, стар и бездеятелен! Это не начальник штаба, это — развалина. Рамоли! Он подтвердил цифири Криденера, взятые с потолка. Откуда они, откуда, Криденер? Кто ответит? Кто ответит государю, я спрашиваю? Кто позволил Шаховскому изменить диспозицию? Где он? Сказался больным, старая лиса? Он разорвал единую боевую линию, он повинен в нашей неудаче! Он...

Тут Николай Николаевич столкнулся глазами с Имеретинским и замолчал. Замолчал вдруг, гулко сглотнув окончание фразы. Потом беспомощно развел руками.

— Вот светлейший. Вот ваши глаза и уши, брат мой. Пусть доложит, что видел.

— Всю правду,— тихо сказал Александр, не поднимая глаз.— Всю правду, невзирая на лица.

— Его высочество главнокомандующий неверно определил результат вчерашнего сражения,— негромко сказал Имеретинский.— Он назвал его неудачей, а это — поражение, государь. Это разгром, вследствие которого, по предварительным подсчетам, мы потеряли не менее восьми тысяч.

— Всю правду,— вздохнув, повторил император.— Все кричат о дурно проведенной подготовке, о каких-то захождениях и перестроениях, а я хочу знать причины, а не следствия.

— Главная причина, государь, заключена в полной бездеятельности барона Криденера с самого начала сражения,— спокойно начал князь Имеретинский.— Командующий штурмом не только ничего не делал сам, но всячески мешал командирам подчиненных ему отрядов проявлять какую бы то ни было деятельность.

— Ваше величество, позвольте задать один вопрос светлейшему князю Имеретинскому,— сдавленным голосом сказал Криденер.— Где вы были во время боя, Александр Константинович? Я ни разу не видел вас.

— Простите, государь, задета моя честь,— тихо сказал Имеретинский и неторопливо расстегнул мундир, обнажив левое плечо со свежей, но уже пропитанной кровью повязкой.— Я был там, где в лучшем случае получают пули, барон. Я был в Гривицком редуте, в войсках Вельяминова, которые вы бросили на верную погибель,— он столь же неторопливо застегнулся на все пуговицы.— А теперь позвольте спросить вас, генерал Криденер. Почему вы прятали от князя Шаховского 119-й Коломенский полк? С какой целью вы ввели его в заблуждение, сообщив через личного порученца, что коломенцы идут к нему, а сами тут же отправили этот злосчастный полк затыкать никому не нужную оперативную пустоту? Почему вы не отдали кавалейской дивизии Лашкарева ни одного приказа об активизации действий, хотя не могли не знать, что отряд генерала Скобелева истекает кровью в предместьях Плевны?

— В предместьях? — точно вдруг проснувшись, удивленно спросил император.— Мы ворвались в предместья?

— Да, государь, Скобелев пробился к предместьям, опираясь лишь на личный талант и собственную отвагу, и Шаховской, сколько только мог, помогал ему в этом. И если бы генерал Криденер с самого начала не решил, что ему куда выгоднее проиграть битву, чем помочь Скобелеву, я имел бы сегодня высокую честь встречать ваше величество

в Плевне! Мне со слезами рассказал об этой неприличной интриге — извините, государь, я не нахожу иного слова — князь Алексей Иванович. В связи с этим я и опоздал к докладу, за что и прошу вашего прощения.

Спокойствие оставило князя Имеретинского: слова, адресованные Криденеру, он произнес с такой горячностью и страстью, что все подавленно молчали. Первым заговорил Александр.

— Я не слышал мнения начальника штаба.

Это прозвучало почти вызовом. После истерических криков Николая Николаевича («Рамоли!») император как бы заново утверждал старого генерала в прежней высокой должности.

— Светлейший князь Александр Константинович абсолютно прав в своей оценке деятельности командования в этом сражении. Но важно другое. Позволю себе настаивать на быстрейшей переброске IV корпуса генерала Золова,— Непокойчицкий говорил очень тихо, но все его слышали.— А так же...— он помолчал.— Я умоляю ваше величество сегодня же принять мою отставку.

— Нет,— Александр решительно поднял руку.— Дело, дело, сначала — дело. Я жду совета, генерал.

— Необходимо начать переброску гвардии на этот театр военных действий,— тяжело вздохнул Непокойчицкий.— Я не вижу иного выхода: мы рискуем единственной переправой.

— Да, ты прав. Я разрешаю вытребовать сюда часть моей гвардии.

— Слава Богу! — главнокомандующий широко перекрестился, прошел к дверям и велел позвать дежурного генерала. Пока его искали, князь Имеретинский вновь попросил разрешения обратиться.

— Все, мною сказанное, будет изложено вам, государь, в письменной форме. После чего я осмеливаюсь просить ваше величество об особой милости.

— Ты заслужил ее,— важно сказал Александр.

— Поскольку в присутствии государя мне, светлейшему князю Имеретинскому, было выказано сомнение в моей деятельности, я прошу ваше величество доверить мне командование боевой частью.

— В гвардии?

— Гвардия прибудет не так скоро, государь. А я хотел бы принять участие в следующем штурме Плевны.

— Ты думаешь, нам следует еще раз штурмовать?

— Я тоже так думаю, ваше величество,— тихо сказал Непокойчицкий.— Осман-паша слишком опасен. Стал опасен после нашего поражения.

— Все это следует тщательно обдумать,— Александр милостиво улыбнулся Имеретинскому.— Мне жаль расставаться с тобою, князь, но я понимаю тебя. У нас есть вакансия в дивизиях?

— Вторая пехотная...— Левицкий так спешил подсказать, что чудом удержал на носу очки.

— Назначаю начальником второй пехотной дивизии генерал-майора светлейшего князя Имеретинского. Ступай отдыхать, князь, и готовь подробнейшее письменное донесение.

Имеретинский поклонился и пошел к выходу, но, столкнувшись в дверях с дежурным генералом, задержался. Увидев Шелкова, главнокомандующий шагнул навстречу.

— Срочная депеша начальнику штаба Петербургского округа. Пиши.— Он откашлялся и неожиданно для всех начал диктовать с необыкновенным и столь неуместным сейчас пафосом:

— «Слава Богу! Гвардия с высочайшего государя императора соизволения посылается мне. Распорядиться следует быстро и молодецки, как я это люблю. Гвардейскую легкую дивизию следует приготовить и выслать первою. Гвардейская стрелковая бригада и саперный батальон тоже отправляются. Передай моим молодцам, моему детищу — гвардии, что я жду их с чрезвычайным нетерпением. Я их знаю, и они — меня. Бог поможет, и они не отстанут от моей здешней молодецкой армии». Все. Можешь идти.

— Цветы, цветы,— Александр жестом остановил Шелкова.— Белые розы на могилку Бореньке. И Рылееву — фрукты с моего стола, его супруга очень просила об этом. Напомни еще раз Ребиндеру. Белые розы. Белые. Ступай.

Дежурный, поклонившись, вышел. Генералы молчали. И в этом молчании сквозь распахнутые окна чуть слышно донесся далекий скрип множества тележных колес. Александр поднял голову, прислушиваясь.

— Что это скрипит?

— Обозы, ваше величество,— торопливо объяснил Левицкий.— Раненные под Плевной следуют этапным порядком...

— Черт бы их побрал, сколько раз повторять, чтобы возили дальней дорогой! — гневно крикнул Николай Николаевич.— Позвольте мне удалиться, брат. Я живо наведу порядок!

Светлейший князь Имеретинский, прикрыв брезгливую улыбку черными, переходящими в бакенбарды усами, сознательно вышел из комнаты первым, оттеснив главнокомандующего плечом, простреленным при штурме никому не нужного Гривицкого редута.

2

По всем дорогам, ведущим от обширного района сражения к Дунайским переправам, тянулись бесконечные обозы. Санитарные фуры, легкие коляски, болгарские повозки, румынские каруцы, скрипучие турецкие арбы и русские телеги — все было до последней возможности заполнено ранеными. Над дорогами висели тучи пыли и мух, тягостный скрип колесных осей, тяжкий топот копыт, стоны, ругань, слезы и проклятья. Ловчинская резня мирного населения и второе поражение русских войск под Плевной поколебали веру в скорую победу, и в санитарные обозы то и дело вклинивались снявшиеся с родных мест группы беженцев с детьми, стариками, скотом и скарбом, уходивших в тыл, к Дунаю, от опасной близости турецких ятаганов. Вся придунайская равнина была заполнена тысячами повозок, медленно ползущих к Свиштову, к единственной ниточке, связывающей окровавленную, горящую, стреляющую и стонущую Болгарию со спокойной, сытой, цветущей Румынией.

А навстречу — куда более стройно и организованно, но тоже бесконечно — шли войска, двигались кавалерийские части, артиллерия, саперы и длинные ленты обозов с продовольствием и фуражом, снарядами и патронами, с военным и санитарным имуществом. Интендантских транспортов не хватало, и среди их четких колонн все чаще встречались теперь мобилизованные в российских губерниях с собственными лошадьми и телегами русские, украинские и молдавские мужики, получавшие плату за прогон, а потому и называвшиеся погонцами. Из этих погонцев формировались обозы под командой отставных офицеров, чиновников, вольноопределяющихся, а то и просто бывалых грамотных крестьян.

— Откуда, братцы?

— Орловские. А вы откудова?

— А мы, борода, плевненские.

— Слыхать, побил вас турка?

— Выходит, покуда побил. Сверни-ка, земляк, цигарку: вишь, руки забинтованы.

Сворачивал погонец цигарку, прикуривал, совал в зубы раненому и бежал к своей подводе. А слух о том, что наших («видимо-невидимо!») побили турки под Плевной, обрастая новыми ужасающими подробностями, полз от телеги к телеге, от обоза к обозу, а потом неведомыми путями устремился вперед, далеко опережая ползущее, охающее, стонущее, истекающее кровью и десятками умиравшее на трясских дорогах русское израненное воинство.

И все это неудержимо катилось вперед. В переполненный раненными в предыдущих боях, обозами, войсками и болгарскими беженцами Свиштов. Атмосфера перенаселенного городка уже насквозь была пропитана взрывчатой смесью неясных слухов: не хватало лишь искры, чтобы все взорвалось, перемешалось, задвигалось, заорало и ринулось к переправам, сметая всех на своем пути. И эта искра — да не одна, а три кряду — сверкнула в наэлектризованном воздухе в половине первого утра.

В это время в Свиштов входила первая партия раненых, следовавшая частью на фурах интендантского транспорта, частью вразброд, на случайных подводах. Раненые пострадали в самом начале сражения, почему и прибыли так скоро, не знали истинного положения дел, но слухи, уже достигшие Свиштова, пронеслись и над их головами.

— Да нам ништо, мы проскочили! — радостно поведал какой-то молоденький солдатик.— А тех, что за нами везли, всех турецкая кавалерия отрезала. Кого порубали, кого в плен увезли — ужасное, сказывают, дело!

— Какая кавалерия? — озадаченно переспросили словоохотливого героя.

— Так погоня же! Наши-то отступили повсюду, ну а турка черкесов вдогон бросил. Видимо-невидимо черкесов. Ужасное дело!

Не успели опомниться от этого страшного известия, не успели переварить его, даже уяснить просто, как на въезде в город действительно показалась колонна в знакомых и болгарам и русским синих мундирах и красных фесках. Сообразить, что это — пехота, что следует она без оружия да еще под конвоем, уже недостало не только времени, но и простого здравого смысла: первую партию пленных, следующую в тыл, восприняли однозначно.

— Турки! Турки входят в Свиштов!

И тут же, еще тогда, когда люди — и жители, и болгары-беженцы, и русские тыловики — попросту метались по улицам, когда паника еще бурлила внутри каждого, не вылившись в единое, всесокрушающее бегство, по городу на неоседланной лошади охлюпкой промчался ошалевший от хмеля казак:

— Турки в городе! Турки! Братцы, спасайся, кто может!

И понесся к переправе, личным примером указывая, куда и как следует спасаться. Это стало последней каплей: паника, обретя материальную форму, взорвалась. К переправе вскачь помчались повозки и всадники, толпой побежали пешие, заковыляли, заползали, закричали брошенные раненые:

— Братцы, не оставляйте! Братцы, туркам не оставляйте! Братцы-и!..

Но братцы — и русские и болгарские — уже ничего не слышали и не понимали. Толкаясь и давя упавших, теряя детей, сталкивая с обрывов женщин и стариков, орущая масса ринулась к понтонам.

Понтонный мост, наведенный с левого, румынского, на правый, болгарский, берег Дуная делился на две равные части: южную — от Болгарии до острова Адды, и северную, более короткую — от острова до Румынии. По южной половине в то время неспешно двигался небольшой обоз погонцев; впереди шла обывательская бричка, в которой сидел длинный, худой вольноопределяющийся, загорелый до черноты, но настолько еще юный, что его можно было скорее принять за мальчика-гимназиста, чем за начальника хотя и нестроевого, но все же состоявшего при армейском интендантстве обоза. Услышав далекие крики на берегу, он сначала привстал в бричке, а потом и вовсе спрыгнул на мост, пытаясь понять, что происходит на болгарской стороне, о чем кричат и куда бегут люди.

Естественно, что первыми достигли моста конные во главе с пьяным казаком, скакавшим охлюпкой и хрипло оравшим что-то уже совсем несусветное. Конников за ним поспешало немного: несколько казаков, то ли увлеченных примером товарища, то ли тоже изрядно хлебнувшись ракии; перепуганные посыльные из тыловых служб; обозники, успевшие распрячь лошадей, но так и не снявшие с них сбруи, да совсем мало верховых болгар. Они влетели на мост, и юноша посторонился, крикнув своим погонцам, чтобы приняли правее и очистили дорогу. Он еще ничего не успел сообразить, но следом за этой наполовину пьяной компанией к мосту валом повалили повозки, люди, ревущие быки, ослы, козы и даже десятка полтора овец, то ли захваченные всеобщим стремлением поскорее попасть в Румынию, то ли дальновидно угнанные кем-то запасливым с соседнего мирного пастбища. Вся эта орущая, мычащая, кричащая и блеющая орава разом вкатилась на первый понтон, мгновенно запрудив его и образовав пробку. Пошли в ход кулаки и дреколье, матерщина и просьбы, проклятия и слезы, а сзади все мощнее напирала толпа. Трещали перила, в воду падали повозки, люди, скотина...

— Разворачивай поперек! — звонким ломающимся голосом скомандовал своим вольноопределяющийся.— Все — поперек! В несколько рядов! Остановить!..

Последние слова он прокричал уже на бегу, бросившись навстречу тем, кто сумел пробиться сквозь пробку, чтобы

хоть немного задержать их, пока погонцы развернут тяжелые телеги поперек узкого моста. Он бежал, раскинув руки, во все горло крича одно слово: «Стой! Стой! Стой!..» Первые еще как-то умудрились ускользнуть от него, оттолкнуть, протиснуться, но из толчеи вырывались все новые и новые: красные от бега и схватки, обезумевшие от ужаса, озверевшие от сопротивления. Мальчика уже не просто отталкивали — его били кулаками, ногами, палками, стремясь сбросить с моста или свалить под ноги напиравшей сзади толпе. И он упал, но сумел подняться, снова загородить дорогу, а его опять сбили, и он бы уже никогда не встал, раздавленный копытами и озверелыми ногами, но к этому мгновению погонцы успели развернуть неуклюжие, груженные мешками многопудовые телеги и все как один бросились к своему командиру. Это были взрослые, кряжистые, а то и седые мужики: кулаки их работали с мужицкой силой, сноровкой и яростью. Они отбросили первый ряд, вырвали вольноопределяющегося из-под ног, но толпа продолжала напирать и напирать, оттесняя их к их же телегам, и уже кто-то из погонцев, в разорванной до пупа рубахе, с разбитым в кровь лицом, зло и нетерпеливо кричал:

— Топоры давай, Микита! Топоры! Порубим всех, мать их в перемать! Порубим!..

Грохнул нестройный, но неожиданный, а потому и отрезвляющий залп. И все вдруг замерло: и напор толпы, и драка, и рев сотен глоток: на поставленных поперек моста телегах стояли семеро солдат с ружьями и полный, красный от волнения седой генерал в распахнутом сюртуке.

— Назад! — надсадно кричал он.— Все назад, на берег! Нет никакой паники, нет никаких турок! Виновные в этом уже арестованы! Назад!..

Все молчали, слушали, но никто не сходил с моста, никто не отступал. Толпа уже слушала, но еще не пришла в соображение, еще не верила: все решали секунды. Генерал понял эти напряженные секунды неустойчивого равновесия. Трясущимися руками вытащил из кармана сложенную вчетверо бумагу, потряс ею над головой.

— Вот! Вот депеша его высочества великого князя главнокомандующего! Он сообщает о полном разгроме турок под Плевной и пленении самого Османа-паши. Он сообщает о победе, вы слышите? Ура героям! Ура!

— Ура-а...— растерянно, вразнобой донеслось из толпы.

— Это — победа,— уже нормальным голосом, без крика, продолжал генерал.— Спокойно возвращайтесь в город. Виновные понесут суровое наказание. Ну, ступайте же, господа, ступайте, вы задерживаете движение воинских грузов.

А ко мне сюда, пожалуйста, пришлите коменданта города майора Подгурского.

Усталое старческое спокойствие, с которым были произнесены последние слова, подействовало куда больше, чем депеша главнокомандующего. Толпа начала отступать, расходиться, но расходилась молча, не выражая восторгов, потому что первым осознанным чувством людей был стыд. И под благодейственным гнетом этого пробужденного в них стыда люди все ускоряли шаг, и вскоре на мосту уже не осталось никого, кроме генерала, солдат мостовой охраны, разгоряченных дракой погонцев да мальчика вольноопределяющегося, которого мужики от греха подальше еще в драке спрятали под бричкой. Генерал, сопя, неуклюже слез на мост, присел на корточки и заглянул под колеса.

— Живы, голубчик?

— Благодарю, ваше превосходительство.

— Это я, я благодарю вас, голубчик! — всхлипнул старик и тут же, словно устыдясь этого, закричал недовольно: — Да достаньте же вы его оттуда, бестолочи! Что же, прикажете с ним на карачках разговаривать?

Погонцы живо извлекли вольноопределяющегося, заботливо уложили на бричку. Лицо юноши было разбито в кровь, глаза запали, гимнастерка изодрана в клочья.

— Так, так, осторожнее,— приговаривал генерал.— Сенца ему под голову, сенца. Федоренко! — строго окликнул он солдата.— Живо доктора сюда. Самого Павла Федотыча. Самого!

— Не надо, ваше превосходительство,— мальчик слабо улыбнулся разбитыми губами.— Заживет.

— Нет, нет, слушайтесь старика,— генерал улыбнулся доброй стариковской улыбкой.— У меня, знаете ли, сердце пошаливает, а я — две версты бегом. Да через ваши подводы. Ах, мерзавцы, ах, мерзавцы, что натворили! Если бы не вы...— Он вдруг строго выпрямился, с начальственной благосклонностью всмотрелся в погонцев и неожиданно поклонился им в пояс.— Спасибо вам, мужики! Молодцы, не выдали ни командира своего, ни меня, старика, ни дело наше великое. От души кланяюсь: спасибо, братцы!

— Да мы что,— смущенно заулыбались погонцы, тут же застенчиво опустив глаза.— Мы, это, помочь, значит, завсегда рады.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство...— задыхающимся басом прохрипели сзади.

Перед генералом стоял немолодой, багровый от прилива крови майор. Толстые пальцы его дрожали у козырька фуражки.

— Явились? — зловещим шепотом спросил генерал.— А где были? У какой мамзели, в каком кабаке?

— Никак нет, ваше превосходительство! Со всеми наличными силами отражал атаку турок.

— Атаку? Какую атаку?

— Возможную, ваше превосходительство!

— Идиот,— доверительно шепнул генерал избитому вольноперу, тут же без паузы переходя на командный крик.— Каких турок, каких, мифических? Из «Тысяча одной ночи»?.. Вот кто отражал атаку! — он ткнул рукой в бричку.— И вы за его кровь ответите, майор! И за кровь этих погонцев тоже! И за ложь мою ответите, черт бы вас побрал с вашими турками! Вы меня прилюдно лгать заставили! Лгать! Я, знаете ли, расписание обозной очередности за депешу его высочества публично выдал! Ибо не мог иначе вразумить, не мог! О чем в особой реляции на имя государя лично повинюсь...— он поворотился к бричке.— Как ваше имя, голубчик? Нет, нет, вы уж, пожалуйста, лежите.

— Вольноопределяющийся Иван Олексин. Следую с обывательским обозом до деревни Булгарени, где приказано сдать муку и получить обратный груз.

— Запомнил,— растроганно сказал генерал.— На всю жизнь тебя, голубчик, запомнил. Позвольте отрекомандоваться: заведующий переправой генерал-майор Рихтер. Искренне рад внезапному знакомству нашему, на обратном пути всенепременнейше в гости жду, уж не обманите старика, голубчик, не обманите.

— Благодарю, ваше превосходительство. Я — с радостью.

— Достойны вы...— генерал вздохнул.— По положению лишен я возможности лично представлять к наградам, но примите от души,— он достал из кобуры небольшой револьвер Лефоше.— Нет-нет, и не вздумайте отказываться: вам по нашим тылам ехать, а там ведь и вправду черкесня пошаливает, не в одном воображении майора Подгурского.— Рихтер вдруг сдвинул нестрашные брови и вновь накинулся на коменданта: — Лгать меня, старика, заставил, чего в жизни не прощу! А посему приказываю ради успокоения жителей и гарнизона вверенного вам города всю ночь праздновать победу. Всю ночь — с музыкой, танцами и иллюминацией. Кругом... и — бегом марш!

Придерживая саблю, грузный майор, задыхаясь, бежал к болгарскому берегу. А с другой стороны, не столько поддерживаемый, сколько подталкиваемый исполнительным солдатом, к Ивану Олексину спешил старенький доктор. Сам Павел Федотыч.

А Иван улыбался разбитыми губами, бережно прижимая к груди свою первую боевую награду.

3

— Душегуб он, барышня, как есть душегуб. Видала, сколько стражников за ним приехало, да еще с офицером. Убивец!

Оля Совримович часто вспоминала слова старой Тарасовны, потому что постоянно, днем и ночью, что бы ни делала,— думала об Отвиновском. Государственный преступник, как назвал его жандармский офицер, преступник, сказавший, что у него нет никакого оружия и тут же добровольно положивший револьвер на стол. И она понимала, что он мог бы пробиться и уйти, но предпочел арест, позор и каторгу — предпочел из-за нее. Она сообразила это позже, когда улеглось и первое отчаяние, и первое смятение, сообразила слишком поздно, потому что так и не увидела его прощального взгляда.

Сразу же после ареста старая барыня слегла, тихо отойдя на шестые сутки. Жить стало совершенно не на что, не было ни денег, ни собственного хозяйства, ни кредитов в корчмах и лавочках, захлопнувших двери после посещения жандармов. Но Оле очень повезло, повезло необыкновенно, почти сказочно: разбогатевший немец — управляющий сахарного завода — купил за бесценок этот завод у промотавшегося хозяина. Новое положение обязывало, и Олю пригласили учить детей новоявленного сахарозаводчика французскому, музыке, танцам и хорошему обхождению. Оля очень обрадовалась и тотчас же выехала на присланной за нею коляске. Все начиналось прекрасно — и эта коляска, и веселый молодой кучер, весь путь распевавший песни, и сама дорога. И Оля всему радовалась и радостно волновалась, строя планы, как будет учить детей и как эти дети непременно полюбят ее.

Дети — две девочки и мальчик — были тихими, аккуратными, скорее исполнительными, чем старательными. Они улыбались только тогда, когда улыбалась Оля, словно улыбка для них была своего рода лишь ответной визитной карточкой, а не естественным проявлением живости и веселья. Впрочем, веселье в них вообще отсутствовало, а живость если и была, то при Оле они всячески скрывали ее, чинно здороваясь, чинно прощаясь и никогда ни о чем не спрашивая. Это расходилось с ее представлениями о непосредственности детского восприятия: она выросла в провинци-

альной усадьбе, где детские шалости, беготня, суматоха, слезы и смех были столь же естественны, как дождь или солнце. На вопросы, во что они любят играть, дети отвечали столь точно, кратко и строго, что Оля самостоятельно решила восполнить этот пробел в их воспитании, для чего уже на третий день вывела детей на лужайку и попыталась организовать какую-нибудь игру. Дети никак не могли понять, что от них требуется, а когда наконец сообразили и Оля увидела в их глазах нечто похожее на живые искорки, из распахнутого окна раздались размеренные хлопки:

— Дети, дети, дети!

Хлопала в ладоши сама матушка, и дети, а вслед за ними и несколько смущенная Оля, вернулись в класс. Перед ужином в ее небольшую, пугающе аккуратную комнатку заглянул («на момент, фройляйн») сам хозяин Ганс Иванович.

— Я имел хорошие рекомендации о вас, фройляйн. Я радостно вижу, что не ошибся: вы — добропорядочная, аккуратная и весьма старательная молодая особа. Но вы не понимаете, что есть работа, а что есть не работа. Я нанимал вас для работы, фройляйн, но я не хотел стеснять вас и потому не заключал контракт.

— Не надо, Ганс Иванович,— краснея, торопливо пробормотала Оля.— Я считала, что дети должны много двигаться. Это полезно для...

— Вы сказали хорошее слово: «это полезно». Это слово я часто слышал на моей родине и очень редко — в России. Я очень хочу, чтобы мои дети двигались полезно,— учите их танцевать. Я очень хочу, чтобы мои дети говорили полезно,— учите их французскому языку. Я очень хочу, чтобы мои дети имели полезные знакомства,— учите их обхождению и манерам. И больше не учите их ничему, потому что только за это я плачу вам деньги.

— Да, но уроки тянутся долго. Это утомляет...

— Я велю давать чашечку кофе. Чашечка кофе — это полезно.

Оля больше не выходила с детьми ни на лужайку, ни в сад, ни к реке — вообще никуда не выходила. Уроки сменяли друг друга с небольшим перерывом, но уже на другой день между первой и второй парами уроков она стала регулярно получать чашечку кофе. Настоящего, ароматного, вкусного — только чашечка была настолько мала, что в ней умещалось ровно два глотка.

Завтракали и обедали всей семьей, и в это время Оля должна была указывать своим ученикам, как следует вести себя за столом. В ужин этого от нее не требовалось: детей

отправляли спать; хозяйка обычно молчала, но хозяин любил поговорить.

— Я родился в бедной семье, где все работали и никто не имел в кармане немножечко денег. Но мой дядя уехал в Россию и очень быстро имел в кармане свои деньги. «Ганс,— сказал он мне,— если ты хочешь иметь в своем кармане деньги, тебе надо ехать в Россию». Я очень хотел иметь эти деньги, и я стал учиться у дяди говорить по-русски, и я приехал в Россию. И я увидел, что в этой стране, где от одного города до другого города может уместиться целая страна, все почему-то бегают. Бегают от помещика, бегают от царя, бегают от семьи, бегают от работы, бегают от царской службы и бегают просто так. И я очень удивился: мы, немцы, никогда не бегаем. Мы сначала смотрим, где есть работа, а потом идем прямо к ней. И мы идем шагом, потому что мы думаем, как получить пользу от этой работы. А вы сначала бежите, а потом — делаете, а потом опять бежите, потому что забыли подумать, какая вам будет польза от того, что вы делаете.

Из-за круглых очков на Олю смотрели благожелательно, понимающе, с добродушным превосходством, вечно озабоченные поисками «пользы» и всегда одинаковые хозяйские глаза. И Олю сердили не слова — у нее хватало здравого смысла и спасительной иронии, чтобы пропускать их мимо ушей,— а этот полный мудрого превосходства взгляд, каким смотрят на детей очень довольные собою, а потому и навек позабывшие о собственном детстве не очень-то далекие взрослые. Этот взгляд унижал (почему, она не могла объяснить себе, но унижал не только ее, а нечто большее), и Оля иногда не сдерживалась.

— Разве в мире дорога только польза и ничего более? А цветы, благородные поступки, искусство, красота?

— Вы — ребенок, фройляйн. Все славяне — дети. Вечные дети, которым Господь Бог за грехи не дал мудрого счастья повзрослеть.

И всякий спор прекращался не потому, что у Оли не было аргументов, и не потому, что ее аргументы не могли никого убедить. Оля замолкала, тут же вспоминая взрослого, в шрамах и седине тридцатилетнего человека, у которого не было ничего, ничего абсолютно, кроме детской убежденности, что честь выше, дороже, бесценнее любой пользы. Душой и сердцем она была с ним, и спорить более не хотелось.

Оле нравилось заниматься с детьми, хотя их скованная исполнительность часто смущала. Ей аккуратно платили жалование, хорошо кормили, не лишали возможности перед

сном погулять, почитать или просто посидеть на веранде, глядя, как медленно темнеет небо, как чуть заметно начинает прорисовываться луна, как нехотя загораются звезды. И каждое утро после двух первых уроков непременно приносили чашечку кофе. Крохотную, как наперсток.

И никто не входил, когда она занималась с детьми. Ей доверяли, и она ценила не только работу, но и это доверие, стараясь изо всех сил отдать то, что знала и умела. И была крайне удивлена, когда правила, на которых держался не только этот дом, но, с точки зрения его хозяев, и весь остальной мир, были однажды нарушены. Сам Ганс Иванович вошел в классную комнату в середине урока, и все в нем — Оле почему-то особенно запомнились очки — выражало попранное доверие.

— Дети, идите к себе,— сказал он.— Занятий больше не будет. Идите к себе и ведите себя прилично, а вас, фройляйн, я прошу пройти в мой кабинет.

— Но почему же, Ганс Иванович? — в растерянности спрашивала Оля, идя вслед за хозяином.— Что-нибудь случилось?

Ганс Иванович не отвечал, но его сутуловатая спина выражала то же оскорбленное доверие, что и очки. Он пропустил Олю в кабинет, закрыл дверь и, не предлагая садиться, протянул конверт.

— Тринадцать рублей и семьдесят три копейки. Это вам полагается за незаконченный месяц минус стоимость ежедневной чашечки кофе.

— Что это значит, Ганс Иванович? — тихо спросила Оля.— Я уволена? Но за что же, за что? И почему же без предупреждения? Я могла бы подыскать место...

— Вы не можете подыскать место, фройляйн. Особа, которой интересуются господа жандармские офицеры, не может учить детей.

— Жандармские офицеры? При чем тут...

— Не знаю, не знаю, это не мое дело. Мое дело — мой завод, который я купил, откладывая каждый грошик в копилку. Я не могу портить мое доброе имя. Я ошибся в вас и понес убыток. Прошу собрать свои вещи и через половину часа покинуть мой дом.

— Значит, вы меня уволили,— Оля с трудом подавила вздох.— Хорошо, я сейчас соберусь. Только я была бы вам очень признательна, если бы...

— Лошадь стоит овса, который она кушает, а кучер стоит время, которое он тратит. Если вы оплатите овес и время, я велю подать бричку.

— Благодарю, Ганс Иванович, у меня нет денег на это.

И поэтому я с особым удовольствием пройдусь пешком. Это такие пустяки: всего-то каких-нибудь двадцать верст лесом...

Через полчаса Оля ушла. Она так спешила, что не переоделась, оставшись в тяжелом, старательно закрытом, как и полагалось учительнице, темном платье. Баул, в который она второпях покидала вещи, купленный когда-то Андреем еще для училища, был тяжел и громоздок, и Оля прилагала все силы, чтобы не согнуться, чтобы легко и свободно пересечь сад, спуститься к реке, миновать деревушку, выгоны и поля, за которыми начинался лес. С точки зрения аккуратного немца, приехавшего в Россию сколотить капиталец, это было «не полезно», и Оля спорила с этой практичной немецкой полезностью, как могла. Спина разламывалась от боли, немела и начинала ныть рука, дрожали колени, но Оля заставила себя пройти весь путь так, как считала нужным: с гордой спиной и без единой слезинки. И отревелась только тогда, когда забилась в кусты.

Выплакавшись, она спустилась к ручью, нашла укромное местечко и, стесняясь самой себя, поспешно разделась, все время испуганно оглядываясь и приседая от малейшего шороха. Кое-как умывшись, не стала надевать лифа, а натянув на рубашку самое простенькое платье, спрятала в баул одежду, чулки и свои единственные хорошенькие туфельки. Двадцать верст предстояло прошагать босиком (подходящей обуви у нее не было), и поэтому Оля постаралась придать себе вид заправской крестьянки. Платочка не нашлось, но она оторвала от старой юбки лоскут и повязалась им так, как повязывались знакомые ей деревенские девушки. Совершив этот маскарад, она посмотрелась в зеркальце, осталась довольна и, подхватив баул, ойкая и оступаясь, выбралась из кустов на дорогу.

Шлепать по пыли босыми ногами было даже приятно, а поскольку за Олей никто более не следил, она могла изгибаться под тяжестью баула, как ей было удобно, и поминутно менять руки. Вскоре ей повстречался мужик на подводе; сонно глянул на нее, равнодушно отвернулся, и Оля обрадовалась, что не вызывает подозрений. Но, миновав ее, мужик придержал лошадь и крикнул:

— Далеко ли идешь?

— Далеко,— отозвалась Оля, на всякий случай не задерживаясь.

— Поопасись, девка, солдаты кругом шастают!

Прокричав это, мужик зачмокал, задергал вожжами, и телега заскрипела дальше. А Оля сразу остановилась, ощутив вдруг неуверенность, граничащую с ужасом. Все ее воспитание было лишено подобных тревог и забот — кто,

какой солдат осмелился бы заговорить с барышней! — но сегодня ей суждена была иная роль, и роль эта предусматривала другие, непривычные для нее отношения. И пока она размышляла, как поступить, если и впрямь столкнется с солдатами, впереди раздался топот и из-за поворота навстречу ей выехали три конных жандарма. Старший — грузный, с рыжими прокуренными усами — загодя перевел коня на шаг, а поравнявшись, и вовсе остановился, грубым голосом спросив, кто она такая, откуда, куда и зачем идет. Мобилизовав всю выдержку и с огромным усилием над собой назвав жандарма «дядечкой», Оля объяснила, что она служит у хозяина сахарного завода, а идет в Климовичи к заболевшей матери.

— По дороге никого не встретила?

— Мужик на подводе проехал...— Оля похолодела, когда у нее сорвался с языка этот «мужик».

— На заводе ничего не слыхала? Не говорили, человек, мол, чужой объявился?

— Не слыхала. Вот-те крест, не слыхала я, дядечка.

— Жаль, времени нет.— Жандарм вдруг крепко ухватил ее пальцами за щеку, потряс.— Побеседовал бы я с тобой под кусточком, черноглазая!

Жандармы уже скрылись, уже таял вдали мягкий перестук копыт, а Оля как села на баул, так до сей поры никак не могла подняться. То, что для обычной, выросшей среди двусмысленных шуточек и недвусмысленных шлепков крестьянской девушки звучало лишь похвальбой, грубой шуткой, для нее было оскорбительной угрозой. Ей никогда не приходилось попадать в такие ситуации, и в ее арсенале не было соответствующего способа защиты. Маскарад требовал не только внешнего, но и внутреннего преображения, и Оля даже подумала, что риск слишком велик и что ей следует опять надеть чулки, туфли, строгое платье и шляпку вместо самодельного платочка. Но впереди еще было добрых пятнадцать верст, баул с каждым шагом прибавлял в весе, а туфельки оставались единственными. И оценив все это, она вздохнула, перекрестилась, подхватила вещи и пошла дальше.

Она шла с быстротой, на которую только была способна, и все время настороженно прислушивалась, не раздастся ли где цокот копыт или мужские голоса. Если бы Оля заблаговременно услышала эти страшные звуки, она бы постаралась юркнуть в кусты и затаиться: это было единственным действием, которое она предусмотрела. Но солнце жарило без всякой пощады, голые ступни горели в нагретой пыли, мучительно ныли плечи и спина, и за всем этим Оля вскоре

забыла и о том, что надо прислушиваться, и о самой встрече с грубым усатым жандармом. А когда услышала легкий топот за спиной, прятаться уже было поздно; она просто сошла с дороги, поставила баул на пыльную травку и оглянулась, прикрываясь концом платочка, как это делали крестьянские девушки. И сразу успокоилась, вдруг обессилев и опустившись на баул: к ней размашистой рысью приближалась легкая коляска самого Ганса Ивановича.

— Добрый день, мадемуазель.— В коляске сидел молодой офицер в голубом мундире, Оля узнала его.— Позвольте помочь вам.

Он сам управлял лошадью, никого больше не было, но Оля уже ничего не боялась. Офицер спрыгнул на землю, положил в коляску баул, помог Оле сесть. При этом он весело улыбался — на круглой щеке подрагивала детская ямочка,— был очень оживлен и говорил не умолкая. Оля с трудом понимала, о чем он говорит, пораженная его появлением в хозяйской коляске, его оживлением, улыбкой, светской болтовней: контраст с только что пережитым, с чувством страха, почти отчаяния и этой подчеркнутой вежливостью был чрезвычайно велик.

— Немцы — странная нация: я сам наполовину немец, а потому сужу беспристрастно. У истого стопроцентного немца старательность заменяет энтузиазм, аккуратность — рыцарство, а пресловутый орднунг — нормальный человеческий темперамент. Они все скроены на одну колодку — размеры могут быть разными, но фасон не меняется.

Сытая лошадь шла размашистой рысью, коляска мягко покачивалась на гнутых рессорах. А Оля все никак не могла прийти в себя, собраться с мыслями, и до нее доходили какие-то обрывки из того, что без умолку болтал молодой офицер.

— ...я отвесил ему добрую пощечину. Да, да, не осуждайте меня за это. Отправить барышню за двадцать верст одну — знаете, на это способны только немцы,— он через плечо с улыбкой посмотрел на нее.— А вы — очаровательная пейзанка. Вам, мадемуазель, идет все, какие бы фантазии ни посетили вашу прелестную головку.

Оля почувствовала, что начинает краснеть. Она всеми силами сдерживала этот проклятый, неподвластный рассудку и желаниям предательский прилив, отворачивалась, подставляла горячие щеки ветру, но подозревала, что из этих ухищрений ровнехонько ничего не выходит. И тут же вспомнила про босые, густо покрытые пылью ноги, попыталась спрятать их под юбку, но юбка была слишком — слишком! — короткой, а свободная от лифа грудь вздрагивала

при каждом толчке рессор. Все сейчас было против нее, решительно все, и она настолько мучительно ощущала эти «против», настолько была поглощена ими, что совершенно не воспринимала того, что говорил и говорил любезный и предупредительный жандарм. И, как сквозь сон, сквозь пелену, вдруг расслышала:

— ...в глуши, вдали от родных и друзей? Неужели вас никто не навещал, никто не передавал поклонов, писем, известий?

— Никто.

Она уже справилась и с девичьим смущением, и с женской жаждой лести. Она была достаточно умна и наблюдательна, чтобы связать в единую цепь и трепет немца перед властями, и разъезды стражников, и необыкновенную любезность жандармского офицера, догнавшего ее на хозяйской коляске. Цепь выстроилась: в начале ее — Оля в этом не сомневалась — стоял ночной арест Отвиновского, но что было в конце, куда вела эта цепь и почему вообще возникла, Оля понять не могла. Но куда бы ни вела она, по какой бы причине ни выстроилась, первым звеном ее все равно оставался Збигнев Отвиновский, и Оля мгновенно собралась. Теперь она слушала каждое слово, взвешивала, прикидывала, доискивалась до истинного смысла и не спешила с ответом. А жандарм перескакивал с природы на музыку, с музыки на живопись, с живописи на одиночество, с одиночества на... Он плел кружева легко и привычно, но Оля уже смотрела сквозь эти кружева. И сквозь них ясно просвечивали два вопроса: не посещал ли кто ее на сахарном заводе и не получала ли она каких-либо известий по почте или через знакомых. Оля ничего не получала, ни с кем не встречалась; лгать ей не приходилось, что очень облегчало ее положение, но ее все время тревожило, кого имел в виду ее словоохотливый сосед. Отвиновский был арестован на ее глазах, препровожден в Киев под сильным конвоем, и все же... Все же Оля где-то подспудно, пугаясь и гоня от себя эту мысль, непрестанно думала, что и рыскающие по дорогам стражники, и настойчивые вопросы жандарма означают, что Отвиновский каким-то образом вновь обрел свободу.

Жандармский офицер был отменно предупредителен до конца поездки. Остановив коляску у подъезда их дряхлого, запущенного, годного лишь на дрова дома, лично втащил баул в прихожую, любезно и обстоятельно осмотрел все комнаты, дав уйму советов, мило раскланялся, сказал несколько приятных слов и только тогда укатил. А Оля, почувствовав и облегчение от того, что наконец-таки добралась до дома, и все возрастающую смутную тревогу, бро-

силась к Тарасовне. Старушка была больна, обрадовалась Оле до долгих слез и все пыталась подняться, чтобы хоть чем-то накормить барышню. Но Оля категорически запретила ей подниматься, кое-как и кое-что приготовила сама, напоила старую няню чаем и лишь после этого прошла к себе. Распахнула настежь окно, выходившее в заросший сад, придвинула к нему кресло и уютно устроилась в нем.

Быстро темнело, с низин и болот тянуло сыростью. Оля достала шаль, завернулась в нее и вновь улеглась в кресло, не зажигая свечей. Сумрак сгущался все плотнее, узкие полосы тумана поползли между кустами и деревьями, постепенно затягивая землю, и в комнате стало совсем темно. Но Оля радовалась этой темноте, обступившей дом и заполнившей комнаты, радовалась туману, все гуще затоплявшему сад, и — прислушивалась. Напряженно, ловя каждый шорох, всем своим существом уйдя сейчас в слух. А сердце билось все чаще, все нетерпеливее.

Оля ждала, боясь в этом сознаться себе, ждала неистово и жадно, как ждут только чуда. И потому почти не удивилась, когда в тумане чуть двинулось темное пятно, неслышно подплыло к ее окну и Збигнев Отвиновский беззвучно перепрыгнул через подоконник.

4

Скрипели обозы, в воздухе висела тонкая, зудящая пыль: русское командование стягивало все, что только могло собрать. Надо было кормить людей и лошадей, пополнять запасы и срочно подвозить патроны и снаряды, восстанавливая расстрелянные в сражении боекомплекты. Все двигалось к Плевне, сгружалось или устраивалось, и тут же волна опустевших обозов откатывалась назад, к переправам, чтобы, пополнившись, заново совершить тот же путь. Дороги были забиты; чтобы справиться с медленно ползущим потоком грузов и войск, штабы разработали очередность путей, отдав лучшие воинским и санитарным перевозкам, чуть похуже — интендантству, а остаток предоставив для всех прочих перемещений. На перекрестках, в селениях и у мостов стояли специальные команды, сортировавшие движение в соответствии с дорожным реестром. В этом реестре последнее место занимало частное предпринимательство, на свой страх и риск снабжавшее офицеров тем, чего они были лишены по линии казенного довольствия: вином, галантерейным, бакалейным, гастрономическим и прочим товаром. Кибитки этих вольных тор-

говцев-маркитантов ползали по совсем уж глухим проселкам, а то и просто вне всяких дорог. Тылы были очищены от башибузуков и крупных черкесских отрядов, занятая территория патрулировалась казачьими разъездами, и для того, чтобы частным порядком — естественно, имея в кармане разрешение военных властей — добраться до районов, занятых войсками, охраны не требовалось. Требовалось только желание, а спрос опережал предложение, создавая могучий стимул для мелкой торговой сошки.

В конце июля по скверной проселочной дороге, пролегавшей невдалеке от обозного тракта, тащился легкий фургон. Стара была усердная лошаденка, немолод был и хозяин: сутулый, смуглый, с черной, в обильной проседи, коротко подстриженной бородой. Основную часть фургона занимала натянутая на деревянные опоры палатка из выгоревшего на солнце брезента; передние полы ее были распахнуты, и возница сидел как раз перед ними. Понукая лошадь, он часто с беспокойством оглядывался, но равнина была пустынна, правее с перерывами тянулись интендантские обозы; удостоверившись в этом, хозяин ненадолго замирал, а потом снова начинал озираться.

— Кибитка! Эй, кибитка, слышь, что ль, кибитка?

Услышав оклик, хозяин сначала торопливо, но тщательно прикрыл полог палатки и только после этого остановил лошадь и оглянулся. К нему через поле на крупной рыси приближался казачий разъезд: пятеро донцов в лихо заломленных набок фуражках. Хозяин сразу же спрыгнул на землю, снял с головы войлочную шляпу и, часто кланяясь, пошел навстречу.

— Кто таков? — строго спросил урядник, тесня конем сутулого хозяина назад, к кибитке.— Куда едешь, по какому такому праву?

— Торговля. Маленькая торговля. Есть разрешение, есть бумага.

Хозяин говорил с сильным акцентом, перевирая и путая слова. Большие черные, с синеватыми белками, глаза его с жалким, искательным ужасом бегали по казачьим лицам, не задерживаясь ни на одном.

— Бумага. Торговля. Мало-мало торговля.

Он не хотел отступать к фургону, а казаки, подскакав, уже окружили его. Перепуганный хозяин, беспрестанно кланяясь, то лез за пазуху, то пытался что-то объяснить, больше помогая себе жестами, чем языком.

— Чего лопочет-то? — спросил рябой казак.

— Не пойму. Бумагу давай, чернявая рожа! — гаркнул урядник.

— Бумага. Бумага. Да, есть, есть.

— Либо цыган, либо жид,— определил рослый молодой парень.— Руками-то, руками хлопочет, чисто мельница.

Тревожа коней, казаки тесно зажали торговца. Он уже достал какую-то бумагу, что-то пытался объяснить, путая слова, а вокруг, появляясь и исчезая, проплывали конские крупы, конские морды, сапоги с уходящими вверх лампасами шаровар, ножны шашек, подрагивающие в руках плети, приклады винтовок, и снова — крупы, лошадиные морды, крылья седел, сапоги...

— Чего сует-то? Вроде без печати?

— А кто его знает. Кто таков? Говори!

— Да жид, по роже видать,— лениво зевнул рослый.

— Кто таков? — снова, уже начальственно, крикнул урядник.— Почему по степу едешь и куда?

— Торговля. Грек. Гречанин.

— Грек?

— Брешет, поди,— сказал черноусый казак.— Ишь, трясется. Коли хрещеный, так чего ему трястись?

— А ну покажь, чего везешь. Покажь, покажь.

— Нет, нет, господа казаки! — грек испугался еще пуще, пот ручьями стекал с его лица.— Товар там. Мало-мало. Жена умерла...

— Жена,— протянул урядник.— Ну, покажь товар, чего боишься? Ежели вино, так поднесешь по чарочке — и мотай отсюдова с Богом. Глянь-ка, чего у него в кибитке, Афоня.

— Нет! — дико закричал, забился в темном углу торговец.— Нет, нет! Господа! Нет!

Он пытался вырваться из кольца, повсюду натыкаясь на живые преграды, хватал казаков за сапоги, приникал к ним лбом, то ли целуя, то ли сдерживая. И сразу стал мокрым: пот катился уже не только по лицу, а каплями выступил сквозь черную жилетку. Стараясь во что бы то ни стало вырваться из круга, он мешал казакам самим разорвать этот круг, хватая за сапоги, стремена, поводья. Казаки уже в раздражении били его по рукам, не понимая, почему он так кричит.

— Нет, нет! Господа! Нет!

— Глянь, говорю, Афоня, чего он прячет!

Рослый казак тронул коня, но грек, извернувшись, сразу вцепился в повод. Казак, ругаясь, рвал повод, бил по рукам — потерявший от непонятного ужаса соображение, хозяин кибитки не отпускал поводьев, почти повиснув на них и пригибая к земле голову недовольно храпевшего коня.

— Дай ты ему раза! — крикнул рябой.

Молодой привстал на стременах и со злобой, с ос-

тервенением ударил торговца по темени огромным, тяжелым, как кувалда, кулаком. Грек обмяк, забормотал. Изо рта тонкой струйкой потекла кровь, руки разжались, и тело грузно рухнуло на землю. И сразу замерло лошадиное коловращение: не ожидавшие такого оборота казаки остановили коней. Рябой, свесившись с седла, вгляделся в синюшное лицо с вылезшими из орбит огромными белками.

— Готов вроде. Дых вышел.

— Зачем ты его, Афанасий? — укоризненно спросил урядник.

— Вонял,— глуповато улыбнулся Афоня.

Казаки переглянулись. Урядник снял шапку, перекрестился, озабоченно поскреб затылок. Черноусый спросил тихо:

— Чего делать-то теперь, казаки?

— Сотнику разве доложиться? — не то спросил, не то подумал вслух урядник.

— Ништо! — ухмыльнулся рябой.— На черкесню спишем, а нас тут и не было.

— Убили — и кибитку не тронули? — усомнился урядник.— Кто поверит?

— Тронем,— рябой выхватил шашку.— Поглядим, чего он трясся.

Подъехав к фургону, с седла широко полоснул шашкой по старому натянутому брезенту. И брезент, развалившись надвое, опал, обнажив кули, ящики, свертки и в самом углу — девочку лет тринадцати. Сжавшись в комочек, она молча смотрела на казаков огромными черными глазами.

И казаки тоже молчали. То, что открылось вдруг, было не просто неожиданностью — это было катастрофой, провалом, полным крушением очень простого, а потому и без рассуждения принятого плана — свалить невольное убийство на черкесов. И хотя никто еще ничего не сказал, но каждый подумал одно: свидетель. Свидетель убийства мирного торговца в военное время, убийства, за которое полагалась одна-единственная, не подлежащая никакому обжалованию кара: расстрел. И еще ничего не сказав, еще даже не посмотрев друг на друга, казаки спрыгнули с седел; только рябой замешкался, спешился последним, и ему молча сунули поводья остальные.

— Что делать-то, казаки? — снова, теперь уже шепотом, спросил черноусый.

Молчали казаки. Черноусый гулко сглотнул и докончил:

— Может... Может, туда же, а?

— Грех-то какой,— вздохнул урядник.— Дитя ведь. Жалко.

— Жалко опосля будет,— уже громче, решительнее и злее сказал черноусый.— Жалко будет, когда нас под расстреляние подведут. Ишь, глаза чернявые, так и зыркают, так и зыркают.

— Волоки ее оттудова! — не выдержав напряжения, вдруг истерично закричал державший коней рябой.— Волоки, Афоня, волоки!..

Туповатый, огромный молодой казак послушно шагнул к кибитке, вытянув длинные руки. Девочка забилась, завертелась, ускользая от них, цепляясь за дуги шатра, за борта фургона. Афанасий, деловито сопя, тащил ее, но тащил осторожно, не решаясь рвать, бить и вообще применять всю силу. Девочка не давалась, начав пищать тонким, жалким голосом, на одной ноте, как заяц.

— Чего возишься, Афанасий? — раздраженно крикнул урядник.

— Ловка...— с придыханием ответил Афоня, начав вдруг улыбаться.— Что твоя лоза гнется... А теплая!..

— Волоки-и! — почти с восторгом закричал рябой, покрывшись красными пятнами и в растущем нетерпении переминаясь с ноги на ногу.— За одежу тащи, за одежу!..

— Кусается, ишь ты! — радостно засмеялся Афоня.— Ах ты, хорек!

Возня с девочкой, ее упорное сопротивление как-то отодвинули на второй план то, ради чего выволакивали ее из фургона. На смену приходило другое: казаки уже улыбались, уже оживленно переглядывались, уже ожидали нечто такое, что непременно должно доставить всем удовольствие. Непрекращающийся жалобный писк девочки не раздражал их, а, наоборот, веселил, и, когда раздался треск разрываемого платья, все дружно засмеялись.

— Молодец, Афоня! Не разучился еще с девками управляться!

На их глазах «управлялись с девкой» — это-то и было главным, остро волнующим событием. Если бы она не сопротивлялась, если бы ее вытащили из фургона сразу, то все кончилось бы одним взмахом клинка; но она билась в мужских руках, вертелась, извивалась — она боролась, и эта борьба стала игрой, в которую включились все.

— Тащи ее!

Афоня выволок-таки девочку: раскрасневшийся, возбужденный, улыбающийся от уха до уха. Он держал ее двумя руками, вперехват, спиной прижав к себе; рубашки на девочке уже не было, тело обнажено до пояса, до разодранной в клочья широкой юбки, и казаки, вдруг смолкнув, во все глаза глядели на это смуглое тело. И под их взглядами

девочка перестала верещать, перестала биться, только тяжело и часто дышала, и от этого дыхания с живой дрожью поднимались и опускались уже крупные, но еще по-детски круглые груди с крохотными сосками.

— Вот,— задыхаясь, сказал Афанасий.— Ух, тепла!..

— Наземь... Наземь ее! — крикнул, топая ногами, рябой.— Ах ты, разговеемся, казачки!

— Грех ведь,— глухо сказал урядник.— Мала больно девка.

— А мы ее враз бабой сделаем! — крикнул черноусый.— Вали ее, Афоня! Вали!

Девочка закричала, прежде чем ее успели повалить. Закричала страшно, по-женски, изо всей силы, вдруг поняв весь ужас того, что ее ожидает. Афанасий и черноусый уже свалили ее у фургона, но она выворачивалась и билась с таким отчаянием, что они никак не могли управиться с нею.

— Рот ей зажми! — зло крикнул урядник.— И навались, навались да руки держи!

— Эй, казаки, что это вы там?

В вопросе было удивление, но казаки враз отпрянули в сторону: только Афоня, стоя на коленях, еще продолжал держать крестом раскинутые руки девочки. Остальные, отпрянув, тут же оглянулись: к ним неспешной рысью подъезжал коренастый немолодой казак с Георгиевским крестом. Подскакал, остановил коня, неторопливо оглядел все: убитого грека с кровавой пеной на черной, с густой сединой бороде; располосованное шашкой полотнище фургона, лежавшую на земле голую девочку, которая уже не билась, но которую все еще держал за руки туповатый Афоня. Все оглядел, во все всмотрелся и спрыгнул с седла.

— Вы что это? Вы что же это делаете, опомнитесь.

Он сказал негромко, еще не придя в себя, еще скорее размышляя. Все молчали, опустив головы. Афанасий встал, но девочка при этом не шевельнулась, не закрылась, даже не свела рук, разбросанных по обе стороны черной растрепанной головы.

— Да турка она,— угрюмо, нехотя пояснил черноусый.— Чего уж...

— Турка? А крест? — пожилой ткнул корявым пальцем в серебряный крестик, сбившийся на голое плечо девочки.— Крест на ней, крест!..

— Крест? Крест сымем, чего орешь?

— Ништо и с крестом! — вдруг закричал рябой.— Она мала, да в теле: есть за что подержаться, не свалишься! А дуван продуваним, станичник! Давай с нами, будто черкесня, а? Кавалеру без очереди.

— Без очереди? — Георгиевский кавалер ловко сорвал с плеча бердану.— Бросай оружие. Ну, кому говорю? Арестовываю вас.

— Ты погоди, погоди, станичник,— тихо сказал урядник.— Зачем так-то? Свои ведь, донские. Ну, погорячились маленько, ну...

— Да что же вы наделали, мужики! — в отчаянии выкрикнул пожилой.— Под суд ведь отведу. Под суд прямо!

— Ах, мужики?..— громко, даже радостно, подхватил рябой, стоящий поодаль с лошадьми.— Да не казак он, станичники! Поддельный он! Поддельный!

Пожилой не ожидал сопротивления да и не мог держать под наблюдением всех: рябой стоял в стороне. И именно оттуда неожиданно, когда казаки после крика «поддельный он!» угрюмо двинулись навстречу, грохнул выстрел. Пожилой выронил винтовку, обеими руками схватившись за грудь.

— За что...

— Отойди!..— бешено заорал рябой, перезаряжая бердану.— Сторонитесь, добью счас! Добью...

— Стой!..— донеслось издали.— Стой!..

От дороги бежали мужики. С топорами, вилами, дрекольем. Впереди мчался высокий худой вольноопределяющийся, размахивая револьвером.

— Всем стоять! Стоять!

— Погонцы! — испуганно крикнул урядник.— На конь, казаки!

Казаки мгновенно вскочили в седла, взяв с места в намет. Сзади сухо треснули два револьверных выстрела, но расстояние уже было велико: казаки не жалели плетей.

Иван Олексин далеко обогнал своих погонцев. Еще издали, еще на бегу, еще стреляя, заметил три тела, а подбежав ближе, сразу бросился к тому, которое выделялось и белизной, и длинными черными волосами. Бросился и тут же остановился, увидев обнаженную девочку,— остановился, точно налетев на стену. Он решил, что девочка мертва, но не подошел к ней не поэтому, а потому, что она была голой и тем самым как бы запретной для него. Крикнул мужикам, чтоб посмотрели, что там с теми двумя, а сам шагнул к казаку, ничком лежавшему на земле. Стал на колени, повернул на спину и — обмер, узнавая и не веря в то, что узнавал.

— Захар?..

Захар медленно, с усилием открыл глаза. Они уже стекленели, уже теряли живой блеск и мысль, уже подергивались тем невидимым и столь ощутимым занавесом, что отделяет жизнь от смерти.

— Захар, ты? Ты?..

— Ваня...— Захар с напряжением разлепил губы, в груди его хрипело и булькало; давясь, он все время глотал кровь, и это мешало говорить.— Ванечка, Ванечка мой...

— Захар!..— отчаянно выкрикнул Иван.— Кто тебя, кто? Я найду...

— Эстафета при мне,— с бульканьем, с кровью шептал Захар, цепляясь за последние остатки уходившего сознания.— Эстафету доставишь. Девочку сбереги. Тебе ее... Тебе отдаю. Я за нее кровью...

И кровь эта, которой Захар оплатил девичью жизнь, хлынула вдруг широким, неудержимым потоком из горла, заливая лицо, бороду и новенький Георгиевский крест. Захар мучительно выгнулся, захрипел, забил ногами и обмяк. А Иван все еще прижимал к груди его окровавленное, застывшее в последнем оскале лицо. Вокруг суетились мужики, что-то делали — он ничего не соображал.

— Иван Иванович,— его осторожно тронули за плечо.— Иван Иванович, кончился казак, царствие ему небесное.

Иван непонимающе оглянулся. Вокруг, сняв шапки, угрюмо стояли мужики. Один из них бережно держал на руках завернутую в одеяло девочку.

— Другой тоже упокоился. А девочка жива, обеспамятела только.

Иван осторожно опустил голову Захара на землю и встал. Оглядел всех, сказал тихо:

— Дядя это мой. Родной мой дядя.

5

В ближайшем селении, где оказалась караульная команда под начальствованием майора из запасных, Иван доложил о происшествии, попросил срочно доставить эстафету и помочь похоронить погибших. Он не мог с точностью сказать, кто совершил преступление, в какой убийцы были форме, откуда появились и куда ускакали. Он находился еще в потрясении, и майор, оставив его писать подробнейший рапорт, пошел к погонцам. Однако и они ничего определенного сказать не могли: услыхали выстрел, бросились, а тех и след простыл. Только артельщик — мужик основательный, грамотный (тот, что кричал на мосту: «Микита, топоры давай!..») — с глазу на глаз сказал:

— Подумалось мне сперва, ваше благородие, что казаки: и форма вроде, и посадка. Только ведь убитый — тоже казак. И дядя родной командира нашего господина Олексина Ивана Ивановича.

— Так,— вздохнул майор: не хотелось ему волынки со следствием заводить, но в службе он старался.— Пики были при них?

— Нет, ваше благородие, пик не было.

— Ну, значит, обознался ты, братец,— с облегчением сказал майор.— Донцы сплошь пиками вооружены.

— Очень возможное дело, однако — разъезд. Разъезд и без пик выезжает, встречали мы, которые без пик.

Майор нахмурился, размышляя. Мужик был умен и, главное, самостоятелен: не тянулся, не поддакивал. Такой и далее мог утверждать, что убили донцы, и майор боялся неприятностей.

— А девочка что говорит?

— Молчит: страх — он надолго. А может, по-нашему не понимает.

— Слушай, братец, на Войско Донское поклеп возводить — сам знаешь, чем пахнет. Тут ведь доказательства нужны, а где они?

— Знамо дело: не пойман — не вор. Да и покойников обратно не воротишь, хоть сто комиссий наряжай, только...— артельщик помолчал, с какой-то особой, точно предупреждающей, твердостью выдержав майорский взгляд.— Только кибитка та — она девочке принадлежит. Надо бы так сделать, чтобы интендантство ее не отобрало. Бумагу какую, что ли.

— Сделаем! — с облегчением сказал майор.— У меня маркитант знакомый: выдам тебе доверенность на продажу, а деньги — ей. Согласен?

— Пойдет,— сказал артельщик.— Главное дело, ваше благородие, чтоб мороки поменьше. И вам и нам.

— Вот и столковались, сейчас бумагу тебе выправлю.— Майор пошел к дому, остановился, строго погрозил пальцем: — Гляди не продешеви!

— Это уж не извольте беспокоиться,— улыбнулся в бороду мужик.

Иван был поглощен гибелью Захара, похоронами, собственным горем и собственными мыслями и без возражений согласился с доводами майора, что во всем виноваты башибузуки. Довольный прекращением замаячивших на горизонте осложнений, майор с воинскими почестями похоронил Захара, вполне пристойно опустил в соседнюю могилу торговца, написал донесение в 29-й казачий полк о геройской гибели Георгиевского кавалера Тихонова и выдал артельщику доверенность на продажу кибитки, лошади и товара.

— А девочку лучше здесь оставить,— сказал он Ива-

ну.— Ей сейчас женский уход нужен, я уж и с батюшкой местным договорился.

— Благодарю, господин майор. На возврате возьму с собой.

— Помилуйте, Олексин, куда вам такая обуза?

— Это не обуза. Это — воля моего дяди.

Наутро обоз двинулся далее, оставив девочку на попечении добродушной матушки и множества женщин, близко к сердцу принявших трагедию ребенка. В Булгарени Иван сдал муку и получил обратный груз, который приказано было доставить в Кишинев. Пока он отчитывался и принимал, артельщик Андрон Кондратьев, долго и настырно торгуясь, продал маркитанту кибитку с товаром и лошадью и, очень довольный сделкой, принес деньги Ивану.

— Хитер бобер, да не на таковского напал. Я ведь что сперва-то сделал? Я по первости, значит, цены разузнал и стою на своем. Он верть-круть да круть-верть — ан, а коса на камне. Вот, Иван Иванович, сочти.

— Спасибо, Кондратьич. Что нам с девочкой делать, как советуешь? Ну, до Кишинева, а дальше? Одну в Смоленск не отпустишь.

— Знамо дело, что не отпустишь. А ты с тем, с генералом, поговори. Ну, что приглашал-то тебя на переправе.

На обратном пути взяли девочку. За то время она пришла в себя, но почти ничего не помнила, да ее и не расспрашивали. Говорила она по-гречески и совсем немного — по-румынски, и имя ее звучало незнакомо, почему погонцы тут же и переиначили его в Алену. Мужчин она поначалу боялась, сразу же сжимаясь в комочек, но быстро признала артельщика, с которым и ехала, а вскоре начала — застенчиво, одними глазами — улыбаться Ивану. Иван почему-то смущался, начинал хмуриться и говорил кратко. А Андрон Кондратьев разговаривал с нею постоянно, нимало не смущаясь, что она его не понимает.

— Заговорит. По-русски ведь я с нею, чего уж проще.

Заговорить Леночка, правда, не заговорила, но понимать стала многое, легко запоминая слова. В пути телегу, где она ехала, непременно сопровождал кто-либо из погонцев. Тыкая кнутовищем, объяснял:

— Небо. Это — земля. Ну-ка, скажи: зем-ля. Землица. По ней ездиют. Бьют ее, режут, ломают всяко, а она — кормит. Так-то.

На привалах ей старались приготовить что-нибудь повкуснее артельного кулеша. Никита — уже седой, уже не только глава многочисленного семейства, но и дед,— раздобыв у болгар материи, сшил девочке рубаху, кофточку и

сарафан, и в Свиштов она въезжала стихийно удочеренной двумя десятками обутых в растоптанные лапти, добрых и дружных русских мужиков.

— Вы к генералу тутошнему обещались,— напомнил Ивану артельщик.— Ступайте себе, а мы покудова переправимся. Только Аленку не берите: ей смущение, да и вам покойней будет.

Добродушный, экспансивный Рихтер долго не мог успокоиться. Метался по комнате, хватался за седые космы, вдруг бросался обнимать Ивана, смахивал слезу, трубно сморкался и снова начинал бегать.

— А все — кровь, кровь! Кровь будит зверя в человеке, зверя, загнанного в нутро нашей верой во искупление грехов и страхом пред гневом Господним. Ах, Иван Иванович, Ванечка, если так старику позволите, всю жизнь в мундире, всю жизнь отечеству служу, а войн всею душой своей не приемлю. Да вы пейте вино, Ванечка, пейте. Оно местное, виноградное, хмелю в нем нет — одна влага живительная,— генерал взял глиняную кружку (стол был накрыт по-бивачному, без излишеств), поднял.— За упокой души дядюшки вашего, принявшего мученическую, но, смею утверждать, благороднейшую смерть. Да зачтется это ему пред Господом и да будет ему пухом несчастная болгарская земля,— выпил до дна, отер седые усы, горестно помолчал.— Ах, как же легко зверя в человеке разбудить, ежели б знали то народов правители. Как легко, как незаметно чаша ядом переполняется. Война убийство разрешает, война всю, всю Нагорную проповедь перечеркивает: вот о чем думать надо, прежде чем «пли!» командовать. Куда потом человек пойдет, когда руки его кровью обагрены? Какой дорогой, с каким сердцем, с какой отравой в душе своей? И ведь не просто пойдет, а и других заражать примется, хвастаясь, как он людей убивал и как кресты ему за это давали.

Рихтер сел к столу, подпер ладонями седую голову и тяжело задумался. Иван молчал, ожидая, когда же наконец генерал сам коснется того вопроса, ради которого, собственно, он пришел сюда. Вопрос относился к дальнейшей дороге девочки, поскольку судьбу ее Иван уже решил и сейчас хотел заручиться поддержкой, рекомендацией или хотя бы дельным советом обладающего властью и влиянием человека. Но Рихтер угнетенно молчал, и Иван, осторожно кашлянув, собрался было начать сам, но старик неожиданно вновь перехватил разговор.

— Утром панихиду отстоял в церкви Всех Святых. Молодая вдова, тягостные слезы, и единственное, что хоть как-то примиряет с неизбежностью,— героическая гибель

мужа. Может быть, слыхали о подпоручике Тюрберте? Газеты писали, сам государь при отпевании присутствовать изволил,— он вздохнул.— Да, немногое нам в утешение остается, немногое и неуловимое: память. А пройдет время, помрут современники, истлеют газеты, погибнут новые герои — и все сотрется в памяти людской.

— Кроме памяти, есть еще воля покойного,— не очень кстати сказал Иван, конфузясь, что вынужден просить: как все Олексины, он не умел да и не любил этого.— Дядя завещал мне позаботиться о девочке. До Кишинева-то я ее довезу, а как дальше? Я оставить службу не могу, а одну ее...

— Ни-ни-ни!..— Рихтер строго погрозил пальцем.— И одну отправлять нельзя, и в Кишинев тоже, знаете, не стоит с обозом. Тут подумать нужно, подумать.— Он прошел в угол, к заваленному бумагами столику, порылся.— Девочке женщины нужны, а особливо после этакого потрясения. Военно-временные госпитали нам не помогут, а вот добровольческие отряды...— он продолжал рыться в бумагах.— Там и женщин побольше, и служба повольготнее: могут специальную провожатую отрядить. Вот! — он торжественно потряс найденной наконец-таки бумагой.— Сообщение о прибытии санитарного добровольческого отряда братьев Рожных. Отряд-то еще в пути, но первая группа уже здесь. Я вам рекомендацию напишу, и вы завтра же к ним зайдите. Старшая там...— он сосредоточенно потер лоб.— Фамилия из головы выскочила. Помню, что Марией Ивановной зовут, а более ничего не помню: в поспешности повстречались, мельком.

Наутро Иван, взяв девочку, выехал в добровольческий санитарный отряд братьев Рожных, имея на руках письмо генерала Рихтера. Его встретила пожилая строгая дама в черном глухом платье с красным крестом на рукаве. Ему сразу показалось, что это не начальница, и он, от растерянности так и не представившись, сразу спросил старшую.

— Мария Ивановна выехала встречать отряд, вернется вместе с ним. Что вам угодно?

Дама говорила сухо, смотрела неприветливо, и Иван ощутил неуверенность и внутреннее раздражение.

— Его превосходительство генерал Рихтер просил передать письмо.

— Оставьте, я передам.

Дама взяла письмо, не глядя, отложила в сторону и снова строго и холодно уставилась на нескладного юношу в пропыленной, латаной-перелатаной солдатской рубахе. Иван увял окончательно, хотел было уходить и уже взял девочку

за руку, но именно оттого, что взял ее руку в свою, ощутив и детское тепло, и мягкую нежность покорного его воле существа, вдруг вновь обрел решимость.

— Мои затруднения, а также просьба генерала Рихтера изложены в письме,— сказал он с резковатой ноткой в голосе.— Я убежден, что просьба эта будет исполнена. Однако служба требует моего отъезда, почему я вынужден обратиться к вам за разрешением оставить эту девочку здесь до возвращения вашей старшей.

Он ожидал отказа, в крайнем случае — занудных возражений, но строгая дама тотчас же согласно кивнула и протянула руку девочке.

— Пойдем со мной. Как тебя зовут?

Темные длинные глаза девочки, широко раскрывшись, стали вдруг совсем круглыми. Мгновенно повернувшись спиной к строгой даме, она двумя руками вцепилась в Ивана, уткнувшись лбом ниже груди, куда-то под вздох.

— Да что ты, Леночка, что ты? — дрогнувшим голосом сказал Иван, с трудом отцепив детские руки и присев, чтобы оказаться лицом к лицу.— Я вернусь за тобой, понимаешь? Как тогда вернулся, в Болгарии.

Кажется, девочка поняла. Глубоким, совсем не детским взглядом глянула в глаза, прижалась на миг щекой к его щеке и послушно пошла к пожилой даме, по-детски, кулаками, вытирая слезы.

— Девочка — сирота,— счел нужным пояснить Иван.— Впрочем, все изложено в письме.

— Не беспокойтесь более за нее.

— Благодарю,— Иван помолчал, добавил поспешно: — Могу ли я оставить записку Марии Ивановне?

— Прошу вас. Бумага — на столе.

Дама вышла, ведя за руку притихшую, съежившуюся девочку. Иван вздохнул, сел к столу и начал писать:

«Милостивая государыня Мария Ивановна!

По обстоятельствам службы я лишен возможности лично засвидетельствовать Вам свое нижайшее почтение. Положение мое крайне затруднительно, ибо я без Вашего на то соизволения оставил на Ваше попечение сиротку, за спасение которой заплатил жизнью мой дядя. Во исполнение его последней воли осмелюсь просить Вас, глубокоуважаемая Мария Ивановна, принять посильное участие в судьбе несчастного ребенка, препроводив его при ближайшей оказии к моей тетушке в Смоленск (Кадетская, дом Олексиных). Подробности этой трагедии, а также личная просьба по сему вопросу изложены в письме его превосходительства генерала Рихтера. Я лишь осмеливаюсь просить Вас об одной особой милости: по возможности ускорить разрешение этого затруднения.

Остаюсь заранее благодарный и вечно преданный Вам
вольноопределяющийся вспомогательной службы
дворянин Иван Олексин».

6

«По случаю неудавшейся вчерашнего числа вылазки за водою, выдать раненым, больным и детям по половине крышки воды, а остальному составу гарнизона по ложке».

Капитан Штоквич писал приказ № 19 от 24 июня 1877 года. Точнее, не писал, а с величайшим напряжением пририсовывал букву к букве, и буквы эти все время сливались в глазах. Написав слово, он откладывал карандаш и долго отдыхал.

Но и этот полуобморочный отдых был мучителен. Шел девятнадцатый день осады, и застоявшийся воздух цитадели насквозь пропитался тяжким смрадом разложения, проникавшим даже сквозь плотные двери казематов. Липкая вонь гниющих под стенами человеческих останков стала настолько непереносимой, что часовые зачастую теряли сознание не от жажды и изнурения, а просто надышавшись ею, и комендант обязал офицеров обходить вверенные им участки каждый час. Содрогаясь в рвотных потугах, офицеры бродили от поста к посту, цепляясь за камни и отдыхая после каждых пяти ступеней, точно были не молодыми людьми, а глубокими старцами в грязных, изодранных мундирах, мешками висевших на исхудалых телах. Хотелось все время неудержимо дышать ртом, но рот мгновенно пересыхал, а воды доставалось по глотку на сутки.

Вода... Штоквич видел, слышал и думал о ней постоянно. Он никогда и представить себе не мог, что вода — самое главное, сама основа жизни: важнее хлеба, пороха, патронов. Даже та, которую добывали они ценой гибели товарищей. Даже она — вода Баязетской осады. Никто никогда за всю историю не пил такой воды, ни один самый изощренный алхимик не смог бы изготовить ее: никто — кроме врагов.

Уже на четвертый день осады турки запрудили ручей, протекавший у стен крепости, свалив в него мертвых лошадей, всевозможную падаль, отбросы, дохлую скотину и людские трупы. Доставляемая оттуда вода уже перестала быть жидкостью: это было нечто студенистое, жирное, кишевшее червями. И это «нечто» распределялось приказом коменданта по ложке на человека.

В самом начале «Баязетского сидения» Штоквич спустился в дальние подвалы, где размещались укрывшиеся в крепости мирные жители. Оглядел смутные, еле различимые в слабом свете отдушин лица, смотревшие на него с ожиданием, мольбой и страхом, сказал скрипуче:

— У меня нет ни пищи, ни воды. Я беру на госпитальное довольствие только детей. Взрослые могут рассчитывать на

помощь лишь в том случае, если будут работать: женщины — в госпитале, мужчины — на ремонтных и общих работах. Предупреждаю, что денег в крепости не существует: первого, кто попытается купить продовольствие, а тем паче — воду, я расстреляю без суда, будь то мужчина или женщина. Ваш труд на общее дело есть ваша единственная плата за пищу и воду.

Он пришел не потому, что пожалел тех, кто отдал себя под его защиту: ему было не до сострадания. Он боялся вспышки эпидемии, остро нуждался в рабочих руках, и требовал помощи. Общего труда на общее дело: только так можно было выжить, выстоять, вытерпеть все, отбить штурмы и либо дождаться своих, либо... Либо на возможно больший срок приковать к Баязету осаждавших.

А Гази-Магома Шамиль не уходил. Он ждал своего часа, и Штоквич, каждое утро обходя стены, со злорадным торжеством видел в отдалении его бунчуки и знамена. Труп князя Дауднова все еще висел над воротами, приковывая Шамиля к Баязету крепче любой клятвы.

С обстрелами, которым крепость подвергалась каждый день, стало легче. Поручик Томашевский с помощью солдат сумел-таки втащить одно орудие на второй этаж и неожиданно в пух и прах разнес турецкую батарею на господствующей возвышенности. А другая его пушка, заряженная картечью, так и осталась во дворе, угрюмо уставив жерло в заваленные плитами ворота. На случай штурма возле нее постоянно дежурили артиллеристы, но турки медлили с приступом, выжидая, когда, сломленный жаждой, голодом и болезнями, гарнизон сам сложит оружие.

— Не беспокойтесь, господин капитан, они не уйдут отсюда,— говорил Таги-бек Баграмбеков.

Но Штоквич уже думал не столько о Шамиле и курдах, сколько о том, дошел ли до своих Тер-Погосов. Он хотел верить, что дошел: молодой человек представлялся ему уравновешенным, отважным и разумным — но ни от генерала Тергукасова, ни со стороны других русских войск до сей поры не поступало никаких известий. Жаркий, безветренный ад висел над обезвоженной, глухой, умирающей крепостью. Комендант вызвал охотников, отобрал двоих и разными путями направил их к Тергукасову. Один — как в воду канул, а голову второго перебросил в крепость подскакавший к стенам джигит Шамиля. После этого Штоквич уже перестал верить в спасение, но долг оставался долгом.

Штоквич закончил приказ, подписал, отложил карандаш и надолго замер, прикрыв ввалившиеся глаза. Потом с

усилием очнулся и так же мучительно медленно написал еще один приказ:

«Выдать коменданту крепости капитану Штоквичу крышку...— тут он задумался, но исправлять не стал и закончил: — ...воды для особых нужд гарнизона».

Написав, комендант тяжело поднялся и, шаркая ногами, вышел из каземата. Стоял безветренный день, иссушающий, наполненный разложением зной висел над пустой, точно вымершей, крепостью. Никого не было ни в переходах, ни в крепостных дворах: дежурные части лежали на стенах, отдыхающие — в казематах или в тени, и по цитадели, покачиваясь и задыхаясь, бродили только те, кому службой вменено было бродить: командиры.

В тени сидел дежурный по гарнизону войсковой старшина Кванин. Штоквич опустился рядом, молча протянул первый приказ. Кванин прочитал его, сунул в карман. Сказал, помолчав:

— С минарета солдат бросился.

— Свалился?

— Унтер говорит: сам. Перекрестился, «не поминайте, мол, братцы, недобрым словом» и — вниз головой. Это уж третий, капитан.

— Ставьте, которые покрепче.

— А где их взять, которые покрепше? — Кванин опять помолчал: язык распух, стал шершавым, негнущимся, и разговаривать было мучительно.— Казаков ставить буду.

Штоквич молча кивнул. Посидел без дум, отдыхая. Посмотрел на зажатый в кулаке второй приказ, грузно поднялся.

— Я — в лазарет. Потом буду у себя.

— Кого за водой пошлем?

— Зайдите к вечеру, подумаем. Чтоб наверняка, иначе...

Он не договорил, расслабленно кивнул Кванину и зашаркал по внутренним коридорам. Добравшись до каземата, в котором хранилась вода, предъявил караулу — караул здесь несла особая команда из унтер-офицеров и сверхсрочных казаков — второй приказ, получил котелок, в который отмерили ровно одну крышку густой, дурно пахнувшей жидкости, и побрел к лазарету, неся котелок двумя руками, у груди, потому что боялся упасть и уронить его. Дойдя до лазарета, он не зашел в него, а свернул напротив, в жилые помещения, где размещался Максимилиан Казимирович Китаевский, младший врач 74-го пехотного Ставропольского полка.

Он тоже писал, точно так же дрожащей, неверной рукой приставляя букву к букве. Писал свидетельства о ранениях,

писал санитарные рекомендации, писал скорбные листы — писал и писал, пока еще были силы водить карандашом, по-своему, с точки зрения врача, стараясь не только запечатлеть мучительный подвиг гарнизона, но и помочь тем, кто придет потом, через много лет, коли и им выпадет горькая доля осажденных:

«...на пятые сутки возникают зрительные и слуховые галлюцинации, кожа сохнет и лущится и обвисает складками. И силы убывают быстро...»

Когда вошел Штоквич, Китаевский попытался встать, но лишь качнулся и горестно затряс головой.

— Ноги более не держат.

— Как же вы пули извлекаете?

— На коленях. На коленях еще могу.— Китаевский пожевал сухими губами, старательно отводя глаза от котелка: он видел, чувствовал, чуял воду.— Трое умерло от ранений, двое — от общего истощения, а еще один сошел с ума. Воду везде видит, песок пить пытается. Рот песком забил и смеется.

Он замолчал. Штоквич сел напротив, осторожно поставив на стол котелок. Китаевский часто задышал, задергал лицом, отвернулся.

— Вы нарушаете мой приказ, младший врач Китаевский,— тихо сказал капитан.— И нарушаете систематически.

— Какой приказ?

— Вы не пьете ту порцию, которую я отпускаю приказом по гарнизону.

— А вы — пьете?

— Я пью. Ровно столько, сколько положено каждому без различия чинов и званий.

— Вы — сильный,— Китаевский попробовал улыбнуться, на треснувших губах сразу показалась кровь.— Вы — сильный, а я — слабый. Я не могу пить, когда кричат дети. У двух кормящих женщин пропало молоко. Им нужна вода, Федор Эдуардович, у них кричат дети.

— У меня нет воды.

— А у меня есть: целая ложка. И я ее отдаю. Я отдаю им свою ложку воды, потому что если умирают дети, то все бессмыслица.

— Новых нарожают,— думая об ином, сказал комендант.

— Новых детей не бывает,— горько покачал головой Китаевский.— Ни новых, ни старых: дети всегда только дети. Будущие человеки. Они ничего не смыслят ни в долге, ни в чести, ни в славе. Зачем вы спасали их от курдов? Чтобы уморить жаждой? Так ведь в костре умереть легче, скорее!

— Пейте,— Штоквич осторожно переставил котелок.— Пейте при мне.

— Н-нет,— Китаевский судорожно, с трудом проглотил колючий, раздиравший воспаленную гортань ком.— Я не могу. Не могу пить, когда у матерей пропадает молоко и груди ссыхаются, как сушеные груши. Не мучайте меня, Штоквич. Отнесите им воду, а меня оставьте. Я хочу описать коллегам некоторые личные ощущения.

— Кроме этих матерей, есть еще одна, общая мать для всех нас,— сказал Штоквич.— Вы — обрусевший поляк, я — обрусевший литовец, Чекаидзе — грузин, а Гедулянов — русский. Но у всех нас одна мать — суровая, холодная, но родная — Россия. И от ее имени я, комендант крепости, приказываю вам выпить эту воду.

Китаевский медленно покачал головой. Штоквич вздохнул, спросил вдруг:

— Вы мне верите? Мне лично — верите?

— Верю.

— Даю вам слово, что с завтрашнего дня все кормящие матери будут получать ровно столько воды, сколько вы выпьете сейчас. При мне.

Максимилиан Казимирович пристально глянул на него сухими, горячечными глазами. Штоквич выдержал взгляд и двумя руками, как величайшую из драгоценностей, протянул котелок. Китаевский вдруг схватил этот котелок, мучительно давясь и булькая, выпил. И пока он пил, Штоквич, стиснув зубы и призвав всю свою выдержку, не отрывал от него глаз. И с последним его глотком непроизвольно сглотнул сухой, рвущий горло комок. И заставил себя улыбнуться.

— У вас слезы, Максимилиан Казимирович. Ай-ай, как ослабли.

— Это не слезы,— тяжело передохнув, строго пояснил Китаевский.— В обезвоженном организме нет слез, я написал об этом в своих заметках. Знаете, я — маленький врач, неудачник и недоучка, но для коллег — все что мог. Может быть, пригодится. А это,— он смущенно потер пальцем уголки глаз,— соль выступает. Кристаллики соли. В Баязете плачут солью, Федор Эдуардович,— он слабо улыбнулся, и опять на иссохших губах показалась кровь.— У меня ощущение, будто я выпил шампанского. Кружится голова, покалывает во всем теле... и хочется спать.

— Отдыхайте, Максимилиан Казимирович.— Штоквич взял котелок и пошел к дверям.

— Вы верите в Бога? — вдруг спросил Китаевский.

— Не знаю,— Штоквич неуверенно пожал плечами.— Я верю в людей, которыми командую.

— А я верую в него больше, чем прежде. У меня большая семья, очень большая. Она будет молиться за вас каждый день, капитан Штоквич.

Лицо Китаевского сморщилось, плечи затряслись в бессильной попытке разрыдаться. И в уголках глаз вновь остро блеснули кристаллики соли: сухие слезы Баязетской осады.

Выйдя от Китаевского и плотно закрыв дверь, комендант воровато оглянулся и, дрожа всем телом, старательно вылизал весь котелок жестким, как пергамент, покрытым язвами и трещинами языком. На стенах оставалась еще тонкая пленка влаги, и он ловил, всасывал, втягивал ее в себя.

В комнате Штоквича ждал Гедулянов. Он высох, рваная, грязная форма висела на нем как на вешалке, а в черной бороде впервые появилась седина.

— Тая умирает,— глухо сказал он.

Штоквич повесил на гвоздь фуражку, расслабил ремни, сел за стол.

— Умирает Тая,— без интонаций, словно про себя, повторил Гедулянов.

— У нас нет воды.

— Она все равно не может ее пить. Даже то, что ей положено. Ее рвет. Мучительно, до судорог. Это же не вода, Штоквич, это какой-то... холодец из тухлятины.

— У меня в резерве — два ведра этого холодца, капитан. Для детей и раненых, если сегодня вылазка опять будет неудачной.

— Будет! — Гедулянов зло сверкнул глазами.— Будет неудача, потому что мы ходим за водой точно по расписанию, которое прекрасно изучили турки. Вы слишком большой педант, Штоквич, для вас порядок дороже целесообразности.

— А вы предлагаете импровизацию?

— Я предлагаю провести вылазку днем, в пять часов.

— Самый зной,— вздохнул Штоквич.

— И в этот зной турки заваливаются спать. Я три дня наблюдал за ними: оставляют двух наблюдателей и уходят дрыхнуть в тень. Наблюдателей снимут пластуны, а от возможной атаки меня прикроют стрелки Проскуры.

— Вас прикроют?

— Да, меня: я сам возглавлю вылазку за водой, это мое первое условие.

— А второе?

— Второе? — Гедулянов помолчал.— Оно не второе, оно — главное: лишняя фляжка воды, которую вы не учтете.

— Но Таисия Ковалевская не может пить этот компот из падали.

— Я проберусь выше по течению, где свежая вода.

— Где полно курдов и нет возможности прикрыть вас огнем.— Комендант подождал, ожидая возражений, но Гедулянов угрюмо молчал.— Вы любите Ковалевскую? Извините, я не могу иначе объяснить ваше безрассудство, капитан.

— Больше жизни,— хрипло сказал Гедулянов.— Больше своей жизни, Штоквич, чтобы не звучало так красиво.

— Понятно,— Штоквич устало потер заросшие щеки.— Я согласен, но у меня тоже есть условие. Вы пронесете две фляжки, которые я не учту. Вторую отдадите Китаевскому. Найдите Кванина, Гвоздина и юнкера: обсудим.

Дневная вылазка удалась. Разомлевших от зноя наблюдателей без шума кинжалами сняли казаки, а когда турки опомнились, последние водоносы уже скрылись в траншее, что вела к отхожим местам цитадели. Однако Проскура навязал противнику перестрелку и вел ее, пока не вернулся Гедулянов. На нем был старательно перепачканный землей, глиной и кирпичной пылью госпитальный халат, которым он прикрыл от посторонних глаз две доверху наполненных фляги.

— Пей,— говорил он Тае.— Это чистая вода, я вверху брал.

Сделав несколько судорожных глотков, Тая пила теперь медленно, сдерживая себя. Бледное лицо ее чуть порозовело, и даже в потускневших глазах затеплился отблеск прежнего огонька. Глядя на нее, Гедулянов испытывал необыкновенное, доселе никогда неведомое счастье. Оно настолько переполняло его, что он не мог смотреть спокойно, а все время теребил бороду, гладил лоб или потирал руки. И — улыбался в густую, совсем еще недавно черную бороду.

— Теперь я смогу поплакать,— сказала вдруг Тая.— Нам, женщинам, иногда очень нужно поплакать. Особенно — от счастья.

— От счастья?

Он почти не понимал, о чем она говорит: он только слушал ее голос. Слушал и улыбался.

— От огромного счастья, дорогой мой, родной, единственный мой Петр Игнатьевич. Теперь мы не расстанемся никогда, никогда в жизни не расстанемся, слышите? Только не подумайте, пожалуйста, что я навязываюсь, я просто буду жить рядом, нянчить ваших детей, ухаживать за вами...

— Тая,— он неуклюже опустился на колени, поймал ее руки, спрятал в ладонях свое косматое, грязное лицо.— Я никому не отдам тебя, Тая. Я не могу отдать тебя. У меня ничего нет, я — простой пехотный офицер, ты знаешь, но я... Я не могу без тебя.

— Господи,— со стоном прошептала Тая.— За что же мне такое счастье? За что, Господи?..

В тот день они не знали, что до освобождения оставалось всего четверо суток. Из всех посланцев Штоквича до своих добрался один Тер-Погосов. Об осаде Баязета узнали быстро, но сил было мало, измотанные маршами, войска Тергукасова нуждались в отдыхе и пополнении. Генерал бросил к Баязету конницу Кельбалы-хана, но она не смогла преодолеть турецкий заслон. Лишь 26 июня Тергукасов выступил со всеми силами.

28 числа после восьмичасового боя противник был разгромлен наголову. Заслышав стрельбу, Штоквич приказал открыть ворота. Их разбаррикадировали, распахнули, очистили площадку от разложившихся трупов и выкатили орудие. Пока поручик Томашевский громил со второго этажа турецкие цепи, его старший фейерверкер Яков Егоров картечью расстреливал отступающих в панике черкесов Шамиля; курды бежали в горы после первых же залпов.

Когда Тергукасов вошел в распахнутые ворота крепости, в первом дворе его встретил выстроенный гарнизон. Возле знамени 2-го батальона 74-го пехотного Ставропольского полка стоял капитан Гедулянов, поддерживая сестру милосердия Таисию Ковалевскую. Генерал принял рапорт Штоквича, до земли поклонился защитникам и обнял коменданта.

— Поспеши с представлением. И никого не позабудь. Никого, слышишь?

Вечером того же дня капитан Штоквич писал последний приказ № 23 от 28 июня 1877 года. Он не надеялся на память, все время роясь в приказах и донесениях, стараясь вспомнить каждый из страшных дней осады. Приказ получался длинным, а ему все казалось, что он перечислил не всех, кто достоин награды. И потому это был единственный из приказов коменданта, рыхлый по стилю, нескладный по содержанию и непривычно многословный.

«...а в особенности я должен поблагодарить за неусыпную бдительность, труды и распорядительность заведующего 2-го батальона 74-го пехотного Ставропольского полка капитана Гедулянова...

...казачьих командиров войскового старшину Кванина и сотника Гвоздина...

...сестру милосердия Таисию Ковалевскую...

...командира 4-го взвода 4-й батареи 19-й артиллерийской бригады поручика Томашевского...

...командира роты Ставропольского полка поручика Чекаидзе...

...младшего врача 74-го пехотного Ставропольского полка Китаевского...

...юнкера Леонида Проскуру...

...старшего фейерверкера Якова Егорова...

...состоявшего при мне переводчиком Таги-бек Баграмбекова...

...а также всех нижних чинов пехотных и казачьих частей...»

Написав приказ, капитан еще раз внимательно сверил его с документами, опасаясь, не упустил ли кого, и только после этого подписал.

И лишь одной фамилии не было в этом приказе-перечне, который шел на представление к наградам,— фамилии самого коменданта цитадели капитана Федора Эдуардовича Штоквича.

Глава шестая

1

В последних числах июля небольшой особняк на одной их тихих улиц Бухареста внезапно ожил, засветился окнами, заскрипел заржавевшими петлями. Хозяин его, разбогатевший на транзитной торговле, еще в январе уехал в Париж, но, несмотря на вызванное войной вавилонское столпотворение в городе, на особняк этот никто доселе не посягал, поскольку владелец заломил за аренду совершенно сумасшедшие деньги. Однако к означенному времени нашлась-таки мошна, выдержавшая запрошенное без торговли; особняк был снят на полгода, и до приезда нового хозяина распоряжался в нем шустрый человечишка Евстафий Селиверстович Зализо.

Поначалу Варя наотрез отказалась переезжать. В Кишиневе ее двусмысленное положение было еще терпимым: кругом было полно русских семейств, а рядом находился Федор, который там, за рубежом, задерживаться не собирался, поскольку вместе с ними ехал штабс-капитан Алексей Николаевич Куропаткин, обещавший протекцию. И если для Федора Бухарест был лишь пересадкой, то для Вари он казался тупиком, в котором она оставалась без брата, без знакомств и даже без возможности по собственному желанию уехать домой, в Россию.

В Кишиневе она освоилась быстро. Роман Трифонович вел себя безукоризненно, был внимателен, ненавязчив и, хотя и позволил себе накупить уйму драгоценностей (носить которые она категорически отказалась), ни на чем никогда не настаивал. До ее отказа ехать с ним в Бухарест.

— Колеса мои заскрипели что-то,— вздохнул он.— Поглядеть надо, где застопорилось: то ли подмазать, то ли из

грязи вытолкнуть, то ли подпрячь кого. Это только на месте решить можно, а потому не обойтись мне без вас, Варвара Ивановна. Никак не обойтись — дело под гору покатится.

Если бы он уверял, что дня не может прожить один, если бы умолял *для себя*, Варя не согласилась бы на еще одно и куда более позорное унижение. Но он беспокоился о деле, просил помочь, нуждался в ней, и Варя, поколебавшись, дала согласие. И через неделю засветился огнями заброшенный особняк румынского богатея.

Вскорости по прибытии в Бухарест Хомяков навестил Варю в отведенной ей половине, был угрюм и озабочен.

— Варвара Ивановна, нижайшая и обязательная просьба: будьте хозяйкой ужина. Ожидаю гостей, мне весьма нужных, которых надобно принять со всей любезностью.

— Сударь, это невозможно.— Варя встала, прошлась по гостиной, нервно теребя руки.— Вы представьте мое положение.

— Нет, уж вы сперва наше,— он резко подчеркнул последнее слово,— положение представьте. Нащупал я стену, в которую все дело уперлось. Крепкая стеночка, лбом такую не прошибешь. Такую только обойти можно, и тут уж я на вас уповаю. Плетите им, что хотите, только думать не давайте. Они ведь на меня как на мужика смотрят, а надо, чтоб мужик этот им своим показался. Вот какая задачка, Варвара Ивановна, задачка, которую без вас не решишь, так что готовьтесь любезной быть. Отменно любезной, без сучка и задоринки.

Поспорив немного, Варя сдалась. Не потому, что Хомяков был настойчив, а потому, что поняла его озабоченность и уже не могла, не имела права отказать в помощи. И хотя роль ее была оскорбительна, а положение двусмысленно, она решительно приказала себе обо всем забыть и стала готовиться к предстоящему приему.

Первым гостем оказался Алексей Николаевич Куропаткин, чему Варя очень обрадовалась. Куропаткин был умен, приветлив, дружелюбен, и их кишиневское знакомство быстро и без натуги переросло в дружбу. Следом прибыли экипажи с Александрой Андреевной Левашевой, князем Насекиным и Лизонькой с мужем — весьма напыщенным генералом из того сорта людей, что получают чины и ордена за умение своевременно говорить своевременные слова. О приглашении Левашевой с братом Варя знала, но появление Лизоньки было для нее полной неожиданностью. Она тут же вспомнила их последнее свидание, свою суетливую неуклюжесть и с ужасом ощутила, как начинает увядать ее живость сейчас. Но Лизонька рассыпалась в таких любез-

ностях, что Варя сразу поняла: здесь, в Бухаресте, их роли поменялись местами.

— Я так рада, так счастлива видеть вас в этом противном городе, дорогая Варенька! Вы позволите мне называть вас столь дружески? О, мы же знакомы целую вечность, я помню ваше прелестную усадьбу. А здесь у вас — дворец. Шик, просто шик! О, Федор Иванович, очень, очень рада вас видеть.

Левашева была сама приветливость: расцеловалась с Варей и все время подчеркивала их особое семейное знакомство. Князь молча улыбнулся одними губами, но при этом поцеловал руку, что больно кольнуло Варю. Она сразу напряглась, ожидая язвительных намеков, но Насекин молча прошествовал к мужчинам. Зато генерал хрипло зарокотал, едва успев раскланяться:

— Слышали новость, господа? Светлейший князь Имеретинский демонстративно отказался от службы при государе и пожелал в строй. Положительно эти грузинские царевичи до сей поры ничему так и не научились.

— Может быть, князь хочет восполнить этот пробел на поле боя? — с улыбкой спросил Куропаткин.

— Вежливости там не научишься,— сердито сдвинул брови генерал.— Учтивость есть первейший признак истинного благоговения перед монархом, а не гусарская бравада,— он вдруг понизил голос.— Кстати, та особа, присутствие которой было обещано вами, почтеннейший,— генеральская голова чуть отметила направление, где стоял Хомяков,— в свое время пострадала именно в связи с нарушением первейшего признака.

— Вы говорите о госпоже Числовой? — холодно уточнил Роман Трифонович.— Она прибудет несколько позже. Напомните, чтобы я не позабыл вас представить.

— Благодарствую,— генерал заметно сбавил спесь.— Я был бы искренне рад засвидетельствовать глубокоуважаемой Екатерине Гавриловне мое нижайшее почтение за то благородное терпение и достоинство, с которыми она несла свой крест.

Генерал спешил засвидетельствовать свое почтение бывшей танцовщице Числовой вовсе не из сострадания к ее недавней опале и ссылке, а потому, что она была «внебрачной супругой» великого князя Николая Николаевича-старшего и ныне вновь находилась в фаворе. Ее беспардонное поведение в Царском Селе возмутило императора, который тут же выслал ее в Лифляндию, потребовав от брата незамедлительного прекращения этой связи. Но к тому времени Числова успела нарожать детей, Николай Николаевич

любил ее и после удачного форсирования Дуная упросил государя простить зарвавшуюся фаворитку. Устроив домашние дела, Екатерина Гавриловна незамедлительно прибыла в Бухарест, где ее частенько навещал Николай Николаевич. Это последнее обстоятельство и объясняло нетерпеливое желание генерала быть представленным, а там и попытаться завязать более близкое знакомство с женщиной, имевшей большое влияние на самого главнокомандующего. Все это отлично понимали, но делали вид, что верят в искренность генеральских чувств.

— Несчастная женщина,— вздыхала Левашева.— Разлука с детьми, с горячо любимым человеком — ужасно, ужасно. Сколько мук, сколько мук!

— Можно подумать, сестра, что ты говоришь о боярыне Морозовой,— желчно усмехнулся князь.— Тогда присовокупи к мукам и нагайку, которая всенародно была пущена в ход Николаем Николаевичем-младшим.

Князь говорил с бледной улыбкой, глядя при этом только на Варю. Этот холодный иронический взгляд лучше всяких слов давал понять, что Сергей Андреевич во всем уже разобрался: и в целях этого вечера, и в планах Хомякова, и в жалкой, двусмысленной роли самой Варвары. Она ощутила вдруг обессиливающую неуверенность, представив, что и остальные гости, поняв игру, включатся в нее со всей светской утонченной беспощадностью и что против этого союза бессильны и она, и улыбающийся Куропаткин, и сам Роман Трифонович.

— Это... Это чудовищно, на что вы намекаете, князь,— вспыхнула Лизонька.

— Грязные сплетни,— вельможно рокотал генерал.— Вы повторяете неприличную клевету, князь, и мне, право, странно слышать от вас этот пасквиль на всеми уважаемую даму.

— Возможно, генерал, возможно,— согласился князь.— Во всяком случае я расскажу о ваших сомнениях Николаю Николаевичу-младшему. Вполне вероятно, что я что-то напутал с той поры, как он мне рассказывал, и хлестал он не нагайкой, а стеком. Я плохо запоминаю детали, но обещаю вам уточнить их.

Онемел не только генерал, но и обе гостьи: Насекин совершенно изменил фронт атаки. При этом он и Хомяков оставались совершенно невозмутимыми; Куропаткин, подмигнув Федору, отвернулся, пряча улыбку, а Варя с трудом сдержала смех. И этот возникший в ней неудержимый, злой смех окончательно смыл с души все остатки не только неуверенности, но и волнения. Она отчетливо поняла, что

сегодня и генерал, и дамы будут льстить и угодничать, ибо, по их представлениям, дом, в который должна была прибыть сама Числова, был домом всесильным. И сила этого дома олицетворилась в тяжелой, мужицкой фигуре его хозяина. И Варя была свято убеждена, что силу подкрепляют совсем не миллионы Хомякова, а его воля, энергия, ум, умение не просто вести дело, но и бороться за него со всею страстностью и мощью характера. Нет, она не ошиблась в его ослепительной улыбке, в его зеленоватых, с хитрющим прищуром глазах, умевших так презрительно и властно смотреть на всех и с такой любовью — только на нее. Это мгновение оглушающей тишины стало мигом ее прозрения: она поняла, что не только он любит ее, но что и она — она, столбовая дворянка Варвара Олексина! — тоже любит этого уверенного, властного, сильного и решительного человека так, как и должна любить женщина,— на всю жизнь.

Все это мелькнуло, осозналось, и тут же Варя приказала всему исчезнуть: отныне она была настоящей хозяйкой, верной и преданной помощницей своего любимого, и потому легко повела разговор о Бухаресте, театрах, музыке — о том, о чем и следовало говорить, чтобы вывести гостей из транса. И все потекло по заданному руслу, потекло мило и свободно: Варя непринужденно болтала с дамами, Куропаткин о чем-то тихо спорил с Федором, Хомяков невозмутимо курил сигару, а генерал изо всех сил делал вид, что прислушивается к дамской болтовне. Однако ему было неспокойно — не от обиды (по его понятиям, осадить его мог только тот, кто стоял выше), а от прозрачного намека князя на дружеские отношения с сыном самого главнокомандующего. Как бы ни была отныне могущественна Числова, вызывать неудовольствие племянника государя, по меньшей мере, неразумно, и генерал, повздыхав и помаявшись, поднялся и начал ходить по гостиной, суживая круги, пока не оказался возле Насекина.

— Позвольте вопрос, князь. Вы — человек осведомленный. Когда же наконец Румыния вступит в войну?

— Она уже в нее вступила,— пожал плечами Насекин.

— Да, так сказать, номинально. Я же имею в виду непосредственное участие в боевых действиях.

— Вы пренебрегаете газетами, генерал. Они трубят на весь мир, что князь Карл намеревался лично сокрушить Османа-пашу.

— Газеты всегда преувеличивают.

— Однако направление указано верно. Третьего штурма Плевны не миновать, так почему бы нам не поделиться славою с тридцатитысячной румынской армией?

Разговор, затеянный генералом, заходил в тупик: Насекин отвечал весьма сухо. В поисках продолжения генерал начал было говорить о молодцах-солдатиках, на что князь вообще перестал реагировать. Из неудобного положения вывел неожиданно громкий голос Федора: он спорил с Куропаткиным и, как всегда, не выдержал тона.

— Равенство есть идеал справедливого общества, Алексей Николаевич, всеобщее равенство перед законом. А для этого необходимо прежде всего уничтожить сословия. Есть же, наконец, английская форма правления, когда монархия остается, но как символ, как знамя.

— Вы считаете, что Англия — идеал равноправия?

— Для нас — да! — с вызовом ответил Федор.

— Насколько мне известно, учение социалистов требует большего, Федор Иванович.

— При чем тут социализм! — отмахнулся Федор.— Я говорю не о перестройке общества, а лишь об улучшении существующего порядка. Произвол, нищета, казнокрадство, темнота и безграмотность — вот болезни отечества. Разве это не должно тревожить душу каждого честного человека?

— Кхе, кхе! — внушительно прокашлялся генерал.

Он решил, что пришло время реабилитировать себя в глазах присутствующих: Федор давал повод для отповеди. Однако князь опередил его, сознательно лишая возможности своевременно произнести своевременные слова.

— Мечтаете об идеальной державе, Федор Иванович? Я тоже, но мечта моя более радикальна: ликвидировать все виды доходов. Любыми средствами: выкупом поместий, акций, земель, предприятий или их насильственным отчуждением в казну — это детали, которые всегда можно оправдать государственной необходимостью. Важно все, решительно все — золото, драгоценности, земли, заводы и фабрики, рыбные ловли и саму рыбу, скот и недра земли — все сосредоточить в одних руках. А далее вы — сам Господь Бог. Вы — единственный кормилец целой страны, ценитель заслуг и талантов, вы — раздатель милостыни в виде жалования, единовременного пособия или пенсиона. У вас в руках — все мыслимое реальнейшее могущество: средства для жизни всего населения без различия сословий, чинов и званий. И вы разом покончите со всеми неприятностями — с возмущениями рабочих, строптивостью интеллигенции, бунтами мужиков и опасной самостоятельностью господ промышленников: есть-то всем хочется. Поверьте, правительство, которое первым осуществит это на практике, будет самым гениальным и самым всесильным правительством мира. И что самое парадоксальное, созданное на этой основе

государство — называйте его, как хотите, дело ведь не в словах — будет государством абсолютного равенства и общественной гармонии, ибо все равны перед куском хлеба насущного.

— Все это уже было, было, было! — почти с отчаянием выкрикнул Федор.— Вы смеетесь над нами, князь? Так признайтесь, и посмеемся вместе. А если говорите искренне, то зачем же зовете нас назад? Государство, воспетое вами как идеал, существовало в России в прошлом веке, когда все, решительно все, вплоть до жизни каждого подданного, было сосредоточено в руках монарха. И только указ Екатерины 1762 года положил конец этому варварскому абсолютизму. Это — идеал прошлого, а где же будущее, князь? Или, по свойству своего ума, вы способны лишь думать о том, что было вчера, и бессильны представить, что будет завтра?

— Завтра будет вчера,— улыбнулся Насекин.— История — это манеж, в котором скачут по кругу все те же лошади. Меняются лишь жокеи: старея, они уходят на покой, и новое поколение с энтузиазмом начинает брать те же барьеры. А в центре этой коловерти стоит некто, и бич в руках этого «некто» всякий раз подстегивает нового жокея. Жокей пришпоривает лошадь, лихо берет уже взятый его дедами и прадедами барьер и гордо именует собственный подвиг прогрессом человечества. Так что моя идея, Федор Иванович, столько же в прошлом, сколько и в будущем.

Насекин говорил с обычной ленцой, бесстрастно и незаинтересованно, будто читал нечто всем давно известное. И нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит, предлагает нечто наболевшее или иронизирует по поводу социальных утопий. И поэтому все некоторое время молчали: Федор хмурился, готовя новые аргументы; генерал растерянно соображал, Куропаткин улыбался, и только Хомяков оставался невозмутимым.

— Идея ваша блестяща, но, увы, неосуществима, Сергей Андреевич. В вашей схеме нет места для частной собственности.

— В этом весь смысл, Роман Трифонович. Бич — в одних руках.

— Не получится,— вздохнул Хомяков.— Разворуют: раз не мое, не соседа, так отчего же не украсть? А поскольку ценности накапливать смысла нет — капиталы-то вы запретили иметь, не так ли? — то нет и цели. И ворованное пропивать начнут, это уж не извольте сомневаться. И в третьем колене ваша идеальная держава выродится в скопище воров да пьяниц. Нет уж, Сергей Андреевич, вы уж, пожалуйста, в своей радикальной системе непременно мес-

течко для частного почина оставьте, а иначе — сопьются. И саму державу пропьют. Вместе с бичом.

— Любопытно,— холодно отметил князь.— Аристократия рождает бунты, а буржуазия — теории.

— Естественно,— улыбнулся Хомяков.— Буржуазии думать приходится.

— Не дай Бог вас к власти допустить: ведь, того и гляди, уничтожите нас, пожалуй.

— Уничтожим,— согласился хозяин.— Работать заставим.

— Не боитесь потерь при этом?

— Какие же потери, коли лишние руки к труду будут приложены? Тут не потери, а прямая выгода, даже если в руках этих и течет голубая кровь.

— Любопытно,— повторил князь, вздохнув.— Любопытны ваши заблуждения, Роман Трифонович. Умеете анализировать, думать, теории создавать, но все так, будто до вас и света Божьего не было. Будто появились вы на пустом месте, прикинули, как дом поставить, и начали котлован копать, не обратив внимания, что фундамент уже давно заложен.

— Какой же хозяин на старом фундаменте новый дом поставит?

— Он не старый, он — вечный, Роман Трифонович,— с необычайной ноткой утверждения сказал князь.— Вечный, как сам народ.

— Поясните,— вдруг вмешался Федор.— Аллегории кончились, князь.

— Видимо, придется,— князь надменно улыбнулся.— Видите ли, вчерашние лавочники, ныне ставшие господами философами материалистического толка, утверждают, что мы, аристократы, паразитируем на теле народа. Им простительно это заблуждение: они учились на медные деньги и считают, что эти медные деньги и есть наивысшая ценность. Но если взглянуть непредвзято, не с высоты денежного мешка, а хотя бы из седла, то можно открыть и иные ценности, подсчитать которые на счетах, правда, невозможно — понятие долга, чести, верности отечеству в лице государя, веры и рыцарства,— то мы с лихвой отрабатываем свой хлеб. Мы цементируем нацию: уберите нас, и нации не будет. Останется народ с названием таким-то, но народ с названием — это еще не нация.

— Насколько я понимаю, князь, вы изложили свое кредо,— сказал Куропаткин.

— Совершенно верно, капитан,— серьезно подтвердил Насекин.— Причем вполне своевременно, в качестве последнего прости. Через два дня я отбываю, так сказать, на ту

сторону: еду к туркам с миссией Красного Креста. И сейчас у меня грустный период прощаний. С особым удовольствием я запомню сегодняшний вечер,— князь, привстав, поклонился Варе.— Благодарю вас за него, Варвара Ивановна. При случае не откажите в любезности передать поклон вашей сестре. Она все еще в Москве?

— Право, не знаю,— сказала Варя.— Последнее письмо ее было столь тревожным, что я не удивлюсь, если она окажется за Дунаем.

— Всех Олексиных неудержимо влечет к себе война,— грустно улыбнулся князь.— Вот и мне еще осталось проститься с одним из ее неукротимых демонов.

— Кто же заслужил столь необычный титул? — спросила Варя.

— Естественно, Скобелев-второй.

— Михаил Дмитриевич в Бухаресте? — быстро спросил Куропаткин.

Князь помедлил с ответом. Ему не хотелось открывать чужую тайну, но не хотелось и выкручиваться.

— И да и нет,— нехотя сказал он.— Для вас, капитан, по всей вероятности — да.

— О, я знаю о генерале Скобелеве одну весьма пикантную тайну,— вмешалась Лизонька, умевшая одновременно слушать во все стороны.— Ты позволишь, дорогой?

Генерал милостиво улыбнулся молодой супруге. А Федор сразу насторожился и пересел к Куропаткину: ему вспомнилась сказочка, рассказанная капитаном Гордеевым.

— Вы, Алексей Николаевич, проделали со Скобелевым всю Туркестанскую кампанию, а известно ли вам, почему генерал избрал столь оригинальный цвет мундира в бою?

— Полагаю, чтобы отличаться от других генералов,— серьезно сказал Куропаткин, чуть тронув Федора за локоть.

— Вот вы и ошиблись, ошиблись! — очень оживленно воскликнула Лизонька, словно ждала именно этого ответа.— Увы, все значительно прозаичнее. Просто белый цвет незаметнее всякого иного. Да, да, не удивляйтесь. Нам рассказывали о его опыте... Он известен вам?

— Признаюсь, нет,— невозмутимо улыбался Куропаткин.

— Так вот, этот знаменитый белый генерал еще до того, как стать «белым»,— Лизонька старательно выделила последнее слово,— приказал обрядить три чучела в мундиры разного цвета,— темно-зеленый, белый и... какой-то еще, тоже темный. Затем приказал лучшим стрелкам стрелять в эти мундиры. И что же вы думаете? Именно белый мундир оказался неуязвимым! В него труднее всего попасть, потому что он незаметнее других. И с той поры так ни разу и не

ранен. А все кричат о невероятной отваге. Боже, Боже, если бы люди знали, сколь предусмотрительны их кумиры!

— Вы надели сегодня белое платье с той же целью? — холодно осведомился князь.— Тогда все верно, вы добились желаемого.

Лизонька покрылась алыми пятнами, изо всех сил продолжая сиять ослепительной улыбкой. Левашева укоризненно покачала головой, а Федор весьма некстати рассмеялся, впрочем, тут же сконфузившись. Варя, внутренне торжествуя, хотела перевести разговор, чтобы охладить очередную эскападу Насекина, но объявили о прибытии новых гостей, и неловкость сменилась оживлением, потому что в гостиную входила сама Числова в сопровождении полного, брюзгливого вида господина. Это был бывший управляющий генерала Непокойчицкого, старый друг и доверенное лицо Числовой Гартинг.

Наступило время Вари; наступило то, о чем просил накануне Роман Трифонович, ради чего затевался этот вечер, а возможно, и сам их приезд в Румынию. Приди Числова часом раньше, она бы встретила не приветливую, уверенную в себе хозяйку дома, а плохо знающую роль статистку, случаем попавшую в героини. Но сейчас Варя была само обаяние, опиравшееся на осознанное достоинство: роли уже не было, Варя стала сама собой, но собой любящей и любимой тем, кого любила. Ей уже не нужно было искать темы для беседы, думать о манере поведения, тоне, жесте, улыбке: встав на свои места, все стало естественным, а желание нравиться Хомякову и ощущение собственного места в его не только жизни, но и деятельности придавало Варе особую живость и непосредственность.

— Само очарование,— сказала Числова Гартингу.— Мы так отвыкли от искренности, что я с наслаждением греюсь сейчас в лучах чужой любви. И где наш мужлан откопал этакую карамзинскую свежесть?

Гартинг передал Хомякову лестный отзыв Екатерины Гавриловны, опустив, разумеется, заключительную фразу. Но передал не тогда, а при случае, то есть именно в тот момент, когда и следовало передать: он был весьма опытным дельцом. А в тот вечер он и сам заулыбался, ощутив веяние тех чувств, о которых знал лишь понаслышке. И встреча, и последовавший за ней ужин прошли так, как Роман Трифонович и помечтать не смел, при всем своем умении не только строить, но и дотошно разрабатывать собственные планы.

После ужина Хомяков увел Числову и Гартинга в свой кабинет. Прочие гости, посидев немного, начали разъезжаться. Генерал был доволен, что его представили всесиль-

ной любовнице главнокомандующего; Левашева — утолив свое любопытство и пополнив арсенал светских знакомств непосредственным контактом с той же особой; Лизонька с трудом скрывала раздражение, болезненно ощутив второстепенность своего присутствия; а князь Насекин, непривычно посерьезнев, сказал на прощанье:

— Я искренне благодарен вам, Варвара Ивановна. Предчувствия мои дурны, а чувства смешны до слез. Признаюсь, что пришел с одним образом в душе, а ухожу с двумя. Очень близкими, родными — и непохожими. Прощайте, Варвара Ивановна.

— До свиданья, князь.

— Конечно, конечно,— Насекин вздохнул.— Я прошу, очень прошу при случае поклониться вашей сестре. Нет, не поклониться, а кланяться. Всегда.

Он и на этот раз поцеловал руку, но в этом поцелуе уже было признание. И от этого Варе стало хотя и светло, но грустно, и она вернулась в гостиную с этой непонятной грустью. Федор и Куропаткин расставляли шахматы — капитан оставался ночевать, намереваясь спозаранку отправиться на поиски Скобелева. Варя постояла подле них, вздохнула.

— Устали, Варвара Ивановна? — спросил Куропаткин.

— Князь,— Варя опять вздохнула.— Он странный сегодня, вы не находите?

— Я мало знаком с ним.

— Оригинальничает,— сказал Федор.— Каждый утверждается свое «я» на свой манер.

— Нет, Федя, здесь не то. Машу отчего-то вспомнил.

Она вышла отдать распоряжение, чтобы приготовили комнату Куропаткину, а возвращаясь, столкнулась с уходившими деловыми гостями.

— А вот и наша прелестная хозяйка,— ласково улыбнулась Числова.— Жду вас, дорогая моя, у себя в воскресенье, в пять часов.

Гартинг расплылся в улыбке, долго благодарил, Числова расцеловалась с Варей, и гости отбыли. Роман Трифонович вышел проводить до экипажа, а Варя ждала, когда он вернется. Ей необходимо было видеть его тотчас после отъезда этих людей, услышать, что он скажет. А он, войдя, сразу же взял обе ее ладони в свои и долго не отпускал, сияя глазами. И Варя, чувствуя, как краснеет, улыбалась и не отводила взгляда.

— Коли валит счастье, так пусть полной охапкой, а на половину мы с тобой не согласны,— вдруг тихо сказал он.— Так или нет?

— Да,— сказала она, плохо понимая, о чем он говорит,

а слушая лишь голос и расцветая еще пуще от его голоса.— А что же эти... Господа эти?

— Ах эти! — глаза Хомякова утратили влажный блеск.— Подпряг, Варвара Ивановна, с Божьей, а паче того — с вашей помощью. Теперь у меня два компаньона: госпожа Числова да господин Гартинг. Прибыли соотвественно на сорок процентов уменьшилось, да я в обороте не прогадаю. С такими присяжными сам черт не страшен! — Он склонился, бережно поцеловал обе ее руки, взгляд его вновь излучал нежность.— Спасибо. Наши, поди, в шахматы сражаются? Вели туда шампанского подать.

И пошел в гостиную, более не оглядываясь, а Варя еще стояла, сама удивляясь, как спокойно и просто принимает она его внезапные переходы от подчеркнуто вежливого до интимно ласкового обращения.

2

Скобелев пил вторую неделю. Начинал с утра, с раздраженного непонимания, почему в его постели оказалась женщина, кто она такая, о чем стрекочет и как ее зовут. Улыбаясь, лихорадочно пытался припомнить вечер. Как правило, ничего вспомнить не мог и торопился опрокинуть рюмку, чтобы обрести равновесие духа. Голова у него никогда не болела, потребности в опохмелении он не ощущал, но внутри было тревожно и скверно, а когда выпивал, все вроде вставало на свои места. Очень вежливо выпроваживал очередную незнакомку, и начинался день бесконечного застолья, шума, карточной игры, безудержной вечерней выпивки, где опять появлялись женщины, а утром все начиналось сначала. Первое время Млынов пытался образумить Михаила Дмитриевича, но потом махнул рукой, решив ждать, когда «сам» перебесится и потребует утром холодной воды. Но генерал окончательно закусил удила, швыряя деньги цыганам, кокоткам, подозрительным карточным партнерам, выматывающим душу румынским скрипачам и красивым ножкам, плясавшим по его заказу. Тут уж не могло хватить никаких средств, и Скобелев, не задумываясь, подписывал векселя и расписки под любые проценты; разобравшись в этом, Млынов пришел в ужас и срочно бросился разыскивать старика Дмитрия Ивановича Скобелева-первого, генерал-лейтенанта и командира не существующей более Кавказской дивизии.

— А как пьет? — спросил генерал, когда Млынов вкратце обрисовал ему скобелевский разгул.

— Много, ваше превосходительство.

— Дмитрием Ивановичем мое превосходительство зовут, знаешь, чай, нечего о сем на казенном языке объясняться. Я тебя спрашиваю «как?», а ты — «много». Это не ответ: для кого много, а для Мишки — в самый раз. Так как все-таки пьет-то?

— По-черному, Дмитрий Иванович,— подумав, определил Млынов.

— Вот это ответ,— старик вздохнул.— Ах сукин сын, гусар, лоботряс, прощелыга. С бабами?

— Каждый день — новая.

— Это — в меня,— не без самодовольства отметил Дмитрий Иванович: в его ругани было куда больше одобрения, чем порицания, что очень не нравилось Млынову.— Ну, это хорошо, скорее уморится. А ты чего прискакал? Уговаривать не пойду, я Мишку лучше тебя знаю. Стало быть, ждать надобно, покуда силы в нем кончатся.

Млынов явился не за советом, а за деньгами: старик был богат, но прижимист и, в отличие от сына, считать умел. Кроме того, он обладал редкостным упрямством, которое возникало в нем вдруг, без всякой видимой причины, и капитан опасался начинать разговор. Пока он раздумывал, с какой стороны подступиться к старому кавказскому рубаке, Дмитрий Иванович продолжал не без удовольствия сокрушаться по поводу беспутного сына.

— Лихой солдат и командир отменный, а перед юбкой устоять не может. Это у него еще смолоду: как лишнюю чарку хватит, так и глядит, где шелками зашелестело. Сколько раз говорил ему: «Мишка, поопасись, этак и карьеру сгубить недолго. Бабские шепотки нам, военным, самое зло». Какое там! Еще пуще глаза выкатывает. Упрям!

Последнее слово генерал произнес с особым удовлетворением, но Млынов уже не слушал его отцовских восторгов. Он поймал ниточку, за которую следовало тянуть, чтобы заставить папашу раскошелиться.

— Совершенно верно заметили, Дмитрий Иванович,— таинственно приглушив голос, сказал он.— Я ведь с тем к вам прибыл, чтобы предупредить. Известно, сколь предвзято относится к Михаилу Дмитриевичу его высочество главнокомандующий, а тут вот-вот долги всплывут.

— Долги? — нахмурился Скобелев-старший.— Опять влез? Много проиграл?

— Главное, необдуманно векселя подмахнул,— будто не слыша, продолжал Млынов.— Дошел до меня слух, Дмитрий Иванович, что все эти векселя собирается скупить некое

лицо, дабы затем при удобном случае показать их его высочеству и тем самым...

— Кто скупает? Ну? Что молчишь? Какой мерзавец под Скобелевых копать надумал?

До сей поры Млынов импровизировал спокойно, приправляя правду общими многозначительными намеками. Но генерал потребовал конкретного имени; на размышление времени не было, и капитан брякнул, основываясь на чистой интуиции:

— Барон Криденер. Через подставных лиц.

— Ах колбасник, в душу мать! — рявкнул генерал, хватив кулаком по столу.— Ах немец-перец-колбаса! Ну врешь, не видать тебе скобелевского позора! — старик сложил корявую дулю и почему-то сунул ее в нос Млынову.— Накося, выкуси!

Он бурно дышал и стал красным, словно помидор. Млынов начал опасаться, не хватит ли его удар, но генерал был могуч как дуб. Вскочив по-скобелевски легко, метнулся к дверям, развернулся на каблуках и оказался перед капитаном, уперев в бока могучие кулачищи.

— Сколько?

— Много, Дмитрий Иванович,— политично вздохнул Млынов.

— Сколько, я спрашиваю?! — взревел старик.

— Тысяч около десяти, если с процентами.

— Хорошо гуляет, стервец! — неожиданно заулыбался генерал.— Ай да Мишка! Ай да гусар! Молодец: знай наших, немецкая твоя душа!

— Завтра, коли прикажете, доложу точно до копейки.

— Сегодня! Через три часа, и чтоб к вечеру рассчитался: лично тебе деньги даю. А этого сукинова сына я все равно ремнем выдеру, нехай себе, что свитский генерал. Ступай, капитан, одна нога здесь, другая — там.

Заплатить скобелевские долги для Млынова было еще полдела: оставалось вырвать Михаила Дмитриевича из пьяного круга, вытрезвить, привести в чувство, заставить вспомнить о деле и тем самым вновь зажечь в опустошенной его душе угасший факел веры в самого себя. Здесь Млынов мог надеяться только на авторитеты, которые признавала самолюбивая и обидчивая скобелевская натура. Ни Драгомирова, ни Шаховского в Бухаресте не было, и верный адъютант, поразмыслив, поехал в русскую военную миссию, ведавшую перемещением русских войск, а наипаче — генералов.

В этот беспокойный для Млынова день Скобелев пил в номере старое монастырское. На нем был любимый бу-

харский халат, памятный по анекдоту, который он уже дважды начинал рассказывать незнакомому молодому человеку. Молодой человек, беспрестанно улыбаясь, торопливо поддакивал и бестактно льстил, но Михаил Дмитриевич витийствовал не по этой причине. Истинная причина сидела поодаль на диване, изредка вскидывая ресницы и обжигая генерала обожающим взглядом вишневых глаз.

— Уж к чему у меня способности, так это к языкам. В детстве гувернеры нахвалиться не могли. Да. Ну, потом — Париж, Дания, Италия, Англия... Прошу прощения, мадемуазель, что принимаю в халате: знобит. Да, о чем это я?.. А, о халате! Мне преподнесла его депутация уважаемых старцев-аксакалов. Кажется, в Фергане... Но это не важно. А важно, что вышел я к ним в полной форме, но со свирепого похмелья. Свирепейшего! В башке барабанная дробь, звон бокалов и обрывки вчерашней кутерьмы, а тут — седобородые. С этим вот самым халатом. Я к тому времени уже по-арабски читал, и вообще, а поди ж ты! Принял халат, сделал шаг вперед и гаркнул: «Господа саксаулы!..» — он громко расхохотался.— Это вместо аксакалов — саксаулы! Вот какой камуфлет мыслей анекдотический. Господа саксаулы вместо господ аксакалов,— генерал вдруг вздохнул и нахмурился.— В жизни этого не прощу. Гадость какая — стариков обидеть.

— Да что вы, ваше превосходительство,— затараторил молодой человек, стараясь не смыкать губ, дабы не прятать улыбку.— Как говорится, контите неглижабль!

— Неглижабль,— Скобелев посмотрел на заманчивую брюнетку, но та лишь томно ворохнула ресницами.— За милых женщин, друг мой. За украшение нашей грубой жизни, за венец творения, правда, с шипами, как и положено венцу.

За венец выпить не успели, так как в номер вошел Алексей Николаевич Куропаткин.

— Шел на ваш львиный рык как на маяк,— сказал он, сухо поклонившись с порога.

— Алеша?..— радостно заорал Скобелев.— Алешка, друг ты мой туркестанский, откуда? Дай обниму тебя.

— Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мою слабость: я никогда не обнимаюсь при посторонних. А поскольку обняться нам необходимо, то прошу вас, господа, незамедлительно покинуть этот номер. Живо, господа, живо, я не привык дважды повторять команду!

Гости ретировались мгновенно, но друзья с объятиями не спешили. Скобелев вдруг обиделся, а Куропаткин разозлился.

— Ну и зря,— надуто сказал Скобелев.— Брюнеточка страстью полыхала, а ты... В каком виде меня показал перед ней?

— В хмельном,— отрезал Куропаткин, садясь напротив.— Чего изволите дальше делать, ваше превосходительство? Хвастаться победами, ругать тыловых крыс или страдать от непонимания? Я весь ваш репертуар наизусть знаю, так что давайте без антрактов.

Скобелев усмехнулся, налил полный бокал, неторопливо выпил. Привычно расправил бороду, сказал неожиданно трезво и горько:

— Нет, Алексей Николаевич, ничего ты не знаешь. Война здесь другая, не наша какая-то война. Здесь за чины воюют, за ордена, за царское «спасибо», а потому и продают. Меня, думаешь? Да плевать я на себя хотел: эка невидаль для России еще один талант под пулю подвести. Солдат продают, Алеша, силу и гордость нашу, то, на чем отечество держится. И меня продавать заставляют,— он скрипнул зубами, помотал тяжелой головой.— Как вспомню песню, с которой куряне в бой шли, так... Женихами шли! — вдруг со слезами выкрикнул он.— Верили мне, как... как своему верили, понимаешь? И осталась та вера на Зеленых горах...

— Так вернитесь за нею,— тихо сказал Куропаткин.— И за вами снова пойдут с песней. Не знаю, какой вы полководец, но вы — вождь. Прирожденный вождь, в вас какая-то чертовщина необъяснимая, за вас умирают радостно. Вы восторг в людей вселяете, упоение в бою, рядом с вами любому героем быть хочется. Лет этак двести назад вы бы ватаги по Волге водили и княжон персидских в полон брали не хуже Стеньки Разина.

— А может, и лучше,— не без самодовольства заметил генерал.— Ватаги бы водил, а войска больше не поведу. Все, Алексей Николаевич, закончен бал, лакеи гасят свечи. Не хочу я, чтоб моим именем солдат на бессмысленную смерть обрекали, а посему кончим этот разговор. Хочешь со мною пить — милости просим, а нет, так ступай задницу Криденеру лизать.

— Или — или? Отчего же такие крайности?

— А оттого, что я — гордый внук славян, как назвал меня Александр Сергеевич. И каждый русский должен всегда помнить, что он — гордый внук славян, а не половецкий холоп и не ганзейский купчишка. И доколе мы будем помнить это, дотоле и останемся русскими. Особливым народом, которому во хмелю море по колено, а в трезвости — так и вовсе по щиколотку.

— Жаль, наши славянофилы не слышат этой патетической речи.

— Плевать я хотел на славянофилов. Я уважаю всех людей, особенно если они — мои враги. А глупое славянофильство не уважает никого, кроме самих себя. Нет уж, ты меня, Алеша, с этими господами не мешай, я Россию со всеми ее болячками люблю, без румян и помады.

— Если любите, что же на поле брани ее бросили? — Куропаткин подождал ответа, но Михаил Дмитриевич угрюмо молчал.— Нелогично.

— Боль не признает логики, Алеша,— вздохнул Скобелев.— Потерял я право людьми командовать. Внутреннее право, понимаешь? Уверенность ту ослепительную, что непобедим ты, что каждое слово твое понимают, что с песней на смерть пойдут, коли прикажешь. С песней,— он еще раз тяжело вздохнул.— Вот ты сказал, что я вождь, и тут же Стеньку Разина вспомнил. Правильно вспомнил, потому что никакой я не вождь, я — атаман. У вождя идея должна быть, а у меня нет никакой идеи. У меня — азарт. «Делай как я» — вот и все, что я требую. А сейчас и этого требовать не могу, потому что не верю.

— В победу?

— В бессмысленную гибель солдат русских не верю! — яростно крикнул Скобелев.— Понасажали старичья в эполетах на нашу голову, а я не желаю кровью своих солдат их тупость оправдывать. Не желаю!

Он залпом выпил вино, расправил бакенбарды, пересел на диван, где до этого в томлении ждала вишневоглазая «причина», и взял гитару. Подстроив, негромко запел по-итальянски, но Куропаткин видел, что занят он не песней, а думами и что думы эти тяжелы и тревожны.

— А я-то, дурень, к вам стремился,— сказал он.— Мечтал, что пригожусь, что повоюем вместе, как в Туркестане воевали.

— За чем же дело стало? — спросил Скобелев.— Возьми газеты, читай вслух, где дерутся. И рванем мы с тобой, Алексей Николаевич, куда хошь — хошь в Африку, хошь в Америку. Наберем тысячу молодцов и покажем миру, что такое русская удаль.

Не распахнись дверь, может, и вправду уехал бы Михаил Дмитриевич Скобелев в чужие земли. Воевал бы за чью-то свободу или стал бы конкистадором, покорял бы народы государям и президентам или сложил бы где шальную голову свою. И не зубрили бы тогда гимназисты его биографию, не ставили бы ему болгары памятников, не называла бы Россия его именем улицы. Но дверь распахнулась,

и вошел генерал-майор свиты его величества светлейший князь Имеретинский.

— Здравствуйте, господа. Не помешаю, Михаил Дмитриевич?

Из-за плеча Александра Константиновича выглядывала всегда неприветливая, хмуро озабоченная, но сегодня прямо-таки источавшая почти благостное удовлетворение скуластая физиономия капитана Млынова.

3

Если пользоваться терминологией Льва Николаевича, то Федор существовал во времени абсолютном — в полном соответствии с вращением Земли и собственными часами. Он ел, пил, спал, даже строил какие-то планы, но жить начал, точно очнувшись, точно вдруг шагнув из времени абсолютного во время относительное, где сутки наполнены не часами, а событиями, где минуты порою ощущаются как часы, а секунды отсчитываются биением собственного сердца.

— Я за вами, Федор Иванович,— сказал Куропаткин, появившись через несколько дней.— Коли не раздумали, собирайтесь, коляска ждет.

— Куда же? — ахнула Варя.

— Куда, Варвара Ивановна? — улыбнулся Алексей Николаевич.— А куда Скобелев пошлет, туда и пойдем.

— Значит, нашли все же Михаила Дмитриевича? — спросил Федор.

— Михаил Дмитриевич нас завтра нагонит, а пока у него — затяжная баня. Млынов его выпаривает, веничком хлещет, холодненькой водой обдает, чтоб стал наш герой как новенький. С новым отрядом, со старым начальником штаба,— Куропаткин поклонился,— и с новым ординарцем.

Больше Алексей Николаевич ничего рассказывать не стал, а рассказывать было что. Князь Имеретинский, не обратив ни малейшего внимания ни на бухарский халат, ни на бутылки, ни на гитару, коротко поведал, что образована Ловче-Плевненская группа под его непосредственным командованием и что в состав этой группы входит отряд генерала Скобелева. Во время этого пояснения молчаливый Млынов быстро убрал со стола все, что там находилось, и расстелил карту.

— Мой отряд? — глухо спросил Михаил Дмитриевич, туго соображая не с похмелья, а от неожиданности.— Вы

знаете его судьбу, ваша светлость. Остатки курского батальона да потрепанные сотни Тутолмина.

— Не совсем так, генерал. Ваш отряд — 64-й пехотный Казанский полк, батальон Шуйского полка, взвод сапер и прошедшая полевой ремонт Кавказская бригада полковника Тутолмина.

Скобелев растерянно глянул на скромно стоявшего в стороне Куропаткина, на молча торжествующего адъютанта, медленно провел руками по лицу, окончательно растрепав бороду.

— Простите, ваша светлость, что принимаю вас в таком виде...

— Вы в законном отпуске,— спокойно перебил Александр Константинович.— Отпуск будет утвержден государем до завтрашнего числа. С семи утра считаю вас вступившим в должность командующего отрядом.

— Все же позвольте выразить,— мямлил Скобелев, никак не ожидавший такого оборота.— Я самовольно покинул войска, за что готов понести наказание. Я не нуждаюсь ни в чьей защите, даже в вашей. Я болен, в конце концов.

— Сулейман отбросил Гурко к Шипкинским перевалам,— невозмутимо выслушав Скобелева, сказал Имеретинский.— Что же будет, если турки прорвутся через Балканы? Что нам делать с армиями двух пашей — Османа и Сулеймана? Оставить Болгарию и отступить за Дунай?

— Ни в коем случае!

— А что вы можете предложить, Михаил Дмитриевич?

— Брать Ловчу,— негромко сказал Куропаткин.— Немедленно брать Ловчу, чтобы не дать соединиться этим двум пашам.

Имеретинский впервые посмотрел на незнакомого молодого офицера. Куропаткин, шагнув, коротко поклонился.

— Разрешите представиться, ваша светлость. Генерального штаба штабс-капитан Куропаткин.

— Очень рад, капитан. Следовательно, у вас уже есть начальник штаба, Михаил Дмитриевич? В таком случае я беру Паренсова себе.

— Берите, берите,— Скобелев уже впился глазами в карту.— Алексей Николаевич прав, Ловча — основная задача.

— Вот и решайте ее,— улыбнулся Имеретинский.— Я даю вам полную свободу действий. А за собой оставляю тяжкую обязанность защищать вас с тыла.

— Воды! — вдруг крикнул Скобелев.— Что ухмыляешься, Млынов? Два кувшина со льдом, быстро!

Ничего этого Федор не знал и не узнал никогда, равным образом как и Скобелев никогда не узнал, чего стоило

светлейшему князю Имеретинскому упросить императора не только закрыть глаза на очередную скобелевскую выходку, но и вручить Михаилу Дмитриевичу отдельный отряд, лишь формально подчинявшийся Александру Константировичу. Даже знавший все и вся Паренсов отнесся к этому весьма неодобрительно.

— Вы взяли на себя тяжелый крест, ваша светлость. Скобелев обладает свойством доставлять массу хлопот своим непосредственным начальникам.

— Я лишен тщеславия, Петр Дмитриевич, а посему полагаю, что Михаилу Дмитриевичу удобнее всего работать со мной.

В генеральские сферы Федор не поднимался, Скобелеву был всего лишь представлен и тут же отослан по распоряжению капитана Млынова. Куропаткин умчался вперед вместе с генералом, а Федор ехал на позиции в компании неразговорчивого и придирчиво требовательного адъютанта. Лошади неспешно трусили по холмистой степи, капитан чаще ехал верхом, а Федор — в коляске с генеральскими вещами; беседа не ладилась, отношений никаких не возникло, и новоиспеченного ординарца это весьма тревожило. На второй день их практически безмолвного путешествия Олексин не выдержал:

— Простите, капитан, что нарушаю ваши думы, но хотел бы кое-что уяснить. Если соизволите. конечно.

— Что именно? — спросил адъютант, проигнорировав олексинскую шпильку.

— Я хотел бы представить круг своих обязанностей и как следует исполнять их, дабы не вызвать неудовольствия Михаила Дмитриевича.

— Круг безграничен, а исполнять их следует быстро,— Млынов с седла, сверху вниз, поглядел на обескураженного Федора, усмехнулся.— Погодите обижаться, Олексин. Лошадей кормить остановимся — поговорим.

Федор был склонен к обидам, а положение, в которое он попал по собственному желанию, казалось странным и несерьезным: будто взяли из одолжения. Началось с того, что никакой формы ему не только не дали, но и не предложили, и он, чувствуя себя в пиджачной паре белой вороной, сказал об этом Куропаткину.

— А зачем вам форма? — искренне удивился Алексей Николаевич.— В таком виде вы к любому генералу беспрепятственно проникнете, а нижнего чина дальше порога не пустят. Здесь — армия.

Это объяснило, но не успокоило: Федор все время ловил на себе насмешливые взгляды офицеров и казаков. Но глав-

ным все же оставалось полное отсутствие представлений о своих обязанностях; он побаивался хмурого адъютанта, но неизвестность пугала еще больше.

Однако напоминать Млынову о просьбе — чего так не хотелось Олексину! — не пришлось: вышколенный многолетней службой у стремительного Скобелева, адъютант ничего не забывал. На первой же стоянке, передав конвойным казакам лошадей, Млынов достал из коляски кое-какую снедь, жестом пригласил Федора закусить и сразу начал разговор. Правда, не совсем обычно:

— Смерти боитесь?

— Боюсь,— не задумываясь, сказал Федор.— Один раз пробовал.

— Это хорошо,— одобрительно отметил Млынов.— Следовательно, рисковать будете осмысленно. Михаил Дмитриевич требует немедленного исполнения приказаний, а это значит — по кратчайшему пути. Но при этом он не любит бессмысленной бравады, что и прошу всегда учитывать. И еще одно: в бою Михаил Дмитриевич слов даром не тратит. Не торопитесь скакать сломя голову, пока не поймете, что именно он приказал. Лучше пять раз переспросить, чем один раз напутать. Переспросите — рассердится, но объяснит; напутаете — завтра же распрощается с вами. Он человек по натуре добрый, но в делах суров до жестокости.

Слушая Млынова, Федор не столько старался уяснить, что ему говорят, сколько гнал от себя чисто фамильные образы, опережавшие всякие события: бешеную скачку под пулями, улыбку Скобелева, его похвалу, восхищение товарищей — гнал то, от чего ему необходимо было избавиться как можно скорее. Он не хотел более побеждать себя в воображении — он искренне желал испытаний собственного духа. Желал и ждал их с нетерпением и страхом, поскольку, только действуя, мог проверить, на что он еще способен и способен ли вообще. Пакет с рекомендацией полковника Бордель фон Борделиуса все еще хранился нераспечатанным: Олексин решил, что покажет его Скобелеву не до, а после. После того, как заслужит право остаться его ординарцем.

Первое задание оказалось настолько простым, что Федор приуныл. По прибытии в расположение отряда Млынов передал генеральский приказ: найти батарею штабс-капитана Василькова и добиться, чтобы ее передали в распоряжение Скобелева.

— Разыщите генерала Пахитонова,— пояснил Млынов.— Это его артиллеристы.

Федор выехал скорее с неудовольствием, чем с энтузи-

азмом, поскольку ничего героического в поручении не содержалось. Он невесело размышлял, что с такого рода приказанием могли послать и простого казака и что его, Олексина, просто-напросто проверяют на третьестепенной чепухе. Досада, которую он незаметно для себя уже лелеял в душе, усугублялась тем, что его останавливали разъездные казаки, встречные офицеры, дежурные команды и просто часовые: господин в штатском, скачущий по ближним тылам, всем казался подозрительным. Приходилось предъявлять подписанную Скобелевым бумагу, в которой удостоверялось, что предъявитель сего «охотник из дворян Смоленской губернии Федор Олексин» действительно является ординарцем для особых поручений самого генерала Скобелева. Бумага действовала безотказно, но Федор все равно сердился и досадовал, что не уговорил Куропаткина обеспечить его военной формой.

— Кто вы и что вам угодно? — холодно осведомился у него и дежурный офицер генерала Пахитонова.

— Я личный порученец генерала Скобелева, а угодно мне видеть вашего начальника,— сухо сказал Федор, уже привычно протягивая бумагу.— Поручение у меня срочное, а решить его может только его превосходительство.

— Генерал Пахитонов занят.

— Это не имеет значения. Вы что, поручик, генерала Скобелева не знаете?

— Наслышан,— вздохнул офицер, все еще колеблясь, как ему поступить: пропустить личного порученца или сначала доложить о нем.— Видите ли, там совещание.

«Напор и быстрота»,— сказал про себя Федор. Взяв бумагу у дежурного, он решительно отодвинул его и распахнул дверь в комнату, где толпились офицеры и плавали сизые облака дыма.

— Что ты мне девятифунтовые считаешь? — сердито спрашивал генерал.— Для бумаг они, возможно, годятся, а в дело? Опять обозы с места на место таскать будем? — тут он увидел вошедшего и замолчал, хмуро глядя на него.

Федор понял, что это и есть Пахитонов, и по возможности кратко изложил просьбу Скобелева: выделить батарею Василькова в обмен на любую другую.

— Ловок Михаил Дмитриевич, ничего не скажешь,— с неудовольствием сказал немолодой полковник.— Вынь да положь ему лучшего бомбардира.

— Просит — значит, нужен,— вздохнул Пахитонов.— Скажите дежурному, пусть заготовит приказ об откомандировании. Я потом подпишу.

Сказав это, генерал вновь ворчливо накинулся на офи-

цера из артснабжения, которому удобнее было доставлять на позиции именно девятифунтовые заряды, а не какие-либо иные.

Поручение было формально выполнено: дежурный заготовит приказ, Пахитонов подпишет и... Но Федор не уходил. За такое исполнение Скобелев не стал бы ругать, но не стал бы и хвалить, а Олексину нужно, просто необходимо было сделать так, чтобы первое — пусть мелкое, незначительное! — приказание было исполнено не формально, а... Он еще не знал, как оно должно быть исполнено, но вдруг впервые ощутил, что отсутствие формы дает кое-какие права, на которые, возможно, не рискнул бы рассчитывать офицер.

— Извините, ваше превосходительство, мне этого недостаточно,— волнуясь, а потому и с особым нажимом сказал он.— Ваш дежурный — рохля, он три дня батарею искать будет.

— Не беспокойтесь, найдет.

— Все же разрешите мне побеспокоиться, ваше превосходительство. Михаил Дмитриевич стоит перед Ловчей, и ему дорог каждый час. Поэтому не сочтите за труд написать приказ батарее Василькова лично и вручить его мне.

Федору очень трудно было произнести это: он буквально преодолевал себя на каждом слове, потому что привычная, столь знакомая ему апатия жила в нем, готовая каждое мгновение выползти на свет из той щели, куда он загнал ее последними проблесками воли. Он до боли ощущал ее, эту проклятую апатию, это равнодушие ко всему и вся, он сейчас физически боролся с нею, со страхом ожидая, что суровое генеральское «нет» не только окончательно сломает эту попытку победить самого себя, но и навеки похоронит в нем все дальнейшие потуги. Поэтому и голос, и каждое слово его звучало с таким напряжением, что Пахитонов впервые с интересом посмотрел на скобелевского порученца.

— Вот,— неожиданно сказал он своему нерадивому офицеру.— Учитесь у скобелевцев добывать то, что вам приказано. Молодец! — генерал улыбнулся Федору.— Так и передайте Михаилу Дмитриевичу, что Пахитонов вас молодцом назвал.— Он написал распоряжение и вздохнул.— У них — стальные орудия Круппа, а у нас — Васильковы. Так-то. Держите. И поспешайте.

— Благодарю, ваше превосходительство! — с огромным облегчением сказал Федор, взяв приказ.

С радостным ощущением победы он вошел в комнату дежурного, протянул ему приказ, но задержал в руке, позволяя лишь ознакомиться. Странная волна убежденности,

что он поступает так, как надо, что сегодня его ожидает удача, а значит, следует и далее действовать, нажимать, добиваться, но не упускать ее из рук, вдруг поднялась в нем. Поднялась вполне ощутимо, до жара в щеках.

— Потрудитесь, поручик, немедля сообщить, где находится батарея Василькова.

— Это не так-то просто, господин скобелевец,— сквозь зубы процедил дежурный.

— Будете мямлить, к генералу пойду! — резко оборвал Федор, радостно ощущая, как весело бьется сердце.— Не теряйте времени, ежели не желаете получить неприятность.

К пяти утра следующего дня Олексин привел батарею Василькова. Попросив обождать распоряжений, без стука вошел к Млынову.

— Господин капитан, батарея штабс-капитана Василькова стоит у крыльца! — с порога выпалил он.

— Что? — адъютант сидел на походной кровати, спустив голенастые ноги в сиреневых кальсонах.— Где, говорите, Васильков?

— У крыльца! — Федор, не выдержав, заулыбался.— Надо бы разместить да накормить: всю ночь шли.

— Молодец,— хмурое лицо Млынова посветлело; незаметно для себя он перешел на дружеское «ты» и обращения этого уже не менял.

— Генерал Пахитонов тоже назвал меня молодцом, о чем и приказал лично доложить Михаилу Дмитриевичу.

— С этим еще успеешь,— усмехнулся Млынов.— Иди спать, я о батарее позабочусь.

— Поесть бы,— вздохнул Федор.— Сутки крошечки не видел. Рюмку бы водки да щей котелок.

— Ступай к конвойным: и щей нальют, и водки поднесут.

Конвойные казаки Скобелева относились к Федору с неприкрытой насмешкой, и Млынов, зная об этом, отсылал туда Олексина не случайно. Он чувствовал его взлет и хотел закрепить его. Федор понял это, и на той войне, которая сейчас несла его, готов был идти куда угодно.

— К казакам так к казакам.

— Погоди,— улыбнулся Млынов.— Не вздумай сказать: «Здравствуйте, господа». Скажешь: «Здорово, станичники, как ночевали?» Поешь, ложись спать. До двенадцати.

Федор отправился к конвойцам, на ходу репетируя обращение, подсказанное всезнающим адъютантом, а Млынов, глянув на часы — было уже начало шестого,— пошел будить генерала.

— Олексин батарею Василькова привел,— сказал он.

— Нашел? — не понял Скобелев.

— Привел, Михаил Дмитриевич, привел. Молодец, а?

Скобелев одобрительно хмыкнул, но хвалить не стал:

— Погодим до боя, Млынов. Ступай, артиллеристов размести да накорми. А Василькова — ко мне завтракать.

Дождался, пока адъютант вышел, легко вскочил с койки, улыбаясь в растрепанную со сна бороду. День начинался радостно, и радость эту принес Олексин. Таких подарков Михаил Дмитриевич не забывал никогда.

4

20 августа начались перемещения частей, в тактическом смысле которых Федор не разбирался, но расспрашивать было некогда, да и некого: все офицеры скобелевского штаба работали, забыв покой и сон. Он получал задания — чаще всего от Млынова,— доставлял письменные приказы и устные распоряжения, провожал командиров до указанных пунктов, возвращался с докладом и почти тотчас же скакал с новыми поручениями. Это было похоже на хорошо продуманный дебют шахматной партии: Скобелев расставлял свои фигуры, еще не входя в соприкосновение с противником, но уже упреждая его возможные ходы. Вскоре скобелевцы охватили Ловчу со всех сторон, учитывая не только направления собственных атак, но и отрезая вероятные пути отхода аскеров командующего Ловчинским гарнизоном Рифата-паши. Еще не прозвучало ни одного выстрела, а войска, официально именовавшиеся Ловче-Плевненской группой светлейшего князя Имеретинского, уже заняли все удобные для штурма позиции. Собственно скобелевский отряд — исключая кавказцев Тутолмина — стоял у фонтана, нацеленный на сильно укрепленную высоту, названную солдатами Рыжей и прикрывающую Ловчу с юга; Кавказская бригада была заблаговременно брошена в глубокий обход и занимала позиции перед северными укреплениями турок не только для штурма, но и для перехвата отступающих. Ловча оказалась зажатой в клещи; оставалось лишь сжать их, чтобы раздавить скорлупу турецкой обороны.

Последнюю фразу Федор услышал из уст Тутолмина, когда доставил ему приказ и лично сопроводил на позиции: он старался исполнять поручения неформально. Последовательность, с которой Олексин, так сказать, «перевыполнял» полученные приказы, можно было бы посчитать привычкой, если бы не то чувство гордости, с которым он это делал. Как бы там ни было, а посылали Федора теперь не потому,

что он оказывался под рукой, и хотя Скобелев еще ни разу не похвалил его, отношение штабных работников, офицеров отряда и даже конвойных казаков, которым часто приходилось сопровождать его, изменилось резко. Олексин стал своим, «скобелевцем»; он ощущал это и гордился.

— Завтра надавим — и хрустнет орешек,— сказал Тутолмин.— Отужинаете со мной, Олексин?

— Благодарю, господин полковник, увы. Тотчас же и назад.

— Не дай Бог скобелевским порученцем быть. Какую ночь в седле?

— Не считал, полковник! — весело крикнул Федор, вскакивая на лошадь.

Он вернулся уже к вечеру, отдал лошадь конвойцам и заглянул в штабную палатку. Она разделялась пологом на две неравные половины: в первой — узкой — стоял стол дежурного и походная койка для отдыха ординарцев.

— Тутолмин на позициях,— тихо доложил Федор: за пологом слышались голоса.— Где Млынов?

— Вами интересовался. Обождите тут.

Дежурный офицер беззвучно скользнул на вторую половину, а Федор сразу завалился на койку. Хотелось есть, но еще больше — лежать: тело ломило от ежедневных скачек. Но не успел он прикрыть глаза, как из-за полога выглянул Млынов и жестом поманил его.

— Куда? — шепотом спросил Федор, садясь.

Млынов еще раз махнул рукой и исчез, а из-за полога вынырнул дежурный.

— Идите, Олексин.

Федор осторожно прошел за полотнище и остановился у входа. Брезентовые занавески окон были подняты, но уже темнело, и на большом дощатом столе, устланном картами, горели две лампы. Возле стола в походном кресле сидел Имеретинский, а вокруг толпились генералы и штабные офицеры: Олексин узнал генералов Добровольского и Энгмана, полковника Паренсова, отрядного врача Сущинского и личного адъютанта светлейшего капитана Жиляя. Докладывал Скобелев, рядом стоял Куропаткин с раскрытой папкой, а Млынов ожидал Федора у входа и сразу приложил палец к губам.

— ...ключом турецкой обороны является высота Рыжая,— продолжал Скобелев.— Высота сильно укреплена в инженерном и огневом отношении, и нам следует громить ее артиллерией, пока противник от нашего огня не откатится за обратные скаты. Тогда и только тогда нужно атаковать пехотою, но непременно в сопровождении артил-

лерии. Пока передовые части будут захватывать высоту, следующие за ними колонны обязаны на руках втащить пушки на вершину. Здесь необходимо сдержать пехоту и вновь обрушить на противника мощный артиллерийский удар.

— Задача? — спросил Паренсов.

— Задача одна, Петр Дмитриевич: уберечь солдат наших поелику возможно. Полагая это святейший обязанностью любого командира, прошу вас, господа, довести до сведения каждого рядового. Каждого! — Скобелев внушительно потряс пальцем.— Первое: противник имеет отличное оружие и патронов не жалеет; значит, сближение с ним должно быть стремительным, ибо наибольшие потери мы несем именно во время сближения. Второе: располагая отличным вооружением, турки, однако, целиться не любят и бьют, как правило, положив винтовки на бруствер, то есть пули практически летят в одной плоскости. Задача каждого командира — суметь уловить эту зону поражения и миновать ее единым броском. И третье: огонь противника наносит максимальный урон частям стоящим или, упаси Бог, отступающим. Коли кто попадет под обстрел, так уж извольте командовать только вперед. Только в атаку! Вы согласны со мной, Александр Констатинович?

Имеретинский, привычно спрятав улыбку, молча кивнул. Потом спросил вдруг:

— За высотой — река Осма. Она проходима?

— Не везде, ваша светлость,— ответил Куропаткин.— Река десять сажен ширины, глубиною от пол-аршина и выше. В местах брода болгары обещали поставить условные знаки.

— Сколько артиллерии у Рифата-паши?

— Шесть орудий.

— Небогато,— усмехнулся генерал Добровольский.

— Да, но мы не знаем, какие у турок орудия,— холодно уточнил Куропаткин.— Данные о количестве доставили болгарские перебежчики, но в системах они не разбираются.

— Вы совершенно правы, Михаил Дмитриевич,— сказал Имеретинский.— С атакой спешить не будем, пока не сомнем противника артиллерией. Ежели понадобятся батареи из общего резерва, сообщите через капитана Жиляя: он останется здесь. Я буду у генерала Энгмана.

— Слушаюсь, ваша светлость.

— Следовательно, приказ о штурме может исходить только от вас, Михаил Дмитриевич,— продолжал князь.— Если вопросов нет, предлагаю господам командирам выехать к своим частям.

— Млынов, Олексин вернулся? — отрывисто спросил Скобелев.

— Так точно, Михаил Дмитриевич,— Федор шагнул к столу.— Тутолмин на месте.

— Проводишь генерала Добровольского. Запомни дорогу: будешь на связи с правой колонной.

Сопровождать генерала Добровольского пришлось уже в темноте, и Федор, как ни пытался, никаких ориентиров запомнить не смог. Обратно возвращался один, все время стараясь держаться левее, чтобы не угодить к туркам, окончательно запутался и приехал уже под утро. О том, что заблудился, он никому говорить не стал, рассчитывая, что при свете дорогу к Добровольскому найдет без посторонней помощи. Кроме того, он устал до невозможности, на сон оставалось не более трех часов, и, доложив дежурному, сразу же завалился спать.

Проснулся он от грохота: в пять утра все пятьдесят шесть орудий Скобелева одновременно открыли огонь по укреплениям Рыжей горы. И хотя батареи расположены были поодаль, земля ощутимо вздрагивала, а брезент палаток полоскало от тугих ударов потревоженного воздуха. Федор наспех привел себя в порядок и поспешил к штабу.

— Чего вскочил? — удивился Млынов.— Спал бы до семи, раньше вряд ли понадобишься.

Спать Олексин не мог. Лихорадочное ощущение первого боя искало выхода в каких-то немедленных действиях, но никаких поручений он не получал. Скобелев занимался с Куропаткиным, пехота ждала своего часа, штабные офицеры рассылали связных, принимали донесения, из которых что-то докладывалось немедленно, а что-то решалось самими. Тогда дежурный казак вскакивал на коня и, нахлестывая его нагайкой, мчался с очередным приказом. Но Федор был личным порученцем самого Скобелева и слонялся, не находя места. Первый бой в его жизни начался и разворачивался без него, и он со страхом подумывал, что никакого участия от него и не потребуется, а если потребуется, то он, чего доброго, непременно напутает, потому что дорогу, которую ему велел запомнить Скобелев, он напрочь потерял еще ночью.

— Чего ты здесь маешься? — спросил Млынов, выйдя из штабной палатки.— Поднимись на горку, что левее: Михаил Дмитриевич ее Счастливой назвал, с нее — все как на ладони.

На возвышенности, уже получившей в документах наименование «Счастливая», был приготовлен наблюдательный пункт, толпились офицеры, свободные, пока работала ар-

тиллерия. Федор запыхался на подъеме, а когда отдышался и, выбрав место, огляделся, перед ним предстала вся панорама артиллерийского боя.

Первое, что бросалось в глаза, была гора Рыжая, выглядевшая сейчас огненной, поскольку на ее скатах беспрерывно рвались снаряды: батареи стреляли поочередно, чтобы не давать противнику ни секунды передышки. Огненные всплески разрывов, клубы дыма, комья земли извергались точно из жерла действующего вулкана, тугие удары воздушных волн, рев и грохот больно били в уши.

— Зажали мы турок! — с восторгом прокричал Федору капитан Жиляй.— И удрать не могут!

Рыжая и рвавшиеся на ее гребнях снаряды закрывали саму Ловчу, лежавшую в низине Осмы, но за невидимым городком различались заросшие кустарником высоты. Там тоже вспыхивали огоньки разрывов, и Федор понял, что артиллерия Тутолмина громит сейчас расположенные перед нею редуты Рифата-паши. Адъютант Имеретинского был прав: артиллерия зажала противника с двух сторон, методически расстреливая его укрепления, сея панику среди аскеров и растерянность у командования, которое при этом двухстороннем обстреле никак не могло понять, откуда русские нанесут решающий удар. Определив, где Тутолмин, Федор посмотрел направо: туда он вел ночью генерала Добровольского. Сначала он заметил огоньки выстрелов, сообразив, что правая колонна тоже открыла огонь, а потом скорее угадал, чем увидел, войска, стоявшие в боевых порядках. Он попросил бинокль у Жиляя, вгляделся и с облегчением вздохнул: теперь он знал, куда скакать, если Скобелев пошлет его с приказом. Правда, как он ни шарил биноклем по местности, дороги так и не обнаружил — она проходила за возвышенностью и не просматривалась,— но направление уже было известно.

Вскоре на Счастливую поднялся Скобелев — как всегда, в белом кителе, с Георгием на шее,— Куропаткин, Млынов и незнакомый Федору немолодой полковник-артиллерист. Генерал долго осматривал в бинокль Рыжую и высоты правее.

— Прекрасно работают! — перекрывая грохот, сказал полковник.— Точно и слаженно.

— Слаженно, да не точно,— недовольно отозвался Скобелев.— Второй час по одному месту — это, по-твоему, точно?

— Дальность не позволяет, Михаил Дмитриевич.

— Дальность?.. Млынов, передай Василькову, пусть выдвинется как можно ближе к туркам.

Млынов молча побежал к батареям.

— Помилуйте, Михаил Дмитриевич, а коли турки ружейный огонь откроют?

— Как огонь, когда они головы боятся поднять. Артиллерия не только огнем, но и колесами должна маневрировать. Что, непривычно, артиллерист? Привычно, полковник, только на маневрах воюют.

Федор видел, как из общей линии батарей отделилась четверка орудий. Впереди размашистой рысью ехал командир — без мундира, в нижней рубахе; ездовые нещадно гнали лошадей, сзади с грохотом поспешали зарядные ящики и фуры.

— Васильков выехал,— с удовольствием отметил Скобелев.— Сейчас он им покажет кузькину мать.

— Что это он — без мундира, без сабли? — удивился полковник.

— Обет дал,— невозмутимо пояснил Скобелев, вновь берясь за бинокль.— Алексей Николаевич, что это турки на огонь не отвечают, а?

— Сам удивляюсь,— мрачно отозвался Куропаткин.— Не могли же мы все их пушки подавить.

— Не могли,— подтвердил артиллерист.— Они хорошо в землю зарываются, умело. Пока расковыряешь...

— Хитрит Рифат-паша,— задумчиво сказал Скобелев.— Не хочет орудия обнаруживать. Ничего, заставим. Как только Васильков пристреляется, подбросьте ему еще парочку батарей. Посмотрим, паша, у кого нервы крепче: у вас или у меня. Сколько ему лет?

— Сорок пять, что ли.

— Не «что ли», а докладывать точно! — строго сказал Скобелев.— Я должен знать, с кем воюю, а посему приказываю изучать врага досконально, вплоть до имен его любовниц. Теперь вот извольте гадать, почему он на наш огонь не отвечает. То ли страх, то ли выдержка, то ли расчет — что у него на уме?

Рифат-паша ответил около семи утра, но совсем не так, как можно было предполагать. Оставив без внимания пятьдесят шесть орудий, громивших его укрепления на Рыжей горе, он обрушил не только артиллерийский, но и ружейный огонь против стоявших в колоннах войск Добровольского. Аскеры залегли в кустах и кукурузе вдоль правого берега реки, винтовки их были куда дальнобойнее русских, и Добровольский сразу начал нести ощутимый урон. Его четырехфунтовые пушки ничего не могли поделать: снаряды их рвались у подножья возвышенностей правого берега Осмы, не достигая турецких ложементов.

— Что он стоит? — гневно крикнул Скобелев.— Олексин!..

Федор рванулся вниз, не дожидаясь приказа: он был уверен, что знает этот приказ. Вырвав поводья у казака, вскочил в седло, с места дав шпоры. Дороги искать было некогда — да он и не знал этой дороги! — и Федор помчался напрямик.

— Куда это он? — обескураженно спросил генерал.

— К Добровольскому,— пожал плечами Куропаткин.

— Под пулями? Идиот, его же убьют сейчас. Млынов, выясни, кто еще знает дорогу к правой колонне.

— Обождите, Михаил Дмитриевич, авось проскочит,— сказал Куропаткин.

— «Авось»? — заорал Скобелев.— Опять «авось»? На «авось» девки рожают, а не бои выигрывают. Вот Рифат-паша на «авось» не воюет: он точно мое слабое место нащупал. Так двинул по сопатке, что искры из глаз. Ей-богу, коли в плен возьмем — расцелую и саблю верну, как Петр Великий учил. А этот... Жив он еще?

— Скачет,— сказал Млынов, не отрываясь от бинокля.

— Хотел бы я знать, с каким приказом! — продолжал бушевать Скобелев.— Ведь не спросил даже, зачем его окликнули! Может, я воды хотел попросить, а он... Идиот!

— Посмотрим,— вздохнул Куропаткин.

— Посмотреть посмотрим, но на этого Олексина я смотреть больше не желаю. Чтоб духу его к вечеру не было, если живым останется.

Федор мчался, приникнув к напряженно вытянутой, дергающейся при каждом рывке, мокрой от пота лошадиной шее. Он схватил не своего коня, подседлан конь оказался по-казачьи, и Олексин до ужаса боялся, что лошадь может споткнуться. Путь пролегал по отрогам возвышенности, был усеян камнями, промоинами и ямами, Федор не привык к укороченным стременам и чувствовал себя в седле неуверенно. Может быть, от этого, а может, и от твердой внутренней убежденности, что пуля его не тронет, он не обращал внимания на обстрел (хотя слышал его и чувствовал всем телом).

Но — пронесло, и он на том же бешеном аллюре вылетел из-за поворота, оказавшись перед фронтом изготовленных к бою колонн. Солдаты и офицеры стояли в строю молча. Санитары оттаскивали раненых и убитых, и ряды снова смыкались.

— Где генерал? — прокричал Федор, сдерживая распаленную скачкой лошадь.— Где ваш командир?

Ему что-то сказал офицер, которого он миновал. Но

Олексин уже увидел Добровольского и закричал ему на скаку:

— Вперед! Что вы под пулями стоите? Вперед, в атаку!

Он хотел резко осадить коня, но тот с ходу дал осечку. Федор вылетел из седла, тут же вскочив на ноги.

— Вперед!

— Вы привезли приказ? — спокойно осведомился Добровольский.

— Приказ! — крикнул Федор.— Именем генерала Скобелева!

— Атака! — секунду помедлив, сказал Добровольский.— Господа офицеры!

Трубы пропели сигнал, ударили дробь барабаны. Офицеры вырвали сабли из ножен, и колонны дружно, как на параде, шагнули навстречу турецкому огню.

— Бегом! — кричал Федор.— Сближение опаснее всего! Бегом!

Все его военные знания основывались на том, что он вчера слышал от Скобелева. Он не понимал, что бежать еще преждевременно, что обвешанные амуницией и оружием солдаты выдохнутся во время бега и у них недостанет сил на штыковой удар. Сам он бежал впереди всех в английском костюме для верховой езды, коротких сапожках со шпорами и нелепой каскетке; именно этот наряд и вселял в него полную уверенность, что турки в него целиться не станут, поскольку он — не военный, а потому и не испытывал никакого страха. Позади него, все убыстряя шаг, грузно топала пехота. Возвышенности правого берега Осмы были сплошь в кустарниках да кукурузе; турок нигде видно не было, но из зарослей безостановочно вспыхивали огоньки выстрелов.

— Быстрей!.. Быстрей!..

На Счастливой все молчали, с некоторой растерянностью осознавая случившееся. Вопреки диспозиции, колонна Добровольского начала атаку раньше взятия Рыжей горы. Бой грозил перевернуться с ног на голову, но Скобелев был не из тех генералов, которые слепо действуют по единожды принятому решению: он умел подчинить общей идее любую случайность. Поэтому Куропаткин, записывая в дневник боевых действий происшедшее, с академическим спокойствием отметил:

— Восемь двадцать пять. Правая колонна генерала Добровольского начала атаку Осминских высот.

— Прекрасно начала! — крикнул Скобелев.— Жиляй, доложи его светлости об инициативе Добровольского и перебрось две резервные батареи прикрыть его правый фланг.

— Что прикажете? — спросил Куропаткин, пряча дневник.— Играть атаку?

— Зачем? Все батареи — на линию Василькова: громить Рыжую и берег Осмы. Ну, Рифат-паша, не ожидал ты такого афронта? — Скобелев весело расхохотался.— Проверим, что ты за полководец: сейчас мы тебе окончательно карты спутаем. Млынов, расчехлить все знамена! Оркестрам беспрерывно играть марши!

— Парад? — с долей иронии спросил полковник-артиллерист.

— Парад, полковник. Увидев мои знамена, Рифат-паша не станет рисковать резервами. А пока разберется, Добровольский успеет зацепиться за берега.

На Счастливую в сопровождении Жиляя поднимался светлейший князь. Поздоровавшись, спросил, что происходит.

— Генерал Добровольский упредил турок с фланговым ударом,— спокойно пояснил Скобелев.— Сейчас он займет Осминские высоты и нависнет над городом.

— А если неудача?

— Ваша светлость, если у вождя хоть на мгновение мелькнет мысль о неудаче, он обязан немедля прекратить бой. Это — теоретический постулат. А на практике, смотрите: Добровольский пошел на штурм. Далековато, правда, еще до турок, но его офицерам виднее. Через час-полтора он вышибет противника за Осму.

Аскеров с береговых возвышенностей вышибли куда быстрее: не получив подкреплений, они сопротивлялись вяло, стремясь поскорее уйти от русских штыков. Их командир оставил огневой заслон, под прикрытием которого основная масса его солдат успела перебежать на другой берег через мост у отрогов Рыжей горы. Заслон был частично уничтожен, частью пленен, и лишь немногим удалось перебраться через Осму. Задохнувшиеся от бега и рукопашной, русские солдаты падали на гребнях высот, готовясь огнем отбивать возможные контратаки.

Федор сидел в кукурузе, вытирая каскеткой мокрое лицо. Его не ранили ни пулей, ни штыком, хотя он все время бежал впереди и дважды чудом увернулся от аскеров.

— Разрешите представиться: поручик одиннадцатого батальона Василенко.

Федор оглянулся. Чуть ниже на скате стоял молодой офицер в расстегнутом мундире: нижняя рубашка была — хоть выжми.

— Олексин,— задыхаясь, сказал Федор.— Ординарец генерала Скобелева.

— Вас просит Добровольский.

Командиру правой колонны пришлось пробежать изрядный кусок, подниматься на кручи, продираться сквозь кустарник, и выглядел он весьма усталым.

— Исполнили,— сказал он Олексину.— А что это вы все впереди бежали?

— Я еще не добежал...

Федор отвечал не генералу, а своим мыслям, вспомнив вдруг собственные слова, которые сказал Маше после гибели Владимира. Теперь он начал свой забег снова, начал вторично, но останавливаться на этом не собирался. Он должен был, обязан был «добежать», добежать до самого себя. Добровольский не вслушался в ответ, а поручик Василенко понял его по-своему.

— Олексин прав, ваше превосходительство. Пока турки не опомнились, не худо было бы нам через речку перемахнуть.

— Каким образом, поручик? Против моста у них минимум две пушки на картечи: сметут как метлой.

— Брод,— сказал Федор: он еще не отдышался и говорил отрывисто.— Болгары обещали броды обозначить.

— Что брод,— с неудовольствием проворчал Добровольский: ему очень не хотелось вновь бросать своих солдат под пули.— Тот берег как блин: ни кустов, ни укрытий.

— Там — мельница,— пояснил Василенко.— Если мы в ней закрепимся, ваше превосходительство...

— Ну, попробуйте,— без энтузиазма согласился генерал: если бы не подчинение Скобелеву, он ни за что бы не рискнул, но Скобелев ценил самостоятельность.— Отберите полсотни охотников, больше не надо. И только в том случае, если брод найдете. Только в том случае, поручик.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— обрадованно сказал офицер.— Идемте, Олексин.

Пока поручик собирал охотников, Федор внимательно осматривал берега Осмы, ища оставленные болгарами знаки. Но ничего особенного определить не мог: на противоположном берегу лежало несколько лодок, и больше решительно не было никаких предметов. А они непременно должны были быть: Олексин знал, как вдумчиво и тщательно готовится к бою Куропаткин. Он еще раз всмотрелся, разглядывая каждую лодку, и вдруг увидел то, на что прежде не обратил внимания: одна из лодок лежала носом к реке.

— Возьмите револьвер, там нельзя без оружия,— сказал поручик, устраиваясь рядом.— Нашли брод?

— Видите лодку носом к нам?

— Вижу. Спасибо болгарам.— Поручик отцепил саблю,

аккуратно положил ее на землю.— Ну, пошли, Олексин? — не дожидаясь ответа, вскочил.— За мной, ребята! Бегом и — точно за мной!

С бродом Федор не ошибся: воды было чуть выше колен. И хотя сильное течение кое-кого — и Федора в том числе — сбило с ног, турки, не ожидавшие этой атаки, опомнились, лишь когда все уже были на низменном левом берегу. Встречный залп прозвучал нестройно, но мощно и неожиданно; Олексин кожей ощутил прожужжавшую у щеки пулю и сразу же упал на землю.

— Ранены? — спросил офицер.

— Ложись! — закричал Федор.— Надо под пули нырнуть! Ложись!

Подобной команды не было в практике армии, но Олексин кричал столь убежденно, что солдаты сразу упали на землю, и даже поручик, чуть помедлив, нехотя опустился рядом.

— Это что-то новое, Олексин,— проворчал он.— Перестреляют как куропаток.

— Как только снизят прицел, вскочим и — рывком к мельнице. Они и винтовок поднять не успеют.

На Счастливой не успели еще оценить внезапного броска стрелков Добровольского через Осму, как вдруг все стрелки, точно по команде, упали на землю.

— Неужто одним залпом? — растерянно предположил Млынов.

Скобелев молчал, напряженно всматриваясь в бинокль. Он не верил, что один ружейный залп может уложить полсотни солдат, и хотел понять, почему это произошло, куда стремились стрелки и какую выгоду от этого мог получить бой в целом.

— Может, офицеров убили? — спросил полковник-артиллерист.

Группа вскочила одновременно, явно по команде, оставив на земле несколько то ли убитых, то ли раненых. Вскочила и на одном дыхании рванулась к мельнице, стоявшей недалеко от моста у Рыжей горы. Турки не успели сообразить, не успели вскинуть винтовок, как горсточка солдат уже скрылась за каменными стенами мельницы.

— Да они пуль испугались! — презрительно заметил Жиляй.— Какой позор для русского мундира — перед врагом по земле ползать!

— Молодцы! — громко сказал Скобелев.— Ну, получил Рифат-паша подарочек: мост-то теперь под ружейным огнем,— он рассмеялся.— Млынов, узнай, кто скомандовал упасть под пулями. Георгия ему за то, что солдат спас и

задачу выполнил. Алексей Николаевич, готовь общую атаку,— он щелкнул крышкой часов.— Ровно в двенадцать — сигнал!

А уволенный со службы и внезапно представленный к награде в течение нескольких часов боя Олексин сидел под стеной. Уже при входе в мельничный двор турецкая пуля рикошетом попала в голову, содрала кожу, но кость не пробила. Голова кружилась, все плыло перед глазами, и Федор с трудом улавливал слова бинтовавшего его солдата.

— Ничего, барин, потерпи, контузия это. Спасибо тебе солдатское, господин хороший, что уберег нас: кабы не ты — ни в жисть бы нам до этой мельницы не добежать. Ни в жисть!..

— Добежал...— с трудом ворочая языком, сказал Федор.— Добежал я, братец. Добежал!..

5

Взятие Ловчи и полный разгром ее гарнизона были высоко оценены не только армией и государем, но прежде всего русским и болгарским народами, уже уставшими от топтания на месте и бессмысленного кровопускания. Александр II для доклада вытребовал самого светлейшего князя, намереваясь услышать рассказы о преданности и героизме. Но сдержанный Имеретинский, вкратце обрисовав ход сражения, все эмоции сконцентрировал в последней фразе:

— Героем дня был генерал Скобелев.

Несмотря на царское неудовольствие, фраза эта, попавшая в официальную реляцию и подхваченная газетами, обошла весь свет: к Скобелеву стучалась не только народная любовь, но и мировая слава.

Перед третьим штурмом Плевны русская армия была усилена 32 тысячами румын. В предвкушении победы император соизволил лично наблюдать за битвой, а общее командование возложил на румынского князя Карла. Фактически руководить сражением обязан был командир IV корпуса генерал Зотов, но так как вместе с Александром прибыли и военный министр Милютин, и главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, то не только единоначалие, но и просто четкое управление войсками было утрачено еще до первого залпа.

Генеральный штурм был назначен на 30 августа. День этот был Александровым днем — тезоименитства императора всероссийского, а посему о дне штурма знали все еще

до приказа — и солдаты, и офицеры, и сам Осман-паша. Знал и готовился со всей присущей ему решимостью, волей и пониманием психологии противника.

— Русские будут атаковать Гривицкие редуты,— сказал он на военном совете.— Дайте им бой, отступите и заприте их там перекрестным огнем. И пока они будут радоваться этой победе, бросьте все таборы к Зеленым горам.

Наступление решено было предварить мощным четырехдневным артиллерийским обстрелом турецких укреплений. Канонада приятно воодушевляла высоких гостей, но особых результатов не дала. Однако это было еще полбеды: беда заключалась в фанатическом упорстве русского командования штурмовать по тем направлениям, которые были укреплены наилучшим образом и по-прежнему представляли собой грозную силу.

Первым эту силу испытали на себе румынские войска. Они атаковали злосчастные Гривицкие редуты, уже обильно политые кровью костромичей в первом штурме и солдат генерала Вельяминова — во втором. Союзники трижды предпринимали штурм и в конце концов, понеся тяжелые потери, ворвались-таки в редуты. В числе потерь значился и веселый капитан Вальтер Морочиняну, ценою собственной жизни поднявший румын в последнюю атаку. Следовало немедленно использовать успех, подбросить резервы обескровленным колоннам, но князь Карл жалел свою, молодую необстрелянную армию, Зотов — свою, обстрелянную, и в результате противник отошел в полном порядке, тут же накрыв редуты сосредоточенным огнем.

Уже казалось, что сражение проиграно, что мощная канонада и кровавые штурмы не дали результатов, что Осман-паша прочно удерживает все позиции, усмехаясь в черную бороду и умело оперируя резервами. Казалось. Впрочем, в итоге «показалось» и неприятелю, причем столь грозно, что турецкий главнокомандующий приказал начать выводить обозы из Плевны. Осман-паша поверил в свое поражение, но русское командование так и не смогло понять собственной победы.

Ловче-Плевненскому отряду сама судьба указала наступать с юга — по тому самому пути, которым во время второго штурма атаковал маленький, по сути, сторожевой отряд Скобелева. Тогда Осман-паша был открыт с этого направления, но он был умен и дальновиден и, прекрасно зная тупое постоянство высшего командования, никогда не забывал об «Ак-паше». Скобелева ждали не только регулярные части, не только артиллерия, но и два мощных редута, выросших у самых плевненских предместий.

С вечера 29 августа начался дождь. Он шел до утра без перерыва, глинистая почва размокла, дороги стали непроезжими. Все складывалось против, но перенести день ангела императора на другой, более подходящий для штурма день было невозможно. И пока именинник принимал поздравления, тысячи русских солдат и офицеров в насквозь промокших мундирах шли под картечь и пули, с трудом волоча облепленные грязью самоги. Но приятный звон хрусталя в главной штаб-квартире надежно заглушал и стоны раненых, и хрипы умирающих.

В тяжелом, мокром тумане Владимирский полк шел на третий гребень Зеленых гор. Внезапно он был встречен таким огнем, что залег и смешался. А полыхающий беспрерывными залпами чертов туман не рассеивался, солдаты скользили и падали на крутых склонах, офицеры теряли подчиненных.

— Господа офицеры, ко мне! — кричал Скобелев, появившись на белой лошади среди бестолково метавшихся групп.— Ваша честь — там, на третьем гребне! Так ступайте же за нею!

Офицеры собрали солдат, молча под проливным дождем двинулись вперед. Скобелев обождал, пока они не скрылись в тумане, вытер мокрое лицо, вздохнул.

— Понял Осман-паша, чего наши стратеги до сей поры сообразить не могут: вот дверь в Плевну. За честь почту когда-либо руку его пожать.

Возвращался генерал другой дорогой, поскольку не очень-то был уверен, что в этаком тумане офицерам удастся быстро собрать расстроенные роты. Он ехал медленно, вглядываясь в молочную завесу, и вскоре действительно наткнулся на группу солдат, сидевших под обрывом. При виде выросшего из тумана генерала солдаты вскочили, вперед шагнул офицер.

— Капитан Гордеев, ваше превосходительство. Собираю отставших.

— А, Гордеев,— Скобелев натянуто улыбнулся.— Кажется, ходить в атаку несколько хлопотнее, чем болтать языком?

— Ваше превосходительство,— Гордеев подошел вплотную, понизил голос.— Вы были несправедливы ко мне в Туркестане и остаетесь несправедливым здесь. Я не давал повода...

— Повод дают коню, Гордеев. Офицеру вручают честь, кою он обязан беречь.

— Клянусь этой честью, что не сойду с того места, до которого дойду живым. Даже несмотря на ваш приказ, генерал.

— Вот тогда я признаю, что был не прав. Ступайте, капитан, и постарайтесь, чтобы выбранное вами место было ближе к Плевне, чем к штабу.

— Вам придется признать себя неправым, ваше превосходительство.

— С радостью сделаю это, Гордеев!

Скобелев дал шпоры, поднял коня и с места бросил его в карьер.

К часу пополудни скобелевцы сшибли турок и прочно закрепились на третьем гребне Зеленых гор. Перед русскими лежала низина с разбухшим от дождя ручьем, глинистый, размякший, растоптанный отступившими подъем и два заново отстроенных редута с глубокой траншеей между ними и ложементами впереди. Где-то вверху уже начал редеть туман, но клубы его, перемешанные с пороховым дымом, сползали в низину: густая серая мгла разделяла сейчас солдат Скобелева и аскеров Османа-паши. Оставалось лишь нырнуть в нее, пройти под огнем семьсот шагов, выбить противника из ложементов и ворваться в грозные, ощетиненные картечью и залпами редуты.

— Задачка,— вздохнул Куропаткин.— Солдаты потеряют офицеров в тумане, опять кутерьма начнется.

— Музыкантов сюда,— велел Скобелев.— Расчехлить знамена, играть марш, наступать в строевом порядке. Музыка организует, Алексей Николаевич, а знамена заменят офицеров. Распорядитесь и — с Богом. В три часа общая атака.

Скобелев нашел способ борьбы с туманом, свято веря: боевой дух его войск настолько высок, что преодолеет огневой заслон, но против грязи, осклизлой крутизны и топких берегов Зеленогорского ручья он был бессилен. В три часа загремели оркестры, взметнулись знамена и первый эшелон — все те же Владимирский и Суздальский полки — пошел на штурм редутов, тогда именовавшихся Каванлык и Иса-Ага, а после этих кровавых дней названных Скобелевскими. Скатились к ручью, с трудом преодолели его и залегли в лощине, прижатые жестоким огнем. Вслед был тут же брошен Ревельский полк, солдаты рванулись в атаку, скользя, падая, с трудом вытаскивая ноги из размытой глины. И эта скользкая крутизна остановила их порыв быстрее, чем ожесточенная стрельба турок. До первых турецких ложементов осталось несколько десятков шагов, но сил уже не было: солдаты падали в грязь, атака захлебывалась.

— Все резервы — в бой! — крикнул Скобелев.

Либавский полк и два стрелковых батальона, посланные на помощь, вдохнули новые силы в атакующих. Последние

шаги были пройдены, и перед редутами начался рукопашный бой. Из редутов выкатывались новые и новые цепи, тысячи людей, скользя и падая, остервенело дрались на скатах. Русские гнулись, подавались назад, снова отбрасывали аскеров и снова пятились; они еще держали строй, не давая разорвать его, они еще верили в победу.

— Чуть! Еще чуть, ребята! — кричал Скобелев.

— Они не выдержат! — крикнул всегда невозмутимый Куропаткин.— Прикажите отступить, пока их всех не перекололи. Резервов больше нет!

— Нет? А мы с тобой, Алексей Николаевич, на что тогда? Мы и есть последний резерв. Коня!

Этот «последний резерв Скобелева» затмил собою Аркольский мост Наполеона. И до сей поры экскурсоводы города Плевена, приводя группы на восстановленные Скобелевские редуты, не просто рассказывают о подвиге русского полководца, а неизменно повторяют гордую фразу: «В эту страшную минуту Скобелев послал на помощь изнемогавшим полкам последний резерв — самого себя!»

Он первым доскакал до войск: лошади Куропаткина и Млынова завязли в топях Зеленогорского ручья. Появился вдруг, с саблей в руках — мокрый, с растрепанной бородой, в неизменно белом сюртуке, заляпанном грязью.

— Последний рывок, ребята! — прокричал он, отбиваясь от наседавших турок саблей.— Не приказываю — прошу: за мной!

И смяв конем аскеров, прорвался, дал шпоры, поднял лошадь и одним прыжком послал ее через глинистый откос редута. Лошадь свалилась на защитников; Скобелев с трудом удержал ее на ногах, рубя саблей растерявшихся турок. Он не оглядывался: знал, что солдаты пройдут за ним сквозь любые заслоны. И когда проткнутая штыками лошадь начала валиться, а его самого стали быстро и весьма бесцеремонно стаскивать с седла, то ни секунды не сомневался, что стаскивают его свои. Только тогда он опомнился и уже стал различать лица: до этого в глазах стояло что-то однообразно вражеское, сине-красное.

— Целы, ваше превосходительство?

— Никак ты, Васильков?

На сей раз хмурый бомбардир был в грязном, изодранном мундире. На левой щеке чернела рваная рана, кровь текла по усам.

— Без пушек, правда, зато лучших фейерверкеров привел, если их в свалке не убило. А пушки, ваше превосходительство, у турок отбить придется: свои сюда не протащишь.

В редуте были захвачены два годных орудия и снаряды. По счастью, фейерверкеры уцелели в штыковой, но их командиру Скобелев решительно приказал уходить в тыл.

— Ты мне еще нужен будешь, Васильков. Война этим редутом не кончается.

В самом редуте боя уже не было: он шел в траншее, стрелковых ровиках, на подступах ко второму редуту и в садах Плевны. Скобелев хотел задержаться, чтобы оценить, как складывается обстановка, но Млынов привел коня, и офицеры чуть ли не силой выпроводили генерала в тыл. За командира остался Куропаткин.

В то время, когда скобелевцы отбивали беспрестанные контратаки турок, а Осман-паша приказал выводить обозы и готовить прорыв на Софийское шоссе, Александр II сокрушенно вздохнул:

— Неудача.

— Скобелев удерживает Зеленые горы, ваше величество,— рискнул возразить Милютин.

— Надолго ли? — отрывисто спросил Николай Николаевич-старший.— Если его сомнут, турки ринутся к Свиштову. Нужно озаботиться безопасностью государя: сражение проиграно. Пусть Скобелев пока сковывает противника, резервов ему более не давать. Все резервы — на защиту путей отступления.

— Опять неудача! — еще раз вздохнул император.— А так счастливо начинался день!

Через несколько минут после этого горестного вздоха скобелевцы под командованием подполковника Суздальского полка Мосцевого ворвались в редут Иса-Ага — последнее турецкое укрепление перед Плевной. Брешь была пробита во второй раз: оставалось, подтянув свежие силы, лишь вкатиться в город, защищать который противник не имел ни веры, ни возможности. Но командиры этих свежих сил уже получали приказы на отвод своих частей: прикрывать направления возможного бегства державного именинника и его гостей.

Вскоре из Скобелевских редутов притащили обожженного и сильно контуженного Куропаткина. Командуя захваченными турецкими орудиями, он успел крикнуть: «Первое, пли!..», когда вражеская граната попала в зарядный ящик. Сильнейший взрыв потряс воздух, капитана подбросило выше валов. Он чудом упал на ноги, успел крикнуть: «Второе, пли!..» и потерял сознание. В командование редутами вступил генерал Добровольский, смертельно раненный через несколько минут. Его заменил генерал Тебякин, впоследствии тоже раненый, но успевший организовать массированный

артиллерийский огонь. Турки откатились к первым плевненским домам, и бой затих. Затих на какое-то время, но скобелевцы сумели использовать это затишье. Расчищая заваленные трупами редуты, они складывали мертвых аскеров друг на друга головами к Плевне, строя дополнительное прикрытие от ружейного огня турок.

Первые обозы уже тронулись из Плевны к мосту, когда Осман-паша прислушался:

— Если я слышу, как скрипят колеса, значит, русские прекратили штурм?

— Русские атакуют только со стороны Зеленых гор.

— Слава Аллаху, они не поверили в мое поражение. Остановите обозы.

Скобелев был у Зотова. Вопреки обыкновению, он не шумел, не требовал, не доказывал — даже не объяснял, что его солдаты, вторые сутки бессменно ведущие бой, по собственной инициативе просочились сквозь турецкие цепи, завязав перестрелку в городе, что, обреченные на смерть и понимающие это, они отвлекают противника, чтобы успеть подтянуть резервы. Он только просил.

— Ваше высокопревосходительство, хотя бы полк. Свежий полк.

— У меня нет более полков, Михаил Дмитриевич, голубчик, поверьте мне наконец. Все резервы — в руках его высочества главнокомандующего: он держит дорогу к переправам.

— Стратеги...

— Я попрошу генерала Крылова с зарею атаковать турок,— помолчав, сказал Зотов.— Это поможет вам вывести из боя войска.

— Какие войска? — с горечью спросил Скобелев.— Мертвые не выходят из боя, генерал. Они в нем навсегда. Навеки.

— Это единственное, что я могу сделать для вас, Михаил Дмитриевич.

Скобелев молча поклонился и вышел. Несвойственная его натуре апатия вдруг охватила его, парализовав и силы и волю. Уже в сумерки прибыв на позиции, он выехал на скат перед ручьем. За противоположным подъемом, заваленным телами убитых, виднелись редуты. Они молчали, а редкая перестрелка шла за ними, на окраине города. Там аскеры добивали его солдат, и он ничего уже не мог сделать, чтобы спасти их.

— Раненых подобрали?

— Всех, Михаил Дмитриевич,— ответил из-за плеча Млынов.

— Как там Куропаткин?

— Оглушен и обгорел. Кости целы. Правее вас — в темном на лошади. Видите?

На левом фланге турецких войск смутно виднелась черная фигура. Всадник стоял впереди стрелковой линии одиноко, положив руки на луку седла.

— Не ты разгромил меня, Осман-паша,— тихо сказал Скобелев.— Свои турки постарались. Природные.

Он вдруг согнулся, плечи его судорожно затряслись. Млынов тронул коня, поравнявшись, осторожно коснулся плеча.

— Михаил Дмитриевич...

— Оставь! — Скобелев резко дернулся.— Если утром Крылов начнет атаку, попытаемся своих отвести. Сейчас нельзя: сомнут их в темноте.

Осман-паша упредил обещанный удар Крылова: его аскеры начали бешеный штурм Скобелевских редутов еще затемно. Он двинул не только резервы, но и таборы с тех направлений, на которых русские прекратили наступать: практически против Скобелева были брошены все боеспособные части. Левый фланг еще удерживал Эстляндский полк, справа дрались спешенные кавалерийские части, в центре еще неколебимо стояли редуты, но долго так продолжаться не могло.

— Олексин, доберись до редутов. Хоть ползком. Прикажи отступать, как только Крылов начнет атаку.

Лощина Зеленогорского ручья простреливалась турками, сумевшими все же потеснить левый фланг Скобелева. Федор перебегал, прыгая через трупы. Свалился в редут, когда там только-только отбили очередную атаку.

— Шестая,— отметил пожилой фельдфебель.— Из докторов, что ли, будете?

— Нет, я с поручением. Где командир?

— Ваше благородие, тут с поручением! — крикнул фельдфебель.

Подошел капитан в заляпанном кровью и грязью мундире. Осунувшееся лицо было в глине, и Олексину показались знакомыми лишь проваленные, безмерно усталые глаза.

— Вы, Олексин? Вот где пришлось свидеться.

— Гордеев?..

— Что принесли — помощь или обещания?

— Помощи не будет. Генерал приказал отступать, как только Крылов начнет атаку.

— Отступать,— Гордеев спиной сполз по глинистой стене бруствера в красную от крови лужу.— Мои солдаты были

в Плевне: двое сумели вернуться. Нет, он действительно Бова-королевич, так и скажите ему, Олексин.

— Сами скажите, капитан.

Гордеев отрицательно покачал головой. Потом усмехнулся.

— Что такое честь, Олексин, думали когда-либо? Впрочем, вам ни к чему: вы впитали ее с колыбельки. А мне пришлось думать. Для вас честь — гордость рода, а для меня — гордость Родины.

— Мой род неотделим от Родины, Гордеев.

— Я не о том. Если бы мы воевали за очередной кусок, я бы не вернулся в армию. Но мы воюем за свободу, Олексин. Пока — за чужую, и то слава Богу. Честь Родины — нести свободу народам, а не завоевывать их, вот я о чем. Извините, мысли путаются: двое суток не спал. Умереть не выспавшись — это уже смешно, не правда ли?

— Странно вы шутите.

— Странно, Олексин? Страна у нас странная, вот и шутим мы странно. У нас — восторженная история. Не по сути, а по способу изложения. И во всех нас таится этот подспудный восторг, а кто не скрывает его, тот — вождь, трибун, идол, за которым мы идем очертя голову, ибо в лице его всю свою восторженную историю воочию видим. Помирать — так с музыкой: вот наш девиз. И он это очень хорошо понимает.

— Вы о Скобелеве говорите?

— Я о восторге говорю. Сегодня его Скобелевым зовут, завтра другой придет — суть не в этом, Олексин. Суть в том, что коли есть идея в войне, то восторг наш природный сразу на фундамент опирается. И тогда нам никто не страшен, никто и ничто. Кажется, бой завязывается, слышите? Уши мне заложило...— Гордеев встал.— Все правильно: атака. Забирайте солдат, Олексин, знамена и — прощайте.

— А вы?

— Генералу скажете, что Гордеев умер там, докуда дошел. Слушай приказ! — крикнул капитан.— Всем покинуть редут и спасти боевые знамена. Живо, ребята, живо, пока турки не опомнились!

Уже в логу, пропуская мимо солдат, тащивших раненых и два батальонных знамени, Федор оглянулся. И вздрогнул: на бруствере редута открыто стоял капитан Гордеев, скрестив на груди руки — с правой на темляке свисала сабля. Он смотрел вперед, на Плевну: оттуда со штыками наперевес бежали турки...

— Скорее, ваше благородие, отрежут! — крикнул Олексину ожидавший его фельдфебель.

Когда Олексин перебрался через ручей и, перебегая, вышел из зоны обстрела, он еще раз оглянулся. Сквозь моросящий дождь с трудом проглядывались глиняные откосы редута. На брустверах его виднелись лишь синие куртки аскеров...

Третий штурм Плевны стоил России тринадцати, а Румынии — трех тысяч жизней. Русская армия прекратила бессмысленные попытки сокрушить Османа-пашу и стала переходить к правильной осаде, постепенно стягивая кольцо. Руководить блокадой было предписано герою Севастопольской обороны генералу Тотлебену. В кровавой истории Плевны наступал новый этап.

Немногим позднее государственный секретарь Половцов записал в своем дневнике:

«Слава Скобелева растет ежедневно. Когда он едет по лагерю, все солдаты выбегают из палаток с криками «ура!», что до сей поры делали для одного государя. Скобелев умен, решителен и безнравственен — таковыми были кесари и Наполеон. Белый китель и белая лошадь дразнят турок и восхищают солдат. Николай Николаевич-старший его ненавидит, и в последнее Плевненское дело письменно запретил посылать ему подкрепления, а получи он их и удержи редуты, так и Плевна была бы нашей...»

Глава седьмая

1

Подполковник Калитин вызвал поручика Олексина днем, когда в ротах шли усиленные занятия. Летучий отряд Гурко все еще стоял перед Балканами, болгарскому ополчению были предписаны ежедневные учения, и неожиданный вызов несколько удивил Гавриила. Но еще более его озадачил первый вопрос командира дружины:

— В вашей роте числится дружинник Славенов. Что скажете о нем?

— Добросовестен, исполнителен. Замечаний не имею.

— Я спрашиваю о человеке, а не о солдате, поручик. Не нашли времени поинтересоваться?

— Поинтересовался по его почину, господин полковник,— Гавриил не понимал, что происходит с Калитиным, и перешел на официальный тон.— Славенов весьма образован, долго жил в эмиграции. Был близок с Карагеоргиевым, с чего, собственно, и возник наш первый разговор.

— Член упраздненного болгарского Комитета?

— Да.

— Так и я думал,— вздохнул подполковник.— Беда с этими политическими деятелями: социалист на социалисте. Вас вызывает Рынкевич, поручик.

— Опять? — усмехнулся Олексин.

— Вместе со Славеновым,— весомо уточнил Калитин.— Не наболтайте глупостей, я не хочу лишиться командира роты перед походом.

У Рынкевича сидел полковник Артамонов. Гавриил сразу узнал его, хотя видел всего один раз в кафане, где принимали воеводу Цеко Петкова. Отрапортовал, что прибыл вместе с дружинником Славеновым и что дружинник ожидает приказа. Рынкевич тут же молча вышел, оставив Артамонова наедине с поручиком.

— Садитесь,— поковник помолчал, привычно потерев костистый лоб цепкими пальцами.— Что знаете о Славенове?

Помня о разговоре с Калитиным, Гавриил докладывал лишь то, что могло интересовать собеседника: прошлое Славенова, работу в Комитете, особо подчеркнув его дружбу с Карагеоргиевым.

— Карагеоргиев... Кажется, убит в Сербии?

— Погиб мученической смертью, господин полковник. Последним словом его было «Болгария».

— Да, это — аргумент,— задумчиво произнес полковник, размышляя.— Скажите, поручик, а Славенов способен принять подобные муки? Не торопитесь: мы хотим доверить вашему дружиннику одно задание. Если при этом он попадет в руки турок, мы должны быть уверены, что он ничего не скажет. Кроме слова «Болгария».

— Следовательно, я должен поручиться за него?

— Да.

Это «да» прозвучало столь особо, что Гавриил призадумался. Он мало знал Славенова, говорил с ним считанные разы, но за Славеновым ему упорно мерещилась фигура хрипевшего Карагеоргиева, с безобразно раздутой головой. И вспоминался свой собственный выстрел, оборвавший его мучения. «Болгария...» — выдохнул вместе с жизнью Карагеоргиев. Что же давало ему силы и в эти последние страшные мгновения думать только о родине? Комитет: иного ответа у Гавриила не было. И поэтому он сказал:

— Я ручаюсь за Славенова, господин полковник.

Артамонов долго молчал. Сидел, уставившись в одну точку, машинально потирая лоб, в последний раз взвешивая что-то очень важное.

— Чтобы вы поняли цену своего поручительства, вы

будете присутствовать при нашей беседе, поручик. Естественно, что о ней рассказывать не следует, хотя бы вас, как Карагеоргиева, подвесили вниз головой. Пригласите Славнова.

Полковник долго и чрезвычайно дотошно расспрашивал дружинника. Славенов отвечал сухо, без подробностей и отступлений. Разговор касался прошлого Славенова, его родных и близких, и Гавриил понимал, что все это лишь прощупывание, подходы к главному.

— По поручению Комитета вы нелегально проникали в Забалканье,— полковник не спрашивал, а констатировал известный ему факт.— Какими перевалами?

— Разными: Шипкинским, Травненским, Хаинкиойским. Какой вас интересует?

— Скажем...— Артамонов помолчал.— Допустим, Хаинкиойский.

— Очень труден, практически — тропа. Можно в поводу провести лошадей, но артиллерия и обозы там не пройдут.

— Меня интересует не география, а турки. Возьметесь установить, охраняют ли они этот перевал и как именно? Мне известно, что вы свободно владеете турецким, а посему способ разведки будет указан человеком, который пойдет с вами.

— Я согласен, господин полковник,— не раздумывая, ответил Славенов.

— Представляете, что будет, если турки обнаружат обман?

— Лучше вас, и тем не менее я согласен.

— За вас поручился ваш командир роты. Если вы...

— Я в третий раз подтверждаю свое согласие провести вашего человека через перевал. Вам достаточно этого, господин полковник?

— Достаточно,— Артамонов кивнул и чуть повысил голос: — Алексей Николаевич, прошу!

Бесшумно открылась дверь соседней комнаты, и вошел князь Цертелев. На казачьей черкеске поблескивал новенький Георгий, полученный урядником за самовольную разведку при взятии Тырнова.

— Рад видеть вас, Олексин.

Он дружески кивнул Гавриилу и тут же обрушил на Славенова целый поток быстрых турецких фраз. Славенов скупо ответил на том же языке, а полковник тихо сказал Олексину:

— Вы свободны, поручик, благодарю. Ваш дружинник числится в лазарете.

На этом и закончились для Гавриила дела, выходившие

за рамки обязанностей ротного командира. Отряд генерала Гурко деятельно готовился к маршу, его руководителям приходилось решать множество задач, и одной из этих задач оказалось необычное для казаков распоряжение получить деньги на поход. Не жалование за службу, а ассигнации авансом для расчета за прокорм и фураж. Поскольку казаки исстари содержали себя и коней в походах с добычи, на подножном корму, то Иосиф Владимирович приказал выстроить все имеющиеся в его распоряжении иррегулярные части без офицеров. К назначенному часу вахмистры выстроили донцов и кубанцев посотенно на равнине в виде буквы «П». Привычные к дисциплине, казаки терпеливо стояли в конном строю, но гомонили и пересмеивались, поскольку офицеров не было, а младшие командиры были своими же станичниками.

И враз замолчали, когда в чистом поле показался скачущий всадник. Приближаясь и не сдерживая коня, всадник в простой черкеске вдруг бросил стремена и поводья и на том же распаленном лошадином скаку стал выделывать такое, что весь казачий строй ахнул и разразился восторженной матерщиной. Всадник то пропадал под лошадью, то вновь оказывался в седле, делал стойку, вертелся вокруг лошадиной шеи, вставал в рост, и все — не снижая карьера, неуловимо и точно управляя разгоряченным конем.

— Ура! — дружно, от души, не по команде, взревели казаки, когда генерал Гурко, сдержав коня, на крупной рыси въехал в центр построения.

— Ну как, казаки, моя джигитовка?

— Лихо, ваше превосходительство! Не всякий черкес сделает!

— Ну, коли лихо, принимаете в казаки?

— Принимаем! — радостно отозвались казаки.

— Может, и в походные атаманы выберете?

— Выбираем, батька! Прими булаву и головы наши! Ура атаману!

— Тихо! — Гурко поднял руку, и все смолкло.— Тогда слушать меня, как Бога. Вам деньги на поход выданы, а я вашу казачью повадку знаю. Так вот, мой первый наказ: платить болгарам за все. За сено и овес, за хлеб и за воду. Ежели узнаю, кто болгарина или мирного турка обидел, взыщу как атаман, вплоть до расстреляния на месте. Все меня слышали? И второе. За «ура» спасибо, станичники. Только враг «ура» нашего не выносит, значит, его беречь надобно и зря не расходовать. Меня государь командиром вашим поставил, а вы своей волей в атаманы выбрали, так что не посетуйте. За удаль крестов не

пожалею, за трусость, грабеж и пьянство семь шкур спущу. Как, любо вам это?

— Любо, батька! — согласно ответили донцы и кубанцы.

— В строю да в бою я вам — ваше высокопревосходительство, как то государем установлено. А все строя да еще у костра — батька, атаман. На том, стало быть, и порешим до конца похода. Вахмистры, развести сотни по бивакам!

Перед броском в рейд по глубоким тылам противника Иосиф Владимирович, как всегда, всех выслушивая и ни с кем не советуясь, всеми способами сколачивал отряд. После демонстрации своей кавалерийской лихости он был уверен в казаках: они могли обмануть и провести любого командира, но выбранному на поход атаману, «батьке» блюли традиционную верность. Оставались самовлюбленные братья-герцоги: их следовало сразу же поставить на место, дабы обезопасить себя если не от жалоб, писем и наушничания, то хотя бы от неповиновения. Но тут Гурко не торопился: и потому, что привык тщательно и подолгу взвешивать собственные решения, споря с самим собой постоянно, и потому, что не располагал еще всеми данными.

Ясность принесла разведка. Славенов вернулся один, доставив кроки маршрута и записку Цертелева: азартный князь на свой страх и риск отправился далее, к шипкинским проходам. Устно болгарин доложил, что перевал охраняется турками только на выходе. Тропа узкая, но проходима для лошадей почти на всем расстоянии; особо трудные участки обозначены на схеме, исполненной Цертелевым.

— Турки часто задерживали? — отрывисто спросил Гурко, когда дружинник замолчал.

— Три раза: патруль, часовые на спуске и дежурный офицер отряда, охраняющего выход.

— За кого себя выдавали?

— За турок,— пожал плечами Славенов.

— Допрашивали?

— Скорее беседовали одновременно с обоими. Беседу вел дежурный офицер в карауле. Там же мы и заночевали.

— Чем интересовался?

— В основном вами, ваше превосходительство,— сдержанно улыбнулся болгарин.— Турки убеждены, что вы нацелены на Шипкинский перевал, и князь Цертелев не стал их разубеждать.

— И по этой причине решил сам проверить Шипкинскую дорогу?

— Да. Там безуспешно пытается пробиться Орловский полк: нам об этом рассказали турки. Князя интересуют турецкие резервы.

— Благодарю, будете представлены к награде,— генерал чуть наклонил голову, отпуская разведчика.— Полковник Артамонов позаботится о вашем отдыхе.

— К сожалению, на отдых у меня нет времени,— сказал Славенов.— К утру я должен ждать князя в условленном месте.

— Передайте Цертелеву мою просьбу не рисковать понапрасну,— с некоторым неудовольствием заметил Гурко.— Она касается также и вас. Ступайте.

На следующий день Гурко выслал на Хаинкиойский перевал авангард под начальством генерала Рауха. Во главе, прикрывшись лишь казачьим дозором, шли конно-пионеры графа Ронникера, расчищая и укрепляя дорогу. Никто их не беспокоил, турок на перевале не было.

Накануне выступления основных сил Гурко созвал совещание. Он не ставил вопроса о путях движения отряда: решение им уже было принято, и авангард Рауха делал сейчас все возможное для быстрого продвижения конных масс и артиллерии по дефиле и караванным тропам. Это обстоятельство вызвало резкое неудовольствие сиятельных братьев.

— Я не понимаю, с какой целью вы собрали нас, генерал,— с раздражением сказал старший герцог Лейхтенбергский.— Если все решено, то не проще ли отдать приказ? А уж коли собрали нас, то давайте обсудим ваше решение. Мне, например, оно представляется, прошу прощения, авантюрным.

Герцог сам давал Иосифу Владимировичу повод для отповеди, во имя чего генерал, собственно, и собрал это совещание. И Гурко сразу же воспользовался им.

— Я поставлен над вами волею государя и только ему и отечеству обязан отчетом в моих действиях. От всех же вас требую беспрекословного повиновения и сумею заставить всех и каждого в точности исполнять, а не критиковать мои распоряжения. Прошу всех это накрепко запомнить,— он промолчал, полоснул по вытянувшимся лицам братьев знаменитым «режущим» взглядом, добавил жестко: — Чтоб я подобного более не слышал.

У Гурко, обладавшего решительным и суровым характером, было два знаменитых выражения, о которых очень скоро узнал весь отряд от генералитета до нижних чинов. Если он замечал какие-либо нарушения дисциплины или упущения по службе, то после короткого, но жестокого разноса следовала первая формула: «Чтоб я этого более не видел», достававшаяся, как правило, на долю среднего офицерства. Если же он слышал критику в адрес уже отданного

им распоряжения, сомнение в целесообразности или хотя бы косвенное неодобрение его, употреблялась вторая: «Чтоб я подобного более не слышал», адресованная уже командирам более высокого ранга, вплоть до собственного начальника штаба. Оба эти выражения ставили окончательную точку, вопрос считался исчерпанным, все разговоры прекращались. В отношении братьев-герцогов Гурко давно искал возможность высказать это со всей жесткостью и непреклонностью, дабы недвусмысленно предупредить, что ни знатность рода, ни чины, ни личные связи в этом походе не будут иметь ни малейшего значения. Потомки пасынка Наполеона принца Богарне герцоги Лейхтенбергские, при всей спесивости, были людьми неглупыми, предупреждение командира Летучего отряда поняли и приняли и в дальнейшем уже исходили из этого, не досаждая более Иосифу Владимировичу ни сомнениями, ни стратегическими рекомендациями.

Вечером того же дня казачий дозор авангарда чуть было не обстрелял двух турок, неожиданно спустившихся с гор. Турки требовали немедленного свидания с генералом Раухом, и казачий урядник, для порядка поорав и поспорив, доставил их под конвоем к командиру авангарда. К ночи оба разведчика с предосторожностями были переправлены в тыл, и генерал Гурко получил исчерпывающие сведения о турецких гарнизонах, сосредоточенных поблизости от Шипкинского перевала. Направления ударов были ясны; 30 июня, за восемь дней до первого штурма Плевны, десятитысячный Летучий отряд выступил с основными силами к Хаинкиойскому перевалу.

Трехдневный переход через Балканы был чрезвычайно тяжелым. Гурко отказался от обозов, погрузив боеприпасы и снаряжение на вьючных лошадей, сведя до минимума запасы продовольствия и оставив в Тырнове все, что могло помешать стремительному броску. И тем не менее подъемы и спуски оказались столь круты, а тропы столь узки и неудобны, что пушки и зарядные ящики тащили на руках. «Только русский солдат мог пройти в три дня и провести полевые орудия по столь тяжелому пути,— доносил Гурко главнокомандующему.— Справедливость требует сказать, что болгарское ополчение не отставало от остальных войск в деле преодоления трудности движения».

С зарею 2 июля авангард Рауха вышел из ущелья и внезапно, с марша, атаковал турецкий батальон, стоявший в деревне Хаинкиой. Противник бежал, однако, собрав подкрепления, попытался контратаковать втягивающиеся в долину войска Гурко, но был разгромлен. Летучий отряд ворвался в Забалканье, развернул части и, не давая туркам

опомниться, предпринял ряд коротких стремительных ударов. Уже на следующий день казаки и болгарские ополченцы разбили и рассеяли три табора, а две сотни кубанцев, прорвавшись к Ени-Загре, овредили телеграфную линию и захватили турецкий транспорт с боеприпасами. Противник, полностью дезориентированный внезапными бросками кавалерийских соединений Гурко, в растерянности метался по Казанлыкской долине.

Следом за Летучим отрядом тем же мучительным путем прошла посланная на поддержку 4-я стрелковая бригада генерала Цвецинского. Оставив для охраны перевала Столетова с двумя дружинами и 26-м Донским полком, Гурко двинул основные силы на Казанлык.

Он хорошо понимал, что означает маневренная война в глубоком тылу противника. Не давать врагу опомниться, объединиться, предугадать, куда русские направят свой следующий удар, запутать его, оглушить, посеять панику и как результат — отвлечь от основной цели рейда,— таков был тщательно продуманный им способ борьбы. Бросая ударные кавалерийские части в глубокий рейд, русское командование отчетливо представляло степень риска, и кандидатура командующего обсуждалась долго и всесторонне. Этот командующий должен был обладать не только военным дарованием, решимостью и отвагой: в самом характере его необходимо было предусмотреть черты, сводящие этот риск к минимуму. Здесь нужен был природный сплав трезвой расчетливости и умения принимать на себя ответственность, способность оперировать малыми силами на большом театре военных действий и уходить от ударов противника, непреклонная воля и полное доверие к подчиненным, выполняющим самостоятельные задачи. В какой-то степени всем этим требованиям отвечал генерал Иосиф Владимирович Гурко; «в какой-то» потому, что боевого опыта у него не было. И тем не менее Левицкий настоял на утверждении именно его кандидатуры, несмотря на колебания Непокойчицкого.

Вскоре заметались не только части турецких войск, резервы и остатки разгромленных гарнизонов, но и многочисленные конные банды башибузуков: турецкое командование стремилось навязать Гурко партизанскую войну. Сабельными ударами казаков и огнем драгун банды были рассеяны. Лишившись возможности активно противодействовать русским, башибузуки стали вымещать ненависть на мирном болгарском населении. Казаки, кавалеристы, стрелки и дружинники все чаще встречали теперь сожженные села, изуродованные трупы болгар, изнасилованных и зверски за-

мученных женщин. Насмотревшись на это, казаки поклялись в плен никого не брать. Война принимала все более ожесточенный характер.

— Не слишком ли, станичники, усердствуете? — спросил Гурко, ужиная у казацкого костра.

— Мало, батька,— сурово отрезал пожилой есаул.— Кабы они только раненых наших мучили, а то ведь мирных не щадят. Ни стариков, ни мужиков болгарских. Я уж о бабах ихних и не говорю. Страшная у них судьба.

— Мы такого нагляделись, что сердце запеклось,— поддержали казаки.— Того и в станице не расскажешь, что глаза наши бачили. Нет уж, батька, по-нашему будет: око за око.

— Глядите, казаки, враг тот, кто с оружием,— сказал Гурко.— Коли дознаюсь, что хоть одного мирного кто тронул, расстреляю на месте. И на родину сообщу: в казаках более не числить, потому как воинскую честь свою опорочил. То же и имущества касается, даже если дом турками брошен и хозяев нет.

По тому, как казаки замолчали и стали переглядываться, генерал понял, что насчет имущества угадал точно.

— Взяли дуван? Не крутись, есаул!

— Взяли,— со вздохом признался есаул.— Третий день с собою возим. Пахомыч, покажи батьке дуван.

Из темноты в освещенный круг костра вступил немолодой казак в наброшенной на плечи, несвойственной донцам бурке. Присел, откинул полу: на левой руке его, прижавшись щекой к груди, сладко спал смуглый годовалый мальчик.

— Вот она, казачья добыча,— сказал есаул.

— Турчонок,— ласково сказал Пахомыч.— В доме брошенном нашел. Жалко парнишку, пропадет ведь.

— Петькой назвали,— хмурое лицо есаула расцвело теплой, умильной улыбкой.— Отзывается, лопочет что-то, ручки тянет.

— С собой таскаете? — растерянно спросил Гурко.— А кормите чем?

— Молоко болгары дают. А то — кашку. Лопает! — вразнобой, оживленно и радостно загомонили казаки.— Уговор меж нас такой: кто цел останется, тот ему и батька. На Дон с собой возьмет, казака вырастит.

— Ах, казаки, казаки! — вздохнул Гурко.— Спасибо вам за доброту, только нельзя здесь младенцу. И пуля шальная достать может, и ухода нет, и вообще непорядок. Завтра донесение везти надо, вот ты, Пахомыч, и отвезешь вместе с ребенком. Ребенка пока в госпиталь сдашь, я записку напишу.

Донесение, которое Гурко отправил с казаком, было адресовано командиру Габровского отряда:

«Согласно приказанию генерала Гурко сообщается, что завтра, 6 июля, будет предпринята возможно раньше атака пехотою горы у Шипки; просится содействие атакою со стороны Габрова. Перед нами на горе около пяти таборов пехоты, у турок паника».

Однако, прежде чем атаковать Шипку, следовало взять Казанлык, не допустив при штурме отхода противника к Шипкинскому перевалу. В соответствии с этим, утром 5 июля Гурко отправил стрелков Цвецинского перерезать дорогу в горы; непосредственно на Казанлык наступала сводная бригада генерал-майора герцога Лейхтенбергского. Стрелки отбросили турок к Казанлыку, навязали им бой, но он был недолог: бригада старшего герцога с ходу, конной атакой ворвалась в город, потеряв при этом всего девять человек и старого графа Ронникера, убитого пулей из засады уже в Казанлыке. Стрелки тут же стали оттягиваться к Шипке, донцы, киевские гусары и астраханские драгуны стремительно ударили по турецким гарнизонам, расположенным вокруг Казанлыка, окончательно путая карты противнику, который при этих молниеносных, веером расходящихся ударах никак не мог понять главной цели генерала Гурко.

На следующее утро стрелки Цвецинского и казачьи пластуны без промедления начали штурм Шипки со стороны Долины Роз. Два дня с переменным успехом шли бои, а на третий — зажатый с двух сторон наступающими русскими отрядами, командующий обороной Шипки Халюзи-паша бежал с перевала, бросив укрепления, боеприпасы и девять стальных крупповских орудий.

Основная задача Летучего отряда Гурко была выполнена: наиболее удобный перевал через Балканы оказался в руках русских. Оставалось лишь бросить в эту брешь войска, но свободных войск под рукою уже не было: Осман-паша успел накрепко приковать их к Плевненской твердыне. Вместо стремительного развития успеха русское командование вынуждено было перейти к обороне захваченного Шипкинского перевала и — ждать. Ждать либо разгрома Османа-паши, либо подхода свежих войск. В детально продуманном смелом плане кампании наступала опасная заминка.

2

Варя жила в Бухаресте одна: Хомяков уехал за Дунай ревизовать свои перевалочные склады. Скучать было некогда. Роман Трифонович оставил на нее деловую

переписку, а Числова ввела в местное общество. Приглашения на вечера, балы, концерты и званые обеды ожидали Варю ежедневно, но они никуда не выезжала, вежливо отговариваясь занятостью.

А занята она была в основном собственными мыслями. Открыв, что любит Хомякова, и радостно ужаснувшись открытию, Варя могла думать только о нем и о себе. И чем больше она думала, тем все чаще представлялась ей его увесистая походка, от которой вздрагивала мебель, его привычка расставлять локти за столом, его манера цыкать зубом, когда он задумывался, забывая об окружающих. «Да люблю ли я? — все чаще приходило ей в голову.— Когда любят, то любят все, любят идеально, не замечая недостатков. Значит, что же, увлечение? Потеряла голову, как тогда в саду, когда умерла мама?..» Она постоянно растравляла себя сомнениями, и чем дольше не было Хомякова, тем обоснованней казались ей эти сомнения.

Появился Роман Трифонович внезапно, как снег на голову. Варя этому не удивилась: Хомяков часто поступал неожиданно. Удивилась она его безулыбчивому лицу и — самой себе, ощутив вдруг, как начинают исчезать взлелеянные одиночеством мысли.

— Что случилось? Не отмалчивайтесь, Роман Трифонович.

— Случилось, Варвара Ивановна,— Хомяков улыбнулся одними глазами.— Не знаю, что и рассказывать-то сперва: дела или...

— Дела,— сказала Варя, прекрасно зная, что дело для него — цель, игра, азарт, весь смысл жизни.

— Вот за это и ценю,— серьезно сказал он.— Верно выбрала, не по-дамски: мы — люди деловые, с остальным и обождать можно,— он вдруг замолчал.— Хотя... Хотя тоже — новость.

Последнее слово произнес весомо, со значением, но Варю царапнула грубоватая его похвала, и она сухо повторила:

— Так что же с делом?

— С делом? — Роман Трифонович зло усмехнулся.— Наградил Господь компаньонами: то ли прохвосты, то ли дураки — не разобрался еще. Муку, интендантством забракованную, по дешевке скупили, и пошло то гнилье через мои поставки как годное. Хорошо, я вовремя спохватился. Приехал к Гартингу: что, мол, за сделка такая? Он мне было про выгоду, а я: «Это ж даже не для купца — для разносчика ярославского выгода: продал гнилье, да и подавай Бог ноги. А мы — поставщики, нам кредит важнее прибыли!»

— Исправили?

— Вернул, амбары запечатал,— он вздохнул.— Ах, Варвара Ивановна, когда же Россия наша считать-то обучится? А может, мы народ вообще к арифметике неспособный? К науке способный, к художествам, к словесности, к войне очень даже способный, а считать — пусть себе немцы считают, так, что ли?

«Рисуется,— неприязненно подумала Варя, уже не вслушиваясь, что именно он говорит.— Ах, зачем же, зачем? Так неуклюже... Он невоспитан. Груб и невоспитан...»

— ...а без Числовой я — нуль. Интендантство, пройдохи эти, жулье в мундирах, шагу мне ступить не дадут, а я миллионы вложил. Коли выйду из дела, так нищим останусь: вот они, кандалы-то мои, Варенька.

«Вот что его заботит,— уже с грустью продолжала думать Варя.— Он даже не спросил, как я жила тут, как чувствую себя. Даже не спросил! Его интересуют только деньги, одни деньги. Какая пошлость!..»

— ...мне кредиты нужны, оборот, размах — я ведь не в сундук прибыль складывать собираюсь, я ее России стократно верну. Сейчас мужик из деревни валом валит, с хлеба на квас перебирается, мыкается, а я ему работу дам, заработок, жилье. Я его труд бессмысленный осмысленным сделаю на пользу обществу и отечеству на славу.

«Он не то говорит,— вдруг поняла она.— Нет, нет, не то! И не рисуется вовсе, а — не решается. Что-то случилось, и он просто не решается».

— Я не верю, что это уж так тревожит вас, Роман Трифонович,— неожиданно перебила она, почувствовав, как гулко забилось сердце.— Не с этим вы пришли и не это у вас на душе. Так скажите же наконец правду, как бы горька она ни была.

Глаза Хомякова, доселе напряженные, сухие, занятые чем-то внутренним и отсутствующие для нее, внезапно заволоклись прежним влажным блеском. Он улыбнулся ей вроде бы даже с облегчением, закурил сигару, походил по комнате, размышляя. Варя ждала, с удивлением ощущая, что в ней нет больше никакой тревоги, что новость, которую он скажет, касается их обоих, а значит, они разделят ее пополам, на равных. Роман Трифонович отложил сигару, сел рядом и взял ее за руку.

— Не по нутру мне слово, которое я скажу тебе сейчас потому только, что сказать его надобно. Один раз скажу, не повторю никогда, но, верь, слово это на всю жизнь сказано.— Он помолчал, нахмурился, сказал строго, почти сурово: — Полюбил я тебя, Варвара, крепко полюбил, никогда такого со мной не случалось.

Он замолчал, продолжая держать ее руку в своей, и Варя начала краснеть.

— Понравилась ты мне в Смоленске еще,— так же серьезно продолжал он.— Сильно понравилась, а думы — хошь прощай, хошь не прощай — думы насчет тебя дурные были. Купить я тебя хотел. Вы наших девок покупали да продавали, вот и мне вздумалось.

— Отомстить? — спросила она, невольно улыбнувшись.

— Рассчитаться,— жестко поправил он.— Показать, к кому сила-то ныне переходит, кто кого теперь купить может. Скверные думы были, дурные, а приехала ты и — поверишь ли — позабыл обо всем. Ни разу ни к кому такого не испытывал, что к тебе испытал, ни разу слова того, какое тебе сказал, не говорил никому и не скажу, даже тебе больше не скажу,— он помолчал, серьезно глядя ей в глаза.— Вот, все выложил, сама далее решай. Ничего меж нами не было, спокойно уехать можешь, если хочешь.

Вопрос был задан прямо, хоть и не прозвучал вопросом. Варя поняла его, поняла, что никуда не хочет уезжать, но сказала:

— Я подумаю.

— А замуж пойдешь за меня?

Варя напряженно смотрела на него. Он ждал, заглядывая в глаза, даже требовательно сжал руку.

— Молчишь, и на том спасибо.— Хомяков отошел к окну, сказал, помолчав: — На похороны я еду, Варвара. Вернусь сразу, на дела сославшись, а ты к тому времени и решишь.

Варя встала, глядя расширенными, почти испуганными глазами. Он шагнул к ней и вдруг впервые крепко поцеловал в губы.

3

Рота Олексина, оставленная для охраны выхода из Хаинкиойского ущелья, после взятия Казанлыка была переведена в Долину Роз. Две-три случайные перестрелки в счет не шли: рота не нюхала пороха.

— Нашли о чем кручиниться,— усмехнулся Калитин.— Еще так нанюхаются, что на сто лет вперед рассказов хватит.

— Бой нужен,— сказал Гавриил.— Настоятельно прошу, Павел Петрович, поручить мне дело, как только представится возможность.

— Не верите в своих людей?

— Мне надо, чтобы они в меня поверили.

— Думается, что триумфальный марш полезен не менее боя, поручик. Солдаты приобретают ощущение непобедимости, а это уже внушает веру в командование. Разве я не прав? Хронические неудачники куда более склонны к панике, чем баловни судьбы.

— Не убежден, полковник,— хмуро отозвался Олексин, и разговор на этом окончился.

Болгарские дружины стояли биваком южнее Казанлыка. По-прежнему кавалерийские отряды Гурко громили соседние гарнизоны, по-прежнему бесчинствовали башибузуки, мстя ни в чем не повинным болгарам, по-прежнему казаки гонялись за ними, блюдя клятву — бандитов в плен не брать. И по-прежнему радовались мирные жители, истово веря, что лихие русские кентавры отсюда не уйдут, пока окончательно не разгромят османов и пока не воцарится на окровавленной болгарской земле вечный мир.

Однако так продолжалось недолго. Все чаще южный ветер приносил запах гари, по ночам багровыми сполохами играли облака, а вскоре дошли черные, застилавшие утреннее небо клубы дыма и появились первые беженцы. Разутые, раздетые, голодные и до ужаса испуганные, они наперебой рассказывали о появившейся вдруг неисчислимой вражеской армии. Рассказывали о многих тысячах турок, арабов и негров, о свирепости их командира Сулеймана-паши, о беспощадном истреблении им не только болгарских селений, но и самого болгарского народа.

Проверив сообщения беженцев разведкой, Гурко немедленно собрал военный совет. Как всегда, молча выслушав соображения генералов, сообщил свое решение: выдвинувшись на линию Эски-Загра — Ени-Загра, закрыть армии Сулеймана путь к Хаинкиойскому и Шипкинскому перевалам. Четырем дружинам болгарского ополчения, усиленным кавалерией, выпала на долю Эски-Загра, «Стара Загора», как упорно называли ее болгары, не признававшие турецких наименований родных городов.

11 июля Столетов вступил в Эски-Загру, встреченный восторженными жителями. Тут же была организована народная милиция, вооруженная трофейным оружием. Через несколько дней Гурко разгромил турок у Джуранлы и освободил Ени-Загру. Первая часть плана была выполнена, но уже на следующее утро тридцатитысячный передовой корпус Сулеймана после двухчасовой артиллерийской подготовки всей мощью навалился на необстрелянных дружинников Столетова.

Аскеры Сулеймана были закаленными воинами: армия

имела опыт боев в Черногории. Пехотинцы пошли в атаку еще тогда, когда гремела их артиллерия. Под ее прикрытием они развернулись и повели наступление густыми цепями, а конные отряды черкесов начали обтекать оба фланга столетовского фронта. Дружинам пришлось рассыпаться широкой линией, чтобы огнем сдержать первый натиск противника. Несмотря на потери, турки успели занять выгодные позиции, тут же открыв ответный огонь из скорострельных винтовок.

— Пока подойдет Гурко, они выбьют у нас добрую половину, Николай Григорьевич,— сказал Рынкевич.— Может быть, следует сбить их с высот?

Столетов прекрасно понимал, что огневой бой куда более выгоден противнику, но молчал. Перед дружинниками лежал длинный пологий подъем, и это беспокоило его. Вначале следовало нанести отвлекающий удар, заставить турок рассредоточить огонь, но это означало необходимость кем-то пожертвовать, и в создавшейся обстановке жертвовать следовало лучшим. Наиболее боеспособной, сплоченной и активной частью, и Столетов колебался не от нерешительности — он уже все решил,— но в выборе этой жертвы.

— Где Калитин?

— На левом фланге, Николай Григорьевич.

— Передайте ему приказание атаковать. И чтоб самарское знамя видели все болгары. Общую атаку трубить только после того, как турки навалятся на Калитина.

Рынкевич лично передал эти слова Павлу Петровичу. К тому времени Третья дружина, умело рассыпавшись, вела перестрелку; потерь было немного, но одним из первых был тяжело ранен Антон Марченко, и самарское знамя перешло в руки второго знаменщика Авксентия Цимбалюка. Выслушав приказание, последствия которого были для него ясны, подполковник ничем не выдал своего отношения к нему. Молча кивнул и тут же распорядился собрать ротных командиров. Объяснив задачу, задержал Олексина.

— Ценя ваш опыт, верю, что изыщете способ повести за собой остальных.

— У нас все офицеры с опытом.

— Вы знаете болгар лучше, а потому ваша рота пойдет первой, поручик.

— Благодарю за честь, Павел Петрович.

Гавриил вскочил в седло, поскакал к своим позициям. Приблизившись, сдержал коня, шагом выехал вперед, в центр залегшей роты. Турки сильно обстреливали, пули жужжали вокруг.

— Слушай меня! — крикнул поручик по-болгарски.—

Болгары, сегодня вы грудью прикрываете свою несчастную родину! Дрогнете, побежите — и орды Сулеймана обрушатся на мирных жителей! Лучше умереть, но не допустить этого! Ваши русские братья с вами, болгары, они пойдут впереди!

Он рисковал обдуманно: ему необходимо было внушить своим дружинникам, что не всякая пуля убивает, что воля сильнее огня. Нелегко это далось: сердце билось с неистовой скоростью, все тело покрылось потом. Но он докричал призыв, увидел, что услышан и понят всеми, и только тогда спрыгнул с коня. Вырвал из ножен саблю:

— Барабанщик, атаку! Рота, за мной!

— Ур-ра!..— дружно откликнулась рота.

Гавриил шел быстро, зажав саблю в опущенной руке. До турок было еще далеко, и этой опущенной саблей он удерживал болгар от преждевременного бега: надо было сохранить силы для штыкового удара. Оглянулся он только раз: рота перестраивалась на ходу, русские — субалтерн-офицеры, унтеры, барабанщик и трубач — шли в первом ряду. Барабанщик безостановочно отбивал дробь, а трубач неотрывно следил за мгновением, когда командир взметнет саблю ввысь, чтобы тут же сыграть атаку. Следом дружно, плечом к плечу, шагали ополченцы, выставив штыки. Турки стреляли часто, но торопливо и пока не залпами; убитых и раненых было немного, и рота смыкала над ними ряды, как на ученьях. «Успеть до залпа с атакой,— все время думал Гавриил, прикидывая, сколько осталось до турок и позволит ли местность перейти на бег.— Господи, дай мне упредить залп атакой. Господи, помоги...»

Он понимал, что турецкий офицер тоже считает его шаги и тоже стремится упредить его атаку залпом, чтобы выбить командиров и расстроить ряды. С обеих сторон счет шел на секунды, с обеих сторон испытывалась выдержка и глазомер, с обеих сторон проверялся сейчас боевой опыт и хладнокровие командиров.

— «Господи, не допусти...»

Залп прозвучал одинаково неожиданно как для Олексина, так и для турок. Нестройный, один-единственный, сразу же сменившийся частой беспорядочной пальбой залп этот ударил туркам во фланг из ближайших строений. И опытные, закаленные боями аскеры на какой-то миг опешили, их командир потерял из виду роту Олексина, и Гавриил уловил этот миг. Взметнул саблю, и тотчас же запела труба.

— Ур-ра-а!..

Турки так и не успели со встречным залпом. Рота уже пробежала считанные шаги, со всей яростью ударив врукопашную.

— Вперед! — крикнул Калитин.— Всем ротам — атаку, знамя — вперед!..

Тот неожиданный фланговый огонь, обеспечивший успех атаки не только роте Олексина, но и всему ополчению, был открыт группой местных жителей, сумевших затаиться при турецком наступлении. Их ожесточенная пальба сбила турок с толку, и аскеры не очень-то уверенно встретили и первый штыковой удар ополченцев.

Яростная рукопашная шла уже по всему фронту: вслед за 3-й дружиной Столетов бросил в бой все, что у него было. От Гурко еще не поступало известий, но он должен был подойти, и Николай Григорьевич хотел во что бы то ни стало сбить турок с командных высот, оттеснить, заставить перетасовывать войска и тем выиграть время. А там, укрепившись и подтянув артиллерию, можно было бы держаться, пока основные силы отряда не придут на помощь.

Но огромный численный перевес турок позволил им обойтись без перегруппировки. Быстро опомнившись, они высылали одну густую цепь за другой на бессменно сражавшихся болгар и спешенных русских кавалеристов. Между атаками не было ни малейшего перерыва, уже пот застилал глаза, уже черкесы обтекали оба фланга, а бою не было видно конца. Самарское знамя реяло по всему фронту, и рев тысяч глоток заглушал ружейную пальбу.

От Гурко под градом пуль прорвался генерал Раух: вторая колонна Летучего отряда встретила другое крыло сулеймановской армии и тоже вела тяжелый затяжной бой.

— Держать город, сколько возможно,— сказал он Столетову.— Тем временем я выведу обозы раненых и жителей в горы, к Шипкинскому перевалу.

— Сколь возможно, удержим,— вздохнул Столетов.

Хуже всех пришлось 3-й дружине. Она дралась в низменности на крайнем левом фланге, и противник охватывал ее с трех сторон, беспрерывно атакуя. Все офицеры, оставшиеся к тому времени в строю, дрались в рядах, как простые ополченцы, и только подполковник Калитин метался на лошади вдоль всего фронта, появляясь в наиболее трудных местах, подбадривая солдат личным примером.

— Отменный бой! — прокричал он Гавриилу, оказавшись рядом.— Спасибо за роту, поручик! Молодцы болгары!

— Каково-то им придется, когда турки сомнут нас и ворвутся в город, Калитин.

— Прикажите легкораненым немедля выводить в горы женщин и детей!

Гавриил едва успел отдать это распоряжение, как Самарское знамя странно взметнулось, заколебалось и стало

медленно клониться к земле, исчезая в дыму, пыли и сумятице боя.

— Цимбалюк убит! Знамя! Турки взяли знамя!..

— За мной!..— Олексин, рубя саблей, рванулся к упавшему знамени.

Но первым к святыне успел подполковник Павел Петрович Калитин. Грудью послав коня на аскеров, пробился, ударил саблей уже схватившего древко турка, левой рукой поднял знамя.

— Ребята, знамя наше с нами! — что было силы прокричал он.— Вперед, за ним! За мной!..

В упор прогремел залп. Пробитый тремя пулями Калитин закачался и рухнул с седла. Знамя подхватил унтер-офицер 1-й дружины, снова взметнул ввысь, пробежал несколько шагов, и... новый залп свалил его на землю. И опять аскеры не дотянулись до знамени: раньше их успел болгарин-ополченец. Размахивая им, он шел прямо на турок, крича что-то неслышное за ревом, звоном, стрельбой и грохотом боя. И тоже упал, и снова священная реликвия ополчения исчезла в толчее среди болгарских черных и турецких синих мундиров.

Казалось, оно утеряно навсегда: Гавриил, задыхаясь, пробивался к месту, где оно упало. Сабля его то сверкающим полукружьем ослепляла аскеров, то рубила сплеча, то делала стремительный выпад: поручик хорошо освоил рукопашный бой. А воздуха уже не было, сердце билось в глотке и острой болью отдавало в проткнутой штыком левой руке. За ним, хрипя, ломили его дружинники. Впереди, в живой, ревущей, яростной куче, вновь взметнулось и вновь упало знамя.

Олексин пробился, когда двое аскеров уже волокли стяг за полотнище. Он настиг их, увернулся от встречного штыка, с ходу до половины вонзил клинок в спину волочившего знамя турка и, бросив саблю, двумя руками рванул знамя к себе. У знамени было надломлено древко, Гавриил перехватил его повыше и взметнул над головой.

Никогда еще он не ожидал смерть с такой пронзительной ясностью, как в это мгновение. Он держал знамя двумя руками, стоял в рост среди озверелой рукопашной, не мог ни отбить удара, ни увернуться от него. Не мог, да и не думал об этом: он думал только о знамени, которое вновь увидели все столетовские дружинники.

Это продолжалось не более минуты. Он успел осознать, что жив и даже не ранен, и увидеть, что его со всех сторон плотным кольцом окружают свои: русские и болгары. Увидел рослого усатого, в изодранном, окровавленном мундире незнакомого унтера и протянул ему знамя.

— Храни.

Отчаянная схватка за самарскую святыню и стала тем переломным моментом боя, которого так ждал Столетов. Огорошенные неистовым и дружным натиском, турки первыми вышли из рукопашной. Турецкое командование решило, что к русским подошли свежие подкрепления: иначе оно не могло объяснить этого неудержимого порыва на исходе пятого часа сражения.

— Слава Богу, выстояли,— с облегчением вздохнул Николай Григорьевич.— Немедля отводите войска в горы с общим направлением на Шипкинский перевал.

Кровавая пятичасовая битва двухтысячного отряда генерала Столетова с тридцатитысячным корпусом армии Сулеймана-паши стала днем рождения болгарской армии. А Сулейман, потерпев одновременно две неудачи — от Гурко и от Столетова,— вынужден был прекратить дальнейшее продвижение и заняться приведением в порядок своих войск.

Суровый и сдержанный Гурко в специальном приказе так оценил подвиг болгарского ополчения:

«...Это было первое дело, в котором вы сражались с врагом. И в этом деле вы сразу показали себя такими героями, что вся русская армия может гордиться вами и сказать, что она не ошиблась послать в ряды ваши лучших своих офицеров. Вы ядро будущей болгарской армии. Пройдут года, и эта будущая болгарская армия с гордостью скажет: "Мы потомки славных защитников Стары-Загоры..."»

4

Маша разминулась с Иваном на двое суток. Прочитав записку, тут же вскрыла адресованное ей письмо Рихтера. Читала уже с трудом: слезы застилали глаза и дрожали руки. Строгая и внешне весьма чопорная Глафира Мартиановна, принимавшая Ивана, держала лампу и уговаривала успокоиться.

— Жив-здоров братец, Мария Ивановна. Окреп, возмужал — зачем же Бога гневить?

— А эта... девочка?

— Леночка спит. Не тревожьте ее. Утром.

— Утром? Да, да, Глафира Мартиановна, вы совершенно правы. Я сейчас, я — к генералу Рихтеру.

— Так ведь ночь на дворе, Мария Ивановна.

— Нет, нет, я не могу. Не могу!

Рихтер еще не ложился; по стариковской привычке он

вообще спал мало, допоздна засиживаясь за отчетностями, донесениями и рапортами. Машу принял незамедлительно, долго метался по кабинету, дергая себя за седые виски.

— Ах, остолоп, ах, бестолочь! И как это я сообразить не удосужился, что Ванечка — братец ваш, любезная моя Мария Ивановна!

С этого затянувшегося до утра свидания и началась их дружба. Санитарный отряд купцов-старообрядцев братьев Рожных, которым заведовала Маша, выполнял кордонные и пересыльные задачи, служа звеном между действующей армией и тылом. Здесь больше было больных, чем раненых, да и больные подолгу не задерживались, а после сортировки направлялись в другие госпитали. Работы было много, а людей мало: братья-миллионщики считали копейки с усердием церковных старост, но Маша поначалу и слышать не хотела о том, чтобы отправить Леночку в Смоленск. Она сразу же привязалась к девочке, сумела быстро растопить ее недетскую настороженность лаской и заботой, лелеяла ее, как только могла. Пока разумная Глафира Мартиановна, стойко скрывавшая за маской суровой строгости добрую душу и мягкое сердце, не сказала с неожиданной решимостью:

— Мария Ивановна, я не просто прошу, но, как старшая по возрасту, настоятельно требую, чтобы ребенка поскорее отправили в Россию. В отряде зарегистрировано шесть случаев сыпного тифа.

Это подействовало, и Маша, проплакав ночь, утром отправила Леночку в Смоленск с Глафирой Мартиановной и закапанным слезами письмом на двенадцати страницах. А сама, тоскуя, все свободные вечера проводила у Рихтера, к большому удовольствию старика.

И еще — писала письма в Москву братьям Рожных Филимону и Сильвестру Донатовичам. Не только отчеты и напоминания о деньгах (без напоминаний братья денег не переводили), но и с настойчивыми просьбами разыскать наконец вольноопределяющегося Прохорова и, как было обещано, перевести его санитаром в отряд. Однако ответов на эти письма до сей поры не поступало.

Вскоре после отъезда Леночки Рихтер встретил Машу весьма озабоченным. Ходил, сопел, вздыхал, плохо слушал. Потом сказал внезапно, невпопад:

— Сегодня посетил военно-временный госпиталь нумер тридцать четыре, что в Свиштове размещен. Лежит там один человек с нервным потрясением, как доктора говорят. Часто в бред впадает, и в бреду том, Мария Ивановна, в бреду том...— Рихтер помолчал, словно прикидывая, стоит ли говорить,— вас поминает.

— Кто он? — сердце Маши сжалось от дурного предчувствия, и она всем телом подалась вперед.— Кто-нибудь из братьев? Как фамилия, не знаете? Не Бенево... то есть не Прохоров?

— Нет, нет, не пугайтесь, Мария Ивановна. Это — князь Насекин.

— Князь Насекин...— Маша с облегчением откинулась к спинке стула.— Да, да. Сергей Андреевич. Мы знакомы.

— Вот, изволите ли видеть: как в забытье впадает, так имя ваше, будто молитву... Сам, правда, не слыхал, но доктора в один голос сие утверждают.

— Говорите, нервное потрясение? — скорее из любезности поинтересовалась Маша.— От чего же? Какова причина?

— Это доктора говорят: нервы, а я так думаю, что сдвинулся,— Рихтер выразительно покрутил пальцами у виска.— Сами посудите, Мария Ивановна, какие уж тут нервы, когда человек живым свидетелем зверств башибузукских оказался. Ездил с миссией Красного Креста и угодил, что называется, в переплет. То ли в Эски-Загре, то ли еще где — точно сказать не могу, за Балканами, в общем. Говорят, застрелил сгоряча какого-то мерзавца, сам чудом уцелел, истинным провидением Господним: австрийцы с американцами спасли... Что ж это я все о печальном да о печальном! Сейчас чайку попьем, мне семейство вареньица домашнего с оказией прислали.

Больше о князе не говорили, да и говорить было ни к чему: на следующий день Маша выехала в Свиштов. Ехала, с грустью вспоминая тусклые глаза, лишь однажды сверкнувшие вдруг жизнью, желанием, юмором. Она и раньше, еще с детства, бессознательно ставила долг на первое место и сейчас исполняла его, но исполняла с какой-то непонятной тревогой и жалостью.

Князь лежал в маленькой отдельной комнате приличного двухэтажного дома, отведенного под офицерский госпиталь. В руках его была книга, которую он читал весьма внимательно. Увидев ее, он отложил книгу, и Машу поразил пронзительный, горящий странным огнем взгляд. И еще более книга: это было Евангелие.

— Вот и вы,— тихо сказал он, протянув худые, изжелта-белые руки.— Ждал вас, как чуда, и вот сбылось. Значит, услышана молитва моя.

— Помилуйте, какое чудо? — вздохнула Маша, садясь на стул.— Вы ли это, князь?

— И я и не я,— князь на миг улыбнулся прежней улыбкой, все еще не отпуская ее рук.— В человеке много человеков. Я догадывался об этом, а теперь — узнал. Какие-то

частицы, не поддающиеся ни микроскопам, ни беспощадному разуму нашему, накапливаются в каждом из рода в род от времен библейских. Они молча вершат дела свои, определяя наклонности наши, способности, капризы, привычки. Но иногда будто оживают в душе, просыпаются и шепчут. Странно.

Князь замолчал, уставя горящий — «фанатичный», как определила про себя Маша,— взгляд куда-то мимо нее, в пространство. И от этого мимо смотрящего взгляда ей было куда неуютнее, чем от того, что он до сей поры не отпускал ее рук. Это ее не смущало: она не воспринимала князя как мужчину.

— Странно, странно,— задумчиво повторил князь.— Я ведь знаком с братом вашим: Василий Иванович, кажется? Год назад, дождливая осень в Ясной Поляне. Вот бы кто понял меня.

— Вася? — удивленно спросила Маша.

— Василий Иванович? Нет, нет. Ваш братец потерянный, как и я. А понять может ищущий. Такой один в России — граф Лев Николаевич.

— Так поезжайте к нему. Вот окрепнете...

— Нет. Нет-нет, Мария Ивановна, что вы. Это после всей скверны, со всей падалью в душе пред ним предстать? А он — насквозь видит. Нет. Мне очиститься сперва надо, Мария Ивановна, скверну из души выжечь, покой обрести. А покой — только в монастыре.

— Вы заживо хороните себя, князь,— осторожно начала Маша, но князь уже не умел слушать; она поняла это и замолчала.

— Посмотрите на женщину, хотя вы сама женщина, но посмотрите непредвзято. Сколько в ней хрупкости, нежности, трепета, ожидания. Мы называем это грациозностью, шармом или кокетством, а за всем этим — страх. Древний, как сама земля, страх...

Маше стал неприятен и этот разговор, и мокрые от пота ладони князя, которыми он все еще сжимал ее руки. Начинался бред, она в этом не сомневалась, и поэтому рискнула перебить.

— Извините меня, князь, вам неудобно лежать. Позвольте я поправлю подушки.

Она высвободила руки, уложила больного и села. Встретила вдруг прежний иронический взгляд и смешалась.

— Вам сказали, что я галлюцинирую? А разве бывают сюжетные галлюцинации? Нет, Мария Ивановна, это не галлюцинации, это — память. Память моих предков-воинов, а следовательно, убийц, проливших моря человеческой крови.

— Полагаю, что вы утрируете, князь,— Маша постаралась улыбнуться.— В конце концов, все мы — потомки победителей, а не побежденных. Побежденные исчезли с лица земли.

— Вы правы, вы совершенно правы, Мария Ивановна, но позвольте рассказать историю побежденных, а не победителей.

— Может быть, в другой раз? — осторожно спросила Маша: ее пугал рассказ о зверствах турок, свидетелем которых оказался князь.— Вы утомлены.

— Другого раза не будет,— с твердостью сказал Насекин.— Не беспокойтесь, я столько дней повторял про себя эту историю, что готов рассказать ее в совершенно отвлеченной, почти литературной форме,— князь вдруг привстал, протянул руку.— Дайте мне книгу.

Маша подала Евангелие. Насекин раскрыл, не выбирая страницы.

— Представьте, что я читаю,— сказал он.— И допустите, что это — осовремененный Геродот, только и всего.

— Хорошо,— без особого желания согласилась Маша.

Насекин помолчал, собираясь с мыслями. Затем начал говорить, старательно выдерживая не только интонацию читающего вслух, но и особо, литературно, строя фразы.

— Это случилось в те времена, когда еще не было любви. Мужчина относился к женщине, как пахарь относится к ниве, а женщина ждала от него еды и защиты. На краю лесов стояло большое село, жители которого в поте лица взращивали хлеб. Сразу же за их полями начиналась степь. Из степей плыло настоянное полынью вечернее марево: девушки выходили за околицу и подолгу, пьянея и ужасаясь, вдыхали степной аромат. Из степей приходили орды...

Маша почти не слушала: приподнятая декламация князя лишила разговор естественности, а подчеркнуто литературная форма рассказа угнетала общими и малозначащими фразами. Невольно она уже думала о своем: доехала ли Глафира Мартиановна с Леночкой до Смоленска и как встретила тетушка девочку. Думала об Иване, с которым так обидно разминулась, и о Федоре, сгинувшем неизвестно куда и по закоренелой олексинской привычке не писавшем ни строчки. Думала уже уютно и привычно, когда голос князя вновь прорвался к ней.

— ...все мужчины пали в бою. Были добиты раненые, убиты старики и старухи, и дети согнаны в кучу. И только женщин пока не трогали: им предстояло утолить неистовую ярость победителей.

Князь опустил Евангелие, глянув на Машу блестящими глазами. Во взгляде его было страдание, и Маша поняла, что сейчас начнется то, ради чего и сочинил Насекин литературное вступление. Поняла, ужаснулась, но не осмелилась отказаться, а часто закивала.

— Продолжайте, пожалуйста, если в силах.

— Если *вы* в силах, Мария Ивановна,— с тихой горечью вздохнул Насекин.

Он вновь отгородился книгой, скорее, как показалось Маше, чтобы спрятать лицо, чем для того, чтобы разыгрывать чтение. И голос его, начав дрожать, все наращивал эту дрожь.

— Их распинали на супружеских ложах, в пыли дорог и у семейных очагов. Распинали на глазах матерей, подруг и детей под гогот победителей и стоны умирающих. Их рвали за волосы, их били о землю, их топтали, мяли, кусали, кромсали, и лишь белые обнаженные тела их напрасно молили небо о пощаде!..

— Князь, не надо более! — крикнула, не выдержав, Маша.— Я не могу, простите.

— Нет, надо,— хрипло (его душили слезы) сказал князь из-за книги.— Я же мог? Мог видеть?..— он помолчал.— Простите, это всего лишь выдумка. Слабая литература. Ежели не желаете...

— Читайте,— сказала она.— Читайте, Сергей Андреевич, если это литература. Читайте же.

Насекин начал сразу, начал на той же дрожащей ноте, словно не было разговора, Машиного крика и его собственного иронического пояснения. И с каждой его фразой нарастала нервная дрожь, передаваясь Маше, заставляя ее не только слушать, но и воспринимать это нарастающее напряжение.

— Победители ушли — насытившись, усталые, опьяненные. Ушли, приторочив к седлам головы побежденных мужчин. Ушли, гоня перед собою детей: поверженный народ должен был быть уничтожен. Ушли в степь, и, когда перестала дрожать земля от топота копыт, в селе раздались стоны и от груды мертвых поползли те, кто еще мог ползти. Ползли девочки с окровавленными бедрами. Ползли женщины с рассеченными грудями. Ползли старухи с обломками стрел в костлявых спинах. Ползли поседевшие в четырнадцать и онемевшие в десять...— Насекин трудно проглотил ком, пытаясь унять дрожь.— И надо было жить. Надо было забыть о погибших мужьях и угнанных в рабство детях. Надо было забыть о собственной боли и собственном позоре. Прежде чем начать жить, надо было забыть прошлое.

Он замолчал, по-прежнему заслоняя лицо раскрытым Евангелием. Маша обождала и, скорее почувствовав, чем поняв, что это еще не конец рассказа, тихо сказала:

— Продолжайте.

— И они забывали,— тотчас же откликнулся князь.— Кто сразу, вонзив в искусанную шею обломок клинка. Кто постепенно, залечивая раны и заглушая память. Кто — навеки утратив в воспаленном мозгу свое имя, своих детей и свой позор...

Князь опять замолчал, и Маша, обождав, нерешительно спросила:

— А потом? Что сталось с ними потом?

— Потом? — глухо отозвался Насекин, все еще прикрываясь книгой.— И вы, женщина, спрашиваете, что было потом? Через положенный природный срок они стали рожать. Рожать в муках и радоваться каждой новой жизни, и хранить ее, и растить, и воспитывать. И так было издревле, по всей земле, и мы...— князь вдруг зло рассмеялся.— Мы до сей поры со средневековой тупостью регистрируем, кто есть кто. Русских, французов, немцев, турок, англичан. Так не лучше ли выбрать самую густую, самую прочную краску и навсегда замазать это разделение? Замазать ложь, потому что все мы, все без исключения — дети женщин. Только дети женщин.

— Это ужасно, что вы рассказали, князь, ужасно,— вздохнула Маша.— Но вывод ваш, как всегда, парадоксален. А это значит, что все образуется. Вы скоро поправитесь, окрепнете духом...

— Вывод? — резко перебил он.— Это — общий вывод, Мария Ивановна, но есть еще вывод частный. Я читал вам Евангелие, если изволили заметить, а Евангелие никогда не лжет, даже если оно от Сергея, а не от Матфея или Иоанна. Так знайте же, что Бога нет!..— князь вдруг сел, отшвырнул книгу в дальний угол.— Нет, ибо, если бы он был, он не допустил бы того, что видели мои глаза и слышали мои уши. Нет!..

— А как же монастырь? Очередной парадокс, Сергей Андреевич?

— Монастырь — убежище, а не Божья обитель. Раковина, в которую я заползу, чтобы не видеть более женских глаз и не слышать женских голосов. Я боготворил вас, дорогая Мария Ивановна, и буду боготворить, но душа моя опозорена виденным. Опозорена и сожжена. Оставьте меня сейчас и никогда более не навещайте. Знайте только, вы — единственная звезда моя, что горит еще во мраке человеческого... Человеческого? Нет! Нечеловеческого зверства!

Маша возвращалась подавленная не только рассказом, но и самим свиданием, вызвавшим в ней твердое убеждение, что виделась она с человеком, уже закончившим свой жизненный путь, уже бывшим, уже подводившим итоги прожитого и пережитого и клонившимся под их тяжестью. И даже неожиданное признание князя в любви лишь увеличивало ее горечь.

В тот день, когда Маша навещала князя Насекина, генерала Рихтера на дому во время обеда посетил высокий худощавый мужчина в тесном, явно с чужого плеча, потрепанном мундире без погон.

— Вольноопределяющийся Великолукского полка,— представился он.— Следуя к месту назначения, подвергся нападению неизвестных, был оглушен, раздет и ограблен до нитки. Все деньги и документы мои пропали, и лишь по счастью уцелела метрическая выписка, подтверждающая мое имя, дворянство и место рождения. Умоляю ваше превосходительство помочь мне добраться до моего полка, куда я стремился и стремлюсь всею душою своей...

Неизвестный с такой живостью описывал детали ограбления и собственное печальное положение, что добродушному генералу оставалось лишь возмущаться и соболезновать. Тронутый несчастием добровольца, поспешающего в действующую армию, начальник переправы тут же выдал ему справку об ограблении, деньги на проезд и подорожную до города Ловчи, где предположительно находился полк, в который спешил вольноопределяющийся из дворян Волынской губернии Андрей Совримович.

Глава восьмая

1

Умело выведенные из боя остатки дружин болгарского ополчения без помех добрались до Шипкинского перевала, где располагался Орловский полк, порядком потрепанный в июльских боях. Здесь общее командование обороной было возложено на генерала Столетова, раненые отправлены в тыл, а ополченцы и орловцы сразу же взялись за кирки и лопаты: оборонительных сооружений перевал практически не имел.

— Дорогу строили,— огорченно вздохнул генерал-лейтенант Кренке, месяц назад командированный на Шипку.

Никто не упрекал, но старый инженер, еще в 1869 году ушедший в запас и с началом войны по собственному же-

ланию вернувшийся в армию, считал себя кругом виноватым.

— Ставьте фугасы,— сказал он начальнику саперной команды поручику Романову.— А мы в землю зарываться будем, сколь только успеем.

Олексин лихорадочно укреплял свой участок, не давая дружинникам передышки. Он хорошо знал, какой убийственный огонь открывают турецкие стрелки при атаке, и хотел не только углубить ложементы, а успеть отрыть и вторую линию. Турок еще не было ни видно, ни слышно, но по шоссе снизу, из Долины Роз, нескончаемым потоком текли беженцы. Чаще всего пешком, босые и раздетые, выбежавшие из домов в чем стояли. Они двигались молчаливой, понурой толпой, не обращая внимания на работавших защитников, и поручик запретил своим солдатам отвлекаться на расспросы и разговоры. Он дорожил каждой минутой и видел не только беженцев, но и озабоченно размечавшего позиции Кренке, хмурого Столетова, обсуждавшего с артиллеристами основные цели батарей; Рынкевича, устраивающего перевязочные пункты и центральный лазарет у двух белых домиков, почти на середине их вытянутой с юга на север позиции, седлавшей шоссе на Габрово. И сотни солдат, под палящим солнцем роющих укрепления вдоль всего будущего фронта. Насмотревшись, сам хватал лопату, но долго работать не мог: начинала тупо ныть проткнутая штыком рука.

Рядом зарывались в землю орловцы. Их командир — круглолицый, румяный подпоручик — работал вместе с солдатами, не давая себе отдыха. Впрочем, вместе с солдатами работали все офицеры; лишь командиры участков определяли ориентиры, прикидывали расстояния, выясняли скрытые подходы к позициям или уславливались с артиллеристами о взаимной поддержке. Но молоденький, с чуть пробившимися рыжеватыми усиками подпоручик был соседом, с ним хотелось не просто познакомиться, а и поговорить. Однако представляться первым Олексин не желал, поскольку был выше и чином и должностью, и тихо злился, поглядывая на увлеченно копавшего ложемент юношу. Знакомство приходилось откладывать на вечер, и Гавриил уже решил, что непременно укажет соседу на неэтичность поведения. Но до этого не дошло: во время короткого перекура Олексина вежливо тронули за локоть.

— Хотите водички? — юный подпоручик с улыбкой протягивал фляжку.— Холодненькая.

Офицер источал такое молодое простодушие и наивность, что Гавриил, хмуро улыбнувшись, молча взял фляжку.

— Разрешите представиться,— спохватился вдруг юноша.— Подпоручик 7-й роты Глеб Никитин. Ваш сосед.

— Рад познакомиться. Олексин Гавриил Иванович.

Щелкнув каблуками запыленных сапог, Никитин торжественно пожал протянутую руку и уселся рядом. Он был без мундира, в расстегнутой нижней рубашке с закатанными рукавами.

— Ужасно горят ладони,— доверительно сообщил он.— Нехорошо, что до сих пор руки никак не загрубеют, правда? Ведь я офицер. А какие молодцы местные жители! Целый день воду на себе таскают, а там такая крутизна, что я на четвереньках взбирался. Нет, право, они очень хорошие люди, эти болгары. Впрочем, что же это я. Вы же с ними в бою были. А каковы они в деле?

— Я за них спокоен,— сказал Гавриил; он все время сдерживал улыбку, опасаясь обидеть юного офицера.— А вы бывали в боях?

— Я? — Никитин помолчал, а потом расхохотался.— Знаете, хотел соврать и раздумал. Вы такой взрослый, с сединой да со шрамами, вы, поди, на три аршина подо мной видите. Не был я ни в каком бою, Гавриил Иванович, я из пополнения сюда. Повезло, правда? И полк отличный, и вот-вот дело начнется. Конечно, перед вами я мальчишка, юнец, но и юнцам отечеству послужить хочется.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать. Пора бы уж и послужить, правда?

— Пора.

Офицер оказался всего на четыре года моложе, но эти четыре года поручик ощущал как четырнадцать. Слишком многое он видел, через многое перешагнул, чтобы вот так радостно улыбаться раскаленному солнцу, холодной воде и первым мозолям. Но, подумав так, Олексин добавил:

— Пора, Никитин, если Сулейман другим перевалом не пойдет.

Вскоре доставили обед, а там и солнце стало клониться к закату, резкие тени гор начали расти, перекрывая ущелья, откуда наконец-таки повеяло ветерком. А беженцы все шли и шли, темной молчаливой толпой пересекая позицию. Глядя на них, Гавриил думал о своих ополченцах: в основном они были родом из Придунайской Болгарии, но он хорошо понимал, как хочется им поговорить с несчастными беглецами, расспросить их, помочь, ободрить. Они свято соблюдали дисциплину, запрет заговаривать с кем бы то ни было восприняли как нечто само собой разумеющееся, но с нетерпением ожидали, когда поручик этот запрет отменит. И поэтому он очень рассердился, увидев, что какой-то

орловец, оставив кирку, спустился к дороге и начал длинную беседу, даже присел, и болгары тут же окружили его. Кричать было бесполезно — кругом пыхтели, крякали, стучали, с грохотом сыпали камни,— и Олексин быстро пошел к солдату.

— Марш на место! — еще издали крикнул он.— Я ополченцам запретил работу бросать, а ты бездельник...

— А я, сударь, перевязываю мальчика,— по-французски ответил солдат, не оглядываясь.— И сделайте милость, не кричите, не пугайте несчастных. Они и так достаточно напуганы.

Гавриил в некоторой растерянности посмотрел на солдата, спокойно, со знанием дела перевязывающего мальчика, догадался, что это — вольноопределяющийся, и тоже перешел на французский.

— Простите. Вы — медик?

— Я умею обрабатывать раны.

— Раны?

— Сквозное пулевое ранение левого плеча. А мальчонке — лет девять, не больше.

Солдат мельком, через плечо, глянул на Олексина, отвернулся, глянул снова. Гавриилу показалось, что при этом он улыбнулся в густые пшеничные усы.

— Поручик Олексин, я не ошибся?

— Да.

— Мне хотелось бы поговорить с вами, Гавриил Иванович. Вечером, если позволите.

До вечера поручик ходил под впечатлением этой встречи, ломая голову, кем мог быть вольноопределяющийся Орловского полка и, главное, откуда он знал его, Гавриила Олексина. Все разрешилось с первой фразы при встрече:

— Я — жених вашей сестры, Гавриил Иванович. А зовут меня Аркадием Петровичем Прохоровым.

— Варвары? — опешив, уточнил поручик.

— Нет. Марии Ивановны.

— Господи, да она же еще...— Гавриил замолчал. Потом сказал, вздохнув: — Чуть больше года прошло, как последний раз видел их всех. На маминых похоронах.

— С той поры было еще две потери,— тихо добавил Беневоленский.— Вы не получали писем из дома?

— Нет,— Олексин напряженно смотрел на него.— Две, вы сказали? Неужели отец?..

— Да, Гавриил Иванович. Он узнал, что вы пропали без вести...

Беневоленский замолчал, заметив излишнюю поспешность, с которой прикуривал поручик. Зная со слов Маши

крутой характер отца, он не предполагал, что известие о его смерти может так подействовать на боевого офицера.

— Извините,— сказал Гавриил.— Он был неласков, а я любил его.— Он помолчал.— Кого же еще мы недосчитались?

— В прошлом году на дуэли погиб Володя.

Эта новость была куда большей неожиданностью, чем смерть отца, но Гавриил ощутил ее скорее разумом, чем сердцем. «До чего же я очерствел,— с болью подумал он.— Ведь погиб Володька, по-собачьи влюбленный в меня Володька: самый самолюбивый и самый восторженный из всей нашей семьи». Он сразу представил его — живого, веселого, не очень умного, но очень искреннего, доверчивого и доброго. Представил, что его больше нет, а на душе попрежнему было пусто, словно отец заслонил собой все потери. Может быть, потому, что Гавриил вдосталь нагляделся на гибель молодых.

— Так,— вздохнул он.— Да, Марии было от чего повзрослеть.

— Тем более что для нее — три смерти, а не две. Все ведь считают вас погибшим.

— В известной степени я воскрес. Вы давно из Смоленска?

Беневоленский стал рассказывать о Маше, Федоре, Варваре, Тае Ковалевской, но вскоре замолчал, поняв, что Гавриил не слушает его. А поручик и не заметил, что собеседник умолк. Покивал головой, думая о своем.

— Да, да. Говорят, меня-де воспитал такой-то и такой-то, а это не так. Человека воспитывает не кто-то определенный, имярек, а сама семья, ее традиции, ее быт, нравы — ее мир, если попытаться выразить все в одном слове. В моей, например, жизни суровая прямота отца сыграла не меньшую роль, чем добро, которое делала мать. А может быть, и большую, потому что из добра не вылепишь воина, добром не внушишь понятия чести, отвращения ко лжи и подлости. Добро куда чаще утверждает «можно», чем «нельзя», а ведь именно в запретах, в табу, впитанном с детства, и заложен весь нравственный опыт предков.

— В общем смысле вы правы,— сказал Аверьян Леонидович,— но в каждом конкретном случае ваша система не выдержит никакой критики, поскольку и «можно» и «нельзя» весьма относительны. Табу крестьянина куда многочисленнее и определеннее, чем табу дворянина; в классовом обществе классовая мораль, Гавриил Иванович, и с этим ничего не поделаешь.

— Мы столь часто стали употреблять слова «классы»,

«классовый» и тому подобные, что это уже похоже на моду,— с неудовольствием сказал Олексин.— Привычка объяснять все явления одинаково в конце концов грозит параличом самостоятельному мышлению. Человек должен думать и стараться по-своему объяснять мир, а не пользоваться готовыми формулами. Приказ можно отдать перед строем, а можно и внушить: знаю это по личному опыту. Слава Богу, у меня хватило здравого смысла расстаться с внушенными идеями и обрести свой символ веры.

— Какой же?

— Я служу отечеству, вот и все.

— Отечеству в лице государя?

— Отечество всегда отечество, господин Прохоров.

— Опять общо, а потому и относительно. Существует отечество народа и отечество правящего класса — извините, был вынужден вновь прибегнуть к слову, которое вам претит.

— Какому же из этих отечеств вы, господин Прохоров, добровольно изъявили желание послужить?

Беневоленский долго молчал. В вечернем сумраке слышался беспрестанный шум: поток беженцев не иссякал и ночью.

— Издалека доносится запах гари,— сказал он наконец.— Завтра турки придут в Долину Роз, и запах этот станет уже невыносимым. Кого благодарить за то, что мы обрекли ни в чем не повинных женщин и детей на гонения, голод и смерть? Народ России? Нет: он пришел подать руку помощи несчастной Болгарии, он умирает за ее завтрашнюю свободу. Тогда кого же? Какое отечество, Гавриил Иванович?

— Я — военный, господин Прохоров. С точки зрения военной, рейд Гурко был блестящим планом.

— Знаете, чего до сей поры не хватает всем нашим блестящим планам? Заботы о народе: они его попросту не учитывают. Но мы-то, мы, честные русские люди, должны это учитывать? Не знаю, какие чувства испытываете вы, глядя на беженцев, а я испытываю стыд. Стыд за то, что мы не сумели или не захотели их защитить.

— Это уже чересчур, господин Прохоров.

— Возможно,— Беневоленский помолчал.— Поймите, я не ставлю под сомнение доблесть русских солдат и офицеров, я говорю, что служить отечеству — значит и отвечать за его ошибки. И любое его предательство по отношению к другому народу — вольное или невольное — это и наше с вами предательство. Если мы служим России, а не правящей ею фамилии, Олексин. Извините, но я — рядовой, и мне пора

в свое капральство. Фельдфебель, правда, уважает мои нашивки, однако не стоит этим злоупотреблять. Спокойной ночи, Гавриил Иванович.

— Спокойной ночи,— машинально отозвался поручик.

Он вдруг подумал, что когда-то уже слышал подобный разговор. Слышал и поступил так, как подсказала ему совесть. Но сейчас совесть его была чиста, и тревожил его не дым, а глубина ложементов.

Беневоленский ушел, а Гавриил еще долго сидел на медленно остывающих камнях. Снизу, с долин, полз горький запах горя, который он ощущал сейчас куда сильнее, чем до этого разговора.

2

С утра 7 августа до перевала донеслись не только дымы и запахи гари — в Долине Роз стала разворачиваться густая масса войск. Черкесы, не теряя времени, двинулись к деревне Шипка, но отступили, встреченные огнем охранения. А Сулейман неторопливо разворачивал табор за табором: наблюдавшие в бинокли офицеры считали знамена и бунчуки с горы Святого Николая. Оставалась вероятность, что турки двинутся через Балканы не Шипкинским, а каким-либо иным, не занятым русскими отрядами перевалом, что здесь лишь демонстрация, и потому Столетов в донесении не стал утверждать, что противник намеревается атаковать его, а сообщил только то, что видел: армия Сулеймана разворачивается в Долине Роз.

Как на грех, в тот же день у городка Елена показались крупные отряды черкесов и башибузуков. Тамошний начальник генерал Борейша, не разобравшись, послал уведомление командующему корпусом генералу Радецкому о том, что перед ним — передовые части всей армии Сулеймана, и срочно запросил помощь. Получив это сообщение ранее донесения Столетова, Радецкий сразу же распорядился двинуть к Елене 4-ю стрелковую бригаду Цвецинского, отошедшую из-за Балкан в резерв корпуса. Форсированным маршем Цвецинский бросился к Елене, но там уже справились своими силами: то, что перепуганный Борейша принял за армию, оказалось всего лишь налетом иррегулярной турецкой кавалерии. Дав своим стрелкам три часа отдыха, Цвецинский повернул назад, к Габрово, но двое суток были потеряны.

Впрочем, тот день 8 августа, когда стрелки, изнемогая от жары, торопились к Елене, для защитников перевала

прошел спокойно. Турки не атаковали, словно и впрямь не решили еще, куда направить удар, и шипкинцы лихорадочно зарывались в каменистую, неуютную землю. Поручик Романов поставил динамитные фугасы на опасных направлениях, доктор Коньков оборудовал центральный перевязочный пункт, ополченцы и орловцы доделывали ложементы: казалось, все было по-прежнему — исчез лишь поток беженцев, отрезанных турками от перевала.

Беневоленский, он же Прохоров, более не навещал Олексина, по горло занятый своими солдатскими делами. А поздно вечером, когда ушло солнце, а внизу, в Долине Роз, засветились тысячи турецких костров, Гавриила разыскал подпоручик Никитин.

— Смотрите, какая красота! — сказал он, глядя вниз, где горели костры.

— У вас взгляд художника.

— Вы угадали, Гавриил Иванович, была у меня такая мечта. Я даже брал уроки. А потом понял, что служить отечеству надо не там, где тебе хочется, а там, где от тебя будет больше толку. Ведь это же истинная правда, что рождаемся мы для того, чтоб славу отечества приумножить, так мне дедушка говорил. И тут важно не ошибиться, какой путь избрать, а чтоб не ошибиться, надобно не о своей славе думать, а о славе отечества своего...

Подпоручик еще долго и приподнято толковал о долге, славе и отечестве — Гавриил не вслушивался в слова. Юный офицер был взволнован предстоящим боем и всячески пытался скрыть это волнение. Эта наивная попытка вселяла надежду, что он не трус, что в нем хватит пороху на предстоящее дело, и потому Олексин перебил его в самом неподходящем месте.

— Волнение ваше естественно, Никитин, и не следует скрывать его звонкими словами. Война — произведение прозы, а не поэзии; готовьтесь читать ее с серьезностью и без восторга. Азбука не так уж сложна: видеть противника не как стихию, а как такого же человека, как и вы, склонного оберегать свою жизнь, поддаваться страху, усталости, отчаянию. Заставить его испытать эти чувства раньше, чем он заставит вас испытать их,— вот и вся задача. А решить ее могут только ваши солдаты. Верьте им, Никитин, верьте больше, чем себе самому: они не подведут.

Поручик говорил устало, и то, что он говорил, представлялось ему настолько очевидным, что Никитин мог понять его речь как желание отделаться от докучливого собеседника. Гавриил все время думал, что ложементы недостаточно глубоки, что вторая линия не достроена, что отбиваться

придется залпами, а патронов мало. И еще — о погибшем Калитине, о последних словах подполковника, обращенных лично к нему, к поручику Олексину: «отменный бой!..» Завтра тоже предстоял отменный бой; два отменных боя подряд для дружины было уже чересчур. Вот о чем он думал, излагая прописные истины юному субалтерн-офицеру, для которого завтрашнее дело могло быть последним в жизни. И ему было грустно, что он не находит иных слов — теплых, ободряющих, дружеских, что он огрубел душой и способен думать лишь о том, как воевать, а не как жить. И неожиданно усмехнулся про себя: «Отвиновского бы сюда, вот бы кто меня понял...» Но румяный, бривший раз в неделю офицер неожиданно воспринял его поучения очень серьезно. Искренне поблагодарил и по совету поручика тут же ушел к своим солдатам. Гавриил докурил папиросу и, перед тем как уходить, глянул вниз, в долину. Костров горело уже едва ли не вдвое больше: к Сулейману подошли подкрепления.

Кровавый отблеск казанлыкских пожаров освещал гору Святого Николая. Было тихо, но никто не спал в эти последние часы тишины. Столетов поручил оборону горы полковнику графу Толстому, левый фланг — князю Вяземскому, правый — полковнику Депрерадовичу. Этот фланг беспокоил больше всего: низкой седловиной перевал соединялся с соседним хребтом, с горами Лесной и Лысой, как тут же окрестили их солдаты. Леса на скатах вырубить не успели, обзор артиллеристам был закрыт, а противник получал возможность скрытно скапливаться в непосредственной близости от позиций. Старый Кренке вздыхал, угнетенно качая головой, но сделать уже ничего было нельзя.

Первые звуки боя — редкий залповый огонь русских и неумолчная стрельба турок — донеслись в предрассветной мгле: противник атаковал охранение, стоявшее в полугоре. Ответив считанными залпами, охранение отошло без потерь; турки не преследовали, атак больше не было, но стрельба уже не прекращалась. Правда, только ружейная: артиллерия в бой не вступала.

Этой бессистемной пальбой турки пытались ввести в заблуждение русских относительно направления главного удара и отвлекали их внимание от перемещений выделенных для штурма таборов. 8 августа на военном совете Сулейман-паша — полководец непреклонной воли и еще более непреклонной жестокости — отдал приказ. Основной удар наносился по левому флангу обороны отрядом Реджеба-паши. Одновременно отряды Селиха-паши и Шакира-паши наносили вспомогательные удары с юга и с северо-востока.

— Овладеть перевалом не позднее суток,— сказал Сулейман.— Пусть при этом погибнет половина нашей армии — с другой половиной мы по ту сторону гор будем полными хозяевами, потому что вслед за нами пойдет Рауф-паша, за ним — Сеид-паша с ополчением. Русские ждут нас у Елены. Пусть остаются ждать. Пока они доберутся сюда, мы уже будем в Тырнове.

Сулейман ошибся: русские ждали его на самом перевале. Но в этой ошибке турецкий полководец не был повинен: все было рассчитано точно, все учтено и все взвешено. Кроме необъяснимого упорства, отваги, решимости и презрения к смерти защитников перевала.

Так начинался знаменитый «Шипкинский семиднев», каждый день которого навеки вошел в историю.

3

В семь утра стихла беспорядочная стрельба, заунывно запели сигнальные рожки и со склонов Тырсовой горы, расположенной напротив Николая, потекли вниз, в седловину, тысячные колонны турок. Редкая цепь стрелков прикрывала их движение, рассыпанным строем перебегая впереди, и все вокруг покрылось сплошным качающимся ковром красных фесок.

— Ровно маки в поле,— сказал немолодой орловец и, сняв шапку, торжественно перекрестился.— Ну, братцы, постоим?

— Постоим, Акимыч! — вразнобой отозвались солдаты, торопливо осеняя себя крестными знамениями.

— Без толку не стрелять! — крикнул Гавриил орловцам из соседнего ложемента.— Подпускай ближе и бей залпами!

Грохот первого орудийного выстрела перекрыл его слова. Малая батарея, расположенная на восточной стороне горы святого Николая, открыла огонь. Вслед за ней заговорили орудия Стальной батареи, стоявшей ниже Малой, левее ложементов Олексина. Снаряды рвались в гуще турецких колонн, но сулеймановские аскеры, смыкая ряды, неудержимо катились в седловину, к шоссе и отрогам Святого Николая. Рожки беспрерывно играли атаку.

— Картечь их сегодня не остановит.

Рядом с Гавриилом оказался капитан Перван Нинов, накануне прибывший на перевал вместе с сыном, подпоручиком Ангелом Ниновым, и небольшим пополнением. Капитану поручили участок левее и подчинили Олексину, но Гавриил, мало зная Нинова, относился к нему с особым

уважением. Старик — ему уже исполнилось 68 лет — сражался под Севастополем, где отвага его была отмечена не только орденами, но и офицерским званием.

— А что остановит, капитан?

— Мы.

Это было сказано с неколебимой убежденностью. Гавриил посмотрел на хмурое, иссеченное шрамами и морщинами лицо ветерана.

— Говорите это почаще нашим ополченцам, капитан Нинов.

— Скаты круты, поручик. Контратаковать легко, а возвращаться трудно. Не бросайте всех сил в атаки: кто-то должен прикрывать отход.

— Благодарю, Нинов.

Все это они прокричали: артиллерийская канонада заглушала слова. Малая и Стальная батареи уже били картечными гранатами, каждый залп оставлял на месте десятки тел в синих мундирах, но аскеры упорно шли вперед.

— Ай, будет жарко! — весело прокричал ополченец с Таковским крестом Тодор Младенов.— Снимайте мундиры, болгары! — Он глянул на поручика: — Можно, господин поручик?

Олексин сердито отмахнулся: он смотрел вниз, куда спускались турки, и считал шаги, чтобы не запоздать с залповым огнем. Но картечь продолжала кромсать ряды атакующих, колонны их уже не выдерживали прежнего равнения и скорости, и поручик облегченно вздохнул, поняв, что противник выдохся.

— Вот теперь можно снять мундиры!

Турки резко замедлили движение, затоптались и повернули назад. Русские батареи выпустили вдогонку несколько снарядов и прекратили стрельбу: боеприпасы шли на счет, а день только начинался. А когда смолк грохот, восторженное «ура!» прокатилось по всей позиции. Первая турецкая атака отбита одним артиллерийским огнем.

— В атаки воины должны идти без перерывов,— приказал Сулейман, узнав о провале.— Пусть падают тысячами — на их место станут другие. Офицерам идти позади цепей и стрелять в каждого, кто повернет назад. Из сигналов отныне допускаются только «сбор», «наступление» и «начальник убит». Атаковать гору с юга и востока, отрезать от Центральной позиции и уничтожить защитников. Атаковать, атаковать, атаковать беспрерывно!

Синие клубы порохового дыма стлались в неподвижном воздухе. Еще все молчало, еще не началась даже обычная неприцельная и частая турецкая стрельба, и только русские

солдаты оживленно переговаривались, с любопытством разглядывая синевшие на противолежащих склонах груды тел. Никитин уже успел сбегать на Малую и Стальную батареи, лично пожать руку каждому артиллеристу и теперь сидел на бруствере олексинского ложемента и восторгался. Восторгался первым боем, в котором ему посчастливилось участвовать лишь в качестве зрителя, работой артиллеристов, синими дымами, нежарким еще солнцем и вообще всем, что видел или ощущал.

В ложементах ополченцев было тише, чем у орловцев. Хмурое лицо старого капитана Нинова и молчаливая сосредоточенность Олексина сдерживали даже самых молодых. Они верили опыту своих командиров и понимали, что это еще не атака, а жестокая ее демонстрация, проба сил и направлений, прощупывание русской системы огня. Едва ли не первыми подхватив «ура!», они тут же и замолчали, услышав фразу Первана Нинова:

— Еще не вечер, болгары.

Вскоре противник возобновил штурм. Аскеры наступали не только со склонов Тырсовой горы: густые колонны их показались на шоссе. Извилистая дорога позволяла Большой и Малой батареям вести огонь лишь на отдельных открытых участках; турки перебегали их, скапливались в недосягаемых для артиллерии местах и вновь упорно продвигались вперед. Действуя так, они в конце концов прорвались бы к отрогам горы Святого Николая, где их никак не могли поразить русские снаряды, и оттуда всей мощью ударили бы по малочисленным защитникам южных отрогов, которые шипкинцы называли Орлиным гнездом. Скалы здесь почти отвесно обрывались вниз, но аскеры Сулеймана, пройдя жестокую школу боев в Черногории, не боялись пропастей и обрывов. Начальник Южной позиции полковник граф Толстой понял опасность.

— Взрывайте фугасы.

Первый фугас был взорван неудачно: Романов неверно определил расстояние, и взрыв произошел раньше, чем подошли турки. И все же сила его была такова, что противник сразу отхлынул: первая атака Селиха-паши по шоссе была сорвана.

Однако свежие таборы Реджеба-паши по-прежнему яростно рвались к левому флангу, стараясь во что бы то ни стало пробиться к Стальной батарее, овладеть ею и разрезать всю русскую оборону. Их громили пушки со Стальной и Центральной батарей, но орудия могли вести огонь только по скатам Тырсовой горы. Ниже, в седловине между Тырсовой и Николаем, лежало мертвое пространство, недоступ-

ное артиллерии; достигнув его, аскеры получали передышку, возможность накопить силы и атаковать вверх по склону расположенные на гребне ложементы.

Артиллерия могла отбросить, сорвать начало турецкой атаки, но на втором ее этапе была бессильна. Защитникам оставалось рассчитывать на свои силы — на залповый огонь и штыковые контратаки. И из всех ложементов еле слышно за грохотом, ревом снарядов, криками «алла!» и воем турецких рожков донеслось:

— К стрельбе готовьсь! Залпами пополувзводно!..

Почудилось, будто эту команду услышали турецкие стрелки: град пуль обрушился на ложементы. Высланные Реджебом-пашой черкесы укрылись в скалах Тырсовой горы, откуда и вели безостановочный огонь из дальнобойных магазинок. Упали первые убитые.

— Садись!..— срывая голос, закричал Гавриил.— Всем сесть в ложементах! Сесть!..

Команда перекинулась к соседям, ополченцы и орловцы укрылись за камнями, а пули продолжали полосовать воздух над головой. Жужжанье их слилось в единый гул, из которого выделялись лишь тупые короткие удары: свинец плющился о камень.

Пока аскеры Реджеба-паши прорывались сквозь заградительный огонь батарей, на шоссе вновь началось наступление. Среди синих колонн атакующих замелькали белые одежды мулл, взвыли рожки, донеслось далекое «алла!». Большая и Малая батареи вели частый огонь, но противник умело использовал изгибы шоссе. Волна все ближе и ближе подкатывала к Орлиному гнезду.

— Прошу более не ошибаться, поручик,— сквозь зубы сказал Толстой.

Романов и сам понимал, что ошибиться нельзя: он стоял в полный рост, держа провода от гальванической батареи, и напряженно следил за турками. Вокруг него жужжали и плющились о камни пули, одна ударила в бок, но поручик даже не почувствовал, что ранен. Затаив дыхание, он считал шаги, он весь был там, у своих фугасов. «Только бы не перебило провода, только бы не перебило провода...» И соединил контакты как раз тогда, когда первые ряды вступили на фугас. Вторично гигантский взрыв динамита потряс воздух, взлетела земля, камни, тела в синих мундирах, и колонну будто смыло: с такой быстротой она кинулась назад, подальше от дьявольских русских мин. Не успела упасть поднятая взрывом земля, как на шоссе никого уже не было. Только глубокая рваная яма да широко вокруг нее разбросанные трупы убитых.

— Хвалю, Романов,— сдержанно сказал Толстой.— Ступайте на перевязку.

Напуганные мощными взрывами, турки более на шоссе не показывались, но продолжали упорно рваться к отрогам левого фланга. Картечные гранаты вырывали десятки атакующих, но уцелевшие с неистовыми криками «алла!» неудержимо шли сквозь огонь. Такого боевого порыва русские доселе никогда еще не встречали. Все ярусы ложементов давно полыхали залпами, а турки, топча тела павших, все шли и шли, и на поддержку им скатывались со склонов Тырсовой новые колонны. Над всей позицией стоял несмолкаемый грохот, в котором тонули отдельные выстрелы, и солнце тускло светило сквозь сплошную завесу дыма и пыли.

И снова атака захлебнулась. Очередная колонна на скате Тырсовой горы наткнулась на картечный смерч со Стальной батареи, дрогнула, остановилась, заметалась и повернула назад, под защиту скал. Смолк грохот батарей, смолкли турецкие рожки, дикие крики «алла!», и даже стрельба черкесов стала заметно реже. Противник выдохся. Медленно рассеивался пороховой дым, сползая в низины; сухая каменная пыль скрипела на зубах.

— Раненых — на перевязку, убитых убрать из ложементов,— с трудом сказал Олексин, обессиленно садясь на горячие камни.— Всем посчитать патроны.

— Живы, Гавриил Иванович? — крикнули из соседнего ложемента.

Поручик с напряжением узнал в грязном, осунувшемся за несколько часов молодом офицере Никитина. Улыбнулся устало:

— А вы?

— Чудом! Фуражку с головы пуля снесла!

С другой стороны к Гавриилу шел капитан Нинов. Пули жужжали еще густо, но старый воин не склонял головы. Седые волосы его побурели от пыли и пороховой копоти.

— Сколько турок бежало, а сколько отошло, считали?

— Не было времени.

— Я тоже не считал, но показалось, что отошло меньше. Послал Тодора Младенова: говорит, не все отошли. Много осталось под горою.

— Благодарю, капитан. Первые ложементы, изготовиться к бою! Никитин, глядите в оба, здесь нам артиллерия не поможет.

— То же самое я сказал моему сыну Ангелу,— усмехнулся Нинов, садясь рядом.— Аскеры Сулеймана больше боятся своего вождя, чем смерти. Я дрался с турками в

Болгарии, Герцеговине, Черногории и под Севастополем, но я не видал таких атак.

— Интересно, что думает Столетов,— вздохнул Олексин.

Столетов к тому времени отослал в Габрово всех ординарцев, оставив только своего любимца болгарина Петра Берковского — человека редкой исполнительности, долга и бесстрашия. Подполковник Рынкевич, возглавивший оборону участка, где выбыли все офицеры, был ранен, и его место заступил майор Попов. Старый генерал Кренке весь бой провел на Центральной батарее, помогая артиллеристам разбираться в движении турецких колонн и определять наивыгоднейшую линию открытия огня.

— Это не безрассудство,— все время твердил он Столетову.— Сулейман нарочно атакует в лоб, он чего-то ждет. Не поддавайтесь, Николай Григорьевич, не снимайте с правого фланга ни одного солдата: главный удар противник нанесет там.

Столетов и сам понимал, что его правый фланг более доступен для вражеских атак, но сейчас его волновало иное. Радецкий, послав на подмогу Брянский полк, с остальными подкреплениями не спешил, приказывая держаться тем, что есть. Он не вдавался в подробности, и Столетов не знал, что у командира корпуса ничего и не было, кроме брянцев: стрелковая бригада Цвецинского и полки 14-й дивизии Драгомирова из-за панических сообщений Борейши находились далеко от Шипкинского перевала. Внезапный штурм Шипки всей армией Сулеймана сразу превратился в опасность стратегического порядка: в тылу у русских оставался Осман-паша, а соединение этих двух пашей ставило под угрозу всю Дунайскую армию. Это понимали все, вплоть до рядового защитника перевала, хотя никто не отдавал никаких приказов. Понимали все, но в ближайшее время существенной помощи ожидать не приходилось.

Красные фески появились перед ополченцами внезапно, словно вынырнув из-под земли. Появились молча, без команд и сигналов, и так близко, что защитники отчетливо различали лица. На таком расстоянии не ожидавшие броска не успели бы наладить залпового огня, на что и рассчитывали турецкие офицеры, а разрозненная стрельба не могла остановить единого порыва атакующих. Перед турками лежал пологий подъем, полтораста шагов, и они с ходу врывались в ложементы. Исход боя решали секунды, и казалось, что власть над этими секундами принадлежит аскерам Сулеймана.

— Ур-ра!..

«Ура» было жиденьким: пятнадцать ополченцев во главе

с подпоручиком Ангелом Ниновым дружно ударили в штыки. Турок к тому времени скопилось уже около двухсот, снизу лезли и лезли, но удар был внезапен, а «ура» вдруг стало пугающе грозным: все защитники горы Святого Николая — орловцы и ополченцы, стрелки и артиллеристы, офицеры и рядовые — подхватили это «ура!». Штыками и грозным ревом сотен пересохших глоток противник был сброшен со ската. Из атаки вернулось десять болгар; они молча положили к ногам капитана Нинова тело убитого подпоручика.

Но аскеры рванулись не только в этом месте. Они атаковали вдоль всего левого фланга, и стрелять было некогда. Навстречу штурмующим посыпались камни, бревна, испорченные ружья — полетело все, что можно было обрушить на врага. Грохот камней, крики раненых и непрекращающееся «ура!» заглушали все команды, и Олексин только махнул рукой, призывая своих. Он бежал навстречу туркам, зажав по револьверу в каждой руке, стреляя почти в упор и только по офицерам. А те ложементы, которые оказались вне зоны штурма, лежавшая в резерве за Стальной батареей рота орловцев и все артиллеристы помогали своим, чем могли: хриплым, неистовым и страшным боевым кличем России. «Ура!» гремело над всей горой Святого Николая, и только старый Нинов молча стоял над телом сына, погибшего в своей первой атаке.

Турки были отброшены за скалы повсеместно: и этот столь тщательно подготовленный натиск не удался противнику. Аскеры опять откатились под обрыв, где их не могли достать ни русские артиллеристы, ни стрелки. Там они опять могли отсидеться, собраться с силами и снова атаковать. И тогда прислуга Стальной батареи, схватив картечные снаряды, подобралась к обрыву и сбросила их на головы прятавшихся в скалах турок. Взрывы потрясли воздух, оставшиеся в живых турки в панике бросились подальше, под защиту кустов и скал Тырсовой горы.

Это были мгновения не только величайшего боевого подъема,— это было единение. В бою перемешались русские и болгары, солдаты и офицеры, помогая друг другу, выручая из беды, спасая от гибели. Неудержимый боевой восторг, восторг общей победы охватил всех. Орловец в грязной, изодранной рубахе вскочил на бруствер ложемента.

— Братья! — крикнул он, и Гавриил узнал жениха своей сестры.— Братья русские, братья болгары! Общее дело сплотило нас, общая кровь породнила. Поклянемся же умереть здесь, но не пустить турок в долину Янтры!..

— Клянемся! — откликнулись ложементы.— Клянемся! Клянемся! Клянемся!

Орловцы бросились к ополченцам, ополченцы — к орловцам: русские и болгары троекратно целовали друг друга, узнавали имена: «Меня Семеном зовут, запомни, брат».— «Меня — Иорданом. Запомни».— «Клянемся, брат Иордан?» — «Клянемся, брат Семен!..» У многих на глазах блестели слезы, а Никитин восторженно плакал, но в этот миг никто не стеснялся слез. И только капитан Нинов стоял с сухими глазами.

— Примите мои соболезнования,— тихо сказал Олексин.

— Не надо соболезновать,— строго сказал капитан.— Мой мальчик пал за свободу,— он вдруг выпрямился, крикнул: — Это — наша земля! Наша! Ляжем костьми, но не отдадим ее османам! Не отдадим никогда!

Голос его звенел от боли и горя, а глаза оставались сухими. При каждой фразе старик торжественно простирал раскрытую ладонь над мертвым сыном, точно призывая его в свидетели и одновременно клянясь его гибелью.

— Велики ли потери, поручик?

Гавриил оглянулся. К ним подходил генерал Столетов в сопровождении ординарца Петра Берковского.

— Ложементы удержу, ваше превосходительство.

— Благодарю,— Столетов снял фуражку, шагнул к Нинову и склонил голову.— Позвольте считать вас братом, капитан Нинов.

— Здравствуй, брат,— тихо ответил Нинов.

Он обнял генерала, плечи его затряслись. Берковский бросился к нему, но капитан уже овладел собой и, троекратно поцеловав Столетова, отстранился с прежним замкнутым лицом. Генерал обернулся к Олексину:

— Выстоим, поручик?

— Или умрем тут, генерал.

Николай Григорьевич молча протянул Гавриилу руку.

4

Через час турки возобновили ружейный обстрел ложементов. Одновременно на скатах Тырсовой горы задвигались густые массы таборов, готовясь к новой атаке. Толстой отдал приказание офицерам следить и, подавая пример, первым встал в ложементе. Офицеры один за другим падали от черкесских пуль, но туркам не удалось незамеченными спуститься с гор — русская артиллерия вовремя открыла прицельный огонь. Десятками падали аскеры, но свежие ряды, топча павших, катились вниз, к подножью Николая.

И эта атака захлебнулась. Разбитые таборы спешно втя-

гивались под защиту скал, пороховые дымы поползли в ущелья, открывая раскаленное солнце. На всей позиции не было ни клочка тени, ни глотка воды. А черкесский огонь не ослабевал, пули пронизывали все пространство, и даже лежавшие за брустверами батарей резервы уже несли потери. Еще не растаяли дымы, не успели передохнуть защитники, как у краев плато в непосредственной близости от ложементов снова показались сотни красных фесок. Противник повторял атаку с той лишь разницей, что на сей раз поддерживал ее несмолкаемым ружейным огнем.

Эта схватка была продолжительнее и яростнее первой. Противники дрались врукопашную на крутых скатах, у обрывов, и часто тяжко раненные орловцы и ополченцы в последнем усилии цеплялись за врага и вместе с ним летели в пропасть. Взаимное ожесточение выходило за рамки привычных боев: потеряв оружие, защитники грудью бросались на штыки, стремясь заслонить товарищей, а аскеры хватались руками за сабли офицеров, рвали их на себя и, сбив с ног, тут же приканчивали. Так потащили было Никитина — по неопытности он продел кисть в темляк и не мог отпустить сабли; его отбили орловцы, дружно ударив на турок, уже волочивших к себе подпоручика. Гавриил водил ополченцев, по-прежнему вооруженный револьверами: болела рука, раненная в битве за самарское знамя. Он и в этом бою старался не терять спокойствия, видел все, вовремя приходил на помощь и не тратил зря патронов, выискивал офицеров. В разгар побоища, когда казалось, что турки вот-вот сомнут горсточку защитников, Петр Берковский привел резервный взвод. Эта помощь и решила судьбу штурма: турки были отброшены.

В первый день боев — самый длинный день Шипкинского семиднева — левый фланг отбил десять турецких атак: в среднем они повторялись через каждый час. Защитники перевала не видели воды: глотки горели от надсадных криков, каменной пыли, порохового смрада и копоти. Последнюю атаку противник предпринял против Стальной батареи уже при лунном свете; отбиваться опять пришлось врукопашную, но отбили и ее, десятую. И тогда наступила тишина; только всю ночь, не замолкая, мучительно стонали под обрывами раненые, а добраться до них не было ни возможности, ни сил.

Солдатам и офицерам раздали сухари. А надо было исправлять и достраивать ложементы, хоронить убитых, позаботиться о раненых. На это уже недоставало сил, но в темноте беззучно задвигались тени: шли болгарские женщины и дети, которых только сейчас Столетов допустил на

позиции. Они принесли воду, занялись ранеными и убитыми.

Было приказано отдыхать поочередно, но на позициях все равно никто не спал. Сказывалось и возбуждение боем, и та безмерная усталость, за которой исчезает даже сон. Лишь юный подпоручик Никитин сладко похрапывал на дне ложемента, заботливо укрытый солдатскими шинелями.

Около полуночи полковник Липинский привел Брянский полк, и Столетов вздохнул с облегчением: можно было прикрыть беспокоивший его правый фланг, на котором турки, правда, пока не атаковали, и пополнить людьми ложементы. Обсудив с командирами участков положение, а заодно узнав от Липинского, что в Габрове доселе нет войск и ожидать их можно лишь через сутки, он возложил на командира брянцев заботу о правом фланге, переведя полковника Депрерадовича на левый, где выбыл из строя раненный в атаке князь Вяземский. Отданный им боевой приказ был по-суворовски лаконичен: «Держать перевал».

С низин тянуло прохладой, скопившимся пороховым дымом, запахом искромсанных картечью тел. Олексин сидел под скалой на шинели, понимал, что должен хоть немного вздремнуть, но не дремалось и даже не думалось. От непомерной усталости ломило все тело, ныла растревоженная рана на руке и все время хотелось пить. Он сдерживал себя, лишь изредка делая глоток из фляжки, которую ему принес болгарский парнишка: берег воду на завтрашний день, когда опять начнется бой. В соседних ложементах тихо и грустно пели орловцы.

— Олексин, вы? — Беневоленский, в наброшенной на плечи шинели, опустился рядом.— Искал вас.

— Ранены? — спросил поручик, увидев перебинтованную руку.

— Пуля. По счастью, в мякоть.

— Это когда вас на бруствер энтузиазмом вынесло?

— Нет, позже, в атаке,— Беневоленский усмехнулся.— Никогда не переживал такого подъема. Олексин, такого торжества духа, что ли.

— Ступайте-ка к доктору Конькову, господин энтузиаст.

— Зачем? Я еще могу стрелять и перевязывать — разве этого мало?

— Я хочу сохранить жениха для сестры, Прохоров.

Аверьян Леонидович помолчал, в темноте искоса поглядывая на грязное, осунувшееся лицо поручика. Потом сказал тихо:

— Я не хочу более обманывать вас, Гавриил Иванович. Я никакой не Прохоров, и зовут меня совсем не Аркадием

Петровичем. Я — Аверьян Леонидович Беневоленский, сын священника села Борок, что неподалеку от Высокого. Нет, нет, я не вор, я не подделывал векселей и никого не убивал: за мной охотились, вот и пришлось сменить паспорт.

— Кто за вами охотился? — устало спросил поручик.— Коли признаваться, так до конца.

— Вы правы, Олексин.— Беневоленский опять помолчал, все еще не решаясь.— Что вы знаете о народниках? Я имею в виду не говорунов типа господина Лаврова, а настоящих революционеров.

— Я не имею чести быть знакомым ни с господином Лавровым, ни с кем-либо из настоящих революционеров,— сказал Гавриил, но тут же спохватился.— Впрочем, в Сербии под моей командой служили трое парижан-коммунаров, и это не мешало им быть отважными солдатами.

— Наша деятельность требует мужества, Олексин.

— Ваша?

— Да. Я разделяю мысли Ткачева. С существенными, правда, поправками, но это — уже теория.

— Надеюсь, вы не втянули Марию в свою мужественную деятельность?

Он спросил с ворчливой улыбкой. Он никогда не интересовался никакими учениями, относясь к ним с полным равнодушием, знал, что Василий увлекается революционной пропагандой, предполагал, что Федор пойдет той же дорогой, но никогда никого не осуждал. Каждый человек волен поступать по долгу совести — этому учил отец, и все Олексины воспринимали свободомыслие как нечто само собой разумеющееся.

— Нет,— вполне серьезно ответил Беневоленский.— За подобную деятельность родное отечество сулит в лучшем случае каторгу, а я слишком дорожу Машей.

— Это — ваше дело. Только не занимайтесь пропагаторством в полку. Уж пожалуйста.

— Зачем? — улыбнулся Аверьян Леонидович.— Здесь эту работу неплохо выполняют турки, разве не так? Разве сегодняшний день не знамение завтрашних битв за свободу? Я воспринял его именно так, Олексин. Когда русский искренне считает болгарина братом, а болгарин, не раздумывая, жертвует за русского жизнью, когда простые солдаты грудью заслоняют офицеров, а офицер отдает нижнему чину последний глоток воды,— война выходит из тех берегов, в которых ее хотело бы видеть самодержавие. На Шипке произошло чудо, Олексин: царская расчетливая бойня превратилась в войну народную по воле самих народов. Вы почувствовали, сколько сил, мужества, самопожертвования

и отваги таится в простых людях, когда они воюют не во исполнение царской воли, а по зову собственных сердец?

— Для вашего возраста вы слишком восторженны. Это пройдет, просто сказывается первый бой.

— Отнюдь, Олексин, я скорее сдержан, чем горяч. А некоторая приподнятость речи объясняется открытием: я, подобно Архимеду, все время хочу кричать «эврика!»

— Открыли, что рядовые спасают офицеров, а офицеры жалеют подчиненных? Мало для того, чтобы кричать «эврика», Беневоленский.

— Нет, я открыл нечто большее. Мне пока трудно объяснить, надо многое передумать. А суть в том, что все наше народничество, все наши споры, теории, да и вся наша практика, вдруг представились мне ложными. Заговоры Бланки, топоры нечаевцев, бунты Бакунина — детская игра по сравнению с той силой, которую я ощутил сегодня. Эта сила, и только эта сила, правит историей, Олексин, а совсем не критически мыслящие личности Лаврова и даже не герои Ткачева.

— Послушайте, Беневоленский, не пора ли нам отдохнуть? — Гавриил деланно зевнул.— Завтра у нас не диспут о том, кто творит историю, а — история. Дама довольно кровавая и беспощадная. Тем паче что я все равно ничего не понимаю.

— Не понимаете, так поймете,— с неожиданной резкостью сказал Аверьян Леонидович.— Вы решительнее Василия Ивановича и умнее блаженного Федора, и вам совсем не все равно, за что воевать.

— За что же, по-вашему, я воюю?

— За свободу, Гавриил Иванович. Пока — за чужую.

— Свобода — понятие относительное, Беневоленский, поскольку не может быть свободой для всех. А вот справедливость — всегда справедливость. Вы давеча обвинили нашу армию в несправедливости к мирным болгарам, которых она вынуждена была бросить на произвол судьбы, и, признаюсь, это зацепило меня. А свобода...— он усмехнулся.— Каждый понимает ее по-своему, а на всех не угодишь.

— Справедливость тоже каждый понимает по-своему.

— Э нет! Справедливость связана с честью человека: если человек дорожит своей честью, он будет отстаивать справедливость, чего бы это ему ни стоило. Только бесчестные люди способны мириться с несправедливостью.

— Вы идеалист, Олексин.

— А вы?

— Я? — Беневоленский пожал плечами.— Позавчера я

бы ответил не задумываясь, а сегодня... Сегодня промолчу. Если меня не убьют, то...— он неожиданно замолчал.

— То вы женитесь на моей сестре,— проворчал Гавриил.— Право, давайте-ка подремлем хоть часок.

— Если меня не убьют, я попробую пересмотреть свои идеи заново,— словно не слыша, продолжил Аверьян Леонидович.— Террор, бунты, упование на крестьянскую стихию — все это не то. Революционер не спичка, которую подносят к фитилю... Да, вы правы, надо поспать. Дай нам Бог продолжить этот разговор.

— Дай Бог, чтоб мне хватило патронов на завтра,— хмуро сказал Гавриил, расстилая шинель на остывшей, изрытой пулями земле.

5

На ночь турки подтянули артиллерию и весь следующий день слали на русские позиции снаряд за снарядом. К счастью, батареи их были расположены далеко, и стрельба велась в расчете скорее на психологический эффект. Зато черкесы неплохо пристрелялись, и ружейный огонь сильно беспокоил защитников.

И все же второй день был куда легче первого. Противник провел всего шесть атак только против горы Святого Николая; атаки были короткими, аскеры шли в бой вяло и быстро откатывались, как только пристреливались русские пушки.

— Демонстрируют,— вздохнул Столетов, прибыв на Южную позицию вместе с генералом Кренке.

— Видимо, так,— согласился Толстой.— С какой же целью?

— Обходят,— убежденно сказал Кренке.— Вчера их лазутчики прощупали наш правый фланг, а сегодня Сулейман перебрасывает туда таборы. Господи, как же это мы лес вырубить не успели?..

Однако в течение всего дня противник ни разу не побеспокоил защитников справа, где оборону держали в основном брянцы. К вечеру прекратились атаки, стихла канонада, и только черкесы продолжали вести беспокоящий ружейный огонь до темноты. Но к этому уже привыкли; болгарские жители опять доставили воду, увезли в Габрово тяжелораненых, а войска впервые за двое суток получили вареное мясо.

Зато утро 11 августа встретило защитников полной неожиданностью: на Тырсовой горе противник успел возвести

батарею, втащив пушки и снаряды на канатах. Девять медных жерл глядело на шипкинскую позицию из девяти амбразур.

— Гляди, девятиглазая!..— ахнул пожилой орловец.

С его легкой руки это название так и закрепилось за батареей, почти сразу же открывшей огонь: с Тырсовой горы турецким артиллеристам была видна вся система русской обороны. Стальная батарея завязала было дуэль с «Девятиглазой», развалила две амбразуры, но снарядов было мало, и огонь пришлось прекратить. Турки еще не начинали атак, проклятая «Девятиглазая» била без перерыва, а черкесы вновь открыли бешеную пальбу. Все пространство, занятое защитниками перевала, простреливалось насквозь, что не помешало, впрочем, ординарцу Столетова Берковскому на казачьем коне проскакать вдоль всей позиции.

— Помощь идет! К полудню будет помощь, держитесь!

В то время эта обещанная помощь, еле двигая ногами, еще только втягивалась в Габрово после безостановочного суточного перехода.

— Немедля выступить на перевал,— сказал Радецкий, выслушав рапорт командира.

— Это невозможно, ваше превосходительство,— вздохнул Цвецинский.— Стрелки шли всю ночь.

— Столетов третий день держит Сулеймана! — побагровев, закричал Радецкий.— Вы — единственная его надежда. Единственная!

— Я понимаю и все же настоятельно прошу дать стрелкам шесть часов отдыха.

— Четыре! — отрезал Радецкий: он был грубоват даже с генералами.— Ровно двести сорок минут!

Турецкие разведчики действительно прощупали правый фланг обороны, но Сулейман не стал дробить своих сил. Он направил туда свежие таборы подошедшего Реуфа-паши, а сильному отряду Весселя-паши приказал окружить русских с севера, перерезав дорогу на Габрово. Именно этот день, 11 августа, турецкий полководец избрал днем генерального штурма и настолько был уверен в победе, что еще до атаки направил донесение султану о взятии Шипкинского перевала.

В половине пятого утра началась мощная артиллерийская подготовка. Шипкинская позиция была буквально засыпана снарядами, противник вел огонь с трех сторон одновременно, грохот разрывов сливался в единый безостановочный гром, солнце померкло в дыму и пыли. Русские батареи на огонь не отвечали. В семь утра оборвалась канонада, и турки ринулись на приступ ложементов правого фланга. Через несколько минут они начали атаки и по всему фронту.

Столетов точно определил направление главного удара противника, тут же приказав всем батареям вести огонь только по колоннам, атакующим с запада. Лишь Малая батарея поддерживала защитников левого фланга, на который опять двинулись таборы, шагая по уже разлагавшимся трупам. Семь часов почти без перерывов аскеры Реуфа-паши рвались к Центральной позиции. Одна за другой синие волны выкатывались из-за деревьев, добегали до завалов перед ложементами, откатывались, встреченные дружными залпами, и тут же новые волны начинали новый приступ.

Берковский добрался до ложементов Олексина чудом: пули сплошной завесой накрыли всю позицию. Он был уже дважды задет ими, но, перевязав раны, снова возвращался к Столетову, получал очередной приказ и снова шел в огонь.

— Ваш отряд, поручик, переводится в резерв правого фланга. Место, где будете лежать, я укажу. Приказа на контратаку не будет, генерал полагается на ваш опыт.

— Я понял.— Гавриил подобрался к соседнему ложементу.— Никитин, вы живы еще? Только не высовывайтесь. Меня перебрасывают на правый фланг; учтите, что ложементы мои пусты. Сколько у вас людей?

— Семнадцать.

— Вольноопределяющийся цел?

— Отправил к доктору. У него распухла и почернела рука.

— Прощайте, Никитин.

— Прощайте, Гавриил Иванович.

— Помните, левее вас ложементы пусты.

— Нет, не пусты,— сказал вдруг капитан Нинов.— Я останусь здесь, поручик. Здесь погиб мой сын.

— Один?

— Если позволите, я останусь с капитаном Ниновым,— сказал рослый, очень молчаливый ополченец.— Не годится оставлять человека одного.

— Фамилия?

— Леон Крудов.

— Оставайтесь, Крудов. Держите связь с Никитиным, Нинов, он поддержит вас. Прощайте.

Нинов лишь молча кивнул, а Крудов сказал хмуро:

— Мы не отдадим живыми этих ложементов.

Около двух часов турецкие атаки стали стихать. Ценой неимоверных усилий и жертв противник лишь потеснил русских, так и не сумев прорвать единого фронта обороны. Теперь туркам надо было перегруппироваться, подтянуть свежие таборы, подготовиться к новому приступу. Даже артиллерия не стреляла, но черкесы упорно продолжали

поливать свинцом всю занятую русскими площадь. Смолкли турецкие рожки, крики «алла!», залповый огонь защитников и их редкое «ура!». Только жужжали пули, смачно ударяя в камни.

Беневоленский лежал в неглубокой снарядной воронке. Боль в раненой руке, начавшись сутки назад исподволь, почти незаметно, переросла в невыносимо ноющую, от которой он скрипел зубами и покрывался потом. «Неужели гангрена? — отрывочно думал он.— Но я же обработал рану... Неужели гангрена?...» Надо было спешить к врачу, пока притих бой, пока его не свалила эта страшная боль и пока еще были силы. Он выбрался из воронки и, не обращая внимания на пули, медленно потащился к белым домикам перешейка, где доктор Коньков развернул основной перевязочный пункт.

— Эй, куда под пули-то, куда? Пригнись, слышь, что ль!..

Кричали брянцы: около роты их было в наспех отрытых ложементах. Это был резерв полковника Липинского, который он пока приберегал. Беневоленский услышал крики, но посмотрел в другую сторону: ему почудился звон. Оглянулся и рядом, в полусотне шагов, увидел турок. Пригнувшись, они быстро пересекали позицию, намереваясь с тыла ударить по Стальной батарее и таким образом замкнуть оба конца подковы, охватившей гору Святого Николая. Замкнуть и отрезать Южную позицию русских от Центральной, рассечь всю систему обороны надвое, лишить возможности маневрировать артиллерийским огнем и резервами. Как свыше двух сотен турок сумели просочиться сквозь оборону правого фланга, раздумывать было некогда.

— Брянцы, за мной!..— крикнул Беневоленский.— Бей турок, братцы! Ура!..

Турки крались осторожно, опасаясь не только преждевременно обнаружить себя, но и пуль собственных черкесов. Все внимание их было устремлено вперед, к Стальной батарее, они то ли не заметили одиноко бредущего Беневоленского, то ли посчитали, что он их не заметил; как бы там ни было, а брянцы первыми увидели противника и рванулись к нему с такой неудержимой яростью, что часть турок тут же бросились бежать, но большинство было перебито на месте.

— Благодарю, вольноопределяющийся,— сказал капитан, командовавший брянцами.— Вы лихо и, главное, вовремя отдали команду. Ранены? Дать провожатого?

— Нет...— мучительно задыхаясь, сказал Беневоленский: он не участвовал в штыковом ударе, но бежал

впереди, пока его не обогнали солдаты.— Я доберусь сам, капитан.

И пошатываясь, медленно потащился к белым домикам, со страхом думая, что это все-таки она. Гангрена.

6

4-я стрелковая бригада генерал-майора Цвецинского не принадлежала к гвардии, не обладала никакими привилегиями и даже не имела истории. Бригада была сформирована незадолго до войны из стрелковых рот обычных пехотных полков и предназначалась для огневого боя. В каждом пехотном полку наряду с линейными существовали и стрелковые роты, выполнявшие ту же задачу: прикрытие огнем развертывания и маневров, действия в засадах, авангардах и заслонах. Стрелки были вооружены более современным оружием, лучше обучались, лучше стреляли, привыкли действовать рассыпным строем и с организацией специальных соединений стали значительной ударной силой. 4-я стрелковая бригада впервые показала себя в боях за переправу, отлично действовала в составе Летучего отряда Гурко, но особую славу принесли ей дни Шипкинского семиднева. Именно тогда она получила от солдат прозвище «Железной», сначала неофициально, затем — в газетах и корреспонденциях, а позднее и в официальных документах. Это был первый и единственный случай в русской армии, когда воинская часть называлась не по месту первоначального формирования и даже не по имени шефа — как правило, члена царствующего дома,— а так, как назвал ее сам народ.

Дорожа каждой минутой, отпущенной корпусным командиром на отдых, Цвецинский все же провел своих стрелков через Габрово. До этого тихого, не тронутого войной городка тоже доползла паника: толпы измученных беженцев и ужасающие слухи о несметных полчищах османов, уже якобы окруживших и добивающих защитников перевала.

— Стрелки! — сказал Цвецинский, перед тем как отдать команду.— Мы — единственная русская сила, которую увидят сейчас жители города и беженцы из-за Балкан. Знаю, что устали вы непомерно и марш нам предстоит тяжелый, но подтянитесь, братцы. Пусть уверуют в нас, пусть успокоятся.

Стрелки, совершившие двухсуточный бросок по сорокаградусной жаре, молча выровняли ряды, застегнули мундиры, подтянули ремни, лихо надвинули кепи. Бригада

прошла через город, крепко печатая шаг разбитыми сапогами, в которых уже нестерпимо горели ноги. И, несмотря на ранний час, жители высыпали на улицы от мала до велика. Мужчины снимали шапки и кланялись в пояс, женщины плакали, поднимали детей, девушки бросали цветы под ноги стрелков. А когда колонна появилась на площади, где скопилось особенно много народа, седой священник с крестом в руке громко крикнул:

— Болгары, на колена!

Вся площадь опустилась на колени, и лишь священник остался стоять, торжественно осеняя крестом проходивших солдат. И стрелки прошли через эту площадь так, как не ходили ни на каком высочайшем смотру.

За городом Цвецинский выбрал запущенный сад, остановил бригаду и приказал всем спать.

— Подниму ровно через двести минут.

Солдаты и офицеры падали на землю, едва дойдя до тени. Торопливо сбросив сапоги, мгновенно засыпали, и скоро усталый храп повис над спящей бригадой. Цвецинский расположился в полуземлянке хозяина сада — старого болгарина, сын и дочь которого вторые сутки возили на Шипку воду и хлеб. Старик упрашивал генерала отдохнуть, обещая разбудить вовремя; Цвецинский немного поупрямился, но глаза слипались сами собой.

— Через час разбудишь,— сказал он, тут же рухнув на хозяйский топчан.

Его разбудил не старик, а незнакомый господин в легком чесучовом пиджаке.

— Пора вставать, генерал.

— Кто вы? — удивленно спросил Цвецинский, еще не придя в себя со сна.

— Корреспондент. Василий Иванович Немирович-Данченко. Получил разрешение корпусного командира Федора Федоровича Радецкого следовать с вами. Не возражаете? — не ожидая согласия, Василий Иванович улыбнулся и указал на низенькое оконце.— Ваши спят как в раю.

Стрелки по-прежнему храпели в саду, но теперь вокруг них было множество болгарских женщин. Они осторожно перетаскивали спящих в тень, когда до них добиралось солнце, отгоняли мух, смачивали губы водой; многие, сев на землю, положили на колени стриженые солдатские головы.

— Беженки,— со вздохом пояснил Немирович-Данченко.— Макгахан сказал мне, что Сулейман уничтожил в долине Тунджи не менее двадцати тысяч болгар. Башибузуки вырезают целые села поголовно, не щадя даже младенцев. Я сам видел девочку, которую не дорезал какой-то мерзавец.

— Сколько я спал? — озабоченно спросил Цвецинский.

— Почти два часа, генерал. Извините, но я посчитал, что вам это необходимо.

Через полчаса бригада выступила. Передохнувшие стрелки шли быстро, но дорога становилась все круче и круче, а солнце уже немилосердно жгло спины, высушивая пот; солдатские рубахи покрылись соляной коркой, панцирем сковав разгоряченные тела.

— Ваше благородие, дозвольте разуться. Ноги в кровь сбил, невмоготу.

Офицеры кивали: на слова не хватало сил. Уже добрая треть стрелков шагала босиком, оставляя кровавые следы на пыльной каменистой дороге. Цвецинского, ехавшего впереди, нагнал командир батальона подполковник Бужанов:

— В батальоне три случая солнечного удара, ваше превосходительство. Необходим короткий привал.

— Посмотрите вперед, полковник.

За поворотом резко выделялась в ослепительной синеве неба крутая вершина Святого Николая. Темные облака дыма скрывали ее подножие, и уже слышался тяжкий грохот орудий.

— Лучше потерять сто человек от солнечных ударов, чем опоздать на полчаса.— Цвецинский спрыгнул с седла.— Всем офицерам спешиться, на лошадей сажать слабосильных. Вперед, стрелки! Там, на перевале, гибнут наши товарищи, только мы можем помочь им.

Шоссе вздыбилось еще круче, раскаленный воздух дрожал перед глазами, жара достигала сорока градусов в тени. Но над стрелками не было тени, зато с каждым шагом яснее доносился грохот сражения. Все чаще падали терявшие сознание солдаты; их оттаскивали в тень и оставляли до подхода женщин: с кувшинами воды болгарки шли позади бригады.

Из-за отрога горы навстречу вылетел казак в изодранной нательной рубахе, без фуражки, с кое-как перебинтованной головой.

— Братцы, скорее! — хрипло кричал он, сдерживая коня.— Со всех сторон турка валит! Наших совсем мало осталось, поднатужьтесь, братцы!..

— Часа три продержитесь? — спросил Цвецинский.

— А куда ж деваться?

— Скачи. Скажи, что идем.

Казак огрел нагайкой коня, с дробным топотом скрылся за изгибом дороги. Стрелки из последних сил прибавили шаг. Вскоре их нагнал Радецкий на взмыленной лошади.

— Ползете?

Сдержанный, корректный Цвецинский дернулся как от удара. Но грубоватый генерал на сей раз не дал ему высказаться.

— Молодцы! — неожиданно весело продолжил он.— Суворов гордился бы вами, не то что я. Молодцы, сынки, русские вы ребята, а русские никогда в беде товарищей не оставят. Верю в вас, стрелки, наддай еще! Я шагом поеду, и чтоб никто от меня не отставал,— тут он свесился с седла и тихо добавил: — особливо вы, ваше спешенное превосходительство.

Несмотря на усталость, Цвецинский улыбнулся. Федор Федорович Радецкий, при всей грубости, умел запросто разговаривать с солдатами, искренне заботился о них, при необходимости был суров до жестокости, но не отличался остроумием. А тут — поддел, и это почему-то обрадовало Цвецинского.

7

После того как резервная рота брянцев неожиданной атакой уничтожила прорвавшихся у перешейка турок, наступило некоторое затишье. Обстрел продолжался, но со штурмами противник не спешил. Залегшие в аванпостах спешенные донцы слышали топот ног, далекие команды: турки заменяли потрепанные таборы свежими, готовясь к новым приступам.

Сюда, к этой уже изрядно поредевшей в сегодняшнем бою сотне, растерявшей всех офицеров, приполз раненый казак, встретивший стрелков на дороге. Казак доложил о встрече Столетову, а теперь добрался до командовавшего остатками сотни вахмистра.

— Идут стрелки, Фомич. Поспешают, но аж в задыхе. Часа три, а то и поболе держаться велят.

Худощавый немолодой вахмистр, вооруженный позаимствованной у турок винтовкой Снайдерса, почесал небритую щеку, подумал.

— Коней наших черкесня не перебила?

— Кони целы. Там же, в балочке.

— Бери коней, Лаврентий, и гони к стрелкам. Пусть хоть роту на конь посадят да сюда наметом.

— В гору наметом? — усомнился казак.— Коней погубим, Фомич.

— Коней тебе жалко, сукин ты сын, а дело не жалко? Сполняй, что велел!

В это время Беневоленский, едва не теряя сознание от

нечеловеческой усталости и боли в воспаленной, распухшей руке, сидел у домика, дожидаясь очереди на перевязку. Крышу домика разворотило снарядом, но изрешеченные пулями стены еще стояли: здесь размещался основной перевязочный пункт, старшим которого был врач болгарского ополчения доктор Коньков. Кроме него, здесь же и рядом, в палатках, без сна и отдыха работали другие врачи и фельдшеры, но к Конькову всегда была особо длинная очередь. Солдаты и офицеры уважали в нем не только опытного хирурга, но и бесстрашного человека, возглавившего под Эски-Загрой атаку роты, когда пал ее командир. Коньков делал преимущественно сложные операции, после которых раненых тут же укладывали до ночи, до прихода болгар, доставлявших их далее в Габрово. А легкораненые, получив помощь, упорно возвращались в свои ложементы.

— Куда тебе в строй? — сердился едва державшийся на ногах от бессменной трехсуточной работы врач.— Ты же стрелять не можешь, а штыком работать и подавно.

— Ну и что, что не могу? Я еще камень могу ему на голову свалить либо прикрыть кого. А уж «ура!», ваше благородие, лучше меня никто не крикнет, не сомлевайся!

В очереди к Конькову перемешались солдаты и офицеры: доктор раз и навсегда объявил, что раненые не имеют никаких преимуществ друг перед другом, и принимал только по порядку. С этим никто не спорил — на Шипке из всех офицерских привилегий свято соблюдались только две: стоять в ложементах и быть первыми в контратаках. Окровавленная очередь эта молчала: никто не позволял себе даже застонать, а уж если стонал, значит, был без сознания.

Доктор Коньков, небольшого роста, с некогда гусарскими, а теперь уныло обвисшими усами, серый от бессонницы и бесконечных операций, только свистнул, увидев руку Беневоленского.

— Будем резать, вольноопределяющийся.

— Значит...— Аверьян Леонидович не решился сказать «гангрена», а лишь горестно покачал головой.— Неужели нет надежды?

— Левая — не правая. Жить можно.

— Безусловно. А работать?

— В канцелярии устроитесь.

— Я медик, доктор,— тяжело вздохнул Беневоленский.

— Медик? — Коньков внимательно посмотрел на него красными, воспаленными глазами.— Тогда сами понимаете, что вас ждет, если я не сделаю ампутации. Да, да, она самая,— он сокрушенно вздохнул.— Наркоза у меня нет, коллега. Если угодно, дам стакан водки.

— Не надо,— тихо сказал Беневоленский.— Пилите.

— Я попробую разъять по суставу. Возьмите нашатырный спирт: будете терять сознание, нюхайте.

— Предпочитаю оказаться без сознания.

— У меня нет помощников, коллега, и я рассчитываю на вас,— устало и спокойно пояснил Коньков.— Я расположу инструменты возле вашей правой руки, будете подавать, что скажу. Поэтому нюхайте: вы мне нужны в сознании.

Коньков еще только готовился к операции, когда турки предприняли новую серию атак. На сей раз их цепи, встреченные залпами, не отступали, как обычно, а падали на землю, и тотчас же из-за деревьев выбегали новые толпы. И они не откатывались, остановленные русским огнем, и тоже падали, постепенно скапливаясь в непосредственной близости от ложементов. А из леса снова и снова шли в атаку свежие таборы, и все ревело от грохота, залпов, диких криков и неумолчного жужжания пуль.

Так было на правом фланге, у Липинского, но не легче было и у Толстого. Укрывшиеся под обрывом турки одновременно полезли на его позицию. Защитники встретили их огнем, но людей было мало, многие ложементы уже опустели. Капитан Нинов вместе с Леоном Крудовым стреляли и стреляли, но два ружья не могли остановить атакующих, уже выбравшихся на откос. Никитина атаковали тоже; дав два залпа, он поднял своих семнадцать в контратаку и ничем уже не мог помочь Нинову.

Спас турецкий снаряд, упавший в ложемент и почему-то невзорвавшийся. Турки были уже в десятке шагов, Нинов отчетливо видел их лица и стрелял из револьвера, когда Леон Крудов вдруг схватил этот шипящий, еще горячий снаряд и, подняв его над головой, побежал навстречу атакующим. И, добежав, с силой швырнул снаряд им под ноги. Взрыв смял турок, разбросал, остановил, и они сразу кинулись назад, посыпавшись под обрыв. А Крудов неторопливо вернулся в ложемент. Он был сильно оглушен, но получил лишь один осколок, разорвавший щеку: остальные достались туркам.

— Нескоро полезут,— сказал он, зажимая рану скомканной рубахой.

Нинов не ответил. Он лежал ничком на бруствере, вытянув руку с зажатым в ней револьвером. Крудов перевернул его: крови нигде не было, но старый капитан был уже мертв. Ополченец опустил его на дно ложемента, закрыл ему глаза и, разодрав рубаху на полосы, начал бинтовать разорванную осколком щеку.

— Я не уйду отсюда, капитан Нинов,— бормотал он.— Это наша земля.

Из укрытия, куда Берковский положил отряд Олексина, хорошо была видна неистовая турецкая атака. Удар наносился ближе к северу, и Гавриил до времени старался не обнаруживать себя. Он сразу понял маневр противника: накопить вблизи от ложементов возможно большее число уцелевших в атаках аскеров, а затем одним броском ворваться в ложементы, смять защитников и всей мощью навалиться на Центральную позицию, командный пункт обороны и дорогу на Габрово. Он знал, что так оно и будет, но при этом турки неминуемо подставят свой фланг его отряду, и поручик ждал этого мгновения, категорически запретив ополченцам не только стрелять по туркам, но и шевелиться. Он взвесил последний шанс и твердо был убежден, что внезапный удар во фланг сорвет и эту атаку. А турки, продолжая бешеный натиск, падали у самых ложементов и тут же заменяли упавших новыми цепями.

Во время этого небывалого по жестокости штурма два коновода гнали лошадей навстречу 4-й стрелковой бригаде. Оба были ранены — нераненые и даже легкораненые дрались в завалах, огнем сдерживая рвущихся к шоссе таборы Весселя-паши,— но боевая ярость этого дня была столь велика, что казаки не чувствовали боли. Оба понимали, что именно от них, рядовых донцов, зависит сейчас судьба всего Шипкинского сражения, и, вопреки врожденной, с молоком матери впитанной любви к лошадям, сегодня не жалели нагаек. На полном аллюре они вылетели из-за поворота на задыхающуюся, из последних сил поспешающую колонну, впереди которой ехал генерал Радецкий, сразу запрудив узкое шоссе разгоряченным скачкой табуном.

— Дорогу! — гневно закричал Радецкий.— Коней спасаете, мать вашу?.. Дорогу, сукины дети!

— Погоди, ваше превосходительство! — торопливо прокричал казак, нагайкой охолаживая сбившихся в кучу лошадей.— Мы — за вами. Сажай на конь по два! Сажай, чего время тянешь? Там турка на штурм попер, сил уже нету боле! Садись, ребята! По два на конь!

— Садись! — громко скомандовал Радецкий.— Молодцы, казаки, вразумили старика. Стрелки, живо на коней и — за казаками!

Двести стрелков шедшего в авангарде 16-го стрелкового батальона не очень умело рассаживались по двое на храпевших, взмыленных лошадей. Казаки забористой матерщиной успокаивали коней, помогая стрелкам устроиться поудобнее: то ли друг за другом, то ли по обе стороны седла, одной ногой упираясь в стремя и держась за луку.

— Готово? Ну, держись, стрелки!

Казаки еще выстраивали перегруженных коней, нещадно хлеща их нагайками, когда на поле сражения случилось то, что предвидел Олексин: вместе со свежей, выкатившейся из леса волной атакующих вскочили залегшие под ложементами аскеры. Дикий рев «алла!» заглушил залпы, турки одним рывком достигли ложементов, и началась рукопашная. А новые толпы в синих мундирах все выбегали и выбегали из-за деревьев.

— Поручик, пора! — не выдержав, крикнул Тодор Младенов.— Сейчас они сомнут...

— Лежать! — гаркнул поручик.— Застрелю, кто поднимется без команды!..

И застрелил бы: ему некогда было церемониться. Он напряженно наблюдал за схваткой в ложементах, ожидая, когда иссякнут силы защитников и турки ринутся к Центральной, подставив ему фланг. Видел, как на помощь бежали жалкие резервы Столетова во главе с полковником Липинским, как началась паника у перевязочного пункта, как командир Центральной батареи штабс-капитан Поликарпов вместе с прислугой на виду у турок, под пулями, яростно рубит проломы в брустверах, чтобы успеть выкатить из-за них пушки и открыть картечный огонь в упор. Видел и ждал, почти спокойно, сам удивляясь этому спокойствию.

То же спокойствие ощущал и доктор Коньков, неторопливо и тщательно ампутировавший по локоть руку Беневоленского. Аверьян Леонидович, с побелевшим сквозь грязь и загар лицом, сидел не шевелясь, изредка правой рукой отирая со лба крупные капли пота. От нестерпимой животной боли заходилось сердце, он старался дышать глубоко и ровно, но сделать это было трудно, потому что он никак не мог разжать судорожно сведенных челюстей.

— Надо все же почистить,— озабоченно приговаривал врач.— Это — дурное мясо. А вы молодцом, молодцом.

Беневоленский был оглушен болью и ничего не слышал, но Коньков слышал все. Слышал, как оборвалась вдруг залповая стрельба, как забегали, закричали люди, как совсем рядом, за стенами дома, взревело торжествующее «алла!». Он отчетливо представлял себе, что означают эти звуки: рукопашная шла в ложементах, и, если не произойдет чуда, турки вот-вот ворвутся сюда, на перевязочный пункт. Но он занимался делом, и руки его не дрожали.

— Коньков, турки прорвались!..— закричал с порога бородатый в окровавленном кожаном фартуке.— Бегите, Коньков, бегите!..

— Перестаньте орать, я занят,— ворчливо сказал Коньков.

Прокричав последние слова, бородатый сразу же убежал. Коньков мельком глянул на дверь, достал револьвер, взвел курок и положил револьвер на стол.

— Нюхайте спирт, нюхайте,— сказал он.— И не волнуйтесь, коллега, я успею застрелить вас, если турки пожалуют к нам. Дайте зажим. Не тот! Чему вас в университетах учили?..

...Туркам оставалось три десятка шагов до белого домика, но им не суждено было их пробежать. В ожесточенной рукопашной они сломили сопротивление брянцев, вырвались на простор, развернулись в сторону Центральной и тут же подставили свой фланг и тыл болгарам Олексина.

— Без «ура»,— сказал Гавриил, вскакивая.— За мной!

В шуме боя турки не расслышали топота за спиной, не успели оглянуться. Офицер, получивший олексинскую пулю в затылок, молча рухнул на землю, и штыки ополченцев вонзились в атакующих аскеров. Это не остановило рвущуюся к победе толпу: передние ряды продолжали атаку, но задние смешались: турки затолкались, теснясь и мешая друг другу развернуться лицом к противнику. Смятение их продолжалось недолго, но было полностью использовано дружинниками. Гавриил стрелял из обоих револьверов (третий был заткнут за ремень), но в толчее уже не мог выбирать только офицеров. Он старался следить за боем — пытаться управлять им было бессмысленно,— видел, что к ним со всех сторон бегут защитники, что от горы Святого Николая полковник Толстой спешит со всеми своими считанными резервами, что Поликарпов с артиллеристами выкатывают на руках пушку через проделанный в бруствере пролом. Но, кроме своих, через опустевшие ложементы валом валили турки, дикие крики «алла!» заглушали отчаянное «ура!», и дружинники Олексина дрались уже в плотном кольце врагов. Поручик расстрелял все патроны, рванул из-за пояса запасной кольт, и в этот момент его сбили с ног. Дюжий турок навалился сверху, телом прижав правую руку Олексина к животу, и, визжа и брызжа слюной, кромсал ножом. Гавриил вертел головой, спасая глаза, левой рукой ловил нож, бился, пытаясь сбросить аскера, а тот резал и резал, не разбирая: лицо, руки, плечи...

Это были самые критические мгновения обороны: проломив брешь, турки текли и текли в нее. Старый Кренке, сидя в столетовской землянке, где был оборудован командный пункт, заряжал винтовки и аккуратно ставил их к стене, готовясь отстреливаться до конца. Столетов послал Берковского с приказом покинуть ложементы и всем стягиваться к Центральной позиции. Сам же, не обращая внимания на

пули, стоял перед землянкой, следя за боем, за настороженно притихшим левым флангом и за дорогой вниз, в Габрово. Оттуда — Столетов знал это — шла помощь, но эта помощь могла прийти слишком поздно...

Кто первым заметил всадников на хрипящих, загнанных лошадях, спорят не только историки: в этом не могли разобраться и защитники Шипки. Сперва подумали даже, что это — черкесы, и кто-то крикнул: «Черкесы сзади!..», но паники не возникло: черкесы не ездили по двое. Стрелки 4-й бригады, получившей гордое прозвище «Железная» не только за последующие бои, но и за этот невероятный горный марш, ворвались на позиции, на скаку прыгая с запаленных коней и срывая с плеч винтовки. К ним бежал кто-то в полковничьем мундире, изодранном в лохмотья: это был Липинский.

— Братцы!..— задыхаясь, кричал он, и слезы текли по грязному, заросшему лицу.— С песней! Умоляю, с песней, братцы!..

Он не скомандовал: «В атаку!», стрелки сами знали, что им делать. Он просил о песне, и они поняли, зачем нужна эта песня. И гаркнули в двести пересохших глоток вместо привычного «ура!»:

Ах вы сени, мои сени,
Сени новые мои!
Сени новые, кленовые,
Узорчатые!..

Эта неожиданная песня с озорным посвистом не только вдохнула в защитников силы — она ошеломила турок. Двести измученных переходом солдат были каплей, которую без труда поглотил бы поток атакующих, но противник и представить не мог, что его контратакуют полторы роты, а не все подкрепления, подошедшие из Габрова. Стрелки стремительным натиском опрокинули ворвавшихся на позиции аскеров и вышвырнули за линию ложементов, где Поликарпов тут же накрыл их картечью.

Шипкинский перевал был спасен, но Олексин этого уже не видел. Он чувствовал, что его куда-то волокут, пытался разлепить залитые кровью глаза, не смог, с ужасом подумал, что это — плен, и потерял сознание.

Стрелки вместе с защитниками еще загоняли залпами турок за деревья, когда появились головные роты 4-й бригады. Радецкий, пришпорив коня, галопом выехал в центр позиции. Вокруг густо жужжали пули, но генерал, казалось, не замечал их. Оглядевшись и поняв, где скопился противник, крикнул:

— Атаковать горушку! Забейте им аллаха в глотки,

ребята, да так, чтоб они имена собственные позабыли! Вперед, стрелки!

Адъютант упрашивал хотя бы спешиться, чтоб не подвергать себя риску. Генерал пренебрежительно отмахнулся:

— Меня черкесская пуля на Кавказе миловала, а тут уж и подавно не осмелится.

Все же офицеры уговорили его. Федор Федорович слез с седла, по-стариковски потер ломившую поясницу. Навстречу спешил Столетов, но Радецкий не дал ему заговорить.

— Какой рапорт, когда сам все вижу.— Он обнял и троекратно расцеловал Столетова.— Спасибо тебе, Николай Григорьевич, ты не просто перевал спас, ты всю армию нашу спас. Сюда Драгомиров поспешает. Когда прибудет, отведешь молодцов своих болгарских в тыл. Хватит им, хорошо потрудились, на славу вечную.

Собравшись с силами, противник еще дважды начинал атаки, но стрелки не только встречали аскеров дружными залпами, но и сами переходили в контрброски, все дальше и дальше оттесняя врага. Все вокруг — лощины, ущелья, кустарники, седловина — было сплошь завалено трупами.

К вечеру атаки прекратились, и Радецкий в сопровождении адъютанта решил обойти позиции. Он начал с того места, где ворвались турки, шел медленно, не пропуская ни одного ложемента. И всюду видел оборванных, грязных, до последней крайности истомленных солдат, большинство из которых были ранены. Заросшие, едва держащиеся на ногах офицеры, в изодранных в клочья мундирах, вставали с рапортами, но генерал только махал рукой и говорил всем одно и то же:

— Спасибо. Спасибо. Спасибо.

Так он добрался до горы Святого Николая, где его встретил полковник граф Толстой; Радецкий едва узнал в исхудавшем, оборванном, покрытом копотью и грязью офицере некогда блестящего флигель-адъютанта. Расцеловав полковника, приказал ему отдыхать и направился дальше, вокруг вершины, через Орлиное гнездо и Малую батарею. И миновав эту батарею, остановился.

Перед пустым ложементом лежало семнадцать солдат Орловского полка, а весь скат вокруг был усеян турецкими трупами. Над солдатами, опираясь о саблю, стоял невероятно худой офицер в драном мундире, с покрытым засохшей кровью лицом. Увидев генерала, он выпрямился и тяжело шагнул навстречу, заметно хромая.

— Не буди солдат,— тихо предупредил Радецкий.— Пусть спят.

— Да, ваше превосходительство, спят,— тихо сказал офицер.— Спят вечным сном. Все семнадцать, вся моя команда.

Генерал снял фуражку, помолчал, склонив седую голову. Спросил дрогнувшим голосом:

— Фамилия?

— Подпоручик Орловского полка Никитин.

— От имени государя поздравляю тебя с Георгием...

— Простите, я ошибся с фамилией, ваше превосходительство,— твердо перебил Никитин.— Поздравьте с Георгием Ивана Самсонова, Фрола Пенькова, Игната Лещука, Лазаря Горного, Федота Сидорова, Спиридона Коваленко...

— Погоди,— Радецкий гулко проглотил комок, сказал адъютанту: — Записать всех. Диктуй, поручик.

— Я — подпоручик, ваше...

— Я сказал — «поручик» и не ошибся. Диктуй.

Никитин поименно перечислил адъютанту всех своих семнадцать солдат. Генерал молча стоял рядом. Когда Никитин закончил это скорбное перечисление, вздохнул:

— Сплаведливо поправил, поручик: Шипка — солдатская слава. Вершина солдатской славы! — он вдруг судорожно всхлипнул.— Ничего, то святые слезы, за них и генералам не стыдно,— шагнул к Никитину, обнял.— Идем в лазарет, сынок, перевязать тебя надобно. Идем, идем, не откажи старику проводить тебя...

Ночью генерал Драгомиров привел полки 14-й дивизии. На позицию доставили снаряды, патроны, продовольствие. Кризис обороны миновал. Столетов увел остатки Орловского полка и дружин болгарского ополчения в тыл. Четыре последующих дня турки еще огрызались, атаковали, обстреливали, но вскоре боевая инициатива окончательно перешла в руки русского командования.

Закончился знаменитый «Шипкинский семиднев», и началось не менее знаменитое «Шипкинское сидение». Продолжалось оно до середины зимы, в лютую стужу при ураганных ветрах,— и солдаты куда чаще гибли от холода, чем от турецких пуль. Но как бы тяжело это ни было, после отражения натиска Сулеймана-паши уже можно было с полным основанием утверждать, что «на Шипке все спокойно».

Глава девятая

1

Обывательскому обозу под начальствованием вольноопределяющегося вспомогательной службы Ивана Олексина на обратном пути из Габрова дали груз, против которго он сопротивлялся, как только мог. Грузом оказались

раненые пленные турки, уже достаточно окрепшие, чтобы перенести дальнюю дорогу. Среди этих турок, захваченных в Шипкинских боях, было два рослых негра, весело сверкавших зубами. Негров Иван видел впервые, из литературы знал, что они необычайно сильны, коварны и свирепы, и сразу потребовал конвой.

— Никаких конвоев раненым не положено,— сухо пояснил пожилой начальник военно-временного госпиталя.— Погонцы у вас здоровые, как-нибудь сами управятся. Если посадить по четверо на телегу...— начальник задумался.— Бричка свободная есть?

— К себе никого не посажу! — отрезал Иван.

— Тут не посадить, тут положить требуется. Офицер у нас умирает, крови много потерял. Русский геройский офицер...— начальник вздохнул.— Доктора считают, что ежели в дороге не помрет, то может, и вылечат: в тылу и медикаменты, и врачи поопытнее.

Офицер был весь опутан бинтами — виднелись только глубоко запавшие закрытые глаза да проваленный рот с серыми губами. Иван без промедления уступил ему бричку, получил пакет с офицерскими документами, дорожный потрепанный чемодан да поименный список пленных турок, коих был обязан по этому списку сдать. Он очень боялся, что пленные того и гляди разбегутся, а потому поручил артельщику офицера, решив, что лично будет наблюдать за опасным грузом.

Невероятно озабоченный свалившейся на него ответственностью, Иван, мельком глянув на офицера при погрузке, более к нему не подходил. Поминутно пересчитывая турок и ощупывая револьвер, он то брел рядом с медленно тащившимся обозом, то подсаживался на последнюю телегу, чтобы не спускать глаз с пленных. Он учредил ночные дежурства, но при этом сам почти не спал, чуть ли не через каждые полчаса вскакивая и заново пересчитывая мирно храпевших аскеров Сулеймана.

— Да куды они денутся? — ворчал Никита.— Спи ты, Иван Иваныч, ради Христа, не беспокой себя понапрасну.

Погонцы относились к пленным с дружелюбной снисходительностью. Получив на них довольствие, варили общий обед и ели вместе, растолковывая глупым, с их точки зрения, туркам, что к чему, и нимало не смущаясь, что те их не понимают. А звероподобного верзилу с забинтованными кистями Никита кормил сам, старательно, как маленькому, заправляя ложку в заросший черным волосом рот. И приговаривал:

— Ешь, басурман, кушай. Кулеш называется. Поди, не

хлебал такого-то? Во-от. Жуй, не спеши, еще дам. Рожа ты басурманская, и креста на тебе нет, а все едино — человек, Божья душа. И зачем люди друг дружку калечат?

Андрон Кондратьев участия в этих обедах не принимал. Наскоро похлебав, бежал к офицеру, с головой накрытому от дождя и ветра. И всю дорогу шел пешком, чтобы не тревожить тяжко страдающего человека.

Медленно тянулся обоз по разбитым дорогам...

На разболтанной бричке трясло и бросало немилосердно. Каждый толчок отдавался в загнивающих ранах затяжной, до костей проникающей болью, и Гавриил старался не выходить из того забытья, что более походило на обморок. Он впал в это состояние еще в Габрове, в госпитале; не говорил, не шевелился, даже не открывал глаз, но все слышал.

— Н-да, безнадежен.

— Но ведь раны поверхностные, Орест Петрович.

— А сколько их, считали? И сколько он крови потерял, пока его на руках да на волах болгары к нам доставили?

— Раны зятянулись.

— Гноем они затянулись, гноем, коллега. Коли почистить, опять кровотечение начнется, и тогда уже все. Отправляйте в тыл.

— На обывательских? Растрясет, Орест Петрович.

— Здесь он все равно помрет, а так — все же шанс. Выговорите отдельную бричку, сена побольше, авось, дотянет. И накройте с головой: дожди зачастили. В России тоже, поди, дожди сейчас...

Он ясно слышал и дословно помнил этот разговор, но не испытывал страха не потому, что жизнь была ему безразлична, а по опыту, который хранила не только память, но и тело — неподвластная впечатлениям плоть. В Сербии, в плену, было похуже — и плоть знала, что похуже,— а он выкарабкался, уцелел; рана затянулась сама собой, и даже турки не смогли забить его до смерти. Жизнь — не жизнь вообще, а жизнь, вложенная в него, ЕГО жизнь — оказалась сильнее обстоятельств, сильнее смерти, сильнее его самого. И он поверил в нее, в СВОЮ жизнь, и сейчас, приговоренный врачами к почти неминуемой гибели, знал одно: надо ждать. Ждать в этом полузабытьи, терпеливо снося все боли и ни на мгновение не позволяя себе усомниться в могуществе собственной жизни. И трясясь на ухабах и колдобинах, старался уйти в воспоминания, в прошлое, ставшее небытием, а потому и защищающее его сейчас от страданий.

Чаще всего вспоминалась Сербия, но не плен, а путь на передовую, знакомство с Отвиновским, таинственные французы и не менее таинственный Истомин. Яблоня на ничей-

ной земле, домашний разговор врагов и появление молодого офицера, неожиданно, по капризу, спасшего его от расстрела. Далее шел Карагеоргиев, мучительно долго умиравший, и отрубленная голова Совримовича, но эти воспоминания он гнал от себя. И с удовольствием подолгу вспоминал капитана Брянова и рыжего увальня Тюрберта, победившего в конце концов в их странной дуэли. Брянов — Тюрберт — Совримович — Отвиновский: он предпочитал неторопливо исследовать этот четырехугольник из давно погибших, но для него вечно живых друзей. Он был еще жив, он как бы выпал из этого четырехугольника и потому мог разглядывать его со стороны, уже никого не осуждая, ни с кем не споря и не примыкая ни к одной из его сторон. «А может быть, это не четыре угла, а три? — иногда думалось ему.— Может быть, Отвиновский жив?..» Но он не верил, что Отвиновский мог остаться в живых: он хорошо знал, что ожидало в России польских повстанцев. И удивлялся, как мог такой холодный, спокойный и опытный воин, как Збигнев, довериться русским властям...

— Живой еще, ваше благородие? Хочешь водички испить?

Хриплый, простуженный мужицкий голос Гавриил выделял из всех остальных шумов: он принадлежал хозяину брички. Олексин почти не видел его — что-то бородатое, бесцветное,— но голос помнил. Воду пил жадно и часто, а от еды отказывался, и жалостливый мужик всеми правдами и неправдами добывал для него молоко.

— Пей, ваше благородие, силы тебе поддержать надо. Испей молочка, Богом прошу.

— Пьет, Кондратьич?

— Пьет помаленьку, слава-те Господи! Может, поговоришь с ним, Иван Иваныч?

— Стоит ли беспокоить? Накрой поплотнее его, опять дождь начинается.

Второй голос — юный, еще ломающийся — Гавриил различал тоже, но не прислушивался к нему. Иванов Ивановичей было на свете много, а сил — мало, и он тратил их очень экономно, как патроны в дни шипкинских августовских боев.

Все же он не удержал сознания на той зыбкой грани между обмороком и забытьем. Последние дни уже не только не пил, но и не ощущал ничего, даже боли. Очнулся внезапно, увидел над собою звезды и чье-то белое, расплывавшееся лицо.

— Очнулся, кажется? — спросил женский голос.— Вы слышите меня?

— Не довезли,— вздохнул где-то поодаль юноша.

— Не говорите чепухи, он жив. Дайте его документы и отнесите вещи офицера каптенармусу: я оставляю раненого здесь.

— Простите, мадемуазель, мне приказано...

— Ступайте, дорога каждая минута. У нас проездом хороший доктор. Господа, несите раненого в офицерскую палатку.

— Барышня,— торопливо заговорил мужицкий простуженный басок.— Барышня, куру я раздобыл.

— Какую куру?

— Уваристую, с жирком. Сваришь, стало быть, его благородию, силенки ему нужны.

— Помилуйте, у меня и денег-то нет.

— Эх, нехорошо сказала, барышня, нехорошо! Он за Россию кровь пролил, а я с тебя деньги спрошу, так думала? Ох, нехорошо!

— Простите. Благодарю вас. Осторожнее берите, господа!

Как только Гавриила подняли и положили на носилки, он опять потерял сознание. Его куда-то несли, сестра милосердия шла рядом, держа в руке крупную ощипанную курицу. В большой палатке откинулся полог, на миг блеснул свет, и они остановились: навстречу шел Иван.

— Сдали вещи офицера?

— Отдал. А вы в палатках размещаетесь?

— Они английские, двойные, не протекают. Вы у нас заночуете?

— Нет, что вы, я турок сопровождаю. Благодарю вас и позвольте откланяться.

— Всего доброго. Счастливого пути.

И братья расстались, так и не узнав никогда, что четверо суток провели рядом. Иван не стремился видеть раненого, пакет с документами не раскрывал, и пути их, случайно встретившись, более никогда уже не пересеклись.

Гавриил долго балансировал на грани жизни и смерти, то приходя в себя, то проваливаясь в небытие. Он был безразличен ко всему происходящему не по равнодушию к жизни, по равнодушию к смерти, без единого стона снося мучительные перевязки. Старший врач сам делал Олексину ежедневную очистку ран, непременно навещал вечерами, но день ото дня мрачнел все более.

— Гангрена меня не беспокоит,— говорил он за чаем патронессе госпиталя Александре Андреевне Левашевой.— Но раны упорно не заживают, и рожистое воспаление я исключить не могу.

— Николай Васильевич, я умоляю сделать все возмож-

ное. Это — Гавриил Иванович Олексин, которого все считали погибшим в Сербии.

— Попробуем,— вздыхал доктор.— Все попробуем, что в силах.

Был еще один человек, который знал, кто этот израненный, умирающий офицер. Когда сестра вскрыла пакет, все вдруг поплыло перед ее глазами. Она знала раненого, знала едва ли не каждый день, проведенный им в Сербии, но была убеждена, что его нет в живых, как нет в живых и ее брата. Перед нею в беспамятстве лежал тот, о ком с такой необычной теплотой говорил всегда сдержанный, холодноватый Збигнев Отвиновский. Через погибшего Андрея, через шагнувшего в страшную, опутанную жандармами темноту Отвиновского шла прямая ниточка к Гавриилу Олексину. Ниточка, сроднившая обеспамятевшего поручика с сестрой милосердия Ольгой Совримович.

И Оля уже не отходила от умирающего. С разрешения Левашевой переселилась на соседнюю койку, ела на ходу, спала урывками, отвоевывая у смерти мгновения и радуясь этим маленьким победам. Александра Андреевна часто навещала Гавриила. Помогала чем могла: строгим наказом персоналу, постоянно ставя в пример самоотверженность сестры Совримович, диетой, настойчивыми напоминаниями старшему врачу о ее особом отношении к тяжелораненому поручику. Врач разводил руками, не верил в чудеса, и все же Олексин медленно шел на поправку. Жар спадал, воспаление уменьшалось, налаживался сон, хотя Гавриил попрежнему смотрел отсутствующими глазами, не желая ни разговаривать, ни даже замечать кого бы то ни было. Но силы накапливались, и, когда он впервые попросил есть, Оля обрадовалась до слез. Но радость была недолгой.

Оля давно ощущала отсутствие аппетита, тошноту, внезапные приливы, но, зная причину, сама справлялась с этим, и никому и в голову не приходило что-либо заподозрить. Но однажды не справилась; очнулась уже в кровати, увидела над собой строгое, с поджатыми губами лицо старшей сестры и невольно начала краснеть.

— Извините, Наталья Павловна, кажется, я...

— Кажется, вы ждете ребенка,— сказала сестра.— Я давно замечала странности, однако не могла и в мыслях допустить, что девица из приличной семьи способна на этакую...— она поискала слово,— новомодную вольность.

— И вы доложите об этой вольности госпоже Левашевой?

Наталья Павловна молчала, строго шевеля сухими губами. Она давно замкнулась в своем девичестве, но до сей поры никому ничем не досаждала.

— Это все не укладывается в мои понятия, Совримович,— наконец сказала она.— Кроме того, наша работа не для женщины, ожидающей ребенка. Подумайте о нем.

Старшая сестра ушла, и Оля уже не могла не думать. Тогда, после ослепительных, полных высшего счастья трех дней, Отвиновский ушел, канув в безлунную ночь, как в лету, с единственным документом — метрической выпиской Андрея Совримовича на руках. Надо было как-то жить, кругом смотрели косо; Оля отправила Тарасовну в деревню к родственникам, за бесценок продала местному корчмарю дом и поступила на курсы сестер милосердия. Там не интересовались ни гостем, ни жандармами и платили жалование. Теперь она лишалась этого жалования. Предстояло куда-то ехать, искать угол, заработок, покой; предстояло родить, выкормить и воспитать ребенка, а средств не было. И Оле очень хотелось плакать. А через сутки ее навестила сама патронесса добровольческих госпитальных отрядов.

— Как вы себя чувствуете? — тон Левашевой был вежлив, но Оля сразу почувствовала отстраняющую холодность.

— Благодарю, я совершенно здорова.

— В таком случае полагаю, что вы способны перенести дорогу.— Левашева достала конверт и положила его на стол.— Здесь сто пятьдесят рублей, в два раза больше, чем вам причитается. Завтра коляска доставит вас к переправе.

— Вы прогоняете меня, Александра Андреевна?

— Я не нуждаюсь в услугах особ безнравственных. Это дурно влияет на персонал и порочит честь нашей патриотической общины.

— Вы в полном праве презирать меня, госпожа Левашева,— Олю трясло, но она старалась говорить очень спокойно.— Но я вправе считать, что у моего будущего ребенка есть законный отец, потому что мы любим друг друга. Впрочем, не стоит обсуждать этот предмет. Завтра я уеду.

Коляску подали рано, и Оле не удалось попрощаться с Гавриилом: поручик крепко спал. Оля с удовольствием отметила его спокойное дыхание, порозовевшее лицо, с которого уже были сняты бинты; подживающие раны.

— Благослови вас Бог,— тихо сказала она.

Выйдя из палатки, Оля села в коляску, где уже лежали ее скромные пожитки. Дул холодный ветер, она куталась в форменное пальто и старалась думать о Гаврииле, который скоро поправится и когда-нибудь непременно встретится с Отвиновским. Она была разумна, не очень-то верила в чудеса, но ведь чудо однажды случилось в ее жизни...

2

Вокруг грозных плевненских укреплений медленно и неотвратимо стягивалось кольцо блокады. Руководивший ею генерал Тотлебен был нетороплив, настойчив и дальновиден: он лишь немного перетасовал поступившие в его распоряжение войска и отдал приказ перейти к активной обороне. Войска закапывались в землю, строили позиции для артиллерии, улучшали дороги и — ждали. Ждали, когда Осман-паша либо выйдет из города, либо сдастся на милость, поскольку не сможет прокормить свой гарнизон: основной путь его снабжения — Софийское шоссе — уже трещал по всем швам под ударами собранных в единый кулак русских кавалерийских частей.

16-я пехотная дивизия, командиром которой после третьего Плевненского дела был назначен Михаил Дмитриевич Скобелев, получила самостоятельный участок. Скобелевцы лихорадочно днем и ночью строили утепленные землянки: осень 1877 года, как на грех, выдалась в Болгарии ранней, холодной и дождливой. Прозорливое интендантство, вычеркнувшее из списков поставок зимнее обмундирование, пыталось наверстать упущенное, но бюрократическая машина раскручивалась с обычным российским скрипом, а солдаты и офицеры тем временем мокли под проливным дождем и стыли на пронизывающем ветру. Учитывая это, Скобелев до минимума сократил посты и увеличил смены, и в его дивизии, по крайней мере, не было той волны простуд и болезней, которая катилась по разутой и раздетой армии Тотлебена.

— Сапоги разваливаются,— доложил Куропаткин вскоре после перехода в землянки.— Сапожники уж и руки опустили, пришивать не к чему.

— Лапти плести,— не задумываясь, сказал Скобелев.

— Лапти, Михаил Дмитриевич, из лыка плетут.

— Из лыка, говоришь? Собери мне мастеров, сам с ними потолкую.

На другой день мастера — в большинстве пожилые, степенные — собрались в просторной землянке, предназначенной для офицерских и штабных занятий.

— Здорово, мастера! — сказал Скобелев, войдя в землянку и водрузив на стол разбитый донельзя солдатский сапог.— Вот задача: обуть эту развалюху в лапти, а лыка нет. Как быть, решайте сами, через полчаса зайду.

— А чего ж тут решать? — удивились мастера.— Эка важность, что лыка нет. Мы из соломы сплетем не хуже лыковых.

Через неделю дежурные месили окопную грязь в соломенных лаптях, надетых поверх сапог. Но Скобелеву этого было мало. Тщательно обследовав расположение, поговорив с офицерами и потолковав с солдатами, 13 октября он написал приказ:

«...Лагерь наш слишком скучный. Желательно было бы, чтобы чаще горели костры, пели бы песни; назначать по очереди перед вечернею зарею в центре позиции играть хору музыки. Разрешается петь и поздно вечером. Во всех ротах обратить серьезное внимание на образование хороших песельников; поход без песни — грусть-тоска!»

Однако как Скобелев ни старался вникнуть в нужды вверенной ему дивизии, как ни писал свои по-суворовски озорные приказы, все равно что-то оставалось в тени, недоступное его хозяйскому глазу. Он любил нагрянуть внезапно, но эта вошедшая в поговорку скобелевская внезапность удавалась далеко не всегда: генерал был на виду. Никогда не прибегая к рукоприкладству, Михаил Дмитриевич знал, что эта мерзкая привычка продолжает еще существовать, но по детской простоте был свято убежден, что уж где-где, а в его войсках этого просто не может быть. И открыть ему глаза суждено было Георгиевскому кавалеру, его личному ординарцу Федору Олексину.

Увидев войну в ее наиболее страшном, кровавом обличье, Федор не только не разочаровался, а, напротив, воспринял ее как должное, как то, к чему стремился и чего хотел. Он уверовал в свою волю, нашел товарищей, с которыми ему было легко и просто, в известной степени вернулся к себе самому — открытому и приветливому,— но вернулся уже на новой ступени, не просто возмужав, а и повзрослев, окрепнув не только телом, но и душой.

Но война изменилась, изменились и обязанности ординарца. Теперь Федор уже не скакал с боевыми приказами, загоняя лошадей, не разводил частей по позициям и не передавал устных распоряжений. Теперь он добывал портяночное полотно и нательные рубахи, вымаливал внеочередные сапоги и шинели. Война обернулась кругом, показав Олексину свой целехонький, жирный, неприглядный зад: взяточничество интендантов, пьянство тыловиков, картежные игры с тысячными банками поставщиков-посредников. И все они горестно вздыхали, повторяли громкие фразы о долге и патриотизме, клялись в отсутствии того, что он просил, выразительно шевеля при этом цепкими пальцами. Федор доказывал, умолял, ругался и грозил, выходя из себя, но прибывал не исполнив приказ куда чаще, чем с рапортом об исполнении. Вот теперь он понял, что такое ненависть, ибо ненависть эта, обретя плоть и должность, стала вполне конкретной.

— Не расстраивайтесь, Олексин,— улыбался Куропаткин.— Выбить у нашего интендантства лишнюю пару сапог куда труднее, чем выиграть сражение.

Такие утешения не помогали; после очередного отказа Федор приезжал угнетенным и до крайности раздражительным. Этому способствовала и погода: без устали моросившие дожди и ветер пронизывали насквозь, мокрая одежда противно липла к телу, а в сапогах вечно хлюпала вода. Поэтому теперь Федор чаще ездил в пролетке с поднятым верхом, но оставлять ее приходилось в тылу, а до позиции пешком месить грязь.

Он возвращался под вечер после одной из таких пустых поездок: улыбчивые снабженцы, многозначительно пошевеливая пальцами, отказали в просьбе выделить дивизии трофейные одеяла для лазаретов. Топал по грязи, не разбирая дороги, с ненавистью вспоминая холеные лица и блудливые глаза, и в упор столкнулся с незнакомым поручиком, наотмашь хлеставшим по щекам низкорослого солдата в грязной, насквозь промокшей шинели. Солдатик стоял навытяжку, дергая головой от каждого удара, и молчал.

— Вот тебе, скотина, вот!..

— Прекратить! — Олексин рванул офицера за плечо.— Как смеете?

— Вы это мне, сударь? — со зловещим удивлением спросил поручик.

— Иди,— сказал Федор солдату.

Но солдат не двинулся с места: приказание господина в длинном пальто и шляпе с мокрыми обвислыми полями его не касалось. Он лишь посмотрел на Олексина тоскливыми, покорными глазами и вновь преданно уставился на офицера.

— Ступай,— сквозь зубы проронил поручик.— Я с тобой потом потолкую.— Дождался, когда солдат уйдет, натянуто улыбнулся.— Вы что-то хотели сказать?

— Я хотел сказать, что вы — мерзавец, поручик. А поскольку мерзавцы мерзости своей не понимают, то восчувствуйте ее.

И с силой ударил поручика по щеке. Офицер дернулся, рука его метнулась к кобуре; возможно, он бы и пустил в ход оружие, но неподалеку показалась группа солдат, которую вел унтер на окопное дежурство.

— Я пристрелю вас, господин ординарец. Рано или поздно...

— Зачем же поздно? Завтра в семь утра я буду ждать вас в низине за обозным парком.— Федор коротко кивнул и, не оглядываясь, зашагал к штабу: доложить об очередной неудаче.

Вечером он попросил Млынова быть его секундантом. Адъютант потребовал подробностей, молча выслушал все и спросил:

— Прискучило служить, Олексин?

— Полагаете, что он непременно убьет меня?

— Полагаю, что Скобелев вышвырнет вас из дивизии при любом исходе.

— А вы не говорите ему. Идет война, и никто не застрахован от турецкой пули.

— Это — мысль,— усмехнулся Млынов.— Тогда идите-ка спать.

Отправив Федора, Млынов тут же разыскал Михаила Дмитриевича, которому и доложил о предстоящей дуэли. Поступил он так не потому, что беспокоился за Олексина, и даже не столько по долгу службы, сколько из неприятия самой дуэли как средства улаживания ссор. Ему, отнюдь не дворянину, а всего лишь сыну обер-офицера, глубоко претило дворянское спесивое кокетство с собственной жизнью.

— Арестовать, провести дознание,— хмуро сказал Скобелев.— А Олексина — вон. Хотя и жаль.

— Олексин не виноват, Михаил Дмитриевич,— зная генеральскую вспыльчивость, Млынов говорил осторожно.— Уверен, если бы на ваших глазах били человека, который не может защищаться, вы бы тоже не удержались от пощечины. Вы знаете мое отношение к дуэлям, но в данном случае Олексин прав.

— Да? — Скобелев недовольно посопел, размышляя. Потом вдруг улыбнулся.— В семь часов у них рандеву? Ну что же, все должно быть по правилам.

Со временем Олексин ошибся: в семь утра в низине было еще темным-темно. Однако они с Млыновым приехали точно, а вскоре пожаловала и противная сторона: оскорбленный поручик Сампсоньев и его секундант, крайне недовольный всем происходящим.

— Господа,— сказал он, представившись.— Я прошу вас не по кодексу дуэли, а исходя из более высоких принципов немедленно примириться. Дуэль во время войны да еще в расположении дивизии чревата...

— Нет! — резко перебил Федор.

— Примирения не будет,— сказал Млынов.— Извольте, господин секундант, пройти со мной и определить места.

Федор вспомнил о Владимире, но это не вывело его из того спокойствия, в котором он пребывал. Оно даже пугало его, это спокойствие, ибо разумом-то он понимал, что поручик стреляет лучше.

«Уж не к смерти ли этот покой?» — подумал он, но и

подумал-то между прочим, вскользь, по-прежнему не ощущая никакого волнения.

Вернулись секунданты. Олексину выпал второй номер, и он, взяв у Млынова револьвер, пошел на позицию, чавкая сапогами по болотной топи.

— Готовы? — спросил секундант.

— Готов,— отозвался Олексин.

— По команде начнете сходиться. После первых трех шагов имеете право стрелять.

— Простите, первый выстрел за мной,— сказал поручик.— Я — оскорбленное лицо.

— Нет уж, это вы простите,— ворчливо сказали из редеющего тумана: к дуэлянтам подходил Скобелев.— Оскорбили вы, поручик. Оскорбили дивизию, в которой по недоразумению числитесь, оскорбили мундир, офицерскую честь, боевого товарища. Вот сколько оскорблений, и вам лишь ответили на них, съездив по физиономии. А так как прежде всего оскорблена моя дивизия, то стреляться вы будете со мной, ее командиром.

— Ваше превосходительство,— пролепетал поручик,— я...

— Не трусьте,— презрительно сказал Скобелев.— Я не претендую на первый выстрел. Олексин, где вы там? Идите сюда, а я пошел на ваше место. Кто должен подать команду, господа?

— Я,— машинально сказал секундант поручика.— Но это невозможно, ваше превосходительство.

— Отчего же невозможно? — усмехнулся Скобелев.— Подстрелить штатского возможно, а подстрелить генерала — уже невозможно? Эполеты мешают? Так не беспокойтесь, я — в сюртуке. Без эполет и даже без Георгия на шее. Млынов, прими пальто,— он сбросил форменное пальто на руки невозмутимому адъютанту.— Надеюсь, вы не подсунули Олексину незаряженный револьвер?

— Я проверил, ваше превосходительство,— спокойно подтвердил Млынов.

Подошел Федор. Сказал недовольно:

— Простите, Михаил Дмитриевич, но вы поставили меня в ложное положение.

— Бог простит,— отрезал Скобелев. Он взял у Олексина револьвер, взвел курок.— Жду сигнала.

— Ваше превосходительство! — отчаянно закричал поручик.— Я не могу, ваше превосходительство!.. Не могу, не смею...

— В воздух выстрелить не смеете? — насмешливо спросил Млынов.

— Я так и думал, что вы — трус,— сказал, помолчав,

генерал.— Слышите вы, бретер? Я при свидетелях называю вас трусом, недостойным носить офицерский мундир — хотя бы возмутитесь, ответьте оскорблением, пригласите к барьеру. Ну?

— Я... Я не могу,— пролепетал поручик, опустив голову.— Поднять руку на вас...

— А на солдата можно? — вдруг бешено выкрикнул Скобелев.— Можно, я вас спрашиваю? — он неожиданно вскинул револьвер, не целясь, выстрелил, и с головы поручика слетела фуражка.— Пуля в лоб тебя ожидала, мерзавец, и ее-то ты и испугался,— он бросил револьвер секунданту.— Суд чести, Млынов, по обвинению в трусости. Возьми у него саблю.

Повернулся, пошел. Млынов торопливо сунул генеральское пальто Олексину, кивком послав его следом. Федор нагнал Скобелева, на ходу набросил пальто на плечи.

— Наденьте, Михаил Дмитриевич, сыро. И позвольте заметить, что вы скомпрометировали меня, и мне остается лишь покинуть вашу дивизию.

— Ну и правильно,— проворчал Скобелев.— Шляются тут всякие господа в шляпах, бьют офицеров по мордасам, разве это порядок? — Он неожиданно остановился, потыкал пальцем в грудь Олексина: — Приказываю немедля подать прошение о допущении тебя к экзаменам на офицерский чин. И сегодня же представить мне.

Круто повернулся и быстро пошел вперед, не обращая более внимания на растерявшегося ординарца.

3

Суд чести предложил поручику Сампсоньеву немедленно покинуть полк. Не довольствуясь этим, Скобелев приказал собрать выборных нижних чинов и лично выступил перед ними.

Он говорил о славе русского оружия, о солдатской доблести и отваге, приводя примеры не только из истории, но и из личного опыта. Напомнил слова Петра Великого, что солдат есть наивысшее звание, которое с гордостью и достоинством должен носить как наипервейший генерал, так и последний рядовой. Выборные сидели молча, слушали внимательно, но их сосредоточенные, замкнутые лица не выражали ровно ничего. Скобелев ощутил это дисциплинированное, показное внимание, усмехнулся невесело, помолчал и сказал просто и негромко:

— Барам не доверяете? Мол, болтают, ну и пусть себе

болтают? Ну, так я — не барин, я — генерал, то есть такой же солдат, как и вы. А дед мой был крепостным, на царской рекрутчине двадцать пять лет отломал и дослужился до офицерского чина за геройство при Бородине. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана...» — слыхали, поди? Так вот, любой из вас может стать офицером, по крайней мере, в моей дивизии. Может, если будет примерным солдатом, верным долгу и боевому товариществу. О чем и прошу рассказать тем, кто выбрал вас на этот совет.

Хотя последняя генеральская тирада и вызвала некоторое оживление, Скобелев проведенным совещанием был недоволен. Интуитивно он чувствовал, что между ним и солдатами существует что-то недоговоренное, какая-то стена, мешающая искреннему товарищескому общению. Он попытался понять причины этого недоверия: посещал солдатские землянки, заводил беседы, и везде встречал ее, непонятно отчего возникшую стену. Это было необычно и непривычно для него: он всегда находил с солдатами общий язык, разговаривая с ними так, как разговаривал со всеми — искренне, убежденно и горячо. Такое общение всегда вызывало дружный отклик аудитории, внушало ему веру в особую преданность и особую «скобелевскую» стойкость его солдат. А сейчас что-то вдруг нарушилось, привычной искренности не возникало, солдаты либо отмалчивались, либо отвечали тупо и кратко, по-уставному: «так точно» да «никак нет».

— Перестарались ваши ретивые фельдфебели, господа,— сказал он офицерам, собранным через неделю.— Делают из наших боевых товарищей олухов царя небесного. Замордовали солдата, затуркали его. Поэтому прошу особо похлопотать о том, чтобы люди в ответах не были деревянными и чтоб задолбленными словами впредь не отвечали. Пусть лучше говорят бессвязно, да свое, да чтобы видно было понимание, чем будут хорошие слова болтать как попугаи. Взаимопонимание наше с солдатами утрачено, и иной причины, кроме как фельдфебельского усердия не по разуму, не вижу. Дружбы нет в окопной жизни нашей, а коли нет сейчас, так и в бою не будет.

Он не видел иной причины, кроме муштры, угнетавшей и унижавшей солдат. Это было просто, понятно и объяснимо, и неизвестно как бы повернулась дальнейшая история 16-й дивизии, если бы в землянку не вошел Куропаткин с солдатским котелком.

— Вот из чего пекут солдатам хлеб, ваше превосходительство,— сказал он, поставив котелок перед Скобелевым.

В серой, издававшей гнилостный запах муке ползали жирные белые черви. Скобелев долго молча разглядывал ее, держа котелок обеими руками.

— Так,— сказал он наконец.— Вот почему они нам не верят. Красивые слова болтаем, а жрать то даем, от чего и свинья отвернется. Извольте ознакомиться, господа командиры,— он повернулся к Млынову.— Олексина сюда.

Млынов поспешно вышел. Скобелев угрюмо молчал. пока офицеры передавали друг другу котелок. Слушал возмущенные реплики, хмурясь все более. А когда Млынов вернулся с Федором, сказал отрывисто:

— Олексин, выяснишь, кто поставил это дерьмо и... Словом, забирай котелок и без свежей муки не являйся.

— Слушаюсь, Михаил Дмитриевич.— Федор взял котелок и тут же вышел.

Скобелев молчал, сосредоточенно размышляя. Землянка осторожно гудела, ожидая, что скажет генерал.

— Позор,— вздохнул Скобелев.— Позор всей дивизии и, прежде всего, позор нам, господа. Виновные в приемке этой тухлятины понесут наказание, но этого мало. Надо кормить солдат доброкачественно, а Олексин когда еще доставит обоз. Значит...— он вдруг улыбнулся.— Вчера казначей выдавал жалование, все получили? — Он достал из внутреннего кармана пачку ассигнаций, бросил на стол.— Выкладывайте. Если кто успел проиграть за ночь, пусть платит выигравший. Это наша вина, а следовательно, и наш долг, господа. Алексей Николаевич, собери деньги и частным порядком через маркитантов достань муку. Чтобы в ужин солдаты ели пышки.

И развернувшись на каблуках, быстро вышел из землянки.

4

На похороны жены Роман Трифонович опоздал. Отстоял панихиду, завершил дела по наследству и, не задерживаясь, тотчас же отбыл в Бухарест. В этой поспешности было нечто неприличное, и Варя, втайне радуясь, корректно отчитала его. Хомяков слушал, как провинившийся мальчишка: вздыхал, опустив голову, и Варя таяла от нежности. Она понимала, что спешил он из-за нее, а не из-за дел, но как раз потому, что оба они отныне были свободны, что все меж ними было согласовано, что взаимные признания уже прозвучали, Варя хотела неукоснительного исполнения освященных традициями сроков. Неопределенность ее

положения кончилась, а с нею кончились и компромиссы, на которые она сознательно шла. Хомяков понял это.

— Не надо гневаться, Варенька,— сказал он с виноватой улыбкой.— Завернул, чтоб на тебя глянуть, и сразу же далее. Сегодня же вечером.

Он и вправду выехал в тот же вечер, хотя поначалу намеревался задержаться. Однако Роман Трифонович обладал достаточной природной деликатностью, чтобы почувствовать все неудобство такой поспешности. Ехал всю ночь, с удивлением обнаруживая, что впервые не обдумывает планов предстоящей деятельности, а мечтает о дальнейшей жизни. И улыбался, не подозревая, какие испытания ждут его в конце этого ночного путешествия.

Под утро он прибыл в болгарский городишко, где размещались его склады и главная контора. С кряканьем и оханьем окатившись холодной водой, оделся, приказал подать завтрак и, прихлебывая кофе, просматривал документы и отчеты, скопившиеся в его отсутствие. Гартинг жил здесь же, через два дома, но Роман Трифонович хотел знать дело из бумаг, а уж потом — со слов того, кто замещал его во время двухнедельного отсутствия. Он не успел просмотреть документов, как лакей доложил, что личный порученец генерала Скобелева просит немедленно принять его.

— Проси!

Роман Трифонович встал и пошел навстречу, к дверям, радостно улыбаясь, поскольку хорошо знал этого порученца. И распахнул руки для объятий, но Федор лишь холодно кивнул головой.

— Завтракаете? Вот вам пирожок к кофе.

И поставил на стол котелок. Хомяков с удивлением посмотрел на забрызганного грязью усталого и непримиримо колючего гостя, на солдатский котелок и спросил с удивлением:

— Что сие, Федор Иванович? Сюрпризик, никак?

— Сюрпризик,— Олексин сорвал тряпицу, которой был обвязан котелок.— Презент от солдат 16-й дивизии генерала Скобелева. Приятного аппетита, господин Хомяков.

— Приятного аппетита, говорите? — Роман Трифонович взял котелок, встряхнул, вдохнул гнилостный запах и осторожно поставил котелок на место, сразу перестав улыбаться. Постоял над ним, опершись руками о стол, выдавил: — Сволочи.

— Зачем же во множественном числе? Сволочь одна, и носит она вашу фамилию, что мне неопровержимо доказали в интендантском управлении.

Роман Трифонович посмотрел на него тяжелым отсутст-

вующим взглядом, взял сигару, тут же отбросил ее и начал лихорадочно листать документы.

— Если бы поставщиком оказались не вы, я бы вколотил в глотку эту муку,— маловразумительно сказал Федор.— Уж не только на крови солдатской барыши наживаете — на хлебе. Хлебе!

— Оправдываться не буду, хотя и не виноват,— не поднимая головы, сказал Хомяков.— Моя фамилия, и я в ответе. Муку получишь новую, бесплатно, все тридцать тысяч пудов. Крупчатку саратовскую поставлю, вот тебе мое слово. Поезжай, сам разберусь.

— Без муки не поеду.

— В глотку, говоришь, вколотил бы? — Хомяков прошел к дверям, распахнул.— Гартинга ко мне. Живо! — Вернулся, постоял.— Хорошо, Федор Иванович, покажу я тебе, кто это сделал, а что потом будет...— он вздохнул, покрутил головой.— Ах, сволочи, что учинили! Я жену ездил хоронить, две недели отсутствовал. Нет, не оправдываюсь, ни в чем не оправдываюсь, и вину свою признаю полностью, только... Только у меня тоже своя честь имеется, не у тебя одного, Федор Иванович.

Федор молчал. Гнев его не исчез, а как бы осел, ушел вглубь и выплескивать его в адрес Хомякова он уже не мог. Не из-за дружеских связей, не из-за Варвары: он понял, что Роман Трифонович действительно не имеет отношения к этой муке.

— Пирожки,— усмехнулся Хомяков, по-прежнему тяжело глядя куда-то мимо Олексина.— Знаешь, Федор Иванович, кто пирожки такие печет? Тот, кому на Россию плевать, на солдат плевать, на народ — тоже наплевать да растереть.

— Разве в этом дело? — вздохнул Федор.— Вот он, ваш частный почин, которому вы дифирамбы пели. Так сказать, в действии, что же теперь-то возмущаетесь? В барышах обошли, околпачили?

— Околпачили,— согласился Роман Трифонович.— Только не в том, в чем ты думаешь. Имя мое они опоганили, Федор Иванович, имя. Это, брат, куда посерьезнее. Я делом жив, а его без обману делают, с полной совестью.

— О совести бы лучше помолчать,— буркнул Федор.— Знаю я вашу совесть, господа предприниматели. И по Петербургу знаю, и по Туле, и по войне. Все я теперь знаю.

— Нет, не все,— усмехнулся Хомяков.— Меня ты не знаешь.

Он прошел к дверям, велел подать два прибора. Пока лакей ставил их, молча ходил по комнате, сосредоточенно попыхивая сигарой.

— Проведешь Гартинга и более не входи,— сказал он лакею; дождался, пока тот вышел, жестом пригласил Федора к столу.

— Благодарю. Сыт вашими поставками.

— Да, не знаешь ты меня, Федор Иванович,— с непонятной обидой сказал Роман Трифонович.

Федору показалось, что эта злосчастная гнилая мука куда больнее ударила по Хомякову, чем по самому Федору, что Роман Трифонович мучительно думает о чем-то замаячившем на горизонте, и думает как о трагедии. Он не понимал, чем вызвана эта его догадка, но размышлять не стал, а, вдруг помягчев, сел за стол.

— Кофе. Признаться, и ночь не спал и продрог.

Хомяков налил кофе; Федор пил, а он продолжал молча ходить по кабинету. И ходил, пока не доложили, что пришел Гартинг.

— Проси.

Едва закрылась за лакеем дверь, как Роман Трифонович бросился к столу, снял с салатницы крышку, высыпал внутрь все содержимое котелка, вновь накрыл крышкой, а пустой котелок сунул под стол, под длинную, до пола, скатерть. И улыбнулся вдруг одними зубами.

— С приездом, дорогой Роман Трифонович,— сказал Гартинг, входя.— Еще раз примите соболезнования мои в связи с постигшим вас горем. Федор Иванович, если не ошибаюсь? Какая приятная неожиданность.

— Прошу к столу,— угрюмо сказал Хомяков.

— Помилуйте, только позавтракал.

— Прошу, прошу. Я вас таким блюдом угощу, какого вы сроду не пробовали.

— Ну разве что попробовать,— улыбнулся Гартинг, садясь за стол и заправляя салфетку.— Как ваша служба, Федор Иванович? Вижу, вижу, что превосходно, Георгия государь понапрасну не жалует.

Хомяков снял крышку, аккуратно положил на стол и, взяв салатницу обеими руками, вывернул все в тарелку Гартинга.

— Жри!

— Это... Это что такое?

— Думаешь, я с тобой стреляться буду? — с тихим бешенством спросил Хомяков.— В суд на тебя подавать? Я — мужик, видишь, гнида, мои кулаки? — Он сунул оба кулака под нос Гартингу.— Я бить тебя буду. Смертным боем бить, сволочь.

— Как... Как вы смеете?

Гартинг попытался встать, но Хомяков с силой ударил

его по плечу. Гартинг боком упал на стул, цепляясь за скатерть.

— Как смеете? Люди!

— Жри, скотина! — схватив Гартинга за толстую шею, Хомяков ткнул его лицом в тарелку.— Жри, или забью. До смерти забью!

— На помощь...

Роман Трифонович левой рукой за волосы поднял голову Гартинга, а правой нанес резкий удар в лицо. Из носа компаньона хлынула кровь, и Хомяков вдруг осатанел: он бил и бил Гартинга, пока тот, заливаясь кровью, не упал со стула. Тогда Хомяков поднял его, вновь усадил за стол.

— Я не шучу, Гартинг, ты понял это?

В голосе его звучала такая продуманная решимость, что Федору стало не по себе.

— Роман Трифонович, успокойтесь.

— Что? — Хомяков тяжело глянул.— Ступай-ка ты отсюда, Федор Иванович. Дело у нас свое, компанейское, нам без свидетелей сподручнее.

5

Маленький городишко был забит тыловыми службами, госпиталями, обозами, и Федора местные военные власти устроили на постой в болгарской хижине — полудомике-полуземлянке. В единственную комнату вход был прямо со двора, и ступени вели не вверх, а вниз, на земляной, прикрытый домотканными половиками пол. Мебель состояла из крохотного столика на непривычно низких ножках да таких же маленьких, точно детских, табуреток. Единственная кровать — скорее ложе — представляла собой земляное возвышение, застланное старым ковром и одеялами. Несмотря на протесты, это ложе было отдано ему, а вся семья — муж с женой и дочерью — спала на полу у открытого очага.

С девушкой — темноглазой, быстрой, худенькой — он познакомился с первой: родители были на работе. Кое-как объяснил, что временно вынужден остановиться у них. Девушка стрельнула глазками.

— Заповядайте.

Олексин кое-что уже понимал, а потому, пригнувшись — дверь была рассчитана не на него, хотя он все же был пониже и Василия и Гавриила,— вошел в дом и остановился в полутемной комнате, не зная, куда сесть. Девушка скользнула следом, что-то быстро убрала с ложа, перестелила, снова стрельнула глазами и повторила:

— Заповядайте.

И выскочила во двор. Федор положил у двери походный саквояж и неуверенно присел на жесткую постель. Из головы не выходил разговор с Хомяковым, избитое лицо Гартинга. Олексин помнил жесткую сосредоточенность Хомякова, понимал, что дело этим не кончится, думал о происшедшем и о том, что последует далее, но мысли не помешали ему отметить изящную гибкость девушки, ее зарумянившееся лицо, быстрый взгляд темных глаз. И думая о Хомякове, он невольно прислушивался, что происходит за закрытой дощатой дверью. Вскоре там послышались женские голоса, но говорили они с такой быстротой, что Олексин уловил только восторженное девичье дважды повторенное слово:

— Хубовец-хубовец, мама!

Что это такое, он не знал и подумал, что девушка посчитала его худым, не предполагая, что назвала она его красавцем. Тут вошли хозяева — тихие, рано постаревшие, молчаливые — полная противоположность непоседливой дочери. Пока Олексин рассказывал мужчине, кто он и откуда, хозяйка и дочь быстро собрали на стол.

— Заповядайте,— сказала мать.— Да ви е сладко!

Так началось его двухдневное житье у гостеприимных болгар, и ничего не произошло, только он почему-то едва ли не впервые стал думать о Тае Ковалевской, ожидавшей его — он твердо был в этом уверен — в далеком Тифлисе. Ворочаясь на жестком ложе, слушая шорох и писк мышей за дощатой обшивкой стены, он вспоминал ее и себя самого — такого чужого, нелепого, растерянного и даже подлого в этой трусливой растерянности. Сейчас он уже мог думать о себе самом — том, прежнем — отстраненно, потому что не просто «добежал», а, прежде всего, убежал от той пропасти, в которую стремительно катился, цепляясь за все, что попадало под руку, но это «все» лишь подталкивало его вниз, а не помогало выбраться наверх. А выбрался он только потому, что рядом была Тая, и, слушая в темноте тихий шепот девушки, он с благоговением думал о далекой Тае. И еще о том, что правильно сделал, до сей поры так и не передав Скобелеву рекомендательного письма полковника Бордель фон Борделиуса.

— По риза?..— с возмущением прошептала мать.

Босые ноги прошлепали по полу, что-то белое смутно появилось перед ним, и Федор почувствовал, как его бережно укрыли еще одним одеялом...

С зарею родители ушли на работу, и он до вечера остался с девушкой. Она споро хлопотала по хозяйству,

старалась попадаться на глаза, что-то даже принималась напевать, но он молчал, а она не решалась начинать разговор. И опять он вспомнил о Тае, и эти воспоминания грели его больше солнца, выглянувшего наконец-таки из-за сплошных многонедельных туч.

— Георгий,— сказал старик за ужином, уважительно коснувшись пальцем креста.— Плевен?

— Нет, отец, Ловча. О генерале Скобелеве слыхал? Я у него служу.

— Плевен,— вздохнул болгарин.— Много крови, много. Вино густое будет, красное. От него момче родится, так старики говорят. Осман-паша силен?

— Мы сильнее,— улыбнулся Федор.

— Това така. Голям братушка Иван.

На следующее утро Федора разыскал Евстафий Селиверстович Зализо. Всегда тихий, он выглядел уж совсем тишайшим, даже подавленным.

— Можете ехать, Федор Иванович. Обозы уже пошли, сам проверил, к полудню нагоните их. Крупчатка саратовская, тридцать тыщ пудиков.

— А где же Роман Трифонович? — спросил Федор, собираясь.

— Отбыл. Кланяться велел.— Зализо помолчал, снял шапку, торжественно перекрестился.— Не оставлю я его, вот-те Христос, не оставлю благодетеля своего!

— Прогнал он вас, что ли?

Зализо промолчал. Федор взял саквояж, вышел во двор. Поискал глазами девушку: она стояла в стороне, теребя фартук.

— Прощайте,— сказал он, улыбнувшись.— Спасибо вам за все.

— Всички хубово,— тихо ответила она.— Всички хубово.

На полпути расстались: Федор спешил в комендатуру, где оставил коляску и ездового, а Евстафий Селиверстович направлялся в другую сторону.

— Кланяйтесь Роману Трифоновичу и благодарность ему передайте,— сказал Федор, пожимая вялую руку Зализы.— И Варваре поклонитесь при случае.

— Поклонюсь,— Зализо вдруг всхлипнул.— Храни вас Бог, Федор Иванович.

В другое время Федор, может быть, и обратил бы внимание на угнетенное состояние Евстафия Селиверстовича, но он все же был очень молод и потому больше думал о своих делах. А поскольку дела эти уладились, то и настроение у Олексина было прекрасным. В этом прекрасном настроении он и отбыл вслед обозам, так и не поин-

тересовавшись, чем же закончилось столкновение с Гартингом и во что обошлось оно Роману Трифоновичу Хомякову.

Роман Трифонович предполагал, во что оно может обойтись. И поэтому, вышвырнув за дверь избитого компаньона, тут же выдал Евстафию Селиверстовичу Зализо наличные деньги, доверенность и приказал как можно быстрее, не торгуясь и не раздумывая, отправить обозы Скобелеву. Отпустив Зализо, он сел за документы, но проверить их не успел, поскольку через три часа был арестован.

Дело приняло дурной оборот: Хомякова обвинили не только в избиении, но и подлогах, обмане интендантства, в злоупотреблениях и хищениях, принесших урон чуть ли не всей русской армии. За этим стоял великий князь главнокомандующий, Роману Трифоновичу грозил военно-полевой суд, действующий, как он прекрасно понимал, не по законам, а по повелению свыше; тут не только о справедливости, но и о простой защите не могло быть и речи. Оставался единственный путь: взять все на себя, но зато выторговать отмену решения о суде. Через неделю бесконечных споров, уверток, угроз и обещаний стороны пришли к соглашению. Хомяков безропотно уплатил все взятки, неустойки, комиссионные, штрафы, проценты — все, что с него потребовали. Компания перестала существовать, а сам Роман Трифонович под конвоем был препровожден за Дунай с категорическим приказом в трехдневный срок покинуть пределы Румынии.

До Бухареста он добрался уже без конвоя на обывательском экипаже. Постоял перед весело освещенным особняком, усмехнулся и привычным хозяйским шагом вошел в дом. По счастью, Варя была одна и с такой искренней радостью бросилась навстречу, что сердце его защемило тяжелой, незнакомой доселе болью.

— Вот и я,— он попытался улыбнуться как прежде, но по мгновенно изменившемуся взгляду ее понял, что это ему не удалось.— Как поживаете, Варвара Ивановна?

— Что-то случилось,— тихо сказала она.— Я же вижу, чувствую, что случилось что-то серьезное. Не томите же меня, Роман Трифонович.

— Случилось,— вздохнул он.— Три дня на отъезд нам выделено. Вот, стало быть.

Бросил пальто горничной, прошел в гостиную, закурил, стоя лицом к окну. Варя вошла следом, ждала, что еще скажет, но он молчал.

— Почему же так — три дня? — спросила она, не дождавшись.— А дело?

— Дело? — он повернулся к ней, улыбнувшись зло, натянуто — гримасой, а не улыбкой.— А нет больше дела.

Взбесились пристяжные мои, понесли под уклон, удила закусив, и... Опрокинулась карета наша золоченая. И коли по карманам поскрести, так от силы тыщонку наберу. Нищий я, Варвара Ивановна, нищий перед вами стоит. А посему,— он промолчал, справляясь с волнением.— Уж коли вышло боком, так свободны вы, Варвара Ивановна. От всего свободны, как птица небесная.

Он опять отвернулся к окну, а Варя молчала, ни о чем еще не думая, а лишь чувствуя, как гулко бьется сердце. И как раньше всех дум и размышлений, раньше всех доводов рассудка растет в ней глухая, горькая обида.

— От чего же свободна я, сударь? — тихо спросила она.— От слова, данного вам? От своей любви? От дружбы? Если так полагаете, то, стало быть, игрушкой меня считали? Червонной дамой, с которой под партнера пойти удобно? Принадлежностью общества вашего или, может быть, мебели? Это вы свободны, Роман Трифонович, а я несвободна. Я — Олексина, мы друзей в беде не бросаем, а тем паче — любимых...

Последние слова она выговорила уже сквозь душившие ее слезы. А выговорив, бессильно опустилась на стул и тихо заплакала, спрятав лицо в ладонях. Роман Трифонович рванулся к ней, швырнув сигару. Упал на колени, целуя руки, волосы, плечи.

— Варенька, родная моя, единственная ты моя! Не проверял, Богом клянусь, не проверял: в тягость быть боялся. А пуще того боялся, что согласишься ты на свободу, до ужаса боялся. Варя, Варенька, прости ты меня, дурака...

Выря выпрямилась, и он тотчас же положил голову ей на колени. Она вытерла слезы, вздохнула, потрепала его за волосы.

— Смел думать, что я за миллионы тебя люблю? Глупый. Ты же — сильный, яростный, ты еще и не такие дела поднимешь. Для начала в Высокое поедем, я тебе все отдам: с него и начнешь. Это немного, конечно...

— Варенька! — он поднял к ней сияющее лицо.— Все потерял, а тебя нашел, вот счастье-то какое необыкновенное. Мы с тобой теперь вместе, рука об руку, на всю жизнь вместе. Да мы еще таких дел натворим, что... Эх! — он вдруг рассмеялся.— А один заводишко я у них все же оттягал, есть с чего начинать. Небольшой, правда, заводишко, на племянника он записан, потому и не докопались. Нет, Варенька, живем еще! И так с тобою жить будем, что нам и в раю позавидуют!..

Он вскочил, поднял ее на руки и понес через все комнаты, жадно целуя на ходу. И Варя знала, куда он ее несет, и краснея, смеялась громко и радостно...

Глава десятая

1

— Говорят, людям свойственно ошибаться,— рассуждал Макгахан, часто поглядывая на молчаливого князя Насекина, без устали шагавшего из угла в угол маленькой комнатки офицерского госпиталя.— Я принимаю эту аксиому с одной поправкой: людям свойственно ошибаться в других. Понять человека постороннего куда сложнее, чем не понять. А мозг склонен избирать путь наименьшего сопротивления, и потому мы скорей с легкостью объявляем другого глупцом, легкомысленным, ограниченным или еще с Бог весть каким дефектом, чем пытаемся встать на его точку зрения и принять или хотя бы понять его правоту. В сущности, каждый человек говорит на своем языке, оперирует своими категориями, и человечеству предстоит преодолеть не только языковый барьер между нациями, но и научиться наконец попросту понимать друг друга.

Он завел неопределенную и необязательную беседу давно, как только вошел и увидел князя. Увидел его сосредоточенный взгляд, нервозную подвижность, странный румянец на впалых щеках; Насекин был серьезно болен («надорван» — как про себя определил это состояние корреспондент), и Макгахану показалось, что князя необходимо отвлечь от какой-то мучающей его навязчивой идеи. И он начал разговор, надеясь включить в него больного, может быть, рассердить или обидеть, но увести от изнурительных дум.

— Душа человеческая сложна, а разум — причудлив и неоднозначен: только дети и гении размышляют на общечеловеческом языке. Я прожил весьма пеструю жизнь, вдосталь помыкался по свету, и знаю, что неграмотный кочевник нисколько не глупее своего ровесника, получившего образование в Кембридже или Сорбонне. Сумма знаний современного цивилизованного человека в восьмидесяти случаях из ста напоминает мне банковские вклады: их заботливо хранят, но ими почти не пользуются. А истый сын природы должен пускать в оборот все свои знания, иначе он просто не выживет. И это придает его жизни тот смысл, которого мы лишены.

— Смысл, жизнь,— вдруг странным резким голосом перебил князь.— В жизни нет никакого смысла, потому что нет самой жизни. Жизнь — всего-навсего смерть, растянутая на неопределенный срок. Попробуйте поискать смысл в смерти — это куда плодотворнее, Макгахан.

Корреспондент помолчал, с грустью глядя на князя, по-прежнему нервно метавшегося по комнате. Опыт не удался, и Макгахан тут же отбросил его, заговорив куда серьезнее и тише.

— Друг мой, мне довелось повидать такое, чего не в силах описать и куда более талантливое перо, чем мой корреспондентский карандаш. Поверьте, я не из породы равнодушных, а тем паче — толстокожих: события, свидетелем которых я был, сократили мои дни на этой земле. Да, в каждом из нас сидит зверь. Сидит на цепи, откованной веками цивилизации. Но парадокс заключается в том, что, если человек сам спускает этого зверя с цепи, общество дружно объявляет его уголовным преступником, стоящим вне закона. Но если этот же самый закон спускает с цепи зверя, то человек уже не несет никакой ответственности перед обществом: удобно, не правда ли? Мое отечество лихо сметало с лица земли индейцев, а ваше с той же лихостью расправилось с черкесами — это, так сказать, видимые следы зверя. А вот когда очаровательная, тонкая, вполне цивилизованная леди спокойно объясняет вам, что негры — полулюди, это уже следы невидимые, следы следов. Это уже результат всей системы управления государством, открыто или подспудно воспитывающим национальную обособленность и неприятие других народов.

— Вы пытаетесь оправдать убийц?

— Я не оправдываю убийц, я хочу понять, почему человек становится убийцей и нет ли в этом нашей общей вины.

Насекин перестал метаться и остановился перед Макгаханом. Помолчал, в упор глядя лихорадочно поблескивающими глазами.

— Как считаете, человек рождается в мучениях?

— Библия утверждает это,— улыбнулся американец.

— Библия утверждает мучения женщины, а я спрашиваю о младенце. Вы помните свою боль при рождении?

— Нет, естественно. Но, полагаю, не потому, что ее не было, а потому, что не было памяти.

— Значит, боль есть тогда, когда есть память? Нет памяти — нет боли?

— Простите, князь, это софизм.

— Софизм,— задумчиво повторил Насекин.— Человек рождается не ощущая боли, а умирает в мучениях — тоже софизм? Женщина, отдающаяся по любви, испытывает неземное блаженство, а при насилии — ужас, боль, отвращение: тоже софизм? Что есть смерть — последнее мгновение жизни или первый миг небытия: опять софизм? Не слишком

ли много софизмов для того, чтобы выстроить закономерность, Макгахан?

Американец не спешил с ответом, понимая, что Насекин и не нуждается в нем. Ответ заключался в самих вопросах: оставалось лишь изложить то же самое, но в утвердительной форме. Нет, князь был не надорван — князь был сломлен: корреспондент окончательно понял это. Вялый, анемичный, всегда избегавший активной жизни, борьбы и страсти, утверждавший себя лишь ленивой снисходительной иронией, он не вынес, да и не мог вынести, первого удара. Макгахан отдавал себе отчет в беспощадности этого внезапного удара: оказаться не только свидетелем зверств башибузуков над мирными жителями, но и убить при этом насильника — испытание явно не по силам. Насекин не только видел убийц и убийства — он сам стал убийцей: совесть раздвоилась, разошлась на непримиримые полюса, и согласовать ее уже было невозможно. Эта раздвоенная совесть разрывала Сергея Андреевича изнутри, и Макгахан не знал, чем тут можно помочь.

— Хорошо бы вам переменить обстановку, князь,— сказал он, мучительно ощущая собственную фальшь.— Хотите посетить Америку? У меня добрых полторы тысячи друзей, и каждый с радостью примет вас. Новая страна, новые люди...

Князь улыбался. Корреспонденту показалось вдруг, что улыбается он так, как улыбался ранее: с бледной иронией. Это обнадеживало, и Макгахан оживленно, с юмором начал описывать свою родину, всячески стараясь заинтересовать Насекина. Князь продолжал все так же улыбаться, но спросил вдруг, перебив на полуслове:

— Вернемся к закономерностям софизмов, Макгахан? Вы не беретесь их сформулировать?

— Ох князь, князь,— сокрушенно вздохнул американец.— Дались вам эти софизмы.

— Мы все — убийцы,— медленно, почти торжественно сказал Сергей Андреевич.— Все, Макгахан, без малейшего исключения. Убийцы — правители, бросающие народы, точно стаи волков, уничтожать друг друга. Убийцы — политиканы всех мастей, натравливающие эти народы. Убийцы — священнослужители, благословляющие войны и казни. Убийцы — вы, господа корреспонденты, и вы, господа писатели, возвеличивающие собственную нацию и уничижающие всех инакомыслящих. Убийцы — жены, ласкающие своих мужей, пропахших кровью, и дети, по неведению играющие с ними. Убийцы все, Все!..— Князь торопливо вытер мокрое от пота лицо и продолжал уже спокойнее.— Это — констатация су-

щего, причина спрятана глубже. Всего одна причина, выступающая в разных обличьях: ложь. Человечество лжет, Макгахан, лжет привычно, убедительно и даже искренне, ибо разучилось уже говорить правду. Спросите почему? Да потому, что все, все до единого преследуют какие-то цели — будь то чин или должность, власть или слава, деньги или наслаждения. Потому-то и лгут монархи и президенты, чиновники и философы, верующие и атеисты, образованные и необразованные, мужчины и женщины: ведь при достижении цели не стесняются в средствах, и ложь — лучшее из средств. И она стала единственной формой общения, доступной, понятной и принятой всем миром, и говорящих правду в лучшем случае объявляют сумасшедшими. Ложь есть величайшее достижение цивилизации, она совершенствуется из года в год и будет совершенствоваться всегда, постоянно, пока не уничтожит человечество, как ржавчина уничтожает железо.— Он замолчал, устало поникнув, ссутулившись. Помолчав, сказал тихо, почти умоляюще: — Я устал, очень устал, Макгахан. Извините, придется лечь.

— Может быть, позвать врача или сестру?

— Как всегда, ищете лекарство от всех болезней? Но вы мне уже прописали его: когда нет памяти, нет и боли,— князь грустно улыбнулся.— Я неуклюже шучу. Прощайте, друг мой.

— До завтра, князь.— Макгахан пожал вялую руку Насекина.— Я задержусь здесь и буду вашим частым гостем, если не возражаете.

— Бога ради,— вздохнул Сергей Андреевич, садясь на постель.— Мне всегда приятно видеть вас.

Корреспондент был уже в дверях, когда услышал тихий смешок. Оглянулся: князь, улыбаясь, смотрел на него.

— Знаете, какая забавная мысль пришла мне в голову, Макгахан? Смерть — последняя неприятность, которую человек доставляет своим друзьям. Неплохо, а?

— Слишком цинично для смеха,— проворчал американец.— Сочините что-нибудь поостроумнее — посмеемся вместе.

И еще раз поклонившись, вышел из комнаты.

2

Добровольческий отряд братьев Рожных, оставаясь у переправ, все более превращался в санитарный кордон: участились случаи сыпного тифа, грозившего лавиной ринуться в Россию с обозами погонцев и эшелонами раненых.

Не хватало медикаментов, палаток, дезинфицирующих средств да и просто обслуживающего персонала: вместо того чтобы разворачивать отряд, братья-близнецы все нерегулярнее и неохотнее пересылали деньги. Их подачек теперь еле хватало на самое необходимое, и Маша, собрав добровольцев, вынуждена была скрепя сердце объявить, что жалования более не будет, а потому она никого не вправе задерживать. Многие санитары, два врача и некоторые из сестер милосердия ушли; оставшимся пришлось не только сортировать больных, не только ухаживать за ними, но и самим стирать грязное, усыпанное вшами белье.

Из Смоленска вернулась Глафира Мартиановна. Леночка была благополучно доставлена, обласкана, зацелована и без малейших проволочек принята в семью. Сама Глафира Мартиановна также была зацелована, снабжена на дорогу грудой провизии и посылок, множеством сентенций и одним категорическим приказом Маше: найти и немедленно вернуть в Смоленск Ивана. Маша и сама искала брата, но он доселе так и не появился.

— Не беспокойтесь, Мария Ивановна, обоз на внутренних маршрутах используется,— успокаивал Рихтер.— Коли транзит получат, так уж меня не минуют. Тотчас же и доложу.

Глафира Мартиановна спокойно восприняла проведенные Машей меры, признала их разумными, но сказала:

— Не спасет это нас, Мария Ивановна, деньги все равно нужны. По дороге слыхала я, что Рожных сейчас в Кишиневе. Справьтесь и, если там они, поезжайте и востребуйте.

Рихтер проверил телеграфным запросом. Слух подтвердился: братья-миллионщики добивались каких-то поставок.

— Газетками их припугните, газетками,— советовал он.— Эта братия не любит огласки.

Маша уже несколько дней скверно себя чувствовала, но никому не говорила. Ехать на свидание с братьями могла только она, поскольку являлась их доверенным лицом и начальницей отряда и, кроме того, лично знала одного из патронов. Владели ею и частные соображения: она ни на миг не забывала о Беневоленском и намеревалась добиться того, что ей было обещано. Маша хорошо помнила свидание в Москве с Филимоном Донатовичем Рожных, его отменную любезность, благовоспитанность и умную иронию, знала, что он спас от суда Аверьяна Леонидовича, и упорно верила, что их неприятности и затруднения основаны лишь на недоразумении и что при свидании все образуется само собой.

— Сестру милосердия сняли с транспорта,— сказала Глафира Мартиановна, когда Маша уже собиралась в дорогу.

— Тиф?

— Вероятно, горячка. Высокая температура, бред.

— Глафира Мартиановна, пожалуйста, отправьте ее в военно-временный госпиталь: там и врачи, и медикаменты. Попросите Рихтера, он поможет. У нас оставлять никак не возможно, сами по тифу ходим.

Машу ждала коляска, и, хотя ей хотелось повидать снятую с транспорта сестру милосердия, времени уже не было. Глафира Мартиановна обещала тотчас же условиться о переводе заболевшей, перекрестила на дорогу, и Маша выехала к ближайшей железнодорожной станции, имея рекомендации генерала Рихтера на случай непредвиденных осложнений.

До Кишинева добралась она вполне благополучно. С трудом сняв номер в дешевой гостинице, к вечеру разыскала братьев Рожных. Оставив записку с просьбой принять ее по неотложному делу, вернулась к себе, полагая, что свидание может состояться только на следующий день. С дороги она чувствовала себя разбитой, ощущала жар и головную боль, надеялась к утру отдохнуть и прийти в себя. Но отдохнуть не пришлось: получив ее записку, Рожных тотчас же отрядили за нею коляску.

— Рад, душевно рад,— добродушно улыбаясь, сказал рослый мужчина, как только Маша вошла в гостиную.— Не забыли еще, кто таков я и чем отличен? Осмелюсь напомнить, что я — Филимон Донатов Рожных, а от брата Сильвестра родинкой отмечен. А это, стало быть, братец мой, Сильвестр Донатов Рожных — без родинки.

Братья различались, правда, не только родинкой под глазом у Филимона, но и манерой поведения. Сильвестр был молчалив и куда более скован в движениях: поклонился издали, неуклюже. Зато Филимон говорил, не переставая, улыбался, усаживал Машу и вообще всячески проявлял повышенное внимание к ее визиту.

— Как доехали, Мария Ивановна? Сами понимаем, что с дороги вы, что устали, однако прощения просим за нетерпение наше. Отдохнуть вам не дали, обеспокоили. Но — дела, дела, любезная Мария Ивановна, дела да любопытство. Я, признаться, сомневался поначалу, да брат Сильвестр настоял: уж очень ему с вами познакомиться хотелось, очень. Много я ему о нашей московской встрече рассказывал, что он и проявил нрав свой купеческий. «Желаю,— говорит,— сей же момент почтение свое Марии Ивановне засвидетельствовать...»

Брат Сильвестр молчал, ничем не выражая своего особого рвения «засвидетельствовать», а Филимон говорил и

говорил, будто боялся, что коли замолчит, так начнет говорить гостья, и ему придется выслушать то, чего не хотелось выслушивать.

— Не прикажете ли чаю или кофею? Мы, признаться, кофей не уважаем, но чайком балуемся.

— Благодарю, Филимон Донатович. Нам необходимо поговорить.

— Это само собой, само собой, это и за чаем можно. Брат Сильвестр, распорядись-ка насчет чайку да угощения.

Сильвестр сразу же вышел. Филимон проводил его взглядом, вздохнул, сказал доверительно:

— Косноязычен немного. Конфузится.

— Филимон Донатович, я приехала, чтобы переговорить,— начала было Маша, но Рожных, широко улыбаясь, замахал руками:

— Помилуйте, Мария Ивановна, помилуйте! Успеем еще, наговоримся, а покуда — отдыхайте, не стесняйтесь. Да, так о брате Сильвестре я начал...

Слушая его вкрадчивый голос, Маша ощущала, как постепенно гаснет в ее душе решимость выложить все, что накопилось, с той резкостью, которую заслуживали эти братья-миллионеры. Как человек открытый и прямодушный, она не умела менять планов на ходу в зависимости от обстановки и, предполагая, что встретят ее хотя и вежливо, но сухо, не могла перестроиться, столкнувшись с предупредительной, почти льстивой манерой хозяина. Ей уже казалось неудобным и неуместным требовать, доказывать, добиваться; ее угощали, с ней говорили дружески, доверительно, мягко, но говорили о предметах, далеких от тех проблем, из-за которых она предприняла эту поездку. А голова разламывалась от боли, во всем теле ощущался жар, и у Маши уже недоставало сил прорваться сквозь пелену вежливых, добрых и таких необязательных слов.

— ...мы — дремучие, Мария Ивановна, дремучие. Батюшка наш, царствие ему небесное, вообще грамоте не знал, самоучкой до чтения, до письма дошел. Но, правда, нам с братом Сильвестром в коммерческом заведении приказал закончить, в городе Женеве: не случалось бывать? Вот там-то и довелось нам познакомиться...

Именно в этом месте брат Сильвестр и подал впервые голос. Он лишь слегка заикался, да некоторые слова давались ему с трудом.

— П-позвольте конфекты рекомендовать.

— Благодарю, Сильвестр Донатович. Я, собственно, хотела...

— Да, мало образования, мало,— вновь заговорил Фили-

мон, рассеянно перебив ее.— Скажете, читать, мол, требуется, самим образовываться; да ведь дела, любезная Мария Ивановна, дела все времечко занимают. Как преставился наш батюшка, так и завертелись мы с братом Сильвестром...

Сквозь недомогание, головную боль, журчанье вкрадчивого голоса Маша вдруг уловила смысл оговорки Филимона, которую поспешно пытался затушевать брат: «Женева. Познакомились...» И скорее по наитию, чем по догадке, спросила, прервав безостановочную болтовню:

— В Женеве вы познакомились с Беневоленским? Да, да, припоминаю, он рассказывал.

Беневоленский не рассказывал Маше ничего подобного: она играла, обманывала и, чтобы скрыть неудобство, сразу же поднесла к губам чашку. Но повисшая над столом пауза и быстрая, но не ускользнувшая от нее переглядка братьев убедили в правильности внезапно мелькнувшей мысли. Она не умела хитрить и лукавить, но братцы сами были хитрецами наивысшей пробы, сами вели игру, и это давало ей право продолжать.

— Помню, помню,— задумчиво сказала она.— Какой-то кружок, брошюрки, дебаты.

— Увлечение молодости,— нехотя сознался Филимон, помолчав.

Тон его сразу изменился. Исчезла вкрадчивая любезность, радушие, улыбчивость: все это Маша не просто видела, а ощущала своим лихорадочно обостренным восприятием. Даже головная боль куда-то отступила, оставался лишь жар во всем теле.

— Поэтому вы и вытащили его из тюрьмы,— она горько улыбнулась.— Испугались, что расскажет о ваших увлечениях молодости, и постарались отправить подальше?

— П-позвольте,— сказал Сильвестр — как многие заикающиеся, он питал склонность именно к тем словам, которые труднее всего ему давались.— Мы не имеем чести знать господина Беневоленского.

— Ладно, чего уж там,— грубовато перебил Филимон.— Все верно, брат Сильвестр, и хитрить нам негоже. Только насчет того, что испугались мы, это вы напрасно, Мария Ивановна. По доброму знакомству услугу оказали, из дружеских чувств. А беспокойство ваше понимаем и сами беспокоимся. Запросы много раз посылали, да все без толку покуда.

Маша уже не верила ни единому его слову. От Беневоленского избавились, как от нежелательного свидетеля, искать его не собирались и сделали бы все возможное, чтобы пресечь попытки любого, кто пожелал бы заняться поисками.

Прозрение глухой, безнадежной болью отозвалось в сердце, но Маша не могла позволить этим господам увидеть ее боль. Заставила себя улыбнуться, сказала сдержанно:

— Оставим клятвы, господа. Я поспешила к вам отнюдь не в надежде услышать что-либо о господине Беневоленском. Я приехала напомнить, что вы не держите собственного слова, что не просто неприлично само по себе, но и ставит наш отряд в положение затруднительное.

— Помилуйте, Мария Ивановна,— вновь благодушно заулыбался Филимон.— Дела, знаете, дела.

— Не с руки нам это,— сухо кольнув ее глазами, сказал Сильвестр.— Мы — люди купеческие, у нас каждая денежка свой счет знает. Войне конца не видать, и в п-прорву эту нам капиталы бросать никакой выгоды нет.

— Денег, главное, денег свободных нет,— поспешно добавил Филимон.— Тут подряды предлагают, тоже на благо отечества. А долг свой патриотический мы с лихвой оплатили. С лихвой, Мария Ивановна, дай Бог каждому истинно русскому патриоту стольким пожертвовать.

— Русские патриоты жизнями жертвуют, а не рублем,— сказала Маша, вставая.— Благодарю за разъяснения, господа, иллюзий более не питаю. А что касается стоимости вашего патриотизма, то о сем вы скоро сможете прочитать в газете.

Рихтер был прав: при упоминании о газете лица братьев вытянулись совершенно одинаково. Они снова быстро переглянулись, а затем Филимон опять заулыбался, засуетился, зажурчал добродушно:

— Мария Ивановна, голубушка наша, мы же, так сказать, в общих чертах трудности свои обрисовали. Нет, нет, святое дело не позабыли, что вы, что вы, как подумать можно. Большие суммы, правда, не обещаем, но долг и слово свое купеческое исполним, о чем и сомневаться вам не следует. И о господине Беневоленском, то бишь Прохорове...

— Не надо,— обрезала Маша.— Не утруждайте себя господином Прохоровым, а тем паче денежными переводами. Извольте вручить мне чек на расходы по отряду согласно этому расчету,— она положила на стол заранее составленную ведомость.— Если завтра к вечеру я не получу требуемой суммы, мне придется обратиться за помощью к газетам. Всего наилучшего, господа патриоты.

Через несколько дней Маша вернулась в отряд с чеком на шесть тысяч. Жар, головная боль и внезапные ознобы уже не оставляли ее — она понимала, что серьезно больна, но упорно верила, что это всего-навсего простуда, что нужно лишь отлежаться, отдохнуть и все будет хорошо. И всячески

скрывала, как ей скверно, скверно по-настоящему не только из-за болезни, но и из-за того, что пути ее с Аверьяном Леонидовичем Беневоленским стараниями братьев-патриотов разошлись отныне надолго, если не навсегда.

— Вы горите,— всполошилась сдержанная Глафира Мартиановна.— В постель. Немедленно в постель!

— Ничего, Глафира Мартиановна, ничего, дорогая, это так, простуда,— жалко улыбалась Маша.— Ну, как дела у нас? Все ли ладно? Одеяла получили?

— Получили. Ложитесь же, Мария Ивановна.

Уложив Машу, Глафира Мартиановна бросилась к генералу Рихтеру: своим врачам она не доверяла. Рихтер немедленно разыскал самого Павла Федотыча. Старый доктор внимательно осмотрел больную, а выйдя из комнаты, сокрушенно развел руками.

— Тиф.

— Не отдам! — решительно объявила Глафира Мартиановна.— Пусть здесь лежит, сама за нею ходить буду.

— Ах, Господи, Господи! — в отчаянии крикнул Рихтер.— Ах, Господи, мало мы жертв войне отдаем, так хоть солдатами. А тут — женщина, святая душа, ее-то, ее-то за что? — он горестно покачал седой головой, вытер слезы, вздохнул. Сказал тихо: — Князь Насекин застрелился ночью. Глядите, чтоб Мария Ивановна о сем не узнала.

3

Кольцо Плевневской блокады с каждым днем стягивалось все туже. Захватив опорные пункты турок на Софийском шоссе, Тотлебен обрек армию Османа-паши на голодный паек и столь непривычную для нее экономию боеприпасов. Русские копали день и ночь, постепенно приближаясь к турецким позициям. Это сковывало Османа-пашу, мешало маневрировать резервами, то есть вышибало из его рук ту козырную карту, с помощью которой он малой кровью отражал все предшествующие штурмы. Талантливому и решительному турецкому полководцу отныне отводилась роль, противоречащая его характеру.

— У турок на три-пять дней продовольствия,— сказал Тотлебен.— Учитывая это, полагаю, что Осман-паша попытается прорвать осаду. Прошу командира гренадерского корпуса Ганецкого и генерала Скобелева быть предельно внимательными.

Вечером 27 ноября турки прекратили ружейный огонь против частей генерала Скобелева. Обеспокоенный тишиной,

Михаил Дмитриевич приказал привести войска в боевую готовность и выслал усиленные секреты. Через час один из секретов привел перебежчика, оказавшегося турецким барабанщиком.

— Осман-паша с рассветом уйдет из Плевена.

Скобелев тут же телеграфно уведомил Тотлебена и Ганецкого, корпус которого прикрывал Софийское шоссе, и отправил охотников в турецкие траншеи. Охотники вернулись скорее, чем он предполагал: траншеи оказались пустыми.

— Вперед,— распорядился Михаил Дмитриевич.— Занять траншеи и неотступно следовать за противником. Бой не навязывать, пусть выкатываются из города.

Получив сообщение от Скобелева, Ганецкий распорядился выслать дозоры и сторожевые посты к Плевне со строгим приказом не открывать огня и не мешать противнику выходить из города.

— Гренадеры встают быстро, а посему солдатам спать,— сказал он.— Тревогу играть по моей ракете, а отсюда следует, что господам офицерам придется бодрствовать.

Ночь на 28 ноября выдалась темной и холодной. Сторожевые посты и охотники-разведчики ничего не видели, но слышали нарастающий гул, шум шагов и скрип обозов; не сомкнувший всю ночь глаз Ганецкий получал донесения об этом через каждые полчаса.

— Видеть, видеть, а не слышать,— ворчал он.— Глаза надежнее.

Туманная предутренняя мгла долго не давала разведчикам рассмотреть, что происходит возле переправ через реку Вид. Легкий мороз покрыл инеем низменную пойму реки, и отсветы изморози вместе с туманом закрывали видимость. А шум все нарастал и нарастал, и, когда наконец утреннее серебристое марево стало рваться и таять, передовые посты увидели противника.

Рядом с каменным мостом через Вид турки за ночь успели навести еще один — из тесно составленных повозок, покрытых досками и фашинами. По обеим этим мостам сплошным потоком шла пехота, выстраиваясь в боевой порядок на противоположном берегу. Не успевшие еще переправиться густые массы аскеров, артиллерия и обозы покрывали весь плевненский берег: Осман-паша бросил на прорыв всю свою армию.

— Слава тебе, Господи! — торжественно перекрестился Ганецкий, получив донесение от постов.— Сигнал! И общая тревога!

В небо взвилась ракета. Не успела она разорваться, как

по всей линии русских войск зарокотали барабаны. И тотчас же турецкие батареи с возвышенности у моста и ниже по течению открыли огонь. Бой начался; еще били барабаны, еще выстраивались колонны, а Ганецкий, пришпоривая коня, уже мчался к передовым траншеям, занятым сибирскими гренадерами.

— С праздником вас, Иван Степанович,— приветствовал старого генерала командир 3-й гренадерской дивизии генерал-майор Данилов.— Противник стремится в бой, не закончив переправы.

— Кто это впереди, с биноклем? Усищи из-за щек торчат?

— Представитель главнокомандующего генерал Струков. Прибыл час назад.

— Что насмотрел, Струков? — спросил Ганецкий, подъезжая к личному представителю главнокомандующего.

— Две особенности, Иван Степанович. Во-первых, турки не ведут ружейного огня, а во-вторых, машут развернутым знаменем.— Струков протянул бинокль.— Извольте взглянуть.

Ганецкий сдвинул на затылок фуражку лейб-гвардии Финляндского полка, которую надевал только в боях, и по-стариковски неторопливо взял бинокль. Приладив, долго всматривался в турецкие цепи, спешно развертывающиеся в заиндевелой низине.

— Что не стреляют, понятно: патронов мало,— сказал он, возвращая бинокль.— А знамя поглавнее. Оно зеленое, Струков, это — знамя Пророка, и, значит, отступать они не будут. Ну что ж, тем лучше. Данилов, передвинь Малороссийский полк, а резервы пока береги. Мне точно знать надобно, куда Осман рвется: к Софии или к Дунаю. Это тебе поручаю, Струков. Не упусти момент, куда их обозы заворачивать начнут.

— Они пошли в атаку! — крикнул Струков.— Да как стремительно. Черт возьми, молодцы турки!..

— Артиллерии открыть огонь,— спокойно распоряжался Ганецкий.— Ну, сибиряки, вам насмерть стоять. Насмерть, братцы.

Аскеры с ружьями наперевес мчались через поле. Русские батареи открыли огонь, осыпая атакующих шрапнелью, но турецкие солдаты, закаленные штурмами и железной дисциплиной, сегодня не замечали ни пуль, ни снарядов. На месте убитых появлялись новые воины, зеленое знамя металось вдоль всего фронта; турки неудержимо рвались вперед. Им предстояло пробежать по низменной равнине, и они пересекли ее, несмотря на то, что гренадеры на последних

сотнях шагов начали залповый огонь. Аскеры падали десятками, живые, не задерживаясь, топтали мертвых и раненых, и дикие крики «алла! алла!..» уже заглушали ружейную пальбу.

Вслед за атакующими на рыжем жеребце ехал всадник в черном. Когда аскеры, добежав до первой линии траншей, ворвались в нее, завязав штыковой бой, он придержал коня, безотрывно наблюдая за битвой и мановением руки посылая в атаку все новые и новые таборы. Вокруг свистели пули, над головой рвалась шрапнель, жеребец, приседая, прядал ушами, но Осман-паша не ведал страха.

Свежие таборы турок накатывались на первую траншею, где шла ожесточенная рукопашная. Большая часть сибиряков легла в этом бою, выиграв несколько драгоценных минут. Завладев траншеей, турки без малейшей передышки ринулись на вторую линию, но часть их, внезапно изменив направление, атаковали батарею девятифунтовых орудий. Прислуга была переколота, и лишь фейерверкер Карабанов, уложив троих банником, сумел уйти живым. К тому времени аскеры ворвались во вторую траншею, но тут подоспел Малороссийский полк. Гренадеры с ходу бросились в бой, помогая изнемогавшим сибирякам; все смешалось во второй линии — сибиряки, турки, украинцы; лязг оружия и рев сотен глоток.

— Прикажете поторопить резервы? — нервничая, спросил невозмутимого Ганецкого начальник штаба полковник Маныкин.— Ординарец сообщил мне, что малороссийцы потеряли трех батальонных и свыше половины ротных командиров, Иван Степанович.

— В третьей линии задержим: там — архангелогородцы с вологодцами, у них с турками особые счеты,— спокойно сказал Ганецкий.— Впрочем, для солдатской уверенности прикажите Лашкареву стать позади третьей линии. А резервы придержите: я еще не понял, куда рвется Осман-паша. Коли противник не спешит с резервами, то и нам торопиться не след.

Яростного порыва турок хватило, чтобы выдержать рукопашную и взломать вторую линию обороны, но силы их уже были подорваны. Вырвавшись из траншей на предполье третьей линии, они бежали тяжело и медленно. Заметив это, опытный командир 1-й бригады 5-й пехотной дивизии генерал-майор Рыкачев приказал своим архангелогородцам и вологодцам открыть залповый огонь. Встреченные залпами, уже выдохшиеся аскеры залегли, ожидая помощи из глубины, откуда по обеим мостам все еще переправлялись войска и артиллерия. В штурме наступило некоторое затишье,

пользуясь которым Лашкарев развернул позади третьей линии своих спешенных кавалеристов.

— Турецкие обозы и артиллерия смещаются к левому флангу! — неожиданно крикнул генерал Струков.

— Вот куда он рвется: к Дунаю,— спокойствие вдруг оставило Ганецкого.— Фанагорийцев и астраханцев на левый фланг! Бегом!

Ординарцы помчались к резервам, но старый генерал уже не мог ждать. Теперь, когда Осман-паша наконец-таки открыл свои карты, когда выяснилось, что отчаянный натиск на центр был всего лишь отвлекающим маневром, Иван Степанович отчетливо понял бой. Следовало перекрыть дорогу к Дунаю, встретить Османа-пашу контрударом свежих частей, окружить в низине и добить. Все решала быстрота, и Ганецкий, вскочив на коня, помчался навстречу подходившим резервам.

Фанагорийский гренадерский полк имени генералиссимуса графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского, поспешал к месту сражения бегом. Ганецкий встретил его на подходе, придержал коня.

— Молодцы, фанагорийцы! — срывая голос, прокричал он.— Вот так и в атаку: с ходу, с бега! Помните, чье имя вы носите, ребята!

Фанагорийцы и следовавшие за ними астраханцы, не перестраиваясь, с марша ударили в штыки на том фланге, против которого Осман-паша нацелил свои резервы, артиллерию и обозы. Завязалась рукопашная, увидев которую Рыкачев бросил вперед свои испытанные в двух Плевненских штурмах полки. Вологодцы и архангелогородцы смяли турок, на их плечах ворвались сначала во вторую, а затем и в первую траншеи. Офицеры Сибирского и Малороссийского полков, спешно собрав уцелевших гренадер, неожиданно ударили во фланг турецким резервам. Турки смешались, дрогнули, но не побежали, а отошли в относительном порядке. Рукопашные схватки кончились: начинался затяжной огневой бой. Выдвинув вперед стрелков и развернув артиллерию, Осман-паша под их прикрытием собирал новый кулак. На рыжем скакуне — личном подарке султана — турецкий полководец метался по фронту, приводя в порядок свои войска. Его черную фигуру все время видели наблюдавшие за боем офицеры штаба.

В начале двенадцатого часа фигура грозного турецкого командующего пропала из глаз наблюдателей, скрытая густым снарядным разрывом. Не оказалось Османа-паши и тогда, когда рассеялся дым. И еще никто не успел высказать какого бы то ни было предположения, как турецкий огонь

стал резко ослабевать, а стройные колонны изготовившихся к бою аскеров забеспокоились, задвигались...

— Неужели Осман-паша погиб? — растерянно спросил полковник Маныкин.— Турки подаются назад... Турки бегут, Иван Степанович, бегут!

Неудержимая паника охватила турецкие войска, еще совсем недавно столь ожесточенно и неустрашимо штурмовавшие русских гренадеров. Стрельба прекратилась почти повсеместно, фронт дрогнул, и таборы ринулись к переправам, назад в Плевну.

— Общая атака! — крикнул Ганецкий.— Огонь по мостам. Прижать к реке и уничтожить.

Русские войска дружно бросились в атаку, артиллерия громила мосты, где творилось нечто невообразимое. Турецкие солдаты кулаками и оружием прокладывали себе путь сквозь встречные колонны, ломая перила, сбрасывая в воду людей, повозки, орудия.

— Победа,— с облегчением вздохнул Струков.— Это победа, Иван Степанович!

— Не торопись, сглазишь,— проворчал старый генерал.— Солнышко всходит, но еще...

Он вдруг замолчал: на мосту через Вид в копошащейся людской массе кто-то отчаянно размахивал белым флагом. Флаг колебался, исчезал, но возникал снова.

— Прекратить огонь! — крикнул Ганецкий.— Остановить войска.

Трубы запели отбой, отзывая атакующих. Смолкла артиллерия, ружейная стрельба, крики: на залитое кровью, заваленное телами убитых и раненых поле сражения словно обрушилась тишина. Иван Степанович вздрогнувшей рукой снял фуражку, широко, торжественно перекрестился.

— Дай поцелую тебя, Струков. Кончилась Плевна.

4

Русские войска, ставшие там, где застали их трубные звуки отбоя, в полной готовности наблюдали за спешным отступлением турок на другой берег. В этом отступлении уже не было паники — турецкие офицеры сумели навести порядок,— на мосту по-прежнему размахивали белым флагом, но никто не торопился сообщить русскому командованию, что Плевненский гарнизон готов сложить оружие. Минуты тянулись, безмолвное противостояние продолжалось, белый флаг развевался, а ясности не было. Ганецкий спокойно выжидал, но молодые офицеры его штаба уже выказывали нетерпение.

— Очередная хитрость, господа. Осман понял, что здесь ему не прорваться, и сейчас ударит в другом месте.

— Что будем делать, Иван Степанович? — тихо спросил Маныкин.— Вдруг они и вправду перегруппировываются под белым флагом?

— Попросите румын занять Опанецкие высоты артиллерией.

— Румыны уже сделали это.

— Хорошо. Уведомите Скобелева, что противник отходит в Плевну.

Ординарец с этим уведомлением был тотчас же послан, но Михаил Дмитриевич к тому времени уже вошел в брошенный Османом-пашой город. Скобелевцы продвигались осторожно, не вступая в соприкосновение с противником, а лишь занимая оставляемые им укрепления и кварталы. Скобелев хотел избежать боя в городе и строго-настрого приказал не открывать огня без особого на то приказа. Он намеревался ударить туркам в спину, пройдя Плевну, чтобы в пойме реки зажать их между гренадерами Ганецкого и своей дивизией. Но турки прекратили бой раньше, чем он успел втянуться в город; Скобелев остановил продвижение и начал спешно подтягивать резервы и артиллерию. В это время его и застал ординарец Ганецкого.

— Прекрасно,— сказал Михаил Дмитриевич, прочитав записку.— На одиночные выстрелы противника не отвечать. Сейчас главное — выдержка.

Турки выслали парламентера лишь после того, как отвели все части за реку. Они стояли там огромной копошащейся массой и, по всей видимости, возвращаться в покинутый город не собирались.

— Адъютант его высокопревосходительства Османа-паши Нешед-бей,— по-французски представился парламентер.

— Я буду вести переговоры только с вашим командующим,— сказал Ганецкий.

Стоявший рядом Струков перевел его условие Нешед-бею. Адъютант горестно развел руками.

— Осман-паша ранен, ваше высокопревосходительство.

— Опасно? — быстро спросил Ганецкий, не дожидаясь перевода.

— Прострелена нога. К счастью, кость цела, как говорит его врач Хасиб-бей.

— Слава Богу, судьба бережет хороших полководцев,— Иван Степанович помолчал, размышляя.— Струков, напиши Осману-паше, что я буду вести переговоры только с его особо уполномоченным на то представителем.

Струков тут же написал записку. Ганецкий подписал ее, не читая, отдал Нешед-бею.

— Поезжай-ка и ты к Осману, Александр Петрович,— вдруг сказал он.— А то разведем тут канцелярию.

— Благодарю, Иван Степанович,— заулыбался Струков.— Для меня это — большая честь.

— Условие одно: полная и безусловная сдача,— торжественно напутствовал старый генерал.

Струков выехал с ординарцем, казаком-коноводом и адъютантом Османа-паши Нешед-беем. Они на рысях миновали расположение русских войск, усеянное трупами поле и придержали коней у моста. Навстречу верхом ехал турецкий паша в сопровождении офицера с белым флагом. Приблизившись, паша остановился, по-восточному, прижав руку к груди, поклонился Струкову, сказав на хорошем французском языке:

— Тахир-паша, начальник штаба армии его высокопревосходительства Османа-паши.

Отрекомендовавшись, Струков спросил, имеет ли паша полномочия от командующего.

— Армия сдается,— вздохнул Тахир-паша.— Поскольку Осман-паша ранен и не может лично выехать навстречу вашему командующему, то он покорнейше просит пожаловать к нему. Он ожидает в шоссейной караулке.

Отослав ординарца к Ганецкому, Струков решил ждать у моста. Тахир-паша, откланявшись, ускакал, и со Струковым остался только казак да подавленно молчавший Нешед-бей. Охрана моста с откровенной ненавистью разглядывала русского генерала и донского казака и пока молчала, но весь противоположный берег, до отказа забитый вооруженными аскерами, угрожающе гудел. Ярость вышедших из боя воинов еще не улеглась. Струков понимал это; толпа демонстративно потрясала оружием и готова была в любое мгновение снова пустить его в дело.

— Ну и зверские же рожи, ваше превосходительство,— шепнул казак.— Того и гляди...

— Вот и гляди да за шашку не хватайся,— оборвал Струков.— Терпи, авось, в атаманы выйдешь.

Вскоре подскакал Ганецкий с почетным конвоем улан. Струков начал было докладывать о разговоре, но старый генерал не слушал его. Вглядевшись в вооруженную наэлектризованную толпу, сказал:

— Сорвись сейчас случайный выстрел — все поначалу пойдет, опять кровища польется. Ступай к Осману, Струков. Коли подтвердит сдачу, за мной пришлешь.

Струков тронул коня. Миновав молчаливую стражу на

мосту, стал подниматься по шоссе среди сплошной толчеи неохотно уступавших дорогу аскеров. За ним ехал казак и Нешед-бей. Они уже приближались к караулке — небольшой мазанке с черепичной крышей, притулившейся к горе,— когда неожиданно перед конем Струкова взметнулось зеленое знамя.

— Ла-илла, илала, ва Магомед расуль алла! — тонким голосом истошно вопил худой старик в чалме, размахивая знаменем.

— Прикажите прекратить! — резко крикнул генерал Нешед-бею, одерживая испуганно всхрапывающего коня.— Не хватайся за шашку, казак.

Казак послушно отвел непроизвольно метнувшуюся к оружию руку, тяжело вздохнув. Вокруг потрясали винтовками аскеры. Нешед-бей, встав на стременах, повелительно крикнул. Старик опустил знамя, юркнул в толпу, и солдаты нехотя расступились.

У караулки Струков спешился, кинул поводья казаку и, не ожидая Нешед-бея, вошел в хижину. В первой комнате было много офицеров, повсюду валялось оружие, рассыпанные патроны и плавали густые облака табачного дыма.

— Где Осман-паша? — громко спросил Струков по-французски.

Один из офицеров молча указал на закрытую дверь второй комнаты. Генерал раздвинул стоявших на дороге офицеров, распахнул дверь и шагнул через порог.

В маленькой комнатке с единственным окошком сидел на деревянной скамье Осман-паша. Левая нога его была обнажена, над раной трудился немолодой доктор, не обративший на вошедшего никакого внимания. На командующем был черный сюртук, расшитый галунами, но без орденов; на поясе висела кривая сабля в дорогих ножнах. В углу комнаты, скрестив руки, молча стоял Тахир-паша. Струков отрекомендовался, Осман-паша жестом пригласил его сесть, но генерал продолжал стоять из уважения к раненому полководцу.

— Я имею честь явиться сюда по приказанию генерала Ганецкого, чтобы поздравить ваше высокопревосходительство с блестящей атакой и сообщить, что генерал Ганецкий ждет у моста вашего подтверждения о полной и безоговорочной сдаче.

Струков говорил по-французски, видел, что Осман-паша понимает его, но по каким-то соображениям предпочитает перевод. Переводил Нешед-бей, неслышно скользнувший в комнату вслед за Струковым. Выслушав его, паша надолго задумался. Потом медленным, ровным голосом сказал что-то своему врачу Хасиб-бею.

— День следует за днем, но Аллах не даровал нам одних удач,— тихо перевел адъютант.

— На все воля всевышнего,— сказал Струков.

Осман-паша медленно покивал, соглашаясь. В комнате опять повисло молчание и было слышно, как за дверью о чем-то громко спорят офицеры.

— Я покоряюсь этой воле,— Осман-паша со спокойной гордостью посмотрел в глаза Струкову.— Мои войска сложат оружие. Мой адъютант повторит эти слова вашему генералу.

Переведя это, Нешед-бей поклонился и тотчас же вышел. В комнатке вновь воцарилась тишина, но вскоре вошел молодой офицер. С удивлением посмотрев на Струкова, поклонился раненому командующему и что-то сказал. Осман-паша кивнул и чуть улыбнулся, словно ожидал услышать именно то, о чем доложил офицер.

— Пока мы дрались, генерал Скобелев занял Плевну,— пояснил Тахир-паша.

Снаружи послышался шум, офицер вышел, и тут же в комнату стремительно вошел Ганецкий. Войдя, остановился на мгновение и, сняв с седой головы повидавшую не одно сражение лейб-финляндскую фуражку, открыто протянул руку Осману-паше. С помощью Хасиб-бея Осман встал, и оба полководца крепко пожали друг другу руки.

— От всей души поздравляю,— громко сказал Ганецкий.— Вы великолепно вели атаку, великолепно, генерал! Вы навсегда сохранили высшее достояние солдата — честь своей родины.

— Кисмет! — вздохнул Осман-паша.

— Да, судьба,— согласился Иван Степанович: он не нуждался в переводчике, тут же по-турецки спросив, не беспокоит ли рана.

— Скоро буду ходить. Правда, в плену.

— Плен ваш будет очень недолгим. Вы слишком почетный пленник и герой Турции.

Оба генерала опустились на скамью, продолжая внимательно разглядывать друг друга. Осман-паша смотрел серьезно и грустно, а седой Ганецкий дружелюбно улыбался. И с той же улыбкой сказал:

— Прикажите же, однако, войскам сложить оружие.

Осман молчал, продолжая задумчиво смотреть на своего победителя. Ганецкий спокойно ждал, понимая, как тяжело турецкому полководцу, пожалованному султаном титулом «гази» («непобедимый»), отдать такое приказание. И все вокруг молчали, только Хасиб-бей осторожно брякал медицинскими инструментами, складывая их в коробку.

— Ваше превосходительство,— тихо сказал Струков, посмотрев на карманные часы.— Скоро начнет темнеть.

— Я прошу вас, генерал, не задерживать более с приказанием,— мягко повторил Ганецкий Осману.

— Первым его должен исполнить я.— Осман-паша тяжело вздохнул и снял с себя саблю.

Ганецкий встал. Осман обеими руками протянул ему оружие, и старый генерал столь же торжественно, в обе руки, принял его.

— Я полвека воюю с вашей страной, генерал,— тихо сказал он.— С двадцать восьмого года, во всех войнах. Но я и мечтать не смел, что когда-нибудь приму оружие из рук лучшего полководца Турции. Может быть, у вас есть какие-либо желания, генерал? Если они в моей власти, я исполню их.

— Желание? — Осман-паша чуть улыбнулся.— Я бы хотел увидеть генерала Скобелева.

— Ждите его здесь, генерал.

Осман вежливо склонил голову, вдруг резко вскинул ее и строго посмотрел на своего начальника штаба.

— Чего вы ждете после того, как ваш командир сложил оружие?

И повелительным жестом указал на дверь. Тахир-паша почтительно поклонился и пошел к выходу. Проходя, сказал Струкову:

— Сейчас армия сложит оружие. Соблаговолите присутствовать?

— Проследить,— приказал Ганецкий.— Вызови караульные команды и немедля пошли за Скобелевым.

Струков отдал честь и вышел вместе с Тахиром. В первой комнате по-прежнему толпились офицеры и по-прежнему плавали облака табачного дыма.

— Командующий сдал свою саблю,— сказал начальник штаба.— Прошу вас пройти к своим частям и обеспечить порядок сдачи оружия.

Сказав это, Тахир-паша вышел из караулки, и Струков последовал за ним. У входа стоял конвой Ганецкого. Распорядившись о караульных командах, генерал отозвал корнета и приказал разыскать Скобелева. Корнет вскочил на коня и помчался в Плевну, а Струков поспешил за Тахиром, который быстро поднимался на холм. Поднявшись, он повернулся к войскам и, воздев руки к небу, начал что-то кричать, а Струков всматривался в угрюмые лица аскеров. Исхудалые, истощенные голодом и боями, они оставались по-прежнему грозной силой, по-прежнему горели решимостью сражаться, и Александр Петрович впервые за этот день

ощутил не только восторг победы, но и огромное облегчение. Самая боеспособная, сплоченная и опытная армия противника во главе с лучшим полководцем Османской империи сдавалась русским войскам.

Но сдавалась эта армия крайне неохотно. Глухой рокот пробежал по толпе, кое-где вновь упрямо взметнулись винтовки. Тахир-паша вырвал из ножен саблю, выкрикнул что-то и бросил ее к ногам Струкова. За ним стали бросать оружие офицеры, что-то объясняя аскерам, выталкивая из рядов самых несговорчивых и силой отбирая у них винтовки. Медленно началось разоружение; многие солдаты в знак протеста разбивали о камни свои прекрасные многозарядки, ломали штыки и ятаганы, разбрасывали патроны, рвали патронташи, сталкивали в воду орудия и зарядные ящики.

А над всей этой разоружающейся армией с того берега уже гремело ликующее «ура!», и первые караульные команды вступали на мост.

5

Победное «ура!» донеслось и до Плевны, где его подхватили скобелевские войска. Сам генерал в это время работал со штабом: распределял части в охранения, отдавал распоряжения по поддержанию порядка в городе. Только что к нему прискакал отец, получивший приказание главнокомандующего принять под свою ответственность пленных и трофейное имущество. Одновременно великий князь, уже знавший, что Скобелев-второй вступил в Плевну, сказал:

— Коли вступил первым, так и быть ему там губернатором.

В тоне Николая Николаевича-старшего звучало раздражение, вызванное стремительной самостоятельностью Михаила Дмитриевича, но старый рубака по простодушию не заметил этого, а приказ передал дословно и с удовольствием.

— Растешь, Михаил,— не без гордости добавил он.— Получается, что я у тебя в подчинении. Дожил, как говорится.

Однако Михаил Дмитриевич не склонен был разделять отцовского торжества. Он сразу понял, что главнокомандующий лишает его этим почетным назначением возможности продолжать боевую деятельность, обрекая на сидение в тылу. А за окнами продолжали воодушевленно кричать «ура!», и это раздражало.

— Олексин, узнай, с чего они там орут,— недовольно сказал он.— И разыщи Млынова.

— Не орут, а воинский восторг выражают,— строго поправил отец, когда ординарец вышел.— Османке хребет сломали, а ты — орут.

— Османке,— проворчал сын.— Нам бы таких «Османок» хоть парочку.

Вошел непривычно оживленный Млынов. Еще с порога крикнул весело:

— Ура, Михаил Дмитриевич!

— Ура,— подтвердил генерал.— Пока они там «ура» кричат и ликуют, разыщи-ка ты мне, Млынов, у местных купцов добрых полушубков. На крайний случай, овчин: сами пошьем.

— Сколько?

— Столько, чтоб дивизию одеть: интендантство солдат без подштанников на зиму оставило. Заранее скажи, что за деньги, а то попрячут. Ступай.

Млынов ушел, более ни о чем не спрашивая. А старший Скобелев перестал безмятежно улыбаться и сдвинул седые брови.

— За какие же это деньги? — настороженно спросил он.— В карты, что ли, выиграл? Так ты в них, насколько мой карман помнит, отродясь еще не выигрывал.

— Князь Имеретинский обещал,— как можно естественнее сказал Скобелев, склоняясь над бумагами.

— Имеретинский? — с недоверием переспросил старик.— Ну, это другое дело, ежели Имеретинский.

— Корнет от генерала Ганецкого,— доложил Олексин, появляясь в дверях.

Юный корнет, розовый от воодушевления и скачки, влетел в комнату. Звякнув шпорами, доложил, что генерал Ганецкий просит тотчас же прибыть к Осману-паше генерала Скобелева.

— Какого именно Скобелева? — спросил Михаил Дмитриевич.

— Обоих, ваши превосходительства! — не задумываясь, гаркнул корнет, поскольку не получил от Струкова ясных указаний.

Оба Скобелева прискакали к шоссейной караулке, когда разоружение уже закончилось. Офицеры строили молчаливых, покорившихся участи аскеров под наблюдением русских конвойных команд, Ганецкий уехал с докладом к великому князю главнокомандующему, а всем распоряжался Струков. Он радостно приветствовал Михаила Дмитриевича, с некоторым удивлением — старика, и приказал Нешед-бею доложить об их прибытии Осману-паше.

— Он вас представит, а меня извините, господа. Дел по горло.

— Аскеров накормить надо,— сказал Михаил Дмитриевич.

— Хлеб сейчас подвезут, а с мясом до утра обождать придется.

Вернулся Нешед-бей и с поклоном пригласил генералов в караулку. Оба Скобелева последовали за ним; в первой комнате уже не было офицеров, а размещались тяжелораненые: здесь работал Хасиб-бей и двое русских врачей. Адъютант распахнул дверь во вторую комнату, и генералы вошли туда.

Осман-паша сидел на прежнем месте, но встал с помощью подскочившего адъютанта. С недоумением посмотрев на седого генерала, сначала почтительно поклонился ему, а затем протянул руку Скобелеву-младшему и что-то сказал, улыбнувшись:

— Его превосходительство говорит, что пожимает сейчас руку будущему русскому фельдмаршалу,— перевел Нешед-бей.

— Передайте паше мою признательность и скажите, что я искренне завидую ему. Он оказал своей родине неоценимую услугу.

Когда Нешед-бей перевел его, Скобелев представил отца. Осман-паша еще раз почтительно поклонился старику, но продолжал смотреть только на молодого генерала.

— Я отдал свою саблю генералу Ганецкому, но было бы справедливее, если бы я вручил ее вам, Ак-паша. Вы дважды заставили меня думать о поражении, а значит, дважды победили,— Осман-паша вежливо улыбнулся старику.— Я с удовольствием поздравляю вас, генерал, с великим сыном.

— Ничего,— невпопад ответил Дмитрий Иванович, растерянно погладив усы.— Пил бы поменьше, так и цены бы ему не было.

Неизвестно, как перевел эту фразу Нешед-бей, но Осман-паша тихо рассмеялся.

— Кровный скакун спотыкается чаще рабочей лошади.

Скобелева обидела эта покровительственная похвала. Он был военным не просто по призванию, а по особому складу души, где все решительно подчинялось восторженному азарту боя, ослепительной уверенности в победе, твердой убежденности в своей правоте. Он всегда уважал противника, но при этом требовал и ответного уважения. Не к себе — для этого он был достаточно самоуверен,— к русской армии.

— Этот же афоризм я могу адресовать и вашему высокопревосходительству.

Осман-паша продолжал улыбаться, но из улыбки уже уходила теплота.

— После третьего штурма с поля боя выбрался солдат. Я навестил его в госпитале, и он рассказал, как на его глазах добивали моих раненых.

— Война жестока. Кроме того, это были башибузуки.

— Это были ваши воины, Осман-паша,— отчеканил Скобелев.— Вам известно, что у нас действуют лазареты для пленных? Вам известно, что мои солдаты под огнем вытаскивают раненых аскеров, которых вы бросаете на верную гибель?

— Мне известно, что вы оказываете помощь раненому противнику, но аскер этого не знает и не узнает никогда,— сухо сказал Осман.— Аскер знает одно: с ним поступят так, как поступает он. И чтобы он не сбежал в ваши лазареты, я вынужден закрывать глаза на его жестокость. Это — закон войны, генерал.

— Это нарушение законов войны, паша. Вы не уверены в своих солдатах, а потому и повязываете их страхом за совершенные преступления. Вам не кажется, что вы заменили солдатскую честь круговой порукой бандитов?

— Мне кажется, что вы — последний генерал в истории, который еще верит в эту самую честь.

Вошел Струков, сообщивший, что по повелению великого князя Осман-паша должен отбыть в Плевну и что экипаж паши уже подан. Турецкие офицеры на руках вынесли раненого командующего и усадили в коляску, запряженную буланой парой в английских шорах. Хасиб-бей устроился напротив паши, Струков верхом ехал сбоку, а сзади двигался конвой улан и турецкая свита паши.

— Генералам и в тылу ни жарко ни холодно,— вздохнул старший Скобелев, когда остались одни.— Тебя, поди, тоже на руках носить будут, коли в плен угодишь?

— Нет уж, ваше превосходительство, я всегда застрелиться успею,— неожиданно зло отрезал сын.

В двенадцать часов следующего дня наступившую тишину вновь нарушил грохот канонады: русская артиллерия салютовала въезду Александра II в Плевну. В одном из лучших болгарских домов был сервирован завтрак для императора, особ царской фамилии, румынского князя Карла и некоторых избранных. Во дворе были накрыты столы для офицеров свиты, которым прислуживали болгарские девушки в праздничных нарядах.

В доме не успели поднять бокалов за здоровье государя, как за окнами раздался шум: турецкий полководец шел к дому, опираясь на Хасиб-бея. Русские и румынские офицеры встали, Осман молча пересек двор и сразу же был введен к императору. Низко поклонившись, остался у порога, ожидая вопросов.

— Что вас побудило прорываться? — спросил император после весьма продолжительного молчания.

— Долг, ваше величество.

— Отдаю полную дань уважения вашей твердости в исполнении священного для всех долга служения своей родине,— напыщенно сказал Александр.— Знали ли вы о полном окружении Плевны?

— Я не знал подробностей, государь, но, даже если бы я знал их, я бы все равно поступил так, как поступил.

— На что же вы рассчитывали?

— Полководец всегда рассчитывает на удар там, где его не ждут, государь. В данном случае я надеялся, что генерал Ганецкий примет мою демонстрацию за направление решающей атаки.

— В знак уважения к вашей личной храбрости я возвращаю вам саблю.

— Благодарю, ваше величество,— паша низко поклонился.

В то время как происходила эта театральная церемония, Дмитрий Иванович Скобелев прискакал к сыну. Оба генерала были молчаливо обойдены приглашением к царскому завтраку, но старику стало известно, что Скобелев-младший утром испросил аудиенцию и был принят.

— Унижался? — загремел старик, едва переступив порог.— Сапоги царские лизал, а что вылизал? Вот что! — он повертел фигой перед надушенной и любовно расчесанной бородой сына.— Тебе сам Османка руку тряс, а хрен вам вместо праздничка, хрен с редькой, ваше превосходительство!

— Хрен с редькой — тоже закуска,— улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Он был в мундире, при всех регалиях и вместе с парадно одетым Млыновым деятельно накрывал на стол. Столь же парадный Куропаткин молча поклонился разгневанному генералу.

— Празднуешь? — презрительно отметил Дмитрий Иванович.— Унижение водкой заливаешь?

— Не унижение — победу,— сказал Скобелев.— Готово, Млынов? Зови. А ты, Алексей Николаевич, наливай пока. Первый тост — стоя.

Куропаткин едва успел разлить шампанское, как Млынов пропустил в комнату Олексина.

— Доброе утро,— Федор удивленно оглядел накрытый стол и парадно одетых командиров.— Звали, Михаил Дмитриевич?

— Возьми бокал,— Скобелев обождал, пока все разберут

шампанское, расправил бакенбарды.— Сегодня утром государь соизволил произвести тебя в офицеры. За здоровье подпоручика Олексина! — он залпом осушил бокал, взял со стола погоны и протянул их Федору.— Носить с честью. И чтоб завтра представился мне по всей форме.

— Благодарю, Михаил Дмитриевич,— растерянно пробормотал Федор.

— Вот уж нет! — сердито фыркнул старик.— Кончился для тебя Михаил Дмитриевич, понятно? Отныне он тебе — ваше превосходительство. Так-то, поручик, и дай-ка я тебя поцелую на счастье!..

Глава одиннадцатая

1

Осень 1877 года выпала затяжной и холодной, зима обещала морозы и снегопады, а русская армия была разута и раздета: по всей логике надлежало перейти к обороне, перезимовать и весною возобновить боевые действия. Внимательно следивший за ходом этой войны германский канцлер Бисмарк, исходя из этой логики, приказал убрать со своего стола карту Балканского театра военных действий.

— Она не понадобится мне до весны.

Гавриил считал, что он тоже не понадобится до весны. Он находился в офицерском госпитале для выздоравливающих; решительно отклонив предложение уйти в отпуск, написал письмо Столетову с просьбой использовать его хотя бы для обучения новых ополченцев. В ожидании ответа читал, отсыпался или гулял в одиночестве: он стеснялся своего исполосованного шрамами лица, понимал, что это глупо, и все же избегал офицерских компаний, особенно если в них слышались женские голоса.

В середине декабря Олексин получил письмо от начальника 3-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Павла Петровича Карцова: «Капитан Олексин Гавриил Иванович откомандировывается в распоряжение штаба Троянского отряда, для чего ему надлежит незамедлительно прибыть в город Ловчу». Гавриил тут же выехал и сразу был принят начальником штаба дивизии подполковником Сосновским. Поздравив Олексина с производством в чин капитана, а также с награждением орденами Георгия и Владимира за предшествующие дела, подполковник перешел к цели спешного вызова.

— Главнокомандующим принято решение преодолеть Балканы, когда противник, да и весь мир, этого не ожидает. Колонна генерала Гурко выступает на Софию, через Имитлийский перевал в скором времени пойдет Скобелев. Для обеспечения этих ударов формируется Троянский отряд, которому тоже предстоит переход через горы.

Полковник Илья Никитич Сосновский был отменно здоров, его гладко подбритые щеки полыхали девичьим румянцем. Гавриил не питал к таким офицерам симпатий, а этот отличался еще и штабным кокетством, окружая противника легким движением аккуратно отточенного карандаша.

— Насколько мне известно, Троянские Балканы зимой непроходимы.

— Совершенно верно, капитан,— с непонятным удовольствием согласился Сосновский.— Генерал Левицкий так сформулировал нашу задачу: «Жертвы необходимы, и даже если вы все там погибнете, то и тем принесете громадную пользу для целой армии». Цитирую дословно, ибо смысл нашего марша — активная демонстрация.

«Воевал он доселе все больше за зеленым сукном,— неприязненно подумал Гавриил.— А демонстрировал на балах».

— Каковы наши силы?

— Если мы будем рассчитывать только на себя, мы не просто погибнем — мы погибнем бессмысленно,— сказал подполковник.— Мы должны рассчитывать еще на две силы: на помощь местных жителей и на гайдуков Цеко Петкова.

При упоминании Петкова Гавриил сразу понял, почему именно его откомандировали в Троянский отряд. Правой рукой воеводы был Стойчо Меченый — боевой товарищ Олексина по Сербской войне.

— Кто же обо мне вспомнил? — улыбнулся капитан.

— Сам воевода, Олексин. Вы назначены нашим представителем у Петкова и будете координировать совместные боевые действия. Но это потом, сначала мне нужна разведка. Как именно, где и какими силами противник охраняет перевал, где резервы и какова их численность? И самое главное: возможные пути обхода турецких укреплений. Чета Петкова организована по всем воинским правилам, хорошо вооружена, имеет опытного начальника штаба. Его имя — Здравко, фамилии я не знаю. С ним вам и предстоит работать. Завтра за вами заедет управитель Троянской околии Георгий Пулевский. Кстати, он обеспечивает помощь местных жителей. Генерал Карцов распорядился идти с полевой артиллерией, значит, понадобятся упряжные волы.

— С горными было бы проще.

— Горными пушками мы противника не удивим, а полевыми десятифунтовыми заставим призадуматься, не здесь ли русские наносят главный удар. Уж коли играть, так по-крупному, не так ли, капитан?

В это время главнокомандующий великий князь Николай Николаевич обсуждал с генералами Карцовым и Левицким детали предстоящего броска через Балканы. Левицкий, в последнее время заметно потеснивший старого Непокойчицкого, сыпал цифрами: расстояния, глубина снежного покрова, скорость передвижения и тому подобное. Он весь был сосредоточен на каких-то второстепенных деталях, но цифры нравились главнокомандующему; Карцов пропускал их мимо ушей, справедливо полагая, что сочинены они в кабинетах, а на Троянском перевале его ожидает нечто совсем иное. Когда Левицкий наконец замолчал, сказал осторожно:

— Ваше высочество, это прекрасный и дерзкий план, но я прошу учесть, что сроки его исполнения зависят не от штабных расчетов, а от природы, с коей бороться труднее, чем с противником.

— Если успеешь и перейдешь — честь и слава,— сказал Николай Николаевич, тыча пальцем в грудь генерала при каждом слове.— Если нет — демонстрируй, но молодецки, усердно демонстрируй. Природа? Знаю. Знаю, что пройти невозможно, но ты пройдешь. С Богом, генерал. Дай, я тебя поцелую.

Сосновский и Олексин расстались совсем не столь торжественно. Оба почувствовали взаимную антипатию, и если Гавриил определил начальника штаба как жуира, то Илья Никитич про себя обозвал капитана ипохондриком и пожалел, что замену искать уже поздно.

Георгий Пулевский заехал за Гавриилом ранним утром.

— Я очень рад познакомиться с вами, господин капитан,— сказал он, крепко пожимая руку Олексину.— Видел вас под Старой Загорой, но кажется, здесь нам предстоит что-то потруднее. Знаете, как у нас зовется Троянский перевал? Магаре смърт — ослиная погибель. А в эту зиму холода таковы, что замерзли горные потоки.

— Генерал Карцов распорядился доставить на перевал девятифунтовые орудия.

— Тяжко,— вздохнул Пулевский.— Мы готовим дорогу от Княжевицких колиб.

Пара лошадей легко несла сани по накатанной дороге. Слегка морозило, воздух был чист и прозрачен, и Гавриил с наслаждением вдыхал его. По пути остановились в небольшом селении, покормили коней, поели сами и тут же тронулись дальше. Уже в сумерках показался полусожжен-

ный турками Троян, но Пулевский, не доехав, свернул налево.

— Разве мы не в Троян? — спросил Олексин.

— Мы — к отцу Макарию в Троянский монастырь Успенья. Вас ждут там.

— Мне нужно поскорее попасть к Цеко Петкову, бай Георгий.

— Воевода Цеко — старый друг отца Макария,— Пулевский был очень польщен, что Олексин употребил болгарскую вежливую форму обращения к старшему по возрасту.— У него в монастыре находили убежище не только мы с Цеко — я ведь тоже гайдук, капитан, но и сам Василь Левский. Монастырь Успенья всегда был нашей опорой в борьбе с османами. И сейчас монахи прокладывают дорогу в горах, заготовляют фураж и пекут хлеб на сухари для отряда генерала Карцова.

К монастырю подъехали в темноте. Тяжелые ворота распахнулись тотчас же, сани миновали первый двор и остановились во втором.

— Приехали, капитан,— сказал бай Георгий.

Олексин не успел вылезти из саней, как кто-то высокий ловко подхватил его под руку.

— Я замерз в сосульку, ожидая вас, командир!

— Митко?

— Он самый, командир. Кажется, сегодня есть повод выпить доброй троянской ракии, бай Георгий? Нечасто у нас такие гости. Идите за мной, командир.

Митко повел Гавриила на антресоли второго этажа. У лестницы стоял монах с фонарем, вежливо поклонившийся капитану.

— Добре дошли, господин капитан. Заповядайте.

— Я провожу, отец дьякон,— сказал Митко.— Посвети бай Георгию.

На длинную террасу второго этажа выходили двери келий. Митко распахнул одну из них.

— Прошу, командир.

Пригнувшись, Олексин шагнул через порог. В небольшой келье за накрытым столом сидели трое мужчин. Двоих Гавриил узнал сразу, но с порога низко поклонился тому, кто́ сидел в центре: почтенному старцу с иконописным строгим и благородным лицом, в простой черной рясе, с серебряным крестом на груди. Он сразу понял, что это и есть архимандрит отец Макарий; справа от него сидел Цеко Петков, в богато расшитом костюме, улыбаясь в густые усы, а молодой гайдук шагнул из-за стола навстречу.

— Рад видеть вас живым, Олексин.

— Здравствуйте, Стойчо.

Друзья обнялись, и Меченый подвел капитана к отцу Макарию.

— Позвольте представить вам, святой отец, моего друга капитана Олексина.

— Я много слышал о вас, капитан,— сказал игумен.— Слава опережает тех, кто обнажает меч за правое дело.

Пришел Пулевский. Отец Макарий благословил трапезу; все молча приступили к ужину, только Митко изредка подмигивал Гавриилу, совсем так, как когда-то в кафане. Наконец с ужином было покончено, воевода поднял последнюю чашу, отпил глоток, привычным жестом расправил усы.

— Если позволишь, отец Макарий, я начну разговор, которого ждет гость.

— Возблагодарим Господа и перейдем к делам.

— Завтра ты увидишь, капитан, голую вершину Троян. Турки называют ее Курт Хиссар — Волчья крепость: там их укрепления. Здравко давно присматривается к ним, наши разведчики облазали все вокруг. Мы ждем разведку, но Кирчо что-то запаздывает. Наверно, будет к утру,— Петков посмотрел на Меченого, но Стойчо лишь неопределенно пожал плечами.— Сколько турок сидит в крепости, сколько — в резервах, нам пока неизвестно.

— Можно ли обойти укрепления?

— Мы ищем пути.

— Большие морозы, большие снега,— сказал отец Макарий.— Старые тропы занесло, Трояны стали непроходимы, но мы проведем генерала Карцова.

— Генерал приказал готовить дорогу для полевых пушек,— уточнил бай Георгий.

— Это правильно,— согласился Петков.— В горах враг прячется за камень, нужна мощная артиллерия.

— Очень важно поскорее узнать, сколько турок обороняют перевал и где их резервы,— напомнил Олексин.

— Кирчо должен был доставить разведку,— Цеко Петков еще раз озабоченно глянул на Меченого.— Если не придет к утру, ты, Стойчо, пойдешь навстречу. Заодно доставишь капитана к Здравко, он давно уже ждет его.

— Здравко,— повторил капитан, пытаясь припомнить.— С нами в Сербии его не было.

Смешливый Митко неожиданно громко фыркнул и тут же смущенно забормотал:

— Простите, святой отец, не удержался. Это же так смешно: Здравко его ждет не дождется, а он говорит, что его в Сербии не было.

Меченый сдержанно улыбнулся:

— Здравко вы хорошо знаете, Олексин. Это — Збигнев Отвиновский, начальник штаба нашей четы.

Лицо Олексина было, вероятно, настолько удивленным, что Митко, не выдержав, вновь весело расхохотался и крепко хлопнул себя по бедрам обеими руками.

2

В то время, когда Митко весело смеялся в келье Троянского монастыря, Кирчо был еще жив. Задыхаясь и с каждым выдохом выплевывая на снег сгустки крови, он брел по заметенной, одному ему ведомой тропинке, падал; собрав силы, вставал, шел снова, и снова падал.

Он не ожидал встретить турок там, где встретил. Где ожидал, шел осторожно, часто останавливаясь и прислушиваясь, перебегая, а то и переползая открытые места. Но здесь-то, на северном склоне, где гайдуки давно уже чувствовали себя полными хозяевами, он никак не предполагал, что его внезапно ударит в грудь пуля. Ощутив этот удар, он сразу же упал в снег — благо, снег был рыхлым, недавним,— утонул в нем, и следующие пули не нашли его. Лежал, не шевелясь, ожидая, что турки подойдут поближе, на револьверный выстрел: он бы услышал их шаги. Но турки, свалив его первым выстрелом и выпустив еще несколько пуль, посчитали, вероятно, что он убит, и не пошли. Кирчо долго лежал, не ощущая боли, но чувствуя теплую кровь, что текла по груди: рубашка быстро намокала, прилипая к телу. Потом шевельнулся, ожидая выстрелов, но никто больше не стрелял: турки ушли. Тогда он сел и увидел рану: пуля ударила ниже правого плеча, пробив верхушку легкого. Он затолкал в рану лоскутья рубашки, кое-как перевязал и пошел. Он нес разведку воеводе и должен был дойти.

Поначалу казалось, что ничего страшного не произошло. Он был очень силен, да и кровь вроде бы не слишком текла из раны. Морозный воздух приятно освежал лицо, Кирчо никогда не задыхался в горах, но тут вдруг ощутил, что воздуха мало, стал дышать глубже и чаще, и тогда с каждым выдохом начала выбрасываться кровь. «Дрянь твое дело, Кирчо,— подумал он.— Надо отдыхать, иначе не хватит крови. Просто не хватит...» Сначала он садился после каждой полтысячи шагов, потом — после двухсот, а вскоре почувствовал, как тянет ко сну, когда он садится, и как все труднее вставать после отдыха. И невольно начал думать о ране, о пробитом легком, о том, что у него недостанет сил

пробиваться по пояс в снегу, и, чтобы отогнать эти расслабляющие мысли, решил вспоминать по порядку всю свою недолгую двадцатитрехлетнюю жизнь.

Он вырос в селе, где турки и болгары жили рядом. Конечно, у турок и земли было побольше, и воды хватало, и в вечерние прохладные часы, когда турецкие женщины выходили подышать воздухом, болгарам запрещалось покидать дома, но жили, в общем, мирно. А сосед — добродушный рослый турок с двумя такими же рослыми, крепкими сыновьями, случалось, помогал в поле по-соседски, как и ему всегда помогала убраться с урожаем семья Кирчо: он, отец, мать и сестра. Естественно, о дружбе между семьями и речи быть не могло, и Кирчо с детства принимал все как должное, но ни обид, ни оскорблений, ни посягательств на имущество не было. Кирчо привычно ходил по солнечной стороне, зная, что тень принадлежит туркам, уступал им дорогу, низко кланялся при встрече и никогда не заговаривал первым. Таковы были условия жизни, и он безропотно принял их, как до него принимали эти условия его отец, деды и прадеды.

— Уссур!..

До сих пор он помнил этот крик. Даже сейчас, когда кружилась голова, когда клонило ко сну, дрожали ноги и с каждым выдохом вытекали на снег сгустки алой крови.

— Уссур!..

В 1876 году у них было тихо. Здесь не существовало подпольных комитетов, сюда не наведывались апостолы Василя Левского, и гайдуки далеко обходили село, где каждый болгарский дом соседствовал с турецким. До них доносились известия о восстаниях, вокруг полыхали селения и гремели выстрелы, но они ни в чем не провинились перед турецкими властями.

Но однажды утром над селом раздались крики болгарских женщин. Вся их семья сразу выбежала на улицу: беду издревле привыкли делить пополам, потому что только так можно было выжить. И еще не поняли, в чем дело и почему так страшно кричат женщины, как на улицу вышел сосед — турок. Всегда добродушно улыбающийся, он забыл тогда об улыбке. В руке его был остро отточенный ятаган, за поясом — пистолет. Следом шли вооруженные сыновья.

— Уссур!..— крикнул он, увидев их.

Мать закричала, а отец безмолвно опустился на колени, сложив на груди руки и вытянув шею. Сверкнул ятаган, голова отца скатилась в апрельскую грязь, а братья уже тащили его сестру.

Так начиналось то, что турецкое правительство впослед-

ствии пыталось выдать за стихийную самозащиту мусульманского населения, хотя само отдало приказ о массовых погромах и резне. Конечно, если бы семья Кирчо тогда не выбежала на улицу, их бы, наверное, не тронули: турки исполняли приказ, но не врывались в дома соседей. Но они выбежали...

— Уссур!..

Кирчо не встал на колени. Он никогда не мог вспомнить, как в его руках оказался кол. Он взмахнул им раньше, чем турок ятаганом: сосед, с проломленным черепом, рухнул рядом с обезглавленным телом отца. Последнее, что Кирчо помнил, был крик матери:

— Беги!..

Он спасся, хотя за ним гнались все турецкие парни. Сумел уберечься от их выстрелов, уйти от их коней и через три дня пробраться в горы. Неделю он блуждал там, кормясь у чабанов, пока его не свели с Меченым. Он неплохо отомстил за отца, и вот сегодня наконец-то турки рассчитались с ним.

— Уссур!..

Нет, они больше никогда не крикнут этого слова болгарам, и никогда болгарин не станет на колени. Кирчо нес разведку, и не сегодня, так завтра последняя турецкая крепость обречена пасть под ударами русских войск.

Кирчо уже не шел, а полз, разгребая руками снег. Он ясно понял, что ему не дойти до монастыря, но он должен был, обязан был пройти свою тропу и выйти на тропу Меченого. Только там Стойчо мог наткнуться на его тело и взять разведку, написанную Збигневом Отвиновским.

Ветер усиливался; голая, как череп, вершина перевала уже не проглядывалась за снежной завесой. Дышать стало совсем невмоготу, и Кирчо хрипел, с трудом втягивая воздух. А в груди клокотала и булькала кровь; он чувствовал, что задыхается, но должен был, обязан был проползти последние сотни шагов, чтобы выйти на привычную для Меченого тропу. Он сбросил с себя все что мешало — ремни, одежду, оружие,— оставшись в одной окровавленной, заколодевшей на морозе рубашке. И туманно подумал: хорошо, что рубашка в крови,— Меченый скорее заметит ее среди ослепительно белого горного снега.

Он раньше почувствовал, чем увидел, что дополз до приметного корявого дерева: отсюда начиналась тропа Меченого. А сознание уже мутилось, воздух с трудом, с хлюпаньем и свистом, проникал в переполненные кровью легкие, но Кирчо ощутил облегчение. Больше не надо было ползти, надрываясь, с огромными муками отвоевывая каж-

дый шаг: он дошел туда, куда хотел дойти. Завтра утром Меченый найдет его тело и разведку Отвиновского, передаст ее русским, и никакая Волчья крепость не спасет османов от разгрома. Кирчо оперся спиной о ствол дерева и хрипло рассмеялся: и в последнем своем бою он все-таки победил. И закрыл глаза: он заслужил спокойную смерть.

А снег валил и валил и с неба и с гор. Кирчо не чувствовал холода — он чувствовал другой холод, изнутри, вечный холод смерти,— но в ускользающем, уже уходящем сознании мелькнула вдруг ясная мысль: снег. Снег заметет его тело, и утром Меченый, не заметив, пройдет мимо.

Он не мог этого допустить. И собрав все силы, хрипя и судорожно выкашливая густую кровь, встал, цепляясь за дерево. Вынул из шаровар пояс, зажал в левой руке бумагу, которую должен был доставить, захлестнул ее у запястья петлей и накрепко привязал к обледенелому суку. И сполз в снег, в кровь обдирая спину о шершавый древесный ствол.

3

Митко разбудил Гавриила затемно. За крохотным окном кельи бушевал ветер, стекла звенели от колючего сухого снега.

— Кирчо не пришел. Воевода приказал идти искать.

— Думаешь, турки взяли? — спросил Олексин, быстро одеваясь.

— Кроме турок, командир, есть еще и пропасти,— вздохнул Митко.

У Петкова были Меченый и бай Георгий. Все трое лишь молча кивнули капитану.

— Ешьте поплотнее и ступайте искать Кирчо,— распорядился Петков.— Если найдете, отправите Митко с разведкой, а сами пойдете в чету. Я с отцом Макарием и Георгием выеду в Княжевицкие колибы: туда к полудню должен прибыть подполковник Сосновский. В перестрелки не вступать.

Олексин никогда не видел воеводу таким суровым, но сразу понял, чего он опасается. Если разведка, которую нес Кирчо, попала к противнику, придется на ходу менять весь план похода, а времени уже не было.

— Кирчо скорее бы бросился в пропасть,— сказал Меченый.

— Найди,— отрезал Цеко Петков и протянул руку Олексину.— До встречи в чете, капитан.

Когда вышли, чуть просветлело, перестал идти снег, но ветер по-прежнему яростно рвался с гор в долины, сек лицо,

не давал дышать. Митко шел впереди, по пояс проваливаясь в рыхлый снег и утаптывая дорогу. Гавриил никак не мог понять, по каким ориентирам гайдук находит заметенную тропу, не останавливаясь, безошибочно меняя направления. Еще вчера, узнав, что Збигнев Отвиновский умудрился вторично пробраться к Цеко Петкову, он хотел подробнее расспросить о нем. Но разговор складывался по-иному: отец Макарий, воевода и бай Георгий обсуждали с капитаном пути движения колонн генерала Карцова, рассчитывали продовольствие и фураж, места лазаретов и перевалочных пунктов, потребное количество саней, волокуш, волов и буйволов. Он отложил расспросы до утра, а утро встретило таким неожиданным ударом, что сразу стало не до Отвиновского. Лучший, опытнейший гайдук четы не пришел в монастырь, имея при себе решающую разведку.

Путь был тяжел, заснеженная тропа круто поднималась в горы; с непривычки Гавриил задыхался, но внимательно смотрел по сторонам, надеясь заметить хоть какой-нибудь след. Вокруг было пустынно, от яростной белизны слезились глаза, и следы Кирчо, даже если он и добрался сюда, давно уже были занесены пушистым, всю ночь валившим снегом.

Спутники молчали. Шедший позади Меченый изредка останавливался, тщательно обшаривая биноклем белое безмолвие склонов, заметенные деревья и черные обломки скал.

— Если услышите окрик или выстрел, сразу падайте в снег,— сказал он Олексину в начале пути и более не разговаривал.

Они поднялись довольно высоко, когда Меченый впервые дал капитану передохнуть. И вовремя: несмотря на мороз, Гавриил взмок и жадно хватал воздух пересохшим ртом. Воздух здесь уже был пореже и поморознее; Олексин еще не приспособился к высоте — кровь часто била в виски и кружилась голова. Опершись о палку, которой его снабдил Митко, капитан старался дышать глубже и реже, чтобы поскорее успокоилось сердце.

— Ты знаешь, каким путем он ходил в монастырь? — спросил Меченый.

— У Кирчо — свои тропы,— вздохнул Митко; сегодня ему было не до обычных шуток.

— Вы отдохнули, капитан? Пошли, нельзя остывать.

Ветер стал сникать, а тропа все круче забирала в горы. Митко старательно утаптывал снег, идти с каждым шагом делалось все труднее. Олексин, оступаясь и проваливаясь, упрямо шагал и шагал, хотя дышать было уже нечем и в голове тяжко стучали молоты. Меченый нагнал его.

— Посмотрите вперед: голая гора — вершина перевала.

Вот там-то и расположен Курт Хиссар, где нас ожидают турки.

— Надо обойти,— задыхаясь, сказал Олексин.— Можно ее обойти?

— Нужно,— вздохнул Стойчо.— Если расселины забило снегом...

— Рука! — вдруг крикнул Митко.— Рука у дерева!

Из снега торчала голая рука, примотанная к обледенелому суку. Из-под захлестнувшей ее ременной петли виднелся конверт. Митко уже торопливо разгребал снег.

— Это Кирчо,— задыхаясь, бормотал он.— Кирчо, командир.

Меченый попробовал вытащить из-под петли конверт, но ремень был затянут намертво. Стойчо достал нож, разрезал ремень, бережно развернул смерзшуюся бумагу.

— Да, это Кирчо. Читайте, Олексин.

Он отдал донесение капитану и стал помогать Митко разгребать снег. Гавриил хотел помочь, но Меченый сурово повторил:

— Читайте, капитан.

— «Курт Хиссар: два ряда окопов, семь каменных укрытий для стрелков,— читал Олексин.— Правее его — редут Картал. Турки охраняют перевал шестью таборами и сотней султанской гвардии. Расположение: Курт Хиссар — три табора, два орудия. Редут Картал — один табор, орудий нет. Резерв — в деревнях Текке и Карнари — два табора и гвардейцы султана. Командир Рафик-бей: служака из солдат. Смел, опытен, но недальновиден, и в бою, как правило, решений не меняет. Схему обороны прилагаю, обходные тропы ищу. Здравко».

Олексин опустил письмо и впервые увидел окаменевшее тело Кирчо. Мертвые, остекленевшие на морозе глаза смотрели в упор на капитана, изодранная, окровавленная рубаха ярким пятном выделялась на чистом снегу, а нелепо и страшно заломленная, вывернутая в плечевом суставе левая рука указывала ввысь. На Волчью крепость турок Курт Хиссар.

4

В соответствии с планом общего штурма Балканского хребта Западный отряд под командованием генерала Гурко на рассвете 13 декабря выступил в направлении на Софию. После неимоверно трудных десятидневных боев и маршей утром 25 декабря Кавказская казачья бригада

первой вошла в Софию. В тот же день великий князь Николай Николаевич-старший телеграфировал военному министру Милютину:

«...ВОЙСКА ОТ СТОЯНКИ И РАБОТЫ НА ВЫСОКИХ БАЛКАНАХ И ПРИ ПОХОДЕ ЧЕРЕЗ НИХ ОСТАЛИСЬ В ЭТУ МИНУТУ — РАВНО ОФИЦЕРЫ И НИЖНИЕ ЧИНЫ — БЕЗ САПОГ УЖЕ ДАВНО, А ТЕПЕРЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕЗ ШАРОВАР...»

Как бы там ни было, а жители Софии уже восторженно встречали разутое, раздетое, но победоносное русское войско. Отряд Гурко первым проломил забаррикадированную льдами, морозами и снегом дверь Балканского хребта; очередь была за отрядом генерала Карцова. Пока от него требовалась лишь демонстрация, чтобы сковать резервы противника и тем самым помочь отряду генерала Скобелева-второго прорваться Имитлийским проходом.

Первым эшелоном отряда, выделенным Карцовым для демонстрации, командовал подполковник Сосновский. Ему предстояло проложить дорогу основным силам, перетащить артиллерию, подготовить позиции на виду у неприятеля и ждать подхода остального отряда, навязав туркам огневой бой. До Княжевицких колиб эшелон добрался без особых трудностей по уже проложенной болгарами дороге; далее предстояло штурмовать кручи, снега и льды.

В ночь на 23 декабря никто не спал на биваке у Княжевицких колиб. Артиллеристы разбирали два девятифунтовых орудия, предназначенных к подъему на вершины. Стволы орудий укладывались в долбленые дубовые лубки, а передки, лафеты, колеса и прочее — на салазки. И в лубки, и в салазки впрягали волов и буйволов: пробовали, подгоняли упряжь, приноравливались. К каждой такой волокуше отряжалось по шестьдесят человек болгар, пехотинцев и казаков: волы должны были лишь удерживать тяжесть на крутых обледенелых склонах — тащить приходилось людям.

Монахи Троянского монастыря и местные жители под руководством саперов еще с вечера ушли торить дорогу: утаптывать снег, вырубать ледяные наплывы, убирать корни, камни и рухнувшие деревья. Казаки и пехотинцы получили патроны и сухарное довольствие на четверо суток; кругом трещали огромные костры, возле которых грелись русские и болгары, слышался смех, веселые голоса, гармонь.

Стрелковый батальон подполковника Бородина готовился к походу с особой тщательностью, без обычного балагурства. Стрелки выступали первыми и налегке; скорым маршем, без дорог и троп должны были подняться на последний кряж

перед перевалом, чтобы упредить турок и не позволить им оборудовать там позиции. Стрелков вели проводники из четы Цеко Петкова только им ведомыми путями. Сам воевода лично осмотрел солдат.

— На каждые пять человек нужно иметь длинную веревку. Если кто сорвется, четверо вытащат.

Веревок в запасе не оказалось, но выручили казаки, отдав свои арканы. Ровно в четыре утра стрелки молча тронулись в путь. Вскоре кончилась протоптанная дорога, проводники, по пояс проваливаясь в снег, шли впереди, держа перед грудью посохи. За ними гуськом, в три цепочки ломились сквозь сугробы солдаты.

Через два часа двинулись основные силы первого эшелона. Даже на проторенной и расчищенной дороге крутизна была такова, что разделенные на двадцатки болгары, казаки и пехотинцы, протащив груженые лубки на два-три аршина, без сил падали на снег. За веревки, привязанные к волокушам, тут же хватались следующие двадцать, и все повторялось. Здесь каждый шаг стоил неимоверных усилий, каждый аршин брался с бою; несмотря на семнадцатиградусный мороз, люди работали в одних рубахах и рубахи были насквозь мокры от пота. Древние Трояны, помнившие еще попытки римских легионов и византийских армий покорить их, впервые за все времена огласились дружным стонущим напевом русской «Дубинушки».

Митко доставил разведку Отвиновского еще накануне. Силы и расположение турок стали известны; вечером следующего дня в Княжевицкие колибы прибыл генерал Карцов. Выслушав доклад подполковника Сосновского и соображения воеводы, сказал:

— Пока не найдете обходных путей, демонстрируйте. Фронтальной атакой противника из этого логова не выбьешь, только солдат погубим.

— Я должен вернуться в чету, генерал.

— После того, как ваш гайдук приведет сюда охрану, воевода. Я не могу отпустить вас без конвоя, когда турки уже переполошились от нашей «Дубинушки», а мои солдаты для этого мало пригодны.

— Я дам охрану,— тихо сказал отец Макарий, доселе безмолвно перебиравший четки.— Дьякон Кирилл поведет пятнадцать иноков.

— Они умеют стрелять? — спросил Карцов.

Отец Макарий и Цеко Петков молча улыбнулись. Генерал заметил это и тоже улыбнулся.

— Простите, святой отец, я запамятовал, что в Болгарии любой монах умеет стрелять по туркам.

Цеко Петков и Митко в сопровождении вооруженных иноков Троянского монастыря вышли в ночь. За истекшие сутки первый эшелон продвинулся всего на семь верст, и до перевала было еще далеко. От стрелков тоже пока не поступало известий, но Карцов не беспокоился: стрельба не доносилась, а это означало, что батальон Бородина все еще штурмует обледенелые горные кряжи.

Воевода сам указывал, куда идти, и через несколько часов они добрались до овчарни — сложенного из плитняка четырехугольного загона без крыши. По плану Сосновского, тут предполагалось открыть лазарет, и Петков оставил дьякона Кирилла с монахами, приказав соорудить навес и очаг. Перекусив и отдохнув, воевода и Митко продолжили путь и к утру достигли основной стоянки. Здесь были утепленные шалаши и землянки, где зимовала чета. В одной из землянок их встретили Олексин, Меченый и Отвиновский. У горящего очага молодая женщина готовила завтрак.

— Нашли обход? — первым делом спросил Петков.

Меченый хотел что-то сказать,но Отвиновский опередил его.

— Нашли. Для уточнения я снова отправил человека.

— Любчо, подай еду и ступай к себе,— сказал Меченый.

Любчо молча поставила на низенький столик жареное мясо, хлеб, вино и тут же вышла.

— Кого ты отправил к перевалу, Здравко? — спросил воевода, садясь к столу.

— Я обманул вас, воевода,— тихо сказал Отвиновский.— Три дня назад из разведки не вернулся Бранко. А сейчас турки перекрыли все дороги, и мы не смогли найти обходных путей.

— Ты думаешь, Бранко не выдержал пыток?

— Нет,— угрюмо ответил Меченый.— Просто турки почуяли неладное.

— Ешьте,— помолчав, сказал воевода.— Потом будем думать.

Завтракали в гнетущем молчании. Под конец Петков спросил отрывисто:

— Когда Любчо рожать?

— Месяца через четыре,— ответил Стойчо.

— Отправишь в Лом-Паланку. У меня не было сына, так пусть будет внук.

Закончив трапезу, воевода тяжело поднялся, молча взял чашу с вином. Все встали, опустив головы.

— Вечная память тебе, Кирчо, и тебе, Бранко. Кровь за кровь.

— Кровь за кровь,— глухо отозвались гайдуки.

Они выпили вино и сели за стол. Отвиновский развернул подробную схему Троянских Балкан с обозначением всех троп и турецких укреплений.

— У нас есть одно соображение, воевода. Не обходной маневр отряда генерала Карцова, а обходной маневр нашей четы. Нам не нужны дороги, но нам необходима отвлекающая атака Курт Хиссара. Если генерал Карцов согласится на нее, мы проберемся в леса против редута Картал. И ударим оттуда, когда русские предпримут генеральный штурм. Капитан Олексин согласен с этим планом.

Петков долго разглядывал схему. Сказал, не поднимая головы:

— Пиши подробную записку, Здравко. Тебе, Митко, придется еще раз сходить к подполковнику Сосновскому.— Он посмотрел на Гавриила.— Условьтесь о сигналах, капитан, будет так.

— Если атаку возглавит подполковник Сосновский, я не поручусь за ее исход,— помолчав, сказал Олексин.— Для такой задачи он слишком любит жизнь.

— Будет так,— сурово повторил воевода.

5

Когда Олексин узнал, что начальник штаба Цеко Петкова — Збигнев Отвиновский, он не только удивился. Засыпая на жесткой монастырской постели, он думал, как встретятся они: ограничатся ли одним рукопожатием или улыбнутся друг другу. Его отношения с Отвиновским в Сербии были настороженно холодноватыми, но чем дальше отступало волонтерское прошлое, тем со все большей теплотой он вспоминал сдержанного поляка. Он понял истинную цену мужской дружбы, научился отсеивать мелочи, которые когда-то так его раздражали; тем более что Отвиновский первым шагнул к нему, первым обнял и первым прижал к груди. Правда, ни разу не улыбнувшись.

С той поры, сутками работая вместе, они так и не поговорили. Отвиновский был привычно сдержан, не любил душевных излияний, а Гавриил не хотел расспрашивать. Да и времени прошло достаточно, и то, что когда-то казалось важным и необыкновенным, уже утратило всякую новизну и исключительность. Дел было по горло, спали урывками, ели на ходу, и все помыслы их занимала предстоящая операция.

Обходной марш, на который рассчитывал генерал Карцов, требовал дорог, а значит, и времени; это Олексин понял

сразу. Настороженные турки умело заслонили все удобные пути, привычно закопавшись в каменистую мерзлую землю и с избытком обеспечив себя боеприпасами. Оценив это, начальник германского генерального штаба фельдмаршал Мольтке предрек гибель всему русскому отряду, заявив:

— Тот генерал, который вознамерится перейти Троян, заранее заслуживает имя безрассудного, потому что достаточно двух батальонов, чтобы задержать наступление целого корпуса.

У турок было шесть батальонов, а отряд Карцова представлял собой лишь усиленную дивизию. По всем военным канонам выходило, что германский фельдмаршал прав: русские обречены были на неудачу, а их командир — на бесславное имя безрассудного генерала. Но у Карцова была третья сила, которую не учитывал начальник германского генерального штаба и стойкость которой на собственном опыте ощутил представитель русского командования капитан Олексин,— вооруженный народ Болгарии. Этой силе не нужны были дороги — ей необходимо было лишь отвлечь внимание противника. Заставить его поверить в безрассудство русских командиров.

— Что же, это разумно, тем паче что Рафик-бей не любит менять решений в бою,— сказал Карцов, когда подполковник Сосновский доложил о решении Петкова.— Однако неприятель поверит в наш штурм только в том случае, если все — от нижнего чина до старшего офицера — будут биться с упорством. Значит, о том, что это — демонстрация, не должен знать никто. Пишите приказ на генеральный штурм.

— Капитан Олексин просит начать атаку к ночи.

— Обоснуйте как-либо необходимость ночного штурма в приказе. И атакуйте до рассвета, пока Цеко Петков не проведет своих молодцов у турок под носом. Что же касается настоящего удара...— Карцов подумал.— Трех дней Петкову хватит?

— Сигнал — костер в ночь на двадцать седьмое.

— Значит, с зарею двадцать седьмого — штурм. Сообщите этот срок ординарцу Петкова.

Сосновский всегда был образцом строевого послушания, но на сей раз лишь задумчиво покивал головой. Молча собрал карты, молча поклонился.

— Присядьте,— Карцов походил по комнате, поглядывая на понурого начальника штаба. Потом сел напротив.— Понимаю ваше состояние, Илья Никитич.

— Я двадцать лет...— голос Сосновского дрогнул.— Капитан Олексин — опытный офицер, но обманывать собственных солдат...

— У вас есть иной план?

— Нет. И вероятно, не нужно, план превосходен. Я ведь не в нем сомневаюсь, Павел Петрович, я в праве своем сомневаюсь. Я двадцать лет...— подполковник вдруг спохватился.— Господи, дались мне эти двадцать лет! Только ведь я семьями дружен, у доброго десятка в кумовьях, детей крестил. Для Олексина — демонстрация, да так, чтобы турки поверили, а для меня...— он замолчал. Чуть дрогнувшей ладонью расправил усы, встал, сказал тихо: — Все будет исполнено, Павел Петрович.

— Я знаю, что все будет исполнено,— вздохнул Карцов.— Садитесь, Илья Никитич. Неблаговидная роль вам выпала, однако что же делать, друг мой, что?

— Зачем же, Павел Петрович? — застенчиво улыбнулся Сосновский.— Хотите, чтобы я сам сказал, что случаются обстоятельства, когда офицер обязан не помышлять о собственной совести? Знаю я об этом, Павел Петрович.

— Простите меня, Илья Никитич,— тихо сказал Карцов, помолчав.— Бога ради, простите. Не для своей славы обмана требую — для славы и чести отечества нашего. Простите.

Он встал, поклонился подполковнику и вышел. А Сосновский долго сидел неподвижно, машинально поглаживая стол и не замечая, как по круглым, румяным щечкам его текут слезы. Потом достал платок, решительно вытер лицо и начал писать приказ на генеральный ночной штурм турецкой крепости Курт Хиссар.

В сумерках 23 чета выступила со стоянки, двумя лентами обтекая турецкие позиции. Шли без дорог, то грудью проламывая снег, то скользя по обледенелым склонам. Первую колонну вел сам воевода, вторую — Меченый. Гайдукам предстояло низинами миновать занятые турками горы, чтобы противник этого не заметил, иначе весь маневр, вся предстоящая операция, в том числе и отчаянная ночная атака передового эшелона, становились бессмысленными. Поэтому, с величайшей осторожностью приблизившись к турецким постам, воевода и Меченый положили своих людей в снег.

Передовой эшелон — стрелки 10-го батальона, спешенные казаки Донского полка и три роты 9-го Старо-Ингерманландского пехотного полка — спешно подтягивался, готовясь к штурму.

— Помилуйте, господа, атаковать без артиллерии сильно укрепленную позицию — это, знаете ли, чересчур смело,— недоумевали офицеры, получив приказ о ночной атаке.

Артиллерия к этому дню прошла половину мучительно трудного пути, на котором замертво падали волы, а у людей от невероятного напряжения шла кровь из ушей и горла.

Именно этим отставанием и обосновал Сосновский атаку в ночной темноте. И пока солдаты и офицеры готовились к ней, а четники Цеко Петкова недвижимо мерзли в снегу, артиллеристы полковника Потапчина вместе с болгарами продолжали, захлебываясь кровью, волочить орудия, радуясь каждому пройденному аршину.

Точное время штурма оговорено не было. Сумерки уже сгустились, в низине, где лежал Гавриил, стало совсем темно, а стрельба еще не слышалась. Он уже порядком одеревенел, когда донесся первый залп.

— Начали штурм?

— Не спешите,— шепнул лежавший рядом Отвиновский.— Турки еще не втянулись в бой: воевода на слух определяет, сколько магазинок ведут огонь.

Турки ответили частой пальбой, завязалась перестрелка, издалека донеслось: «Ура!» Но Петков еще не давал знака, и все по-прежнему неподвижно лежали в снегу.

А «ура!» нарастало. Стрелки отвлекли на себя огонь противника, не дав ему возможности оценить силы, и под их прикрытием донцы и ингерманландцы начали штурм крутых обледенелых склонов. Хриплое «ура» накатывалось на укрепления, турки, поверив в реальную опасность, сосредоточили на атакующих весь огонь.

— Вперед! — шепнул Отвиновский.

Темные тени гайдуков беззвучно обтекали гору, вершина которой светилась от частого ружейного огня. Цеко Петков точно выбрал время: аванпостам турок уже было не до наблюдения, а грохот заглушал топот ног, хруст снега и тяжелое дыхание четырех сотен людей.

Русские атаковали по крутому склону, откуда ветер давно сдул рыхлые снега. Карабкаясь наверх, солдаты сапогами и прикладами пробивали наст, чтобы упереть ногу. Убитые, раненые и просто сорвавшиеся кубарем катились вниз, сбивая тех, кто поднимался следом. На высоте пяти тысяч футов воздух, сухой и колючий при двадцатиградусном морозе, оказался настолько разреженным, что дышать было почти нечем. Надсадный хрип вырывался из глоток, солдаты и офицеры обливались потом, давно побросав шинели и атакуя в одних мундирах. От неимоверного напряжения не только ружья, но и сабли точно налились свинцом.

— Это безумие! — задыхаясь и поминутно сплевывая идущую из горла кровь, сказал командир стрелков Бородин, сорвавшийся со ската к ногам хмурого Сосновского.— Даже если мы и взберемся на эту чертову гору, у солдат не хватит сил на штыковой удар. Отзывайте части, атака немыслима.

— Возьмите резервную роту и повторите штурм,— сухо сказал подполковник.

— Мы погубим солдат!..

— Исполняйте.

Турецкий огонь и ледяные кручи остановили первую атаку на половине горы. Залечь было негде, и солдаты скатывались вниз. В скалах остались лишь стрелки, пробравшиеся туда ранее, да кое-кто из атакующих — в основном донцов,— сумевших вцепиться в лед. Стрелки еще вели разрозненную пальбу, но казаки ждали подкреплений. Напряжение боя упало, и опытный Цеко Петков тут же уложил гайдуков в снег.

— Ждем второй атаки,— тихо пояснил Отвиновский.

— Сколько нам идти? — задыхаясь, спросил капитан.

— Версты четыре.

— А прошли?

— Десятую часть.

— Значит, нашим придется атаковать всю ночь?

— Игра стоит свеч, Олексин.

— Ну, эта игра стоит жизней,— буркнул Гавриил.

Отвиновский промолчал. Такая игра действительно оплачивалась жизнями, но выхода не было. Турки умело приспосабливались к местности, а здесь, на Трояне, их позиции можно было взломать только с флангов. Олексин понимал это, но гибель людей, верящих, что они и вправду могут именно в этом месте ворваться в укрепления противника, угнетала его.

Через час Сосновский повторил отчаянную атаку обледенелого склона, крутизна которого местами достигала шестидесяти градусов. Вновь со стонущим «ура!» лезли солдаты, вновь скатывались вниз и вновь начальник штаба с непонятным упорством слал наверх новые резервные роты. И опять турки отбили их; опять замер бой и гайдуки попадали в снег.

— Я не понимаю вашего упрямства,— задыхаясь, говорил Бородин.— Объяснитесь, если не желаете, чтобы я считал вас...

— Считайте кем угодно,— вздохнул Сосновский.— Ровно через час — атака.

Еще четыре раза русские бросались на штурм: в последние атаки их вел Сосновский. Осунувшийся, почерневший как после тяжелой болезни, он лез впереди всех, и слезы замерзали на некогда круглых, а теперь дряблых, мешками обвисших щеках. Уже роптали офицеры, уже в голос, не стесняясь, ругались казаки, но подполковник был непреклонен.

— Вперед! — визгливым, пронзительно неприятным голосом кричал он.— Именем отечества!

Он искал смерти, боялся ее, плакал, но упрямо лез первым. Он очень любил жизнь, и жизнь баловала его, пожаловав карьерой, красивой и состоятельной женой, тремя детьми, благосклонностью начальства и дружбой офицеров. Но в эту страшную ночь безумного ледяного штурма благосклонная судьба предъявила подполковнику Сосновскому счет без всяких условий: он должен был, обязан был посылать товарищей своих на бессмысленную гибель. И при этом не имел права погибнуть в первой атаке: на эту льготу он мог рассчитывать только в конце. И теперь упорно карабкался вверх, рыдая и визгливо крича перехваченным от ужаса горлом:

— Вперед! Вперед! Вперед!

Пули жужжали вокруг, с шорохом вспарывая синий ледяной наст. Скатывались вниз убитые и раненые, а Илья Никитич был по-прежнему цел и невредим. Но только когда противник отбил последний, шестой по счету, безумный натиск русских, он отдал приказ прекратить атаки. И жалко улыбнулся Бородину:

— Вы просили объяснений, Федор Алексеевич? Извольте. Это была всего лишь демонстрация: пока мы катались по этой горке, четники Цеко Петкова обошли турок,— он неожиданно захохотал хриплым, лающим смехом.— А я, представьте себе, жив. Жив курилка!

Бородин молчал, странно глядя на подполковника. На усах смерзлась кровь.

— Сына убили,— сказал он наконец.— Мальчишка, сопляк семнадцати годов. Под пулю угодил в последней атаке.

Подбородок у него задрожал, он резко повернулся и пошел куда-то, загребая снег усталыми ногами.

6

На последних сотнях сажен до вершины, на которой предполагалось установить орудия, полковник Потапчин приказал запрягать в каждую волокушу по сорок восемь волов, которым помогали по две роты пехотинцев подошедшего второго эшелона и все отряженные бай Георгием болгары. И опять волы лишь удерживали тяжесть на крутизне: тащили ее по-прежнему люди, без сил падая на снег после каждого стоившего неимоверных усилий аршина. Но каких бы трудов это ни стоило, а к вечеру 26 декабря Потапчин доложил Карцову, что орудия доставлены, собраны и готовы

к открытию огня. Одна неожиданность уже ожидала противника; дело оставалось за второй неожиданностью.

Четникам Цеко Петкова надо было не только просочиться в считанных шагах от передовых секретов турок, не только спрятаться от них, отдохнуть и изготовиться к бою. Им предстояло взобраться на почти отвесный горный кряж, пересечь его и по столь же крутому обрыву спуститься вниз, в леса, примыкающие к правому флангу противника — редуту Картал. На кряже не было турецких секретов, и все же осторожный и многоопытный воевода приказал идти ночью. Это и имел в виду Карцов, спрашивая у своего начальника штаба, хватит ли Петкову трех дней на подготовку.

Даже бывалым гайдукам, большинство из которых выросло в горах, этот ночной подъем давался с огромным трудом. Шестеро четников сорвались при восхождении, но только один вскрикнул: остальные пятеро безмолвно приняли смерть на дне пропасти. Две ночи в две очереди чета брала подъем и переваливала через кряж. И когда спустился последний, снизу дернув за веревку, оставшийся на кряже Митко зажег костер, сушняк для которого четники волокли на себе вместе с оружием и боеприпасами.

Подполковник Сосновский с нетерпением ожидал этого сигнала, еще в сумерках приказав своему ординарцу не спускать глаз с кряжа, левее Курт Хиссара. В полночь там вспыхнуло далекое пламя.

— Огонь! — закричал ординарец.— Вижу костер!

— Слава Богу,— с облегчением вздохнул Сосновский.— Идите спать, прапорщик. Через час подниму: пойдете в головной батальон.

— В болгарах я был уверен,— сказал Карцов, узнав о сигнале.— В семь утра — общая атака. Первым через Троян шагнет русский солдат.

К моменту, когда рокот барабанов и призывные звуки труб далеко разнеслись по горам, чета Петкова сосредоточилась на опушке леса. Перед нею расстилался заснеженный пологий склон, на вершине которого отчетливо виднелся правый угол редута Картал. Здесь у турок не было артиллерии, но снег оказался глубоким и рыхлым, и воевода понимал, что атаковать будет нелегко и что залповый огонь турок способен не только нанести значительный урон, но и сорвать атаку. Кроме того, редут седлал дорогу на Карнари, где стояли турецкие резервы; следовало не допустить их, отрезать от редута, зажать на узкой горной дороге. Поэтому еще до боя он выслал в обход редута сотню четников во главе с Меченым.

— Держи дорогу. Если османы не примут боя и отойдут, ударишь по редуту с тыла.

Внезапный грохот орудий потряс морозный воздух: заняв высоты, полковник Потапчин начал обстрел Курт Хиссара. Под прикрытием огня роты ингерманландцев и спешенные донцы начали атаку, и в редуте Картал сразу задвигались турки.

— Пора, воевода,— сказал Отвиновский.

— Еще не пора. Меченый должен успеть перерезать дорогу, а турки — втянуться в бой.

Прошел час мучительного ожидания, наполненного грохотом орудий, далекими криками «ура!», стрельбой и тревогой, прежде чем воевода отдал приказ. Четники дружно выбежали из леса, но бег их сразу замедлился, едва они вырвались на простор. Они уже не бежали, а ломились через глубокий рыхлый снег.

Цеко Петков, Олексин и Отвиновский стояли на опушке, наблюдая за атакой. Гавриил каждое мгновение ожидал встречного залпа, но турки пока не стреляли, то ли подпуская поближе, то ли не ожидая опасности с этой стороны. Так продолжалось недолго: противник начал частый, но бессистемный огонь. Пальба не остановила атакующих и даже не принесла существенного вреда, но через некоторое время огонь турок стал прицельным, залповым, и стреляли явно по команде. Гайдуки не выдержали его и упали в снег.

— Здравко, подними их,— не оглядываясь, сказал воевода.— Ты должен ворваться в редут. Должен!

— Я понял вас, воевода.

Чуть пригнувшись, Отвиновский побежал к залегшей цепи. Гавриил видел, как пули вспарывали снег вокруг него, но поляк продолжал тяжело и медленно бежать по истоптанному снегу. Поравнявшись с четниками, он остановился, что-то сказал им и, вынув из кобуры револьвер, не оглядываясь, побрел через сугробы навстречу залпам. И упал через несколько шагов. И почти тотчас же послышалась стрельба левее, за редутом. Гавриил рванулся вперед.

— Останься здесь, капитан,— негромко сказал Цеко Петков.

— Там гибнут мои друзья, воевода!

— Они не гибнут. Они побеждают: Меченый атакует редут с тыла.

Услышав стрельбу, Отвиновский, а за ним и гайдуки вскочили и, уже не ложась, пошли к редуту, стреляя на ходу. Пальба гремела вокруг: русские части, перегруппировавшись, вновь шли на штурм. «Ура!» слышалось все яснее и яснее.

— Вот теперь пора, капитан,— сказал воевода.— Бери резерв.

В резерве стояло два десятка четников. Гавриил сбросил полушубок, привычно сунул запасной револьвер за ремень, взяв два других в руки.

— За мной, юнаки!

Только выбравшись из леса, капитан понял, как трудно было атаковать юнакам Цеко Петкова. Он тяжело бежал по уже умятому снегу, и каждый шаг стоил пота. Ноги проваливались в запорошенные ямы, скользили на обледенелых камнях, тонули в рыхлом снегу. Да, если бы не отчаянная ночная атака первого эшелона, турки не оставили бы на этом голом скате никого в живых. Но теперь они были уже сбиты с толку, все их внимание переключалось на Курт Хиссар, и Рафик-бей наверняка снял из редута лучших стрелков. И получил подряд три неожиданности: прицельный огонь русских полевых орудий, атаку с правого фланга и внезапный удар Меченого с тыла.

Встречный огонь перестал быть залповым: турки метались в редуте между тылом и флангом, стреляли вразнобой, много, но неприцельно. Отвиновский упрямо шел вперед по пояс в снегу, а с другой стороны доносилось «ура!», и пушки Потапчина безостановочно громили укрепления Курт Хиссара.

Противник уже не мог опомниться. Карцов бросил все силы на послений решительный штурм; неприятель сдал ложементы, но встретил атакующих залповым огнем. Солдаты падали один за другим; видя это, командир Ингерманландского полка граф Татищев приказал остановить атаку и затребовал у Карцова резервы. Однако те солдаты и казаки, что ворвались в ложементы, не ушли, поскольку турецкие пули их почти не беспокоили. Пока подтягивались резервы, ингерманландцы и донцы, отступившие из-под огня, по собственной охоте, в одиночку и группами, перебегали в эти ложементы и постепенно накапливались в них. Прибывшие резервы еще только разворачивались, когда грянуло внезапное «ура!», и собравшиеся в ложементах русские дружно рванулись в атаку. Их вели унтер-офицеры Семен Колесов, Исай Куклев и Василий Кислов; они же первыми и ворвались в Курт Хиссар. Справа тут же ударили болгары, и к часу пополудни дело было кончено. Отрезанные четниками от тыла, турки в панике бежали без дорог, гроздьями срываясь в пропасти.

— Не давать им передышки,— сказал Карцов.— Отдыхать будем в Долине Роз.

Русские наступали по всем дорогам, ведущим с Троян в

Забалканье. Впереди шли стрелки, огнем добивавшие бегущих турок, не позволяя им останавливаться. Спешенные донцы и гайдуки Петкова двинулись напрямик по крутому заснеженному склону, скатываясь в вихрях поднятого снега. И уже не «ура!», а веселый хохот сотен глоток обрушивался с ледяных вершин в солнечную долину.

Отвиновский, Олексин и группа гайдуков спускались по тропе в обход Карнари. Спустились без помех, по дороге обстреляв сунувшихся было на их тропу турок.

— И все же мы первыми в истории с боем прорвались через Троян,— с торжеством отметил Гавриил.

— Оглянитесь, Олексин,— вдруг тихо сказал Отвиновский.

Войска уже спустились в долину, но весь южный склон, все дороги и тропы были усеяны тысячами людей. Вслед за победоносной русской армией шли женщины и мужчины, старики и дети. Народ Болгарии, изгнанный полчищами Сулеймана, возвращался на свою родину.

— Меня всегда мучил вопрос, за что меня убивали и за что убивал я. Теперь я знаю ответ, Олексин: вот за это. За то, чтобы женщины и дети вернулись к своим очагам.

В светло-голубых, всегда холодных глазах Отвиновского Гавриил с удивлением заметил слезы.

Глава двенадцатая

1

27 декабря Троянский отряд генерала Карцова вступил в Карлово, а уже на следующий день произошло решающее сражение возле деревень Шипка и Шейново. Войска генерала Скобелева без артиллерийской подготовки начали атаку и, умело маневрируя, соединились с войсками генерала Святополк-Мирского, заняв деревню Шейново. Армия Весселя-паши оказалась в полном окружении и сложила оружие. Русские взяли в плен 22 тысячи человек с 83 орудиями. Путь в южную Болгарию был открыт.

Теперь туркам угрожал не десятитысячный летучий отряд, а стошестидесятипятитысячная русская армия с более чем семьюстами орудиями, наступавшая по трем направлениям. От Софии двигался отряд генерала Гурко, в центре наступал отряд Карцова, с востока — войска генерала Радецкого с общей задачей окончательного разгрома противника в районе Филиппополь — Адрианополь. Балканы остались позади, и ни снега, ни длительные марши, ни со-

противление неприятеля — ничто уже не могло остановить этой армии.

Передовой колонной отряда Радецкого командовал Михаил Дмитриевич Скобелев. Приняв назначение, он специальным рапортом запросил у великого князя главнокомандующего откомандировать в его распоряжение генерал-майора Струкова, обосновав эту просьбу следующей оценкой: «Генерал Струков обладает высшим качеством начальника в военное время — способностью к ответственной инициативе». Николай Николаевич-старший, получив рапорт, поначалу засопел и зафыркал, но отказать в просьбе не решился: к тому времени Скобелев-второй был не только героем плевненских штурмов, но и победителем Весселя-паши и имя его не сходило со страниц мировой прессы. Да и сам Струков просил главнокомандующего о том же.

Понимая, что все решает быстрота, Скобелев в специальном приказе оговорил особую маневренность своей колонны:

«Ввиду предполагаемых усиленных форсированных маршей по гористым дорогам предписываю частям вверенного мне отряда выступить без колесного обоза, с одними вьючными лошадьми... Начальникам дивизий обратить строжайшее внимание на то, чтобы при частях лишних тяжестей не было, при этом разрешается при каждом батальоне иметь не более двух повозок, которые исключительно должны служить для перевозки раненых и следовать пустыми...»

Конный авангард Скобелева, командование которым было поручено генералу Струкову, 3 января 1878 года выступил в поход и к вечеру того же дня стремительной атакой захватил железнодорожный узел Семенли. На следующий день Струков занял Германлы, отрезав армию Сулеймана в Филиппополе от резервов в Адрианополе. Форсированным маршем подтянув туда все свои силы, Скобелев вновь бросил Струкова вперед. Пройдя за сорок часов восемьдесят верст, кавалерийский отряд генерала Струкова неожиданно появился перед Адрианополем. Паника была столь велика, что двухтысячный гарнизон сдал крепость без боя.

К тому времени генерал Гурко разгромил армию Сулеймана под Филиппополем. Турки повсеместно бежали, без боев откатываясь к Константинополю: русские лишь преследовали их, и на острие этого преследования шел кавалерийский отряд генерал-майора Александра Петровича Струкова. Начав эту войну лихим набегом на Барбошский мост, он же и заканчивал ее на подходах к Константинополю.

19 января турки запросили перемирия. Военные действия между Турцией и Россией с ее союзниками — Румынией, Сербией и Черногорией — были прекращены; русские войска выходили на демаркационную линию, разделявшую обе во-

ующие стороны. Кровавая девятимесячная война заканчивалась полным военным разгромом Блистательной Порты.

Затихнув на полях сражений, война перешла в уютные кабинеты. Европа единым фронтом выступила против русских условий мира, а в особенности против создания автономного Болгарского государства в его естественно сложившихся этнических границах. Еще до заключения мира Англия демонстративно направила свой военный флот в Мраморное море. Россия была вынуждена официально предупредить, что в случае высадки английского десанта русские войска немедленно займут столицу Турции Константинополь. Нота возымела действие, но флот не уходил. Ощутив поддержку, турецкое правительство начало упорствовать, отрицая русские условия мирного договора и предлагая свои. Глава турецкой делегации Севфет-паша решительно воспротивился требованию признать единую автономную Болгарию. Тогда граф Игнатьев, руководивший переговорами с русской стороны, навестил главнокомандующего великого князя Николая Николаевича в Адрианополе.

— Английская эскадра стоит в пятнадцати верстах от Константинополя,— сказал он.— Это значительно ближе, чем штаб вашего высочества.

Главная квартира русской армии была переведена в местечко Сан-Стефано, расположенное на том же расстоянии от турецкой столицы, что и английские корабли. На другой день в Сан-Стефано состоялся большой военный парад, и турецкое правительство сразу стало сговорчивее.

19 февраля 1878 года был наконец-таки подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. В договоре признавалась автономия Болгарии с самостоятельным правительством и земским войском и полная независимость Румынии, Сербии и Черногории. России отходили три южных уезда Бессарабии, а также около полумиллиона квадратных верст территории в Малой Азии с городами Ардаган, Карс, Баязет и Батум в счет уплаты убытков, понесенных Россией в этой войне.

Двести тысяч русских солдат и офицеров — убитых, искалеченных и пропавших без вести, не входили в число этих убытков.

2

— Лев Николаевич, Бога ради, простите, что обеспокоил,— сказал Василий Иванович, без стука входя в комнату, где работал Толстой.— Знаю, что занимаетесь, что не вовремя, но событие, событие-то каково!

Олексин выразительно потряс пачкой газет, продолжая радостно улыбаться, но в улыбке было огромное напряжение. Толстой не терпел, когда ему мешали. Василий Иванович со страхом ждал отповеди, ядовитых слов, может быть, даже гнева, но Софья Андреевна упросила его во что бы то ни стало прервать занятия и всеми правдами и неправдами вытащить графа на прогулку. Толстой пятый день не вылезал из кабинета, молчал, выходя к столу, много курил, рассеянно и невпопад отвечал на вопросы, а смотрел так странно, так отрешенно, что Софья Андреевна испугалась. И как только появился предлог, уговорила Олексина нарушить правила, давно ставшие домашним законом.

— Победа, Лев Николаевич! Турки подписали мир в Сан-Стефано!

Василий Иванович говорил с восклицательными знаками, которых обычно избегал, картинно потрясал газетами, изо всех сил улыбался, а Толстой устало и спокойно глядел на него. В этом спокойствии не было умиротворения: скорее передышка, чем покой, осознанное желание дать себе роздых, перерыв в размышлениях.

— Победа,— тихо повторил он.— Странное слово: кому-то поражение, кому-то слава, кому-то слезы горькие. А мы — радуемся.

— Так ведь наша победа, Лев Николаевич, наша. И кровь больше литься не будет, и... Да вы же сами, сами на войну рвались, хотели прошение подавать.

— Хотел,— Толстой вздохнул.— Противоречив человек. Вот, взгляните,— он неторопливым жестом указал на стол, заваленный раскрытыми книгами.— Великое учение, от которого мы лета свои считаем, рождением нового человечества его полагая, противоречиво, запутанно, порою само себя исключает. Что же вы от человека требуете, на учении этом воспитанного? Что вкусил, тем и жив.

На столе лежали четыре Евангелия, открытых на разных страницах,— от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна. Василий Иванович глянул мельком, но успел заметить, что все четыре Евангелия раскрыты на сходных строках, а разночтения в них отмечены карандашом.

— Вот думаю: может, в одно их свести?

— А зачем?

— Зачем? — Толстой подумал, взял папиросу, отложил.— Вопрос прост, а ответ немыслимо труден. Немыслимо,— он вдруг остро, как прежде, блеснул глазами.— Хорошо, что пришли, Василий Иванович, хорошо. Думы замучили. Нет, это потом,— он положил ладонь на раскрытое Евангелие.— Сначала — зачем: вопрос правильный, сам себе

его задаю постоянно. Однако перед ответом не просто подумать — поразмышлять надо. Покопаться, поворошить.

—Может, в Засеку пойдем? — не очень уверенно перебил Олексин, исполняя настоятельную просьбу Софьи Андреевны.— Мороз на дворе, снег блестит. До обеда два часа еще. Только, чур, без папиросок.

— Без папиросок не получится,— серьезно сказал Толстой, пряча портсигар в карман.— А Сонечке, уж пожалуйста, не говорите: мы с вами не гулять, мы размышлять идем.

Вышли тотчас же. После недавней оттепели подморозило, деревья стояли в инее, ледяная корочка похрустывала под ногами. Лев Николаевич привычно шел впереди, засунув руки в карманы овчинного полушубка, подпоясанного кушаком. На просеке остановился.

— К мысли человек приходит различными путями размышлений,— сказал он.— Вот мысли бывают ошибочными, а размышления нет, даже если и отбрасывать их потом. Поэтому их и не записывают, и не надо их записывать, а вот проверять необходимо. Так что то, что вам, Василий Иванович, поведаю, возможно, сам впоследствии и отрину, если до истины добреду. Ничего не утверждаю, не изрекаю, а лишь рассуждать пытаюсь. Вот так нашу беседу и примите.

Василий Иванович был чрезвычайно доволен, что исполнил просьбу Софьи Андреевны, не вызвав при этом неудовольствия Льва Николаевича, и кивнул рассеянно. Впрочем, Толстой сегодня нуждался не в споре, а в слушателе, весь был погружен в себя и на Олексина не смотрел. Подумал, похмурился и, сокрушенно вздохнув, достал портсигар.

— Закурю все же, хоть и бросать пора, ибо всякая привычка крадет у человека свободу.— Прикурил и сказал, помолчав: — Попробуем порассуждать. О человеке. Нет, даже, пожалуй, о человечестве, о людях. Среди них вы и двух одинаковых не сыщете не только в числе сущих, но и во всей истории от Адама и Евы. Все — разные, все неповторимы, а все же если в сумме брать, то сумма эта из двух частей состоять будет. Всех людей по складу их душевному, по нравственной сущности на две категории разделить можно — на хозяев и камердинеров.

— Признаться, не ожидал,— улыбнулся Василий Иванович.— Это уже что-то из социальных учений.

— Нет, не из социальных,— строго сказал Толстой.— Я же не по имуществу их делю, я их по отношению к жизни делю на хозяев этой жизни и на камердинеров этой же жизни. И ни собственность, ни сословия, ни образование здесь ни при чем: что, лакеев в камергерских мундирах не

встречали? Встречали. И хозяев в армяках — тоже встречали, так что ваша социальная азбука здесь не подходит.

— А что же подходит? Каковы критерии, Лев Николаевич, если социальные отвергаете?

— Критерий один: нравственность. Давайте рассуждать. Хозяин воспринимает труд как нечто естественное, само собою разумеющееся, как закон бытия, в то время как камердинер естественным воспринимает ничегонеделание; труд для него — каторга, насилие над собой, наказание Божие. Что, не встречали таких?

— Встречал,— подумав, сказал Олексин.— Но это впрямую относится к труду подневольному.

— Погодите вы с подневольностью! — отмахнулся Толстой.— Далее пойдем. Хозяин никогда не солжет, даже если кара ему грозит, ибо истина, спокойствие совести ему дороже жизни. А камердинер не просто солжет, но даже с удовольствием, ибо, обманывая, он тем самым себя утверждает. И радуется, коли лжи его поверили. Торжествует, других с легкостью, без затрат в дураках оставив. И таких, полагаю, видеть случалось?

— Случалось. Но опять-таки...

— Погодите с выводами, погодите,— Толстой погрозил пальцем и улыбнулся.— Хозяин жизни воспринимает чужое мнение всегда критически, всегда сомнению его подвергая, ибо свое собственное имеет. А камердинер? Как приказ он чужое мнение воспринимает, без всяких рассуждений: своего-то нет. Не способен он своего мнения выработать, а посему и живет чужими мыслями, ему так и проще и удобнее. Затем, хозяин не стремится к удобствам, к чинам и званиям, к удовольствию, находя удовольствие в своей деятельности, в труде и довольствуясь малым. А для камердинера удобства, наслаждения, карьера — весь смысл жизни, цель заветная, ради которой, по понятиям его, и льстить дозволено, и обманывать, и с чужим мнением тотчас же соглашаться, да еще и поддакивать. Что — так или не так?

Олексин промолчал, обдумывая ответ. Толстой не стал дожидаться, потыкал в грудь его пальцем.

— А главное, Василий Иванович, хозяин властолюбия лишен. Не рвется он к должностям, а тем паче к власти, ибо не нужно ему ни людское унижение, ни собственное возвеличивание. А камердинер? То-то же. Всегда он к власти рвется, по трупам к ней пройдет, потому что жаждет он собственного возвеличивания аки воды в пустыне. Согласен, нет в чистом виде ни тех, ни других, перемешано все в каждом человеке, но тенденция-то есть? Есть, дорогой Василий Иванович, есть. Так откуда же она, тенденция эта,

к разделению человечества на две нравственные категории? Вот коли на этот вопрос ответим, так и к вашему «зачем» шажочек сделаем.

— Мой ответ вам давно известен, Лев Николаевич. В основе всего лежит экономическое неравенство. Именно оно делит людей на хозяев и слуг. Камердинеров, как вы сказали.

— Это Гегель сказал, не я,— ворчливо поправил Толстой.

— Как вы повторили. Экономическое неравенство рождает неравенство социальное и...

— И вам сразу все становится ясным? Уверовали в чужое мнение? Это в вас камердинер заговорил,— с торжеством улыбнулся Лев Николаевич.

Василий Иванович рассмеялся и виновато развел руками.

— А иной всеобъемлющей теории в настоящее время нет.

— А давайте отбросим все теории — и всеобъемлющие, и не претендующие на это. Давайте рассуждать, дорогой Василий Иванович, основываясь на личном опыте, а не на одолженном.

— Пустое, Лев Николаевич,— вздохнул Олексин.— Зачем открывать Америку?

— Необходимо открывать, обязательно даже заново открывать все Америки,— с горячностью сказал Толстой.— Авторитеты хороши тогда, когда они подтверждают ваши мысли, а не заплатку ставят на пустом месте, не прикрывают их отсутствия. Закон диалектики — отрицание, а не соглашение: надеюсь, диалектику исповедуете?

— Конечно.

— Ну и давайте ее законов придерживаться. А то этак и думать разучимся, коли цитатами все греметь начнем: Гегель то-то сказал, а Спиноза — то-то, Магомет — так-то, а Платон — этак. За сотни лет столько наболтали, что при любом случае всегда на авторитет обопрешься, как на костыль. А ходить самому нужно, самому, без костылей и без поводырей. А коли мысли чужие и поводырь впридачу, так либо ум хромает, либо душа слепа. А у вас не слепа и ум не хроменький, так чего же это вы, чуть что, сразу за чужие авторитеты прячетесь? Покойнее так? Нет, привычнее.

— Хорошо, Лев Николаевич, убедили,— сказал Олексин.— Давайте рассуждать, коли хотите. Посмотрим, куда придем.

— А это неизвестно. Это в теориях все заранее ясно, а в рассуждениях то-то и прелесть, что не знаешь, куда они тебя выведут. Может, в тупик, а может, в такой простор ослепительный...

Толстой неожиданно задумался. Глубоко посаженные серые глаза его потеплели, заискрились, и Олексин подумал вдруг, что Лев Николаевич видит сейчас в воображении своем тот ослепительный простор, к которому с таким неистовым упорством и трудом пробивался всю жизнь. И что увидеть хоть раз простор этот, ощутить его — единственное счастье гения.

— Да,— Лев Николаевич глубоко вздохнул, помолчал.— Говорите — классовость, имущественное неравенство. А давайте представим, что нет этого более. Представим общество, основанное на равенстве имущества, равенстве прав и равенстве возможностей — что же, изменится род людской? Ведь у нас в России в привилегированном обществе, где все возможности даны и все права сосредоточены, камердинеров-то ничуть не меньше, чем среди мужиков, а, может, и побольше. Ведь суть-то не в отсутствии возможностей, а в отсутствии нравственных способностей претворить эти возможности в жизнь. Ваше ли идеальное бесклассовое общество возьмем, мое ли уравненное — оно же на земле стоит, не в безвоздушном пространстве. Значит, в нем непременно будут руководители и руководимые, начальники и подчиненные, законодатели и исполнители — то есть, дорогой Василий Иванович, будет питательная среда, почва для произрастания все тех же хозяев и камердинеров. И не может не быть, даже теоретически не может: блага-то земные распределять надо, это ведь оному Христу под силу без распределения пятью хлебами семь тысяч голодных накормить.

— Ваше рассуждение ложно, Лев Николаевич,— сказал Олексин.— Ложно, ибо построено на предположении, что в будущем обществе будет жить тот же человек, что и сейчас. А человек станет принципильно иным, потому что будет свободным. Свободным, Лев Николаевич, вот чего вы не учитываете.

— То есть? — прищурился Толстой.— В чем же он будет свободен?

— Во всем. В труде, в месте жительства, в выборе профессии, в получении образования. Ему будет гарантирована свобода личных убеждений, собраний и манифестаций, вероисповедания, печати...

— Сколько ни перечисляйте, количество в качество не перерастет, Василий Иванович,— решительно перебил Толстой.— Вы же ратуете за внешнюю свободу, а внешняя свобода есть лишь удовлетворение хотений: желаю стать ученым — стал, желаю обругать министра в печати — обругал, желаю иметь вид на жительство в Санкт-Петербурге —

получил. Как в мелочной лавочке: спросил чаю фунт — отвесили, спросил кардамону — пожалуйте. Что-то в ней, Василий Иванович, в вашей свободе, потребительское есть. Не пугает? Ведь основа ее — удовлетворение желаний: желания труда посподручнее, желания учиться, желания жить, где хочу, и собираться, когда вздумается.

— Не желаний, а требований личности.

— Хорошо, пусть требований, все едино. Ведь что требование, что желание, что хотение границ не знают, Василий Иванович. Бесконечны они и неуправляемы, а значит, и удовлетворить их невозможно. Немыслимо удовлетворить то, что конца не имеет, а раз так, то непременно будут недовольные и недовольство. И недовольные будут добиваться, бороться, изворачиваться, ловчить, чтобы свои новые требования удовлетворить. Ваша свобода, Василий Иванович, не в состоянии обеспечить согласия в обществе. Она в самой своей сущности предполагает борьбу, драку за еще большую свободу, за удовлетворение растущих, как грибы, желаний. А борьба порождает победителей и побежденных, всплывших наверх и канувших в пучину; в ней самой заложено неравенство. Внешняя свобода, дорогой Василий Иванович,— это свобода неравенства.

Они давно уже стояли в просеке, забыв о прогулке и не чувствуя голода. Только топтались на месте, и истоптанный снег белым пятном выделялся на сизоватом нетронутом насте.

— Ваши слова были бы справедливы, Лев Николаевич, если не учитывать рост людского самосознания. Вы никак не можете представить, что сам человек, получив свободу, неминуемо переродится, непременно переродится. Свобода есть осознанная необходимость, и человек будущего осознает и ее, и себя в ней.

— Когда осознает?

— Не сразу, конечно. Потребуется какое-то время.

— Какое-то! — Толстой сердито фыркнул.— Опять неопределенность: какое-то время. Год? Двадцать лет? Век?

— Это невозможно предугадать, но это будет.

— Невозможно предугадать, потому что нет у вас ключиков к этому перерождению. Вы на авось полагаетесь: изменились условия — изменился и человек. А вот управлять этим изменением вы заведомо не беретесь, отсюда и неопределенность.

— Ну почему же не беремся? Всеобщее образование, пропагаторская работа наконец, очищенное от субъективизма целенаправленное искусство — вот наши ключики.

— Это не ключики, это — отмычки,— непримиримо во-

зразил Толстой.— В каждую душу вломиться желаете и перестроить там все по-своему? Труд не только напрасный, но и безнравственный, ибо в нем заведомо содержится понуждение, хотя и прикрытое образованием, пропагаторством, целенаправленным искусством. Кстати, если искусство направлено, да еще в цель, оно уже и не искусство: задача художника — ставить вопросы, а не отвечать на них. Не с той стороны, господа нигилисты, вы ищете. Строение есть становление духа. Духа, Василий Иванович! Не внешняя свобода человеку нужна, а внутренняя.

— Опять — свобода воли? — с долей иронии спросил Олексин.

— Если угодно термин припомнить — припомните, а суть опять не в нем. Внутренне свободный человек свободен всегда. И в кандалах, и на плахе свободен, ибо свобода — с ним, а не вне его, и отнять ее невозможно. Никакой деспот, никакой правитель не свободны, поскольку зависимы и от гвардии своей, и от политики, и от иных держав. А пустынник, презревший блага мира, свободен. Еретики всегда свободны, а верующие — нет. Неистовый Аввакум был свободен в срубе своем, а патриарх Никон и во дворце рабом остался: вот какой казус в истории есть.

— Это исключение, Лев Николаевич. Нельзя из людей исключительных создать общество, это нереально.

— И такой пример в истории есть. Первые христианские общины и были обществами совершенного равенства, когда апостолы ходили в рубищах, а христианки с улыбкой умирали в римских цирках. Не будучи свободными внешне, они были свободны внутренне, а потому и страха не ведали. Потом церковь, узурпировав учение Христа, превратила это учение в обоснование неравенства, эксплуатации, помыкания человека человеком. И внутренняя свобода исчезла вместе с исчезнувшим, сокрытым от нас Христовым учением.

— Не понимаю вас,— вздохнул Василий Иванович.— К изначальному христианству вернуться предлагаете? Но это невозможно, не те времена, не те люди. Тогда что же? Не понимаю.

— «Зачем?» спрашивали, а — не понимаете,— вздохнул Толстой.

Он снова закурил толстую рыхлую папиросу. Папиросы набивала Софья Андреевна, и в последнее время, борясь с курением, стала уменьшать количество табака. Папиросы трещали, при затяжках сгорая до половины. Толстой возмещал этот недостаток количеством: снег вокруг был усеян окурками.

— Нет, не к началу,— вдруг сказал он.— К учению.

Евангелия меж собой сравниваю, пытаюсь истину по крохам извлечь. Она же есть там, истина эта всечеловеческая?

— Коли и есть, то сейчас она уже неприемлема. Конец девятнадцатого века на дворе, классы новые народились — буржуазия, пролетариат,— зачем им старое-то учение, созданное при рабовладельческом обществе?

— Зачем? Опять «зачем».— Толстой помолчал.— А коли поразмышлять, что же человеку стать внутренне свободным мешает, хозяином жизни своей, а не лакеем ее, так, может, и ответ на все «зачем» сыщется?

— Полагаю, что нет,— улыбнулся Олексин.— Вы не застыли, Лев Николаевич?

— Первое — разлад между стремлениями личности и общества, между «я» и «мы»,— не слыша, задумчиво продолжал Толстой.— Преодолеем этот разлад? Преодолеем, коли гневаться друг на друга не будем, ибо разлад тот — в тебе самом, а не вовне тебя. Значит, во-первых, сдерживай себя всегда, не гневись. Не гневись,— повторил он.— Второе, что мешает,— стремление к потребностям тела без потребностей души, приступы чувственности, не освященные сродством душ. А ведь только это сродство душ и есть любовь, и лишь оно одно освящает союз мужчины и женщины.

— Сродство душ? — переспросил вдруг Василий Иванович и повторил, точно уясняя: — Сродство душ...

— Лишенный души лишен и любви,— строго подтвердил Толстой.— Плотское вожделение скотам свойственно, оно — за чертой, за гранью духовного, человеческого. Значит, нельзя стать свободным, коли и в этом через грань перешагнешь, нельзя, ибо все равно разлад в тебе останется. Значит, никогда не поддавайся велениям тела вопреки душе, не прелюбодействуй. Не блуди, так скажем. Не блуди.

— Странно,— сказал Олексин.— И мыслей вроде бы нет, а чувство такое, будто всегда об этом думал, только себе не признавался.

— В разладе вы,— Толстой внушительно потряс пальцем.— А о свободе помышляете. Как же можно о всеобщей свободе разглагольствовать, когда сам еще несвободен? Когда камердинера из себя не выжил, стяжателя, прелюбодея или еще кого? Когда стремление сохранить достигнутое или добиться большего через обман, через ложь в тебе сидит как паук? Нет, ты сначала научись никогда никого не обманывать, даже во спасение. А посему и не клянись, чтоб себя в искушение не ввести. Да, не клянись — вот вам третье условие.

— Странно,— повторил Олексин и вздохнул.— И спорить не могу, вот как странно.

— Сейчас вы в себе самом спорите,— убежденно сказал

Толстой.— И спорьте — это святой спор. Вот когда вовне спорят, с другими, когда во что бы то ни стало свою мысль утвердить желают не убеждением, а принуждением,— тогда рождается зло. И всякая борьба, за рамки проповеди выходящая, творит это зло, множит его и тем самым сеет вокруг себя несвободу. Несвободу, ибо победа духа над духом не может родить свободы: свободу рождает только согласие душ, а не их подчинение. Значит, надобно бежать споров, на душу твою посягающих, помня, что даже если и победишь ты в споре, то свободы этим не добьешься: коли другого понудишь, то и сам не свободен. Не противься злому, никогда не противься, вот какова заповедь Христова. Самая мудрая из всех заповедей его: не порождай зла сопротивлением. Оно само отомрет, само исчезнет, ибо питается оно твоим «нет», твоим «не хочу», твоим «не стерплю». А надобно стерпеть. Все стерпеть. Знаю, трудно постичь это, еще труднее — уверовать, и совсем уж многих трудов стоит поступать так. Конечно, куда проще ружья взять да и пострелять несогласных, а, постреляв, свободу живым объявить. Только горьки плоды свободы, взятой оружием. Чьи-то слезы на них, а свобода со слезами — не свобода. Вот когда поймем это, тогда и кончится разлад в душах человеческих, тогда и восторжествует внутренняя свобода человека и забудет он страх и неприязнь, обман и подлость, зло и преступления и станет хозяином жизни своей, а не камердинером ее. Вот о чем учил Христос в Нагорной проповеди, вот в чем суть учения его, церковью испорченная, подтасованная и сознательно в обрядность превращенная. Что же вы не спорите со мной, Василий Иванович? Спорьте, ниспровергайте, свою правоту доказывайте.

Олексин долго молчал. Потом глубоко вздохнул, сказал тихо:

— Покушаетесь вы на душу мою. Уйду я, и один вы останетесь с учением своим.

— Учение? — Толстой грустно улыбнулся.— Это еще не учение. Это так, размышления лишь. Размышления.

С серого неба сыпал мелкий снежок, но они не замечали его. Молча стояли рядом, не чувствуя ни холода, ни ветра. Темнело, время обеда давно прошло, и Софья Андреевна уже разослала детей искать неведомо куда ушедшего отца.

3

Ни природное здоровье, ни врачебная помощь «самого» Павла Федотыча, ни самоотверженный уход Глафиры Мартиановны не могли изменить естественного хода

болезни. Маша металась в бреду, отказываясь от еды и никого не узнавая. Редко, на считанные минуты видения отпускали ее, но и тогда у Маши хватало сил лишь на то, чтобы осознать, что минувшее было бредом. И едва поняв это, вновь видела огромные шары, неторопливо наполнявшие комнату, плававшие по воздуху и катавшиеся по стенам вопреки законам физики, и со все возрастающим ужасом ощущала, как пухнет и непомерно раздувается голова, из которой один за другим с железной непреклонностью вылетали эти кошмарные шары. И она понимала их цель: задушить ее, задавить, навсегда отрезать от жизни своей холодной идеальной формой, но боялась не смерти, а их прикосновения. Пока они витали по комнате, ползали по стенам и катались по полу, она терпела, все сильнее и сильнее напрягаясь по мере того, как сокращалось ее личное свободное пространство. Но когда первый шар начинал угрожающе накатываться, она не выдерживала. Возможность уберечься, спастись была только одна, к ней нельзя было прибегать бесконечно, ее следовало беречь, и Маша, собрав все силы, звала на помощь только тогда, когда выхода более не было:

— Мама!

И мама появлялась. Наклонялась над нею, отирала пот, поила, переодевала, успокаивала. Маша отчетливо видела ее, но понимала, что разговаривать с мамой нельзя, что ответит она незнакомым голосом и что тогда на помощь позвать ее будет уже невозможно.

— Доченька ты моя,— шептала Глафира Мартиановна, переодевая Машу в сухую теплую рубашку.

— Надобно передать Марию Ивановну в госпиталь,— настаивал Павел Федотыч, видя, что больная тает в горячечном бреду.— Там медикаменты и врачи. Да, да, ваше превосходительство, светила науки, не то что я.

Рихтер горестно кивал седой головой, Глафира Мартиановна, прорыдав ночь, тоже согласилась, и Маша была переведена в ближайший военно-временный госпиталь. Сама она не заметила и не ощутила этой перемены, но перевезли ее вовремя. Через неделю больная пришла в себя в незнакомой палате, и незнакомая сестра милосердия, в иной, казенной форме, была первой, кого увидела она.

— Вот мы и в сознании,— нараспев, как маленькой, сказала сестра.— И глазки все видят, и ушки все слышат. Сейчас позовем доктора.

— Зеркало,— Маша с трудом выговорила первое осмысленное слово.— Нельзя ли зеркало?

Сестра на миг задумалась, потом снова заулыбалась и беспечно махнула рукой.

— Отрастут, Мария Ивановна!

Подала зеркало, и Маша увидела себя и... не себя. Увидела незнакомое худенькое, очень бледное личико, знакомые синие глаза и чужую, постороннюю голову. Стриженую, как у новобранца. Она долго разглядывала себя, медленно, точно узнавая на ощупь, проводила пальцами по бледным, ввалившимся щекам. Добрая сестра говорила и говорила, стремясь отвлечь, а Маша, слыша и не понимая, думала, как ужасно, как непоправимо и несправедливо обошлась с нею жизнь. И впервые ощутила горькую радость, что судьба навеки развела ее с Аверьяном Леонидовичем Беневоленским. Жизнь представлялась конченой, без цели и интересов, и, едва окрепнув, Маша выехала в Россию, оставив отряд на попечении Глафиры Мартиановны.

— До какого же пункта желали бы? — угнетенно спросил Рихтер.

— В Смоленск. Домой хочется.

Рихтер достал билет 1-го класса, подал до Бухареста личный экипаж, расцеловал и благословил. Провожала Глафира Мартиановна; они добрались до Бухареста, распрощались по-родственному. Маша долго махала в окно, а когда оглянулась, в купе сидела Александра Андреевна Левашева.

Чем ближе подъезжали к дому, тем все заснеженнее и суровее становилось вокруг. Поезд медленно полз по обледенелым рельсам, подолгу отдуваясь на станциях; пассажиры высыпали из вагонов и прятались в спертом тепле вокзалов, гоняя бесконечные чаи. Но в 1-м классе чай подавал проводник, вылезать не было необходимости, и случайные спутницы коротали время в разговорах.

— Дорогая моя, вы полагаете, что война — кровь, муки, смерть? Если бы. Увы, война — это безнравственность. Это торжество безнравственности, это апофеоз безнравственности, это триумф безнравственности. Да, да, дитя мое. Когда весьма воспитанная девица приживает на стороне ребенка — это война. Когда ваш друг и советник, которому вы доверяли, как себе, оказывается мошенником, поставлявшим гнилую муку,— это война. Когда милая барышня...— Левашева покосилась на сдержанную Машу,— становится содержанкой этого мошенника Хомякова...

— Что? — вдруг спросила безучастная Маша.— Хомякова?

— Увы, дорогая моя,— вздохнула Левашева.— Не будем называть имен, но ваша сестрица сама выбрала свой путь.

Александра Андреевна строго откинула голову, ожидая возражений, но тихая, по-монашески повязанная платком попутчица только тяжело вздохнула. Она более не спорила,

не отстаивала своих взглядов: она покорно выслушивала все, что ей говорили, и эта покорность очень нравилась Левашевой.

— Вы прелестны, Машенька, прелестны. Не могу представить, что расстанусь с вами.

Маше казалось, что и ей не хочется расставаться с Александрой Андреевной. В уютном купе, в бесконечно длинном путешествии было покойно. Здесь она не встречала ни сочувствующих, родных, ни любопытных, посторонних взглядов; рядом находилась женщина, которая говорила только о себе, и Маша была глубоко благодарна ей за это: любое сочувствие, любой жалостливый вздох были невыносимы. Настолько невыносимы, что приближалась она к дому скорее со страхом и беспокойством, чем с радостью и нетерпением. А Александра Андреевна все чаще и чаще сокрушалась, что придется расстаться, а потом напрямик предложила Маше собственный дом, неограниченные средства и вечную свою признательность.

— Мой несчастный брат любил вас, я знаю это, дорогая моя. Я безмерно богата и безмерно одинока. Будьте милосердны: скрасьте мою старость, и я устрою вашу судьбу. А бедный Серж будет радоваться на небесах и благословлять нашу любовь.

И Маша согласилась. Ей некуда было спешить: даже если Аверьян Леонидович и остался в живых, встреча с ним была уже невозможна, а ехать в Смоленск ей совсем не хотелось. И она согласилась посвятить свою жизнь развлечению стареющей матроны, утонула в ее слезах и поцелуях и испытала странное, почти болезненное удовлетворение, что ставит крест на собственной судьбе.

Все окончилось к обоюдному удовольствию, и обе проплакали добрых сорок верст: Маша — от горечи, а Александра Андреевна — от умиления. В Туле она деловито вытерла слезы и уже иным тоном — тоном патронессы и барыни — послала Машу прогуляться по станции. Машеньку кольнул тон, но она не ослушалась. Ей хотелось унизиться, и чем откровеннее было унижение, тем больше злорадного удовольствия испытывала Маша.

Тула пряталась в серых зимних сумерках. Низкое, пасмурное небо было сплошь в черных столбах паровозных дымов и белых фонтанчиках пара, и Маша невольно залюбовалась этим еще необычным для России пейзажем. А когда насмотрелась вдоволь, подняла голову и в окне санитарного поезда напротив увидела Аверьяна Леонидовича Беневоленского. Увидела с фотографической отчетливостью: освещенного свечой, в четкой раме окна. Он улыбался и

что-то говорил невидимым собеседникам, а окно было высоко, и Маша напрасно подпрыгивала и размахивала руками.

— Не велено пущать. Никого не велено, заразы боятся.

Грузный усатый кондуктор курил у ступеньки вагона вместе с таким же солидным санитаром. Оба равнодушно глядели мимо Маши.

— В вашем вагоне — мой жених. Я видела в окно.

— Не велено.

— Так позовите же его, Господи! Вольноопределяющийся Бене...— Маша осеклась.— Нет, нет, Беневоленский — это другой. Другой.

Она не знала, под какой фамилией ушел в армию ее жених, и потому сразу же отошла от вагона и вновь стала смотреть в окно, за которым только что видела Аверьяна Леонидовича. В оконной раме долго никто не появлялся: Маша уже испугалась, что он ушел. Потом он вдруг вновь ясно и отчетливо возник за стеклом, улыбнулся, повернул к ней голову.

— Аверьян Леонидович! — что было сил закричала Маша.— Аверьян Леонидович, это я! Я!..

А поезд дернулся и пошел, и Беневоленский продолжал так же упорно и незряче глядеть на Машу. Глядеть и не видеть...

— Это я!..

Маша сорвала с головы платок, замахала им, стараясь прыгнуть повыше: поезд шел медленно, и она, размахивая платком и подпрыгивая, шла рядом. А Беневоленский глядел в упор, глядел и не узнавал, и Маша не понимала, что смотрит он из освещенного вагона в густые сумерки и, глядя на нее, ничего не видит.

— Гля-ко, стриженая,— громко сказал кондуктор.— Жених, говорит, а фамилии не знает. Энта из тех, значит, которых полиция стригет. Чтоб все видели, какие они из себя.

— Тьфу, лярва! — плюнул санитар, проезжая мимо Маши.

Маша услышала не слова — они прошли мимо, они не могли, не смели ее касаться. Но Беневоленский видел ее, видел — в этом она не сомневалась...— видел и не узнавал. Почему? Потому что думал то, о чем судачили кондуктор с санитаром. Она просто услышала его мысли, только и всего. Его мысли — Маша более не сомневалась.

С олексинской стремительностью она вошла в купе после второго звонка. Носильщик еле поспевал следом, а Александра Андреевна не успела удивиться.

— Чемодан, баул и корзинка,— странным, чужим голо-

сом сказала Маша.— Скорее же! Я остаюсь в Туле, Александра Андреевна. Прощайте!

И вышла из купе.

4

Сан-Стефанский договор породил скрытую войну в Европе. Англия, Австро-Венгрия, Франция усилили дипломатический нажим. Истощенное войной, русское правительство вынуждено было передать на международное обсуждение некоторые статьи договора. Конференция европейских держав открылась 1 июня 1878 года, войдя в историю под названием Берлинского конгресса.

На конгрессе председательствовал канцлер Германии Бисмарк, игравший роль арбитра, но на деле всячески поддерживавший притязания Австро-Венгрии. Россия оказалась в изоляции. В результате длительной дипломатической борьбы, закулисных интриг и прямых угроз европейских стран, обеспокоенных полным поражением Турции и усилением русского влияния на Балканах, Сан-Стефанский договор во многом был пересмотрен. Единая Болгария была искусственно разделена: северная ее половина от Дуная до гор Стара Планина получала статус автономного княжества; южная — оставалась провинцией Турции под названием Восточная Румелия. Половина болгарского населения вновь оказывалась в кабальной правовой зависимости от турецкого правительства. Жертвы русского и болгарского народов, вынесших основную тяжесть кровопролитной войны, были перечеркнуты одним росчерком пера 1 июля 1878 года, в день подписания Берлинского трактата.

Двумя месяцами позже в небольшой софийской кафане сидели два молодых офицера: подполковник, с иссеченным шрамами лицом, и штабс-капитан. Подполковник хмуро курил, а капитан просматривал длинное письмо. К столу подошел пожилой болгарин. Молча поставил кашкавал, хлеб, кувшин вина.

— Скару подам, как готова будет,— сказал он.

— Меня могут спросить,— предупредил подполковник.

— Я укажу. Да ви е сладко.

— Благодаря ви,— подполковник разлил вино в глиняные чаши.— На здраве, брат.

— На здраве, Гавриил.

Братья выпили, и Федор с молодым аппетитом накинулся на еду. Гавриил нехотя отщипывал хлеб. Спросил, скорее чтобы нарушить молчание, чем из любопытства.

— Что пишет Василий? Только своими словами: его почерк не для меня.

— Изволь,— Федор развернул письмо.— У Маши благополучно отрастают волосы, начала музицировать. Коля в гимназии... Далее идет сплошное богословие: он, видишь ли, не согласен с графом Толстым. «... А если кумиры ваши начинают излагать ложь, уйдите, дабы сохранить великую любовь в сердце своем. Вот почему я решительно попросил освободить меня от обязанностей учителя...» Как это тебе нравится?

— Каждый волен поступать согласно собственной совести.

— А деньги как он будет зарабатывать?

— Олексины стали думать о деньгах,— невесело усмехнулся Гавриил.— Васька прав, Федор: не сотвори себе кумира.

— Есть люди, которых ничему не учит жизнь, брат.

— И знаешь, они мне по душе: им можно доверять,— сказал подполковник.— А вот тем, которые все время тщатся попасть в ногу с веком...— Он помолчал.— Кумир, Федька, может быть в разном обличье, ты не находишь? Карьера — это ведь тоже кумир.

— Возможно,— Федор достал из стоявшего на полу саквояжа измятый пакет.— Знаешь, что это? Рекомендация полковника Бордель фон Борделиуса. Хватило же у меня характера самому себя отрекомендовать. И заметь, не в гостиной.

— Не понял, извини.

— А я понял, что мое предназначение — служить отечеству в военном мундире,— напыщенно сказал Федор, кинув пакет в саквояж.

— Кому? Народу? Отечеству? Это — две самых затасканных ширмы, Федор. Предают тоже во имя интересов народа: просто так в своем предательстве никто не распишется, дураки ныне перевелись. Васька, конечно, блаженный, но куда честнее нас поступает. Страшно не тогда, когда кумир рушится,— страшно, когда он создается.

— Когда рушится, тоже страшно.

— Le roi est mort — vive le roi! Умер монарх, но осталась монархия: что же тут страшного? Страшно, когда идея подменяется кумиром, когда уже не он ей служит, а она ему: именно об этой метаморфозе предупреждала Библия.

— Уж не стал ли ты социалистом, подполковник Олексин?

— России вреден социализм, Федор, ибо взрослели мы под скипетром, в чужие дела не совались и в переселении народов не участвовали. И мощь наша — в самодержавии,

а не в парламентских дебатах. Но,— Гавриил понизил голос,— государь не всегда олицетворяет собой идею монархии. Хуже того: порой он дискредитирует ее, давая пищу различным социальным вывихам. Как в этом случае должен поступить честный офицер?

— Полагаю, он всегда должен оставаться честным.

— Он должен взять на себя всю ответственность за своего сюзерена и в меру сил своих очистить святую идею от пятен.

— Красиво, но маловразумительно,— усмехнулся Федор.— Мы словно поменялись местами. Война — всегда рокировка: у кого длинная, у кого — короткая. Насколько я понял, ты хочешь подать прошение об отставке?

— Я хочу оставить армию без всякого прошения.

— Как? — Федор помолчал.— Изменить государю, которому присягал?

Болгарин принес скару, и он замолчал. Продолжил, когда мясо было разложено и хозяин ушел.

— У нас в роду не было предателей, Гавриил!

— Я не обязан сохранять верность человеку, предавшему целый народ,— сказал Гавриил, помолчав.— Во имя политики он поступился честью России, а я во имя чести России поступлюсь фамильной политикой и не напишу прошения.

— Ты опозоришь всех нас, Гавриил,— тихо сказал Федор.— Я через Скобелева обещаю тебе отставку с мундиром и пенсией. Получи ее, и делай что хочешь, хоть поднимай восстание команчей.

— Каждый отвечает за историю, Федор. Не «мы отвечаем за все», а «я отвечаю за все» — вот истина, ради которой стоит пожертвовать.

— Сначала уйди со службы.

— Мы, Олексины, никогда не просили милостей у государей: так когда-то сказал мне отец.

— Вот вы где, командир! — к ним подходил молодой болгарин. Поклонился Федору, чуть понизил голос: — Все готово, Здравко — в Рильском монастыре, кони — у Младенова.

— Иди, Митко, я догоню,— Митко вышел, и Гавриил поднял чашу.— Прощай, брат. Вряд ли мы увидимся с тобой.

— Гавриил, я прошу тебя...

— Прощай, Федор,— Гавриил выпил чашу, поклонился и вышел.

Федор долго сидел молча. Подошел пожилой болгарин, начал тихо убирать посуду. Федор рассеянно посмотрел на него, сказал вдруг:

— Перо, бумагу, чернила. Живо!

5

На рассвете 5 октября 1878 года воевода Стоян Карастоянов с четырьмя сотнями четников и повстанцев атаковал турецкий гарнизон в Кресне — селе, расположенном в Пиринском горном массиве, отошедшем к Восточной Румелии по Берлинскому трактату. Турки были разгромлены на голову, в плен сдались сто девятнадцать аскеров с двумя офицерами. Через месяц боевые действия развернулись во всей округе; свыше пятидесяти сел по обеим берегам реки Струмы и вся Банско-Разложская котловина были освобождены. Так начался последний акт трагедии болгарского народа, вошедший в историю под названием Кресно-Разложенского восстания.

Восстание вскоре приняло огромный размах, охватив Пиринский край, Македонию, часть Тракии. Было выбрано общее руководство и единый орган власти, названный Временным Болгарским Управлением. Вместе с болгарами — четниками и бывшими ополченцами, крестьянами и интеллигенцией — воевали греческие повстанцы, добровольцы из Черногории, Боснии и Герцеговины. За оружие взялись все, кому решения Берлинского конгресса вновь сулили и турецкие поборы, издевательства и беззакония.

Турецкое правительство спешно стягивало войска. Английские корабли перебрасывали воинские части и боеприпасы, австрийские агенты вели активнейшую разведку и подрывную деятельность в тылу восставших, орды башибузуков ринулись со всех сторон на пылающий край, стремясь отрезать его как от Восточной Румелии, так и от вновь образованного Болгарского княжества. Петля вокруг восставших затягивалась все туже; оружия еще хватало, но патроны добывались в бою, а доставка их стоила огромных трудов. Отлично вооруженные регулярные турецкие войска клиньями вонзались в охваченные восстанием районы, башибузуки сжигали села, терроризировали население, убивали мужчин и угоняли женщин. Как ни велико было мужество и стойкость повстанцев, турки к концу 1878 года сумели разрезать восставший край на части, изолировать отряды друг от друга, лишив их связи и заперев в горах.

Зима здесь была легче, чем на Балканах, а снега выпало много. Он шел часто, засыпал дороги и тропы, и турки прекратили попытки добить окруженный отряд. Патронов почти не осталось, и кончалась еда, а вместе с четниками в горах прятались сотни женщин и детей. Командиры разослали опытных горцев во все соседние четы с приказом во

что бы то ни стало раздобыть боеприпасы, но посланцы не возвращались и давно не подавали вестей.

Перед рассветом Гавриил проснулся от далекого грохота. Со сна подумал, что гроза, и не удивился: грозы в горах случались и зимой. Накинул полушубок, вышел из землянки. С однообразно серого неба сеял снежок.

— Слышал, гром? — спросил он у немолодого четника, сидевшего у костра.

— То не гром. Обвал, может быть. Меченый придет — скажет: он в полночь к дороге ушел.

Меченый возвратился часа через два. Сразу прошел в землянку, где ждали Гавриил и Отвиновский.

— Патронов не будет.

— Откуда известия? — спросил Отвиновский.— Митко вернулся?

Меченый сел у входа, долго переобувался, вытряхивал снег. Гавриил и Отвиновский молча ждали, что он скажет.

— Слышали грохот? Митко вез патроны и попал в засаду. Два часа отстреливался, а потом взорвал патроны. И себя вместе с ними. Большая у него могила,— Меченый прошел к столу, разлил ракию.— Вечная память тебе, Митко. Кровь за кровь.

Все выпили. Стойчо налил себе еще.

— Не пей,— сказал Отвиновский.— Ты не ел два дня.

— Я замерз, Здравко,— Меченый хлебнул ракии, сел за стол.— Сколько у нас патронов?

— Чуть больше полусотни,— Отвиновский показал в угол.— Вот они все. Я отобрал у четников.

— А револьверных?

— К чему спрашивать? — тихо сказал Олексин.— Тут иная арифметика: у нас триста женщин и детей. Не считая раненых.

— У нас — боевая чета,— жестко уточнил Меченый.— Мы должны сохранить ее.

— Разгромив турок пятью десятками патронов? — усмехнулся Отвиновский.

— Турки не ожидают нашего удара, и мы можем вырваться из кольца. Уйти в Родопы, раздобыть боеприпасы и начать сначала.

— А женщин и раненых оставить башибузукам? — спросил Олексин.

Меченый угрюмо молчал, изредка прихлебывая ракию. Потом сказал:

— Всех не убьют.

— Вам будет легче от этого?

— Всех не убьют,— упрямо повторил Стойчо.— Молодые

разбегутся, уйдут в горы, попрячут детей. Давайте спросим самих людей, Олексин. Как скажут, так и будет.

— Так не будет,— Олексин закурил, прошелся по землянке, привычно пригибая голову.— Есть решения, которые командир обязан принимать, советуясь только с собственной совестью.

— Предлагаете сдаться на милость? — криво усмехнулся Меченый.— Забыли, как выглядит турецкая милость, Олексин?

— Я не предлагаю, Меченый, я приказываю. Приказываю вступить в переговоры с противником и спокойно взвесить, что они нам предложат.

— Петлю, полковник Олексин!

— Возможно, Стойчо.

Меченый выругался, крепко ударил кулаком по столу.

— Тебе не кажется, Здравко, что он предает восстание?

— Олексин прав,— тихо сказал Отвиновский.— Не надо горячиться, Стойчо. Надо всегда исполнять свой долг до конца. Сегодня наш долг — спасти женщин и детей.

— А мужчины пусть болтаются на виселицах?

— Мы — тоже мужчины, Меченый,— сурово сказал Олексин.— Вы на время забыли об этом из-за гибели Митко. Я понимаю, вас обуяла жажда немедленной мести. Кровь за кровь — прекрасная клятва, если она не касается крови женщин.

— Вы помните редут Картал в Троянах, Олексин? Я снимал со стены распятого турками гайдука, а Здравко, жалея ваши нервы, не дал вам его разглядеть. Это был Бранко, полковник, муж моей сестры и ваш проводник в Сербии.

— Бранко?

— Зачем ты вспомнил об этом, Стойчо? — с упреком спросил Отвиновский.

— Чтобы он знал, что нас ожидает!

— И вы испугались? — Олексин вздохнул.— Не верю, Меченый, я знаю ваше мужество. Вы растерялись и поэтому цепляетесь за привычный для гайдуков выход: прорываться, куда глаза глядят. Но в гайдукских четах не было женщин и детей.

— Слишком велика цена, Стойчо,— тихо сказал Отвиновский.

— Вы не о том говорите, Стойчо,— строго продожал Олексин.— Я — командир отряда, и решение мною уже принято. Сегодня в час пополудни я иду на переговоры.

В землянке наступила тишина. Слова подполковника прозвучали приказом, и друзья оценивали последствия этого.

— Ну, так значит так,— тяжело обронил Меченый.— Наверно, вы правы: Митко был последним из гайдуков Цеко Петкова. Последним, кто был с нами в Сербии, полковник.

— На переговоры с турками пойду я,— негромко сказал Отвиновский.— Не спорьте, Олексин. Вас тут же схватят и передадут русским, а Меченого в лучшем случае пристрелят на месте.

— А тебя помилуют? — спросил Стойчо.

— А я — поляк,— улыбнулся Отвиновский.— Им придется сначала подумать.

— Кажется, вы вовремя вспомнили о русских,— задумчиво сказал Гавриил.— Поскольку отрядом командует подполковник русской армии, поставьте противнику непременным условием присутствие представителя русской администрации при сдаче. Это заставит турок выполнить наши требования. Отряд сложит оружие только в присутствии русского представителя, Отвиновский, только в его присутствии! А мы с вами, Стойчо, пойдем к четникам и разъясним, что ничего позорного в этой сдаче нет.

Отправляя Отвиновского на переговоры, Гавриил отчетливо представлял опасность, которой подвергал своего друга. Турки вообще мало обращали внимания на выполнение каких бы то ни было законов ведения войны, а в отношении к повстанцам никогда их и не придерживались. Отвиновский мог быть тут же задержан, убит, а то и подвергнут пыткам; шансов вернуться у него было мало, и Олексин, беседуя с четниками, все время думал об этом. Думал не только с тревогой, но и с острой горечью, будто прощаясь навсегда.

В сумерках Отвиновский вернулся целым и невредимым. Всегда сдержанно-немногословный, он был как-то по-особому, почти торжественно, молчалив, но отнюдь не подавлен. Сел за стол, пристально посмотрел на Олексина.

— Что же турки? — нетерпеливо спросил Стойчо.

— Приняли все наши условия: присутствие представителя русской администрации, беспрепятственный выход женщин и детей, транспорт и медицинская помощь для больных и раненых. Более того, они готовы отпустить и наших четников на все четыре стороны, как только будет сдано оружие. При этом уроженцы северной Болгарии могут вернуться в княжество.

— Хорошей мы были занозой, если они с такой готовностью отпускают всех по домам! — воскликнул Меченый.— Нет, вы были правы, Олексин. Видимо, и османам надоела эта война, если они согласны на мировую.

Олексин смотрел на Отвиновского и не спешил радо-

ваться. Что-то было в глазах поляка, мешающее вздохнуть с облегчением.

— Что же они потребовали взамен? — спросил он.

— Наши головы,— сказал Отвиновский.— Естественно, я согласился: это — выгодный обмен. Завтра турки свяжутся с русским командованием и сообщат нам, когда прибудет представитель.

Они долго сидели молча. Трещала свеча, бросая дрожащие отблески. Потом Меченый встал, принес ракию и последний кусок сыра.

— Они хоть накормили тебя, Здравко?

— Мы пили кофе.

— Нет, они не люди, эти османы,— вздохнул Меченый, разливая ракию.— Знать, что человек голоден, и не накормить его добрым куском мяса — это уже свинство. Сколько тебе лет, Здравко?

— Тридцать.

— А вам, Олексин?

— Зачем вам понадобился мой возраст?

— Из любопытства, полковник.

— Двадцать шесть.

— Мне — двадцать два. Если сложим все вместе, получим семьдесят восемь. Оказывается, мы не так-то мало прожили на этом свете, а?

— Ровно столько, сколько весь девятнадцатый век.

— Значит, мы — ровесники века!

— Ты прав, Стойчо. Мы — сам девятнадцатый век, век мятежей и восстаний, декабристов и Парижской Коммуны. Что ж, мы оставим потомкам неплохое наследство, если они сумеют им правильно распорядиться.

— Так выпьем за девятнадцатый век,— сказал Стойчо.— Правда, нам не хватило его на то, чтобы жениться и народить сыновей, но Здравко рассудил верно: мы прожили свой век не напрасно. На здраве!

Друзья шутили, но Олексин, грустно улыбаясь, не поддерживал шуток. Он понимал, что ему не разделить их судьбы, что присутствие русского представителя означает, что он, офицер русской службы Гавриил Олексин, будет передан в распоряжение русских властей, тогда как и Меченый и Отвиновский останутся в руках турок. До того, как расстаться с жизнью, ему предстояло расстаться с друзьями, и печаль этого неминуемого расставания уже овладела им.

Через два дня турецкие парламентеры прибыли в отряд: сдача назначалась на следующее утро. Олексин подтвердил готовность сложить оружие при гарантиях, которое обеспечивало присутствие представителя России. Турки, в свою

очередь, подтвердили условия: беспрепятственный выход мирных жителей, транспорт для раненых и больных, свобода рядовым четникам после разоружения.

— Ваши помощники будут арестованы и предстанут перед судом его величества султана,— сказал парламентер.— Вы, господин полковник, будете переданы под охрану русских представителей.

— И вы не задерживаете рядовых.

— Да. Рядовые воины обязаны в кратчайший срок разойтись по своим селам и явиться к местным властям для регистрации. Уроженцы северной Болгарии следуют в княжество под русским конвоем. Если вы согласны, господин полковник, извольте подписать условия. Они уточнены с русскими властями и уже подписаны их представителем.

Турецкий офицер развернул документ. Он был скреплен подписью представителя русской администрации князя Цертелева.

Утро выдалось тихим и солнечным. Еще затемно лагерь начал готовиться к сдаче, множество четников приходило прощаться. В девять, когда командиры вышли из землянки, перед нею стоял строй повстанцев. Гавриил и Меченый сказали несколько прощальных слов, четники в последнем салюте подняли оружие, заплакали женщины. Олексин поклонился им, отдал честь строю и первым вышел из лагеря.

Вскоре его нагнали Отвиновский и Меченый. По тропинке перевалили через горный кряж, с которого уже были сняты часовые, и еще издали по другую сторону пологого спуска увидели аскеров и длинную ленту санитарных фургонов. А на середине спуска — сотню спешенных донцов, крытый возок и стоявших поодаль двух турецких офицеров и господина в штатском.

— Ждут,— сказал Меченый.— Смотрите-ка, они и в самом деле подали транспорт для раненых.

— Подождем и мы,— Отвиновский вдруг остановился.

— Зачем? — вздохнул Стойчо.— Часом раньше, часом позже: осталось две сотни шагов.

— Я не торгуюсь со смертью, Меченый,— усмехнулся Отвиновский.— И думаю сейчас не о тех шагах, что нам осталось пройти, а о том шаге, что мы уже сделали. Мы — русский, болгарин и поляк — сделали пусть маленький, пусть незначительный шаг и чтобы понять друг друга, и чтобы понять, за что стоит сражаться. Поэтому обнимемся здесь, чтобы никто не принял слезы нашей гордости за признак нашего малодушия. Прощай, Гавриил.

— Прощай, Збигнев,— Олексин троекратно расцеловался с Отвиновским.— Прощай, Стоян.

— Прощай, Гавриил.

Друзья обнялись в последний раз, улыбнулись друг другу и, уже не останавливаясь, направились к ожидавшим их офицерам и господину в штатском. Подойдя, молча отдали честь, а господин шагнул навстречу и протянул руку Олексину.

— Как всегда, рад видеть вас, Олексин.

— Здравствуйте, князь.— Гавриил поклонился.— Вы протягиваете руку инсургенту.

— Да полноте,— улыбнулся Цертелев.— Вы поступили по совести, и я поступаю так же.

— Благодарю. Прикажете сдать оружие?

— Зачем? — искренне удивился князь.— Вы — частное лицо, и уж если турки не предъявили вам претензий, то мы и подавно.

— Я — офицер русской службы,— сухо пояснил Олексин.— Может быть, вам неизвестно, что я самовольно покинул армию?

— Вы такой же подполковник, как я — хорунжий Кубанского полка. Я видел ваши бумаги: прошение об отставке утверждено государем, следовательно, ничего вы самовольно не покидали. Мало того, скажу по секрету, что своим участием в этих беспорядках вы оказали большую услугу нашим дипломатам. Так что не удивлюсь, коли вскорости поздравлю вас с орденом...

Гавриил уже не слышал, о чем со светской непринужденностью болтал князь Цертелев: такого ужаса, какой он ощутил вдруг, он не испытывал никогда ни в боях, ни в кошмарах. До сей поры он был твердо убежден, что разделит участь своих друзей; пусть не здесь, пусть не сейчас, но все равно разделит: будет расстрелян, повешен или, на худой конец, заточен в каземат. Эта общность судьбы примиряла его со смертью, давала силы гордо смотреть в глаза друзьям и недругам, оставляла его безупречно честным перед всеми и прежде всего — перед самим собой.

— ...Помните обед в Бухаресте? Из пяти веселых мужчин, сидевших когда-то за одним столом, двое уже перебрались в лучший мир: князь Насекин застрелился, а беднягу Макгахана унесла тифозная горячка. Вчера я напомнил об этом обеде Скобелеву, и он распорядился доставить вас к нему.

— Зачем? — быстро спросил Гавриил.

Он ясно расслышал «доставить», он еще надеялся на генеральский гнев.

— Отобедать, Гавриил Иванович,— улыбнулся Цертелев.— Кстати, и с Федором Ивановичем увидитесь.

В стороне под охраной двух офицеров стояли Меченый и Отвиновский. Оружия у них уже не было.

— Что будет с моими друзьями?

— Увы,— вздохнул князь.— Единственное, что мне удалось сделать, это добиться военного суда и, следовательно, расстрела.

— Смерть от пули — хорошая смерть. Когда это случится?

— Если завтра суд, то на рассвете — казнь. Да, так я о Федоре Ивановиче: он делает блестящую карьеру. Михаил Дмитриевич представил его, и государь очень смеялся, когда узнал, как штатский порученец вел в бой под Ловчей колонну Добровольского..

«Казнь на рассвете», «государь очень смеялся», «Федор делает карьеру»: трагедия превращалась в фарс. Точнее, ее превращали в фарс, дабы не омрачать мелкими неприятностями самовлюбленные лики властителей народных судеб. Народное восстание изо всех сил выдавали за фарсовую случайность, за очередной анекдот, и не тем ли помог он, Гавриил Олексин, русской дипломатической службе, что, уже числясь в отставке, бежал впереди колонны, подобно штатскому Федору? Ах как посмеется государь, когда ему расскажут об этом.

Женщины и дети уже прошли, уже погрузили раненых и уехали фургоны; с гор длинной вереницей спускались четники. Проходя мимо аскеров, они клали на снег оружие, и Гавриил все время слышал тихое позвякивание металла. А возле Меченого и Отвиновского незаметно, будто сама собой, появилась охрана, и теперь Стойчо улыбался Олексину из-за жандармских спин. Ах как весело посмеется государь...

— Извините, Олексин, меня зачем-то зовут турки,— сказал князь.— Может быть, пойдем вместе и вы заодно попрощаетесь...

«"Заодно?" «Аве, цезарь, моритури те салютант» — так, вероятно, скажут ему друзья. Нет, князь, «заодно» уже не получается...»

— Благодарю. Полагаю, что успею еще сделать это.

— Тогда поскучайте.

— Вас позвали по моей просьбе,— сказал Отвиновский, когда Цертелев подошел.— На Волыни в Климовичах живет единственный человек, которому я дорог,— Збигнев достал офицерский Георгиевский крест.— Я получил эту награду из рук генерала Карцова. Если бы вы могли передать ее Ольге Совримович, князь.

— Я непременно исполню вашу просьбу,— Цертелев спрятал орден.— Волынь, Климовичи, Ольга Совримович.

— Вы оказываете мне огромную услугу.— Збигнев помолчал.— Естественно, для Ольги я погиб в бою.

— Безусловно, Отвиновский.

— Смотрите, что с Олексиным? — вдруг крикнул Меченый.

В морозном воздухе никто не расслышал выстрела, тем более что Гавриил прикрыл револьвер полой полушубка. Когда князь подбежал, Олексин был уже мертв.

Эпилог

Россия гордилась войнами, гремевшими в начале и конце ее золотого девятнадцатого столетия. Первая спасла отечество и свергла власть гениального узурпатора; победы обещали свободу, и неисполнение мечтаний породило декабрь на Сенатской площади. Вторая подарила свободу другим, оставив России одни надежды, и бомба Гриневицкого была итогом этих напрасных надежд. Обманутые ожидания обладают странным свойством концентрироваться в динамите.

Часто выигрывая войны, Россия еще чаще проигрывала мир, ибо исход войны решает народ, а миром распоряжается правительство. И правительство, проиграв столь щедро оплаченный народом мир на Балканах, в порядке компенсации учредило бронзовую медаль для всех участников войны. А тем, чей подвиг оказался особо трудным, медаль полагалась серебряная, и получали ее защитники Шипки и герои Баязетского сидения. Немного было уцелевших, и лишь одна семья в России могла похвастаться двумя серебряными медалями — семья майора в отставке Петра Игнатьевича Гедулянова. Вскоре после войны он поселился вместе с женой в станице Крымской, так и не выслужив заветного дворянства. Впрочем, он не жалеет об этом, занятый семьей, хозяйством и регулярными поездками в Тифлис, где живет одинокий, желчный, весьма неприятный отставной майор Штоквич. Он получил Георгия, тысячу рублей годового пенсиона и полную отставку: воздав должное, государь не счел возможным закрыть глаза на способ, которым Штоквич спас Армению от резни. У Гедуляновых двое детей, Тая счастлива и никогда не вспоминает, как везла когда-то в Тифлис перепуганного и жалкого Федора Олексина.

Полковник Федор Олексин тоже не вспоминает о прошлом. Он закончил академию Генерального штаба, а после внезапной смерти своего покровителя Михаила Дмитриевича Скобелева сумел понравиться новому императору Александру III. Настоящее его блестяще, будущее прочно; может

быть, поэтому он охотнее других навещает Варвару: она живет в подмосковном городишке, где ее супруг Роман Трифонович Хомяков ставит уже третью фабрику. Здесь тоже предпочитают не вспоминать вчерашнего и трезво взвешивать завтрашнее.

А завтрашнее беспокоит многих: в сумерках тревожно думается, какие знамена придут на смену угасающему русскому дворянству. Рев фабричных гудков глушит боевые кличи воинских труб, звон шпор уступает звону золота, и за разухабистыми канканами уже не слышна мазурка. Владельца Ясной Поляны, родовитого аристократа и известного всему миру писателя, очень тревожат глубокие трещины в фундаменте народной нравственности. Он ищет новый скрепляющий состав для нее в религиозном реформаторстве, создав собственное толкование христианства. Пророк опоздал к народу своему — его увели другие пророки,— но судьбе угодно было и здесь не обойтись без парадокса: первым апостолом нового учения стал народник и атеист Василий Иванович Олексин. Переехав из Ясной Поляны в Самару, он остался с Толстым навсегда. Наведавшись в гости, взял почитать последнюю работу Льва Николаевича: свод всех четырех канонических Евангелий. Труд этот настолько поразил Олексина, что он в считанные дни сделал краткое его изложение, попросив Толстого написать предисловие и заключение. Так родилось знаменитое «Евангелие Толстого», положившее начало религиозному движению толстовцев.

«Спасибо вам за хорошее письмо, дорогой Василий Иванович! Мы как будто забываем, что любим друг друга. Я не хочу этого забывать — не хочу забывать того, что я вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего миросозерцания, до которого я дошел...»

— писал Лев Николаевич в одном из писем в Самару, где Василий Иванович проповедовал новое учение с истинно олексинским упоением и восторгом, забыв о родных и близких. Грядущее уже требовало безоглядного служения однажды избранной идее.

Тихий Смоленск тоже ждал нового века. Тетушка Софья Гавриловна, с трудом передвигаясь на опухших ногах, предостерегала от соблазнов и безверия. Иван уехал в Петербург, в Технологический институт, а все дела по дому вели теперь Леночка и Дуняша. После переезда Василия в Самару Маша вернулась домой, и здесь ее разыскал-таки однорукий Аверьян Леонидович Беневоленский.

Сумерки XIX столетия были мрачными и на редкость долгими. Заря утренняя не спешила сменить зарю вечернюю: темный фон российского самодержавия и так был пронизан зарницами грядущих революций. И одна из этих зарниц

полыхнула ясным морозным днем в одном из окраинных губернских городов.

Приказчик торговых рядов Пров Ситников первым приметил молодую, хорошо одетую даму с большой меховой муфтой. Оценив как собственные достоинства, так и новомодную короткую стрижку незнакомки, приказчик мелким бесом подскакал поближе, но был настолько оглушен отповедью на безукоризненном французском языке, что тут же ретировался. Впоследствии он сообщил полиции, что продолжал издалека наблюдать за дамой, поскольку его, Прова Ситникова, удивила ее нервозность. Он даже хотел снова подойти, но тут из-за угла вылетели открытые сани, в которых губернатор имел обыкновение каждое утро кататься по городу. Увидев их, незнакомка шагнула к мостовой, подняла муфту и... замерла: по обе стороны губернатора сидели дети. Девочка и мальчик — веселые, озорные, розовые от ветра и мороза. Дама повернулась к ним спиной и упала в сугроб, накрыв собою муфту. Раздался взрыв, от которого пострадала только покойная Мария Олексина, дворянка Смоленской губернии, покушавшаяся, как установило следствие, на жизнь губернатора.

...Уходил XIX век, и те из Олексиных, которые не смогли приспособиться к новому порядку вещей, уходили вместе с ним, не зная, что именно они и оставляют в наследство грядущему то, чем были богаты: свою незапятнанную честь. Ради этого стоило жить и стоило умирать.

Карнавал

КАРНАВАЛ

Глава первая

1

— До чего же это архаично звучит,— сказала жена.— Почти средневековая чушь.

— Может быть, не стоит ехать?

— Почему же. Любопытно в наши дни получить в подарок дачу от неизвестной тетушки.

Владимир Петрович Иваненков побаивался собственной жены — весьма ученой и весьма властной, родившей ему дочь в порядке исключительного одолжения. Захватив господствующую позицию, она укрепляла ее всю жизнь: читала лекции, писала статьи, выступала по радио, переводила с английского, руководила кафедрой и вообще занималась делом, в которое, естественно, уже не вмещались ни дочь, ни он сам — супруг и номинальный глава семейства. И объем ее труда, и общественное положение, и служебный авторитет (не говоря уже о зарплате) были на два порядка выше: даже за границу он ездил в качестве члена семьи, которому кое-как подыскали работу, когда жена читала курс математической логики в местном университете. При таком распределении прав и обязанностей единственная дочь лишалась родительского внимания: мать витала слишком высоко, а отец чересчур уж был затенен постоянно действующим ощущением второстепенности. Она в равной степени не признавала ни его, ни ее, жила в собственном мире, но все выглядело вполне нормально: нормально кончила школу, нормально поступила в институт, не гналась за модой, но и не отставала от нее. Однако дарственная, встреченная с легкой насмешкой, получена была все же не женою и не дочерью, а им, Владимиром Петровичем Иваненковым, рядовым инженером, от практически незнакомой ему тетушки, и подарком этим была дача в семидесяти километрах от города под районным центром Миловидово.

— Посмотри сам, это может оказаться любопытным,—

сказала жена, когда он попробовал настоять на семейной прогулке.

Настаивал он с осторожностью сапера, поскольку опасность подстерегала при каждом неверном шаге: переборщи — и жена изъявит готовность, недоборщи — немедленно обвинит в желании избежать совместной поездки. Двадцатипятилетний опыт семейного иезуитства не прошел для Владимира Петровича даром: поездка в одиночестве была санкционирована, и он с трудом сдержал вздох облегчения. Не потому, что не любил совместных загородных поездок — он как раз очень ценил их, поскольку это была единственная возможность оказаться у руля,— а потому, что не знал, какова развалюха, подаренная ему, и побаивался отточенного язычка жены. А сам был искренне тронут внезапным даром тетушки, которую и вспомнить-то толком не мог: чем дольше он жил, тем все меньше оставалось у него родственников, и всякий лучик внимания воспринимался с каждым годом с повышенной теплотой.

Он выехал рано, надеясь обернуться засветло. Стояла поздняя, на редкость сухая и тихая осень; Владимир Петрович провел отпуск на Рижском взморье, за город выезжал редко, и теперь с огромным наслаждением дышал горьковатым ароматом опавшей листвы. По этому шоссе ездить ему не случалось; оно было узким, петляло в голых лесах, а в субботнее утро казалось вымершим. "Надо будет насчет грибков разузнать,— подумал Иваненков, ощутив почти восторженный подъем.— Катаемся по курортам, а под носом такая красота. И охота, наверно, есть..." Он не был ни грибником, ни тем паче охотником, но эти пустынные, черные леса пробудили в нем что-то забытое, далекое, что-то из детства: родители каждое лето отправляли его в деревню к деду и бабке, и сейчас эта далекая пора дохнула вдруг в открытое окно его «Волги».

По наведенным справкам дарованная ему дача — собственно, не дача, а домик — находилась на территории лесничества: муж тетки много лет проработал в нем, с выходом на пенсию получил участок, а как построился, так и помер на крыльце собственного дома. Детей у них не было, и тетка описала всю эту трагедию в письме единственному племяннику, а он в ту пору жил за границей: на похороны не попал, письмо получил с запозданием, но ответил тепло и пространно, и вот теперь — спустя год — ехал поглядеть на завещанное ему тетушкино наследство.

Через час он миновал Миловидово — аккуратный старенький городок, с современными индустриальными корпусами, обнесенными колючей проволокой. «Вот это напрас-

но,— лениво подумалось ему.— Совсем был бы бабушкин оазис...» За райцентром шоссе пошло в гору, лес показался более ухоженным; вскоре пришлось свернуть на узкую дорогу, где путь преградил шлагбаум: за ним виднелось здание конторы и несколько стандартных домиков.

— Бусовых дачу я вам покажу,— сказала Анна Сергеевна Сковородникова, оказавшаяся местным хранителем ключей.— А внутрь пустить никак не могу, уж не обижайтесь. Разрешит заместитель председателя горсовета — мы непосредственно ему подчиняемся, потому что зеленой зоной с этого года объявлены — тогда пожалуйста, милости просим. У нас тут тихо, народу зимой почти что совсем нет, а летом — грибы и ягода, тишь да благодать, а уж воздух-то, воздух...

Анна Сергеевна была говорлива и не давала Владимиру Петровичу слова сказать. Впрочем, рассказывать о себе он не собирался: представился, показал документы и теперь молча шел по тропинке, а женщина трещала без умолку:

— Значит, племянничком Елизавете Николаевне доводитесь? Знала я ее, хорошо знала, а вот супруга ее Григория Семеновича знать мне не довелось, позже я оформилась на службу-то... Ну вот мы и дошли.

Домик открылся неожиданно — на небольшой поляне, со всех сторон огороженной аккуратным частоколом молодых елочек. Это была не крестьянская изба и не дача, не стандартное поселковое строение, но и не вычурный каприз индивидуального застройщика: это был именно домик и по-другому называть его не хотелось. Все в нем выглядело скромно и соразмерно: ровно столько, сколько следовало видеть во всех измерениях. И веранда уравновешивалась светелкой, и мансарда, выгороженная из чердачного помещения, как бы вытягивала одноэтажный домик вверх, не создавая при этом тяжеловесного второго этажа.

— Кто же им такой теремок отгрохал? — спросил он, обретя наконец дар речи.

— Хорош, правда? — радостно подхватила Сковородникова.— Рассказывают, будто Григорий Семенович два года строил вместе с дружком своим, плотником. Тот тоже помер, а руки золотые, да кто это теперь ценит...

Он не слушал; так вдруг захотелось внутрь: поглядеть, потрогать, ощутить, что твое это, по всем законам твое. «Игрушка,— подумал он.— Да нет, игрушка — это всегда ненастоящее, с изломом и кокетством, а тут само естество, с какой стороны ни глянь...» И сказал вдруг:

— А заместителя председателя где найти?

— Так ведь суббота,— с заминкой сказала провожатая: она что-то ему толковала, а он перебил.

— Позвонить нельзя ему?

— Суббота же,— терпеливо, как маленькому, повторила она.

— Ну, домой: он ведь в городе живет? И телефон, наверно, есть.

— Наверно,— неуверенно согласилась она и вдруг насторожилась.— А чего вы так спешите? Начнется неделя...

— Да мне же посмотреть только, посмотреть и все. Я ведь тоже работаю, нет у меня возможности на неделе приехать. Как его фамилия, зампреда вашего?

— Лопатин его фамилия. Илья Трофимович Лопатин.

— Через час с запиской приеду. Ждите!

Только в машине он сообразил, что фамилия заместителя председателя горсовета ему знакома: Лопатин. И не просто сама фамилия, а в сочетании с ныне весьма непопулярным именем: Илья. Ильюшка Лопатин учился с ним в одном классе: старательный крепыш со всегда чуть напряженными глазами. Точно: Илья Лопатин, Ильюшка. Редкое совпадение, и все, конечно, может быть, но когда же она была, эта школа, если дочери — девятнадцать ... нет уж, двадцать через месяц. И учились-то в областном городе, а здесь какой-то богом забытый райцентр с колючей проволокой на окраине...

— Домашних телефонов руководства мы не даем,— с официальным холодком сказала дежурная в горсовете.— Могу записать на прием.

— Я — школьный друг Ильи Трофимовича,— он знал силу своей улыбки и улыбался на полную катушку.— В городе проездом, хотелось бы повидаться. Вспомнить детство, первые двойки.

— Вы знаете... Нет, нет, я не могу, так не положено.

Неизвестно, что подействовало больше — сообщение о школе или сокрушительная мужская улыбка, но ледяная неприступность дежурной явно начала таять. Иваненков заулыбался еще более открыто, еще более добродушно, хотя казалось, открытее и добродушнее улыбаться было уже невозможно. При этом он говорил только о школе, зная, как действуют на сентиментальных женщин воспоминания далекого детства. А дежурная оказалась дамой весьма упитанной и, следовательно, сентиментальной: Владимир Петрович свято верил в прямую зависимость между полнотой и чувствительностью, поскольку его собственная жена усиленно занималась аэробикой, йогой и голоданием, и была во всех отношениях суха, как хвощ.

— Ну хорошо, я нарушу,— дежурная горестно вздохнула и набрала четырехзначный номер.— Любовь Андреевна? Это

Савельева беспокоит. С Ильей Трофимычем проезжий товарищ...

— Двадцать вторая школа. Двадцать вторая...

— ...из двадцать второй школы? — дежурная почтительно протянула трубку.— Вас. Сам.

— Кто из двадцать второй школы? — спросил незнакомый мужской голос, в котором Иваненков уловил равные пропорции руководящей солидности и провинциальной недоверчивости.— Как фамилия, товарищ?

— Иваненков.

— Володя? — после некоторого молчания почти шепотом удивилась трубка.— Володька, это ты?

— Я, Ильюша,— он почувствовал, как радостно застучало сердце.— я, Конопатик.

— Горлан! — с восторгом закричали на другом конце провода.— Любочка, Горлан в Миловидове! Чего же ты у дежурной сидишь, чертушка? Я в двух шагах, единственная шестиэтажка, третий подъезд, квартира пятьдесят три. Савельева объяснит, ждем!

И трубку бросили на рычаг. Но не в раздражении и досаде, а в нетерпеливом радостном ожидании, и Владимир Петрович (он же — Горлан по школьному прозвищу) уже без всякой улыбки, а скорее с некоторой растерянностью сказал:

— Приказано прибыть.

2

— Володя Иваненков, Горлан ты мой дорогой,— растроганно сказал рано располневший и рано постаревший добродушнейшего вида мужчина, распахнув толстые короткие руки.— Сколько лет, сколько зим.

— Двадцать семь, Конопатик,— умилился Владимир Петрович, обнимая старого одноклассника.— У меня уж дочери — двадцать лет.

— А у меня — восемнадцать! — почему-то с торжеством рассмеялся Илья Трофимович.— Проходи, дорогой гость, с женою познакомлю, с моей Любовью Андреевной.

Любовь Андреевна выглядела весьма солидной дамой в очках с золотой оправой, какая вышла из моды четверть века назад. В ее массивной фигуре, четком голосе и проницательном взоре было столько привычной терпеливой строгости, что Иваненков без труда вычислил в ней учительницу.

— Поднимай выше: директор! — не без гордости сказал

хозяин.— Моя Любовь Андреевна наставник божьей милостью, как в старину говорили.

— Присаживайтесь, закуривайте, если есть у вас эта пагубная привычка,— хозяйка улыбалась, но что-то, как показалось Иваненкову, смущало ее: то ли его внезапное появление, то ли какие-то семейные обстоятельства.— А меня извините, я пока на кухне поверчусь.

Она исчезла поспешнее, чем того требовали приличия, да и необходимости особой в этом вроде бы не было. Все это Владимир Петрович отметил про себя, мимоходом, потому что Лопатин искренне радовался, искренне умилялся и искренне жаждал общения. И Иваненков тут же рассказал ему о наследстве, о закрытом домике и о своем желании непременно его осмотреть, так и не успев спросить однокашника, каким образом он оказался в этом заштатном городишке.

— Мелочи, это, Володя, мелочи.— Лопатин продолжал несокрушимо улыбаться, время от времени похлопывая гостя по колену, точно проверяя, не снится ли ему этот внезапный визит.— Никуда мы тебя сегодня не отпустим. Выпьем, как говорится, по два глоточка, поговорим, школу вспомним.

— Я — за рулем.

— Заночуешь у нас, комната имеется.— Показалось Иваненкову, или Лопатин и в самом деле спрятал горестный вздох? — А семье своей от меня позвонишь, чтобы не беспокоились.

— Что-то, Илья, не совсем удобно получается, а? Свалился, как обвал... Давай лучше в следующий раз и посидим, и поговорим, а сегодня черкни мне насчет домика записочку и...

— Прошу, Володенька, понимаешь, прошу,— вдруг понизив голос, умоляюще сказал Лопатин.— Ну не ради меня, ради Любочки Андреевны моей. Ей так тошно.

— Случилось что? Ты, конечно, извини, Илья, но я вижу, чувствую, наконец, что не вовремя...

— Наоборот! — торопливо зашептал хозяин.— Наоборот, очень хорошо, что пришел, отлично! Дело в том, что... Дочка наша ушла три дня назад. Да, такое, брат, дело, что Любовь Андреевна моя места себе не находит и не спит третью ночь.

— Куда ушла? Как, с кем, почему? Ты уж извини, но у меня — тоже дочь, понимаешь, и...

— Кто ее разберет, молодежь современную? — вздохнул Лопатин.— Ну, не поступила в институт, провалилась на сочинении, так иди работать, правда? Нельзя же бездельничать в городке, где отец — зампредгорисполкома, а

мать — директор лучшей школы, верно? Здесь же все сложно, все — на виду, все друг друга знают. Особые у нас условия и работы, и жизни, не то, что в больших городах. А ей это в голову не втемяшишь: я, говорит, свободная личность. Личность она! А мне из ресторана — у нас в городе один ресторан всего, один-единственный, Володя! — и мне из него — звонок: «Ваша дочь, Илья Трофимович, заказала бутылку вина, так как нам быть: обслуживать ее или нет?» Я же говорю: особые условия. Особые, а она — плевать, говорит, мне на ваши особые...

Вошла жена, и он замолчал, заулыбался, заморгал, мучительно желая как можно скорее перевести разговор и не находя в себе сил сделать это. Но пауза, к счастью, получилась небольшой, потому что Иваненков сориентировался молниеносно:

— ...защитил кандидатскую, докторскую готовлю, да со временем — полный зарез. Семь лет за рубежом проработал, сейчас опять приглашают.

Кандидатскую защитил не он, а жена; за границей он пробыл не семь, а четыре года, пока жена не закончила читать курс лекций во вновь открытом университете. Но его недаром звали Горланом в классе: его часто несло, и тогда он не знал удержу в собственном сочинительстве. Не потому, что хотелось прихвастнуть: теперь-то он понимал истинную причину, теперь-то, под пятьдесят, сообразил, что всю жизнь самоутверждался не талантом, не работой, не усидчивостью и настойчивостью — утверждался языком, изо всех сил даже себе самому не признаваясь, что мучительно, до физической ноющей боли завидует тем, кто не нуждался ни в каком самоутверждении, а жаждал только труда. Нет, он был неплохим работником, не бездельником, не тупицей, и если бы в свое время женился на другой («обыкновенной», как он определял) женщине, все было бы, вероятно, в порядке. Но его жена, обладая острым умом, мужской хваткой и обостренным женским тщеславием, далеко оставила его за кормой и все время наращивала скорость собственного продвижения. «Владимир Петрович, это кто же такой, а?» — «Да это же муж профессора Лебедевой...» Ему столько раз приходилось слышать эту фразу, что он давно уже научился не краснеть.

Стол был накрыт со всем старанием хозяйки, которой редко приходится принимать гостей. Пройдя школу приемов, званых обедов, коктейлей, официальных и неофициальных встреч и раутов, Иваненков усвоил, что сущность этикета заключается в том, что о нем никогда не надо помнить. Здесь же блюли азбучное толкование не столько этикета,

сколько «приличных манер», ревниво следя, чтобы все выглядело так, как принято в «лучших домах» города Миловидова; этикет превращался в некую этикетку; это связывало Иваненкова куда сильнее, чем памятный ему торжественный обед по случаю открытия университета в присутствии президента развивающейся страны. В соответствии с этим и разговор утратил простоту и живость, превратившись в цепь комплиментов гастрономического направления со вкраплениями замечаний о погоде, природе и местных достопримечательностях.

— Наши места не чужды и высокой поэзии,— говорила Любовь Андреевна, изящно оттопырив мизинец.— Неподалеку, правда, не в нашем районе, жил гениальный русский поэт...

— У которого благодарные читатели дом спалили! — как-то уж очень некстати хохотнул Лопатин.

— Не читатели, а кулачье,— строго поправила жена.— Крестьяне всегда тянулись к настоящей культуре, а оголтелое кулачье ненавидело поэта за его прогрессивные высказывания.

— Конечно, Любочка, конечно,— поспешно закивал хозяин и потянулся наливать.

— Это в память о тех кровожадных временах у вас окраина города обнесена колючей проволокой?

Иваненкову настолько не понравился назидательный тон хозяйки, что он рискнул перевести все в шутку. Правда, ее не приняли то ли потому, что пошутил он весьма тяжеловесно, то ли потому, что в этой семье вообще не воспринимали никаких шуток.

— Химия, Володя,— сказал Лопатин.— Механический комбинат строим, в индустриальные центры начинаем пробиваться.

— Механический? А причем здесь химия?

— Это так называется,— подобные шутки хозяин, видимо, принимал и даже заулыбался.— Рабочих рук у нас не хватает, вот мы и привлекаем к полезному созидательному труду правонарушителей, осужденных по определенным статьям. Ну, к примеру, хулиганство, мелкое мошенничество, некоторые бытовые преступления. Вот это они и именуют «химией»; за выполнение плана им начисляется определенный процент заработной платы, а за ударный труд и примерное поведение по многим статьям предусмотрено сокращение сроков наказания.

— Следовательно, для некоторых преступлений теперь как бы и нет наказаний?

— Почему же? У них — строгий режим, ограничение передвижения, вычеты из заработка, наконец.

— Да это же не наказание, Илья! — с большей горячностью, чем, вероятно, принято было в этом доме, сказал Владимир Петрович.— Это административные меры, а не тюрьма, не каторга, не колония, наконец. Ведь теряется сам смысл наказания: его, оказывается, вообще нет! Давай, ребята, оскорбляй женщин, воруй на предприятии, бей стариков, ругайся, дерись, приставай к девушкам: максимум, что тебе грозит — ограничение передвижения да четверть заработка в пользу государства. А зато какая компания, какая школа, какой богатейший обмен опытом!

— Извиняюсь, но у вас обывательские представления,— сказала хозяйка, и опять Иваненков сквозь формальную вежливость уловил отлитые в холодноватый металл блоки готовых определений.— Наверное, пребывание за границей ни для кого не проходят даром: даже строго проверенные и безусловно преданные люди иногда теряют ориентиры. Наказание во что бы то ни стало, а чаще всего наказание, далеко превышающее свершенное преступление — вот к чему направлено все буржуазное законодательство, их пресловутый суд присяжных. Они думают прежде всего о себе, о собственной безопасности и о собственном покое, а совсем не о возможности возвратить обществу полноценного гражданина. А у нас иная задача, уважаемый Владимир Петрович, совершенно противоположная. Мы никогда не рассматриваем гражданина, преступившего закон, как отъявленного негодяя, мы исходим из убеждения, что случившееся есть лишь трагическая ошибка, которую не только можно, но и нужно исправить. Мы стремимся вернуть нашему обществу его споткнувшихся граждан, вот в чем главная задача советского законоположения о наказаниях.

— Преступники такие же граждане,— добавил Лопатин, как только его супруга решила перевести дух.— Лично я вижу в этом одно из самых крупных завоеваний нашей системы воспитания.

— Ни одна буржуазная страна не может позволить себе подобного гуманного отношения,— Любовь Андреевна вновь взяла разговор в свои руки.— У нас нет ни гангстеризма, ни профессионального преступного мира, ни классовой, ни социальной, ни расовой ненависти — для чего же нам подвергать изгнанию из общества случайно оступившихся, а в сути своей таких же, как и мы, советских людей? Илья абсолютно прав: это есть высочайшее завоевание...

— Ты на стол влезь, мать,— вдруг резко, с открытой неприязнью сказал молодой голос.— Красотки на столах танцуют, а ты выступишь с речью. Вольешь наше содержание в растленную буржуазную форму.

У дверей стояла длинноногая и очень ловко скроенная девушка в потертых, как и полагается, джинсах и в растянутом, явно с мужских плеч, обвислом, грязном свитере.

— Мариша?..— Лопатин встал, качнулся навстречу, но из-за стола не вышел.— Наша дочь,— растерянно пояснил он.— Марина. А это — мой школьный друг из центра. Иваненков Владимир Петрович, известный специалист, только что из-за рубежа. Присоединяйся.

— После душа,— объявила дочь, быстро и хватко оценив гостя.

И вышла. За столом неуютно молчали.

3

— Вот и я!

Девушка появилась куда быстрее, чем ожидали, успев не только принять душ, но и весьма продуманно переодеться: вместо растянутого свитера неопределенно грязного цвета на ней была легкая блузка, расчетливо застегнутая на последнюю пуговицу. Волосы она не мочила и расчесала очень старательно: они тяжелыми волнами обрамляли ее худое, совсем юное лицо, и что-то в этом лице было невероятно притягательным несмотря на его откровенную детскость. Позднее, разглядев, Владимир Петрович понял, что его так неудержимо влекло: сочетание порочности с абсолютной беззащитностью, этакая совершеннейшая порочная невинность, которой было переполнено все ее существо.

— Проходи, Мариша, ждем тебя,— поспешно сказал отец, а мать еще раз промолчала; Иваненков подметил ее вызывающе поджатые губы, но не понял, отчего они поджаты: от глубочайшего осуждения или от столь же глубочайшего непонимания.

Марина шагнула к столу, и Владимир Петрович невольно обратил внимание, как вызывающе вздрогнули под невесомой блузкой аккуратные грудки. «И эта без лифчиков, как моя,— подумал он, опуская глаза.— И что за моду выдумали, дурехи...» Но почему-то обрадовался, когда девушка села рядом. И сказала, глянув коротко, но с любопытством:

— Коньяку.

— Мариночка! — беспомощно ахнул отец.

— Не рано ли? — не выдержала молчания мать.

— А вам известно, товарищ директор, что у вас в школе — образцово-показательной, между прочим — девчонки с шестого класса от коньяка не отказываются? А в девятом впрыскивают...

— Марина! — резко выкрикнула Любовь Андреевна и встала, с грохотом оттолкнув стул.

— Молчу, сиди,— Марина усмехнулась.— Так кто же нальет мне, рыцари страхов и упреков?

Налил Иваненков, с опозданием подумав, что нарушает этим заведенные порядки. Но за девушкой хотелось ухаживать; она сама ждала этого ухаживания и требовала его.

— Вы и вправду были за бугром?

— За границей, вы хотели сказать? Я жил там несколько лет.

— Где именно?

Он жил в столице африканской развивающейся страны, настолько маленькой, что ему вечно приходилось разъяснять, где она находится. Кроме того, ему очень уж хотелось сбить с девицы спесь, заинтересовать ее, заставить слушать себя: Африка здесь никак не подходила.

— В Штатах. В Вашингтоне и Лос-Анджелесе: читал там курс в Калифорнийском университете.

— Ого!

В междометии было столько восторженного удивления, что Иваненков обрадовался собственной выдумке. Он никогда не был в Америке, но имел все основания полагать, что хозяева тоже в нее не заезжали. А случилось так, что он и жена — там, в Африке,— дружили с молодой парой, которая бывала в Соединенных Штатах и именно в Лос-Анджелесе, и он знал об этом городе достаточно, чтобы превратить ложь в приемлемое сочинение.

— Страна огромных порций.

— В каком смысле?

— Во всех. В прямом — стейк ровнехонько фунт и толщиной в три пальца, картошка размером с кабачок, а помидоры — с дыню «колхозница»,— уголком глаза он видел, как маму буквально затрясло от его информации, и даже добродушный папа начинает хмуриться, но сейчас ему хотелось их злить.— И так во всем. В горячей воде из обычного крана можно смело варить яйца вкрутую, а в морозильнике гарантировано минус двадцать. Добавьте к этому самые солидные автомобили, небоскребы, лучшие в мире авиалайнеры...

Его несло, и он уже не мог удержаться. Нет, уж чего-чего, а ни вызывающе фрондерского, ни завистливо мещанского восторга перед материальными благами западной цивилизации у него никогда не было: он знал, во сколько они обходятся и кому по карману. Но тот воинствующий дух неприятия иного, «постороннего», на корню, изначально был глубоко противен ему, вызвал мгновенную защитную ре-

акцию, раздражал и беспокоил, если эту ответную реакцию приходилось душить в себе самом. А это случалось сплошь да рядом: как бы там он ни реагировал, а за границу и ему, и жене очень хотелось поехать хотя бы еще раз на тех же условиях. Подобные работы за пределами оплачивались весьма щедро: кооперативную квартиру, «Волгу» и дорогую мебель они смогли купить только на сбереженные таким путем деньги. Такие командировки требовали определенных правил игры, поскольку желающих всегда было заведомо больше, чем возможностей; Иваненков старательно соблюдал все эти писаные и неписаные правила, не позволяя себе ничего, что можно было бы истолковать дурно или хотя бы двусмысленно, а сегодня вдруг растерял всякую осторожность, со злорадным наслаждением расписывая соблазны заморских супермаркетов, гостиничного обслуживания и массовой культуры.

— Представьте себе, с первого января семьдесят седьмого года американцы, в которых мы привыкли видеть ханжей и пуритан, вдруг решительно отменяют всяческий запрет на порнографию.

— Какая гадость! — с презрительной брезгливостью сказала Любовь Андреевна.— Во имя наживы они жертвуют моральным здоровьем собственной молодежи.

— Все не так просто,— улыбнулся Иваненков: он ожидал именно такой реакции и радовался, что не ошибся.— Прежде чем отменить существовавшие запреты, их социологи изучили двадцатилетний опыт Швеции. И выяснили любопытнейшие закономерности: длительное отсутствие запрета на порнографию, во-первых, ощутимо сократило количество преступлений на сексуальной почве. Во-вторых, уменьшило число неврастенических заболеваний и, как ни странно, разводов, и, в-третьих, перестал существовать секрет Полишинеля, что с моей точки зрения более благотворно повлияло на моральное здоровье молодого поколения, чем сказки о капусте, аистах и непорочном зачатии. Ведь именно от нашего сексуального варварства больше всех страдают девушки: природу-то не обманешь, и наша собственная церковь накопила богатейший опыт по этой части.

О, каким восторгом блеснули серые глаза за длинными, умело подкрашенными ресницами! Иваненков давно отвык от подобных взглядов, считал, что они отныне и навсегда достояние молодых, плечистых и длинноволосых, а оказалось... Кажется, его бросило в жар (во всяком случае он ощутил этот жар в каждой клеточке); чтобы скрыть невольное смущение, прийти в себя, заново оценить ситуацию, замолчал, потянулся за бокалом.

— Странно ты рассуждаешь, Владимир,— сказал Илья Трофимович, поскольку хозяйка возмущенно отмалчивалась.— Во-первых, во-вторых... А в-четвертых, в-пятых, в-шестых? Нажива, наркомания, гангстеризм, дикая бесчеловечная жестокость и безнравственность — это что, разве это все не факты? Разгул секса...

— Это факты, Илья. Это безусловные факты, но причем же здесь секс? У нас запрещено само упоминание о нем, а кто строит твою «химию», как ты объяснял тут? Комсомольцы-добровольцы или люди, преступившие законы человеческого общежития? Да водка, которую начинают пить, едва закончив школу, в конечном счете куда опаснее обнаженной женщины на экране телевизора!

— Не можем, не можем допустить! — почти выкрикнула Любовь Андреевна.— Всего год назад партия объявила курс на перестройку, нам, как никогда, нужны вечные принципы добра, справедливости, чистоты помыслов для осуществления этих исторических предначертаний. И именно отсюда, отсюда,— она потыкала вздрагивающей рукой в экран цветного телевизора, — исходят эталоны поведения для всей нашей молодежи, а уже есть тревожные сигналы скатывания. Это чудо двадцатого века способно внушать незыблемые идеалы социалистической морали, а способно и учить убивать и насиловать. И вот они, они там, в вашей хваленой Америке, цинично и целенаправленно растлевают юных...

— Разве гинеколог год назад приезжал в американский колледж, а не в твою образцово-показательную школу? — вдруг с улыбкой перебила дочь.— Всех девчонок, начиная с восьмого класса, проверили и, о ужас, не обнаружили ни одной девственницы. Интересно, чье тлетворное влияние испытали на себе юные души нашего захолустья?

— Мариша! Мариша...— отец в ужасе косился на гостя, изо всех сил старавшегося сохранить невозмутимость.

— Не сметь! — крикнула Любовь Андреевна.— Уж кому-кому, а тебе... Как не стыдно! Тебя же вообще не было в школе в тот день...

— Да, не было! — выкрикнула дочь, перегнувшись через стол и не отрывая от матери странно заблестевших глаз.— А почему не было? А потому меня не было, что ты оставила свою доченьку дома. Ты, лично! Освободила от занятий. А мне девочки все рассказали. Все!

— Да, я освободила. Освободила, потому что не хотела подвергать тебя этому... э-э... медицинской процедуре.

— Врешь! — не выкрикнула, а словно выстрелила Марина.— Опять врешь, врешь, врешь! Жалела ты меня, как же! Ты просто боялась, что и твоя единственная доченька,

директорская да горкомовская, тоже нормальной окажется, как все. А я — винная, поняла? Ясно или еще яснее высказаться?

— Марина! — отец ударил по столу ладонью, но осторожно, чтобы, упаси бог, случайно не разбить хрустальную рюмку.— Где твоя совесть, Марина?

— А ваша? Что вы к нам в души лезете, что выискиваете, что вынюхиваете? Все равно же не повторим ваших жизней, даже если они расчудесны, прекрасны и благородны. Не повторим, не бывает этого и быть не может, так зачем же вы в нас, как в зеркала смотрите, зачем, а? И ведь не узнаете же себя и узнать не можете, а злитесь и врете, что мы — такие же. А мы — другие. Другие мы, другие!..

Марина разрумянилась, глаза сверкали, пухлые губы стали еще ярче, потому что в споре она непроизвольно покусывала их; сейчас девушка — длинноногая, стройная, как все они — неожиданно стала личностью, неповторимой и очень яркой, и Владимир Петрович любовался ею, забыв о разнице в возрасте, о том, что у него такая же дочь. «Как хороша девочка! — восхищенно думал он.— Сколько гнева, сколько ярости. Чудо, как хороша».

— Неужели так трудно разглядеть в нас людей? — продолжала Марина, но теперь в ее голосе чуть слышались слезы.— Не доченек, не школьниц, а молодых женщин, которые мечтают, увы, не о свободе негров в ЮАР, а о собственной свободе? Почему, признав в нас акселераток и тем допустив, что физически мы развиваемся быстрее, чем когда-то развивались вы, никто не признает в нас ускоренного духовного развития?

— Да потому, что его нет. Нет! — перебила мать.— Вы глупы и неразвиты, в вас преждевременно пробуждаются страсти, вы... вы способны к деторождению, а понимаете ли вы это?

— Вы бы, естественно, хотели, чтобы «это» мы не понимали,— Марина попробовала расхохотаться, но смех оказался деланным, и она сразу оборвала его.— Вы же до сих пор мажете дегтем ворота несчастных девчонок, неужели вы этого не понимаете? Не верю! Отлично понимаете, а все равно — мажете. Зачем? Вы боитесь, что девчонки будут спать с мальчиками, так они все равно с ними спят. Спят, если нормальные, не последние уродки и не стопроцентные ханжи. И будут спать, потому что это естественно, это помогает нашему развитию, нашему становлению, нашему самоутверждению, наконец! Да сегодня девственницу за версту видно по ее идиотической закомплексованности. Но для вас же это — позор, стыд, ужас! Для вас и меня саму вам аист в клюве принес...

— Простите,— Иваненков резко встал, вдруг ощутив, что разговор заходит уж слишком далеко.— Спасибо, Любовь Андреевна, но мне пора. Дай мне, Илья, записочку к этой... Ну, дама в лесном хозяйстве.

— Сковородникова Анна Сергеевна,— поспешно подсказала хозяйка, явно обрадованная тем, что невольный свидетель крикливой семейной сцены собирается покинуть дом.

— Погоди, погоди, Володя, ты же коньяк пил,— нахмурился Илья Трофимович.— Ты не можешь ехать, не имеешь права. Это есть грубейшее нарушение, и я, как должностное лицо, не могу, не должен тебя отпускать. Он переночует у нас, правда, Любочка? А завтра мы вместе поедем...

— Завтра мы с утра должны ехать к Виктору Степановичу,— резко перебила жена: она была очень недовольна решением мужа и не скрывала этого.

— Да, да, завтра нас Первый к себе пригласил,— Лопатин не без гордости подчеркнул, кто именно пригласил: «Первый».— Но все равно никуда ты не поедешь. Переночуешь у нас, а завтра я дам тебе записку к Сковородниковой...

— Я провожу Владимира Петровича к Анне Сергеевне,— неожиданно перебила Марина.— Спокойной ночи.

И вышла из комнаты.

4

Утро, как и следовало ожидать, оказалось куда прохладнее вечера. Любовь Андреевна не появилась к завтраку, сославшись на головную боль, Марина еще спала, а хозяин, наедине с которым пришлось завтракать Иваненкову, и улыбался натянуто, и говорил натянуто, и вообще весь был натянут. Конечно, на это не следовало обращать внимания, и Владимир Петрович так поначалу и держался, но вовремя подумал, что наследственная дача, которую ему уже очень хотелось заполучить, расположена в сфере могучего влияния Лопатина, что тот многое может решить, на многое закрыть глаза, во многом помочь, и что расставаться с холодком нет никакого резона. Заодно он вспомнил и о Марине, но тут же суетливо и испуганно прогнал эти воспоминания.

— Что, Илья, нелегкая тебе должность досталась? — он с досадой услышал в собственном голосе заискивающие нотки.— Как ты вообще в Миловидове оказался?

— По распределению. Я педагогический закончил вместе с Любовью Андреевной,— без особой охоты сказал хозяин.—

Она сразу в школу определилась, а я в чиновники попал. Ну вот, вырос.— Он внимательно глянул на Иваненкова, понизил голос.— Ты вчера зачем, а? Спьяну или как понимать?

— Что?

— Ну, это. Восторги перед теми, за кордоном. Да еще при дочери... Ты же знаешь, как они подвержены, как с ними трудно: у самого, рассказывал, такая же растет. Зачем же чужой нам пропагандой головы им забивать, с толку сбивать зачем?

— Но погоди, Илья, меня спросили — я ответил. Я ведь действительно жил там.

— Что действительно, что, Владимир Петрович? Идеологическая борьба — это действительно, угроза атомной войны — действительно, травля, которую Америка возглавляет,— тоже действительно. Ты же взрослый человек, член партии, седина на висках, а рассуждал вчера, как... Ты уж прости, но так нельзя. Недопустимо.

— Но ведь я же не лгал, Илья, не выдумывал. Я же правду...

— Правда — понятие классовое,— отчеканил Лопатин.— Забыл после двух рюмок? И как, интересно, тебя за границу пускают при такой забывчивости?

Предостережением, почти угрозой повеяло от последней фразы, и Владимир Петрович сразу ощутил жар. Даже рубашка взмокла: один звонок с подобным удивлением (уж не говоря о письме!), и на заграничных командировках можно будет навсегда поставить крест.

— Ты свое личное мнение высказываешь?

Лопатин помолчал. Потыкал вилкой в яичницу — завтракали на кухне, по-мужски — сказал негромко:

— Я тебя много лет знаю по школе, я — педагог, и верю, что школа всю жизнь определяет. Но некоторые педагоги,— и он через плечо глянул на прикрытую кухонную дверь,— некоторые другой точки придерживаются: больше одного раза на Запад не посылать. Ты все понял?

— Но, Илья...

— Полночи уговаривал,— шепотом перебил хозяин.— Она из-за Маришки на тебя покатилась. Уговорил кое-как, но учти, она очень принципиальный товарищ. Больше ничего не скажу, но учти: очень принципиальный.

— Может, мне лучше с Мариной не ехать? — озабоченно спросил Иваненков.— Удеру домой, пока спит, а ты мне записку.

— Не надо усугублять.— Илья Трофимович невесело вздохнул.— Лучше бы я физику преподавал.

Через час Владимир Петрович выехал в лесничество вместе с Мариной. Она выпорхнула из дома с сияющей улыбкой («А вот и я, здрасте!..»), но ему было не до шуточек, и девушка сразу почувствовала это. Замолчала, посерьезнела, изредка быстро вскидывая на него глаза. Он ощущал эти взгляды; ее неожиданная чуткость удивила и растрогала его настолько, что подумалось вдруг о дочери, как о противовесе: «Та бы на мое настроение и бровью не повела, только со своим всю жизнь считается...» А Марина неожиданно проявила и такт, и понимание, и вероятно поэтому Иваненкову так приятно было ощущать, что она — рядом, что посматривает на него, что искренне озабочена его угрюмым видом.

— Мариночка! — радостно всплеснула руками Сковородникова.— Вот уж не ожидала.

— Я вместо папиной записки, Анна Сергеевна,— улыбнулась девушка.— Дайте, пожалуйста, ключ Владимиру Петровичу.

— Господи, а я в город собралась, ждут уж меня там,— расстроенно сообщила Сковородникова, вернувшись с ключом.— Что стоило вчера предупредить, чайком бы напоила. У меня варенье семи сортов...

О чае, вареньях, ягодах и собственном гостеприимстве Сковородникова говорила все время, пока шли к домику, пока отпирала выморочный, отходивший ныне по наследству постороннему человеку дом, пока с нескрываемым сожалением передавала ключи Иваненкову, все еще стоя на пороге и не пуская внутрь.

— Ну, проходите,— со странным вздохом сожаления сказала она, наконец-таки посторонившись.— А я очень извиняюсь, не знала я, что вы сегодня пожалуете. Кланяйся папе, Мариночка.

Анна Сергеевна поспешно удалилась, но пока ее чем-то весьма обиженная спина не скрылась за деревьями, они не решились войти в дом. Потом Марина отметила:

— Жаба.

— За что вы так ненавидите всех, Марина?

— Всех? — девушка улыбнулась.— Далеко не всех, а тех, кто врет. Между прочим, будьте бдительны: домик считался ничейным, что ли, и Сковородниковы надеялись его купить подешевле. А тут вдруг — вы. Здрасте, я ваша тетя.

— Ну, что же, пойдемте к тете,— сказал он и вслед за Мариной вошел в дом, завещанный ему практически совершенно незнакомой женщиной.

Шагнув, остановились у порога в маленькой прихожей,

откуда вели лестница наверх, в мансарду, и две двери: в большую центральную комнату, служившую, вероятно, гостиной и столовой, и на кухню. Обе двери были открыты, и Марина с Иваненковым остановились потому, что вся мебель стояла на своих местах, пол был покрыт половичком, и казалось, что вот-вот из кухни должна появиться хозяйка. «Тетя Лиза,— впервые с теплой грустью подумалось Владимиру Петровичу.— Господи, когда же я видел-то ее? На маминых похоронах, что ли?..» Он все еще не решался шагнуть, оторваться от порога, но Марина была абсолютно свободна от каких бы то ни было комплексов и воспоминаний.

— Клевая хата,— сказала она, пройдя в комнату и оглядываясь.— Смотрите, даже камин имеется!

Он вошел следом, увидел непокрытый стол с керамической вазой в центре (в вазе еще стояли давным-давно засохшие цветы), сервант с посудой, аккуратно расставленной на полках, книжный шкаф, набитый книгами, телевизор, два кресла перед ним, небольшой камин, вделанный в белокафельное зеркало печи. Из гостиной двери вели в две небольшие спаленки и на застекленную веранду, а из кухни — в светелку, в которой действительно было очень светло и очень уютно.

— Чур, моя! — радостно крикнула Марина, бросаясь в кресло-качалку.— Только мы перенесем ее в гостиную и поставим перед камином.

К тому времени легкая печаль Иваненкова и первая неуверенность Марины прошли окончательно. Они азартно исследовали не только дом, но и все, что в нем находилось, радостно сообщая друг другу о своих открытиях («Варенье!..», «Пластинок гора!..», «В шкафу — сплошь классика...»). Это совместное знакомство и, особенно, совместные открытия незаметно сблизили их, и когда, устав от суеты и впечатлений, они наконец уселись в светелке, то улыбнулись друг другу, уже как друзья. И оба одновременно подумали, что этот дом — их тайна, и что как было бы славно не посвящать в нее никого другого. И одновременно отвели глаза, чтобы не выдать собственных мыслей, хотя знали, что мысли их одинаково заманчивы, одинаково недостижимы и одинаково преступны.

— В серванте есть бутылка коньяку,— сказал он, старательно глядя в пол.

— Вы — за рулем.

— Принеси.

Он обратился на «ты» вдруг, не готовясь и не задумываясь, и поэтому обращение прозвучало просто и естествен-

но. Марина послушно вышла, но он успел заметить, как зарумянились ее щеки. «Как хорошо,— подумал он.— И все правильно: у меня дочь на год старше...» Но это были не мысли, а способ скрыть истинные мысли от себя самого: ему льстило ее послушание. Он даже чуточку возгордился своей мужской властностью: родная дочь, а тем более — жена никогда бы не поспешили исполнить его небрежное повеление с такой румяной готовностью. И эти мысли были главными, они заставляли чаще биться сердце, их он прятал от самого себя за привычной словесной шелухой.

Марина разыскала поднос и принесла разом все необходимое: бутылку, рюмки, салфетки и даже вазочку с засохшим печеньем. Он открыл коньяк, налил, а она повторила:

— А вы — за рулем.

— У меня есть японские таблетки,— пояснил он небрежно.— Они уничтожают все следы алкоголя.

Никаких японских таблеток у него не было, но Владимир Петрович испытывал неодолимое желание нравиться. А девочке нравилось то, что было не из опостылевшего ей городка, и чем дальше от него находилось, тем нравилось больше.

— За нашу тайну.

Владимир Петрович и сам не знал, почему сказал именно так. Ему казалось, что он имеет в виду коньяк, который нельзя пить за рулем, но на самом-то деле он думал о другой тайне — о тайне этого дома. Тайне, превратившей в заговорщиков еле знакомых людей не только разного возраста, но и разного поколения. А Марина вдруг отчаянно смутилась — она еще не умела управлять собой, и могла либо дерзить, либо смущаться — и, чтобы справиться со смущением, залпом выпила рюмку.

— Ты, оказывается, умеешь пить.

— Уметь пить — это не проблема,— с непривычки она обожгла горло, и говорить ей было трудно.— Сейчас проблема — уметь не пить.

— Неплохо.— Он улыбнулся: девочка казалась живой и неглупой, и с каждой секундой становилась все интереснее.— И как ты справляешься с этой проблемой? С помощью мамы и папы?

Лицо ее, такое нежное, юное, сразу стало жестким и неприветливым. Вместо ответа она требовательно протянула рюмку. Он еще раз наполнил ее.

— Я что-то не так сказал?

— Я не хочу сегодня заниматься проблемами. И рада, что не хочу.

— Ну, извини.

Марина повертела в руках рюмку, пригубила. Потом усмехнулась и с этой усмешкой посмотрела ему в глаза.

— Если бы Анна Сергеевна не торопилась в город, мы бы сейчас пили бы у нее чай с вареньем. Смешно, от чего иногда зависит...

Она замолчала и снова опустила голову. Он невольно посмотрел на ее руки, вертевшие рюмку: еще пухлые, с подгрызенными ногтями они выглядели совсем детскими. И улыбнулся:

— Ты, наверняка, закончила школу с золотой медалью.

— Чуть было. Как же — дочка директрисы и почти городничего. Пришлось принимать меры.

— Что-то я ничего не понял.

— Ладно,— вяло, словно вдруг потеряв всякий интерес, сказала она.— Давайте выпьем.

Хлебнула, не ожидая его согласия. Поставила рюмку, достала из сумочки сигареты.

— Может быть, у вас найдется что-нибудь получше этой дряни?

— В следующий раз привезу.

— В следующий раз? — медленно переспросила Марина.

Пришел черед смущаться ему, но Иваненков приложил все усилия, чтобы она не заметила этого смущения. Улыбнулся, пригубил коньяк.

— Что же случилось с медалью? Стала принципиально отвечать на «тройки»?

— Кто же поставит «трояк» дочери зампреда? Каждому хочется «улучшить свои жилищные условия», как это называется на их фарисейском языке, получить садовый участок, купить дом на снос или «Жигули» без очереди. Я хамила в лицо, но в классном журнале все равно оказывалась «пятерка».

— И все из-за отца? — недоверчиво спросил Владимир Петрович.— Я десять лет проучился с ним в одном классе он добр до анекдота.

— Зато у меня есть мать,— не очень логично пояснила раскрасневшаяся то ли от волнения, то ли от коньяка Марина.— Она пряма и правильна, как эталонный метр.

— Ты очень ее не любишь?

— Любишь — не любишь.— Марина недовольно поморщилась.— Не надо, а? Вы показались мне почти супером: неужели это только суперобложка?

Вот и наступил рубеж: Иваненков не только понял, но и почувствовал его всем предыдущим житейским опытом. Следовало ухватиться за этого «супера», сказать: «Да ты неправильно поняла меня», стать на ступеньку собственного

поколения, и с этой высоты корректно осадить фрондирующую девочку. Следовало, потому что дальнейшая игра в поддавки, дальнейшее противостояние на одной плоскости угрожало увести его на путь, где он в конечном итоге оказался бы либо в дураках, либо в подлецах. Он все отлично представлял — в том числе и собственные шансы,— он был достаточно зрел для того, чтобы сейчас же, не откладывая, принять решение. И еще не сформулировав этого решения, почувствовал, как застучало сердце. Глядя прямо ей в глаза, медленно протянул руку, взял Марину за подбородок, на мгновение с ужасом подумал: «Что же я делаю?!» и сказал так, как говорили герои боевиков, те самые суперы, у которых была не только обложка:

— Я не прощаю дерзостей, девочка.

Он спокойно и привычно прощал дерзости и дочери, и вечно занятой жене, и даже собственным сотрудницам, давно раскусившим его абсолютную бесхребетность. Умом — нет, даже не умом, а страхом! — он понимал, что поступает бесчестно, но сейчас в нем почти исчез истрепанный двумя чересчур эмансипированными дамами и полудюжиной комплексов вечно съеженный Владимир Петрович Иваненков; на смену выступил Горлан, известный всей школе бахвал и пижон, никогда не рвавшийся на сцену, но вечно кого-то игравший. И он, этот Горлан, отпустив девичий подбородок, нахально и уверенно потрепал Маришу по щеке и весомо повторил:

— Не дерзи мне, девочка, и все будет о'кей.

Так сделал и так сказал Горлан: Владимир Петрович Иваненков корчился в эти мгновения от ужаса, стыда и презрения к себе самому.

5

Марина медленно заливалась краской. Несмотря на все современные ухищрения и природную худощавость, крови в ней было достаточно, а скрывать ее внезапные приливы она еще не научилась. Серо-зеленые глаза наполнились слезами, и Владимир Петрович понял, что проиграл: сейчас девушка в лучшем случае молча уйдет (о худшем он страшился подумать: его дочь просто влепила бы две пощечины). Но не все ровесницы склонны были вести себя одинаково:

— Простите. Пожалуйста.

Просьба высказывалась с такой обезоруженной покорностью, что Горлан в Иваненкове вновь горделиво поднял голову.

— Так что ты натворила в школе?

Кажется, они уже съехали со школьной тематики на разговоры о матери; он вспомнил об этом с опозданием, но сделал вид, что не вспомнил: рассеянность, с его точки зрения, укладывалась в суперменский характер. Мариша, видимо, тоже так считала; опустила голову, сказала поспешно:

— Я? Я украла варенье.

— Что?

Кажется, это прозвучало не по-суперменски, но Иваненкову было сейчас не до самоконтроля. Он ожидал всего, чего угодно, но такой детской выходки не ожидал никак. Она почувствовала его ошарашенность и несмело улыбнулась:

— Понимаете, мать распорядилась, чтобы учительницы дружелюбно гоняли чаи на большой перемене: с ее точки зрения это сближает. А у нас — сплошные учительницы, и каждая приперла свою банку варенья: они все — клухи. А я все думала-думала, что бы мне такое выкинуть, чтобы эта проклятая медаль досталась Наташке Волченко.

— Почему именно Наташке?

Он спросил машинально: все время думал, что девушка ни разу не оговорилась, привычно употребляя слово «мать» вместо «мама». Владимиру Петровичу захотелось сбить ее с плавного рассказа, заставить запутаться, снова заговорить о матери и еще раз проверить, не оговорится ли она. Но Марину сбить было непросто: она приняла новую расстановку сил, эта расстановка ее радовала, вызывала желание нравиться, и поэтому она болтала оживленно, напористо и с удовольствием.

— У Наташки — голова на первом номере. Ей надо учиться и трудиться, потому что в этом ее единственный шанс поладить с окружающей средой. Она училась в сто раз лучше меня, а ее специально резали, чтобы сделать из меня отличницу. Совсем закомплексовали девчонку, а это — очень подло. Правильно?

Чтобы не рассмеяться, он кивнул. Смесь показной взрослости и искренней детскости, обезоруживающей женственности и диковатого девичества была так перебаламучена в Марине, что оставаться холодным сверхчеловеком, который столь поразил ее воображение, с каждой минутой делалось все сложнее.

— Ну вот, я перед последним уроком спряталась в туалете, а когда все утихли, пошла к учительской. Она была закрыта, но я знала, где лежит ключ, и забрала все их дурацкие банки. Двенадцать банок да еще какое-то домаш-

нее печенье, представляете? Сгрузила все в материну сумку, приволокла в туалет, а после уроков угостила весь класс в школьном саду. Прямо под окнами учительской, чтобы все видели и не вздумали меня прощать или списывать пропажу на неизвестного злоумышленника. И матери пришлось собственной ручкой подписывать мне строгое предупреждение, а снять его времени не оставалось. Вот медалька и досталась Наташке, а я не попала в институт.

Марина уже успокоилась, освоилась, уже не пристыженно и робко, а с интересом и не без кокетства поглядывала на него. И, закончив рассказ, озорно засмеялась.

— Я неплохо вывернулась, правда?

— Ты за что-то очень не любишь свою мать.

Она сразу перестала смеяться, как-то потускнела. Зачиркала спичкой, прикурила; Иваненков подумал, что девушка опять уйдет от ответа — а заодно и от него, «супермена»,— успел пожалеть, но она сказала:

— Я не ее не люблю.

— А кого?

— Кого? Ее ложь. И ложь вообще. Ненавижу ложь, а особенно — в ней, в матери, потому что...— девушка по-детски гулко проглотила комок.— Потому что люблю. Люблю и ненавижу сразу, вот и все.

Он был озадачен. Полагалось что-то спросить или что-то сказать, но что-то, столь же парадоксальное, как и ее объяснение. Однако ничего парадоксального в голову не приходило, и он спросил:

— Она тебя обманула?

— Обманула — здесь не подходит. Понимаете, когда человеку куда труднее сказать правду, чем соврать, о каком обмане может идти речь? Обман — это и есть жизнь. Нормальная повседневная жизнь, вот и все.

— Это когда она избавила тебя от медицинского осмотра? Может быть, она хотела уберечь тебя от травмы, это же все не так просто, это даже унизительно.

— Для всех девчонок не унизительно, а для меня — травма? — Марина криво усмехнулась.— Хотите узнать правду? Тогда налейте еще: если забалдею — расскажу.

Он наполнил рюмки. Девушка не только заинтересовала его — она все больше нравилась ему. Он испытывал огромную радость, радость сродни счастью, оттого, что ощущал свое влияние на нее, и страх, потому что годился ей в отцы отнюдь не в фигуральном смысле. И, вероятно, потому спросил:

— А папу ты любишь?

— Не упрощайте, здесь тоже — двоичная система. С од-

ной стороны он — добрый, мягкий и все для меня сделает. И даже то, что он у матери под каблуком — еще полбеды: в конце концов именно он настоял, чтобы мне дозволено было ходить в джинсах. Нет, подкаблучник — противно, но понятно: это, пожалуй, единственный способ сосуществования в нашей семье. И если бы он при этом был...— Она вздохнула, но договорила.— Точнее, не был трусом, но он — трус. Трус! Его больше всего беспокоит, кто что будет говорить: что скажет Первый, что — Второй, что — жена Первого или какой-нибудь номер Шестнадцатый, но — из области. Область — это все, все законы, все правила, все моды, все симпатии и антипатии, а что мимо, не угадали или не угодили — ужас! До пота, до бессонницы, до отвращения. Это же чокнуться можно, как они всего боятся! Друг с другом говорят одно, со мной — другое, с каким-нибудь Ван Ванычем — третье, и все вместе неправда, потому что правду они даже друг другу на ухо не скажут. Не решатся.

— Правда — понятие относительное, Мариша.

— И вы этой собачьей чумкой заражены,— девушка улыбнулась, но как-то иначе, как-то очень по-взрослому, с горечью и пониманием.— Я когда-то своим пыталась втолковать, что смелость не смертельна, что двух, трех, а тем более эн плюс единица правд не бывает и быть не может, что если хочешь воспитывать честность — будь честным, искренность — будь искренним, правдивость — будь правдивым. А что мы получаем, мы, восемнадцатилетние обладатели «путевки в жизнь», как это громко именуется? А мы получаем полный набор, только не джентльменский, к сожалению, а...— она помолчала, подыскивая слово, пригубила рюмку, нетерпеливо постучала каблучком по полу и радостно воскликнула.— Лакейство! Полный лакейский набор нам выдают в дорогу: бойся хозяина, ври ему в глаза, клянись в верности, воруй, когда отвернется, и делай, что велят, даже не пытаясь подумать. Что, не так, скажете? Так. Так! А где же честь, отвага, благородство, достоинство, верность принципам, наконец? Ведь нет же этого ничего, нет, нет и нет. А — было. Ведь было, правда же, было? Я знаю, что было, верю, что было, потому что, если и в это не верить, тогда лучше совсем не жить. Верю, что в войну было все то, на что мы, молодые, молиться готовы, было, потому что труса легко можно научить убивать, но умирать самому, умирать за родину, за идею, за свободу, за истину вы труса и силой не заставите: он к врагу тут же перебежит или ручки кверху поднимет. А сейчас что? — она еще раз вздохнула.— Врут, пьют, воруют, кто что где может, да слова говорят, которые позвонче да погромче.

— Ну не все же таковы.

Он сказал неуверенно и внутренне смутился от этой своей совсем не суперменской неуверенности. В известной степени ему хотелось защитить поколение, на которое так яростно ополчилась девушка, и к которому он принадлежал. Это скорее вырвалось, чем сказалось, и он ощутил, как в нем что-то как бы обрушилось... «Ну все,— подумалось невесело.— Игра закончилась, сейчас получу отповедь и...» Марина молчала, он успел уверовать в свой проигрыш и в ее неминуемую отповедь, успел даже приготовить фразу позначительнее, а она сказала:

— Я на вас глазами наткнулась.

— Что?

Он растерялся, вопрос его прозвучал до нелепости беспомощно, но девушка сейчас слушала себя, а не его.

— Не знаю, бывает ли такое с мужчинами, а с девочками бывает, мне рассказывали, потому что со мной никогда такого не бывало. Со мной такое — впервые, понимаете? Вошла и наткнулась, и никого другого не вижу. Может быть, и нет никого, а? Может быть, только вы и есть? Говорят, искренность, как на духу, мол, так я с вами — как на духу, понимаете? Никому бы того не сказала, что вам говорю, ни за что бы не сказала, а вам не просто рассказываю, а хочу рассказывать. Чтобы никаких стенок, понимаете? Чтобы вы и я — вместе...

Она замолчала, начала краснеть, густо, сочно, будто вся кровь ее бросилась сейчас в щеки и шею. Чтобы справиться с этим взорвавшимся помимо ее воли смущением, отчаянно глотнула почти полную рюмку и сказала:

— Вот.

В этом коротеньком словечке заключалось большее, нежели точка, окончание внезапно возникшего разговора, и Владимир Петрович не то, чтобы понял — он решительно не понимал ее! — он, как зверь, почувствовал истинное значение этой частицы. Встал, шагнул, взял двумя руками за голову, с бешеным сердцебиением ощутив в ладонях копну густых волос. И Марина тотчас же поднялась и, еще не решаясь обнять, доверчиво прижалась головой к его груди. И так они замерли, боясь шевельнуться. «Господи, что же я делаю, что делаю, я — подлец, господи...» — как-то поспешно суетно подумал он, а руки уже медленно и уверенно поворачивали ее голову, чтобы лицо оказалось к лицу.

«Не надо!»

Это вспыхнуло, как последний предупреждающий сигнал, вспыхнуло и погасло, потому что он увидел совсем рядом ее лицо, и все затмилось. Потянулся к губам, но Марина в

последний момент чуть отвернулась, и поцелуй Владимира Петровича пришелся не в губы, а в щеку, но он не спешил, он следовал за ее поворотами, ловил ее, а не тянул к себе, и на третьем поцелуе губы их встретились надолго. Иваненков почувствовал, как напряглось и изогнулось девичье тело, как покорно и доверчиво ожидало оно его, уже отдавшись, уже распахнувшись навстречу. «Нет, нет! — он, задыхаясь, притормозил собственные желания.— Только не спешить, только не спугнуть. Надо сказать что-нибудь, надо отвлечь, убедить, что хотя и я тоже теряю голову, но первый шаг — за нею, все равно — за нею, только за нею...»

— Чудо мое морское.

Чтобы сказать, пришлось отстраниться, оторваться от ее губ. Сердце билось с неистовой силой, голос звучал хрипло и грубо, и он успел обрадоваться этой хриплой грубости: она отдавала страстью.

— Морское?

— Да, да. Ты же — Марина. Марина, значит, морская. По латыни.

— По латыни?

Господи, как она тянулась к нему! Нет, Иваненков все же имел право гордиться собою, потому что удержал на самом краешке не только себя, но и ее. Нежно, бережно коснулся губ, осторожно усадил на место. Придвинул свой стул вплотную.

— Этим поцелуем ты посвятила меня в рыцари. За тебя, моя прекрасная дама.

В бутылке оставалась ровно рюмка, и он вылил все Марине. Она не отрывала от него отсутствующих глаз, и Владимир Петрович понимал, что девушка еще не вернулась, еще не видит, не слышит и вряд ли понимает, что он сейчас говорит. Его с новой силой потянуло к ней, кинуло в жар: еще мгновение, и он опять поднял бы ее, опять дал волю не только губам, но и рукам, и тогда... Нет уж, хватит с него и этого безумного поцелуя.

— Прости,— он поспешно вскочил, засуетился.— Мне надо... Я должен посмотреть машину.

Кажется, до машины он бежал. И не интеллигентной трусцой, а самым что ни на есть трусливым сумасшедшим галопом. Он убегал ОТ и должен был убегать ОТ, но лихорадочно открыв машину и рухнув за руль, он не испытал ни радости, ни облегчения, ни даже чувства исполненного долга. Он испытал горечь и тревогу. Странную тревогу, все время подмывавшую его вскочить и мчаться назад. К Марине. Следовало... Что — следовало? Следовало что-то делать, но что именно следовало делать, он не знал.

Он не ощутил течения времени, хотя, кажется, оно шло своим чередом. Он вообще ничего не ощущал, а когда до него наконец начало доходить, что он сидит в собственной «Волге», что сегодня — воскресенье и что пока ничего еще не случилось, в стекло постучали. Он потянулся через сиденье, открыл противоположную дверцу, и в машину села Марина.

— Я все убрала, взяла вашу суму, вот ключи от дачи. Можем ехать.

Голос ее звучал нейтрально, смотрела она строго перед собой, и если бы Владимир Петрович не был так напуган предыдущим, он непременно обратил бы внимание на эту подчеркнутую отстраненность. Но сейчас ему было не до тонкостей, не до анализа ее взглядов, вздохов и интонаций; он молча завел машину, молча выехал на шоссе, свернул к городу. Он делал все не только с привычным автоматизмом опытного водителя, но и с той опустошенностью, которую ощутил, как только упал за руль. Правда, теперь в этой гулкой опустошенности начала звучать странная, почти бессмысленная фраза: «Все. Вот и все. Это — все». И он понимал, что это действительно все, но не испытывал ничего, кроме опустошительной горечи.

— Вы обещали мне.

— Что?

Иваненков дернулся, быстро глянул на сидящую рядом девушку. Она по-прежнему смотрела строго перед собой, но что-то неуловимо изменилось в ней. Он глянул еще раз, менее воровски: Марина сидела спокойно, раскованно, положив ногу на ногу. «Черт возьми! — почти ликующе прокричал он про себя.— Ведь девчонка сопливая, в дочки мне годится, а — женщина. И какая женщина!..»

— Что я обещал?

— Сигареты из-за бугра. Нам сейчас налево, первый поворот. Сюда. Ну, вот мы и приехали,— Марина впервые повернулась к нему, и он увидел ее сияющие глаза. Ничего больше не увидел, только сияющие глаза.— Так до субботы или, может быть, до пятницы?

— А тебе бы хотелось...

— Сегодня. Разворачивайте машину.

Она улыбнулась, а он рассмеялся с огромным облегчением и с еще более огромной, прямо неземной радостью. Все, решительно все, он делал правильно, он не совершил ни одной оплошности, не допустил ни одной ошибки в их отношениях; в ее глазах он был и остался идеальным мужчиной, суперменом из американизированных девичьих иллюзий, принцем из сказки с неизвестным, но обязательно

прекрасным концом. Окрыленный этим открытием Иваненков потянулся и смело коснулся губами ее прохладной, непереносимо нежной щеки.

— Я позвоню в четверг между девятью и десятью вечера. Надеюсь, ты будешь дома.

— Кроме меня можете смело рассчитывать еще и на мать. И на сдублированный телефон.

Ему не хотелось давать Марине свои координаты: так, на всякий случай. Как говорится, береженого жена бережет.

— У тебя есть какая-нибудь идея?

— Нет,— она чуть улыбалась влажными губами.— А у вас?

— Я попрошу к телефону рыжую розу Миссисипи. И если ты откликнешься, пойму, что имею право на разговор.

— А если скажу, что вы ошиблись номером, это будет означать, что я ожидаю вас в пятницу вечером в нашем охотничьем замке,— быстро подхватила Марина.

И схватив лежащие под ветровым стеклом ключи от его домика в лесничестве, выскочила из машины.

Глава вторая

1

Три четверти обратной дороги Владимир Петрович Иваненков приятно, тепло, почти восторженно вспоминал, какой он умный и яркий, какой сильный и настойчивый, какой настоящий, какой первоклассный он мужчина в сути своей. Прожив свыше двадцати лет с женой, имея дочь, а в прошлом даже двух любовниц, он и предположить не мог, не смел, не дерзал, что обладает столь неотразимым мужским обаянием. Покорить современную восемнадцатилетнюю девочку, в течение буквально двух-трех часов сделать ее покорной, послушной, влюбленной, готовой на все — нет, это безусловно говорило о многом. Это утверждало в нем веру в исключительность, в мистическую способность излучать некую эманацию, превращающую гордых и своенравных девиц в безропотных и трепетных рабынь. «Настоящая женщина не может не тянуться к настоящему мужчине,— самодовольно думал он.— А этот чертенок безусловно настоящая женщина: представляю, какую школу она прошла, прикрываясь маминой спиной...»

Он вел машину спокойно и строго, пунктуально исполняя предписания всех дорожных знаков и особенно следя за скоростью, поскольку при всех восторженных мыслях ни на

секунду не забывал о выпитом коньяке. Он вообще обладал уникальной способностью во всех случаях жизни, при любых волнениях, при самых внезапных вспышках гнева или приливах нежности ни на миг не забывать о существующих правилах поведения. Не о действующих законах, не о чувстве долга или чести, не о приличиях, наконец, а только о правилах, в которые укладывалась его жизнь. О своеобразных Правилах Игры, поскольку он всегда старательно кого-то изображал, и сегодня элементарная водительская дисциплина вписывалась в эти Правила: никто, а уж тем более жена, не должен был знать, что Иваненков может позволять себе сесть за руль, выпив рюмку.

Уже на подъезде к городу мысль его переключилась с безрассудной Марины на весьма рассудительную жену. Собственно, он никогда о ней не забывал — он просто неспособен был забыть о ней хотя бы на мгновение при всем желании: она тлела в его памяти, как уголь под пеплом, не обжигая, но и не угасая. Приближение дома как бы раздуло этот пепел, и его решительная, деловая, всегда строго подтянутая и даже чуточку взведенная супруга Ларочка, то есть Лариса Алексеевна Лебедева, приобрела вполне реальные очертания. Она всегда была безусловно умнее, талантливее и работоспособнее его; Владимир Петрович это знал, а верил в иное: он безотчетно, по-детски верил в невероятную сверхпроницательность собственной жены, а потому никогда и не пытался ее обманывать. И даже те две женщины, которые встретились ему за двадцать лет супружеской жизни, те две отдушинки, о которых он всегда вспоминал с искренней благодарностью, случились в то полугодие, когда он оставался один в ожидании визы «по семейным обстоятельствам». Обе были старше, и в этом не заключалось никакого совпадения, а содержалась некая обидная для него данность: они сами его заметили, выделили, заинтересовали и в конце концов первая (ее звали Ирой) завела его к себе, а вторая (Влада) пришла к нему сама. Он до сей поры отчетливо помнил, как боялся коммуналки Ирины, и как трепетал перед соседями, когда Влада проскальзывала в их пустую квартиру, заранее позвонив из автомата, что стоял напротив его дома. Потом, правда, все проходило, но к утру страх возвращался с новой силой, и он в эти утренние мгновения страстно желал только одного: поскорее остаться в полном одиночестве. Все равно, в собственной ли квартире или на улице возле коммунального дома Иры, но остаться одному. Остаться одному... Иваненков вдруг сообразил, что одиночество для него та единственная форма существования, при которой он не испытывает ника-

кого страха, но не ужаснулся этому открытию, а улыбнулся ему, как улыбаются внезапному парадоксу.

Дома его встретили жена и дочь одновременно, но жена откуда-то пришла, а дочь куда-то собиралась. Обе сдержанно поздоровались; жена тотчас же удалилась к себе в комнату — там как раз зазвенел телефон, а дочь спросила:

— Ну, как твое наследство?

— Халупа,— сказал он.

Он уже разделся и мог бы пройти, но не уходил, а внимательно разглядывал дочь. Он и сам не замечал, что разглядывает скорее не как отец, а словно бы со стороны, словно оценивая, прикидывая и сравнивая, и, может быть, поэтому впервые увидел, чего в ней нет: женственности. Есть молодость, свежесть, юная привлекательность и вполне зрелая фигура, а вот женственности нет и не «пока нет», а навсегда нет. И тут же вспомнил о ее ровеснице, в которой...

— Ты чего на меня уставился?

Голос дочери вывел его из системы опасных аналогий. Она спрашивала удивленно, но в этом удивлении была открытая веселость, и он сразу заулыбался.

— И не заметил, как выросла. Мальчики-то бегают за тобой?

— Придет время, узнаешь,— отпарировала дочь.— Мама, привет!

И вышла. Его не посвящали, кто куда уходит, кто когда приходит; он не думал об этом, даже не замечал, принимая, как должное, но сегодня неприятно ощутил, что вся домашняя жизнь существует как бы вне его орбиты. Он вообще сегодня замечал больше обычного, но не стал размышлять, почему именно в этот день как бы немного прозрел. Прошел в ванную, умылся, а когда вышел, столкнулся с женой.

— Как съездил?

— Не очень удачно,— он сказал, не задумываясь, на всякий случай выставляя оборонительный рубеж.

— То есть?

— Предстоят еще хлопоты по наследству. Требуют кого-нибудь прописать, поскольку домишко находится в другом районе.

Разговаривая, они прошли на кухню. Жена загремела кастрюльками, разогревая обед, а он сел за стол, подумав, что она всегда почему-то особенно выразительно гремит посудой. Словно оглашает ноту протеста.

— Странно. Вчера по телефону ты радостно сообщал, что твой школьный приятель...

— Да, да,— он не дал ей договорить.— Но, знаешь, домишко числится за лесничеством, там свое начальство.

Зачем он врал? Он и сам не мог себе этого объяснить. Просто ему очень не хотелось, чтобы жена в следующую пятницу выразила желание поехать с ним туда, где он сегодня был с Мариной. Он все время видел перед собою эту Марину — и сейчас, и когда разглядывал дочь, не понимая, что именно хочет в ней увидеть. Насколько же утро было прекраснее этого вечера...

— Господи, как ты странно ешь. Что, опять невкусно, опять не угодила? Ну извини, я — плохая хозяйка, тебе не повезло.

— Нет, что ты, все очень вкусно.

Вкусно жена не готовила никогда, но он никак не мог разобраться, не умеет она готовить или не желает, считая кухню, стряпню и вообще все домашнее хозяйство чем-то унизительным. Стряпала она всегда между делом, всегда второпях, всегда кое-как, не вкладывая в этот процесс не только желания, но и просто старания. Кидала, не глядя, соль, тут же спешила к телефону, а вернувшись, еще раз сыпала соль или, наоборот, не сыпала вообще ни разу, и любой суп, любое жаркое бывали либо пересолены, либо не посолены, но никогда, кажется, не совпадали с нормой хотя бы приблизительно. Правда, она не требовала, чтобы ее хвалили, но не выносила, когда улавливала недовольство.

— Не нравится — не ешь. Что поделаешь, не кухарка твоя жена.

— Что ты, Ларочка, очень вкусно.

— Не ври, терпеть не могу: на физиономии написано, сколько воли ты тратишь, чтобы проглотить. Ходи в столовую.

Нет, жена никогда не устраивала скандалов — она постоянно ощущала себя выше этой женской привилегии. Просто родилась она в семье, где сами роды безмолвно рассматривались, как нечто чрезвычайно шестистепенное, надолго отрывающее женщину от первостепенного. Для матери этим первостепенным была кипучая общественная деятельность, сначала выражавшаяся в борьбе с оппортунистами всех мастей и оттенков, потом — с ликвидацией неграмотности и одновременно — кулачества (или наоборот?..), потом — с чем-то еще, потом — война, перебазирование промышленности, организация тыла, затем — послевоенная разруха, потом... Потом наступил перерыв, из которого мать уже не вернулась, успев умереть в начале того времени, когда возвращение стало реальностью. Однако в наследство единственной дочери она оставила не только справку о полной посмертной реабилитации, но и свой собственный взгляд на права и обязанности современной женщины, и

дочь свято следовала этому завету, сменив бурную общественную деятельность бурной кабинетной тишиной науки. Она исповедовала абсолютное равенство, но как раз в муже, в которого когда-то умудрилась влюбиться за красивые слова, она равенства и не ощущала. Она все время ощущала почти весовое несоответствие, а потому и не могла согласиться с тем, почему ей приходится торчать на кухне, а не ему. Если бы Владимир Петрович принял на себя приготовление завтраков и ужинов (обедали они не дома), то этот дополнительный вклад хоть в какой-то мере сблизил бы их чаши весов, но Иваненков был бесполезен даже на кухне. Он уродился бесполезным — не лентяем, не бездельником, не тунеядцем, не гулякой,— просто бесполезным, и когда Лара это поняла (к сожалению, не столь уж быстро), рожденное несправедливым неравенством раздражение в адрес собственного мужа получило могучий постоянно действующий импульс.

2

— Иваненков! Владимир Петрович, шеф вызывает!

— А почему не по телефону?

— Не ведаю пути начальства. Я был у него, и он на прощанье пробурчал, чтобы я сыскал тебя и передал приказ.

Иваненков не любил внезапных вызовов к руководству. Он вообще не любил никакого начальства, но всегда со всем старанием играл любовь, преданность и высшее уважение, для чего заранее придумывал две-три шуточки, две-три новости и — анекдотик. Позабористей, попроще: он знал вкусы собственного руководства. И все шло по заранее отрепетированному порядку: доклад прерывался шуточками или сенсациями (что тоже, естественно, заранее продумывалось), затем следовали слухи (если возникала надобность) и на закуску — анекдотик, дававший возможность сообща похохотать, поерничать, показать начальству, что ты — мужик, мужик стопроцентный, грубоватый, веселый, одним словом, свойский. И это было чрезвычайно важно, но внезапное востребование лишало его возможности сыграть этого свойского рубаху-парня, поскольку экспромты не являлись сильной стороной Владимира Петровича. Лихорадочно вороша в голове обрывки полузабытых хохмочек, Иваненков тем не менее волынить не стал, ибо его смешливый начальник превыше всего ценил деловую точность, а отнюдь не соленый анекдот.

— Вызывали, Павел Аркадьевич?

— А, Иваненков,— начальник что-то писал и продолжал писать, пока не закончил. Потом отложил ручку и откинулся в кресле, в упор глядя на Владимира Петровича немигающими начальственно-отсутствующими глазами.— Кадровик сказал, ты английским владеешь?

— Ну, как, то есть,— Иваненков мучительно соображал, что выгоднее: превознести собственные способности или умалить их. Все зависело от цели, но начальник пока ее не открывал.— Читаю с листа, могу перевести, объясниться.

— И оформить тебя просто, так?

— Простите, Павел Аркадьевич, это в каком смысле?

— Ну, ты жил за границей? Жил. Значит, выездной, так?

— Совершенно точно.

— У Скворешникова, так его мать, кишки схватило,— шеф обожал играть этакого таежного самородка, хотя благополучно родился в Москве.— А он в Швецию от нас должен был ехать.

В голове Иваненкова завертелись цветные шары, заиграли марши, победно и торжественно запели фанфары. Он знал, знал давно и совершенно точно, что их организация обеспечивает официальную торговую фирму специалистом узкого профиля, но это знание ничего не давало, кроме приступов зависти. Он не обладал служебным весом, всю жизнь числился в рядовых, не смея и мечтать о сказочной долгосрочной командировке куда-либо далее Пензы или Арзамаса.

И вдруг... Кажется, он настолько был ошарашен, настолько разволновался, что уже на слышал, что там еще бормочет начальник.

— ...твою мать, бездельники, помереть некогда. Все проверь лично, никому не верь, так? Конечно, дело не срочное, но ты лично, мать-перемать, должен быть готов, как штык...

Вот так волшебно начался день, началась неделя, нет — началась новая светлая полоса в жизни. Владимир Петрович никогда не переоценивал ни собственных способностей, ни персонально ему улыбающейся Фортуны, свыкся со своим среднестатистическим положением в семье и на службе, но теперь, как видно, случай начал подмигивать ему.

— Что сияешь, как медный таз?

В живот замечтавшегося Иваненкова уперся толстый палец. Голос тоже был толст и тоже как бы упирался в собеседника вне зависимости от произнесенных фраз, и Владимир Петрович, не глядя, знал, кто остановил его в управленческом коридоре: заместитель начальника отдела кооперации Карюхин Вячеслав Леонтьевич. И тут же шумно возрадовался:

— А, Вячеслав! Давно ты что-то к нам на этаж не заглядывал.

— Не мельтешить, но появляться — слыхал такую заповедь?

Вячеслав Леонтьевич был великий дока на всякого рода заповеди, анекдоты, примеры из жизни и законы мирного сосуществования с начальством: вот ему, например, не требовалось за сутки сочинять набор острот, потея от лихорадочного перенапряжения. С начальством он чувствовал себя на одной ноге, шутил без оглядки, хамил с хохотом, грубил в глаза, и все почему-то сходило ему с рук. Может быть, потому, что ему не требовалось никакой маски: ни маски рубахи-парня, ни маски сибиряка-таежника. Он был таким, каков он есть, а если и не совсем таким, то настолько свыкся с однажды избранным амплуа «своего в доску», что амплуа это в нем, как бы, растворилось. И все к этому привыкли, все прощали ему грубость, бестактные анекдоты и даже хамство, потому что верили в его безусловную искренность. И еще потому, что знали: если Карюхин сказал, он сделает, хотя и будет хвастаться потом в силу громкости собственного характера.

— Держи носок с оттяжкой, Вовочка!

Это был единственный человек во всем управлении, который называл его Вовочкой, Вовой Петровичем или даже Вовчиком. Иваненкова передергивало от такого обращения, но поставить Карюхина на место он ни разу не осмелился. Он не просто не любил, но ненавидел его (Вячеслав Леонтьевич прекрасно чувствовал это, почему и обращался к нему столь непочтительно), но всячески избегал конфликтов, шутил и улыбался изо всех сил. Не потому, что так уж боялся — хотя чисто по-человечески побаивался, понимая, что Карюхин сильнее его во всех отношениях — а потому, что сначала только подозревал, а потом — догадался.

Дело в том, что Вячеслав Карюхин появился в их управлении немногим более года назад, а до этого работал в том же институте, что и Лариса Алексеевна Лебедева, и дамские язычки утверждали, что... Нет, нет, жена Владимира Петровича должна была быть и была выше всех подозрений, но... но во время совместной работы Лариса Алексеевна и Вячеслав Леонтьевич трижды выезжали в совместные командировки. Что было, то было, но Владимир Петрович все связал воедино и — догадался, не так уж давно. По билету, который его собственная жена Лариса Алексеевна Лебедева забыла как-то на столе. Она часто уезжала по делам в Ленинград, но по возвращении («Привет из Питера, зверски устала...») оставила на столе использованный билет на са-

молет из Риги. А в Риге — так случилось, что Иваненков знал об этом абсолютно точно — как раз в эти дни находился Вячеслав Карюхин.

Это было не просто неожиданно — это было абсурдно неожиданно. Владимир Петрович имел все основания считать себя и привлекательнее, и утонченнее, и, главное, умнее этого громогласного животного с волосатой грудью, и долго, пожалуй, даже слишком долго продолжал не верить объективной реальности. Но командировки продолжались, причем, как правило, по субботам и воскресеньям, и хотя Лариса больше ни разу ничего не забывала, регулярность этих командировок заставила Иваненкова пересмотреть свои позиции. Он пересмотрел, осторожно навел справки насчет поездок Карюхина, все понял и промолчал. И начал изо всех сил улыбаться большому, грубому, шумному Вячеславу Леонтьевичу.

Но все же отчего, по какой такой причине ему, Владимиру Петровичу Иваненкову, предпочли этого неандертальца? Почему ради него холодноватая, рассудочная, обладающая незаурядным умом и блестящими способностями Лариса Лебедева обманывала мужа и дочь, мчалась на такси, толкалась в аэропортах, кралась в чужой номер мимо всевидящих дежурных по этажам? Неужели Вячеслав Леонтьевич был настолько отмечен мужскими достоинствами, что... Нет, Владимир Петрович веровал в собственные достоинства и не мог даже в мыслях признать таковые причиной супружеской неверности. Нет, нет, только не это, только не это, а что же, что? И поскольку ответов не находилось, он перестал задавать себе вопрос. Он принял, как данность: это — командировки, вот и все, и нет никакого обмана, а есть только совпадение и уникальнейшая, замечательнейшая женщина с мужской волей и целым спектром разнообразных талантов, и еще есть — отдельно! — громкий, неприятный во всех отношениях, даже хамоватый сослуживец, которого он не любит, но тем не менее... Впрочем, если говорить честно, Владимир Петрович вообще на эту тему старался не думать.

— Слушай, Вова Петрович, ты насчет гаражного кооператива интересовался? Так вели жене позвонить мне завтра за час до обеда. Ровно за час.

— А почему она должна...

Господи, опять не удержался, опять начал расспрашивать, суетиться, мельтешить...

— А потому, Вовчик, что машинка, на которой ты рулишь, записана на твою супругу. Так помни: я жду ее звонка завтра за час до обеда. Да — заложил эту программу в свою башку? Тогда привет.

Ткнул пальцем в живот и потопал по коридору. Большой, веселый, косолапый: ботинки сорок четвертого размера. Он заговаривал со всеми мужчинами, а всех встречных женщин непременно обнимал, как-то походя, небрежно и очень естественно грабастал их лапищей. И не было мужчины, который не ответил бы ему шуткой, и не нашлось женщины, которая не улыбнулась бы в ответ на его атаманскую бесцеремонность. Иваненков стоял, пока Карюхин не скрылся в бесконечной дали управленческого коридора, сам не замечая, как душа его до краев заливается изнурительной и какой-то клейкой, что ли, завистью: «Везет же некоторым».

Он в тот же вечер передал жене, что некий Вячеслав Леонтьевич Карюхин велел ей позвонить за час до обеда относительно гаража. Как и следовало ожидать, супруга немедленно возмутилась на подобную бесцеремонность, категорически отказавшись звонить: «нахалам да еще неизвестным не звонят». Но Владимир Петрович был убежден, что она непременно позвонит. Позвонит живо и трепетно, и в точно обозначенное время, несмотря на то, что так и не спросила у него номер телефона. И совсем не для проверки — бог уж с ней, с проверкой! — а для самоистязания, что ли сказал:

— Мы хотели подарок Грамотеевым купить к юбилею свадьбы. Я заеду за тобой в обед?

— Завтра в обед? Исключено, завтра я никак не могу. Завтра у меня ученый совет как раз в это время.

Иваненков усмехнулся: все сходилось, как в бабушкином пасьянсе. И все обеденное время, весь такой длинный в этот день час, без смысла и аппетита маялся в служебных коридорах, ненатурально громко смеясь, что-то рассказывая, кого-то перебивая, а в голове стучало одно: «Они вдвоем, вдвоем, вдвоем». Неотвязно, как метроном.

Но — странное дело — радость вчерашнего дня не померкла в его душе. Он воспринял супружескую неверность — теперь он окончательно растерял остатки всяческих иллюзий — скорее с злым торжеством, чем с болью или отчаянием. Да, ему было неприятно, досадно, обидно, но одновременно с этими чувствами, и все более заглушая их, росло удивительное ощущение безусловного права на личную свободу. Отныне он как бы получал разрешение поступать так, как поступили с ним, и ни в коем случае не терзаться при этом совестью. И не думая более о жене, купил на «заначенную» премию бутылку виски в баре интуристовской гостиницы и тщательно припрятал ее в машине вместе со сбереженным на всякий случай блоком сигарет «Винстон».

3

Тот самый обеденный час, когда Иваненков, потеряв аппетит, тем не менее медленно переполнялся злой разрешительной радостью, Лариса Алексеевна действительно провела с бесцеремонным, красующимся своей грубостью и силой Вячеславом Карюхиным. Встречи эти — они были редки, два раза в месяц, не более — всегда начинались и заканчивались для нее по уже осмысленной и усвоенной схеме: она летела на свидание, как восторженная, теряющая голову девчонка, с поспешной, даже заискивающей готовностью исполнявшая все его приказы. Именно приказы: ей так мучительно хотелось подчиняться, ощущать себя слабой, робкой, готовой на все. Но «все» проходило, Лебедева трезвела, покорная рабыня как-то незаметно, на цыпочках покидала ее, и все вставало на свои места. Мужчина изо всех сил начинал прятать грубость и бесцеремонность, стараясь быть внимательным, негромким и — вторым, а женщина без всяких усилий вновь превращалась в холодновато-насмешливую, почему-то с трудом скрывающую раздражение повелительницу. В этом было нечто ненормальное, нечто, словно бы, с перепутанным знаком, но Карюхин никогда не уточнял, откуда возникал этот обратный знак, потому что совершенно точно знал, как его не любят. Его лично, Вячеслава Карюхина. Любят подчиняться его нахальству, его силе, а потом презирают себя и почти ненавидят его. И поэтому они разбегались с еще большей стремительностью, чем сбегались на считанные часы, а если удирали в Ригу и разбежаться было невозможно, то тотчас же спешили куда угодно, только бы не оставаться вдвоем, пока опять не придет затмевающая волю жажда рабской покорности. Связь была мучительной, но оба дорожили ею. Может быть, как раз по этой причине.

В тот месяц Лебедева не смогла выкроить ни одной субботы (Вячеславу было проще: он вел холостой образ жизни и не обременял себя руководящей работой), Рига оказалась недосягаемой, и ему пришло в голову пригласить Ларису Алексеевну к себе домой. И она позвонила точно за час до обеда, примчалась в условное место, с девичьей ловкостью нырнула в его «Жигули» и с благодарностью повисла на шее, когда они остались одни. Но благодарности кончились; оба лежали и, молча, курили, и ему, как всегда, было весьма неуютно.

— Что за идиотская идея передавать о звонке через Владимира,— наконец с заметным раздражением сказала она.— И здесь самоутверждаешься?

— Разве перед такими самоутверждаются? Ты ведь тоже его презираешь.

— Тебя больше.

— В данный момент?

— Не смей говорить пошлостей, Вячеслав.

— А почему бы тебе не оставить его? — спросил он, помолчав.— А: ты его не любишь; б: ты — сверхсамостоятельная женщина; в: у тебя совсем взрослая дочь; и, наконец, г: ты не одинока — какой ни есть, а у тебя имеюсь я. Зачем же нам мыкаться, хитрить, ловчить и жить в обмане?

— Отвернись, я оденусь.

Он отвернулся, слушая, что она скажет, но слышал только шелест одежды.

— Ты не хочешь отвечать?

— Почему же? — Ученая женщина была уже одета и сейчас неторопливо «делала себе лицо».— Мы живем в исступленно ханжеском обществе: это тебе известно не хуже, чем мне. Женщине прощают ошибки, могут простить просчеты и даже злоупотребления, а вот незаконную связь ей не простят никогда. А мужчине — простят с восторженно завистливой легкостью: «Ну ты даешь, старик!..» Разведенный мужчина — почти герой, разведенная женщина — всегда подозрительна. Мы — далекая, глухая, чудовищно пуританская провинция Европы. Далее. Из всех способов зарабатывать на жизнь мы санкционировали два: либо работать, либо руководить. В первом случае у человека практически отсутствуют перспективы: ну, чуть больше заработок, ну, чуть лучше квартира; во втором — действует непреложный закон восхождения: с каждой ступенькой увеличивается не только оплата, но и все блага, вся наша дифференциальная рента: путевки, командировки, поездки за границу и так далее, и тому подобное, вплоть до дефицитных продуктов, которые заворачивают руководителям опытные работники ведомственных буфетов. Иными словами, карьеризм включен в нашу жизнь, как активно действующее начало: человек человеку не только не друг, не товарищ и уж тем паче не брат — человек человеку всегда конкурент. А учитывая глубоко провинциальное ханжество всей нашей атмосферы, женщине куда сложнее держаться на поверхности, чем мужчине. Так зачем же привлекать внимание, дорогой друг мой? Уж лучше считаться глубоко порядочной семейной дамой и со страхом господним красться к тебе на свидание, чем лишиться бронеспинки и однажды получить удар из-за угла.

— Значит, ты предпочитаешь жить в обмане?

— Я предпочитаю жить в законе. Точно и аккуратно соблюдать правила игры.— Она встала, подошла к кровати,

сдержанно поцеловала его.— До встречи в Риге в следующем месяце.

— Я отвезу тебя, обожди.

— Не надо, пройду через парк.

Лариса Алексеевна вышла, осторожно прикрыв за собою дверь, с озабоченно деловым видом спустилась на улицу. И там шла с той же поспешностью, которую оставила, только войдя в парк. Здесь она сразу замедлила шаги, почти с наслаждением ощущая свое по-прежнему гибкое, сильное тело, пока еще доставлявшее ей одни радости. Она любила эти минуты блаженной расслабленности, но сегодня собственные недавние откровения мешали ей вдосталь понаслаждаться ими. «Нужна ему моя исповедь,— с неудовольствием думала она.— Да и мне она не нужна: никто ведь не заставлял меня карабкаться по служебному канату. Что же делать, если во мне спокойно уживаются две противоположности: каждый день командовать мужчинами и хоть раз в десять дней подчиняться их полномочному представителю...»

Она часто думала о себе с этакой лихой иронией, но сейчас ощутила за этой привычной бравадой иную мысль. Совершенно самостоятельную, а потому и чуточку беспокоящую: как там обстоят дела у дочери, у ее Машки, по этой части? Они никогда не были — да и не могли быть — откровенными, хотя искренне любили друг друга и искренне старались друг друга не огорчать: кажется, на два этих чувства и израсходовались их взаимные запасы искренности. Маша была спокойной, рассудительной, в меру модной и в меру спортивной девушкой, но что скрывалось за всеми этими занавесками, мать не знала. Она с детства — естественно, с Машенькиного — сама установила стиль ее поведения в семье: все прилично, пристойно, спокойно, никаких истерик, тайн и шептаний. Но тайны существовали, они просто не могли не существовать — у нее самой, к примеру, был Вячеслав, у отца... ну, у того никого не было и быть не могло,— а у дочери? В двадцать лет она сама, Лариса Алексеевна, уже вышла замуж, уже вертела своим Владимиром, как хотела, а Машка... «Мама, я пошла!» — говорила Машка каждый вечер, и мать так и не удосужилась спросить, куда же это пошла ее единственная дочь. Если она в нее, то и в ней уживаются царица и рабыня одновременно, то требуя жертвы, то стремясь оказаться ею, а если в отца...

«Упаси боже! — Лариса Алексеевна даже остановилась, не дойдя до конца аллеи.— Упаси тебя боже, доченька, что-либо унаследовать от отца своего...» И тут же с привычной прямотой подумала, что этого просто не может быть,

потому что слабые гены беспощадно вычеркиваются природой для улучшения грядущих поколений, и что, если этого не происходит естественно, то подобные аномалии следует жестко выправлять разумным воспитанием. И решила во что бы то ни стало поговорить с дочерью, чтобы точно выяснить, можно ли полагаться на природу или пора вмешиваться самой. «Только без супруга,— с холодной деловитостью прикидывала она.— Машку предстоит разговорить, а при отце она ни под каким видом не ударится в откровения. Пусть едет хлопотать о своем дурацком наследстве, а мы поговорим, как две... Как две женщины: ведь Машка, наверняка, уже не девица. Значит, предельная откровенность. Только... Только не дай бог, как говорится, чтобы у Машки оказался свой Вячеслав, но еще хуже, если она уже подцепила своего Владимира...»

4

Если понедельник оказался для Владимира Петровича на редкость счастливым днем, то вторник с почти стопроцентной беспощадностью доказал, что его горделивая, холодно рассудочная супруга покорно мчится по первому знаку одного из пошлейших его сослуживцев. Конечно, наглое поведение Вячеслава и даже полное совпадение во времени еще не являлись бесспорными доказательствами измены, но Иваненкову от этого почему-то легче не становилось. Он никогда не пылал пламенной страстью к собственной жене, согласившись на брак не потому, что он этого хотел, а потому, что она этого хотела, но одна мысль, что чьи-то губы, чьи-то руки, чьи-то глаза... Нет, нет, он не стремился рисовать картин, но они рисовались сами собой, они возникали повсюду из ничего, прямо из воздуха, и Владимир Петрович впервые ощутил яростный гнев ревности. Гнев или боль?.. Нет, нет, все-таки гнев, именно — гнев, потому что чувствовал себя не столько обманутым мужем, сколько обворованным собственником. У него украли то, что принадлежало исключительно ему, лично ему,— ему одному, а совсем не этой насмешливо самостоятельной Ларисе Лебедевой: права на ее тело, ее ласки, ее страсти, ее женские реальности были добровольно переданы ею же самой ему, Владимиру Петровичу Иваненкову, в присутствии официальных лиц, скрепивших эту... ему не хотелось употреблять слово «сделка», но, в общем, скрепивших некий документ, имеющий юридическую силу. Это было гарантией если не любви, то добропорядочности и его личного спокойствия, а

теперь (если, конечно, все произошедшее не есть просто-напросто набор нелепейших совпадений) ему заглазно продемонстрировали, что документ этот не имеет вообще никакой силы, что права попраны, а будущее темно и неопределенно.

— А где мама? — несколько напряженно спросил он у дочери.

Был четверг, а по четвергам жена обычно приходила домой сразу после работы. Стирала, гладила, что-то готовила — всегда с раздражением, потому что это идиотское бабское занятие отнимало массу времени, отрывало ее от статей, которые необходимо было закончить, от рефератов, с которыми следовало ознакомиться, от докладов, старых знакомых и новых журналов; наконец, домашние хлопоты просто лишали ее передышки в середине напряженной, по минутам расписанной недели. А сегодня (это на второй-то день после того... гм... обеда!) не пришла, и Владимир Петрович вдруг забеспокоился. Нет, не о жене (ну что с ней могло случиться?), а о... Вообще забеспокоился. И засуетился.

— Да ты никак разволновался? — весело удивилась дочь.

У нее оказалось на редкость отменное настроение, и он, сразу забыв о жене, решил непременно воспользоваться этим исключительным дочкиным благодушием. Еще с воскресенья он ощутил нетерпеливое, зудящее желание поговорить с дочерью, но как подступиться — не знал. Знал, что беседа должна быть откровенной и непременно дружеской, что Машка обязательно должна рассказать, что ей нравится, а что — нет, что приятно удивляет, а что безусловно отталкивает, во что играют ее сверстницы — сигареты, музыка, глоток вина? — а что воспринимает вполне серьезно, по-женски основательно. Он точно знал, что хотел бы услышать от собственной дочери: некий инструктаж, как им, взрослым мужчинам, вести себя с этим неустоявшимся возрастом, когда непонятно, изображают они женщин или являются таковыми. Он ясно представлял себе, что хочет услышать, но никак не мог придумать переходов...

— Наоборот, наоборот совершенно. Я рад, Маша, что мама задерживается. Я давно хотел поговорить с тобой...

— О чем?

Черт возьми, эта их милая манера перебивать, недослушав. Вот теперь извольте ловить ниточку, искать новый тон разговора.

— А ты не испытываешь такого желания?

Господи, как же с ними трудно разговаривать. Сначала ты рассказываешь им сказки, чинишь их игрушки, водишь

их в садик, отвечаешь на миллион «почему?». Потом спрашиваешь о школе, успехах и подругах, изо всех сил делая вид, что тебе это безумно интересно. Затем нехотя просматриваешь дневник, нехотя за что-то ругаешь или столь же воодушевленно хвалишь. Потом... Потом они как-то выпадают из твоего мира, а когда возвращаются в него, ты их узнаешь с напряжением. И тебя все время преследует ощущение, что в более или менее знакомую, хотя и сильно повзрослевшую оболочку, за это время вселился инопланетянин.

Владимир Петрович задал вопрос и тут же пожалел о нем, ожидая насмешливых взглядов или насмешливых слов. Он уже не верил, что его Машка, которой он стирал пеленки куда чаще, чем вечно занятая мать, способна разговаривать с ним по-человечески. Она молчала так долго, что он уже решил, что никакого ответа вообще не последует.

— Честно говоря, у меня ощущение, что с некоторых пор мы — все трое — живем на встречных курсах, но плывем в обратную сторону, понимаешь? И поэтому с каждым днем расходимся все дальше друг от друга. Что это, естественный процесс? Отцы и дети?

— Не думаю,— он был несказанно благодарен ей за человеческие слова.

— А я думаю,— она сказала это с нажимом.— Если бы я была парнем, или ты бы вдруг превратился в маму, мы, вероятно, многое могли бы рассказать друг другу. Многое, но совсем не то.

Дочь замолчала, но и молчание ее сегодня было заполнено какой-то особой серьезностью. Он совершенно не знал ее, теперешнюю, не представлял ее жизни, ее интересов, друзей, ее увлечений и развлечений. Это обезоруживало его, делало пассивным и почему-то чуточку виноватым, а хотелось убеждать, наставлять, предостерегать. Хотелось удерживать ту, уже давно существующую лишь в теории, позицию главы семьи.

— Тебя что-то тревожит?

Он спросил не потому, что ощущал надобность именно в этом вопросе, а потому, что никакое иное продолжение разговора просто не приходило ему в голову. Маша как-то странно, отсутствующе посмотрела на него, будто не расслышав вопроса, и, помолчав, спросила сама:

— Ты любишь маму? А она тебя любит? Вы любили друг друга раньше, в молодости?

— Видишь ли...

— Не отвечай, я сама знаю все ответы. Я ведь взрослая, папа, очень взрослая,— она невесело вздохнула.— Знаешь,

что все чаще и чаще приходит мне в голову? Что любовь постепенно отмирает в человеке, как отмирает ненужная ткань. Все девочки мечтают о любви, а к двадцати годам девяносто процентов из них выясняют, что никакой любви нет и никогда не будет. Есть инстинкт, как наичастейший вариант любовной связи, страсть, как мимолетный и никого ни к чему не обязывающий, и банальный обман с банальной болтовней, как вариант пошлейший. И все, а что не укладывается в эту триаду, то либо редчайшее исключение, либо, увы, уже нередкое извращение.

Она замолчала. Владимир Петрович никак не ожидал такого разговора, был к нему совершенно не подготовлен, на ходу перестраиваться не умел и спросил, опять пожалев о собственном вопросе:

— Тебе сильно не повезло в этом плане?

— Что? — она снова как бы вынырнула из собственных мыслей.— Повезло — не повезло. Чушь какая-то. У тебя нормальная современная дочь, а не гимназистка начала века. А современные дочери великолепно знают, что за все всегда платит женщина.

Иваненков неуверенно замолчал, неуверенно улыбнулся и столь же неуверенно пожал плечами. Маша серьезно, испытующе посмотрела на него:

— Ты способен сказать мне правду?

— А зачем мне тебя обманывать?

— Это не ответ. Я спросила, способен ли ты на беспредельно искренний приступ откровения. Правда, с откровениями происходит то же, что и с любовью: они улетучиваются из нашего обихода. И все-таки ответь: у тебя есть личная жизнь?

— Личная жизнь?

— Ну...— Маша смутилась, отвернулась от него, пояснив скороговоркой: — Прекрасно ведь понимаешь, что я имею в виду. Я имею в виду, есть ли у тебя... Как это у вас там называется? Подруга, что ли. Одним словом, женщина.

— У меня нет никого,— твердо сказал он, перед глазами почему-то возникла Марина.— Странный разговор отца с дочерью, ты не находишь?

— Так заведи! — Мария резко повернулась к нему, почти со злостью полоснув взглядом.— Заведи, слышишь? И чем скорее, тем лучше. В доме должен быть мужчина, а не тюфяк, которого я вот-вот перестану уважать. Мужчина, понимаешь?

И вылетела из квартиры, схватив сумку и сорвав на ходу куртку с вешалки. Может быть для того, чтобы он не успел заметить слез, уже хлынувших через край.

А Владимиру Петровичу вдруг стало тревожно: он не понял, почему дочь затеяла этот разговор, что хотела узнать, чего добиться. «В доме должен быть мужчина, а не тряпка...» — значит ли это, что Машка каким-то образом узнала о любовной интрижке матери, возмутилась, оскорбилась за него и теперь требует, чтобы он нанес ответный удар? Или это — странные девичьи бредни, ответ на обиду, попытка увидеть в собственном отце тень собственного идеала? А может, он и впрямь мягкотелый, бесхребетный подкаблучник, оскорбляющий своим стоическим смирением и покорностью собственную дочь? Иваненков ходил по пустой квартире, не находя ответа. И бесцельно прометался бы еще дольше, если бы не зазвенел телефон.

— Я задерживаюсь до двадцати одного,— жена разговаривала, как командующий фронтом.— С ужином не ждите. Сообрази что-нибудь сам.

— Хорошо. Я соображу.

— Да, вот еще что,— жена помолчала, и у него впервые возникло ощущение, что она подбирает слова, дабы помягче прозвучал приказ.— Относительно твоего наследства. Ну; того домишки. Я считаю, что надо хлопотать, пока стоят хорошие деньки.

«Так,— подумал он.— Следовательно, ей требуется, чтобы я исчез на два дня. Ну, что же, я исчезну. Я исчезну...»

— ...самое лучшее, если ты поедешь в субботу.

— Хорошо. Я поеду в пятницу.

— Договорились. Пока.

В трубке раздражающе гудело, но он продолжал держать ее в руке. От обиды и бессильной злости стало жарко: он не нужен, не нужен, не нужен! Не нужен жене, как помеха, не нужен дочери, как тряпка, а не мужчина в доме. Он не нужен никому... Никому?

Владимир Петрович натянуто улыбнулся, положил трубку на рычаг, достал записную книжку и нашел номер телефона. Набрал: к счастью, номер был прямым, без междугородней. На другом конце ответили сразу:

— Я слушаю.

Он узнал, кто его слушает. Сердце забилось, все обиды мигом умчались прочь. Но сказал он так, как договаривались:

— Я прошу к телефону Рыжую Розу Миссисипи.

И услышал в ответ звонкий, счастливый смех.

Глава третья

1

Темнело, когда он миновал городишко без задержек, свернул в лесничество и поставил «Волгу» так, чтобы она не бросалась в глаза. Достал припрятанную контрабанду, которую он пополнил бразильским растворимым кофе и коробкой конфет, быстро пошел к своему домику, стараясь и здесь держаться незаметнее, чтобы не попасть на глаза любопытной Сковородниковой. Кажется, ему повезло; он поднялся на крыльцо, с забившимся сердцем толкнул дверь. Она распахнулась, он быстро вошел и захлопнул ее за собой.

— Ты здесь? — приглушенным шепотом спросил он.

Марина появилась из комнаты, задержавшись в дверях, как в раме; за спиной горел свет, высвечивая ее тонкую фигурку. Владимир Петрович хотел было пролепетать «Маришенька», как лепетал «Ларочка» или «доченька», но вовремя спохватился, что здесь он проходит в роли супермена. Небрежно сунул на какую-то тумбочку пакет с бутылкой и блоком сигарет, шагнул, смело взял за подбородок, приподнял зарумянившееся лицо:

— Ждал меня, малыш?

Боялся сфальшивить, очень боялся, но, кажется, сошло. Походя, чуть-чуть коснулся оттопыренных детских губок, в которые хотелось впиться, впиться... И отстранился.

— Кажется, ты спешишь?

— Да,— она была очень смущена, даже растеряна.— Я вымыла полы, купила хлеб, масло, колбасу и яйца. Но сейчас мне надо идти.

— Тебя проводить? — он произнес это ледяным тоном.

— Я, правда, сегодня не могу. Но завтра...— Марина судорожно глотнула комок.— Я сказала, будто на сутки уезжаю к подруге... Словом, в двенадцать. Только не надо меня ни встречать, ни провожать. Я бегаю по тропинке через лес прямиком к остановке автобуса.

— Беги,— сказал он.

А сам уныло подумал, что его опять провели, что напрасно приехал, что там, в городе, жена смеется над ним, и здесь, в городишке, эта Марина тоже, наверно, самодовольно скалит зубки. Он уж решил, что переночует в пустом доме и утречком неожиданно рванет домой («Вот будет жене подарочек!..»), но чистота, наведенная Мариной, свежий хлеб и кое-какая еда в холодильнике поколебали его намерения. Девушка заботилась не только о нем, но и об их

встрече — так ему хотелось думать и он уснул уже без всякой обиды.

«Завтра в двенадцать».

Ему снилась эта фраза: он никогда не думал, что фраза может сниться, но приснилась именно она. Не голос, не Марина, а сама фраза, текст, слова, хотя он и не смог бы объяснить, что именно ему привиделось: он просто знал, что это означает «завтра в двенадцать», радовался и очень волновался. Даже проснулся от всех этих волнений и надежд раньше, чем намеревался.

«Значит, через шесть часов,— подумал он, совсем по-молодому сладко потянувшись.— Пока позавтракаю, то да се...» Тут ему вспомнилась оставленная в кустах машина, и он еще до завтрака решил непременно глянуть на нее. Благо, пока чуть начинало светать, и вероятность наткнуться на кого-либо из местных была практически нереальной. Он надел куртку и поднял капюшон, потому что с неба чуть моросило.

— Владимир Петрович, кажется? А я-то гляжу, чья это машина стоит? Здрасте. Я в город собралась спозаранку...

По закону подлости он лоб в лоб столкнулся именно со Сковородниковой, растерялся, что-то залепетал. Кажется, что его лично просил заехать Илья Трофимович Лопатин, но вчера было уже поздно, и поэтому он сегодня... Иваненков объяснял свой приезд в собственный дом столь многословно, столь виновато и даже почему-то заискивающе, что пронырливая Анна Сергеевна могла с легкостью заподозрить его в каком-либо неблаговидном поступке. Но она и впрямь торопилась, в слова почти не вслушивалась, упомянула, что в городе заночует у сестры и вернется лишь к вечеру в воскресенье, и поспешила на автобус, что шел к областному центру.

«Волга» стояла там, куда Владимир Петрович ее загнал. Иваненков дважды обошел ее, попробовал дверцы, багажник и капот, но попробовал машинально, думая совсем не о машине, о последних словах Анны Сергеевны. Она зачем-то поставила его в известность, что заночует в областном городе и вернется вечером в воскресенье. Зачем, спрашивается, ей пришло в голову сообщать ему, где она будет находиться в ближайшие сутки? И не содержалось ли в этом сообщении скрытого намека, что Сковородниковой известно и то, что Марина была в домике в отсутствие его владельца, и то, что намеревается вернуться... Да, да, именно так можно расценить и ее многословие, и ее тон... А был тон? Безусловно. Безусловно, во всех ее словах присутствовал какой-то мерзкий, хитрый, бабий тон намеков и догадок, и это особенно озадачивало и пугало Владимира Петровича.

Из-за этой проклятой встречи, а еще более от собственной прозорливости Владимир Петрович напрочь позабыл о волнующем обещании «завтра в двенадцать» и думал только о том, что он раскрыт, схвачен за руку, пойман с поличным. Он с ужасом представлял себе, как этот факт может докатиться до жены, какими слухами, подробностями и небылицами обрастет по дороге, и каким мелким подлецом, соблазнителем и растлителем будет выглядеть он, Владимир Петрович Иваненков, которого высокие инстанции рассматривают как реального претендента на поездку в Швецию. Мысли эти терзали его неотвязно; он не мог завтракать, а только пил кофе да курил. Правда, свои, отечественные сигареты. «Нет, нет, надо рвать, рвать,— лихорадочно соображал он, хотя рвать-то, собственно, было еще нечего.— Но если я уеду, не навестив Илью, а эта проклятая баба скажет (а ведь непременно скажет, непременно), что видела меня и что я... Нет, к Илье необходимо заехать. Просто необходимо: это и будет объяснением, зачем меня сюда занесло. Своего рода алиби. Алиби... А что касается Марины... Что касается Марины. Марины, Марины...»

Тут мысли его начали давать сбой, потому что он абсолютно ясно видел саму Марину, ее чуть испуганные отчаянные глаза, когда она шепнула: «Завтра в двенадцать», и Иваненков начинал снова чувствовать себя суровым и мужественным суперменом. И отбрасывать все страхи, которые олицетворялись в жене и дочери, в Илье и болтливой Сковородниковой, в таежнике-начальнике и прочих начальниках, от которых зависела его карьера, благополучие и сказочно заманчивая командировка в Швецию. Мариша кружилась подле, заглядывала в глаза, приоткрывала пухлые губки, белоснежно улыбалась. «Ждать, ждать! — почти с торжеством пропела его душа.— Не будь кретином, Владимир, такое больше не отломится никогда, это последнее твое счастье...» И тут же возникала жена и начальник, и все вертелось вместе с Мариной, выталкивая и заменяя друг друга. Так в борении между страхом и желанием Владимир Петрович и провел все утро, пока в дверь не постучали. Точнее, поскребли:

— Вот и я.

Марина выговорила эти слова тоном бесшабашным, и вид постаралась придать себе тоже бесшабашный, но ей это все плохо удалось. Любой мало-мальски внимательный человек без труда заметил бы предательскую дрожь всех ее поджилок, но Иваненков был переполнен иными чувствами:

— Тебя никто не заметил?

— Никто,— Марина слегка растерялась.— Я хожу через лес. Напрямик к автобусной остановке на шоссе.

— Да, да, ерунда какая-то.— Владимир Петрович помог ей снять плащ, стал вешать; сказал, отвернувшись:— Приходила эта... ну, Анна Сергеевна, что ли. Говорит, что меня ждут твои родители.

— Мои родители?

— И откуда они узнали, что я здесь? — ненатурально изумлялся он, избегая ее глаз.— Ты ничего не знаешь?

— У них сегодня гости. Их компашка, пара нужных людей и какой-то областной туз.

— Вот! — обрадованно воскликнул он: ложь неожиданно получала подтверждение.— Придется съездить.

— Хорошо, я уйду,— с покорной поспешностью сказала Марина.

— Ни в коем случае! — Иваненков схватил ее за руку, почти элегантно усадил в кресло-качалку.— Вот твое место. Сиди и жди меня.

— У нас много болтают.

— Откручусь. Главное, жди,— он пошел к дверям, вспомнил, что впопыхах так и не поцеловал ее, но не стал возвращаться; остановился на пороге, повторил со значением.— Жди. Сегодня — наш день.

«Господи, куда я спешу? — с досадой думал он, на сей раз шумно и демонстративно открыто направляясь к машине.— Мариша сказала, что там гости, а я, незваный... Впрочем, это даже хорошо: деловой визит. По вопросу наследства. Допустим, интересуюсь, какие нужны документы, на чье имя. Вполне естественно, а фактически — железное алиби. Стопроцентное алиби, а девчонка никуда не денется. «Чем меньше женщину мы любим...»

Размышляя так, он уже гнал по дороге в Миловидово. Мысли были ясными, логичными и продуманными, и настроение Иваненкова сразу поднялось. Все получалось, как в кино: и несомненное алиби в родительских глазах, и терпеливая девочка в уютном гнездышке. «А я, оказывается, неплохо умею обтяпывать свои дела!» — с удовлетворением подумал Владимир Петрович, нажимая звонок квартиры Ильи Трофимовича Лопатина.

— Владимир? Признаться, не ожидал. Никак, понимаешь...

Хозяин выглядел растерянным, из глубины квартиры доносились голоса, и Иваненков понял, что гости уже в сборе. «Вот и прекрасно,— подумалось ему.— Сейчас откланяюсь, извинюсь и исчезну..» Но сказать он ничего не успел, поскольку открылась дверь, и в прихожую вошла улыбающаяся Любовь Андреевна.

— Владимир Петрович? — радостно удивилась она.— Какая приятная неожиданность. Здравствуйте, дорогой мой, вы очень удачно появились.

— Я относительно наследства...

— О делах — потом,— решительно перебила хозяйка.— Идемте же, я представлю вас нашим друзьям.

Снимая куртку, Владимир Петрович с недоумением соображал, что же произошло с Любовью Андреевной, неделю назад с трудом скрывавшей свою неприязнь, а сегодня ставшей вдруг приторно гостеприимной. Превращение было столь разительным, что даже на лице Ильи Трофимовича застыла почти глуповатая растерянность.

— Прошу,— хозяйка (сама любезность!) ввела его в комнату, где было человек восемь гостей, привычно (ну, будто на большой перемене!) повысила голос.— Товарищи, минуточку внимания! Хочу представить вам нашего близкого друга Владимира Петровича Иваненкова, счастливого супруга известного ученого, гордости нашей области профессора Ларисы Алексеевны Лебедевой!

2

Вычислила!

Иваненкова бросило в жар: какими-то путями пронзительно принципиальная директриса узнала о его семье, а может быть, и заглянула в анкету. И выяснила, что все его заграничные рассказы были всего-навсего фанфаронством школьного Горлана, трепотней, карнавальным бенгальским огнем. Он сознательно ни разу не упомянул тогда о своей жене, он легкомысленно понадеялся, что пути их семейств никогда не пересекутся, но... Кстати, что подтолкнуло Любовь Андреевну полюбопытничать? Может быть его идиотские восторги по поводу Америки? Может быть, она уже доложила о них, куда следует, и там... ТАМ!.. ей показали его досье?

«Напьюсь! — твердо решил Владимир Петрович, когда пригласили за стол.— Ехать недалеко, ГАИ там нет...»

На душе было тускло и кисло: даже здесь, в доме старого школьного приятеля его встречали не как Владимира Петровича Иваненкова, старшего инженера весьма престижного НИИ, а как супруга знаменитой жены. Откуда бы ни узнала о его супруге Любовь Андреевна, отношение ее к нему, к Владимиру Иваненкову, отныне измерялось не его достижениями, определялось не его научным авторитетом и оценивалось не его заслугами. Сам он не представлял из себя

ровно ничего: он был мужем при жене, своего рода современным альфонсом, что ли. И гости разделяли эту оскорбительную позицию, жали руку, улыбались, что-то говорили, но при этом сам он, он лично, Иваненков Владимир Петрович по школьному прозвищу Горлан, как бы и не существовал, а только представлял здесь знаменитую на всю область, известную в Москве и даже за границей свою «лучшую половину», как выразилась полная дама в кудряшках послевоенной игривости. А он улыбался, поддерживал разговор, отвечал на вопросы, даже шутил, а хотелось послать всех подальше с их восторгами и уйти, хлопнув дверью. Хотелось утвердить себя, напомнить о себе, что-то сделать — может быть, что-то разбить, разлить, сломать, чем-то грохнуть об пол — и непременно заорать: «Я — взрослый мужик, взрослый, у меня есть профессия, должность, заботы, авторитет! Меня, между прочим, самого за границу посылают, но для вас нет меня, нет человека! Для вас существует только кем-то признанная знаменитость, возле которой вы согласны приметить и мое существование, как замечают болонку в руках эстрадной звезды...» Так ему хотелось кричать, а он молчал, вежливо улыбался, отвечал на вопросы и даже говорил дамам комплименты. И поэтому до зуда хотелось напиться и тем заглушить нараставшие в нем горечь и обиду.

— К столу, прошу к столу! Прошу, прошу, прошу!

Все направились к загроможденному закусками и посудой столу, задвигали стульями, стали усаживаться, а Иваненков задержался: рюмок не было. Ни рюмок, ни бутылок, ни даже вышедших если не из моды, то из обихода графинчиков.

— А как насчет?..— тихо спросил он подвернувшегося хозяина.

— Сухой закон! — радостно сообщил Лопатин.— Сам знаешь, партия призывает к беспощадной борьбе с пьянством, вот мы и решили в своем кругу откликнуться на это историческое решение.

«Ханжа! — раздраженно подумал Иваненков, усаживаясь рядом с дамой в кудряшках.— Неделю назад со мной коньяк глушил, а сегодня — сухой закон...»

— Товарищи, рекомендую отведать кваску! — почти восторженно пропела Любовь Андреевна.— Старинный русский напиток, вкусный, ароматный, а главное, полезный!

— Главное — разрешенный,— густым басом сказал видный мужчина, к которому все относились с подчеркнутым вниманием.

Хозяева и гости поспешили рассмеяться. Пили водяни-

стый квас, натужно изображая радостное воодушевление. Всем было непривычно и неуютно не потому, что так уж тянулись к рюмке: просто переход от стола с бутылкой к точно такому же столу с квасом ломал сложившийся стереотип, вызывал ощущение физического неудобства и какой-то явной нарошности. И все играли в «нарошку», фальшивили изо всех сил, что-то изображали, хотя каждому было неудобно прежде всего потому, что его, взрослого человека, помимо его желания и воли заставляют играть в некую игру с твердыми правилами. И одним из этих неписаных правил была непременная, обязательная для всех восторженность. И все восторгались изо всех сил.

— А ведь это прекрасно: общаться без всякого алкоголя.

— Это чудно, чудно!

— Ну разве можно сравнивать...

— Водка унижает, а здесь чувствуешь себя человеком.

— Конечно! Безусловно!

— Исключительно своевременно...

— Здоровье народа...

— Алкоголизм — явление классовое...

— Абсолютно с вами согласен, Любовь Андреевна.

Говорили одно и то же, не только не споря, не только не выражая каких бы то ни было сомнений, но и просто не решаясь употребить иной, нестандартный оборот, свое собственное слово или хотя бы внести в барабанное бормотание нотку здоровой иронии. Повторяли друг за другом, будто отвечали урок в начальной школе, но думали свое, и эти свои, невысказанные, но как бы витавшие над безалкогольным застольем мысли и были сущностью, а не игрой. И это понимал каждый: неискренность тут возводилась в ранг неизбежности, абсолютной обязательности, лояльности, добропорядочности и благонадежности. Неискренность стала господствующей формой сокрытия мыслей, всеобщим камуфляжем, хамелеоньим дарованием менять цвет в зависимости от фона. Иваненков, как и все остальные, прекрасно понимая это, изо всех сил играл в ту же игру, чтобы в нем видели своего — такого же лгуна и хамелеона, какими были все за этим столом. «А ведь Марина права,— думал он, продолжая изрекать банальности.— У нас все отдельно, все — на разных полках. Мы-то с этим свыклись, а наши дети свыкаться не желают. Не желают, чтобы в семье говорили одним языком, в школе — другим, с соседями — третьим. Не желают и бунтуют, как умеют. И мечтают о героях, которые однажды встанут вот за таким безалкогольным столом и скажут: «Люди, вы же перестали быть человеками. Опомнитесь, люди, вспомните о своем достоинстве,

о своем возрасте, положении, авторитете, о своем праве хотя бы не раболепствовать!» И вот я сейчас встану и...»

Он долго и с удовольствием храбрился, твердо зная, что никогда не осмелится сказать то, что думает. Не потому, что его ждет какое-либо наказание, а по той простой причине, что давно уже живет по принципу знаменитого чеховского человека в футляре: «Как бы чего не вышло». Как бы не лишили премии, очереди на квартиру, путевки в санаторий, выгодной командировки. Вот что стало внутренней реальной стоимостью, вот что страшно потерять, вот наши оковы и наши бичи. «Мы просто боимся, как бы чего не вышло, а на остальное... Вот именно, дорогие... сокласники. Господи, неужели и вправду сокласник лучше, чем собутыльник?..»

— Тост под квасок! — громогласно объявил почетный гость, и все тотчас же послушно примолкли.— За здоровье хозяйки. Мужчинам встать.

Иваненков сразу же вскочил. Что-то бормотал, чокался, пил квас, от которого уже пучило живот. Потом все угомонились, сели, начали поспешно жевать, точно боялись, что кому-нибудь снова взбредет в голову очередной дежурный тост. Соседка в кудряшках наклонилась, шепнула доверительно:

— Между прочим, Львович.

— Что? — Иваненков не понял и глянул с некоторым подозрением.

— Этот, фигуристый,— кудряшки затряслись в сторону важной персоны.— Аркадий Львович его зовут, поняли? Ну, может быть русским «Львович»?

— А, Толстой? — раздраженно спросил Владимир Петрович.— Дети у него — Львовичи или как?

— Так то ж Толстой,— начала было дама в кудряшках, но ее тут же перебил сосед.

— Я почему возмущаюсь? — сосед говорил с набитым ртом приглушенно и быстро, и Иваненков скорее догадывался, чем разбирал слова.— А потому, что не ври! Ну, родился евреем, ну, что теперь поделаешь? Так и пиши в документе «еврей». Ничего страшного, страна у нас многонациональная. Так нет же, все почему-то непременно русскими быть хотят, заметили? Непременно!

Владимир Петрович хотел ответить сразу и еще более резко, чем кудряшкам, но удержался. Уже и фраза была готова — в меру едкая, в меру корректно брезгливая — уже губы сами шевельнулись, но мысль опередила: «А зачем? Зачем высовываться, когда вся эта мерзость меня не касается?» И вместо того, чтобы отчитать, оборвать, поставить

на место, промямлил с неуверенной, заискивающей, идиотской какой-то ухмылочкой:

— Хе-хе. Конечно. В общем-то... Смешно.

— Смешно? Не-ет, не смешно! — сосед уже не жевал, а шипел, брызгая то ли слюной, то ли квасом.— Это подрыв, ясно? Сознательно ряды засоряют, великую нацию разбавляют чужой кровушкой...

— И еще раз — под тот же квас! — пророкотала фигура, и все тут же перестали разговаривать, старательно похихикав.— За истинно русское гостеприимство и хлебосольство этого дома. За его дорогих хозяев — низкий им поклон и пожелание всех и всяческих благ. Ура!

Все нестройно, но вполне дисциплинированно подхватили «Ура», а Иваненков кричал вместе со всеми. И тут же уткнулись в кружки, в кислый, воняющий бочкой квас, точно застеснялись вдруг натужного своего энтузиазма. А сосед сказал с умилительным и достаточно громким восторгом:

— Ведь умеем же веселиться без водки, умеем же! Правильно нам указали и очень даже своевременно.

— Вот говорят, провинция, мол, у вас,— опять слишком уверенно возвестил ответственный гость Аркадий Львович.— А что это, я извиняюсь, такое? Вы для нас — провинция, мы — для Москвы, а все намешано, пересажено, переверчено — не поймешь, что к чему и почему. Да мы все — провинция, ну и что? Вся страна наша перемещается согласно требованиям момента: где же тут вам провинция? Что, целина — это провинция? Енисейская ГЭС — провинция, или, может быть, БАМ? Так я — за такую провинцию. За нашу, советскую, которая судьбы страны вершит!

— Золотые слова, Аркадий Львович! — поспешно подхватил Илья Трофимович.— За нашу провинцию!

«Господи, сроду столько квасу не пил,— с тоской думал Иваненков, нехотя ковыряя вилкой в тарелке: есть уже не хотелось.— В животе, как в погребе, а на душе что-то вроде изжоги, что ли. Не дай бог, еще тост — и ведь не выдержу...» Но у всех за столом тоже, вероятно, было «что-то вроде изжоги», и от тостов воздерживались. И притихший обед не кончился, а как бы скончался, тихо отойдя. Вылезали из-за стола, негромко и невесело переговариваясь; мужчины потянулись в прихожую покурить, женщины начали деятельно помогать хозяйке убирать со стола.

— А где же Мариночка, Любовь Андреевна? — спросила немолодая дама, проходя мимо Иваненкова.

— К подруге на сутки отпросилась...

«Марина! — Владимир Петрович не то, чтобы забыл о ней, а как бы отложил про запас.— К ней, к ней. Вот только

спрошу у Ильи что-нибудь для алиби...» Он настиг хозяина возле кабинета, в который Лопатин провожал важного гостя.

— Обожди, Володя, очень прошу,— зашептал Илья Трофимович.— Мне один вопросик надо с Аркадием Львовичем провернуть, и он уедет. И тогда мы с тобой...

Владимир Петрович хотел сказать, что очень спешит, но Лопатин уже увел фигуру в кабинет и плотно прикрыл за собою дверь. Оставалось ждать, так как поспешный отъезд мог быть (а вдруг?!) сопоставлен с его дачей и исчезновением Марины, и вместо алиби получилось бы некое доказательство. Поэтому он, продолжая смятенно и грустно думать о Марине, сел у самой двери кабинета, чтобы перехватить Илью, отметиться и тут же исчезнуть. Здесь его никто не трогал, поскольку хозяйка увела гостей слушать магнитофонную запись Хазанова, но потом подсел сосед по столу, возмущавшийся по поводу засорения великой нации. Сказал две-три незначительных фразы, повздыхал, поерзал, а потом, решившись, зашептал торопливо:

— Он, знаете... ну этот, солидный, который красивые тосты... Он — из органов. Да, я точно узнал. И, конечно, с положением. Говорят, мировой мужик, да. Ну это же видно, правда? А я, знаете, квасу перебрал и, это, сболтнул. Да. Вы уж не придавайте значения, глупости все это. По дурости я. Да. А он,— сосед потыкал пальцем в закрытую дверь кабинета,— он может понять превратно, они обидчивые.

— Кто они-то? — неприязненно спросил Иваненков.

— Ну, эти... из органов.— Соседа едва не корчило от воспоминаний, что он наговорил за столом.— Знаете, как по тому анекдоту...

— Ладно, не скажу,— перебил Владимир Петрович.

Сосед тут же ретировался, что-то бормоча, а Иваненков почувствовал вдруг нечто похожее на удовлетворение: приятно было знать, что рядом существует некто, еще более трусливый и пакостный. Это не просто радовало — это позволяло прикрыть собственное малодушие, вернуть себе привычную самооценку, которая для него заключалась не в спасительной формуле: «И я не хуже людей», а в твердом убеждении, что он, Владимир Петрович Иваненков, лучше если не всех, то подавляющего большинства современников.

Тут открылась дверь кабинета, и прямо на Иваненкова вышли хозяин и Аркадий Львович. Гость ломил, как ледокол, и Владимир Петрович поспешно посторонился.

— Значит, договорились, Трофимыч.

При этом гость внушительно кашлянул, и Иваненков уловил запах второпях проглоченного коньяка. «Так вот

зачем они в кабинете запирались! — подумал он.— Для нас — квас, а для...»

— Огромное спасибо вам, огромное,— торопливо говорил тем временем Лопатин.— От имени всего нашего города, как говорится. Выручили вы нас, дорогой Аркадий Львович.

— Сочтемся! — благодушно улыбнулся гость.

— Обожди здесь,— шепнул Иваненкову хозяин, провожая высокого гостя в прихожую.

Вернулся он быстро: видно, ответственный гость не тратил времени на долгие прощания. Заулыбался, радостно потирая руки:

— Живем, Владимир, кричи «ура!» Мы ведь совсем со строительством зашились: людей нет, техника простаивает, средства не используем — словом, кругом шестнадцать. А тут Аркадий Львович, спасибо ему, двести пятьдесят человек обещает подбросить.

— Солдат, что ли?

— Нет, условно освобожденных. Ну то, что называется «перевести на химию»: какой к Новому году подарочек, а? Да в благодарность за это строители нашему городу шестидесятиквартирный дом без звука отдадут, и все будут довольны. Стройка план выполнит, а горсовет шесть десятков квартир получит. Это же шесть десятков счастливых новоселий!

— А сколько десятков уголовников? — спросил Владимир Петрович: он был очень обижен, что хозяин не пригласил его в кабинет вместе с гостем.— Сколько драк, хулиганства, а то и поножовщины?

— Демагогия,— решительно перебил Илья Трофимович.— Демагогия это, Горлан!

3

— Если тебе холодно, укройся одеялом,— сказал Иваненков.— Я попробую растопить камин.

Ему ничего не нужно было пробовать: еще прошлым вечером он окончательно убедился, что каминная труба забита то ли сажей, то ли обломками кирпичей; что бы там ни было, а тяга отсутствовала полностью, камин нещадно дымил, и дрова не разгорались. И тем не менее он сбежал от Марины под этим дурацким предлогом:

— Попробую растопить камин.

Часа три назад он вернулся с затянувшегося обеда, и уставшая от одиночества, ожидания и холода нежилого дома Марина молча прильнула к нему. Он что-то говорил (ско-

рее — бормотал), что-то пытался объяснить, рассказать, а ей ничего, решительно ничего не хотелось слушать. Ей хотелось льнуть к нему не столько телом, сколько всем существом своим, льнуть и молчать, и упиваться этой минутой, этим молчанием и этим теплом. А он все никак не мог определиться, как же ему вести себя: то говорил слишком много, то целовал слишком эффектно, то обнимал слишком крепко. Он сам ощущал это проклятое «слишком», но ничего не мог с собой поделать. Время шло, Марина молчала, все так же доверчиво прильнув к нему, и Владимир Петрович вдруг решил, что он — круглый идиот, что она просто не решается на большее, но жаждет его, что он, в конце-то концов, мужчина, что ему решать и... Нет, он так ничего и не решил, хотя «вдруг» существовало, как некое бездейственное озарение. Существовало, но он и теперь не знал, как же все-таки ему вести себя с девушкой, которую до этого вечера, а точнее — до этого «вдруг», воспринимал все же несколько умозрительно, отстраненно, что ли, скорее мужским самолюбием воспринимал ее, чем любовью, возможностью, радостью упоения в словах, а не в действиях. А тут она оказалась совсем рядом, оказалась ждущей тепла, чуда, готовой к объятиям и поцелуям, его настойчивости — готовой ко всему, а он никак, ну никак не мог решиться на что-то еще, на какой-то последний, все определяющий шаг. «Господи, она же младше моей дочери»,— то ли с ужасом, то ли с торжеством думал он, и сердце колотилось так, будто ему все еще двадцать пять. Но он-то знал, что ему катит под пять десятков, и поэтому ковырялся сейчас у камина, предоставив ей самой решать, как следует поступить.

Марина забралась под одеяло (он так и не смог определить, обрадовало его это или испугало), спрятав руки и натянув это одеяло до круглого, умилительно нежного подбородка: его встретил спокойный взгляд, в котором не было ни смущения, ни трепета, ни колебаний. Торопясь и беспрестанно бормоча: «сейчас, сейчас», он разделся, неуклюже боком скользнул под одеяло, и теплое тело тут же прильнуло к нему. И он скованно гладил это доверчивое, покорное тело, а в голове надоедливо и упорно вертелось: «Она младше моей дочери. Она младше моей дочери».

В этих словах заключалась пропасть, разрыв между временными пластами, который он преодолеть никак не мог: чувство, что он держит в объятиях собственную дочь, опустошало Иваненкова, делало его робким и неуклюжим, и он, лихорадочно бормоча что-то необязательное, все больше и больше ощущал, как нарастает в нем угнетающее мужское бессилие.

— Я теряю голову, я становлюсь неумелым мальчишкой,— суетно и ненужно шептал Владимир Петрович.— Ты — мое чудо, мое счастье, мой хрустальный кубок бессмертия, который так страшно поднести к губам...

Марина молчала, упорно, со странной настойчивостью и силой продолжая уже не просто льнуть к нему, а словно стремясь ворваться в него, раствориться и исчезнуть. А он все бормотал и бормотал, боясь шевельнуться, и почему-то с редким для него упорством думал о собственной дочери.

В это время его дочь говорила. Она съежилась в уголке тахты, сбросив туфли и прикрыв ноги полой халата. В спокойно освещенной комнате приглушенно звучал магнитофон, напротив тахты в кресле сидела мать, и больше во всей квартире не было ни души.

— Женщине труднее, мама. Она имеет право иногда потерять голову, но до чего же сложно правильно просчитать это «иногда».

— Ты мудрствуешь со мной,— устало сказала Лариса Алексеевна, закурив сигарету.— И мудрствуешь уже третий час. Не вижу цели, Мария.

— Хочу быть умной. Или хотя бы показаться тебе таковой.

В ответе звучала нотка юной дерзости, но мать предпочла оставить ее без внимания. Но и спускать что бы то ни было она не привыкла, и поэтому уточнила:

— Умной женщиной или умной личностью?

— То есть? — помолчав, спросила Мария.— Извини, я не совсем усекла твой парадокс.

— А здесь нет никакого парадокса. Видишь ли, умная личность и умная женщина — понятия отнюдь не идентичные. И весьма часто умная личность оказывается глупой женщиной.

— Ты имеешь в виду теоретическую посылку или опираешься на известный тебе опыт?

«Да, это — моя дочь»,— подумала ученая мать, не испытав при этом открытии ни малейшей радости. И сказала:

— Я опираюсь на собственный опыт.

— Даже? — Маша замедленно улыбнулась и потянулась к столику.— Занятно. Ты позволишь мне закурить?

— Разве ты куришь?

— Подобное признание требует современного осмысления, мама.— Дочь умело обращалась с сигаретами, с зажигалкой, но мать почему-то была убеждена, что Мария не

курит, а лишь бравирует, как и большинство ее сверстниц.— Ты не любишь отца?

— Любит — не любит, это ведь детские игры, Мария. Ты скорее рассудочна, чем эмоциональна, и поэтому давай говорить на разумной основе.

Мать сказала это суше и строже, чем хотела, потому что не знала ответа на прямо поставленный вопрос. Не знала прежде всего для себя (для Марии ответ был наготове) и боялась, что разумная дочь легко расшифрует ее неуверенность. Следовало отвечать так, чтобы продемонстрировать уверенность хотя бы в тоне ответа.

— Ты заметила, сколь часто в нашем обиходе употребляется это самое «любит — не любит»? Мы бесконечно, надоедливо, неискренне и чересчур громко толкуем о любви к школе, к родному заводу, к профессии и увлечениям, к цветочкам и дойным коровам — ко всему, с чем только можно проглотить это тошнотворно приторное бабское словечко. Любовь превратилась в гарнир к любому блюду, она девальвировалась, спуталась в нашем сознании с понятиями, абсолютно чуждыми любви, стала словесным штампом и...— мать поймала себя на том, что она говорит слишком уж общо, будто выступает перед сотрудниками, и неожиданно круто изменила тон.— Скажи мне — не матери, а женщине! — ты, ты лично веришь мужчине, когда он говорит тебе о любви?

— Мужчине — верю.

Мария сказала так, что мать сразу почувствовала, сколь усиленно подчеркнуто само определение «мужчина». Оно активно противополагалось чему-то иному, о чем не говорилось, но что подразумевалось.

— Могу ли я из сказанного сделать вывод, что ровеснику ты не поверишь?

— А ровесник так и не скажет. Ты права: это слово дискредитировано и опошлено ежедневными всенародными употреблениями всуе. Оно превратилось в значок, мама. Даже не в знак чего-то, а в копеечный значок из табачного киоска, свидетельствующий чаще всего не о твоем чувстве, а о степени твоей верноподанности: ах, как я люблю родную деревню, родной причал, родной молоток и чуть ли не родной нужник. И поэтому наши ровесники, спасаясь от всесветской пошлятины, ударились в другую крайность: они вообще исключили слово «люблю» из своего лексикона. Они говорят: «ты мне нравишься» или «мы с тобой, пожалуй, подходим друг другу». Они говорят: «ай лав'ю, май бэби» или «девочка, давай повстречаемся». Они говорят и более откровенно, но я пощажу твои уши. Нам трудно с ро-

весниками, мама, и мы куда чаще играем роли, чем искренне разговариваем. Это не очень веселое занятие, но что же делать?

— У тебя — не ровесник,— Лариса Алексеевна констатировала, а не спрашивала.— У тебя — взрослый мужчина.

— У меня никого,— дочь насильственно усмехнулась.— Ты слепила меня по собственному образцу, а кто-то — моя бабка, по всей видимости — лепил тебя по образцу умозрительному, почерпнутому из бебелевской «Женщина и социализм». Как бы там ни было, а из нашего нутра выкорчевывали святую истину, что женщина... в некоторых обстоятельствах, скажем так, обязана быть рабою мужчины. Любимой, но — рабою. Забвение этого принципа смещает естественные чувства и в результате коверкает их. И возникают крайности: либо спи, с кем придется, либо идиотская боязнь близости. У меня — второй вариант, наверно, поэтому я и затеяла этот разговор.

— Разговор затеяла я,— профессор Лебедева не только привыкла ставить точки над «и», но и оставлять за собою последнее слово.— То, в чем ты призналась, трагедия, Маша.

— Я пока этого не ощущаю.

— Ощутишь, если не влюбишься. Любовь — самое дорогое, что дается человеку в жизни. Разумеется, я не имею в виду идиллическую любовь к трем березкам или двум осинкам. Но ты права: к сожалению, мы существуем в порядком-таки искривленном нравственном пространстве.— Мать поднялась, постояла немного, раздумывая, стоит ли говорить то, что считала нужным сказать.— Относительно отца. Точнее, наших отношений. Вероятно, наша любовь не состоялась, но при том общественном положении, которое я занимаю, о разводе не может быть и речи. Наверху не любят разводов, а все мы, как тебе известно, живем под крышей.

И вышла. А Маша вдруг подумала об отце и почему-то подумала с грустью.

В это время Владимир Петрович еще не спал, а девушка, которую он бережно, умиляясь от собственной нежности, держал в объятиях, спала или делала вид, что спит. Он не нашел мужества распорядиться предложенным ему даром, сумел удержаться на грани, придавить все желания и сейчас испытывал почти приятное чувство победы. Почти потому, что очень боялся утром наткнуться на насмешливый взгляд Марины, которой он дал все основания заподозрить его в элементарном бессилии.

4

Владимир Петрович уснул уже под утро. Уснул вдруг, как провалился, не ощущая более столь тревожившее его теплое тело спящей девушки. И проснулся вдруг, внезапно, и не потому, что зашевелилась Марина, а потому, что в нем самом словно бы отдернулся некий занавес. Сон мигом пропал, и в удивительно, даже тревожно ясной голове одновременно возникли две мысли. Он и не предполагал, что человек способен думать сразу о двух различных вещах, но это случилось: он думал. Думал о том, как же должна презирать его Марина после этой безвольной ночи, и о том, как правильно он поступил, не воспользовавшись ее доверием. Мысли эти не исключали друг друга, но рождали печаль в душе его, печаль и боязнь одновременно: он грустил, что теперь Марина неминуемо уйдет из его жизни, и боялся открыть глаза и встретить — в упор — ее презрительный взгляд. И поэтому лежал, не решаясь шелохнуться, хотя уже мучительно ныла занемевшая рука. Ныла, как зуб, да еще и отдавала в плечо, но он терпел и прикидывался спящим.

Не открывая глаз, Иваненков понял, что Марина тоже проснулась, чувствовал, что она смотрит на него, и очень боялся, что невольно пошевелит ресницами под этим взглядом. Но девушка осторожно, стараясь не будить его, поднялась и, взяв со стула одежду, на цыпочках выскользнула в другую комнату. А он сразу же убрал ноющую руку под одеяло и начал судорожно растирать ее, не открывая глаз. «Хорош супермен,— с невеселой иронией думал он.— Струсил, смалодушничал, обманул девичьи надежды. Подонок ты, Иваненков...»

Тут он замер, перестав не только массировать руку, но и на всякий случай думать, услышав, что Марина вернулась в спальню. Постояла, глядя на него, а затем тихо присела на краешек кровати. Владимир Петрович обмер, сердце неистово заколотилось: Марина нежно коснулась его губ своими и шепнула:

— Вставайте, сир, вас ждут великие дела.

Он открыл глаза, похлопал веками, постарался улыбнуться:

— Здравствуй.

Она вдруг приникла к нему, осыпав лицо волосами:

— Вы поразительный, слышите? Таких деликатных, таких тонких людей больше на свете нет. Я не просто люблю вас — я вас обожаю.

— Ты рискуешь меня разбаловать, девочка.

С каждым мгновением Иваненков обретал прежнюю самоуверенность, и торжественные фанфары уже гремели в его душе. То, что он не без оснований полагал малодушием, даже трусостью, Марина восприняла, как проявление величайшей заботы и нежности.

— Ты прекрасна,— с долей пафоса сказал он.— Я всю ночь держал в объятиях солнышко.

Марина неожиданно покраснела. Что вспомнила она при его словах, какие мысли, опасения или надежды? «Глупый ребенок,— с искренней нежностью подумал Иваненков.— Разыгрывает перед родителями бывалую секс-бомбу, а на деле — ребенок как ребенок. Почему все в масках, даже наши дети? Откуда этот безумный, беспрерывный и безнравственный карнавал, где все — ряженые, и все пляшут под чужие дудки?..» И сказал:

— Яичницу, крепкий кофе и по глотку виски. Ты умеешь жарить яичницу?

Она молча приникла к нему, коснулась пушистой щекой его суточной щетины и вышла. А Владимир Петрович смотрел, как она шла к дверям, и думал, что о такой красивой женщине он даже и не смел мечтать.

Потом они завтракали на кухне, и у него хватило соображения понять, как важен этот завтрак для нее. Нет, это была не просто еда, не утоление голода, не поджаренная ею яичница, и поданный ею кофе: это был символ чего-то чрезвычайно важного, корни которого уходили в пласты тысячелетий, и что не исчерпывалось понятием «семья». Священный ритуал, связывающий мужчину и женщину куда более прочными нитями, нежели простое утоление страсти. Нити взаимного тяготения здесь становились ощутимыми и вполне реальными: Марина впервые в своей короткой жизни кормила мужчину, смотрела, как он ест, понимала, что любит его, и ощущала при этом великую радость, великую нежность и великое счастье одновременно. «Каждый день кормить его завтраком,— думала она,— и больше мне ничего не надо. Ничегошеньки. Как же это, оказывается, просто: любить человека...»

— А все играют,— сказала она, вслух отвечая на свои мысли.— Не знаю, может быть, как в кино или вообще принято так. Мальчишки изо всех сил изображают страсть, а девочки — секс. И тоже изо всех сил. А зачем? Зачем вся эта игра, если есть...

— И ты тоже изображала?

— И я тоже,— она нисколько не смутилась: уже не существовало ничего, чем он мог бы смутить ее, потому что Марина поняла собственную любовь, и рядом с нею все

показалось мелким и незначительным.— Дети ощущают игру куда тольше взрослых, а потом привыкают к ней, и понимание исчезает, заменясь другим. Это как молочные зубы, понимаете?

— Говори мне «ты».

— Может быть,— Марина почему-то покраснела и смущенно заулыбалась.— Может быть, попробую.

— А почему бы тебе не выпить? Тебе не нравится виски? Это настоящий напиток, так сказать, «мейд ин Юнайтед Стейтс оф Америка».

— Нет, мне нравится, но я сегодня не хочу ни пить, ни курить. Я не знаю, почему не хочу. Может быть потому, что мне хорошо?

— А тебе хорошо?

Марина не ответила и опять улыбнулась. Она вообще улыбалась все утро, но так, что вроде бы жила с улыбкой, а порою что-то чуть менялось в ней, и тогда эта улыбка возникала как бы сама собою, выступая на первый план. Владимир Петрович отлично понимал, что творится сейчас в ее душе, но жаждал признания из чисто мужского тщеславия.

— Знаете, когда человек теряет свои детские молочные зубы, он начинает не доверять. Он включается во взрослую игру с другими правилами, и на всякий случай сразу же становится подозрительным. А потом привыкает к этой подозрительности. Это странно все, правда? В детстве ребенок был доверчивым, а потом превратился в недоверчивого.

— Ну, не все же, наверно.

— Может быть мне просто не везло, но... Мы с девочками проделали один опыт: под Новый год — вот под этот, который уже проходит,— накупили елочных игрушек и стали их дарить прохожим. Все шарахались от нас, никто не брал, представляете? Все взрослые, я имею в виду: дети, конечно, брали. У них еще не выпали молочные зубы, вот, что я открыла тогда. А у взрослых уже выросли клыки.

— Ты любишь ставить опыты, Мариша. То с вареньем, то с игрушками. А у взрослых жизнь полна таких забот, о которых ты и не догадываешься. Забот, хлопот, ответственности, беспокойства.

— И все это — в обмен на доверчивость?

Сегодня Марина была иной: мягкой, ласковой, доброй. Она уже не возмущалась матерью, не сердилась на отца, но недовольство миром взрослых существовало в ней, по-видимому, постоянно. И постоянно беспокоило ее; родители были всего лишь наиболее известными ей примерами выстроенной ею же концепции.

— Золотой век — это не детство человечества, а детство человека,— она выражала мысль чрезвычайно категорично.— Но Золотой век детства сменяется Железным веком взрослых дяденек и тетенек, и это не переход одного в другое, а два абсолютно различных мира. Два антипода: мир искренности и мир неискренности, доверия и недоверия, правды и фальши. Но главное, мир взрослых — это мир постоянного притворства.

Ей хотелось говорить. Он не понимал, почему именно сегодня возникло у нее такое желание, но чувствовал его и старался не мешать. Слушал, хотя его порою царапала заученность ее формулировок, но ничего Марина не заучивала, а говорила именно так от большого старания. Ей казалось, что только так и следует говорить с человеком, который не просто старше ее, но умнее и опытнее, который повидал мир и людей и, вероятно, знает все или почти все. Она говорила то, что ее тревожило, но не своими словами, а словами «для него». И очень старалась.

— Наше поколение мечется потому, что мы посерединке. Мы между детством и взрослыми, и нам видно и то, и другое. И мы невольно сравниваем, и эти сравнения не всегда в пользу взрослых.

— Вы — сердитое поколение.

— Да, сердитое! — тотчас откликнулась Марина, хотя Иваненков уже пожалел о многозначительности произнесенной банальности.— Почему взрослые считают, что их детство — идеально, их юность — идеальна, и что сами они — тоже идеальны? Почему все вы... Ну, хорошо, не все, но многие, очень многие судите о нас только по прямой аналогии: похожи, значит, хорошие; не похожи, значит, плохие? Это же примитив, но посмотрите наши фильмы, как строго он в них соблюдается. Положительный герой просто-напросто юный старик или юная старуха, ведь так, ведь так же! И не только на экране — в журналах, плакатах, газетах, на телевидении — везде и всюду один и тот же внешне молодой, а изнутри дремуче дряхлый молодец. А почему вы улыбаетесь?

— А я подумал, что так ты, вероятно, споришь со своими родителями.

Марина сердито замолчала и почему-то даже чуть зарозовела.

Владимир Петрович понял, что угадал, и что эта его прозорливость смутила и озадачила ее: в пылу спора она невольно поставила на одну доску его с отцом и матерью. И пояснил как можно добродушнее:

— Человек с трудом расстается со своими привычками.

А с возрастом они скапливаются в нем больше нормы, что ли, и вы, молодые и прекрасные, начинаете замечать, что на каждом из нас висят гроздья перезревших правил. У кого — кандалами, у кого — елочными гирляндами, а у кого и веригами. Ты знаешь, что такое вериги? Цепи, которые таскали на голом теле для умерщвления плоти.

— В этом вы преуспели.

Сказала она эту фразу или ему показалось? Иваненков не сразу сообразил, потому что Марина неожиданно встала и вышла из кухни. Поспешность была сродни бегству, и Владимир Петрович не столько догадался, сколько почувствовал, что ему не следует тотчас же бежать за нею. Выкурил сигарету, вымыл посуду — благо, в чайнике еще оставалась горячая вода — и только после этого отправился на поиски.

— Мариша!

В большой комнате девушки не оказалось. Иваненков заглянул в светелку, в прихожую, даже в туалет: Марины нигде не было. Тогда он прошел к закрытой двери спаленки, в которой провел сегодня почти бессонную ночь, подумал то ли со страхом, то ли с великой надеждой: «Неужели?..» и тихо открыл дверь.

Но и там было пусто, и он поначалу растерялся. А потом увидел на аккуратно застланной кровати исписанный листок бумаги:

«Удивительный мой человек!»

Бегу, пока окончательно не лишилась головы. А Вас умоляю отдохнуть: ведь Вам сегодня ехать за рулем.

Буду мечтать, сиять от счастья и ждать Вашего звонка. Ждать, ждать, ждать — слышите? Это стучит мое сердце.

Пароль тот же: Рыжая Роза Миссисипи.

А ночью я тоже не спала. Я шептала:

Влюбилась женщина!
Сожгите все стихи,
Пишите заново романы и поэмы.
Влюбилась женщина!
Простите ей грехи:
Нет в жизни аксиом.
Есть только теоремы.

Почему есть только теоремы, этого я не знаю. Может быть, просто для рифмы, а может быть, здесь что-то спрятано важное. И даже очень и очень.

Я протянула Вам яблоко, а Вы его не взяли, и мы остались — остались, слышите? — в раю. Разве одно это не превращает все на свете аксиомы в теоремы, которые каждая женщина доказывает себе заново? Или нет, это жизнь ей доказывает! Я запуталась, да? Это от счастья.

Да здравствует оно, наше счастье, всегда и навсегда!

Ваша с этой сказочной ночи — и тоже навсегда

РРМ

P.S. Можете расшифровать эти три буквы, как «Рыжая Роза Миссисипи», но лучше — «РАДОСТНАЯ РАБЫНЯ МАРИША».

Жду-у-у!..»

Глава четвертая

1

Неделю Владимир Петрович жил с ощущением торжества. Это было нечто совершенно необычное, которое (как он подозревал) мог бы чувствовать победитель, но победитель великодушный, отпустивший на волю побежденных и раздаривший собственную добычу. Он впервые подумал, что хрестоматийный постулат, будто альтруист счастливее эгоиста — постулат, который он повторял при случае, но в который никогда не верил — не так уж нравоучителен и фальшив, что счастье обладания не всегда больше счастья одаривания, хотя бы потому, что первое куда более мимолетно, нежели второе. Он думал путанно и восторженно, а прежде не думал совсем, всего лишь только соображая, стремясь угадать или по крайней мере промолчать, дабы не попасть со своим мнением начальству не в лад. Теперь он об этом почему-то мало беспокоился, и свирепо-таежный его начальник оценил перемену одним из первых:

— А ты, Иваненков, трам-твои-тарарам, оказывается, мужик с характером. Это хорошо, паря, это сейчас, откровенно тебе скажу, в струю. Насчет Швеции не позабыл? Готовься, готовься, нам самостоятельно мыслящие позарез, как говорится. Двадцать лет спали, как медведи, с лапой в зубах, пора бы уж и поработать, как мыслишь?

— Давно пора. Не хуже некоторых.

— Точно сечешь. Хвалю.

А когда ненавистный ему Вячеслав Леонтьевич Карюхин по отработанной манере игриво ткнул в живот пальцем, сказал какую-то очередную глупую шутку, Иваненков вопреки обыкновению не захихикал, а ответил негромко и взвешенно:

— А ведь ты — дурачок, Славочка. Что, папа вглухую пил или мама с печки уронила?

Прилюдно сказанные Владимиром Петровичем слова казались Вячеславу особенно обидными потому, что соответ-

ствовали истине. Шумный, громоздкий и громкий любимец дам в возрасте точно знал собственный потолок, но привычно завышал его, выбрав раз и навсегда именно эту маску. Пока рядом существовал этакий олень рогатый вроде Иваненкова, Карюхин мог упиваться своим превосходством, но Владимир Петрович вдруг сменил амплуа. Управленческий недотепа и обманутый супруг неожиданно обнажил клыки.

— Слушай, Вовчик, скажи своей благоверной...

— Тебе нужно? Кому нужно, тот и делает.

— Я насчет гаража...

— Я тоже насчет.

Да, Иваненков явно стал иным, научился дерзить и уходить первым. Озадаченный сердцеед решился на крайний шаг, начав звонить домой, хотя ему категорически запрещалась такая инициатива.

Как раз в ту неделю профессор Лебедева проводила вечерний семинар, возвращалась поздно; вместо нее трубку брал Владимир Петрович, приветливо говорил: «Алло!» и с тайным злорадством слушал частые гудки. Он представлял, как выходит из себя Карюхин, и что он наговорит при встрече его жене. Прежде ему вполне хватило бы этого, но после того, как он прошел искус, после поселившегося в нем ощущения победного торжества, одного злорадства было уже недостаточно. Он почувствовал вдруг острую потребность поставить на место воспарившую супругу. «В доме должен быть мужчина, а не тюфяк»,— он всегда помнил об этих словах собственной дочери.

— Твои родители запутались,— сказал он.

— И что же я должна делать?

— Снять трубку и назваться мамой: у вас одинаковые голоса. И спросить, куда тебе прийти.

— А это не похоже на подлость?

— Это — розыгрыш, не более того: не надо ничего усложнять. Тот тип примчится, а никто не придет, и он останется в дураках.

— Нет уж, папочка. Если играть в ваши игры, то — до конца, а то в дураках останусь я.

Иваненков не успел выяснить, что Маша имела в виду, сказав о своем нежелании оставаться в дураках. Зазвонил телефон, дочь тут же схватила трубку, буркнув с материнской, чуточку раздраженной интонацией:

— Слушаю вас.

Владимир Петрович слышал только то, что отвечала Мария. Слышал и поражался, с какой злой готовностью она играет роль собственной матери, мгновенно сообразив, что разговаривает с ее любовником. Говорила коротко, на-

пористо, от чего-то отказывалась, на чем-то настаивала. Потом положила трубку, молча посидела, хмурясь и размышляя. Прошла в свою комнату, вернулась с сигаретой и демонстративно уселась перед отцом.

— В нашей стране вместо полиции нравов отцы используют собственных дочерей. Весьма морально, неправда ли?

— Я полагал, мы вместе посмеемся...

— Смеяться мы будем, когда я вернусь после свидания с обладателем бархатного баритона. Как, кстати, его зовут?

— Это ни к чему. Он просто увидит, что ошибся, и... И будет смешно.

— А если я решу переспать с любовником своей матери, как мне его называть? Папочкой?

В ее голосе слышались слезы, ненависть, обида. Иваненков никак не мог предполагать, что его шуточка способна привести к такому результату. Испугался, забормотал что-то, захихикал. «Если заплачет, то все в порядке,— смятенно думал он.— Господи, хотя бы заплакала, хотя бы заплакала...»

— Не суетись,— со взрослой горечью сказала взрослая дочь.— Боже мой, за что нам этот потоп лжи и неискренности? Отцы лгут детям, дети — отцам, и все вместе — всем вместе. Три копейки выгоды на затраченный рубль — вот и вся наша мораль. Ура, отец, ура.

Кинула недокуренную сигарету в пепельницу, пошла в переднюю. Иваненков почему-то сначала старательно загасил сигарету, и только после этого крикнул запоздало:

— Ты куда, Маша?

— На карнавал. Ты же сам просил меня надеть маску твоей жены.

И вышла. Владимир Петрович ощутил нечто вроде кислятины в душе своей, подумал, что выглядел провокатором, что получил по заслугам, но такие мысли обижали, и он постарался от них отделаться. И вместо них стал усиленно внушать себе, что поступил правильно, что открыл глаза взрослой дочери на некрасивые поступки матери, что... Но и это почему-то не утешало сегодня: что бы он ни внушал себе, ему никак не удавалось прогнать четкую картину, реальную, как фотография: внутренность собственного домика, который он получил по наследству, и собственную дочь и объятиях Вячеслава Карюхина. Видение было мучительным и неотвязным, и чтобы хоть как-то разрушить его, он набрал загородный номер.

— Я прошу влюбленную женщину, оставшуюся в раю. Шифр РРМ.

В ответ счастливо рассмеялись.

— Здравствуйте, Вера-Надежда-Любовь.

— Я что делаю? Я воспитываю своих родителей.

— Целую тебя нежно, дорогая. И очень жду встречи. Ты все поняла? Целую! — успел крикнуть Иваненков, и в трубке раздались короткие гудки.

2

В негодовании выбежав из квартиры, Маша не только сдержала слезы, но и довольно быстро успокоилась. Не только потому, что была вообще спокойной и уравновешенной, но главным образом потому, что не сочла для себя возможной ту роль, на которую ее подтолкнул отец. Она не желала ни шпионить за собственной матерью, ни тем более выяснять, как выглядит человек, вкрадчивым голосом пригласивший ее на свидание. И поэтому вместо указанного ей адреса помчалась совсем в иную сторону: к подруге, с которой не только слушала модные диски, но и любила обсуждать разные проблемы. Кстати, если бы она не сделала этого, ее ожидало известное разочарование: как ни похожи были голоса матери и дочери, Вячеслав без особого труда уловил разницу, понял, что его намереваются разыграть, назвал не свой адрес и теперь очень хотел проверить, кто же явится на его зов. Никто однако не явился, Карюхин зря проторчал час на улице, но отныне в душе его поселилось некое сомнение: он расшифровал случившееся, как знак того, что надоел Ларисе, что ученая дама намеревается сделать их связь посмешищем, и что ему самое время с достоинством отчаливать из этой гавани. Лопуха мужа он в расчет не брал, поскольку и вообразить-то не мог, что его бесхребетный угодливый сослуживец способен на подобную выходку.

Но таковы были последствия, а когда Маша поспешила к подружке, которую все почему-то звали только полным именем: Софья. И пока Карюхин торчал в засаде, Маша и Софья сидели в полутемной комнате на широченной тахте, пили легкое вино, курили и перебрасывались фразами. Приглушенно играла музыка, но они не слушали не только ее, но и друг друга; они слушали сами себя, потому что именно в них звучало сейчас самое заветное и самое важное.

— Женщину легко обмануть,— говорила Софья, глядя черными грустными глазами куда-то в даль неведомую.— Да, мы хитры, изворотливы, практичны, легче мужчин ориентируемся в обстановке, в процентном отношении дряни среди нас больше — все так. Все так, и все же мы оказы-

ваемся самым уязвимым звеном человечества, потому что хотим верить. И это хотение не разума, это хотение самой сути нашей, самой природы, от которой мы никогда не сможем отделить себя, ибо связаны с нею нерасторжимо. Едва шагнув из детства, мы тратим бездну сил на то, чтобы скрывать свои страдания. Физические, нравственные, психологические — да какие угодно! Ситуации меняются в мире со сказочной быстротой, а мы обречены притворяться, что все в порядке, что мы всегда здоровы, всегда обаятельны, всегда веселы и всегда готовы не замечать тяжеловесных мужских пошлостей. Всегда, понимаешь? Это — закон, а ты называешь его карнавалом. Да этот карнавал запрограммирован, Машка!

— Нет, не этот. Тот, который имею в виду я, есть карнавал потери ориентации. Абсолютной потери ориентации: кто есть кто, где есть я, куда, что, зачем? Миллион вопросов, которые сначала вызывают веселье, а потом приводят к отчаянию.

— К равнодушию.

— К отчаянию равнодушия, если хочешь. Ты говоришь, мы обречены на обман, потому что вынуждены от рождения до смерти играть роль «все — о'кей»? Хорошо, мы будем играть, пожалуйста: наша игра освящена обществом и вполне официально называется кокетством. Но зачем же играть самому этому обществу? Ты знаешь ответ, Софья?

— Ответ: «Наплевать на все».

— Я тоже так думала, пока меня однажды не осенило. Да, мы изо всех сил твердим: «Наплевать на все», пока сидим на скамейке запасных, понимаешь? Но как только тренеры выпускают нас на площадку, мы начинаем играть исходя из совершенно иных посылок. Это наши игры проходят под девизом «наплевать на все», а игры взрослого мира имеют иной девиз «что прикажете», или, если хочешь, «чего изволите». Перевыполнить какой-нибудь план? Пожалуйста, раз-два, взяли. И никто не спросит, а зачем его, собственно, перевыполнять? Зачем шить тысячу пар сапог вместо запланированной сотни, если и из этой сотни не купит пару ни одна здравомыслящая женщина? Зачем делать хотя бы на один болт больше нормы, если к этому болту нет гайки? Зачем вырабатывать лишнюю электроэнергию, если той, которую должны выработать по плану, вполне хватает на все моторы и на все лампочки? Но ведь все изо всех сил... вру, совсем не изо всех сил, а кое-как, это точнее... перевыполняют, соревнуются, рапортуют: вот, откуда расползается ложь изначальная, а совсем не потому, что женщина осталась связующим звеном между человече-

ством и природой на все прошедшие, настоящие и будущие времена.

— Любопытно, кто же тебе успел растолковать эту истину?

— Все истины, как известно, растолковывают нам мужчины.

— Так,— Софья насмешливо улыбнулась.— Наша Маша, наконец-то, обзавелась учителем.

— Зачем он нам, Софья? — невесело вздохнула Мария.— Самое противное ощущение, что ты умнее их.

— Кого — их?

— Наших сверстников мужского пола.

— Но мы всегда были умнее их. Представляешь, что было бы с человечеством, если бы у женщин однажды не хватило мудрости, терпения, выдержки и чисто практической сметки?

— Ты права, но раньше мы прикидывались дурами, и все были довольны. А теперь приходится прикидываться умными, а это куда сложнее.

Обе радостно засмеялись, потому что были веселыми и молодыми, но смутное, порою даже тревожное чувство неудовлетворенности проникало и в них. И тогда начинались мудрствования, хотя каждая мечтала отнюдь не об идеальном обществе завтрашнего дня, а о сегодняшнем парне, который ждал бы в условленном месте в условленный час. Но мальчиков у девочек пока еще не было: они пока еще с относительным терпением сидели на скамейках для запасных. И они уже не ожидали выбора: они ждали просто свистка. Девушкам не дано ждать. Искусством ждать и верить наделены только женщины.

3

Больше всего Иваненков боялся объяснении с женой. Собственно, даже и не объяснений, а разговоров, в которых ему приходилось либо называть черное белым, либо что-то скрывать. Это требовало особой сообразительности, но поскольку Владимир Петрович изначально был убежден, что жена видит, знает и понимает его насквозь, то и лгал неубедительно, и смеялся ненатурально. Он настолько привык проигрывать своей Ларисе, что долго не решался сказать, что намеревается и в эту пятницу уехать на собственную дачу. Он мучительно искал предлог, но остановился на самом неубедительном; Лариса Алексеевна молча выслушала его сбивчивый лепет и решила:

— Ну и чудесно, поедем вместе. У меня наконец-то два свободных дня.

Он не нашелся, что ответить: он всегда запаздывал с ответами и мог лишь прохихикать, выигрывая время. Прохихикал он и на сей раз, хотя ему было совсем не до смеха. И не столько потому, что Владимир Петрович уже настроился на свидание, сколько из-за неминуемого, обязательного столкновения Ларисы Алексеевны с Маришей. Конечно, профессор Лебедева едва ли удостоит вниманием какую-то девчонку, но эта девчонка непременно и притом самым тщательным образом изучит и его жену, и его интонации, и всю сущность их отношений, которую нельзя ни скрыть, ни переиграть по-новому. Вот, что приводило его почти в ужас, вот чего он никак не мог допустить, но как не допустить, не знал. И похихикав, с готовностью согласился, стремясь только выиграть время. Он не представлял себе, что может придумать, но был твердо, абсолютно твердо убежден, что ничего не придумать просто не имеет права.

— Да! — воскликнул он, картинно хлопнув себя по лбу.— Тебе же насчет гаража звонили. Этот, как его... ну, Карюхин у нас этим вопросом занимается. Просил, чтобы ты непременно в субботу...

Уже начав лгать, он с ужасом сообразил, что ухватился не за ту ложь, что имя Карюхина скорее отпугнет Ларису, чем заманит, что...

— И еще раз чудесно,— жена весьма бесцеремонно прервала его.— Значит, в субботу выезжаем. Будет прекрасно, если и Маша сумеет поехать с нами.

«Господи, только не это, господи, этого еще не хватало...» — почти с отчаянием подумал он, но тут у Владимира Петровича достало соображения заговорить о другом. О домике, природе, начале зимы, первом снеге и первых морозах.

— И к Лопатиным заедем,— сказал он.— Обязательно, они давно жаждут познакомиться с тобой.

Самое ужасное заключалось в том, что Владимир Петрович никак не мог заранее предупредить Марину. Разговор с женой состоялся в пятницу, он был лишен возможности звонить из дома, а единственный шанс позвонить по автомату ничего не дал, поскольку трубку брал то Илья Трофимович, то Любовь Андреевна. В субботу с утра зарядил дождь. Маша, раскапризничавшись, отказалась рано вставать и вообще куда-то ехать, и Иваненков тихо возрадовался. Но, как выяснилось, возрадовался он преждевременно.

— Ты как хочешь, а мы с отцом поедем,— сказала

Лариса Алексеевна.— Последние дни осени на даче — почти романтика.

От неминуемого уже свидания жены с Мариной Владимир Петрович впал в некую отчаянную апатию. Он с автоматической аккуратностью вел машину, поддерживал разговор, но при этом не видел дороги и не слышал, о чем собственно говорит его благоверная. Шел нескончаемый нудный осенний дождь, перед глазами мотались «дворники», в салоне было жарко, потому что по приказу жены он включил отопление, хотя всегда предпочитал прохладу. Все сегодня оказалось против него, и притерпеться к этому было просто невозможно, потому что впереди маячила неминуемая встреча законной супруги и девочки, звонко и открыто влюбленной в него. «Нет, не могу. Больше не могу,— почти прокричал про себя Иваненков, увидев впереди бензоколонку.— Должен же быть у них телефон, должен...» И решительно свернул к заправке.

— Разве нам не хватит бензина? — Лебедева водила машину и разбиралась в показаниях приборов на щитке.

— Стучит,— невразумительно пояснил он.— Не вылезай, сильный дождь. И грязно. Я сейчас.

— Что стучит? — с некоторым раздражением спросила она, но поскольку Владимир Петрович не знал, что ответить, то поторопился выскочить без всякого ответа.— Постарайся не задерживаться по крайней мере!

Расчет оказался верным едва ли не впервые в жизни: в такой дождь никакой женщине не придет в голову вылезать из машины без крайней надобности. Лебедева осталась, а Иваненков ринулся не к окошку, а к дверям. Его долго не хотели пускать, но он все же уговорил, упросил, умолил подозрительную хозяйку бензоколонки.

— Один звонок. Умоляю. Важнее жизни.

— Ладно уж, важнее жизни. Скажете тоже. Только недолго.

— Два слова...

Он схватил трубку, лихорадочно набрал номер. В замутненное дождем окно он видел собственную машину с собственной женой, но думал не о том, услышат ли в «Волге» его голос, а о том, кто ему ответит, и что сказать, если трубку возьмет не Марина.

Нет, ему решительно не везло в тот день: трубку взяла сама директриса. Он не был готов к разговору с нею, но кое-как прокричал, что едет с женой, только потом сообразив, какой переполох вызвало это в доме Лопатиных, где имя профессора Лебедевой произносилось с пафосным пиететом. Но именно пиетет и сыграл решающую роль:

гостья была столь важной, что Любовь Андреевне срочно пришлось включать весь дом в подготовку к приему. Скорее прочувствовав это, нежели просчитав, Владимир Петрович восторженно поблагодарил женщину, разрешившую ему позвонить, и с той же восторженностью поспешил в машину. Сел за руль и тотчас же сорвался с места, даже, кажется, мурлыча под нос нечто бравурное.

— Стучать перестало? — спросила жена, когда они уже отъехали от колонки порядочный кусок.

— Стучать? — он уже забыл, о каком стуке шла речь.— Да, конечно. Пустяки. Паника частника.

— Это тебе разъяснила женщина, продающая бензин?

— Почему? — Иваненков растерялся.— Там этот... дежурный механик.

— Которому ты звонил?

— Я? Я не звонил, я...

— Ладно, не суетись,— брезгливо оборвала Лебедева.— Предупреждал, что не сможешь заехать, поскольку стерважена приказала править в другую сторону?

— Ну что ты, Ларочка. Я ведь...

— Имей хоть мужество.

Она видела, как он рванулся к телефону: да, да, там же застекленная стена, а в помещении горел свет, и все было, как на сцене. Этого он тогда не сообразил, зато сейчас ясно понял, что супруга абсолютно не догадывается о цели его звонка. И это подействовало на него не просто успокоительно, а даже влило некоторое мужество:

— Ты — первоклассный детектив,— улыбнулся он.— Я звонил Илье Лопатину, что весьма просто проверить у него. А звонил потому, что люди они кондово-провинциальные и экспромтов не любят. И сейчас готовят прием не кому-нибудь, а самой Ларисе Лебедевой. Гордости нашей области и всей страны, как выразилась Любовь Андреевна, когда я заезжал к ним в прошлый раз.

Это был миг его торжества: Владимир Петрович ни за что более не беспокоился, поскольку не только Марина, но и собственная супруга оказались своевременно подготовленными к встрече как бы само собой, без всяких ухищрений с его стороны.

4

Все обошлось, как нельзя лучше: ослепленные видом самой Лебедевой супруги Лопатины не скрывали своего умилительного восторга. А Илья Трофимович, улучив

минутку, от чистого сердца обнял Иваненкова, проникновенно прошептав:

— Ты молодчага, Горлан. Для моей Любови Андреевны это такой подарок, такой подарок!

Лопатины тоже ответили ему подарком, не подозревая, правда, об этом: Марины не было. То ли она сама ушла из дома, то ли ее спровадили, а только Владимир Петрович ощутил такое огромное, такое радостное облегчение, что чуть было не пересолил с излишней оживленностью. Однако вовремя поймал предупреждающий взгляд жены, приглушил личные восторги, и начался вполне уравновешенный, вполне термостатически тепловатый семейный праздник, от которого часто хочется беспричинно выть, а чаще всего — просто напиться. Но выпивка хозяевами предусмотрена не была, поскольку они всю жизнь изо всех сил семенили впереди прогресса.

— Ведем непримиримую борьбу с пережитками...

— С отдельными пережитками,— весомо уточнила Любовь Андреевна.

— С отдельными пережитками случаев злоупотребления спиртным,— тотчас же подхватил Илья Трофимович, не заметив некоторой несуразности собственного выражения.— Во всем нашем Миловидове теперь остался единственный магазинчик, где торгуют этим проклятым зельем.

— А какова же очередь за этим проклятым?

— Знаешь, бездельников всегда хватает.

— Так, может, лучше весь пафос нашей борьбы обратить против бездельников, а не на организацию очередей и спекуляции спиртным? — спросил Иваненков.

Он не был пьяницей, но некоторый дух противоречия как-то уживался в нем рядышком с покорным супругом и верноподданным совслужащим. Этакий рудимент студенческого свободомыслия.

— Признаться, удивлена вами,— сегодня хозяйка была сама любезность, но кое-какие жесткие нотки порою прорывались сквозь все ее гостеприимное очарование.— Конечно, в областном центре по всей вероятности никогда не чувствовалось того дикого разгула, который ощущали мы у себя до исторического решения о всенародной борьбе с явлениями алкоголизма. Поверите ли, дорогая Лариса Алексеевна, мы не решались отпускать взрослую дочь на последний сеанс в кино!

— Еще бы,— усмехнулся Иваненков.— У вас же условно освобожденных больше, чем обычных граждан.

— Преувеличиваешь, Владимир Петрович, преувеличи-

ваешь,— заулыбался хозяин.— Условно освобожденные — это основная строительная сила нашей местной индустрии, а ведь и мы хотим в люди выйти. Конечно, некоторое, я бы сказал, излишнее напряжение ощущается, но все с лихвой окупается строительством нашего механического гиганта.

Разговоры велись для знаменитости, но профессор Лебедева в них как-то вообще не участвовала. Слушала, улыбалась или кивала, но мнений своих высказывать не торопилась, в лучшем случае отделывалась ничего не значащими фразами. Это был не ее круг, не ее интересы, не ее проблемы, а ко всему, что не вызывало азартного любопытства, Лариса Алексеевна относилась с полнейшим равнодушием.

— Да, безусловно. Да, конечно. Да, вы правы.

Хозяев однако нисколько не смущала такая сдержанная холодноватость знаменитости. По простоте душевной они относили эту холодность на счет особой рассеянности, присущей людям науки. Этот стереотип сложился под влиянием кинематографа и телевидения, усиленно пропагандирующих особую, почти мистическую значимость ученых, ежесекундно решающих невероятно сложные, а главное, невероятно насущные задачи. Как бы там ни было, а Лопатины даже умилялись суховатой сдержанности профессора Лебедевой, находя и в этом ее особую, ни с кем несравненную обаятельность.

Зато, почти не умолкая, говорил Иваненков. Он сразу понял, что хозяева не пришлись по вкусу его супруге, и обрадовался. Зная бескомпромиссный (естественно, там, где это допускалось обстоятельствами) характер своей Ларисы Алексеевны, Владимир Петрович на все сто процентов мог быть отныне уверенным, что профессор Лебедева никогда более не изъявит желания сопровождать его в поездках на дачу.

— С чем мы только не боролись, что не осуждали, каких только превосходных решений не принимали, а все — как в песок,— говорил он, изображая безграничное огорчение.— Мы воевали с прогулами и приписками, с воровством и разгильдяйством, с тунеядством и безответственностью и вообще со всем тем, что реально тормозит наше продвижение вперед, наш технический, социальный и культурный прогресс. Да с одним пьянством мы, насколько помню, уж в третий, что ли, раз выходим на бой, не так ли? А где же все гаснет, где стопорится, почему мы время от времени вынуждены заново принимать решения, которые однажды уже принимали? Я далек от этих проблем, я — инженер, но ты, Илья Трофимович, ты, стоящий у кормила в районном,

так сказать, масштабе, как ты объясняешь этот феномен исчезновений прекрасных, полезных и очень своевременных решений?

— Ты поставил серьезный вопрос, Владимир Петрович, весьма серьезный,— озабоченно вздохнул хозяин, не замечая, что даже в семейном кругу говорит не просто «задал вопрос», а — «поставил».— Но время настоятельно требует откровения и правды. Наступил момент всеобщего прозрения, момент истины, как прекрасно кто-то определил. И исходя из этого определения, я и отвечу тебе со всей искренностью, как того требует поставленный тобой вопрос.

Вопрос Иваненкова ровно ничего не требовал, и все это отлично понимали. Но игра «во времена откровения», «в момент истины» уже шла, и в нее играли шумно и совершенно серьезно не только за этим столом.

— Время прозрения! — С изрядной долей пафоса воскликнула Любовь Андреевна.— Мы переживаем не просто дни, мы переживаем эпоху.

— Мы переживаем за «Спартак»,— зло, но тихо, чтобы слышал только муж, проронила Лебедева.

— Что? — внимательно переспросил Лопатин и, не дождавшись ответа, продолжал.— Беда в том, что в нашем народе, едином как в смысле экономическом, так и в смысле социальном...

— Сплоченном,— подсказала супруга.

— Что?.. Да, и сплоченном вокруг, конечно же, сплоченном вокруг! — как-то испуганно спохватился Илья Трофимович, но отметившись этим возгласом по параграфу благонадежности, продолжал с еще более озабоченным, почти уже страдальческим выражением лица.— Искусственно созданное расслоение. Сверху и донизу — да, да, не побоимся же по-большевистски назвать вещи своими именами! — так сверху и донизу аппарат руководства подбирался не по деловым, а по земляческим и родственным признакам...

Голос поднаторевшего в трибунных речах Ильи Трофимовича журчал и переливался, никого не трогая, не задевая и, упаси бог, не называя. Все клубилось вокруг да около, окутывая слушателей дымовой завесой очередных штампованных фраз, и Владимир Петрович уже ничего не воспринимал, кроме этого убаюкивающего журчания. «Где же Мариша? — думал он, изредка кивая солидно и вполне утвердительно.— Убрали из дома, опасаясь задиристых дерзостей? Ушла сама, не желая видеть мою благоверную? Ах, Мариша, Мариша, хоть бы мельком увидеть тебя, хоть бы услышать, звоночек ты мой...»

— Не захрапи,— шепнула жена.

Иваненков вздрогнул, очнувшись от сладких дум. И сразу же вновь услышал самодовольное токование школьного друга, так и не заслужившего за десять лет учебы никакого иного прозвища, кроме безликого Конопатика.

— ...на новом этапе, на новом витке нашего общественного развития. Естественно, зоркое око партии проконтролирует основные руководящие кадры, но нам, районным вожакам масс, необходимо понять и оценить ту безграничную ответственность и то безграничное доверие, которое отныне возложено на весь наш советский народ...

«Господи, если не замолчит, и вправду захраплю,— лениво подумалось Владимиру Петровичу.— Родедорм для народа. И все дремлют. Вся страна добрую треть века дремлет, с хрущевских кукурузных панацей...»

— Лариса Алексеевна, позвольте представить вам, позвольте познакомить,— замельтешила вдруг директриса.— Вот. Наша дочь Марина. Наша Мариночка.

Иваненков резко обернулся: в дверях стояла Марина. И почему-то в школьном форменном платьице с белым передничком, из которого уже заметно выросла. Пышные, всегда рассыпанные по плечам волосы она сегодня аккуратно заплела в две косы, и свежее, без каких бы то ни было следов косметики лицо ее выглядело детским, доверчивым и беззащитным.

— Добрый вечер,— с максимальной дозой застенчивости сказала она.

— Здравствуй, девочка! — радостно заулыбалась профессор Лебедева, наконец-то встретив в этом музее восковых фигур живого человека.

5

Продолжал разглагольствовать — правда, теперь заметно осторожнее — Лопатин, вставляла корректирующие замечания Любовь Андреевна, ласково улыбалась школьнице Марише Лариса Алексеевна Лебедева, а Иваненков все никак не мог прийти в себя. В который уже раз Марина оказалась для него незнакомо новой, и он с восхищением воспринимал ее непостижимую способность к абсолютному перевоплощению. Она безусловно была одаренной девочкой, обладающей не только актерскими способностями, но и озорным, острым умом; Владимир Петрович невольно сравнивал ее с основательной, вечно умствующей дочерью, и сравнение это было не в пользу его Марии. Может быть, его Маша была глубже, образованнее, собраннее, но живость Марины,

неожиданность и непредсказуемость ее выдумок заведомо давали сто очков вперед. «Чертенок,— думал он не без некоторого оттенка гордости.— Эта в девках не засидится, эта получит, кого выберет». И тут же с горечью представил Маришу рядом с белокурым, молодым и широкоплечим, твердо зная, что сам он никогда не найдет в себе сил уйти от своей профессорши, даже если этого потребует Марина. «Этот поезд ушел,— невесело думалось ему.— Девочки цветут уже не для нас, даже если нам и удается подержать их в объятиях...»

Мать с отцом тоже пребывали в настороженном удивлении. Лопатин говорил уже как бы по инерции, а Любовь Андреевна теперь куда чаще поглядывала с опаской на дочь, чем с умилением — на гостью. И только двое вели себя сейчас почти непринужденно: Лариса Алексеевна и сама возмутительница домашнего спокойствия. Профессор Лебедева с искренним теплом улыбалась девочке, а Марина, чинно усевшись в стороне от взрослых, хранила серьезную наивность и готовность тотчас же исполнить любое родительское повеление. И как только директрисе удалось вклиниться в монолог мужа с предложением выпить чаю («истинно русский национальный напиток...»), дочь ринулась к буфету за посудой.

— Маришенька, дорогая, поставь сервизные комплекты.

— Хорошо, мамочка.

— И положи в хрустальные вазочки все виды нашего домашнего варенья.

— Хорошо, мамочка.

И уже накрывая на стол в суматохе передвижений и перемещений, во время которых Лебедева вышла из комнаты, а папа — Лопатин отошел в противоположный угол, на миг, вскользь, нежно и преданно прижалась к Иваненкову:

— Я вас люблю, и за меня не бойтесь: все дураки кругом, и я все поняла...

— Стихами? — успел удивиться он.

— Я петь готова...

Но тут появились дамы, и песня не состоялась. Марина с отчаянным кокетством полоснула взглядом Владимира Петровича, и тут же озорное лицо ее вновь обрело чинное выражение законченной ханжи и отличницы. А Иваненков возликовал не только от признания, но и от того, что понял, насколько продумала свою роль в этот вечер Марина, как четко она ведет ее, гарантируя ему (прежде всего — ему, разумеется!) полную тайну и полную безопасность. И уверовал, что — слава тебе! — пронесло, что все позади, что жена никогда уж не изъявит желания вновь коротать ве-

черок с Лопатиными, а его, наоборот, станет отпускать сюда со спокойной душой, поскольку общается он только с девочкой-школьницей да с ее мегерой-матушкой. И отец думал что-то весьма приятное, и даже мать, сама проницательная директриса Любовь Андреевна, постепенно теряла настороженность, с каждой секундой убеждаясь, что Марина не выкинет никакого коленца. А вот Лариса Алексеевна ни о чем не думала, воспринимала все, как данность, и искренне радовалась, что в этом постном семействе оказалась вдруг такая прелестная, такая живая и непосредственная девочка.

Только о Марине никто не думал, и она это чувствовала, поскольку с полной отдачей играла непривычную роль, и нервы ее были напряжены до предела. Все думали о себе, исключительно о себе или применительно к себе. «А, может, человек вообще не способен думать о другом? — со взрослой горечью размышляла она, послушно накрывая на стол, послушно отвечая и послушно улыбаясь.— Может быть, это уже стало всеобщим законом общества, а нас привычно обманывали, беспрестанно толкуя о любви к ближнему, братстве и товариществе?..» Все эти невеселые мысли, возникая, не исчезали, а как бы оседали в ней, постепенно накапливая взрывчатую смесь.

— Ты не попала в институт?

Профессор Лебедева удивилась вполне искренне: девочка казалась настолько старательной, послушной и умненькой, что ее жизненный путь уже не вызывал никаких сомнений. Но за вопросом последовала пауза, поскольку вопрос оказался запалом, и Марина все силы употребляла сейчас на то, чтобы предотвратить взрыв в себе самой. Мать почувствовала ее замешательство, но не очень разобралась в причинах и тем не менее тут же перехватила разговор.

— Ах, дорогая Лариса Алексеевна, вы и представить себе не можете, насколько велика разница между столицей и районным городишком в наши дни! Мы, районная провинция, стали уже как бы третьесортными в той неестественной борьбе и в том неестественном отборе, который существовал совсем еще недавно. И если у вас в области Москва отбирала лучших, то от нас бежали в любые столицы и в любые области все мало-мальски способные. Утечка умов и личностей происходила в течение почти четверти столетия, весьма заметно снизив культурный потенциал нашего городка. Чтобы не прослыть голословной, приведу пример. Только в моей школе...

— Твоей школе, мамочка? — тихо удивилась дочь.

Даже благодушно настроенная Лебедева уловила ядовитый сарказм в этом почти невинном уточнении. Удивленно

глянула на тихоню в школьном платьице, которая одним своим видом примирила ее сегодня с этой семьей, но на чистом девичьем лице ровно ничего не отражалось.

— Нашей, Мариночка, нашей,— поспешно заулыбалась директриса.— Помнишь, сколько в ней сменилось преподавателей английского языка? Четверо. Четверо, дорогая Лариса Алексеевна, четыре человека за какие-нибудь два-три года. Нет, что я! Именно за два, за два учебных года. Можно ли в таких условиях мечтать о столичных вузах? Наши ученики оказались не в состоянии...

— Зато с русским — полный порядок,— опять перебила Марина.

Запасы ее терпения таяли с катастрофической скоростью. Ей уже надоело играть паиньку, ей уже нестерпимо хотелось спорить, дерзить, дразнить не только привыкших токовать родителей, но и холодную, недоступную, отчужденную знаменитость, которая непостижимым для нее образом заполучила все права на ее кумира, и в том числе самое обидное право: право поглядывать на него свысока. Вот этого Марина стерпеть уже не могла, хотя Лебедева ни разу не обратилась к Иваненкову за весь вечер. Но видимо существовало нечто неосязаемое, нечто невидимое, нечто подобное отрицательно заряженному полю, действовавшему подавляюще на Владимира Петровича, и вот это подавление его персонального «я» и ощущала сейчас влюбленная девушка. Именно это оказалось в результате взрывным фактором: хорошо изучив родителей, она могла играть в их игры без особого напряжения, но игра незнакомой взрослой женщины была ей не по силам. Мать почувствовала предел ее терпения, но перестроиться сразу не смогла, продолжая стереотипно выкладывать привычные блоки:

— Да, словесники, как всегда, на высоте,— Любовь Андреевна даже попробовала выдавить улыбку.— Великие традиции представителей родной литературы дали нам столь могучий импульс, что никакие...

— ...внешние обстоятельства не помешают нам с энтузиазмом изучать,— подхватила дочь.

— Марина,— с упреком вздохнул Лопатин.— Пожалуйста.

— Извините,— с паузой, но тихо и почти виновато сказала Марина.

Наступило неуютное молчание. Вероятно этим бы вспышка и кончилась: поостыв, Марина под благовидным предлогом ушла бы в свою комнату. Но Любовь Андреевна недооценила такой прекрасной возможности, не смогла перетерпеть неудобства и сама нарушила едва возникшее равновесие.

— У нас в школе — изумительный коллектив,— непонятно почему поведала она.— Преданные делу высокообразованные педагоги. Подвижники!

— И каждая варит свое варенье. Закачаешься!

— Дочь, я прошу впредь не ставить меня...

— В самом деле, Марина, не стоит портить первый день знакомства,— негромко сказала Лебедева, но даже эта нейтральная фраза прозвучала привычным распоряжением.— Ведь ты же, наверняка, любишь литературу, разве не так?

— Безумно,— почти по складам подтвердила девушка.— Я даже стихи сочиняю. Тематические. Хотите почитаю?

— Стихи? — настороженно переспросил Лопатин, впервые услышавший об этом увлечении дочери.

— С удовольствием послушаю,— улыбнулась Лариса Алексеевна.

Марина решительно вышла на середину комнаты, решительно тряхнула головой, и две косички смешно подпрыгнули за ушами.

— Моим родителям,— она глубоко вздохнула и звонко начала, чеканя каждое слово:

— Милые мои, милые!
Смелые мои, смелые!
Тело намылю мылом я.
Щеки закрашу мелом я,
А совесть замажу сажею,
Чтобы в вас превратиться сразу же!

И опять наступило молчание. Ошарашенные родители никак не могли сообразить, что сказать, как одернуть дочь, Иваненков с уже нескрываемым восхищением уставился на пунцовую и удивительно похорошевшую девушку, и первой пришла в себя Лебедева.

— Неплохо, но мы, кажется, слегка засиделись. Благодарю вас, Любовь Андреевна...

— И вам, на дорожку! — громко объявила Марина, тут же отбарабанив:

— Не женитесь на добрых,
Не женитесь на умных,
А женитесь на кобрах,
Уползающих в сумрак.
И возьмите за мелочь
Все, что в жизни так надо:
Напитают вас желчью
И напоят вас ядом!..

Глава пятая

1

Уже в начале следующей недели Иваненков выехал в командировку. Это была пока еще не та заветная закордонная, но она предваряла ее, подтверждая, что конкурентов на поездку в Швецию у Владимира Петровича нет. Каким образом и почему именно вдруг так поднялись его акции, Иваненков не знал, но считал, что та уверенность, которую ему удалось продемонстрировать, оказалась решающей каплей. А причиной уверенности была Марина, и все десять дней, что Иваненков провел в Москве, бегая по министерствам и главкам, он думал о Марине.

Чаще всего ему вспоминалось последнее свидание. Неожиданная Марина — неожиданная не только школьным платьицем, белым передничком и прилежными косичками, а манерой поведения, робким голосом, постным взором и послушанием, не только костюмом, но самим существом, самим артистическим превращением своим в благонравную, на все сто процентов образцовую дочь директора школы и заместителя председателя горисполкома. Она с блеском сыграла то натужно придуманное и широко разрекламированное существо неопределенного пола, которого в жизни практически (и к счастью!) встретить невозможно, но которое тем не менее существует в школьном реестре и родительских мечтах. И исполнено это было с такой искренностью, что даже скептически настроенная профессор Лебедева приняла чистую игру за чистую монету. А потом игра оказалась взорванной изнутри самой исполнительницей, но не потому, что надоела ей. Нет, совсем не потому.

А ведь сначала — с дерзких стихов, с вызывающего голоса, с хохота в спину — Иваненков подумал, что Марина устала, что не выдержали нервы, что сорвалась вдруг, а потом будет реветь и жалеть, жалеть и реветь. Но кипящая негодованием Лариса Алексеевна уже не пожелала ехать на какую-то там дачу: из квартиры доносились истерические вопли директрисы, растерянное бормотание Лопатина и торжествующий смех дочери, и тогда у него впервые мелькнула догадка, что Марина продумала все, все ходы и способы, чтобы только не допустить профессора Лебедеву в дарственный домик. Не пустить соперницу в рай...

— Дрянь! — Ларису Алексеевну трясло всю дорогу.— Какая испорченная, какая гадкая девчонка!

Да, Марина нашла самый верный способ расстроить семейное путешествие, в этом Иваненков более уже не со-

мневался. И поражался ее прозорливости: она никогда не расспрашивала его о жене, он ничего не рассказывал, и тем не менее девочка с поразительной точностью вычислила, что Лебедеву не возмутит ни ультрамодная одежда, ни молодое фрондерство. Профессора Лебедеву могло беспредельно обидеть только одно: чувство, что ее переиграли. Что сопливая девчонка, вчерашняя десятиклассница оказалась настолько хитра, что шутя, запросто провела ее, профессора, руководителя научного коллектива, женщину не только широко известную, но и умудренную жизнью. Марина нашла самое уязвимое место, самую болевую точку: гипертрофированное самолюбие ученой дамы, и беспощадно ударила по нему. Расчетливо и жестоко, но как, как она вычислила эту ахиллесову пяту Ларисы Алексеевны?

В ту субботу они тотчас же уехали домой, точно и впрямь приезжали в гости к Лопатиным, а не заскочили к ним по дороге на собственную дачу. Какая там дача! Лариса Алексеевна метала громы и молнии, проклиная не только ядовитую девчонку, но и ее родителей, воспитавших этакого безнравственного звереныша.

— Домой! Ноги моей здесь не будет!

А Владимир Петрович, безропотно исполняя повеление супруги, внутренне ликовал, торжествуя окончательную победу и восторгаясь своей Маришей. И бегая по бесконечным учрежденческим коридорам, высиживая в ожидании приемов, строча объяснительные записки и заполняя груды анкет, не только не забывал о девочке, умеющей так по-взрослому воевать за свое счастье, но и всеми силами разыскивал ей приятные сюрпризы. Пользуясь своим безукоризненным английским, сумел раздобыть блок «Мальборо», сувенирную коробку конфет и бутылку настоящего джина. Везти с собою это богатство было невозможно, Иваненков запечатал подарки в ящик и отправил посылку самому себе до востребования.

Наконец-таки было получено последнее «добро», и в солидном кабинете солидный начальник (не чета «таежному волку») с чувством пожал руку Владимиру Петровичу.

— Готовьтесь. Занимайтесь языком, штудируйте последние технические журналы. Как только шведы дадут добро, мы тут же вызовем вас. Не теряйте времени даром.

Это было самое главное рукопожатие в жизни Владимира Петровича Иваненкова. Самое главное и самое обещающее.

2

Ничто так не истачивает душу, как проигрыш, будь то в борьбе, в игре, в споре, а уж тем паче — в любви. Здесь срабатывает нечто не поддающееся логике и трезвому анализу, соперничество женщин инстинктивно и неуправляемо. И, вероятно, поэтому никакие доводы рассудка не способны устранить сегодняшнюю занозу в душе; со временем, естественно, ссадина затягивается, но женщины, терпеливо ожидающие своего часа и своего шанса, очень часто просто не находят сил для того, чтобы прошло время. Им необходимо утвердиться в своем превосходстве, ощутить вкус победы, почувствовать ласку и непременно услышать слова, которые, вообще, в женской жизни имеют куда более важное значение, чем в жизни мужской.

Лариса Алексеевна знала себе цену, но будучи женщиной, знала и то, насколько высока эта цена. Если многие мужчины склонны в личной оценке суммировать все — служебное положение и личное обаяние, ученые степени и силу характера, способность к анализу и шутке, властность и славу,— то женщины аналогичные достоинства не суммируют, а сразу возводят в степень. Им недостаточно арифметики жизни, им необходима алгебра чувств, и профессор Лебедева не была в этом смысле исключением. Обладая множеством чисто мужских достоинств и талантов, она не растеряла и талантов женских на ухабистой дороге серьезной научной карьеры. И после проигрыша с крупным счетом жаждала не реванша — девчонка-школьница не могла даже в глубине души, даже втайне считаться соперницей! — а самоутверждения.

Но путь самоутверждения оказался для нее единственным. Испытанным и уже порядком приевшимся, и тем не менее иного пути Лариса Алексеевна не искала да и искать-то не собиралась: интимные отношения связывали ее только с Вячеславом Карюхиным.

— Боюсь, что в этот раз не смогу соответствовать,— с вежливым нахальством ответил Вячеслав, когда она позвонила ему.— Если появится шанс, звякну сам в пятницу. Обозначь время.

Лариса Алексеевна так волновалась, так была озабочена не только тем, что ей приходилось выступать в несвойственной роли просительницы, но и самой процедурой звонка («Попросите, пожалуйста, Карюхина...», «А кто спрашивает?», «Знакомая...»), что сразу не обратила внимания на его тон, послушно «обозначила время», и лишь потом с чисто женской дотошностью исследуя оттенки прошлого разговора,

ощутила наглость. И твердо решила: во-первых, отчитать Карюхина по телефону в «обозначенное время» и, во-вторых, никогда более не встречаться с ним. Но тон Вячеслава в пятницу был так нежен, голос так клокотал в трубке, что Лебедева вдруг забыла о всех своих решениях. И с девичьим нетерпением бежала на следующий день в ненавистную холостяцкую квартиру на пятом этаже без лифта и с массой любопытствующих баб на каждой лестничной площадке.

А с Вячеславом Карюхиным не произошло никакой особой метаморфозы. Через минуту после того, как он опустил трубку на рычаг, его кинуло в жар. Он великолепно знал не только суховатую сдержанность любовницы, не только свойственное ей чувство безусловного превосходства (покидавшее ее лишь в считанные мгновения), но и ее возможности. Весомость имени, должность, знакомства, окружение, чисто женское уменье двумя-тремя ловко построенными и вовремя сказанными фразами навеки утопить человека. Карюхин знал все это, а потому и испугался. Испугался до пота между лопаток и сосущей неуютности под ложечкой. «Идиот, подонок, психопат, что я наделал?!» Однако у него хватило здравого смысла не звонить тотчас же, отмучаться два дня и зазывным баритоном пророкотать в «обозначенное время»:

— Я сплю и вижу...

Было все, как всегда. Нетерпеливое ожидание, которое они оба всегда бессознательно растягивали ради ласкающих глаз, нежных рук и почти искренних слов. Потом — приступ взаимной страстности, яростное бесстыдство, провал в неистовое наслаждение, безумная, болезненная жажда рабской покорности, подчинения, боли. В эти проблески счастья она всегда мечтала окончательно потерять голову, но никогда, ни разу ей это не удавалось. А потому приходила в себя она уже раздраженной, так и не испытав блаженства полного умиротворения. Потом оно приходило — потом, когда они разбегались или оказывались на людях — но в момент, пока он был рядом, под боком, пока она слышала стук его сердца и ощущала жар его тела, вместо расслабленной утомленности всегда наступала напряженная разражительность. Лариса Алексеевна презирала получившую свое, а потому и присмиревшую рабыню, а заодно и того, кто заставлял эту рабыню время от времени терпеть бунт во всем теле.

Карюхин знал обо всем. Знал последовательность этапов их нечастых свиданий, но в отличие от любовницы обладал способностью терять голову, а потому и приходил в себя с куда большим запозданием. И реагировал со вполне естественной блаженной заторможенностью.

— У людей — узы любви, а у нас с тобой — кандалы привычки. Мы не любим друг друга, а просто исполняем основной природный закон взаимного тяготения разнозаряженных объектов.

— Ну зачем же так? — Вячеслав расслабленно улыбнулся.— Я ведь и вправду теряю голову.

— В том океане лжи, в котором мы бултыхаемся, тексты типа «я теряю от тебя голову» произносятся без всяких душевных затрат. Их можно для простоты обозначить индексом или просто номером: «Номер три, дорогая», и я буду знать, что ты теряешь от меня голову.

— В тебе говорит сейчас потребность вылить на нашу любовь очередной ушат холодной воды?

— Во мне говорит боязнь, что моя дочь получит вместо женского счастья тот же сплав физиологии с ложью.

— А ты уверена, что знаешь свою дочь?

— Я? — Лариса Алексеевна настолько удивилась, что приподнялась, опершись на локоть, но предусмотрительно натянув при этом одеяло до подбородка.— Твой опыт с молоденькими секретаршами убеждает тебя в обратном?

Вячеслав вдруг ощутил потребность рассказать о своем звонке и о голосе, пригласившем его на свидание. Это был давно уж не испытываемый им приступ искренности, но он придушил этот приступ. Зажал ему рот, загнал в самые глубины, и сказал совсем иное:

— Меня убеждает не опыт, которым я, кстати, и не обладаю, а наша взрослая самоуверенность: нам, де, подвластно все: от атома до девичьего сердца. А на практике выясняется, что атом вдруг не желает трудиться, а дети начинают работать в неуправляемом режиме. Не управляемом нами, я имею в виду.

— Отвернись, мне надо одеться.

Карюхин послушно отвернулся: так было всегда. Женское начало в профессоре Лебедевой выражалось в странной нелогичности: она испытывала огромное наслаждение, когда ее раздевали, но одевалась всегда сама, сухо требуя, чтобы мужские глаза смотрели в стену. С точки зрения Вячеслава в этой двойственности сказывались последствия вульгарно понятой эмансипации; он воспринимал ее, как безусловное правило игры, что в известной мере его всегда забавляло. Послушно смотрел в стенку, улыбался и прислушивался, но накопленному опыту на слух определяя, что именно делает за его спиной Лариса Алексеевна: шорох женских одежд индивидуален, как вздох.

— Знаешь, а я успокоилась,— вдруг сказала она.— Можешь повернуться.

— По поводу дочери?

— Нет, по иному поводу: из-за одной щенячьей дерзости. А по поводу дочери я спокойна всегда. Мы как-то поговорили с ней, и я поняла, что Мария нравственно здорова. Только бы ей повезло с первой любовью!

3

Именно в эту субботу, которую мать провела в холостяцкой квартире Вячеслава Карюхина, а отец — в столичной командировке, дочь после дневного концерта в филармонии (по абонементу исполняли Равеля; у Марии абонемента не было, но Равеля она любила и прорвалась) пошла не в пустой дом, а к Софье. Не то, чтобы ей так уж хотелось к подруге — она уставала от мудрствований — но деваться было некуда, на улице после концерта погода показалась чересчур уж морозной и ветреной, и Маша потащилась к Софье просто от неуютного одиночества.

— Молодец, что зашла,— Софья чмокнула подругу в тугую холодную щеку, что делала крайне редко.— Во мне сидит заноза, которую хочется извлечь как можно скорее.

— Что-нибудь случилось?

— Потом, все — потом, сначала сварим кофе,— Софья шагнула было на кухню, но остановилась. Спросила неожиданно, но — с озорством: — Ты как относишься к Указу о борьбе с алкоголизмом?

— За.

— Я тоже была изо всех сил «за», пока не обнаружила, что наши местные фарисеи, ныне лакающие водку, только накрывшись одеялом, подвели под борьбу с алкоголизмом все сухое вино, что водилось еще в нашей растущей и цветущей областной столице. Ты способна объяснить мне логику тутошних борцов за всенародную трезвость? Ведь никакой алкоголик в нашем городе отродясь не пробовал сухого вина и, я убеждена, пробовать его не станет, пока существуют духи, одеколоны, лосьоны и прочие способы утоления жажды. Сухое вино пили, в основном, молодые специалисты да неимущие студенты, не испытывая особых позывов к чему-либо более крепкому. Но дело сделано, фарисейская команда послала очередной верноподданический рапорт, что в нашем городе на столько-то процентов в пересчете на столько-то градусов продажа уменьшилась во столько-то раз, а мы... Впрочем, я сначала сварю кофе.

Софья исчезла в кухне, а Маша прошла в комнату. Это была собственно комната Софьи: ее родители год назад

укатили на север, взяв с собой младшего сына. А старшей дочери велели заканчивать институт и хранить квартиру, в которой вторую комнату на всякий случай заперли на два замка, предварительно стащив туда все, что могли запихать («Знаем мы этих студентов...»). Такая предусмотрительность глубоко обидела Софью: Маша считала, что многие странности подруги возросли именно на этой почве. Со временем Софья оттаяла, но по-прежнему оставалась нелюдимой, встречалась с весьма ограниченным кругом друзей и никогда не вспоминала о родителях, усердно зарабатывающих деньги на кооперативную квартиру.

— Что же все-таки произошло? — спросила Маша, когда Софья принесла кофе.

Подруга молча достала из шкафа рюмки и бутылку коньяку.

— Это тебе не по карману, Софья.

— Естественно,— Софья наполнила рюмки и привычно взобралась с ногами на тахту.— Знаешь доцента Игошина? Он застал меня в магазине, когда я умоляла изыскать для бедной девушки бутылку рислинга. Доцент, если помнишь, один из наиболее непримиримых поборников сухого закона, но мольбы одинокой девушки оказались сильнее принципов, и доцент преподнес мне две бутылки коньяку.

— Две?

— Видимо, он полагал, что с одной я недостаточно забалдею, и ему придется уйти, не вкусив.

— Он был у тебя?

— Я сдалась без боя, Машка.— Софья невесело усмехнулась.— Не презирай меня, пожалуйста, мне и без того тошно.

— Ты... Ты его любишь?

— Я к нему безразлична, поэтому все и случилось. Без игр в стиле ретро. Так честнее, мне кажется.— Софья пригубила рюмку и вздохнула.— Коньяк противен, как оплаченные им поцелуи.

— Цинизм тебе не идет.

— Угнетение естества идет еще меньше, Мария. Оно превращает женщин в сухофрукты. Ты любишь сухофрукты? Странно, мужчины тоже. Они предпочитают срывать плоды с веток. Да пей же ты, в конце концов, а то я сейчас разревусь!

— Может быть, ты и права,— сказала Маша, помолчав.— Из всех животных только человек убивает собственную природу. Может быть, в этом заложен некий высокий смысл?

— Этот смысл человечество пыталось уловить со времен

библейских, для чего и возвело на женщину поклеп, объявив ее виновницей всех человеческих несчастий: как же, мужчинам из-за нашей сестры пришлось покинуть рай! Характерно однако, что мужской рай — это абсолютнейшее безделье, которое незнакомо женщинам вообще. Пей, Мария, или мы разругаемся навек.

Маша молча выпила рюмку, задохнулась, с трудом подавив кашель. Она не впервые пила столь крепкие напитки, но впервые — по-мужски, до дна и не отрываясь, и Софья посмотрела изумленными, хотя как и всегда печальными, глазами:

— Ничего себе девица.

— Мне тоже на все наплевать,— глоток спиртного сразу ударил в щеки, Мария начала краснеть и хорошеть.— Пусть мы будем такими, какими нас тащит течение. Знаешь, Софья, мне часто представляется, будто каждую девчонку судьба бросает в стремительную реку, а дальше — как повезет. Протянет руку мужчина с лодки — и она спасена; прицепится тонущий подонок — и она погибла.

— А не прицепится никто, она хладным трупом уйдет в небытие,— перебила Софья.— Мне нравится твой образ, Мария, он весьма оптимистичен, и я беру его за основу. Теперь — уточнение. Всегда ли женщины барахтались в жизни или начали заниматься этим только с развитием цивилизации, безнравственности, появлением мод, которые не по карману никакой девчонке, сапожек в ту же цену, и всеобъемлющего равенства между полами? Вот в чем вопрос, товарищи Гамлеты женского рода,— она плеснула в рюмки,— и на трезвую голову нам с ним уже не разобраться. У тебя есть свое мнение?

— Есть. Получив права на все — на железный лом и директорское кресло, на штурвал комбайна или журналистский блокнот, женщины не получили основного права — права выбирать,— сказала Маша.— Это несправедливо, потому что именно эта рабская зависимость нашего счастья от мужского внимания и сводит в конечном счете все наши завоевания на нет. Смешно, конечно, но я много думаю об этом, и чем больше думаю, тем с меньшей радостью и большей горечью. Ну скажи мне, Софья, почему и в наш ультрасовременный, ультрацивилизованный, ультрапрогрессивный век женщины продолжают делиться на добродетельных и распутных, а мужчинам такое деление неизвестно? Почему для молодого парня утолить свою естественную жажду — нет проблем, а для нас с тобой их миллион, начиная с презрения к себе самой? Может быть, и вправду наша прародительница согрешила столь страшно, что бог и

по сей день карает нас одиночеством, которое, я убеждена в этом, абсолютно не знакомо мужчинам?

— Беспутных женщин нет по той простой причине, что все мы — беспутны,— изрекла Софья тоном, исключающим сомнения.— Мы — все, без исключения! — продаем себя, и каждая сопливая девчонка знает об этом едва ли не с первого класса. Наши заигрывания, бантики, челочки, ленточки, платьица, прически, косметика, стремление показать свою фигурку, походку, талию или ножку — разве все это вместе взятое не есть всего-навсего торговая реклама? Мы все продаем себя изначально, все, без малейшего исключения, только кто-то — за штамп в паспорте, а кто-то — за вечер в ресторане: ведь дети перестали быть самоцелью. Теперь они чаще всего рождаются по неосторожности, для здоровья или даже для развлечения. Мы потеряли вкус к большим, то есть, нормальным семьям по очень простой причине: этим большим семьям негде и, главное, не на что жить. Я, например, с удовольствием родила бы, не дожидаясь, пока меня пригласят во Дворец бракосочетаний...— Софья вдруг замолчала, повертела в пальцах рюмку и невесело усмехнулась.— А получать я буду, слава богу, если сто двадцать, а сапожки стоят столько же, а шубка столь же бесценна, как шинель для Акакия Акакиевича Башмачкина. И все друг другу врут, какие они счастливые.

В словах ее звучало непонятное отчаяние. Маша протянула руку, погладила по черным, всегда тщательно причесанным волосам.

— Не стоит расстраивать себя понапрасну, Софья.

— Тебе это незнакомо,— Софья смахнула непрошенную слезу.— Нет, я не укоряю тебя, не подумай. Но сколько я себя помню, столько мы мыкались с этими проклятыми квадратными метрами. Сначала в одной комнате в коммуналке: брата еще не было на свете, и мама родила его только тогда, когда у отца подошла очередь на эту квартиру. Рождение ребенка зависит от жилплощади родителей — это же абсурд, Мария! Какое уж тут, к дьяволу, счастливое будущее, если мы до сей поры никак не можем уйти от этой проклятой, оскорбительной зависимости! Помню, как мы радовались этой квартире, с каким энтузиазмом бегали в очередь на румынский гарнитур. Но тут выяснилось, что дети, оказывается, растут, и что две комнаты на четверых пострашнее четырех одиночек. И все бегут из собственных квартир. Ты обратила внимание на эту странную закономерность: все бегут? Молодежь — на чердаки, на лестничные клетки, в подвалы; мужчины — к бутылкам, картам, «козлам», на стадионы, к другим бабам, к черту-дьяволу, только

бы подальше от мучительных метров своих! И я больше не верю утверждению, что человек — животное общественное. Человек — животное домашнее, которое делается общественным, когда покидает дом. На работе, в армии, в стройотряде или турпоходе. Вот сейчас я имею возможность пустить к себе доцента и хоть раз в полгода вспомнить, что я — живая женщина. А где я буду вспоминать об этом, когда мои вернутся с севера? В кустах городского парка? В турпоходе? Может быть, в подъезде? Где, объясните мне, где я могу не противиться природе своей? И я уже мечтаю не о муже, а о квартире, и — если, конечно, повезет — выйду замуж не за сероглазого красавца, а за квадратные метры. И чем их будет больше, тем скорее я побегу под венец, не оглядываясь, кто там семенит сбоку: широкоплечий молодец или отставной генерал. Потому, что я хочу жить. Нормально жить!

— Нет, я так не смогу,— тихо вздохнула Маша.— Лучше уж я всю жизнь буду одна.

— Лучше всего? Лучше всего в нашем положении чуточку забалдеть и отключиться. Ханжи изо всех сил запугивают нас, как в древности запугивали нечистой силой, но куда честнее быть еретиком, чем фарисеем. А посему хлопни еще одну рюмку — только так же, как первую! — и я тебя кое-чем угощу.

— Чем же?

— Сначала выпей. Не пожалеешь: угощение царское хотя бы потому, что абсолютно недосягаемо для подавляющего большинства. А мне достали. Видишь, чем мне пока еще платят доценты средних лет...

Маше совсем не хотелось пить, но горечь последних слов Софьи была столь неприкрытой, что стало немного совестно за свою собственную такую благополучную жизнь. Жизнь, в которой уже есть отдельная комната, а в перспективе — кооперативная квартира, которую пообещала мама, как только Маша выйдет замуж. И совершив огромное усилие, Мария выпила рюмку до дна. А Софья тут же вытащила из сумочки толстую, рыхлую на вид папиросу, прикурила и протянула подруге:

— Затягивайся глубоко и неторопливо. Это — кайф.

— И как же он называется? Анаша? Героин? Марихуана?

— Это то, что так не хватает именно таким дурам, как мы с тобой.

— Я не буду.

— Вот уж не предполагала, что тебя способны напугать обывательские рассуждения «Комсомолки». Ты же сильная натура, Мария, и всегда бросишь, если захочешь. Но про-

жить жизнь, не испробовав настоящего балдежа, это ведь кретинизм, дорогая.

Маша покорно взяла сладковато пахнущую папиросу. Первый раз она затянулась очень осторожно, даже боязливо, но ничего не произошло, а Софья смотрела на нее в упор с откровенной насмешкой. И тогда Мария дважды глубоко и медленно вдохнула дым, придержала дыхание и почувствовала вдруг, как сладко, убаюкивающе сладко начинает кружиться голова. И улыбнулась.

— Говорят, это не на пользу потомству.

— Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, чтобы привести в землю обетованную только тех, кто забыл о рабстве. Дети? Либо дети свободных, либо дети рабов: середины нет. Нам надо пропустить одно поколение, понимаешь? Пропустить, но я не знаю, как это сделать...

— Блаженство,— медленно улыбнулась Мария, поскольку голос Софьи слышался где-то далеко-далеко.— Сейчас придет, я чувствую. Придет...

4

Владимир Петрович Иваненков возвращался в родной город, физически, до радостного изумления ощущая за спиной крылья. Образно говоря, если ранее он подозревал о крыльях, то сейчас знал их мощь. Его ожидал взлет, и для этого взлета отныне он имел все, поскольку окончательно понял собственные потенции, собственную весомость и собственную крылатость в столь высоком кабинете, в какой не осмеливался вступить даже в дерзновенных юношеских мечтаниях.

Хозяин кабинета был из старых, но уже успел, так сказать, обновить макияж в соответствии с новыми веяниями. Он сменил громкую житейскую активность на многозначительную озабоченность делами и трудами, нутряное панибратство с ярко выраженным барством — приветливой демократичностью, веселую грубость «своего мужика» — на полную внутреннего достоинства вежливость государственного мужа. Он точно прочел партитуру поведения современного руководителя, именуемую «духом времени», и виртуозно исполнял ее во всех случаях. И если четыре года назад дубовые панели кабинета звенели от соленых шуток и воспоминаний о саунах, охотах, рыбалках, кутежах и бабах, то теперь они же в унисон с хозяином негромко и значительно вздыхали о неимоверных по сложности задачах, проблемах и идеях.

— Все запущено, запутано, разворовано...

Хозяин страдальчески сдвигал брови, будто прибыл на этот пост, как минимум, с островов Фиджи, будто запутывали, запускали и воровали не при нем и даже не мы, а некие таинственные силы. То ли восставшие из забвения враги народа, то ли агенты ЦРУ, то ли вообще инопланетяне. Он уже полностью отряхнул прах с ног своих, усвоил новую терминологию, новую манеру выражения чувств и новую форму поведения, и искренне полагал, что этого вполне достаточно для любой перестройки. А Иваненков тут же поймал себя на мысли, что если сегодня к вечеру вдруг случится воскрешение из мертвых, то хозяину на перелицовку понадобятся считанные мгновения. «Перелицовка,— отметил он так кстати подвернувшееся слово,— для подавляющего большинства начальников и начальничков это и есть пресловутая перестройка. Не забыть рассказать Марише...»

Он вошел в этот кабинет хотя и с известным трепетом, но далеко не безоружным. Там, в области, он ощущал и вправду одно лицемерие, но в столице не мог не почувствовать, что атмосфера и впрямь изменилась. Он еще не уверовал, он еще играл, еще злословил при случае, однако уже соображал, что наступает время новых людей. И что пропуском в эту элиту новейшей формации на данном этапе служит дерзость, подкрепленная двумя-тремя более или менее свежими идейками. А таковых достаточно накопилось в далеко шагнувшей вперед зарубежной практике и теории: их вчерашний день спокойно можно было выдать за наш день завтрашний. И заранее оповещенный о дате и часе приема, Владимир Петрович засел в читальном зале, благо, английский язык был ему хорошо знаком.

— Мы не имеем права закупать лишь бы подешевле,— говорил он, и сам поражался собственной смелости.— Я достаточно изучил этот вопрос и твердо убежден: настало время серьезной, я бы сказал, глубинной перестройки самой психологии наших внешнеторговцев. Грошовая экономия сегодня — завтра обернется миллионными убытками...

Он сыпал готовыми блоками, беззастенчиво переиначивая цитаты, выдавая их за свои сокровенные мысли. Все это выглядело бы убого и наивно, если бы Иваненков не перемешивал чужие идеи с названиями фирм, данными новейшего оборудования, мощностями, ценами и прочими аргументами, почерпнутыми в старательно проштудированных иностранных бюллетенях, справочниках, статьях и подборках. Он блефовал, но кругом, причем, весьма шумно (что официально именовалось гласностью) шла азартная игра, в

которую упоенно — кто искренне, кто расчетливо — играли сейчас все. И, судя по заинтересованно кивающей седой голове хозяина, блефу верили, видя во Владимире Петровиче Иваненкове, инженере из глубинки (откуда модно было сейчас смело выдвигать), весьма эрудированного специалиста, знающего и понимающего нужды производства, экономики и страны в целом.

— Я много лет слежу за развитием этой отрасли шведской промышленности...

— И прекрасно делаете,— демократично улыбнулся хозяин.— Вы поедете в Швецию представителем министерства с увесистым голосом основного технического эксперта. Вы разбираетесь в сути стоящих перед нами задач, а такие люди нам очень и очень нужны. Необходимо всколыхнуть инертность вчерашнего дня, столь дорого оплачиваемого нами сегодня.

Иваненков покидал кабинет с радостным зудом в лопатках: у него явно начали резаться крылья. Он чувствовал, знал, что они непременно вырастут, что он еще взлетит, еще покажет и сослуживцам, и семейному профессору Ларисе Алексеевне Лебедевой, и ее наглому хахалю Вячеславу Карюхину на что способен он, он, которого всю жизнь представляли не иначе, как мужем своей знаменитой жены. И еще он взлетит ради Марины. Он подтвердит ее веру в него, ее любовь, ее... Владимир Петрович был готов подтвердить Марине все, кроме надежд. Даже в мечтах он не мог представить, что бросит семью, заберет Марину и... Нет, даже в самых сокровенных мечтаниях он был верноподданным общества, в котором жил, и верноподданным собственной супруги, с которой мучительно сосуществовал.

После свидания с высоким руководителем у Иваненкова оставалось два дня в Москве со столь формальными делами, что он смог накупить не только сувениров, но и продуктов, которых по-прежнему недоставало в родном городе. Вещей оказалось много, и поэтому он уезжал поездом, несмотря на свои заметно отросшие крылья.

В Москве зима не чувствовалась, но чем дальше углублялся поезд в огромные российские просторы, тем все белее становилось за окном вагона. Зима уж давно придавила эти края, а Иваненков в столичной суете и не заметил ее прихода.

Дома его встречали с обычной сдержанностью, скупо и скучно благодаря за подарки. Даже Машка ничем не выразила своей радости: вскинула глаза, чуть улыбнулась, и Владимира Петровича неприятно поразил ее сухой, напряженный взгляд. Дочь думала о чем-то совсем ином, ждала чего-то (или кого-то?) другого, и приезд столь долго отсутствующего отца был, как ему показалось, ей безразличен.

— Кажется, ты мне не очень-то рада, Машенька?

— Я? Что ты, очень рада. Комплект всегда радует, так уж устроен человек.

Жена тоже едва кивнула, зато прямое руководство встретило Иваненкова с нескрываемым восторгом. Вылезло из-за стола, хлопало по плечам, по спине, орало: «Поворотись-ка, сынку!..», но матом уже не пользовалось даже для такой радости. Мода на простоту нравов постепенно покидала и его таежного начальника, заменяясь модой на перестройку с ускорением или на ускорение с перестройкой — это кто как понимал.

— Обратил ты на себя, понимаешь, обратил,— говорил начальник, исчерпав буйный прилив восторженности.— Наверху довольны, скажу даже, очень довольны твоими инициативами. Звонили,— он коснулся ладонью телефона.— И это все — означает, соображаешь? Ну, ты не позабудь, кто тебя первым из массы выделил. Я тебя первым выделил, заруби. И авансом тайну выдаю: если в Швеции все пройдет без сучка, без задоринки, как говорится, тебя будут рекомендовать постоянным техэкспертом Внешторга. А это — уже почти космодром, соображаешь, Иваненков? Команда: «Пуск!», и помчался за кордон. Так что держи хвост пистолетом, Иваненков!

Вот когда Владимир Петрович ощутил, что взлетает. Уже взлетает ввысь над этим рыкающим начальником, над скучным учреждением и скучным городом, над опостылевшей семейной жизнью, в которой никто никого не желал понимать. Да, в нем уже накопились силы для небывалого грядущего взлета, и первой пробой этого взлета была скорая (оформление практически закончилось) командировка в сказочную Швецию.

А пока он пошел на почту, получил адресованную самому себе посылку с сигаретами и заграничной бутылкой и, поколебавшись, позвонил в Миловидово:

— В следующую субботу, Эр-Эр-Эм! — торопливо прокричал он в трубку.— Целую! Целую! Целую!

Глава шестая

1

— Дачу необходимо продать,— безапелляционно, как, впрочем, и всегда, объявила жена.— Ты укатишь за рубеж, а ни Маше, ни тем более мне она абсолютно не нужна.

Лариса Алексеевна разговаривала с отработанным годами властным напором, не удостаивая мужа даже мимолетным взглядом. Вообще-то, он привык к такому обращению, но ощущение реальной крылатости, предвкушение неминуемого — вот-вот, еще чуть потерпеть! — взлета оттесняло привычку на второй план, пропуская на первый другую обиду.

— Но почему, почему я должен расставаться с подаренным мне тетей имуществом, почему? Из-за твоего скверного настроения? Да, я уезжаю в Швецию, но это, к сожалению, ненадолго, это всего лишь командировка. В следующую субботу я поеду на дачу...

— Зачем тебе ехать, если ты собираешься в Швецию? Соскучился по школьному приятелю? А может быть, тебя влечет нездоровый интерес к его дурно воспитанной дочери? Не красней, это естественная противоестественность: слабеющих мужчин всегда тянет к легкодоступным женщинам.

Марии не было дома, и профессор Лебедева не стеснялась в выражениях, но не потому, что вдруг возненавидела мужа, а потому, что возненавидела себя. Свою рабскую страсть, свое унижение и свою долю удовлетворения в собственной слабости. А он с трудом сдержался, возмутившись не тому, что Лариса Алексеевна смешивала с грязью его Маришу, а тому, что она в глаза называла его практически импотентом. Но ссориться было опасно, ссориться было преждевременно: он слишком зависел от собственной супруги, чтобы позволить себе такую роскошь. А посему улыбнулся изо всех сил и сказал как можно добродушнее:

— Да будет тебе, право. На улице — зима, а домик к ней не приготовлен. Надо заколотить окна, надо по возможности предохранить его, а там решим, продавать или нет. Хотя, честно говоря, мне бы не хотелось расставаться с этой недвижимостью, мне бы хотелось оставить домик для Маши. Даст бог, выйдет замуж, вот ей и приданое.

— Маше? — Лариса Алексеевна посерьезнела, погрустнела. Вздохнула, помолчав.— Она стала какой-то не такой, понимаешь? Я пока не могу самой себе объяснить, что именно меня настораживает, но с нашей дочерью определенно что-то происходит. Чересчур уж быстро приступы буйного ликования сменяются у нее трагической меланхоличностью. И еще — глаза.

— Что с глазами?

— У нее стал иным взгляд. Пустой, отсутствующий, напряженно лихорадочный и вместе с тем — никакой. Мне опять не хватает слов, чтобы определить его.

— И не надо,— пользуясь ее озабоченностью, Владимир

Петрович рискнул погладить собственную жену по голове (черт возьми, ведь «Волга» принадлежала ей, а не ему! Ну, ничего, вот вернется он из Швеции...).— Влюбилась наша Машуня, вот и вся тайна. Первая любовь для такой глубокой натуры, как наша дочь, это огромная затрата духовных сил. Огромная.

— Дай бог, чтобы ты оказался прав хотя бы в этот раз,— Лебедева вывернулась из-под его руки.— Значит, поедешь в пятницу на дачу?

— В субботу, а вернусь в воскресенье.

Она покивала, думая о своем. Иваненков был несколько удивлен таким человеческим, таким женским согласием, смущенно затоптался, смущенно забормотал...

— Боюсь, мы где-то упустили Машу,— перебила она.— Впрочем, тебе, как всегда, на все наплевать.

И ушла в свою комнату. Он не успел тихо порадоваться, что его оставили в покое, как Лариса Алексеевна неожиданно вернулась.

— Я, я одна занималась ее воспитанием. Я урывала время в ущерб собственной работе, за счет отдыха и сна, я периодически беседовала с нашей дочерью, и мне всегда казалось, что мы понимаем друг друга. Но твой развращающий пример...

У него, ёкнув на манер лошадиной селезенки, вдруг остановилось сердце. Во всяком случае он ощутил нечто похожее на мгновение клинической смерти, поскольку сразу же принял слова «развращающий пример» в известном ему одному смысле. Но профессор Лебедева очевидно вкладывала в эти слова некое обобщенное понятие, ибо продолжала, не ожидая никаких реакций:

— ...всегда действовал губительно. Ты вечно стремился удрать из семьи, из дома, ты сваливал на меня всю ответственность за ребенка, поскольку ты — мелкий завистник. Да, да, пожалуйста, не пожимай плечами! Ты всю жизнь завидовал моему ученому авторитету, моим деловым способностям, моим удачам, если на то пошло...

Если на то пошло, то ее обличение звучало сейчас музыкой в его перепуганной душе. Нет, нет, эта по уши влюбленная в себя профессорша ни о чем не догадывается, и самый надежный способ окончательно затемнить все, это спорить с нею. Спорить, обижаться, негодовать, и тогда слова относительно его «развращающего примера» так и останутся словами навсегда.

— Если бы у нас был сын, ты в известной степени была бы права. В известной степени, подчеркиваю! Но у нас — дочь, твоя дочь, и воспитывать ее не только твоя святая обязанность, но и твое абсолютно приоритетное право. Да,

да, я глубоко оскорблен, глубоко!.. Наша Машенька вступила в тот возраст, секреты которого не для мужских ушей, даже если это уши отца. А я — отец, и...

— Отец? — с величайшим презрением спросила ученая дама.— Какой ты отец? Ты случайный производитель, а ныне — приживал среднего рода.

Они спорили, не думая друг о друге, не подбирая выражений, а стремясь лишь снять с себя, с себя лично, неуютное чувство неисполненного родительского долга. Вместо союза в борьбе за дочь, сама собою возникла война за право считать другого единственным виновником в прошлом, настоящем и будущем. Это постоянное состояние войны прежде всего за себя, за свое благополучие и спокойствие было им куда привычнее, чем совместная борьба за кого-то еще. Социальные маски беспредельно преданных своему делу специалистов, сросшиеся не только с манерой поведения, но и с самой сутью, не только с кожей, но и с душой, не знали иной нравственной аксиомы, кроме цели, оправдывающей средства. Даже если и цели-то никакой не было, а средством было будущее единственной дочери.

А ведь тогда ничего еще не было потеряно. Маша еще балансировала на грани, еще металась между одиночеством и пугающей дружбой, между тоской и забвением всех печалей, между разумом и постепенно возраставшей потребностью лишаться его по собственной, как ей еще казалось, воле, в точно выбранный момент и на определенное время. Все это еще не укоренилось в ней, семена еще не проросли, а природная сметливость, унаследованная от матери, и осторожность, приобретенная от отца, ждали всего лишь теплоты и, главное, искреннего слова. Но как раз-то в искренности и ощущался наибольший дефицит, как раз-то она практически уже стала атрибутом вчерашнего дня, принадлежностью добрых книг и сентиментальных фильмов, а в жизни встречалась несравненно реже, чем о ней говорили, писали, витийствовали и вспоминали. И ощущая этот пробел, эту пустоту, эту брешь в нравственной крепости, Маша презирая себя, шла к Софье, и очередная папироса давала ей то, чего не способны были дать ни мать, ни отец, ни институт, ни комсомол, ни вообще вся известная ей жизнь.

2

Владимир Петрович планировал поездку на дачу в субботу, как и договорился с Мариной, но не получилось. «Таежный» начальник задержал после утреннего совещания

(на которое теперь регулярно приглашали Иваненкова, хотя прежде как-то без него обходились), подмигнул по-свойски:

— Кто тебя на зарубежную орбиту вывел? Родной коллектив и я лично, понял или уже в невесомости пребываешь? Нет? Ну, тогда волоки руководство в приличную харчевню завтрашним вечерком. Душа, понимаешь, горит, и слеза прошибает: такого орла теряем!

— А как же насчет нормы жизни? — осторожно прощупал Владимир Петрович.

— Насчет нормы ты у Карюхина справься! — заржало начальство.

Было в этом выражении восторга что-то и впрямь жеребячье, из чего Иваненков с горечью заключил, что его начальству кое-что известно об отношениях Карюхина с Ларисой Алексеевной. Намеки вызвали горечь, обиду и острое нежелание встречаться с Карюхиным, хотя никаких намеков и не было. Но были они или не были — это относилось к личным делам Иваненкова, а распоряжение начальства — к общественным, почему он тут же постарался напялить маску друга и товарища и отправился разыскивать Вячеслава.

— Конечно, трезвость — норма жизни,— весело прокомментировал Карюхин.— Но ведь мы же всегда нормы перевыполняем: сто с прицепом — наша цель. Ну и гони три сотни, приглашай списочный состав в ресторан «Волна», а об остальном не суетись.

Расстроенный жеребячьей веселостью руководства, Иваненков кое-как настрелял требуемую сумму, и чрезвычайно довольный собой Карюхин исчез со службы по персональному распоряжению начальства. А в субботу вечером шесть лично отобранных «таежником» мужчин вкупе с Иваненковым ввалились в отдельный кабинет захудалого ресторана, где их уже ожидал Карюхин с объемистым портфелем, набитым бутылками.

— Закусочка, по шницелю, бутылка на нос, а остальное — для любопытных, если кто заглянет. Раечка, волоки!

Для любопытных стол был уставлен минералкой и кувшинами с квасом. Водка разливалась под столом лично Вячеславом при бдительной охране стоящей в дверях дородной Раечки, и все шло, как в добрые старые времена. По бутылке водки на человека и до двенадцати ночи.

— Хорошо гульнули! — с удовольствием отметил начальник, покровительственно обнимая Иваненкова.— Перестройка немыслима без развития личной инициативы, усек, Иваненков? Вот и растолкуй это шведскому королю и ихним хоккеистам.

Из-за этого мальчишника Владимир Петрович не только не поехал в субботу, но не успел даже предупредить Марину, что не приедет. И хотя постарался в воскресенье выехать пораньше, ехал медленно, так как ощущал свою «мужскую» порцию до сих пор. Но счастье продолжало улыбаться даже в таком некорректном случае, и он спокойно добрался до Миловидова. Однако ехать прямо на дачу было бессмысленно, так как Марины там уже не могло быть, и он оставил машину у подъезда Лопатиных.

Честно говоря, ему очень не хотелось здесь появляться. Он боялся случайной оговорки, оплошности, какой-то ошибки, которая открыла бы глаза добродушно глуповатому отцу и пронзительно подозрительной матери на его отношения с их дочерью. Тогда немедленно обрубалась бы ниточка, связывающая его с Маришей, а может быть, и вся его дальнейшая карьера оказалась бы под ударом: он знал меру как ханжества директрисы Любови Андреевны, так и меру ее мстительности. Да, эта воительница за социалистическую мораль могла написать десятки доносов не только на его службу, не только его жене, но и в ЦК, в газеты, на телевидение, в милицию — по всем мыслимым адресам вплоть до КГБ. И уж тогда на Швеции, а заодно и на перспективе оказаться техническим экспертом Внешторга можно было поставить крест. Это он понимал с абсолютной ясностью, и осторожность его возрастала до масштабов и качеств осторожности звериной.

А добрый и болтливый Илья Трофимович Лопатин был искренне рад его посещению. Грешным делом Иваненков полагал, что эта громогласная радость проистекает не от того, что Илья Трофимыч до сей поры с прежней теплотой относится к школьному товарищу, а потому, что устает играть все время одну и ту же роль. В маленьком городке, в котором прожито было более четверти века, где знакомым оказывался буквально каждый третий, социальная роль Лопатина выглядела весьма тяжелой и неблагодарной. Он все время обязан был помнить, что является заместителем городского хозяина, членом бюро горкома, супругом директрисы лучшей школы, депутатом горсовета и прочая, и прочая. В крупном городе таким персонажам было все же легче: они имели шансы затеряться среди обычных людей, сменить маску, сбросить внутреннее напряжение, но в условиях Миловидова это оказывалось невозможным. И поэтому, как полагал Владимир Петрович, Илья Трофимович так бурно, причем, совершенно искренне (что было особенно удивительным!) радовался его приездам.

— Володя? Владимир Петрович, Горлан ты мой дорогой!

— Здравствуй, Илья, извини, что...

— Да что ты, что ты, что ты!..

Они почему-то необычно долго обнимались в прихожей, тискали друг друга, хлопали по плечам. Владимир Петрович испытывал неуютное неудобство и некое подозрительное удивление, не понимая, с чего это вдруг Илью Трофимовича потянуло на столь дружеские излияния. Сам он был настолько чужд им, что начал было подумывать, а не скрывает ли это особо приветливое гостеприимство какой-либо особо крупной неприятности: «Знаешь, а нам Мариночка все рассказала...» Но Лопатин тут же развеял все его подозрения:

— Моя Любочка Андреевна в область к подруге подалась, вернется завтра, а Мариша — человек верный. Так что выпьем мы с тобою, как и положено...

Информация содержала два чрезвычайно отрадных факта: Марина была где-то неподалеку, может быть, даже в квартире, а от встречи с ненавистной хозяйкой его, как говорится, сегодня бог упас. Это выглядело подарком судьбы, но Иваненков все же не смог отказать себе в удовольствии чуточку съязвить:

— Что, Конопатик, очередное собрание местного ареопага отменило трезвый образ жизни?

Он не забыл квасного обеда, демонстративно устроенного ради важного гостя «из органов». И коньячного аромата, распространяемого этим высоким гостем по выходе из хозяйского кабинета, куда его, Иваненкова, в тот день и на порог не пустили.

— Проходи, проходи,— Илья Трофимович похихикал в некотором смущении.— Понимаешь, Владимир Петрович, жизнь, как говорится, есть жизнь и вносит свои коррективы. Конечно, мы продолжаем активную борьбу с отдельными проявлениями алкоголизма на широком фронте, но...— он замялся,— для своих буфетчица в нашей горкомовской столовой заворачивает, когда попросишь. Неудобно же члену горисполкома стоять в очереди за спиртными напитками.

— По-прежнему созидаете трудности, которые затем успешно преодолеваете?

К этому времени они прошли в гостиную. В квартире было тихо, хотя Владимир Петрович прислушивался с целенаправленностью охотничьей собаки. Тишина приводила к выводу, что в данный момент Марины здесь быть не может, и Иваненков изливал досаду в ядовитом сарказме. Но школьный друг оставался несокрушимо добродушным.

— Очереди просто немыслимые, Володя. И рождают ненужные разговоры, даже остроты.

— Так ведь от того, что буфетчица тебе из-под прилавка пол-литра продаст, очередь не уменьшится.

— К сожалению, ты прав. И поэтому мы вынуждены были открыть — заметь,— временно и в порядке исключения! — еще две точки по продаже спиртных напитков. Конечно, не только из-за очередей.— Лопатин вздохнул, вдруг огорчительно посерьезнев.— Зарплату платить нечем, Горлан. Городок наш растет и хорошеет, а снабжение, как всегда, отстает. И на сегодняшний день мы не имеем достаточного товарного покрытия: покупать в магазинах нечего, рабочий народ денег не тратит, а зарплата — дважды в месяц вынь да положь. Ну и пришлось обратиться за ссудой в область. Там, естественно, дали, но выразили крайнее неудовольствие и велели изыскивать возможности на местах.

— А кроме водки возможностей у вас нет и, как говорится, не предвидится.

— Предвидится! — Лопатин опять заулыбался простодушно и несокрушимо.— В том-то и дело, что предвидится. Стройку мехзавода завершаем, и это — не на бумаге, Володя, это вполне реальное наше завтра. Вот-вот будем сдавать. Помнишь, Аркадий Львович приезжал? Ну, который из органов. Подкинул он нам народу, и с помочью его орлов...

— Уголовников, ты хочешь сказать?

— Ах, опять ты употребляешь привычные штампы. Если люди честно, по-ударному, с огоньком и с учетом всеобщей перестройки трудятся на строительстве будущего гиганта, какие же они уголовники? Они есть случайно оступившиеся, а ныне условно освобожденные трудящиеся. Рабочий класс. Между прочим, за их самоотверженный труд я лично получил благодарность от вышестоящих инстанций.

— Поздравляю. А сколько в твоем городке драк, хулиганства, поножовщины?

— Представь, резко снизился общий процент правонарушений! — с радостным торжеством объявил Илья Трофимович.— Да, да, как ни парадоксально, а факт. И трижды права моя Любовь Андреевна, утверждая, что наш способ условного освобождения воистину творит чудеса в душах случайно оступившихся. И я испытываю чувство законной гордости, что поверил во вчерашних ...э-э... оступившихся и смело привлек их к созидательному труду на благо всего нашего общества, захваченного могучим очистительным потоком перестройки и ускорения...

Он — вероятно, по многолетней привычке — продолжал бы и далее в том же духе, поскольку не израсходовал еще запасы восторженного административного пыла. Но внезап-

но распахнулась дверь комнаты, и Лопатин замолчал, заулыбавшись неуверенно и как бы даже чуточку глуповато.

— Привет! — сказала Марина.

Она появилась явно готовой немедленно куда-то удрать: была подкрашена, старательно причесана, одета в нарядное платье, а не в привычные потертые джинсы, и держала в руках легкую спортивную сумку. Спокойный взгляд ее скользнул по Иваненкову. И Владимир Петрович ощутил, как сжалось сердце: Марина, конечно же, не простила ему пустого вчерашнего ожидания, и теперь демонстративно уходит с глаз долой.

— Мариша? — кажется, отец был удивлен не меньше гостя.— Куда же ты? А обед..

— Я куда? Я — к Светке, я же тебе сто раз говорила, что у нее — день рождения, и что я вернусь не раньше двенадцати. Ну что ты стоишь. Поставь разогревать суп: твой гость с дороги.

— Да, да, правильно. Забыл, совсем забыл!..

Илья Трофимович суматошно скрылся. Марина проводила его взглядом, шагнула к Иваненкову, обняла, прижалась всем телом:

— Я — прямехонько в наш замок. Я жду. Жду!..— поцеловала полуоткрытым ртом, шепнула с необычайной, женской обещающей интонацией: — А за вчерашнее потребую компенсации. Я решила, ты все понял? Ре-ши-ла. Скорее приезжай. Жду, жду, жду!..

3

— ...никогда, никому, даже в уме, даже про себя не говорила «люблю». Слышишь? А тебе говорю, шепчу, кричу: ты — мой, мой, мой! И — вдруг на «ты». Ты не обиделся, что я сразу на «ты»? Тебя так долго не было, а я все время, каждый день разговаривала с тобой — ты знаешь, так, оказывается, бывает! — разговаривала, разговаривала, и как-то сама собой стала называть тебя, как... как...

Марина засмеялась, привстав, неожиданно двумя руками схватила его за плечи, затрясла, радостно, возбужденно, сияюще смеясь. И рухнула на него всем телом, изо всех сих прижимаясь грудью к его груди.

— Слышишь? Слышишь? Слышишь? Думаешь, это меня законтачило? Нет, это бьется моя любовь. Ты слышишь, как она бьется во мне, слышишь?

— Слышу.

Он сказал расслабленно и счастливо. Он лежал и улы-

бался, давно лежал и давно улыбался: у него уже ломило скулы, но не улыбаться он не мог. Не мог перестать улыбаться, потому что ничего подобного никогда еще не испытывал, не переживал, не ощущал да и не предполагал даже, что в мире существует такое могучее ощущение, какое он испытал сейчас, когда все уже было позади. Собственная нерешительность, неуверенность, страх, дистанция возраста, пропасть между поколениями — все, все рухнуло вмиг, все стало как бы и не существующим, а лишь навязанным ему окаменелыми традициями и ханжескими постулатами, от которых он отвернулся, сразу став свободным, гордым, могучим, молодым... Нет, нет, и этого всего казалось недостаточным, чтобы определить всю гамму его внутреннего торжества. Совместного мгновения духа и тела, их осуществленной гармонии, которая никак не умещалась в убогое, затертое понятие счастья. Она была шире, выше, больше, весомее; Владимир Петрович не мог выразить словами переполнявшие его чувства, но понимал, как важны были бы эти слова для Марины, насколько они умножили, возвели бы в степень тот небывалый подъем, который ощущала сейчас и она. Понимал, все понимал, но не мог выдавить из себя ни одного слова, и лишь гладил ее прохладные плечи, изредка прижимая к себе такое гибкое, юное, сильное тело.

— Скажи мне что-нибудь. Ну, пожалуйста, Ну, прошу тебя...

Сколько мольбы было в голосе, сколько надежды, услышать то заветное, что, наконец-то, скажут ей, ей одной, лично ей, выделив ее из всех женщин земли, подняв на недосягаемый пьедестал, сложив к ногам всю любовь и всю нежность. Иваненков знал расхожий афоризм, что женщины любят ушами, но представлял себе эту любовь, как представляют ее все мужчины: женщины теряют голову от их остроумия. И только теперь понял, что теряют они голову не от мужской болтовни, а от нескольких нежных слов, сказанных не «до», не авансом, а «после», потом, когда все уже позади, когда мужчина все отдал, а женщина все получила, и до полного счастья ей не хватает сущего пустяка. «Сущего пустяка» — с точки зрения мужчины, ибо для женщины именно в эти мгновения и наступает время слуша ь и жажда услышать.

— Скажи мне что-нибудь...

Господи, сколько миллионов женщин молили, молят будут молить довольных, достигших, а потому и устало глухих мужчин об этом Сущем Пустяке! И как же трудно произнести их опустевшей душе, хотя совсем недавно, пол-

часа, час назад эти же слова с легкостью спархивали с языка...

— Ты — чудная. Я совершенно потерял голову.

— Не то. Мило, приятно, но — максимум семерка. А ты должен всегда попадать только в десятку. Только в «яблочко», потому что ты — все. Вся сила мира. Ну скажи же мне что-нибудь, скажи.

Но именно в этот миг Владимиру Петровичу невыносимо трудно было произнести слово «люблю». Доселе он никогда не ощущал подобных затруднений, с легкостью выговаривал эти заклятые пять букв и жене, и тем считанным женщинам, которые у него были, и даже Марине — тогда, в ночь его бессилия и позора. А сейчас, когда он и вправду испытывал к лежавшей рядом девушке усталую нежность и искреннюю благодарность, слово никак не желало срываться с губ. Он катал его во рту, как гальку, ощущая тяжесть и твердость, но выдавить его из себя не мог при всем желании. Ну что в нем особенного, в этом слове, почему они так иступленно жаждут его? Слово как слово, отвлеченное понятие. Я люблю пельмени, ты любишь соленый огурчик, она любит грибы в сметане, Пицунду и родной коллектив. Ну, и что? Да все мы, даже не замечая, по сто раз на дню употребляем это слово всуе, но вот наступает такая минута, когда женщина отбрасывает все иные понятия, оставляя одно: собственную тайну. И требует, просит, настаивает, с ножом к горлу пристает, чтобы он произнес некое древнее колдовское заклятие, которое гарантирует счастье. Ну, пожалуйста. Как говорится, хоть килограмм.

— Я... Понимаешь, ты ведь и вправду совершила чудо. Ты превратила меня в другого человека, ты...

— Не то, не то, не то. Одно слово, и больше ни звука. Ты же все, все решительно понимаешь, ты — умный, ты необыкновенный, ты — мой господин, мой повелитель. Скажи. Я сейчас прижмусь покрепче, обниму тебя, замру и буду ждать.

Она прижалась к нему, но прижалась как-то по-иному, сразу всем прохладным обнаженным телом, не просто прикасаясь, а словно сливаясь с ним в одно целое. И он ощущал ее сейчас не по отдельности — руки, грудь, бедра,— а всю разом, целиком, будто она обволокла его собою.

— Ну!..

Иваненкову вдруг отчаянно захотелось, чтобы Марина ушла. Уехала домой, оставив его одного, дав ему возможность и отдохнуть, и поторжествовать, и полюбоваться собою. Он понимал, что тот идеальный супермен, о котором мечтала Мариша (и которого каким-то таинственным об-

разом разглядела в нем) поступил бы четко и честно, сказав: «Иди-ка ты домой, девочка». И она не просто безропотно пошла бы, но пошла бы, внутренне возликовав, ибо окончательно убедилась бы в суровом суперменстве своего избранника. Да, Владимир Петрович отлично понимал это, но не мог, не имел душевных сил отослать ее домой, хотя предлог был: за окном давно уже было темно, и только чистый снег подсвечивал их тела. Не мог произнести: «Люблю», не мог вымолвить: «Ступай домой» — ничего он не мог.

— Хочешь, я сама скажу? — вдруг зашептала она, касаясь уха пухлыми губами.— Я хочу родить тебе сына. Молчи! Я решила. Я решила, ты слышишь?.. И у тебя будет сын, будет.

— Ах, Мариша, девочка моя, у меня нет слов, чтобы выразить...

Он споткнулся и начал ее целовать, потому что мог выразить только страх: что могло быть ужаснее ребенка!.. Кое-как справившись с этим ужасом, начал бормотать, пытаясь сказать хоть что-то, но и слова, и голос были переполнены придавленным страхом. Иваненков чувствовал их фальшь, но все говорил и говорил, точно и в этой ситуации возлагал надежды на переход количества в качество.

— Расслабься,— со взрослой, почти материнской жалостью сказала она.— Ты весь — комок нервов. А ведь все уже позади. Я — твоя. Да, да, самая настоящая твоя собственная женщина, которой тебе достаточно приказать и... И я немедленно исполню твое повеление.

— Любое? — он улыбнулся.

Ему был неинтересен этот разговор, но он уводил в сторону, отвлекал Марину сразу от всех желаний. От странного желания немедленно, сию же секунду, услышать признание в любви и от еще более странного (скорее — страшного!) намерения родить ему сына.

— Попробуй.

— Лучше приберегу для следующего раза.

— Нет, прикажи сейчас.— Она вновь прижалась губами к его уху, шепнула, смущаясь: — Я ведь еще ничего не понимаю и...

— Мариша, клянусь тебе...

— Молчи, я лучше знаю. Молчи, молчи, молчи...

Она начала часто целовать его мелкими бегающими поцелуями. Задыхаясь, еще теснее прижалась к нему.

— Спи. Спи. Уже поздно. Уже поздно. Уже все зверьки спят в своих норках. И мне тоже надо убегать в свою берлогу. А ты спи. Спи, я тихонечко оденусь и исчезну...

— Мариша... Подожди, Мариша. Подожди.

— Но уже поздно, родной мой. Я обещала папе, что буду...

— Обожди...

Он вдруг ощутил, что способен сказать то, о чем столько времени просила она, чего ждала, что жаждала услышать. Теперь он мог сказать это с легкостью.

— Я люблю тебя. Я люблю тебя, Маришенька, люблю, люблю!

— Сказал!

Засияли не только ее глаза, прозвенел не только ее голос: вся она в этот миг звенела и светилась, и не было больше никого во всем мире...

— Вот теперь... теперь беги. Ведь и вправду поздно.

Задыхаясь, он лежал на спине. Торжествующий и могучий, как самый Первый мужчина, рядом с Первой женщиной. И женщина эта тихо и благодарно обмирала рядом от счастья.

— Родной мой.

— Беги, Маришка. Беги. Очень поздно.

— Я успею на последний автобус. Я ведь бегаю напрямик. По тропиночке.

Поцеловала, шепнув: «До следующей пятницы?..», выскользнула из-под одеяла. И в полутьме она стеснялась своей наготы и потому держалась диковато, все время стараясь прикрыть себя.

— Глупая девочка, у тебя прелестная фигурка, а ты изо всех сил прячешь ее от меня,— расслабленно сказал он.

— Не смотри,— она смущенно улыбнулась.— Я привыкну, я обязательно привыкну, но ты все-таки пока закрой глаза.

Иваненков не послушался ее, и Марина знала, что он не послушается. Но одевалась без суеты, быстро и ловко. Одевшись, склонилась над ним.

— До встречи?

— Надо было идти в брюках,— сказал он наставительно.— Кругом снег, а ты почему-то надела юбку.

— Тебя соблазняла,— она крепко поцеловала его, шепнув на прощанье: — И соблазнила...

Провела ладонью по его щеке, резко развернулась, по-девичьи раскрутив широкую юбку, и вышла. Он слышал, как она одевается в передней, как шуршат одежды, как притоптывает она сапожками, и как застегиваются длинные «молнии» этих сапожек. Потом хлопнула дверь, и Владимир Петрович вздохнул с огромным облегчением.

4

Нет, никогда, ни разу за всю жизнь не ощущал Владимир Петрович Иваненков такого торжествующего, такого фанфарного счастья. Оно гремело в нем, оно разворачивало его далеко не культуристские плечи, заставляя дышать полной грудью и испытывать при этом огромное физическое наслаждение. Оно пропитало небывалой мощью каждую клеточку его существа, и он реально ощущал, насколько силен, смел и могуч сегодня тот, кого когда-то в школе звали Горланом.

Иметь бы такой генератор силы, счастья и радости рядом, пить бы из этого источника каждый день живую воду — что могло бы быть лучше? Он представил Маришу в своей жизни — то ли в качестве супруги, то ли еще в каком-то, не очень определенном качестве. Представил не столько ее, сколько саму возможность припадать к этому роднику не тогда, когда ему удастся вырваться из семейного плена, а как только он этого захочет, и ясно понял, что жизнь его тогда лишь и станет полной, яркой, омоложенной самим присутствием юной женщины. Представил, как он знакомит ее со своими сослуживцами, с «таежным» начальником и даже с тем, запредельно высоким и беспредельно могущественным, хозяином кабинета в Москве, и сразу же ощутил прилив небывалой, распирающей гордости. Волна этой гордости возникла в нем только от одного представления, что он так сделает, а если бы он сделал так на самом деле?! Да на этой волне, которую вне всяких сомнений переполненная очарованием юности и неосознанного женского шарма Марина, он, Владимир Петрович Иваненков, взлетит воистину на высоты недосягаемые. Например, представителем Внешторга где-нибудь в нежаркой стране — в Голландии, Бельгии, Дании или той же Швеции. Да Марина произведет небывалый фурор в среде дип и торг дам, озверевших от тоски по дому, иностранного изобилия и зависти одновременно. Она — молодая, гордая, современная со своим сорок шестым рядом с этими, каждая из которых всегда почему-то никак не меньше пятьдесят четвертого! Боже мой, да он же — король рядом с такой королевой, центр не только землячества, но и вполне светских (естественно, прогрессивных) салонов местной элиты, она — живой пропуск в любой круг, дом, клуб, раут, званый обед: куда угодно, хоть на чай к самой королеве английской! И рядом он — элегантный, остроумный советский супермен, владеющий не только несколькими (придется подучить испанский, что ли?) языками, но и звездой первой величины:

как это поднимет не только его престиж, но и престиж всего Внешторга, а то и всей нашей страны! И какие выгодные договора шутя будет подписывать он, и как здесь, в Москве, мгновенно ощутят его личный вклад, и тогда...

Владимир Петрович боялся даже подумать, что будет ТОГДА, боялся домечтаться до какого-то определенного результата, который может быть следствием только его личного поступка, его реальных действий. Ведь живая Марина, Марина из жизни, а не из дремотных фантазий, возникнет рядом лишь при условии, что профессор Лебедева Лариса Алексеевна, мать его единственной дочери, исчезнет, останется в прошлом, в опостылевшей провинции, в то время, как он вместе с молодой... гм... Маришей будет наслаждаться европейскими благами. А исчезнуть Лариса Алексеевна могла только после развода, а он об этом разводе даже боялся подумать, ибо разводов исстари очень не жаловали «наверху», в тех тихих, огромных, пустых кабинетах, куда он был допущен лишь единожды на считанные минуты. Нет, нет, ТАМ ни о каких разводах и слышать не хотели, не могли слышать физически, до отвращения. И немедленно на таких разведенных ставили клеймо «аморалки», с которым ни о какой работе в загранке нечего было и мечтать. Это было табу. Абсолютное, молчаливое и освещенное традициями, как и всякое табу.

Вот если бы его Лариса Алексеевна вдруг умерла... Нет, смерть — это слишком жестоко. Это — мертвое тело, похороны, кладбище с могилами — нет, нет! Лучше всего — катастрофа. Авиа, естественно. Почти мгновенно и никаких хлопот: всеобщее соболезнование и все. Он так и не увидит Ларису Алексеевну мертвой, и в то же время она исчезнет. Как бы растворится в воздухе. И он будет абсолютно свободен. Он вернется из Швеции и сразу же (ведь пройдет вполне приличное время) женится на Марине. Официально, торжественно и очень красиво. Белое платье, фата, цветы, марш Мендельсона, и он лично, счастливый жених Владимир Петрович Иваненков в черном костюме от Кардена. С парижским галстуком, элегантный, как наследный принц...

За окном неспешными ласковыми хлопьями падал снег, и в нем тоже была какая-то умиротворенная усталость. Владимир Петрович повернулся на правый бок, старательно подоткнул одеяло, чтобы не дуло, устроился поудобнее и начал неторопливо, не упуская ни одной детали, рисовать в своем воображении грядущую свадьбу с Маришей...

Он и не заметил, как уснул, и сон его был глубок и целебен, без сновидений, жара и озноба, без кошмаров и тяжкого дыхания. Это был сон детства, и Владимир Пет-

рович подумал об этом еще в полудреме, еще на самой грани бодрствования. Подумал и сразу же вспомнил о Марине, потому что так легко засыпать и так радостно просыпаться он начнет тогда, потом, после свадьбы. И тут же вскочил, вовремя сообразив, что самое лучшее — это уехать спозаранку, в полутьме, пока всевидящее око Сковородниковой еще дремлет в самом прямом смысле. На работу он успевал с хорошим запасом, и не работа была главным в его решении, а желание убраться подобру-поздорову. В мужском мире, о котором, правда, до сей поры он больше знал понаслышке, действовал железный принцип «Без осложнений», и сегодня Иваненков с особым удовольствием припомнил о нем, ибо волшебная ночь отныне давала ему все основания считать себя в элите сильной половины человечества.

Он даже не стал завтракать: настолько вдруг ощутилась потребность обойтись «без осложнений», а путь до машины оставался вполне реальным расстоянием, которое следовало пройти быстро и озабоченно. Небо еще только чуть светлело, снег давно кончился, да и падал он, вероятно, совсем недолго, поскольку вчерашние следы легко проглядывали сквозь легкие хлопья. И он быстро пошел к машине, завел, хотел было прогреть двигатель, но греть на малых оборотах означало терять время, а на больших — поднять рев на всю сонную округу. Поэтому он погрел совсем немного, лишь бы тронуться с места. Он стремился исчезнуть как можно скорее, но холодный мотор тянул плохо, норовил заглохнуть, дергал, и Владимир Петрович почему-то начал нервничать. «Чушь какая-то,— сердито подумал он.— И чего крадусь, когда вчера приехал открыто, и Илья знает, что я ночую на даче...» Все было трезво и разумно, но он суетился, равновесие духа нарушилось, и гордый жених завтрашнего дня опять превратился в нерешительного и трусоватого неврастеника Иваненкова.

И все же двигатель прогрелся, машина перестала дергаться, и Владимир Петрович выехал на шоссе успокоенным. Повернул к городу, уже обретя если не ночную победную самоуверенность, то, во всяком случае, приятное довольство собой. Шоссе было абсолютно пустынным, и он решил поднажать, как только поравняется с автобусной остановкой: напротив нее из лесу на шоссе выходила тропинка, по которой вчерашней ночью Мариша бежала на последний автобус. Иваненков неспешно миновал столбик с автобусной табличкой, мельком глянул налево, на тропинку, нажал на акселератор, разогнал «Волгу», но тут же сбросил газ, а затем и вообще остановился. Он и сам поначалу не мог

понять, почему так сделал, и лишь спустя какое-то время нашел причину. Нашел, и его мгновенно бросило в жар: вспомнил выбегающую из придорожных кустов тропинку напротив автобусной остановки. Проезжая, он бросил на нее взгляд, но только сейчас до него дошло то, что он увидел.

На тропинке было много следов. Много. А ведь Марина выбежала вчера до того, как пошел снег.

5

Марина выбежала вчера с дачи до того, как пошел снег...

— Ну и что с того? Что?..— он закурил, а пальцы дрожали.— Она пробежала до, а потом кто-то прошел...

Иваненков даже не заметил, что говорил вслух, точно пытаясь собственным голосом заглушить внезапно охватившее его смятение. Кто мог ночью топать по этой тропке? Куда? Зачем?.. Он не задавал этих вопросов: просто они возникли в нем сами собой, помимо воли и желания. И помимо воли и желания он тронулся с места, развернулся и поехал назад. К тропинке.

Он остановил машину, не доехав до того места, где тропинка вырывалась из придорожных кустов на шоссе. Вылез, почему-то не хлопнув дверцей, а прикрыв ее осторожно, почти беззвучно. Бросил недокуренную сигарету и пошел вперед, тоже почему-то крадучись. И остановился у начала тропки. Или — у конца, если началом считать его дачку в лесу.

Да, здесь было основательно натоптано. Грубые мужские следы наступали один на другой, будто топтались, мешая друг другу. А вот следов женских сапожек, сапожек Марины, которыми она притоптывала ночью в передней, чей звук застегиваемых «молний» с такой ясностью вдруг припомнился ему, нигде не было видно. Да что там, их же и быть-то не должно: ведь сапожки пробежали раньше, на последний автобус, а потом — ПОТОМ! — здесь топтались мужики в больших грубых сапогах. Может, дрались, не поделив что-то, может, несли...

— Несли!

Иваненков в миг покрылся обильным, липким потом. Пот ручьями стекал по спине, по груди, капал со лба, но он ничего не ощущал. Ничего, кроме страха. И чуял, до физически ощутимого ужаса чуял, что страх этот — ТАМ. На опушке леса, за придорожными кустами.

Но как ни велик был этот страх, как ни ужасен, Вла-

димир Петрович должен был шагнуть ему навстречу. Он был сейчас пуст, пуст абсолютно, он неспособен был ни о чем думать да и не желал этого: у него не было желаний. У него вообще ничего больше не было.

Да, несли, конечно же, несли, явно несли. Он тупо смотрел под ноги, представил красное пятнышко под огромным тяжелым следом, нагнулся, выдернул... Вязаную красную шапочку выдернул. Ее шапочку. Марины.

Красная Шапочка и Серый Волк. Нет, волки. Волки, вырвавшиеся на свободу в их волчьем понимании. Он и об этом не подумал — просто возникла серия картинок. Картинок из страшного комикса, в начале которого он ясно представил колючую проволоку на окраине Миловидова. Условно освобожденные строители... совсем близко отсюда: три автобусных остановки.

Теперь Иваненков точно знал, что он сейчас увидит. Через несколько шагов. Раз, два... И — увидел...

...Марина лежала на снегу у самой кромки леса. Лицо ее было накрыто подолом юбки, а тело казалось белее снега. Страшное белое тело, разбросанное дико и нелепо: жалкие обрывки белья пугающе подчеркивали наготу смерти. Смерти: это он сообразил мгновенно, а может, и не сообразил, а просто знал, что Марина непременно окажется мертвой. Мертвой — рядом с его дачей. Да черт с ней, с дачей, да гори она синим пламенем, но — Швеция?! Конечно, он ни в чем не виноват, конечно, ему ничто не грозит, но следствия все равно не избежать. Нет, он не убивал, не насиловал, он любил ее, слышите?.. Но графа «Состоял ли под следствием» отныне уже не может быть прикрыта энергичным «НЕТ», которое с такой легкостью писал он доселе во всех бесчисленных анкетах. Да господи, разве только в этом дело? Это же конец, вообще конец, конец всему. Конец надеждам, мечтам, семье, покою, службе, будущему. Соблазненная и покинутая, а для милиции — соблазненная и убитая. Им! Им соблазненная и им же убитая, им конкретно, Иваненковым Владимиром Петровичем. Потому, что он мог это сделать, МОГ. И никто никогда не станет искать неизвестных преступников, когда есть известный соблазнитель, свидетели, дом свиданий и полное отсутствие алиби... Господи, за что? За что же так, господи?!

Нет, нет, не обманывайся, никакой ты не свидетель, ты — обвиняемый. Единственный обвиняемый: какая там, к черту, заграница, когда решетка впереди, десять лет строгого минимум, и попробуй, докажи, что ты не верблюд. Попробуй доказать свою невиновность, если само понятие презумпции невиновности существует только в научных

спорах, а в жизни, в практике откровенно торжествует презумпция виновности. Презумпция виновности каждого — вот основа нашего права. Мы живем, только сохраняя равновесие: теряя его, не живем, а цепляемся, пока окончательно не падаем. И нас топчут тогда, как хотят... Нет, нет, ни за что, слышите?!

Иваненков вдруг заплакал. Нервы сдали сразу, внезапно сдали, будто соскочили с колков и сейчас больно бились внутри. Он плакал громко, всхлипывая и подвывая; слезы текли по лицу, и он совсем не по-суперменски утирал их рукавом. Ему было жалко себя, своей загубленной жизни, разрушенной семьи, дочери, навеки утраченной Швеции. Настолько жалко, что он уже люто ненавидел Марину, из-за которой... Из-за которой до сих пор не решался ни на шаг отойти от собственной машины. А следовало на что-то решиться: либо бежать без оглядки, либо шагнуть за кусты и оглядеться.

Он все же шагнул. Колени дрожали и подгибались, сердце сжалось в детский кулачок, в глазах стояла странная пелена, и он беспрестанно моргал, чтобы избавиться от нее. И шел мелко, пригнувшись и старчески перебирая ногами. «Несли же ее. Несли. Несли...» — стучало в висках. Он ведь точно знал, что сейчас увидит. Знал!..

А увидел пятачок истоптанного снега, пустую пачку «Беломора» и три пузырька из-под цветочного одеколона. Иваненков растерянно оглянулся в поисках чего-то, красной шапочки, что ли. Или — следов. Но обнаружил еще три пустых флакона, начало припорошенной девственным снегом тропинки, а под ним — легкие следы знакомых сапожек. И больше ничего. Ничего решительно.

«Сволочь! Ну какая сволочь все-таки!..»

Он не успел сообразить, почему с такой яростью ругает Марину. От внезапного открытия, что ничего не случилось, что во всем повинно лишь его болезненное воображение, у него вдруг схватило живот. Схватило мучительно и постыдно; он еле успел расстегнуться и нагадил прямо на тропинке не потому, что кругом были снега, а от нестерпимых схваток в животе.

«Сволочь. Ах, какая сволочь!..»

Он остервенело гнал «Волгу», впервые не осторожничая и не думая о ГАИ. Он думал о Марине с обидой и ненавистью, потому что она подло обманула его, провела, переиграла, как когда-то переиграла его жену. О, как Иваненков теперь понимал свою Ларису Алексеевну! Ведь эта маленькая дрянь сделала с ним еще хуже, заставив ... заставив в мыслях совершить гнусность, ощутить собственную мер-

зость, прочувствовать ее и чуть ли не обделаться на том самом месте, где двое полуночных забулдыг жрали цветочный одеколон...

Но ведь все в порядке: никто никого не изнасиловал, не убил. Впереди — заветная Швеция, а там, глядишь, и заветный Внешторг. Все в полном порядке, а что на душе погано, так это пройдет. Все проходит. Все... кроме ощущения, что судьба заставила тебя однажды снять маску и заглянуть, как в зеркало, в собственную душу...

— Надо продать дачу,— сказал он жене тем же вечером.

— Как знаешь. Это ведь тебя одарили.

На другой день он позвонил в Миловидово, но разговаривать не стал: трубку взяла Марина, и ему достаточно было ее: «Слушаю! Слушаю! Говори же, я одна!..» Потом дал объявление о продаже дачи, а вскоре отбыл в долгожданную заграничную командировку, где изо всех сил старался быть улыбающимся, корректным и деятельным.

ОЧЕРКИ

ПОСЛЕДНИЙ ВАРЯГ

Не знаю, каковы универсальные молитвы иных народов, а наша — триедина. Мы с древнейших времен просим уберечь нас, наших близких и саму Землю нашу от Мора, Глада и Пожара. А война в это заклинание не попала. Только ли потому, что огонь, болезни и голод представлялись стихиями, а войны — деянием человеческим, рукотворным? А может быть, потому, что предкам нашим приходилось хвататься за мечи куда чаще, чем за чапыги, а топор не только строил, но и разрушал? Впрочем, так жили тогда все оседлые народы, нет в этом никакой особой избранности, и на древнем языке пращуров наших война именовалась ТРУДОМ, а мужчины, ею занимавшиеся, ТРУТНЯМИ. Тогда это название звучало вполне уважительно, воины-трутни окружались почетом, опыт передавался по наследству вместе с дорогостоящим вооружением и обязанностью защищать Землю Русскую, что и послужило материальной и исторической предпосылкой зарождения служилого дворянства, военной касты Руси, костяка ее дружин, армии и флота. И следует отметить, что как на Руси, так и в России армия всегда была профессиональной: ополчение («рать») собиралось в обстоятельствах чрезвычайных и выполняло вторичные функции. И лишь в 1874 году Военная реформа Александра II, отменив рекрутчину, ввела всеобщую воинскую повинность, профессиональная армия прекратила свое существование, что очень не нравилось Л. Толстому.

Не отсюда ли наше совершенно особое, теплое и всегда уважительное отношение к воинской профессии? Каждый народ чтит своих полководцев и героев, это естественно: они спасали Отечество, наращивали его мощь и силу. Однако наша, русская история куда более кровава и огненна не потому, что мы воинственны, а потому лишь, что Родина наша взрастала на стыке трех суперэтносов, мечом отбиваясь от Востока, Запада и Юга во имя спасения самой жизни своей. Но мечи — оружие обоюдоострое, а выход за пределы

необходимой обороны чреват расплатой. Вот о расплате истории и пойдет сегодня речь.

Основы судьбинных перемен в истории Древней Руси, повлекших за собою страдания народов, кровь и пожарища, исчезновение одних племен и переселение других заложены были в чрезвычайно активной деятельности сына князя Игоря Рюриковича Святослава. Его полководческий талант оказался талантом разрушителя, а не созидателя: Святослав Игоревич, внук конунга варягов полулегендарного Рюрика вырос в одного из самых блестящих завоевателей, но так и не смог ощутить себя князем-политиком, князем-собирателем, хранителем и хозяином Рюрикова наследства. Наоборот, именно ему суждено было заложить динамит под собственную отчизну.

О Святославе создано множество легенд: он и впрямь был личностью незаурядной, особенно выдающейся на фоне своего незадачливого отца. Летопись сообщает о его фанатичной приверженности походной жизни, о его простоте и аскетизме, личной отваге и воинской суровости. Характерно, что он оказался первым Рюриковичем, получившим славянское имя: его дед и отец носили древнегерманские имена. Однако чисто славянское имя оказалось единственным славянским признаком: как по характеру, так и, в основном, по всем своим поступкам Святослав представляется типичным варягом-завоевателем, дом которого не стольный град Киев, а — дружина, родичи — дружина и смысл жизни тоже оказывается дружиной, ибо о ней, о ее преданности, о ее благополучии заботится он в первую голову, а совсем не о благополучии Руси. Летописные свидетельства позволяют полагать, что князь Святослав еще в юности «ушел в вик».

Что это значило? Викингами Европа называла скандинавов — участников морских грабительских походов в конце VIII—середине XI веков. Скандинавские юноши, желая стать викингами, переселялись в укрепленный поселок («вик»), полностью порывая все связи с родом своим. Живя морским — и не только морским разбоем, они существовали по законам военной организации, выбирая себе вождя — конунга. На Руси их звали варягами, в Западной Европе — викингами, данами, норманнами, но как бы они ни назывались, название определяло не национальность, а — профессию. Применительно к Древней Руси варягами могли стать как жители Скандинавии, так и славяне, финны, корелы, эсты, ливы и т. д. Уходя в «вик», юноша отрекался от прав на наследство, родную землю, родителей и самого рода своего: все заменяла клятва, данная конунгу.

История не сообщает, кто подтолкнул юного князя Свя-

тослава к такому решению. Его воспитателем был боярин Асмуд, военным наставником — Свенельд, знаменитый воевода его отца и матери княгини Ольги. Оба они — скандинавы, любой из них мог с детства рассказывать Святославу героические саги викингов или полную тревог и боев, побед и поражений биографию его деда конунга Рюрика. Как бы там ни было, а господствующей идеей всей жизни Святослава стала мечта создать новое государство лично для себя. Это идея — идея варяга-завоевателя, а отнюдь не славянского князя, по праву владеющего уже созданным трудами предков Великим княжеством.

Святослав прошел хорошую школу не только личного военного мастерства, но и управления дружиной. Воспитатели — и Асмуд, и Свенельд — учили юного князя аскетической жизни варяга: спать без шатра, подстелив попону; питаться полусырым, чуть поджаренным на углях мясом; обходиться без всяких удобств, деля тяготы походной жизни с дружинниками, как то полагалось бы конунгу, но отнюдь не князю. Летопись особенно подчеркивает это, из чего напрашивается вывод, что ни князь Олег, ни князь Игорь подобного самоистязания не знали. Они были владыками государства, в то время как Свенельд с раннего возраста воспитывал в Святославе вождя отборной дружины, а по сути — варяжского конунга. Если предшествующие киевские князья привлекали под свои знамена воинские силы всех подвластных им славянских племен и всех желающих вольных витязей, то Святослав с юных лет привык рассчитывать только на свою высокопрофессиональную, но вряд ли многочисленную дружину. Она была не просто слепо предана своему вождю-конунгу, но и обходилась без обозов (опять — примета скорее варяжской ватаги, нежели княжеской дружины), что не просто объясняет ее чрезвычайно высокую маневренность (летопись сравнивает быстроту передвижений Святослава с барсом), но и подтверждает ее сравнительную малочисленность: большую армию без запасов продовольствия и фуража не прокормишь, на подножном корму способно существовать ограниченное количество как воинов, так и лошадей.

Однако здесь важнее иное: Свенельд создал для Святослава прообраз варяжской дружины, сплоченной круговой порукой, беспрекословно послушной, высокопрофессиональной, но... Но лишенной народных корней. Не было и не могло быть у них племенных связей, не стояли за ними города и села, за жителей которых они были бы в ответе. Как и у варяжских ватаг, у них было только настоящее, но не было прошлого. Князь Святослав всю жизнь лепил

дружину по своему образцу, но и дружина всю жизнь лепила своего вождя по своим представлениям. И в этих представлениях Родине не было места.

Несколько слов следует сказать о Свенельде, о его влиянии на Святослава и о тех возможных побудительных мотивах, которые двигали его особыми заботами. Свенельд (имя др.-герм.) — известный полководец и государственный деятель Киевской Руси, занимающий прочное место в нашей истории. Его послужной список внушителен: покоритель тиверцев, уличей и древлян, участник военных походов в Византию и Закавказье, воевода князей Игоря и Святослава, глава Киевского правительства при регентстве Ольги, советник князя Ярополка Святославича. Мало того, в Летописи есть некая загадка, расшифровка которой заставила историка Л. Н. Гумилева предположить нечто большее в поведении Свенельда, нежели преданность киевским князьям.

Дело в том, что согласно Летописи отцу Святослава князю Игорю при рождении знаменитого сына было... более 66-и лет. Любопытно и то, что княгиня Ольга с сыном жили не в Киеве, а в пожалованном Ольге сельце Вышгороде, равно как и то, что после гибели князя Игоря Ольга становится регентшей при малолетнем сыне, а Свенельд — главой правительства, то есть, фактическим правителем государства. Вот почему Л. Н. Гумилев не без оснований считает, что отцом Святослава был, по всей вероятности, Свенельд. Это предположение устраняет многие противоречия в Летописи и объясняет особую заботу Свенельда в воинском воспитании княжича Святослава.

Хочу напомнить и о мучительной гибели отца Святослава князя Игоря Рюриковича: согласно летописной легенде он, еще живой, был привязан к вершинам двух склоненных берез, и разорван пополам, как только березы отпустили. Казнь не только жестокая, но и странная: нет персонально повинных, нет убийц с именами, хотя Летопись и указывает на сына Свенельда Мстислава (Люта) Свенельдыча. Случайность? А может быть, наоборот: обдуманное нежелание брать на себя именную вину за убийство великого князя Киевского, сына основателя династии? Но каким же образом вождь могучей княжеской дружины вообще попал в плен?

Летопись утверждает, что во всем виновато легкомысленное корыстолюбие князя Игоря. Дело в том, что дружина Свенельда (опять!), получавшего дань не только с уличей, но и с древлян, с точки зрения княжеских дружинников была лучше обеспечена, нежели они. «Мы босы и наги, говорили воины Игорю, а Свенельдовы отроки богаты оружием и всякою одеждою. Поди в дань с нами, да и мы,

вместе с тобою будем довольны» — так, основываясь на Летописи, писал Карамзин. Процитируем далее: «Князь... исполнил ее желание; отправился в землю Древлян и... обременил их тягостным налогом...» Затем, «он вздумал отпустить войско в Киев, и с частью своей дружины возвратился к Древлянам, чтобы потребовать новой дани». Вот тут-то возмущенные древляне похватали оружие и под начальством князя своего Мала разгромили слабый отряд и убили Игоря. Все на первый взгляд очень просто: сам виноват, не жадничай. Но если подумать, то тут уж слишком много несуразностей.

Во-первых, как мог опытный полководец вернуться с малочисленным отрядом в только что им же опустошенную страну? Во-вторых, он вообще собирал дань незаконно: собирать дань с древлян было правом Свенельда. Так не проще ли предположить, что Свенельд не отказался от своего права, опираясь не только на свою дружину, но и на помощь самих древлян? И, в-третьих, такое противодействие князю есть открытое неповиновение, бунт: мог ли на это пойти Свенельд без согласования с княгиней Ольгой? Это невозможно себе представить.

Л. Н. Гумилев считает, что здесь имел место заранее продуманный заговор антиигоревских сил во главе с княгиней Ольгой и Свенельдом. И это единственный способ решения всех неясностей Летописи: объясним и разгром Игоревой дружины, и его весьма странная казнь (никто вроде бы и не виноват: березы — силы природные...), и последующее резкое возвышение Свенельда, ставшего главой правительства при регентстве княгини Ольги, отныне — вдовы.

Согласно Летописи Святославу тогда было два года. Но кто может поручиться, что через десять лет ему не рассказали правды? Отца он не помнил, а, может, и не видел его никогда, но мать всегда была рядом, а Свенельд с ранних лет учил его военному мастерству. Он и не думал мстить, но по всей вероятности посеянное зерно правды взросло в душе его в виде отторжения всей этой земли: он не пожелал стать наследником собственного отца, убитого столь близкими ему заговорщиками.

Святослав впервые принял участие в боевых действиях, мстя за гибель своего отца древлянам. Он был еще младенцем, и брошенное им копье всего лишь символизировало его участие в битве, однако Летописи отмечают это как начало боевой деятельности неугомонного князя. Но поначалу эта деятельность вписывалась в представления о долге наследственного владыки Великого княжества Киевского. Свой

первый военный поход Святослав предпринял в том же великокняжеском духе, не отойдя от законов предков.

Вятичи, населявшие современную Тульскую, Калужскую, Рязанскую и часть Орловской областей, оставались последним славянским племенем Восточной Европы, которое доселе сохраняло свою независимость от Киевской Руси. Они платили необременительную дань хазарам, живя по своим законам, никого не трогая, но и не принимая на себя никаких обязательств. Киев, стремившийся объединить под своей властью все славянские племена, не мог долго терпеть подобной независимости, и юный Святослав предпринял поход (первый в своей кипучей жизни!) против свободолюбивых вятичей, следуя общему руслу политики своих предков.

Летопись не приводит подробностей этой войны, но судя по тому, что Святославу через некоторое время пришлось вторично идти походом на тех же вятичей, можно сделать вывод, что первая попытка оказалась неудачной. Вятичи отстояли свою независимость, и Святослав ринулся на тех, кому они платили дань «по беле и веверице с дыма», то есть, на хазар, которых и разгромил весьма успешно.

Здесь уместно задаться вопросом, как могло случиться, что платившие дань хазарам вятичи сумели отбиться от Святославова нашествия, а могущественные хазары, занимавшие куда большую территорию с известными истории городами и крепостями, пали быстро, навсегда уйдя с исторической арены? Что послужило причиной если не победы вятичей над профессиональной дружиной Святослава, то во всяком случае спасло их от поражения, тогда как та же дружина в считанное время разгромило государство, в конечном итоге распылив и развеяв населявшие его народы? Летопись не дает ясного ответа, и все же, как мне кажется, ответ этот содержится в ней.

По всей вероятности Святослав в своем первом походе еще не осознал необходимости своего знаменитого «рыцарского» вызова врагам «ИДУ НА ВЫ!». Сколько историков, писателей и эссеистов восторгались этим гордым предуведомлением, видя в нем лишь парадоксальное в те времена благородство! Как же иначе можно оценивать этот горделивый жест, заранее оповещавший противника, где и когда ему нанесет удар профессиональная, фанатично преданная своему вождю и сплоченная общей с ним жизнью дружина? Однако если посмотреть без романтики на этот странный вызов, если учесть, что полководцы всех времен и народов всегда особо дорожили внезапностью нападения, то можно легко обнаружить в нем вполне рациональное и совсем не рыцарское зерно. А если предположить, что Святослав

вторгся в землю вятичей внезапно (он тогда воевал еще в рамках привычных стереотипов, следуя традиции больше, чем своему полководческому гению), то сокрушить противника в одном сражении ему не удалось: вятичи просто не смогли собрать в одном месте все свои боевые силы. Удар Святослава в лучшем случае пришелся на какую-то часть этих сил, сокрушил их, но уцелевшие от разгрома отряды вятичей в создавшихся условиях навязали ему войну совсем иного рода: ночные атаки, бои в неудобной местности, где Святослав физически не мог развернуть своей дружины (дефиле, болота, лесные чащобы: вятичи знали свою землю). Выражаясь современным языком, вятичи, ускользнув от решающего сражения, навязали захватчику партизанскую войну, в которой все преимущества были на их стороне: много веков спустя М. И. Кутузов повторил их стратегию в Отечественной войне.

Это не было поражением, это было неудачей. Но Святослав был воистину великим полководцем: проанализировав причины неудачи, он сделал правильный вывод. Для того, чтобы единым ударом сокрушить основные силы противника, необходимо заставить его дать решительное сражение. В мощи своей дружины он был уверен; оставалось найти способ заставить противника выйти на бой. И он нашел этот способ: уведомление о намерении напасть. Так родилась знаменитая и единственная в своем роде формула: «ИДУ НА ВЫ!». Увы, в ней не заключалось никакого рыцарства: в ней был хладнокровный расчет полководца.

Оставив на время вятичей в покое, Святослав ринулся на хазар. Полагаю, что в этом решении сказалось неудачное начало его полководческой деятельности: ему не удалось «примучить» вятичей. Это не только уязвило его самолюбие, это, что куда важнее, грозило утратой веры в него, как в вождя, со стороны его дружины. А заставить соратников вновь безоглядно уверовать в своего полководца можно было только сокрушив тех, кому вятичи платили дань, и кто, следовательно, был заведомо сильнее их. И он двинул войско на Хазарский Каганат, где впервые начал широко использовать пресловутое «Иду на вы!», дабы вновь не влезть в затяжную партизанскую войну. Впрочем, не сразу, не с начала похода, а выбрав для вызова удобный момент. И здесь следует особо подчеркнуть безупречный с военной точки зрения стратегический план разгрома Хазарии.

Святослав двинулся по Волге, в которую спустился по Оке, пробившись к последней сквозь землю вятичей. Этот путь самосплавом не только вел к столице Хазарии Итилю (он был расположен в дельте Волги), но и разрезал саму

Хазарию, оставляя в стороне ее крепости. Трудно сказать, когда родился этот план: то ли еще в Киеве при участии Свенельда, и тогда поход на вятичей был всего-навсего прорывом к Оке; то ли в результате самого похода, уже по выходе на Оку. Как бы там ни было, а сам способ проникновения в глубокий тыл противника по рекам еще раз подчеркивает варяжскую сущность всей этой блистательной операции: именно так поступали викинги в Европе Западной и варяги в Европе Восточной, а славяне никогда — ни до, ни после Святослава — не пользовались водными путями, предпочитая передвигать свои войска по суше. Да, во всех своих действиях Святослав воскрешал варяжский стиль войны: небольшая профессиональная дружина, отсутствие обозов, использование рек для проникновения в глубину вражеской территории и... и полное пренебрежение к геополитическим последствиям войны для будущего собственной родины.

Безусловно, все еще сильная, несмотря на тревожные границы и внутренние конфликты Хазария не истратила себя в первом сражении, но проиграла его. Воодушевленный Святослав бросался в разные стороны («как барс»), неизменно вызывая противника на генеральное сражение знаменитым «рыцарским» предуведомлением. И хазары всякий раз поддавались на эту удочку, неизменно терпя поражения. Пал Саркел на севере и Семендер на юге, были разгромлены ясы (осетины) и касоги (черкесы), взята Тьмутаракань. Хазарский Каганат перестал существовать навсегда.

Святослав был не первым киевским князем, воевавшим с Хазарией: «их села и нивы за буйный набег» предал мечам и пожарам еще Олег. Однако он не довел своего мщения до полного разгрома Хазарского Каганата. Может быть, у него нехватало сил? Вряд ли, здесь скорее просматривается политический расчет дальновидного князя. Ведь Хазарский Каганат перекрывал самый удобный проход из Великой Степи в Причерноморье, а, следовательно, и к границам Киевской Руси. Он сдерживал натиск кочевников, и до поры до времени на Русь прорывались лишь отдельные орды, не представлявшие серьезной опасности могучему Киевскому княжеству. Мудрый политик и практический основатель Киевской Руси Олег не мог не понимать, что куда выгоднее сохранять на своей восточной границе буферное государство, нежели разграбить его и уничтожить. Он куда больше заботился о безопасности созданного им княжества, нежели о богатствах своей дружины.

Видимо, Святослав размышлял иначе. Он разрушил естественную плотину между Великой Степью и Русью, и

через образовавшуюся брешь ринулись печенеги, как только Святослав на возвратном пути покорив-таки вятичей, вообще покинул свою родину. С чисто варяжской безответственностью перед своей семьей, землей и народом он ударился на поиски счастья в иные страны, в конце концов уйдя в Болгарию навсегда. А впервые он отправился в нее в 967-м году, а вскоре орды печенегов, беспрепятственно пройдя через пепелища бывшего Хазарского Каганата, обрушились на Киев, где затворилась престарелая мать Святослава княгиня Ольга с малолетними внуками.

Надо отметить, что Летопись усиленно подчеркивает согласие и мир между княгиней Ольгой и ее сыном князем Святославом, несмотря на безумства последнего. Безусловно, в этом есть доля истины: уловив в характере сына пугающие черты бездомного конунга, Ольга пыталась склонить его к принятию православия, надеясь хоть этим путем привлечь к государственным заботам. Однако Святослав чисто поваряжски сослался на мнение своей дружины: «Могу ли один принять новый закон, чтобы дружина моя посмеялась надо мною?» Мало того, решив объявить столицей вновь завоеванных им земель болгарский город Переяславец и тем окончательно отделиться от Киева, Святослав и не подумал делать из этого тайны. Перед вторым отъездом из Киева в Болгарию, он собрал Думу и в присутствии княгини Ольги так мотивировал свое решение: «...в столице болгарской, как в средоточии, стекаются все драгоценности... греки шлют туда золото, ткани, вино и плоды; богемцы и венгры — серебро и коней; россияне — меха, мед, воск и рабов». (Карамзин. «Предания веков»). Любопытно, что в этом горделивом перечне даней Киевская Русь приравнивается ко всем прочим странам, решительно ничем не выделяясь: Святослав откровенно рвал связи с Домом наследников Рюрика. Через четыре дня после объявления этой программы, подразумевавшей перекройку всех экономических и политических связей Юго-Восточной Европы, скончалась княгиня Ольга.

Святослав осуществил свое намерение уйти в Болгарию, которую уже полагал ядром собственного государства. Однако прежде он разделил — впервые в истории Руси! — отцовское наследие на уделы, не просто ослабив тем Киевскую Русь, но практически ликвидировав ее как сильное целостное государство: не о сыновьях он заботился, дробя Русь на удельные княжества, а о собственной безопасности, устраняя этим актом могущественного соперника в тылу. Он отдал Киев Ярополку, Древлянскую Землю — Олегу, а младшего сына Владимира послал князем в Новгород.

Кого могли устроить подобные действия? Болгар, ко-

торых фактически покоряли? Греков, рядом с которыми утверждался талантливый и беспощадный завоеватель? Киевскую Русь, которую, раздробив на уделы, превращали в третьеразрядную державу? Да никого: Святослав не имел более ни друзей, ни родных, ни союзников. Он горделиво послал всем соседям знаменитое «Иду на вы!», и при создавшихся обстоятельствах любое государство было заинтересовано в его скорейшей гибели. И сколько бы Святослав ни проявлял таланта, личной отваги и гордости (одна его фраза «Мертвые сраму не имут!» чего стоит: века пережила!), судьба его была предрешена. И нет смысла спорить, кто мог предать его на обратном пути, кто предупредил печенегов, что он с небольшой, измотанной боями дружиной возвращается через Днепровские пороги: да кто угодно. Болгары, греки, тот же Свенельд, наконец. Последний варяжский конунг без роду и племени был никому не нужен и всем — смертельно опасен.

Так усердием Святослава под само существование Киевской Руси была заложена первая — и самая разрушительная! — мина. И по иронии судьбы она же уничтожила и ее создателя: в 972-м году, возвращаясь в Киев после поражения от византийского полководца Цимисхия, Святослав попал в засаду у Днепровских порогов, был убит, и печенежский князь Куря приказал сделать чашу из его черепа. Но сотворенное им зло продолжало жить и расцветать как в распахнутых настежь степях Причерноморья, так и в страшном прецеденте дробления Руси на наследственные княжеские уделы.

История сохранила описание внешности Святослава, сделанное Львом Диаконом. Вот каким видели его византийцы:

"Святослав приплыл на место свидания в лодке по Дунаю, причем действовал веслом наравне с другими гребцами. Он был среднего роста, имел плоский нос, глаза голубые, густые брови, мало волос на бороде и длинные, косматые усы. Все волосы на голове были у него выстрижены, кроме одного клока, который свисал по обеим сторонам, что означало его знатное происхождение. Шея у него была плотная, грудь широкая, и все прочие члены очень стройные. Вся наружность представляла что-то мрачное и свирепое. В одном ухе висела серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами. Белая одежда его только чистотою отличалась от одежды прочих русских...»

Запомним это описание: нам еще предстоит к нему вернуться, когда займемся вопросом, почему киевские славяне вскоре стали называть себя русскими, а землю свою — Русью.

«ЧУДЬ НАЧУДИЛА ДА МЕРЯ НАМЕРИЛА...»

В детстве я читал ошалело, без всякой системы, жертвуя не только играми дворовой компании, но весьма часто и посещением школы. Отец чтению не препятствовал, исходя из принципа, что интерес есть естественная потребность, а что неинтересно ребенку, то для него и непотребно. Пишу об этом потому лишь, что где-то в первом или во втором классе я прочитал статью в уже забытом журнале, которая вероятно и оказалась естественной для меня потребностью, поскольку помню ее до сих пор.

Основной пафос статьи сводился к мысли, что наиболее яркие способности человека чаще всего зарождаются на перекрестках генеалогических древ, а еще лучше — на вливании инородной крови. Тогда была в моде теория генетической усталости, «освежения крови», и статья доказывала это примерами русских гениев: абиссинской крови — в Пушкине, шотландской — в Лермонтове, татарской — в Кутузове, Танееве, Аксакове, Тургеневе, черемисской — в Шереметеве и т. д. Это отвечало тогдашнему представлению о гражданстве, и ни в одном из документов не существовало пресловутого «пятого пункта». Граждане России указывали лишь свое вероисповедание, и крещеный татарин, еврей или калмык пользовались теми же правами, что и православные русские. Ценились личные качества, верность России и преданность государю, и русская общеобразовательная история неустанно подчеркивала, что П. Багратион — грузин, а Б. де Толли — шотландец. А моя мама вообще делила людей на «порядочных» и «непорядочных», и я рос в окружении очень порядочных людей: тети Анны Матвеевны, дворника Мустафы и старой еврейки бабушки Ханы, которые всячески опекали меня и, как могли, учили добру сына принципиальных атеистов, молясь своим богам. И я с нежного возраста усвоил, что быть порядочным значит помогать окружающим в меру собственных сил, а не просто не желать им того, чего не желаю себе.

Распределение людей по национальности — изобретение Советской власти. Не собираюсь касаться причин этого

(«разделяй и властвуй» — проверенный историей способ деспотического правления), но никак не могу взять в толк абсолютной — и провокационной! — бессмысленности данного акта применительно к России. И не только потому, что Россия и стала Россией благодаря естественно сложившейся практике бытового интернационализма, но главным образом потому, что само-то подавляющее большинство ее населения (то есть, собственно великороссы) не является ни автохтонным, ни тем паче этнически безукоризненным. Во-первых, мы — пришлые, мирно вжившиеся как в чуждый ландшафт, так и в состав аборигенных народов, а во-вторых, мы все — многократные метисы (чем, возможно, и объясняется талантливость и повышенная способность к адаптации) и рассуждать о чистоте расы означает либо полнейшее незнание реальной биографии народа, либо сознательное пренебрежение ею. Как то, так и другое равно оскорбительно для русского человека, почему я и позволю себе напомнить вольным или невольным провокаторам, как предки наши оказались на этой земле, как осознали ее сначала Родиной, а затем и Отчизной, и как из кривичей и вятичей, из полян и северян доросли сначала до русичей и Руси, а потом и до России и русских. Человечество единовозрастно, нет более древних и менее древних народов, но нации — живые социальные организмы, им свойственна молодость и старость, рождение и гибель, и великорусской нации приблизительно полтысячи лет, а то и все шестьсот, если брать за основу осознание ею своей общности на поле Куликовом. Но и к Непрядве вели разные пути, каждая составляющая нашего народа шла своей дорогой, а потому повествование мое не может быть ни слишком кратким, ни слишком спешным: я ведь стремлюсь передать не анкету русского народа, который до сей поры учит в школах под видом истории, а саму биографию народа, обусловленную деяниями наших отцов.

Первое упоминание о славянах имеется еще у Геродота (V в. до н. э.), который называет их энетами (или — венедами: этим именем финны и по сей день именуют русских). Очерченный им ареал венедов — от р. Одры до Днепра и от Балтики до Карпат — подтверждается археологией. Через тысячу лет славяне под название склавинов или антов включились в Великое переселение народов, сокрушившее в конце концов Римскую империю и перекроившее этническую карту Европы. Памятниками этого Великого переселения осталась Англия (римская провинция Британия, завоеванная германскими племенами англов и саксов); Ломбардия в Италии, напоминающая о германском племени лангобардов

Галлия, превратившаяся во Францию по имени германского же племени франков; испанская провинция Андалузия, сохранившая память о вандалах, и широкое расселение славянских племен, занявших весь Балканский ареал вплоть до Австрии, что привело к расколу древних венедов на славян южных и славян северных, а последующие судороги Великого переселения, вторжения кочевых угро-финнов (венгры) и тюрко-язычных аваров не только закрепили это распределение, но и послужили толчком к образованию особой восточной группы славянских племен. Наша Начальная Летопись («Повесть временных лет») и начинается с воспоминаний о сложении этой восточно-европейской славянской общности.

Этот кусок полумифической истории наших предков я напомнил ради трех выводов. ПЕРВОЕ: все мы, ныне живущие, являемся прямыми потомками победителей, ибо побежденные были сметены с лика земли; ВТОРОЕ: славяне вываривались в том же кипящем котле, что и все прочие народы Европы: мы — европейцы не только по корням языка своего, но и по общности судеб всех европейских народов; ТРЕТЬЕ: бурное время Великого переселения было чрезвычайно жестоким и кровавым временем беспрерывных войн, в которых женщина всегда рассматривалась, как желанная добыча, и можно только представить, какое смешение племенных кровей произошло во время этого многовекового кочевья.

Наш великий летописец в «Повести временных лет» разъясняет картину постпереселения европейских народов, подробно перечисляя славянские племена, составивших группу восточных славян. За исключением кривичей да, вероятно, дулебов, остальные племена являются переселенческими, вытесненными из прежних мест обитания германцами, аварами и венграми: он прямо говорит о пришлости вятичей и радимичей, но и новгородцы по местоположению своему — самый северный остров славян в море угро-финских народов, тоже, вероятно, пришлые. Как бы там ни было, а славяне к VIII веку окончательно утвердились по Днепру, верховьям Оки и Зап. Двины, занимаясь земледелием, охотой, бортничеством и, конечно, торговлей «из Варяг в Греки» по водным путям. И прежде чем вспоминать далее нашу биографию, следует остановиться на том, кем же являлись пресловутые варяги, сыгравшие весомую роль в объединении славянских племен Восточной Европы.

«Повесть временных лет» порою определяет их, как некую национальность, хотя это и неверно. Варяги — аналог западно-европейским понятиям «викинги», «норманы», то

есть, организованные отряды пиратов, основой которых являлись выходцы из Скандинавии, порвавшие все связи с родом и землей своей. Уйти в «вик» (укрепленный лагерь, военное поселение) означало уйти из родного селения, разорвать все родственные узы и с юности избрать своей профессией вооруженный грабеж мирных приморских сел и городов. Уходящих в «вик» проклинали соплеменники, от них отрекались родные, их заживо оплакивали, как покойников, и лишали всех прав. В составе восточных викингов, известных нам под именем варягов, и промышлявших разбоем на торговых путях и в речных селениях, были не только скандинавы, но и финны, и жители Прибалтики, и угро-финны (корелы, чудь, весь) и даже славяне. Разбойная вольница выбирала предводителя-конунга, и в IX в. одному из таких конунгов по имени Рюрик удалось захватить Новгород, осесть в нем и заставить новгородцев признать себя князем. Как это произошло, неясно, но свидетельство Летописи о добровольном призвании варягов тоже не следует безоговорочно отбрасывать, учитывая, что Новгород вел обширнейшую торговлю с Европой и Югом, а потому внутриполитическая борьба в нем достигала порой высокого накала, доказательством чего может служить мятеж Вадима Храброго. Однако эта борьба, видимо, продолжалась, достигнув апогея в конце Рюрикова княжения. Следствием этой антикняжеской борьбы и стал внезапный (и необъяснимый!) рывок на Юг основной силы Рюрика — варяжских ватаг — под командой таинственного конунга Олега, которого Летописи называют то родственником Рюрика, то его боярином, откуда напрашивается вывод, что он не был ни тем, ни другим, но по каким-то причинам увез малолетнего Рюрикова сына Игоря из богатого Новгорода в далекий Киев.

В наших сказаниях бытует легенда о некоем князе Кие, который якобы основал Киев. Сейчас неважно, кто именно его основал, а важно, что Киев являлся столицей славян-дулебов и к тому времени был завоеван князем Аскольдом, на сторону которого стали поляне (славянское племя, жившее, по всей вероятности, на левобережьи Днепра); они потеснили дулебов к западу и объявили Киев своим стольным городом. Любопытно, что Аскольд — не славянское имя (Хаскальд скандинавских саг), но он вряд ли был скандинавом, поскольку скандинавы (варяги) в левобережье Днепра никогда не забредали: пиратам нечего делать в степях. Кем он мог быть, как увлек за собою полян, подумаем позднее, а пока вспомним, что Олег с младенцем Игорем захватил Киев, убил Аскольда и провозгласил себя князем, а Киев — «матерью городов русских». Так впервые в нашей

Летописи появляется новый этноним «Русь, русские», не имеющий ничего общего ни со славянами, ни со скандинавами. И это постараемся запомнить вкупе с именем князя Аскольда, учитывая, что в те времена имя человека было единственным свидетельством его принадлежности определенному племени и всегда несло понятный соплеменникам смысл. Вспомним славянские имена Святослав, Людмила, Владимир, и сегодня понятные нам без перевода, или древнегерманские Адольф и Рудольф, что означает «Благородный волк» и «Славный волк». Поэтому попавшее в Летопись имя всегда является визитной карточкой действующего лица, а уж коли имя это чуждо языку Летописи, то не грех призадуматься, откуда родом его владелец и каким образом он возник в нашей Летописи в таком-то месте и в такое-то время.

Олег оказался первым реальным князем нашей истории, личность которого подтверждена многими свидетельствами. Он избавил полян от дани, которую они платили Хазарскому Каганату (еще одно доказательство, что жили они доселе на Левобережьи Днепра, то есть, на землях, подвластных Хазарии), но «отмстив неразумным хазарам», не посягнул на целостность Хазарского Каганата. И мне кажется, что именно по этой причине Олег и заслужил у современников прозвище «вещий», то есть, по преимуществу, прозорливый, а не просто мудрый. Ему и впрямь хватило прозорливости, чтобы оценить гео-стратегическое положение Хазарии. Ведь Хазарский Каганат при всей его рыхлости контролировал наиболее удобный путь из Великой Степи в Причерноморье, и хотя отдельные орды кочевников просачивались сквозь его заслоны, Летопись не отмечает их нашествий ни при Олеге, ни при его преемнике Игоре Рюриковиче, ни при регентстве княгини Ольги. Беда из степей придет только тогда, когда третий по счету Великий киевский князь с уже славянским именем Святослав разгромит Хазарию, уничтожив тем самым плотину против номадских нашествий. Но прежде чем переходить к размышлениям о грозном Святославе, остановимся на двух вопросах.

В представлении наших профессиональных и совсем непрофессиональных патриотов господствует убеждение, что Хазария была иудейской державой. Действительно, правящая верхушка ее исповедывала иудаизм, что, однако, не помешало великим славянским просветителям святым Кириллу и Мефодию крестить желающих того добровольно хазар еще в 858-м году: на юге, в Предкавказьи, христиане составляли подавляющее большинство, а всего в Хазарии существовало семь (!) епархий. Богатейшими людьми сто-

лицы Хазарии Итиля являлись мусульмане, державшие в своих руках торговлю с Востоком, множество тюрок еще исповедывало язычество. Таким образом, отождествлять хазар с евреями столь же нелепо, как отождествлять Политбюро Брежнева с русским народом. История располагает данными о религиозных гонениях в Хазарии, но ведь и о погромах христиан в Киеве Летопись вспоминает весьма часто. Верховное божество славян Перун требовал человеческих жертвоприношений, и киевские христиане неоднократно испытывали на собственной участи этот кровавый обычай. Однако при всей жестокости раннее Средневековье было куда веротерпимее Средневековья восторжествовавшего христианства, и в этом отношении Хазарский Каганат и Киевская Русь мало чем отличались друг от друга.

Далее. Стремительный удар Святослава надвое рассек Хазарию, после чего она перестала существовать. Но что сталось с ее разноязыким населением, куда подевалось оно, что растеряло, а что сохранило в нашей истории? Известно, что основным занятием хазар было рыболовство и виноградарство, что трансгрессия Каспийского моря залила дельту Волги, где размещалась столица Хазарии Итиль. Эта двойная катастрофа — нашествие славян и наводнение, вызванное трансгрессией Каспия — казалось, навсегда смели хазар не просто со страниц истории, но и с самой земли, но так только казалось. Тайна их исчезновения перестала быть тайной в наше время благодаря археологическим раскопкам и тщательному анализу исторических документов.

Вспомним, что христианство проникло в Хазарию на 130 лет (жизнь четырех поколений!) раньше, чем в Киевскую Русь, в силу объективных причин концентрируясь на южных и северных окраинах, подальше от иудейских и мусульманских общин. Это обстоятельство не могло не способствовать тесным контактам победителей с побежденными особенно на севере, где границы бывшего Хазарского Каганата непосредственно соприкасались с Черниговскими землями Киевской Руси. Уже в XI в. славянский язык стал господствующим на Дону, а в XII в. Летописи отмечают там неких «бродников», исповедующих православие и говорящих на русском языке. Под ними скрывались уже обрусевшие потомки хазар, которые активно поддерживали русичей в их борьбе с половцами, но как только удельные князья вступали с половцами в военный союз, тут же искали союзов с любыми врагами владык Дикого поля («Земли Половецкой» наших Летописей). Так в первом столкновении Руси с монголами (битва на р. Калке, 1223 г.), где монгольский полководец Субутай-багадур разгромил соединенные силы

Руси и половцев, бродники воевали на стороне монголов. Это им зачлось, Золотая Орда не посягала на земли бродников, а то и помогала им в их борьбе с ногайцами. Связи были тесными, и в лихие времена религиозных преследований золотоордынцы-христиане бежали не только под руку Великого князя Московского, но и в суверенные земли бродников. Можно полагать, что именно они и принесли на Дон этноним «казак», который вскоре стал определяющим. Позднее на Дон бежали массы крестьян из Руси, находя там приют и защиту в среде единоверцев. Дон был весьма заинтересован в притоке рабочих рук, почему все его ранние договора с Россией начинались знаменитой фразой: «С Дона выдачи нет». Так сложилось Донское казачество, внесшее существенный вклад в историю нашего народа: это их свободолюбие и отвага породили русского конкистадора Ермака Тимофеевича и сотрясателя трона Степана Разина.

Ну, а что же произошло с южной православной ветвью хазар? А вот что. Продвинувшись на юг после завоевания Астраханского ханства, воеводы Ивана Грозного с удивлением обнаружили христиан, говорящих на русском языке. Они жили «на Гребне» по Тереку, почему и прозвались гребеневскими казаками, впоследствии влившимися в Терское казачье войско.

Но вернемся в Киевскую Русь времен разгрома Хазарии, когда этнические коллизии еще никак не проявлялись, а гео-политические уже стояли у порога. Уничтожение буферного государства распахнуло ворота в богатейшие степи Причерноморья для кочевников Великой Степи. Они появлялись там и при существовании Хазарского Каганата, но, судя по Летописи, небольшими ордами: так печенеги впервые упоминаются под 915-м годом, но князь Игорь легко договорился с ними, и они ушли к Дунаю. Но стоило его сыну князю Святославу вскоре после разгрома Хазарии уйти с дружиной в Болгарию, как над всем Великим Киевским княжеством нависла смертельная опасность. Случилось это в 967-м году, а вскоре орды печенегов, беспрепятственно пройдя через пепелища бывшего Хазарского Каганата, обрушились на стольный град Киев, в котором затворилась престарелая мать Святослава княгиня Ольга с малолетними внуками.

Так усердием Святослава под само существование Киевской Руси была заложена первая — и самая разрушительная! — мина. По иронии судьбы она же уничтожила и ее создателя: в 972-м году, возвращаясь в Киев после поражения от византийского полководца Цимисхия, Святослав попал в засаду у Днепровских порогов, был убит, и пече-

нежский князь Куря приказал сделать чашу из его черепа. Но сотворенное Святославом зло продолжало жить в распахнутых настежь степях. Полистаем Летопись времен княжения младшего сына Святослава Владимира: 992 год — пришли печенеги на р. Трубеж; 996 — пришли печенеги к Василёву; 997 — пришли печенеги под Белгород (Днепровский); 1015 — и вновь пришли печенеги. Летопись сообщает о крупных схватках, опуская мелкие набеги на пограничные городки и села, что происходило практически ежегодно. Именно против этих бесконечных набегов Владимир и был вынужден строить пограничные укрепления, громоздить валы в степи и ставить города по Десне, Остру, Трубежу, Суле, Стугне и Днепру. В этих городках-крепостцах он расселял гарнизоны, вербуя воинов — «мужей лучших от славян новгородских, от кривичей, и от чуди, и от вятичей». Все это требовало не только времени и сил, но и огромных материальных затрат, что не могло не сказаться на экономическом состоянии государства и, в первую очередь, на транзитной торговле. Печенеги быстро оценили уязвимость торговых караванов на Днепровских порогах: путь «из варяг в греки» стал хиреть, а новые пути — смещаться на восток, в Азовское море, к Дону и Волге. Там не было зловещих порогов, Керченский пролив охраняла Тьмутаракань, а волок с Дона на Волгу — остатки северных хазар, которых наши Летописи вскоре стали называть «бродниками». Страшная опасность назревала над самою судьбой Великого княжества Киевского.

Если первое восточно-славянское государственное образование выросло на становом хребте торгового пути «из варяг в греки», замкнутом Новгородской республикой на севере и Великим Киевским княжеством на юге, то черты великорусской, украинской и белорусской нации вываривались в гигантском, вечно кипящем котле Дикого Поля. Здесь, в междуречьи Днепра и Дона укрывались орды печенегов, здесь же на свободных пространствах кочевали затем половцы — главные и самые опасные соперники великих киевских князей. О долговременности и изнурительности этой борьбы свидетельствует богатырский эпос Древней Руси и таинственное полуязыческое, полное ассоциаций, намеков и недомолвок «Слово о полку Игореве», впервые открыто поставившее общерусский вопрос о бессмысленности разрозненной борьбы с кочевниками. Да и само Дикое поле в наших Летописях скоро стало именоваться «Землею Половецкой». Яростное и жестокое нашествие татаро-монголов пожарами и кровью приглушило тяжесть почти двухсотлетней и практически беспрерывной войны Киевской Ру-

си с половцами: повторилось то, что произошло с печенегами, набеги которых затмились в народной памяти иными «действующими лицами».

Появившись в пределах Дикого Поля в середине XI в. (1054 г.), смелые, дерзкие, легкие на подъем половцы за полтора столетия совершили множество опустошительных набегов, всякий раз уводя в полон всех, способных передвигаться: невольничьи рынки Керчи и Кафы, Хорезма и Хивы более ста лет рыдали на русском языке. Шелест половецких арканов ужасом отдавался в сердцах добрых семи поколений наших предков: «Богатырская застава» Васнецова по сей день высматривает в обманчивом степном мареве именно половцев. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович шагнули из реальной жизни в былинное бессмертие, потому что в защите родной земли не знали ни сна, ни отдыха, не ища себе славы или великокняжеской награды. Тяжка была их доля, но неизмеримо горше выпадала доля тем, кого волокли на пропотевших арканах гикающие всадники за пределы родины своей.

Враг из степей был особо страшен своей неуловимостью, существованием «в поле», без определенных границ, дорог, постоянных мест проживания. При поражениях он рассыпался и исчезал, нахлестывая коней; при разгроме какого-либо коша, бросал его и воссоздавал на новом месте. Бок о бок суверенно существуя, Киевская Русь и Земля Половецкая то вступали в быстропреходящие союзы, то вновь переходили к изнурительным боям. Великому князю Киевскому Владимиру Мономаху удалось объединить князей на борьбу со степняками, приходившими на Русь с регулярностью стихийных бедствий, удалось совместными усилиями оттеснить их, удалось дать возможность пахарям вернуться к заброшенным нивам и возродить из пепла селища. Благодарная народная память по-своему оценила государственные хлопоты великого князя, соединив в былинах двух киевских Владимиров («Красное Солнышко» и Мономаха) в одном эпическом герое, но Мономаховы победы оказались лишь тактической удачей. С его кончиной половцы возобновили набеги с новой неукротимой энергией, и вновь люди в страхе бежали с окраинных земель, едва заслышав, как вздрагивает степь под тысячами конских копыт.

Отвечая ударами и уходя в оборону, строя бесконечные рвы, засеки и валы, отдавая своих княжон и беря в жены половчанок, Русь медленно пятилась к западу и обильно бежала на север. Там, в «Залесской Украине», как тогда ее называли, за стеною лесов и болот среди многочисленных финно-угорских племен начало складываться ядро будущей

Великороссии, образовывались новые мощные княжества, готовые в феодальной гордыне не столько помочь бедствующему населению юга, сколько вырвать первенство из рук обессилившего и обедневшего Киева. И не следует мерить их деяния современными нравственными категориями: народы действуют не по законам милосердия, а по законам выживания. К тому времени Киев утратил роль торгового центра, кочевники практически перерезали выход в Черное море, торговые пути сместились к востоку, Волга стала более удобной и безопасной торговой артерией, а Залесские княжества имели к ней прямой выход через ее многочисленные и в те времена полноводные притоки. Центр хозяйственной мощи Руси переместился; оставалось перенести на северо-восток и центр политический.

Бесспорно, Киевская Русь осваивала Залесские земли и во времена своего расцвета. Были построены города-крепости Владимир на Клязьме, Ярославль, Суздаль и другие, существовали отдаленные, а потому и непрестижные княжества, но то была дружинно-княжеская экспансия, а не колонизация. Настоящими колонизаторами «Залесской Украины» были не князья, не бояре, не «люди нарочитые». Это был простой бедный люд, увозивший с собою не имущество, а — память. И появились на северо-востоке Руси города с южными названиями: Галич, Переяславль, Звенигород, Стародуб. Характерна в этом смысле судьба всех трех Переяславлей: южного, Рязанского и Залесского — все они стоят (или стояли, как Переяславль Рязанский) на реках с одинаковым названием Трубеж. Переселенцы из Киевской Руси давали имена не только основанным ими городам, но и переименовывали реки, на которых их ставили. И потекли на севере двойники южных рек: Трубеж, Десна; так велика была тоска по родине, из которой новопоселенцы были насильственно изгнаны. А половцы продолжали расклевывать слабеющие тела южных княжеств, оттесняя жителей на запад и север, и поток беглецов все рос и рос. Падение экономической роли Днепра и беспрестанные набеги кочевников резко убыстрили не только распад Киевской Руси, но и этнический раскол ее населения. Таковы были последствия варяжской безответственности воинственного князя Святослава.

Вечный бич России — бездорожье — в те далекие времена оборачивался благом, ибо не то, что конник, но и пеший с превеликим трудом мог продраться сквозь многоверстные завалы бурелома, безбрежные леса, топи и болота, переплыть через бессчетные реки и речки. История сохранила нам анекдотический случай: в июне 1176 года князь Михал-

ка Юрьевич пошел с полком из Москвы к Владимиру на Клязьме, а Ярополк, его противник, из Владимира двинулся на Москву и, как гласит Летопись, «божиим промыслом минустася в лесах». Это — с проводниками, а ведь беглецы с юга прорывались наобум, в одиночку или небольшими группами без скарба, и чаще всего — без женщин и детей, которые просто не могли вынести этих скитаний. Кто-то достигал обжитых мест Владимиро-Суздальского княжества, кто-то оседал в многочисленных поймах рек. Пахари из Северской и Киевской земель попадали в абсолютно новые условия существования, в окружение финских племен, которых не только не следовало вытеснять, но у которых следовало искать поддержки и помощи. Как прокормиться на тощей земле, как пережить непривычные холода, снегопады, отрезанность от соседей. Аборигены научили нас знаменитой бане, прочно вошедшей в русский народный обычай, и ходьбе на лыжах. Пришельцы не выжигали финских селений, не захватывали территорий, не снимали скальпов: они учились, вживались в ландшафт, женились на местных девушках, и Летописи не отмечают никаких столкновений. Добрососедские отношения приводили к перекрестным бракам, и здесь вера не играла никакой роли: крещеные жители Киевской Руси отдавали своих дочерей и за половцев без всяких переживаний. Сближение было неизбежно, разрозненные финские поселки поглощались славянскими деревнями, а сами славяне поглощались этой землей, иным климатом, иным ландшафтом и теми же финнами, медленно создавая новый этнос — великорусский народ, волей судеб избравший своей столицей город, в названии которого отчетливо слышатся финские корни.

Но все это — потом, после, через сотни лет. А тогда, в первые века второго тысячелетия население бежало из усыхающей, как шагреневая кожа Киевской Руси: в Черниговской земле в 1159 году опустело семь городов, среди которых и некогда известный богатый Любеч. Но та часть беглецов, что добиралась-таки до Залесья, вздыхала с огромным облегчением...

Вышесказанное — всего лишь эпизод в истории восточных славян. Их пришлые с запада племена вятичей и радимичей тоже вживались в местное население, никого не покоряя. А новгородцы веками терпеливо проникали на север, в места, богатые пушниной и рыбой, пока не вышли к Белому морю. Однако, учитывая суровый климат, долгие зимы, снега и морозы, можно предположить, что многовековое продвижение славян на восток и север, было бы невозможно без гениального изобретения — русской печи. По-

добного очага не знает ни один народ, да и само слово «изба» («истобка» — древнерусск.) говорит само за себя. Образно говоря, предки наши въехали в места нашего сегодняшнего обитания, как сказочный Емеля: сидя на печи.

В море каких народов вплыли они на печи? Вот, что говорит Летопись по этому поводу:

«А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на Клещине озере (теперь — Переяславское) также меря. А по реке Оке... мурома... и черемисы... и мордва. А вот другие народы: ...Чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливонцы...»

К этому можно добавить, что один из наиболее любимых былинных героев носил прозвище Муромец, хотя, согласно былинам, родился в селе Карачарове. Так не в праве ли мы предположить, что в прозвище знаменитого Ильи Муромца закрепилось не место его рождения, а принадлежность к иному, неславянскому племени, отметив тем огромный вклад иных народов, населявших Русь, в общерусское тяжкое бремя защиты Отечества?

Это — не начало и не конец этногенеза великороссов. Западная часть нынешней Великороссии — вплоть до Вязьмы — длительное время входила в состав Великого княжества Литовского, литовцы и поляки стояли гарнизонами в наших землях и тоже вложили свою лепту в рождение великорусской нации. То же самое следует сказать и о татарах, которые толпами бежали в Московскую Русь, не желая принимать ислам. Корни татарских имен пестрят в современных русских фамилиях, а множество известнейших дворянских родов России ведут свои родословные от перебежавших на Русь татарских мурз. Вот некоторые из них: Аксаков, Алябьев, Апраксин, Аракчеев, Арсеньев, Ахматов, Бабичев, Балашов, Баранов, Басманов, Батурин, Бекетов, Бердяев, Бибиков, Бильбасов, Бичурин, Боборыкин, Булгаков, Бунин, Бурцев, Бутурлин, Бухарин, Годунов, Горчаков, Епанчин, Измайлов, Кантемиров, Карамазов, Карамзин, Киреевский, Корсаков, Кочубей, Куракин, Курбатов, Кутузов, Милюков, Мичурин, Рахманинов, Салтыков, Таганцев, Талызин, Танеев, Татищев, Тимашев, Тимирязев, Шишков, Юсупов и много-много других. Так можно ли после этого всерьез рассуждать о «чистоте крови»? Посмотритесь в зеркало, гг. патриоты: две трети из вас имеют темные глаза, а ведь славяне были сероглазы и голубоглазы. Посмотрите на цвет собственных волос: наши далекие предки обладали светлыми прямыми волосами (волнистость белокурых — уже германский признак). Наконец, славяне имели удлиненное

лицо, но отнюдь не круглое, что характерно для угро-финнов. Рецессивные признаки — следы многократных смешений крови, и мы носим их на собственных лицах.

Впрочем, к чему все это? Величие России не во внешних, а во внутренних чертах ее народа. В его редкой талантливости, мудром терпении, повышенной приспособляемости и бытовом интернационализме. Запомним последнее: сегодня оно особенно важно.

СОДЕРЖАНИЕ

БЫЛИ И НЕБЫЛИ. Роман. 3
КАРНАВАЛ. Повесть. 389
ПОСЛЕДНИЙ ВАРЯГ. Очерк. 505
«ЧУДЬ НАЧУДИЛА ДА МЕРЯ НАМЕРИЛА...» Очерк. . 515

Борис Васильев

Собрание сочинений в 8 томах
Том 5

Редактор *Г. Меркин*
Художник *А. Макаренков*
Технический редактор *Т. Андреева*
Корректор *В. Шполянская*

Сдано в набор 19.07.94. Подписано к печати 29.08.94. Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. листов 27,72. Бумага типографская № 2. Тираж 25 000 экз. Заказ № 1114. Лицензия ЛР № 070781 от 9 декабря 1992 г.

Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова. 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.